THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3011
.S56
1923

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00022051379

This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.

Form No. 513

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/ocherkiizistorii00solo

ЕВГ. СОЛОВЬЕВ
(АНДРЕЕВИЧ)

ОЧЕРКИ
ИЗ
ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
XIX ВЕКА

ИЗДАНИЕ 4-Е ИСПРАВЛЕННОЕ

„НОВАЯ МОСКВА"
1923

Отпечатано в 3-й Типографии М.С.Н.Х. „Мосполиграф“, М. Грузинская, Охотничий пер., д. 5/7, в количестве 10.000 экз.
Главлит № 8703

PG 3011
S56
1923

ЕВГ. СОЛОВЬЕВ.
(АНДРЕЕВИЧ).

OCHERKI IZ ISTORII

ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Издание 4-е, исправленное.

«НОВАЯ МОСКВА»
1923.

LIBRARY
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
CHAPEL HILL

Для историка литературы существует то же правило, что и для философа: не забывать, что „сова Минервы вылетает лишь по ночам“, т.-е., что всякая идея, всякий новый художественный образ, как стрелки на часах, отмечают лишь переворот и перераспределение сил внутри общественного организма, что без переворота в обществе не бывает и переворота в литературе.

13090 93

1-24-25

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Русскому человеку трудно любить что-нибудь другое из области своей духовной жизни с такой горячей признательностью, как свою литературу. Историческое прошлое русского человека целые века представляло однообразный процесс; государственные формы его жизни вырабатывались большею частью помимо его воли и прямого участия; достоинства его живописи, музыки, науки, скульптуры и т. д. проявляются лишь очень и очень поздно; только в одной литературе успел он проявить себя с самой лучшей и богатой своей стороны. Здесь, несмотря на все многочисленные препятствия и преграды, несмотря на то, что необходимый элемент литературного развития—читатель—заставил ждать себя почти до 40-х годов прошлого века, успехи наши поразительны и, если верить Достоевскому, служат единственным, хотя и большим залогом нашего „славного будущего". Так относиться к своей литературе, как относится к ней русский человек, европеец едва ли может. Мало ли у него предметов гордости и в области искусства и общественной жизни, или науки и религии, появление и развитие которых он одинаково приписывает себе. За них он боролся в течение целых столетий, за них шел на костер и плаху, любить и почитать их он учил своих детей в предсмертном слове; в них он выразил свою личность и личность своего народа, свои стремления и стремления своего народа. У нас, в нашей духовной и общественной жизни—литература и только литература.

„Милостивые государи,—писал Щедрин в своем „Круглом годе",—вам, конечно, небезызвестно выражение scripta manent[1]). Я же под личною за сие ответственностью присовокупляю: semper manent in seacula seculorum [2]). Да господа, литература не умрет во веки веков! А посему, как бы нам с нашей комиссией не

---

[1]) Написанное остается.

[2]) Остается во веки веков.

осрамиться. Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время обратится частью в развалины, частью в навоз—одна литература вечно останется целою и непоколебленною. Одна литература изъята от законов тления, она одна не признает смерти. Несмотря ни на что, она вечно будет жить и в памятниках прошлого, и в памятниках настоящего, и в памятниках будущего. Ибо ничто так не соприкасается с идеей о вечности, ничто так не поясняет ее, как представление о литературе. Мы испытуем вечность, мы стараемся понять ее—и большею частью изнемогаем в наших попытках; но вспомним о литературе, и мы хотя отчасти откроем тайну вечности".

Я бы мог привести несколько таких же мест из произведений Щедрина, мог бы напомнить известные слова Белинского или предсмертный завет Тургенева, или гордость Достоевского при сознании, что он литератор и только литератор—но все эти цитаты ничего не прибавили бы к той простой мысли, что для русского читателя, а тем более русского писателя печатное слово есть вещь, с которой надо обращаться не только „честно", но и богобоязненно.

„Только в литературе и можно найти жизнь"—писал Белинский в одну из мертвых эпох нашей общественности, и эти слова кажутся мне тем более справедливыми, что русская литература с первых же шагов своей самостоятельной жизни всегда исполняла *миссию*. Она проповедническая, учительская и миссионерская по преимуществу. Это можно утверждать по поводу, по крайней мере, главного ее русла, насчет которого и сказано scripta manent in secula seculorum [1]).

Основная идея русской литературы—религиозно-нравственная и основана на сознании святости человеческой личности и человеческой жизни вообще. Эта идея, зародившаяся еще в конце XVIII века, выросла и окрепла как сталь, выкованная булатом, в бесконечно долгой борьбе с крепостным правом и духом крепостничества, еще и теперь далеко не исчезнувшим из нашей жизни.

---

[1]) Вообще, думается мне, надо строго отличать литературу от словесности. Словесность—это все безбрежное море написанного и напечатанного; литература выражает общественно-исторические идеи и общественно-историческое настроение в каждую данную эпоху развития. Чехов и Горький, напр.,—это литература, а Потапенко—словесность. В настоящее время очень много словесности и очень мало литературы. В своих очерках я занимаюсь исключительно последней.

В родной литературе есть человек и писатель, скорбная фигура которого стоит у самого начала ее самостоятельной жизни. Но мысль этого человека и писателя жива и теперь. Я говорю о Радищеве. И его трагическая судьба, и настроение, продиктовавшее ему его знаменитую книгу, являются как бы прообразом и символом целого века нашего литературного развития.

„Человек родится в мир и равен во всем один другому. Все одинаковые имеем члены, все имеем разум и волю". Вот основное воззрение, из которого исходит Радищев [1]). Этого разума и воли никто отнять не может. „Против врага своего он защиты и мщения ищет в законе. Если закон или не в силах его заступить, или того не хочет... тогда пользуется гражданин природным правом защищения... Ибо гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность есть собственная сохранность, защита, благосостояние". Основывая святость человеческой личности на идее естественного права, Радищев переходит к критике крепостного состояния.

„Ряд разбросанных в книге фактов,—говорит биограф Радищева,—посвящен изображению отягченного жребия крестьянства... Помещик, заставляющий крестьян 6 дней в неделю работать на господской пашне и лишь воскресенье оставляющий им для работы на их собственные семьи; крепостные, осужденные за убийство семьи помещика, который не только обратил их в батраков, отнял у них всю землю и истязал их жестокими наказаниями, но еще и бесчестил их жен и дочерей; помещик, введший в своем имении jus primae noctis и лишь случайно спасшийся от смерти, уготованной ему крестьянами; распродаваемые с аукциона люди, в том числе дядька, кормилица, любовница и сын продающего их барина; дворовый, по барскому капризу получивший образование и, благодаря этому, тем с большею силою чувствующий тяготеющий над ним произвол; крестьяне, вступающие в брак по принуждению господина; казенные крестьяне, покупающие крепостных у помещика для отдачи их в рекруты,—таковы важнейшие фигуры этой галлереи, наглядно убеждающие Радищева в том, что в России „крестьянин в законе мертв". Как бы заключая ряд впечатлений, получаемых читателем от этих фигур, и сводя в одно целое их разрозненные черты, Радищев в одной из последних глав своей книги изображает внешнюю обстановку жизни крестьянина. Резкими штрихами набрасывает он картину жалкого убожества этой обстановки, граничащего с нищетей. Жилище крестьянина—курная изба с покрытыми сажей и грязью стенами, с затянутыми пузырем окнами, изба, в которой люди спят ночью вместе с животными, в спертом воздухе которой свеча горит, как в тумане. Внутреннее убранство этой избы состоит из скудной утвари: двух-трех горшков—„счастлива изба, коли в одном из них есть пустые щи",—деревянной

[1]) См. сборник „На славном посту". Спб. 1900 г.

чашки и кружков вместо тарелок, срубленного топором стола, корыта для корма свиней и телят и кадки с квасом, похожим на уксус. Одежда крестьнина—„посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода“. „Вот в чем,—восклицает писатель,—почитается по справедливости источник государственного избытка, силы, могущества; но тут же видны слабость, недостатки и злоупотребления законов и их шероховатая, так сказать, сторона. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитное нищеты состояние.—Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем?—то, чего отнять не можем,—воздух. Да, один воздух. От'емлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает от'яти у него жизнь.—Но разве мгновенно. Сколько способов от'яти ее у него постепенно! С одной стороны, почти всесилие; с другой—немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребий заклепенного в узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола в ярме“...

Вот что видел перед собою Радищев и вот от каких картин „душа его страданиями человеческими уязвлена стала“. В заключение он горячо убеждает современников приступить к освобождению крестьян. И не то же ли самое убеждение слышали „русские современники“ от русской литературы в течение следующих 70-ти лет? Мне кажется, что с книги Радищева можно начинать историю нашей самостоятельной литературно-общественной мысли.

Та же идея святости человеческой личности, особенно яркая, потому что безличный крепостной мужик был на глазах у всех, создала самое оригинальное наше литературно-общественное течение—наше народничество. Ему, как известно, предшествовал период сомнения и отрицания, период безнадежного отрицания русского будущего.

Но вот на помощь и во спасение нашему интеллигенту пришел мужик и перевернул всю нашу психологию. Так сказать, из небытия мысли, хотя и огромной жажды ее—мы вступили на твердую почву, на целые десятилетия определивши и наше настроение, и нашу работу. Тут есть за что, тут можно и должно сказать спасибо нашей деревне, послужившей превосходной школой нашей мысли. Это началось с Радищева, но определилось лишь в сороковые годы.

Растерзанной фигуре Антона Горемыки русская литература положительно должна была бы воздвигнуть памятник. Ее духом, ее содержанием она жила почти полвека—правда, содержанием

расширенным и углубленным, но в сущности тем же самым. Здесь заключалась целая программа, здесь был дан лозунг—один из тех лозунгов, которые являются в десятилетие, и второстепенное литературное произведение сыграло первую историко-литературную роль. После него можно было писать о чем угодно и сочинять что угодно, но тот писатель, который так или иначе не выяснил своего отношения к мужику, к народу, не мог уже рассчитывать на продолжительное общественное внимание: на него смотрели только, как на забавника, его читали только для развлечения, к нему не относились серьезно. „Мужик“ и мужицкий вопрос стали воистину нравственной цензурой—строгой, непреклонной, подчас неумолимой, избежать которой не было возможности. Было признано, и все согласились, что это „самое важное“. Сотни и тысячи произведений посвящались „самому важному“; оно создавало репутации и уничтожало их; оно подчиняло себе эстетику, оно стало душою критики, мало того—у Толстого оно вылилось в целую философски-религиозную систему. Как превосходно предчувствовал это Белинский, когда писал Боткину: „Будь повесть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное, сколько-нибудь *дельна*—я не читаю, а пожираю... Ты сибарит, сластена.. тебе, вишь, давай поэзии да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мне поэзии и художественности нужно не больше, как настолько, чтобы повесть была истинна, т.-е. не впадала в шарж и аллегорию или не отзывалась диссертациею... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление. Если она достигает этой цели и вовсе без поэзии и творчества—она для меня тем не менее интересна“... (Письмо начала 1848 г.).

Несомненно, что благодаря мужику или, лучше сказать, мужицкому вопросу, ясно и широко сознанному лишь в конце сороковых годов, мы перестали быть „странниками“; появилась действительная „сфера определенного существования“, нечто такое, что „привязывало, что пробуждало наше сочувствие, наше расположение и нравственное чувство“—появилась „почва мышления и жизни“... Мужик выручал не раз, надо сознаться, и есть что-то положительно трогательное в этом настойчивом появлении мужика, в той молчаливой опеке, в которой он держал нравственность не только отдельных людей, но и целых исторических эпох.

Трудно сказать, насколько национальные особенности нашего характера, несомненно существующие, хотя и неопределенные, несмотря на попытки первых славянофилов, потом Ап. Григорьева, Достоевского и т. д.—трудно, говорю я, сказать, насколько эти национальные особенности обусловливают практицизм нашего мышления. Во всяком случае, в области теоретической мысли мы почти не проявили ни малейшей самостоятельности и мы, повторяю, практичны в том смысле, что все наше передовое художественное творчество насквозь проникнуто нравственными запросами. По поводу эпохи тридцатых годов Герцен говорит: „проповедь шла все сильнее... *все одна проповедь*. И смех, и плач, и речь, и книга, и Гоголь, и история—все звало людей к сознанию своего положения, к ужасу перед крепостным правом, все указывало на науку и образование, на очищение мысли от всего традиционного хлама, на свободу совести и разума и источником всего этого было *проснувшееся сердце*". Но разве нельзя ту же самую характеристику распространить на литературу всего века? Думается, что, имея во главе нашей литературы Толстого и Достоевского, мы не можем иначе как положительно ответить на этот вопрос. Это придало особый проповеднический характер нашей литературе вообще, а в частности нашей критике.

Первым, кто резко выразил особенности этой последней, был, если не ошибаюсь, К. Аксаков. „В наше время,—писал он,—поэтическое произведение, хотя написанное с талантом, может быть только средством, одним из способов для изображения той или другой мысли. Известен анекдот о математике, который, выслушав изящное произведение, спросил: *что этим доказывается*? Как ни странен этот вопрос в приведенном случае, но есть эпохи в жизни народной, когда при всяком, даже поэтическом, произведении является вопрос, что этим доказывается... Такова наша эпоха". Этими словами пропаганда об'является главной задачей литературы. Сама литература обращается в пропаганду. Белинский высказал ту же мысль в словах: „Главное, чтобы повесть вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление". Совершенно справедливо замечено о Добролюбове: „он понимал, что бывают эпохи и задачи, несовместимые с эстетикой, что есть категории добра и зла, несовместимые с другими категориями и, главным образом, категорией красоты". Мне нечего

говорить, что в дальнейшем своем развитии русская критика, почти без исключений, подчинилась влиянию идей Добролюбова.

Наша критика была проникнута той же религиозно-нравственной идеей святости человеческой личности, как и наша литература. Но реализм русского мышления она довела до крайнего его логического развития. Вот что я говорю ниже о Добролюбове: „быть может это самая глубокая и серьезная фигура всей нашей литературы 60-х годов... Я особенно настаиваю на словах „глубокая и серьезная“ и хотел бы даже удесятерить их значение, заменив одним определением: Добролюбов был *натура религиозная*, счастье человечества было его богом, и он служил ему, как жрец, с страстной любовью, нежным умилением, но и беспощадным негодованием в то же время против всех людей иной веры, иного кумира. Даже у противников 60-х годов по поводу Добролюбова вырываются порою хорошие строки, как вырываются они у всех, кто проник в истинный смысл хотя бы одной из статей, написанной так безжалостно рано умершим критиком. Его обвиняют в холодности, его называют подчас мертвой головой, затвердившей одно слово: „счастье всех“ и бесконечное число раз переворачивавшей его на все лады. Да, от него действительно веет холодом, но это холод сдержанного негодования, холод страсти кристаллизованной, поглотившей всего человека, сделавшей из него в одно и то же время маньяка и ясновидца и испепелившей его наконец. „Милый друг я умираю оттого, что был я честен“—не пустые слова и не гордыня духа. Честность, не та, конечно, пошлая, мещанская честность, которая не ворует платков, а та большая, мучимая муками всех обездоленных, откликающаяся на все их слезы, сделавшая задачу их отмщения своей задачей, действительно свела его в могилу. И он ушел в нее без слез и без отчаяния с теми же словами предсмертного завета, с которыми он при жизни,—обращался в толпе учеников: „верьте, что бог—счастье всех людей, бог, которому мы служим—теперь обиженный и опозоренный, еще сойдет на землю во всей красоте и величии и сделает из этой юдоли страдания и плача—юдоль красоты и веселья. Верьте, что вы будете отомщены, потому что все униженные и оскорбленные достойны отмщения“.

Религиозно-нравственная идея нашей художественной литературы во всяком случае не обходилась без некоторой примеси

мистицизма, без некоторого содрогания перед тайнами и загадками жизни. Это видно хотя бы из постановки вопроса о зле. Несомненно, напр., что у Гоголя, особенно у Достоевского это зло является чем-то абсолютным, органически присущим человеческой натуре, чем-то грозным и пугающим, как первородный грех, как зараженный источник нашей жизни вообще. Читая некоторые страницы Достоевского, не можешь отказаться от мысли, что он порою склонялся к самому простому и конкретному дуалистическому миросозерцанию, признавая самостоятельность Злого Начала. Но уже ничего мистического не видим мы в нашей критике. И все же идея ея остается *религиозно*-нравственной, так как нравственные начала жизни и деятельности понимались ею, как имеющие абсолютную санкцию. В глазах Белинского счастье человека было началом абсолютным, не требующим оправдания,—Добролюбов называл религией такое дело, „которое было бы для людей жизненной необходимостью, сердечной святыней, котороебы органически срослось с ними так, что отнять его у них, значило бы лишить их жизни". Общественное благо развития и нравственная обязанность жить и умирать во имя его были несомненными догматами.

Нашу критику часто упрекают в односторонности и узости ее основной точки зрения, все сводившей к общему благу. Просто говорят: критики, как самостоятельного искусства, у нас еще не было; была публицистика, социология, проповедь—все, что угодно, но не критика. Отчасти это справедливо, конечно, потому что критика наша всегда отводила искусству служебную роль и охотно смешивала его с наукой. Спрашивается, какая другая критика могла развиться на почве нашей великой художественной литературы, всегда стремившейся обличать, философствовать, учить,—той литературы, которая в лице своих признанных глав—Гоголя, Достоевского, Толстого, отрицала самостоятельное значение искусства, ставила его целью благо общества и презирала служение красоте. Проводите внимательно параллель между взглядами на искусство Гоголя и Белинского, Добролюбова и Толстого и серьезного принципиального различия между ними вы не найдете. Итак, душа нашей критики, как и литературы „страданиями человеческими уязвлена была", но для нее с самого начала не представляла ни малейшего сомнения мысль, что „бедствия человека происходят от человека же".

Итак, практицизм, т.-е. взгляд на литературу, как на общественное служение, является для нас, русских, как бы традиционно-обязательным. Этим об'ясняются и великие ее достоинства и некоторые недостатки. Великое достоинство в том, что она стремилась утвердить в умах людей идею святости человеческой личности, естественно равной и равноценной всем другим личностям; недостаток в том, что, доходя в своем служении до аскетизма, она не избегла некоторой суровости, пристрастия к догматам, фанатизма в проповеди пользы, полезного, в вопиянии против красоты. По этому поводу мне хочется прибавить несколько слов.

Русская интеллигенция, вообще говоря, привержена к догме. Как ни часто меняется эта догма, преданность к каждому новому исповедованию является почти что сомоотверженной. В 30-х и сороковых годах у нас была догма гегелианская, в 60-х—материалистическая, в 70-х народническая, в 80-х индивидуалистическая, в 90-х марксистская.

По нашей юной культурности, с одной стороны, по лености мысли и горячей впечатлительности сердца, обойтись без догмы мы не можем. Она нам нужна, чтобы не думать самим. В прошлом—только скромные ученики Европы,—мы так привыкли к этому ученичеству, что, сами думая, чувствуем себя в состоянии полной растерянности. Наша философская мысль действительно очень слаба, прямо-таки плачевна. Ничего оригинального и ценного. Даже свое собственное народничество мы разработали так плохо с логической стороны (напр., труды Юзова, В. В., публицистика Ап. Григорьева и Достоевского и т. д.), что нам было бы стыдно пред'явить его Западу в качестве tastimonium philosophandi, т. е. свидетельства о способности философствовать.

Больше того: само по себе логическое развитие идей интересует нас очень мало. У нас нет той огромной дисциплины мысли, которую дала европейскому мозгу средневековая схоластика, и подступая к какой-нибудь системе, мы прежде всего смотрим на ее последнюю страницу—ее нравственные выводы и—бедные—всегда и во всем ищем правил поведения. Несколько грубо, но в сущности совершенно справедливо сострил Влад. Сер. Соловьев над 60-ми годами, сказав: „тогда рассуждали следующим образом: так как ты, смертный, произошел от плешивой обезьяны, *то* должен быть нравственным и общественно полез-

нымъ". Рассуждали, положим, не так, но действительно связь между теоретическими посылками и нравственными выводами была случайна и произвольна, и о том, чтобы сделать ее прочной и логически-нравственной, позаботились уже 70-е годы. Но даже и это относится в сущности не столько к особенностям нашей мысли, сколько общественного строя. Имея в виду некоторые его стороны, мы до сомозабвения увлекались, напр., материализмом. И мне кажется, что материализмом увлеклись совсем не потому, что находили особенно привлекательным считать себя продуктом „слепых сил природы", а по другой причине: в материализме видели доктрину, наименее таинственную и будто бы наиболее светскую, лишенную всякого мистического тумана и проистекающих из него общественоположений жизни — говоря проще анти-клерикальную.

Материализм прежде и больше всего был боевым орудием.

Все это так, и в жестких словах Тургенева: „главное, чтобы был у нас барин... То был Яков, а теперь Сидор: в ухо Якову, в ноги Сидору"...—много справедливого. При нашей впечатлительности известная догма закрывает от нас весь божий мир. Ее признание или непризнание делит нас на враждебные друг другу и злобно друг друга ненавидящие партии или, чтобы не так громко—кружки. Мы любим падать в ноги и часто падаем... прямо в грязь. Что станете делать, если такое воспитание дала нам история, если ни чему другому она нас не научила, если все ее внушения сводились к тому, чтобы лишить нас всякой веры в себя, всякого чувства собственного достоинства. У нас нет чувства меры, ибо мы привыкли к безмерному, мы выросли в школе Батыя и Мамая, Грозного и Никона, Бирона и Шешковского, Аракчеева и Клейнмихеля и т. д.

Мысль человеческая сильна не столько своей логикой, своим рационализмом, сколько своей исторической традиционной основой, своей близостью к действительности, к непреложным фактам жизни и своим нравственным содержанием—элементами своего чувства и воли, хотения. Но по части исторической основы у нас очень слабо, и сомнение Чаадаева в том, чтобы у нас вообще была бы какая-нибудь историческая основа для бытия и мысли, остается в значительной силе и в наши дни. Действительности мы не знаем или вернее сказать, только что начинаем узнавать ее. По-

этому в наших глазах мысль сильна только своим нравственным содержанием.

И тут то вот выступает на сцену красивая, хорошая сторона нашего догматизма. В любой теории мы ищем не системы доказательств, не стильной цепи логических аргументов—мы ищем лишь оправдания своего нравственного существа, выхода для накопившейся жажды общественной деятельности, любви, стремления *помочь обездоленным*—этого святого стремления, завещанного нам всей нашей хорошей и честной в главном своем русле русской литературой.

Этого Тургенев, поддавшись минутному, впрочем, раздражению против матреновцев, не заметил. Но как хорошо, как проникновенно заметил и отметил это Достоевский, сказав, что русскому интеллигенту нет дела до его личного счастья, мало дела до счастья своего народа, но настоящее его дело—это *счастье всего человечества.*

Изучая прошлое нашей мысли, т. е. прошлое неосуществленной пока русской цивилизации, мы в каждом теоретическом увлечении, под каждой догмой должны искать и нравственного содержания, и нравственного фундамента. Без этого не будет понятным „чтение до дыр ничтожных брошюрок о Гегеле“—которого в конце-концов мало кто и понял, конечно. Ничего не будет понятно без этого. И как поймешь, напр., такую формулу: „так как ты любишь только себя, то жертвуй собою для счастья всех“ или: „пусть секут: мужика секут же“ и т. д.? Догма, теория—это одежда, часто совсем не подходящая, уродливая и безобразящая скрытую под ней истинную нравственную сущность.

И все же она нам нужна, именно потому, что мы не умеем, не привыкли думать. Когда мы тратим свои силы на установление логической связи—у нас по большей части ровно ничего не получается, когда же по части логики мы успокоены, когда мы только усваиваем Гегеля, Фейербаха, Милля, Прудона, Маркса и т. д., все наши духовные силы бурным потоком устремляются по руслу чувства или—по нравственному руслу.

В этом наша слабость и наша сила. Слабость—потому что без исторической основы, без знания действительности, без строгой логической аргументации—мысль вообще слаба; сила,—потому что мы быстро меняем теории—одежду нашей воли, нашего хоте-

ния, цель которого счастье народа и счастье всех. Преобладание нравственного элемента делает нас исконными врагами всякой схоластики, всякого „теоретического" самодовольства.

Пока—наша стихия чисто этическая.

Идея, что литература служит обществу и его нравственному совершенствованию, заставляла наших писателей особенно чутко прислушиваться к голосу своей совести—этого главного вдохновителя барской эпохи нашего литературного творчества. Неправоту общественной жизни, основанной *на чужом труде*, неправоту своего общественного положения, своих привилегий—русские люди заподозрели уже со времен Радищева. Не всегда совесть говорила совершенно ясно, не всегда определенно указывала она на источник своего возмущения и негодования—но она почти всегда говорила. Как было трудно заглушить ее софизмами мысли, видно из печального эпизода с „Перепиской" Гоголя и его оправданием крепостничества. Эта возмущенная и негодующая совесть всегда ставила перед человеком грозный вопрос о смысле его личной жизни, о ее нравственном оправдании. Недавно еще Толстой спросил, как же можем мы жить, зная, что для исполнения наших прихотей люди должны работать 37 часов под ряд? Этот вопрос целых сто лет не сходил в той или другой форме со страниц нашей литературы. И разве теперь мы не можем повторить „Деревни" Пушкина, хотя бы этих строк:

> Здесь тягостный ярем до гроба все влекут;
> Надежд и склонностей в душе питать не смея...

Отказ от своего привилегированного общественного положения, вызванный муками возмущенной совести, вы слышите и у Радищева, и у декабристов, и у Лермонтова и, чем дальше, тем больше и яснее. Лермонтов не дорожит ни славой, купленною кровью, ни полным гордого доверия покоем, хотя, очевидно, что на этих двух устоях зиждились привилегии его и близких ему людей. Проследите дальше борьбу с крепостным правом, вспомните „ганнибаловскую клятву" Тургенева, скорбь Герцена, негодование Щедрина, весь первый период нашего народничества и вы увидите, что голос совести тут слышнее всего. Лучшие люди нашего старого барства не только усердно, но и вдохновенно, с фанатизмом иконоборцев подрубали тот сук, на котором сами они сидели. Это действительно оригинальное и красивое зрелище. В 60-ые

годы совесть была до некоторой степени удовлетворена, потому что рухнула твердыня крепостного права. Но скоро она опять заговорила и еще слышнее, и еще напряженнее. Тут перед нами на первом плане один из самых красивых, хотя и болезненных русских типов—тип кающегося дворянина. Тут—голос совести, встревоженной воспоминаниями о неправде предков, тут бескорыстнейшее благородство, тут надрыв души, то самообожавшей себя всей полнотой самообожания, то презиравшей себя всей полнотой презрения.

В кающемся дворянине прежде всего и слышнее всего голос совести. Он спрашивает себя, откуда у него образование, откуда культурные стремления, откуда тонкость вкуса, откуда благороднейшие побуждения—и на все это у него готов один ответ: „все оттуда же, все из условий крепостного состояния, в котором целые века томился народ, и этот народ безропотно, а часто и самоотверженно кормил, одевал, услаждал моих предков, а они расплачивались за это зуботычинами, кровавыми расправами на конюшне, полным пренебрежением к личности человека“... Он может, конечно, успокоить себя вот каким рассуждением: „мои приятели, крепостные Федька и Яков проданы, и этою ценою оплачено мое воспитание; таким образом создался образованный, гуманный, развитой, либеральный молодой человек, который, выйдя на стезю жизни, еще более расширит предел гуманности, образованности, развития и либерализма“,—но он не хочет, не может сделать этого. Его мучит совесть. Его тяготит дворянское происхождение. Он знает, что он должен ответить за все это, должен искупить вину. И он спешит, торопится, хотя каждый шаг дается ему нелегко. Он точно взбирается на высокую гору и часто лишь отчаянным приступом, надрывом берет крутизны:

„Но во имя правды,—восклицает он,—пожалуйста, не говорите о „веселой торопливости“. Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпел впоследствии, вспоминая жидовские проклятия, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое. Нет, тут не бывало и не могло быть веселья. Торопливость была. Да как же не торопиться? Как не торопиться из угарной комнаты, когда голову ломит, дышать трудно, ноги подкашиваются? Как не кричать: воздуху! воздуху! света!.. Как не каяться, если

совесть мучит? Пусть она мучит вздором и неправильно, да ведь мучит. Это—факт“...

К голосу совести прибавились другие мотивы, не менее властные и внесенные в нашу литературу преимущественно разночинцем. Все всегда вело к одному: к борьбе с рабством человека, к выполнению добровольно возложенной на себя освободительной миссии.

Кончилось ли это движение? Спросить себя об этом значит,— спросить себя о том, кончилась ли неправда жизни, кончилось ли рабство наших дней, жив ли Толстой, перестали ли мы чтить Достоевского, кончились ли мы сами, наконец? Достоевский, назвав русского человека скитальцем по преимуществу, сказал про него: „русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться: дешевле он не примирится,—конечно, пока дело только в теории“.

Во имя той религиозно-нравственной сущности, которая заключена в человеке и делает для него невозможным пользоваться себе подобными, как орудиями и средствами, шли чудно-красивые отказы нашей интеллигенции. Отрекались от барства, от малейшего наследства его, брали на себя неоплатный долг перед народом, отрекались от культуры и искали опрощения. Ряд отказов еще не окончился, и вот босячество... Но к чему же сводится все это?

Достоевский сказал, что Пушкин унес с собою в могилу некоторую великую неразгаданную тайну. Но можно, кажется, подозревать ее. Я, по крайней мере, слышу ее в словах: „не надо человеку ни земли, ни дома, ни огорода“ и в других таких же: „принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. Человеку нужно не три аршина земли, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа“ (Чехов).

II.

На всю русскую литературу, в ее главном русле—(включая сюда, разумеется, и журналистику) я смотрю, как на превосходно исполненное художественное произведение. Мне обидно, поэтому,

когда слишком „учено“ и старательно отмечают западные влияния. Не потому, конечно, чтобы я их отрицал. Отрицать факта нельзя, и у нашей культурной мысли, конечно, две родины—Россия и Европа. Но *выбирать* приходилось из многого и разнообразного; *выбиралось* же по преимуществу одно и однообразное. В этом выборе и в толковании выбранного наша оригинальность. Наша русская литература может представиться превосходно исполненным художественным произведением, потому что она представляет из себя развитие той же *освободительной* идеи. В разной форме, конечно, и при разной глубине понимания, но *все той же*, так как есть многое, одинаково как положительное, так и отрицательное, стихийно нас к ней влекущее.

Нам надо ближе и пристальнее вглядеться в особенный характер русской литературы и определить основную ее идею. Существуют и тот, и другая и притом свои, ни откуда не взятые, ни с какого другого языка не переписанные. Даже при самом поверхностном взгляде на нашу русскую литературу, сразу бросается в глаза и ее преобладающий *проповеднический* характер и первенствующая роль мотивов совести и покаяния, к которым присоединяются, никогда, однако, не первенствуя, мотивы чести и личного достоинства и такая, лишь с виду незначительная, но в сущности серьезная и характернейшая особенность, как возведение в перл создания „божьих людей“ и „юродивых“. Не смейтесь, прошу вас. Это последнее важнее, чем кажется и находится, как скоро увидим, в органической связи со всем строем нашего исчезнувшего или исчезающего общинно-земледельческого миросозерцания, упрямо настаивавшего, несмотря на жестокие обиды и неудачи, на том, что „не в силе бог, а в правде“. И вот служители этого бога—правды являются излюбленными людьми нашей литературы, часто ее героями, как бы в пику и в противоречие рационалистическому западно-европейскому пониманию, вылившемуся в совершенно другую формулу: „сила есть право“. Дурачек Левка Герцена, дурак Щедрина, Парамон—юродивый Успенского, Платон Каратаев и старик Аким Л. Н. Толстого [1]), Любим Торцов Островского,

[1]) Тот же Толстой в одной из своих сказок создал целую утопию царства дураков. В этой сказке далеко не все сатира. Это обостренное и преувеличенное выражение излюбленной идеи нашего славянофильства, что сила жизни не в прогрессе наук правового самосознания, не в рационализме, а в „нравственном“ труде.

Перчихин Горького - не случайность, не обмолвка. Эти „божьи люди“, и юродивые, и их культ, признание на их стороне высшей правды и высшей силы находится, повторяю, в органической связи и с нашим общинно-земледельческим миросозерцанием...

Верная своему характеру проповеди, пропаганды, сохраняя и лелея свою освободительную миссию—русская литература в главных своих произведениях, главном русле своем, насчет которого и сказано: „scripta manent in saecula seculorum“ (написанное остается во веки веков) отличается ей более всего свойственным ригоризмом и суровостью. По форме она часто аскетическая. Как бы в глубочайшем сознании великого, ею совершаемого подвига, устраняется она от „чарованья красных вымыслов“, от соблазнов слова. Служенье муз не терпит суеты—сказал Пушкин. Служенье массе, и при том закабаленной массе, несовместимо с соблазнами слова, с эффектами внешней красоты или *красивости*. Но ведь это служение массе и было тем подвигом, тою задачей, выполняя которые, русская литература выработала свои лучшие традиции и дала преобладающее значение голосу своей совести.

Тут нет ничего странного, неестественного и натасканного на себя. Наша художественная литература вскормлена крепостным трудом. Это был слишком очевидный факт жизни, чтобы не видеть его. Это был жестокий и ужасный факт в жизни в то время, когда кружки, откуда выходили наши лучшие литературные силы, одолели и западно-европейскую науку и западно-европейскую философию, когда критика их изощрялась уже не только на своей русской, но и западно-европейской действительности. И вдруг, рядом, застоявшееся крепостное право, противоречащее самым элементарным требованиям разума и нравственности, от выгод которого сам человек не имеет однако сил отказаться... Как тут не заговорить, не закричать, не завопить стыду и совести?!

Литература в лице лучших своих представителей вовсе не думала, поэтому, о забаве и развлечении, не думала о виртуозности слова: она учила, вела, указывала путь и притом обыкновенно в довольно тяжеловатой форме. Со времени же 60-х годов мы как-то особенно усиленно хотим простоты и еще простоты. Мы боимся всего блестящего, считая его вычурным. Наша действительность так сера, неожиданное, яркое, поражающее так глубоко запрятаны в душе человека и так редко выходят оттуда на свет

божий, что нет ничего удивительного, если сверкающие краски приподнятой фантазии кажутся нам не вполне естественными, как бы с умыслом подобранными, чтобы поразить нас. По части красок и эффектов в нашей литературе действительно господствует ригоризм, какая-то стыдливость, почти что целомудренная. Посмотрите, как обидно скуп Достоевский на описания природы, или как небрежен (и часто умышленно небрежен) в своем языке Толстой, или как мало дела тому же Толстому до того, как чувствует себя читатель от его бесконечных рассуждений и отступлений: он рассуждает и отступает, когда и зачем ему вздумается. Очевидно, что полезное мы предпочитаем прекрасному, что в нас есть боязнь эффектов красоты, „вопияние“ против ее соблазнов. Конечно, за последнее время взгляды наши значительно расширились; мы не станем уже говорить, что эстетическая точка зрения интересна только для институток, или что красивое слово, красивый образ—пустая побрякушка. Но все же есть у нас нечто родственное со взглядами эпохи, когда литература была *служением закабаленной массе*, когда исполняла она свою ганнибалову клятву, совершала свой *подвиг освобождения рабов*.

Воспитанные скудной природой и еще более скудной действительностью, мы привыкли к серым краскам и серым мутным тонам художественной живописи и они с избытком искупаются в наших глазах требовательностью нравственного чувства, под'емом нравственного вдохновения. На соблазны красивого слова мы могли бы сказать то же, что говорил когда-то Пушкин своему насмешливому критику:

> Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий;
> За ними—чернозем; равнины скат отлогий,
> Над ними серых туч густая полоса.
> Где-ж нивы светлые? Где темные леса?
> Где речка...

И в этой-то унылой обстановке литература совершала свое „служение“. Не природе и ее красотам, не радостям жизни, не блестящему калейдоскопу действительности отдавала она свое вдохновение, а тоске по неправде жизни, мукам своей привилегированной совести, печали о серой массе тех, „чьи работают грубые руки, предоставив почтительно нам наслаждаться искусством, наукой, предаваться мечтам и страстям“...

Благодаря тому обстоятельству, что литература в наших глазах есть прежде всего служение, миссия, подвиг, мы в отношении к ней, лишь с виду противоречиво, а в сущности, вполне естественно,—и очень требовательны, и очень *не*-требовательны.

Мы не требовательны по части формы; у нас не редки успехи произведения и писателя очень мало даровитого; мы выносим скуку и серость изложения и тоску разглагольствования. Но в то же время мы все еще очень требовательны по части идей, направления, по части симпатий и антипатий автора, по части его любви и ненависти. Без ясной формулировки мы хотели бы, чтобы хорошие книги писались хорошими людьми. Фет, напр., прямо-таки подрезал свою поэтическую репутацию „Письмами из деревни", Майков—своим равнодушием к общественным вопросам и своими идеалами государственника. В русской литературе есть масса имен, затерявшихся и забытых, несмотря на весь талант их носителей, просто потому, что эти „носители" не были передовыми людьми, не отвечали передовым стремлениям общества. Мы хотим знать, чего человек, писатель хочет, куда он ведет нас, какой путь указует. Пока это неясно,—мы только присматриваемся к нему; когда это выясняется, мы или возводим его в кумиры, или подвергаем остракизму, забвению и по некоторой свойственной нам жестокости закапываем живым в гроб. Правы мы или неправы,—это очень большой вопрос, но несомненно, что сама наша литература приучила нас пред'являть к ней такого рода требования, больше всего приучила ценить ее *волю*, ее нравственно—освободительное стремление, а не ее созерцание.

Еще раз приходится указать поэтому, что до вчерашнего дня наша стихия чисто этическая и что проблемы другой (правовой) жизни как-то мало интересовали нас...

Другой особенностью нашей литературы является то обстоятельство, что в центре ее мы видим *общинно-земледельческое* миросозерцание. С ним она борется, его выясняет, его поддерживает и, наконец в лице Толстого дает ему высшее художественное выражение.

Впервые сознательно камнем краеугольным своей философии истории и критериумом в вопросах жизни поставили общинно-

земледельческое миросозерцание наши славянофилы. Но в этом земледельческом миросозерцании было очень много *землевладельческих* элементов.

Над тем, чтобы формулировать это общинно-земледельческое миросозерцание, больше всего поработал Хомяков. Обращаюсь поэтому ненадолго к его замечательному исследованию „Записки о всемирной истории". Его формулы, измененные или преувеличенные, или в отзвуках, вы найдете и у славянофилов вообще, и у Толстого и Достоевского, и у наших почвенников и даже у наших народников, хотя те, в лице своих радикальных вождей, и чураются всякого родства с славянофильством.

В общинно-земледельческом строе народной жизни и в общинно-земледельческом характере русского мышления Хомяков видит главные и лучшие особенности нашей культуры. Он любовно отмечает консерватизм земледельца и его демократические убеждения, и его веротерпимость в самом широком смысле слова и знаменитые „кротость и незлобивость" его характера и отсутствие в нем идеи личности, идеи чести и права. Его главная мысль—противопоставление народов-завоевателей народам-земледельцам.

„Народы завоевательные,—говорит он,—по первоначальному своему характеру сохраняют навсегда чувство гордости личной и презрения не только ко всему побежденному, но и ко всему чуждому",

„*Народы земледельческие ближе к общечеловеческим началам.* На них не действовало гордое волшебство победы; они не видали у ног своих поверженных врагов, обращенных в рабство законом меча, и не привыкли считать себя выше своих братьев, других людей. Оттого они восприимчивее ко всему чуждому. Им недоступно чувство аристократического презрения к другим племенам; но все человеческое находит в них созвучие и сочувствие..."

В этих словах Хомякова трудно не видеть прообраза все-человека Достоевского. Пойдем однако дальше:

...„Когда наступают враждебные племена пастух и зверолов сражаются и в случае поражения, охотно бегут в другие края. Им везде хорошо, где только есть простор да луг для пастбищ.

Участь народа земледельческого совсем иная. Утомленные борьбою с племенами, вечно готовыми к разбою и войне, и в то же время привязанные к земле своей неразрывными узами привычки и труда, они *меняют прежнюю свободу на смиренную подчиненность или безусловное рабство.* Победители дорожат ими, как *слугами кроткими и трудолюбивыми, как чем-то средним между человеком и полезным животным.* Им препоручает воин соху, ко-

торую он презирает, и домашнюю работу, к которой он неспособен. Побежденного же воина, если он не убежал от побоища, предают смерти, как недостойного свободы и неспособного к рабству.

Здесь Хомяков в ореоле ученого исследования, очевидно, восхваляет то, что и для многих народников является перлом русского нравственного строя—наше смирение, нашу кротость и незлобивость [1]). Фактически он в большей или меньшей степени прав, но в нем несомненно говорит землевладелец, а не философ земледельческий стихии, когда он перлы русского нравственного строя начинаем с очень сомнительным успехом разыскивать и отыскивать и в крепостном строе,—когда он уверяет, напр., что ему известна земля (т. е. Россия), где рабство (весьма недавно введенное государственною властью) не внушало владельцам презрения к своим невольникам хлебопашцам, земля, в которой выслужившийся крестьянин уравнивается не только законом, но и обычаем и святыней общественного мнения к потомкам основателя самого государства"—или слишком решительно говорит, что „земледелец был искони помещику родным, кровным братом..."

В земледельческой стихии видит Хомяков источник и нашего *демократизма*:

...Мы,—говорит он,—будем, как всегда и были, *демократами между прочих семей Европы: мы будем представителями чисто-человеческого начала, благословляющего всякое племя на жизнь вольную и развитие самобытное*. Законы могут создать у нас на время родовое дворянство, может быть, и родовое боярство, могут учредить у нас маioратства и право семейного первородства; ложное направление народности в литературе может раздувать в нас слабую искру гордости и вселять безумную мечту первенства нашего перед нашею братиею, сыновьями той же великой семьи. Все это возможно. Но невозможно в нас вселить то чувство, тот лад и строй души, из которого развиваются маioратство и аристократия и родовое чванство и презрение к людям и народам. Это невозможно, этого не будет. Грядущее покажет, кому предоставлено стать впереди всеобщего движения; но если есть какая-нибудь истина в братстве чело-

---

[1]) Левое крыло народнической и общинноземледельческой мысли внесло очень серьезную поправку и в этот славянофильский культ смирения и незлобия. Их отмечая и любуясь ими, быть может, больше, чем следует, оно выдвигало однако вперед и *стояние за правду*, в огромном большинстве случаев, чисто пассивное. Человек в себя берет зло жизни, не противится ему, но и не уступает ему, не идет на его соблазны. Только себя отдает он ему в жертву, т.-е. тело свое, дух же свой, личность свою соблюдает неприкосновенными. Он неподвижен, но это твердыня, о которую разобьются все подкупающие и насилующие волю усилия жизни.

веческом, если чувство любви и правды и добра не призрак, а сила живая и неумирающая, зародыш будущей жизни мировой, — не Германец, аристократ и завоеватель, а Славянин, труженик и разночинец, призывается к плодотворному подвигу и великому служению“.

Там же, в той же стихии, быть может, крупнейший факт нашей цивилизации—слабое *развитие личности*, а, значит, добавлю я от себя, и правового самосознания.

„Самая способность (земледельца) сочувствовать всем видам человеческого развития, принимать впечатления внешние и сживаться с жизнью иноплеменников, лишает земледельца упорного характера личности, неизменно сохраняющей свои первоначальные черты. Борьба их против стихии, менее уступчивой и гибкой, кончается почти всегда уступкою врожденных коренных стихий. Тот, кто охотно говорит на языке чужом, охотно забывает свой собственный язык“.

Утешением Хомякову в этом случае является то соображение, что как ни легко принимает земледельческий народ весь образ своих завоевателей—„не должно думать, чтобы дух народный погибал без следа“. „Так, Россия, — продолжает он, — увлеченная бурным движением диких веков и соблазном западной науки, давно живет жизнью чуждою и несогласною с ее настоящим характером. Она утратила свое мирное братолюбие в раздорах удельных, свое устройство гражданское в возрастающей силе князей и особенно великокняжеских престолов, свою областную жизнь в потопе Монгольском, свой чисто демократический лад в борьбе с аристократической Польшей. Наконец, при всем наружном блеске она представлялась глазам наблюдателя глубоко, вполне, безнадежно искаженною. Пришло ей время узнать себя, и отовсюду, нежданно-негаданно, пробиваются ростки старых корней, которые считались погибшими и народная жизнь является со всеми признаками личности самобытной...“

Эта самобытная личность народной жизни и для Хомякова, и для первых славянофилов вообще, и для Толстого, и для всего правого крыла наших народников, и для верующего Златовратского, и для скептика Успенского—общинно-земледельческий строй и выработанные в нем, в сердце его, нравственные начала. Освободить этот строй из-под ферулы системы официальной народности [1]) и из-под крепостного права и его переживаний было задачей всех только что указанных лиц и групп.

---

[1]) См. 90—97 стр. моей книги.

Сам Хомяков нисколько не скрывает от себя того обстоятельства, что в земледельческом „простодушном“ миросозерцании много рабьих и даже хамских элементов, и часто оно сливается в его глазах с миросозерцанием побежденных народов вообще. Но его до конца привлекает эта кротость и незлобие земледельца, это отсутствие в нем гордыни, эта пластичность и веротерпимость его натуры, хотя и слишком уже легко уступающей чужому влиянию, но зато позволяющей другим жить и развиваться подле себя. Больше всего его радует то обстоятельство, что у раба и у холопа нет недостатков властелина, что раб ближе к идеалу христианской личности, чем господин. „Народ порабощенный,—говорит он,—впитывает в себя много злых начал; душа падает под тяжестью оков, связывающих тело, и не может уже развивать мысли истинно человеческие. Но господство еще худший наставник, чем рабство, и глубокий разврат победителей мстит за несчастье побежденных“...

Что народ, простой народ, крестьянство, хранит в себе истинные основы и земледельчески-общинного строя, и земледельчески-общинного мышления—это была литературная вера наша в течение почти целого столетия. Конечно, она не обходилась без преувеличений, без идеализации; закабаленное состояние массы, в котором все лучшие люди России видели своего врага и как бы даже свой личный грех—только подливало масла в огонь, и крепостной народ обращался в истинно-христианский народ, носителя, хотя бы в зародыше только, всех лучших стремлений и надежд человеческой жизни. От соприкосновения с ним, при мысли о нем, в литературе, созданной, конечно, людьми привилегированными, пробуждались совесть, стыд, покаяние. Роль их в прошлом нашей мысли действительно велика. Возможно, что когда-нибудь история русской литературы XIX в. будет построена на анализе этих понятий и анализе их художественных воплощений. Прежде и больше всего будет следить она за внушенными ими словами и образами. Она услышит, как голос стыда и совести переходил в ропот и негодование, как стоны покаяния обращались в молитву. Она покажет, что, кроме как к идее мужика, не к чему было прислониться растерянному, измученному бессильной жалостью русскому барину и интеллигенту. И эту идею она выставит перед нами, как святыню нашей литературы, как ковчег ее завета, потому что чаще и больше всего представление об общинной жизни

крестьян-земледельцев сливалось с представлением о древней христианской общине и о таком строе, где находят себе воплощение лучшие общечеловеческие стремления, не суженные, не озлобленные ни борьбой за существование, ни требованиями „священного права частной собственности“.

Но в чем же сущность этого стихийного земледельческого миросозерцания? Читатель понимает, конечно, что в данном случае для меня важна не столько его действительная сущность, сколько та форма, в какой она понималась,—его литературное выражение.

Хомяков отметил пластичность, веротерпимость и демократизм общинно-земледельческого мышления, его религиозный характер. Он и другие славянофилы (К. Аксаков, Ю. Самарин и т. д.) видели в нем дальше несомненную враждебность по отношению к западноевропейскому рационалистическому мышлению. Западно-европейский строй мысли создан завоеванием и завоевателями. Он преисполнен гордыни, веры в личный разум, личную инициативу, он прежде всего стремится выразить себя в правовых, юридических нормах, он верит в договор, прогресс науки и знания, он развил до крайности идею чести и личного достоинства. Его задача завоевать природу и подчинить неразумную стихию общественной жизни разумным началам. Ничего этого не хочет, ни к чему этому не стремится общинно-земледельческое мышление [1]). Его задачи и цели, его любовь и ненависть—другие.

Какие—это лучше и ярче всего выражено Толстым в его проповеди и его художественных образах. Алгебраические формулы Хомякова превратились под его пером в медные барельефы, литые бронзовые фигуры.

Поэзия Толстого развернула всю мощь и силу, всю нравственную красоту, все волевое содержание, всю гамму чувств идеи общины и мужика,—и в то же время все ее жизненное практическое бессилие. Исконная русская стихия высказалась в нем с небывалою, неслыханною полнотой и смелостью. Она прокляла его устами искусственную цивилизованную жизнь, она осмеяла мышление, лишенное нравственного содержания, искусство, не одушевленное идеей служения, разум, поскольку он хочет быть устроителем жизни, волю, поскольку она хочет власти над другими,—она дала

---

[1]) Подробнее о нем см. стр. 149—153, 418—421 и др. моей книги.

последнее, грандиозное сражение западно-европейскому рационалистическому миросозерцанию и в конце-концов должна была отступить перед исконным своим врагом и пойти на уступки. О поражении тут не может быть речи, тут, говорю я, может быть речь только об отступлении.

Эта многолетняя борьба Толстого с западно-европейским строем мысли, воли и чувства—во имя идеи русского мужика, русской общины,—зрелище грандиозное и поучительное. Толстой как будто поставил себе целью разрушить все дело Петра Великого, стереть в душе русского человека все следы реформы, обособить его от всего мира и создать ему такую своеобразную жизнь, которая не вынесла бы, вероятно, ни одного дня столкновения с действительностью. Все лучи чисто русского патриархального настроения, весь ореол, которым русский народ в его прошлом окружал отрешившихся от себя „божьих людей“ и юродивых,—эту народную „интеллигенцию“, вносившую, по словам Успенского, не лесную, не звериную правду, а божескую в народную среду—все понимание красоты чисто растительной жизни, которая просто живет, но не размышляет по поводу себя, не мудрствует, — страстное обожание природы и восторг перед ее стихийной правдой (не даром же Толстой, как и Радищев, как все лучшие люди из среды русского барства—поклонник Руссо)—все соединилось как в фокусе, чтобы создать картину той жизни, которую Толстой с вызывающей иронией и с обидным пренебрежением к господствующему духу рационализма назвал царством дураков. И ее, эту жизнь, он в мечтах своих, очевидно, готовил для своего излюбленного русского народа.

В таком идеале, как и в большей части русской литературы, созданной в эпоху крепостной России—вы ясно различаете два голоса—и голос русской земледельческой стихии, и голос покаяния, наполнявший чуткое сердце русского барина, так непосредственно связанного с прошлым народной жизни — ее крепостным состоянием. Мало отрадных, возвышающих душу воспоминаний оставило оно, но много тревожащих и раздражающих совесть, взывающих к ней и говорящих: расплатись. Огромность долга требовала полной расплаты, без всяких компромиссов, без всяких сделок. Все равно как русское барство для создания своей довольной, обеспеченной жизни, полной высших культурных насла-

ждений, взяло у мужика все — свободу, собственность, право на личное счастье, так тою же ценою хотело оно расплатиться с ним, отказавшись от всех надстроек над его жизнью, от всей красоты и роскоши, созданной вековым потом и трудом. Общинная, земледельческая жизнь русского народа продиктовала форму идеала, чувство раскаяния предписало ему свои законы.

Подчиняясь прежде всего этому чувству, Толстой ненавидит все, что стало достоянием привилегированных, что помогает им упрочить свою власть над другими, себе подобными,—над этой огромной неисчислимой массой рабов. Он громит науку, технику, искусство, все утонченное и просвещенное, наполняющее жизнь праздных, создает свое государство юродивых, видит в цивилизации источник всякого зла и рабства и все вопросы общественной жизни подчиняет голосу совести. У него полное отсутствие юридического и политического самосознания, у него верховная, всем управляющая мечта о совместной жизни людей, цементируемой лишь любовью, взаимным доверием, но ни в каком случае не договором. У него покаянная жажда уйти в массу народа, растворить похотливые и властные порывы личной жизни в *ее* жизни, стереть с лица земли свое гордое, самонадеянное, избалованное „я", и всего себя отдать в распоряжение Природы и Естественного— и вместе с этим у него то же стихийное самосознание, как и у русского народа, отрицающее силу отдельного „я" и даже его право на существование.

Да, здесь, быть может, ist Hund begraben, здесь, быть может, самое важное.

Общинно-земледельческая стихия это скорее отрицание личности, чем признание ее.

Первобытное земледелие, все зависящее от случая, от дождя, от солнца, от всего *независящего* от человека собственно, может внушить веру во что угодно, только не в личные усилия.

Община своим властным принципом „как мир"... предписывает отдельному человеку тоже неверие в себя, развивает его стадные инстинкты, склонность к стадному мышлению и вере.

Этот голос общинно-земледельческой стихии Толстой вслед за славянофилами возводит в философско-исторический догмат (см. последнюю часть „Войны и Мира") и с высоты его громит идею личности и все созданное ею в цивилизованной жизни.

Неверие в человеческое „я", признание массового общинного разума, гораздо более могущественного и правильного, чем отдельный человеческий разум—вот аксиома славянофилов и аксиома Толстого. Но что такое массовый разум?—Это инстинкт, это нравственная интуиция, это религиозное творчество,—пожалуй—это все, что выливается в искусстве. Но только не личность в ее рационалистическом правовом выражении.

В стихийном, массовом разуме—смысл и центральная пружина истории. „Только одна бессознательная деятельность приносит плоды—учил Толстой в „Войне и Мире"—и человек, играющий роль в историческом процессе, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью (человеческих усилий)". В другом месте Толстой выражается еще решительнее: „если допустить, что жизнь человеческая управляется разумом, то уничтожается самая возможность жизни".

Вот какое признание, наиболее решительно формулированное Толстым, таилось всегда в нашем славянофильстве и в миросозерцании нашего барства. Вот чему научила Россию община, жившая под гнетом крепостного права.

Жизнь человеческая управляется не разумом. Отрицание науки и техники [1]), отрицание западно-европейской рационалистической цивилизации, презрение к договору—отсюда. Вслед за Хомяковым Толстой все сводит к вере, в ней одной видит он исход, спасение, истинную силу жизни. Вполне последовательно ставит он интуицию выше знания, искусство выше науки, нравственность выше политики. Он хочет для человека свободы, даже безграничной свободы, но это совсем не та свобода, которая влечет к себе западно-европейского, гордого своим разумом человека. Это свобода одинаково доступная и осуществимая на всех степенях общественного развития, это свобода „округлого человека" Платона Каратаева—раба фактически и юридически.

В своей критике окружающего Толстой всегда говорит от лица русской земледельчески-общинной жизни. В сущности, больше чем кто-нибудь другой, он имеет на это право. Насколько возможно это ему, кровному русскому барину, он действительно приблизился

---

[1]) В миросозерцание Толстого проникают, конечно, и рационалистические элементы. Но не ими живо оно. Никакой рационализм не может примириться с философией „Войны и Мира".

к крестьянскому миру (преимущественно выразившемуся в сектантстве и расколе) и оттого его окончательные итоги, его „медные барельефы и бронзовые фигуры“ особенно ценны.

По Толстому смысл нашего земледельчески-общинного миросозерцания сводится к тому, что „не в силе бог, а в правде“, что внутренняя истинная свобода человека не зависит от внешних форм его жизни, что истинные основы жизни—нравственные, продиктованные взаимной любовью, сознанием братства и равенства между людьми, а не юридические или правовые, т.-е. обеспеченные договором, что цель жизни—в осуществлении общины первых веков христианства.

Это и есть как раз то, что часто зовется русской мистикой и с чем так долго, настойчиво и пока лишь с малым успехом боролся наш либерализм. Тут отрицание культуры и юридических норм жизни, как чего то внешнего, тут „не противься злу“ и „бог есть любовь“.

Я говорил выше, что это земледельческое миросозерцание в различной переработке является центром нашего мышления в течение почти целого столетия.

Официальные люди выделили из него одни рабские элементы и создали грандиозную систему официальной народности, эту истинную философию крепостного права [1]).

Славянофилы пытались представить его в чистом виде, ратовали за его освобождение от ферулы и опеки бюрократизма, но примешали к нему национальную гордыню, панславизм и землевладельческие, дворянские стремления [2]).

Почвенники опошлили учение первых славянофилов и подошли как только возможно близко к системе официальной народности. Их национализм стал криклив и задорен. От красивой утопии панславизма они почти отказались [3]).

Правое крыло народничества, к которому в сущности примыкает и Толстой, представило нам общинно-земледельческое мышление в его наиболее чистом виде, осложненное однако мотивами покаяния [4]).

---

[1]) См. стр. 90 sqq. моей книги.
[2]) Ibid., стр. 138—167
[3]) Ibid., стр. 339 sqq.
[4]) Ibid., стр. 431 sqq., 508 sqq.

Левое крыло народничества (критическое народничество), воспирявшее в себя весь поток западничества, западнического отрицания, западнической идеи чести, личного достоинства, личного развития и личной эмансипации, ушло очень далеко от общинно-земледельческого мышления, сближаясь с ним лишь в конечном идеале [5]).

Все, однако, вертится возле того же центра. Все во имя его косится на идею права и компромисса. Оно—любовь и ненависть нашей литературы, а часто то и другое вместе, странное смешение их, странная психология „odi cum amo“.

III.

Если задача славянофилов заключалась прежде и больше всего в освобождении из-под гнета системы официальной народности земледельчески-общинного строя и земледельчески-общинного мышления (NB. Еще раз: *как* они его понимали. И до сей поры это мышление—X, и глубина его исполнена неожиданностей)—то задачей западнического течения русской мысли была борьба с той же системой во имя *освобождения личности.*

Понятие *личности* менялось в каждую эпоху нашего литературного развития, но, кажется, вот его главнейшие типы:

a) личность государственная, созданная реформой Петра;

b) личность гуманиста, выработавшаяся под влиянием просветительной философии;

c) личность в понимании сантименталиста;

d) личность в понимании романтика. В этой последней чувствуется уже что то современное. Глубина недовольства, переходившая у сильных натур в негодование, очень характерна для нее;

e) личность эстетика-гуманиста. Высшее ее выражение—поэзия Пушкина и литература 40-ых годов [1]);

f) личность протестующая, личность разночинца. Надо заметить, что все выше перечисленные типы личностей принадлежат нашей барской культуре и созданы ее средой. Вместе с Полевым и Белинским выступает на сцену разночинец. В 60-ые годы его роль первенствующая [2]);

---

[5]) Ibid., стр. 436 sqq.

[1]—[5]) См. стр. 248 sqq. 265 sq. 422 sq. 460 sq. 549 sq.636 sq. моей книги

g) критическая личность [3]).

h) целостная, гармонически развитая личность [4]);

i) личность опрощенная, воплотившая в себе земледельческое миросозерцание в понимании его Толстым [5]);

k) личность мыслящего пролетария.

Литературная роль идеи освобождения личности очень велика: Эта идея росла и ширилась, она двигала горами, она поглотила нашу обломовскую, земледельческую стихию, она снесла наше славянофильство и то славянофильское, что есть в каждом из нас, русских людей, гордо и властно воцарилась она в нашем миросозерцании, потому что в ней и только в ней выказалась полнота нашего отрицания—полнота нашей веры. Откуда она, откуда эта ее все еще непонятная для многих власть и могущество? Отсылая читателя к своей книге, здесь я ограничусь лишь несколькими замечаниями.

Идея гармонически развитой автократической личности есть лишь высшее, квалифицированное, так сказать, выражение *идеи освобождения* личности, которая по всей справедливости может быть названа основной идеей всей русской литературы за последние сто лет. 70-ые годы—это завершение всего того умственного развития, которое мы пережили в обстановке дореформенной крепостной России. Естественно, что и идея освобожденной личности достигла высшего, даже абсолютного выражения как раз в эту эпоху.

Сто лет тому назад, под влиянием возмущенного русской действительностью чувства справедливости и великих идей освободительной философии, чудная мечта выработалась в самосознании русского человека. Эта мечта говорила ему о жизни согласно с природой, о естественных правах на свободу и счастье всякого, в каком бы положении он ни был рожден, о равенстве и братстве всех людей. И под ее влиянием русский человек—стихийно тяготеющий к природе и естественному—стал сознавать свою личность и это свое самосознание распространять на окружающее.

Личность XVIII-го века, личность, созданная реформой Петра Великого, была государственной по преимуществу и, кажется, искренне государственной. Литература, т.-е. выраженное в слове общественное и личное самосознание, одинаково была создана государством и находилась у него в услужении. Она оправдывала

его приказания, воспевала его победы, осмеивала его противников, говорила ему бесчисленные льстивые речи и, повидимому, не мечтала даже о своей собственной идее и о своей собственной физиономии. Она (литература) изобрела свой особенный язык, научилась писать правильным размером, украшать свои тяжелые неповоротливые мысли рифмами и лирическим беспорядком, все с тою же и тою же целью выхвалять силу и могущество государства, которое одно только заслуживало в ее глазах похвал, восторгов и песнопений. Вокруг себя она не видела ни природы, ни человека, не интересовалась даже ими; ни лес, ни горы, ни собственное сердце не говорили с ней; ее думы, надежды и сремления были в огромном большинстве случаев строго официальные, а зачастую чисто канцелярские. Ломоносов — вот стихия гения, прилепившаяся к государству, и даже такое яркое дарование, как Державин, лишь в самых редких случаях решается говорить о себе и своей самостоятельной внутренней жизни. В Державине гений едва смеет показать нам свою личность, *робко выглядывающую из-за громады государства.*

Как отделилась личность от государства? Как постигла она, что у нея есть своя собственная жизнь, которой очень и очень мало дела до взятия Очакова и Измаила, что она может жить сама собой и для себя? Как встала она, наконец, в противоречие с государством? Это величайший вопрос истории русской цивилизации, но для истории литературы собственно важно отметить лишь тот факт, что без проснувшегося личного самосознания не было бы и самой литературы.

Очень интересны первые шаги, первый лепет проснувшейся личной мысли. Я думаю, что мы можем видеть его в знаменитой, все еще необ'яснимо находящейся под спудом [1]), книге Радищева „Путешествие из Петербурга в Москву“... Радищев описывает произвол помещиков, ужасное положение крепостных крестьян и говорит, что страданиями человеческими душа его уязвлена стала. Он советует во имя гуманности и личной выгоды приступить к освобождению крестьян. Несомненно, что он имеет в виду и благо государства, интересы его богатства и развития, но не это на первом плане. На первом плане — жалость, жаление, гуманность,

---

[1]) Эти строчки написаны Е. Соловьевым в 1901 г. (Ред.).

его собственное понимание, что бедствия человека происходят от человека же, его личное возмущение рабством.

Даже наш скромный сантиментализм выясняет нам кое-какие подробности великого факта—*отделения личности от государства*. Только с этой точки зрения может он заинтересовать историка литературы. Сантиментализм—жизнь сердца и даже чувствительного сердца—такого, значит, которое печалится и радуется прежде всего при столкновении с судьбою отдельного человека, отдельной личности. Он плачет о страданиях бедной Лизы, негодует на пошлость Эраста и так занят человеком, отчасти и природой, что, очевидно, мысль его значительно освободилась от обаяния грома побед. Робко, отвлеченно, но несомненно в то же время признал он жизнь человеческую, даже самую незаметную, достойной художественного созерцания. Конечно, в нем были и другие стороны, но для меня важно лишь это вот признание, что рядом с государством, рядом с этой огромной организованной силой существуют и люди, чьи печали и радости способны поглотить все наше внимание.

В Жуковском сразу три человека—и сантименталист, и романтик, и государственник. Но последний — самый слабый, самый незначительный. Официальные чувства и официальное вдохновение почти не даются певцу Леноры и Светланы. С наибольшим наслаждением следит он за призраками собственной фантазии, скачет по воздуху при луне, разговаривает с мертвецами, предается грустным размышлениям на кладбище. Личное настроение Жуковского, совершенно независимое от событий государственной жизни, так властно говорит в нем, что он весь отдается ему и слышит только его голос. Он поэт своего я и только „я". Его меланхолия, его грусть с государственной точки зрения не только необ'яснимы, но и незаконны. Государство с полным основанием (и такие примеры действительно бывали) могло бы сказать ему: „о чем грустить теперь, когда побежден Наполеон, освобождены Россия и Европа, заключен священный союз и т. д. Как может русский гражданин грустить в такое время"? И в этом упреке, в этом недовольстве государства не было бы ничего неожиданного: не потому ли самому прежде и больше всего была недовольна Екатерина Великая книгой Радищева? Но с прямыми интересами и общим направлением государственной жизни Жуковский не

сталкивался: он просто сторонился от них в своей поэзии, как от чего то, для него—художника, постороннего и ненужного. Тягости государства он не чувствовал.

Но уже очень почувствовал ее Пушкин. Помните ли вы взрыв его благородного и чуткого негодования, когда он увидел часовых возле картины, изображавшей Распятие:

К чему, скажите мне, хранительная стража!
Или распятие—казенная поклажа?
Или боитесь вы воров или мышей?
Иль мните важности придать царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, терние венчанного колючим...
...Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила?
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ.

Это не мелочь. Такие строки, как „иль мните важности придать царю царей“, „иль покровительством спасаете могучим Владыку“ исполнены язвительнейшей иронии по адресу тупого самодовольства [1])... Вспомните затем о его отношениях к Бенкендорфу и Дуббельту, о его цензурных и иных неприятностях, а больше всего, конечно, о глубоко-человеческом характере всей его поэзии. Ничто человеческое не было чуждо ей и прежде всего интимно-человеческое, ни в каком случае не государственное. Но нечего и говорить, что возле этого интимно-человеческого стояли двое часовых. Положительно следует на приведенное стихотворение взглянуть, как на символ всей поэтической деятельности Пушкина. За что гнали его, за что преследовали? Прямое свое несогласие с ходом официальной, государственной жизни он заявлял редко, и редко же протестовал против самых даже вопиющих фактов действительности. Он чувствовал их безобразие, как, напр., ясно и ярко чувствовал безобразие крепостного права, но, натура художественная и эстетическая прежде всего, он наибольшее свое внимание сосредоточивал на другом. Лишь в самом скромном смысле и на основании лишь случайных строк можно назвать его поэтом-гражданином. Но самый его ум, живой и свободный, самый его характер, вся его личность находились в прямом противоречии с официальной государственной жизнью.

---

[1]) См. Д. С. Мережковский „Толстой и Достоевский“, стр. 147.

Там были свои интересы, воплощавшиеся в деятельности сначала Аракчеевых и Магницких, потом Бенкендорфов и Дуббельтов, у него—свои и, конечно, другие и прежде всего „служение красоте“, претворение жизни в художественные образы, и эти его интересы совершенно не мирились с практикой и стремлением официальной жизни. Свобода мысли и слова, свобода духа вообще—были его стихией.

И дальше все то же, но больше, шире, с большим раздражением и негодованием, с большим сознанием ответственности перед закабаленной массой и идеей свободного человека. Потому что в этой идее самое главное, самое дорогое и драгоценное, всякая возможность развития, все стремление в область бесконечного совершенствования, вечно влекущую к себе человека, пока она человек.

Этому процессу посвящена моя книга. Поэтому, пока, я позволю себе остановиться.

Но уже из того, что сказано здесь в предисловии, мне кажется, с очевидностью выступает тот факт, что отделение личности от официальных интересов было началом ее духовного освобождения.

Это теоретическое освобождение, говорю я, в конце-концов и стало главным руслом русской литературы. Совершалось же оно, разумеется, в условиях и среди идей, выработанных и созданных земледельческим строем.

Выше я упоминал и о борьбе за эмансипацию этого последнего. Как относится она к борьбе за освобождение личности? Прямого непосредственного отношения здесь нет, но есть серьезное *косвенное*. Дело в том, что первые славянофилы, защищая эмансипацию общинно-земледельческого строя и общинно-земледельческого мышления, тем самым служили и „идее“ личности, хотя в принципе они и отрицали ее. Но, преследуя свою задачу, они проповедывали и свободу мысли, и свободу слова, и веротерпимость. Мышление их было столько же земледельческое, сколько и землевладельческое, но в то же время и противное бюрократизму. И эта проповедь свободы слова и веротерпимости несомненно вошла в главное литературное русло—борьбу за освобождение личности.

Мне думается, что все это вместе взятое дает мне право сказать, что у нашей литературы была *своя* воля, *своя идея*,

стремление, которые ставили ее в противоречие с окружающей действительностью. Не значит непременно, что воля, идея, стремление были всегда и непременно сознательны и выражались всегда в ясных и определенных терминах: художественные образы, стихийно создаваемые литературой, говорили, конечно, больше формул и программ. Но и стихийно и сознательно, одинаково наша литература имела свою любовь и свою ненависть. Это была любовь к человеку, это была ненависть к рабству. К человеку— в каком бы униженном и забитом положении ни находился он, и к рабству—какая бы сила жизни не проявлялась в нем, какие бы слова не приводило оно в свое оправдание. *Воля* литературы не имела ничего общего с волей официальной жизни. Ее стремлением было освободить жизнь и человека. И она добивалась этой цели своей проповедью гуманности, своим призывом к стыду и совести всех привилегированных, своим негодованием при виде обид и унижения человека, своим протестом против них.

Теперь уже я могу поставить один вопрос:

Какова формула главного русла русской литературы? Люди оспаривают не только формулу, данную мною, но и самую возможность ее. Они ссылаются приэтом на свободу творчества. Мне кажется, что свобода творчества, тут не причем. Богатая русская жизнь XIX в. легко, однако, укладывается в формулу эмансипации личности и перехода от потребительно-земледельческого хозяйства к капиталистическому. Богатая литературная жизнь России за тот же век одинаково имеет формулу.

Борьба с крепостным правом и его переживаниями во имя освобождения общинно-земледельческого строя народной жизни и общинно-земледельческого мышления, как деятельное начало славянофильского течения—борьба с теми же устоями во имя эмансипации личности и ее развития, как деятельное начало течения западнического,—таков смысл истории нашей литературы в ее главном русле, такова формула нашего литературного развития за XIX век.

Я думаю дальше, что эта формула должна быть изложена в процессе ее *диалектического* развития, хотя пока далеко не все звенья этого диалектического процесса могут быть ясно и определенно формулированы. Попытку такого изложения и формулы его я даю на последних страницах книги.

Составляя свою книгу, я пользовался многими источниками, общими курсами истории литературы, монографиями и журнальными статьями. Большая их часть названа мною в тексте. Здесь я укажу лишь те пособия, зависимость от которых я особенно часто чувствовал и к которым я особенно часто обращался за руководством. Это: 1) „История русской литературы“ А. Н. Пыпина; 2) „Белинский, его жизнь и переписка“, его же; 3) „Общественное развитие при Александре I“, его же; 4) „Характеристика литературных мнений“ его же; 5) М. А. Протопопов „Литературно-критические характеристики“; 6) Сочинения Н. К. Михайловского; 7) „Литературные воспоминания и современная смута“, его же; 8) А. И. Герцен. Сочинения; 9) „Жизнь и труды Погодина“ Н. Барсукова I—XV; 10) Сочинения Н. В. Шелгунова. Затем для своей книги я использовал собственные статьи, монографии, заметки, напечатанные: a) в биографической библиотеке Ф. Павленкова; b) в журналах „Жизнь“ и „Русское Богатство“; c) в газете „Русская Жизнь“ и т. д.

ЛИТЕРАТУРА КРЕПОСТНОЙ РОССИИ.

Тезис русской литературы.

Когда Константинополь был взят турками, книжники (а также и фарисеи) московского государства об'явили Москву третьим Римом, а государя московского наследником и преемником всех прав византийских императоров. Говорилось это не для красоты слога, а выражало истинную сущность московского правительственного настроения, его огромную гордыню, его самоуверенность, дошедшую, в упоении от внутренних удач и одолений, до крайней степени самохвальства. Чем дальше, тем больше, и никакие беды, постигавшие Русь, не вывели московских книжников и фарисеев из их приятнейшего душевного состояния. Оно оставалось нерушимым, несмотря на победы Батория, перенесло смутное время и разгром Руси и достигло высшей точки своей при Алексее Михайловиче. Это было естественное и исторически неизбежное состояние ума детского и доверчивого, чувства грубого и напыщенного. Оно одинаково известно зулусам и французам (XVI — XVII в.), кафрам и немцам, китайцам и русским, древним перуанцам и англичанам, вообще всем молодым народам при любой форме правления. По мнению славянофилов, оно свидетельствует лишь о невинности души и отсутствии в ней греховных помыслов. Быть может,—но нет народа, который в ту или другую эпоху своей жизни не называл бы себя христианнейшим, лучшим и не считал бы культуру свою первой, как бы оправдывая этим свой пренебрежительный и даже исполненный презрения взгляд на других народов, как низших перед богом. Символом такого самодовольства может служить великая китайская стена, а единственно возможной при нем политикой является поддержание строжайшего порядка во имя строя, об'явленного наилучшим. Но постепенно внешние политические обстоятельства России до того осложнились, что в эпоху Петра волей-неволей пришлось пробить брешь в великой китайской стене, сказать русским, что они неучи, что у европейцев почти все лучше и умнее устроено, чем у них. Русские люди покорно выслушали обидные слова, но нисколько

им не поверили, продолжали думать свою прежнюю горделивую думу и были бесконечно рады, когда Екатерина Великая отчасти своими победами, отчасти манифестами и громадными проектами не напомнила им строй московской формулы, что Русь—это третий Рим. Век Екатерины—блестящий и утопический, поражает грандиозностью своих замыслов, широким размахом мечтаний. Исполнение было часто посредственное, часто мизернейшее (напр., внутренние преобразования), но все равно: оглушенные громом побед, слыша о таком проекте, как изгнание турок из Европы и восстановление византийской империи с новым, русским Константином Порфирородным во главе—или о ребяческих соображениях Бецкого, как создание новой породы людей, русские люди окончательно утвердились в мысли, что времена Бирона или гольштинцев, когда их, наследников третьего Рима, держали в передней (где, впрочем, они усерднейше холопствовали) немецкого дома средней руки—не более как, кошмар.

Конечно, поражение Наполеона, взятие Парижа и проч. должно было окончательно вскружить голову, и восстановление византийской империи казалось уже нестоющим внимания: речь шла о большем—о мировой роли, о водворении царства божия здесь на земле под главенством России. Как восстановлялось на земле царство божие при помощи Меттерниха и Аракчеева, Магницкого, Рунича и Фотия — достаточно известно и распространяться об этом излишне, но никто не скажет, что такая мечта страдала избытками скромности.

Самодовольство, как у отдельного человека, так одинаково и целого народа, говорит не о его „умонаклонении к добру", а просто об отсутствии какого бы то ни было ума и способности сравнивать себя с кем и чем бы то ни было. Но как ни широко было оно развито по всему русскому обществу (крепостная Русь — не в счет), как ни могущественна была оказываемая ему официальная поддержка—оно не обошлось без некоторого, хотя бы робкого протеста. Все равно, как некогда протестовал Максим Грек, после него Котошихин, так теперь стала протестовать литература, уже зародившаяся, в лице сатирических журналов, пьес фон-Визина и, наконец, знаменитой книги Радищева о его путешествии из Петрограда в Москву.

Таким образом, русская литература при самом вступлении своем в XIX век имела уже перед собой некоторый тезис, различное отношение к которому и создало главнейшие направления. Тезис этот прекрасно формулировали книжники XIX века, называя Москву — третьим Римом и высказывая от лица этого третьего Рима претензии даже на всемирное владычество. Страстная полемика Екатерины II против всего того, что она называла злобными клеветами иностранцев (напр., „Антидот“ или „Противоядие“), очевидно служила тому же тезису. Наивно выразил его Шишков, сказав, что реформы и преобразования нужны несчастным народам запада, погрязшим в разврате и революциях, но не нам, русским людям, которых бог милует от внутренних потрясений и чьему оружию он дарует победу и славу. В сухой бюрократической форме, но тем более неуступчивой и непримиримой, тезис этот был формулирован министром народного просвещения, графом Уваровым уже при императоре Николае I. Эта формулировка известна под именем официальной народности, и ниже нам придется познакомиться с ней очень подробно. Пока же достаточно заметить, что основой исконного русского быта, залогом величия России и ее самобытности, панацеей всех зол, могущих грозить ей в будущем, было признано крепостное право. По мнению Уварова, все, затрагивающее его так или иначе, есть уже бунт и возмущение—безразлично, будет ли это раскол или проповедь крестьянской свободы. Таким образом, тезис можно формулировать просто: *мы, русские люди, пользуемся совершенным гражданским устройством, и ни в критике, ни в реформах не нуждаемся.*

Имея перед собой такой тезис, как завещанный нам глубокой стариной и самодовольно отвергавший какие бы то ни было поправки, литература могла: 1) или развивать и совершенствовать его или же 2) пользуясь возможностью критики, отнестись в большей или меньшей степени скептически к всепроникавшему крепостному праву.

В лице лучших своих представителей она избрала второй путь,— в чем и заключается ее жизненная идея в течение первой половины XIX века. Почему, желая дать читателю проспект скептического движения, я начинаю с Радищева.

Радищев и скептическое движение в России.

Радищев (1749—1802). Хотя книга Радищева (*Путешествие из Петрограда в Москву)* не сыграла и не могла сыграть непосредственно роли в истории нашего умственного развития, потому что публика не знала и еще до сих пор (т.-е. через 100 лет после смерти автора и 110 по выходе книги) не знает ее, но все же она характерна, как показатель *настроения*, а ее автор—человек замечательный, чтобы не сказать исключительный. Он, конечно, барин и барин состоятельный, *серьезно* и основательно учившийся за границей, между прочим у знаменитого в свое время Платнера, последователя Лейбница. Я подчеркнул слово серьезно, так как в нашей истории литературы (гг. Галахов, Порфирьев, Тихонравов) утвердилось почему-то мнение, что Радищев был легкомысленный человек, нахватавшийся бойких мыслей у французских философов, преимущественно у Гельвеция. (Странное мнение, а еще более странен его источник—т.-е. статья о Радищеве Пушкина. Пора бы с этим источником распроститься и признать справедливость слов Герцена о нем. Вот эти слова: „статья, не делающая особенной чести поэту. Он или перехитрил ее из цензурных видов, или в самом деле так думал — и тогда лучше было бы не печатать“. Не только большая философская начитанность Радищева, но и умение философски размышлять превосходно доказываются большим трактатом о „бессмертии“).

Но меня интересует теперь его „Путешествие“. Написана эта книга в модном тогда тоне. Это наблюдения, случайные заметки, философские мысли, пришедшие в голову по поводу виденного и слышанного, воспоминания из личной жизни и проч. Ничего особенного, или резкого, хотя вы видите перед собой человека вдумчивого и „чувствительного“, любящего размышлять и предаваться созерцанию. Знаменитостью своей эта книга обязана лишь тем местам, где автор говорит о крепостном праве. Он описывает произвол помещиков, насильственную свадьбу и проч., и удивляется, как такие нравы могут существовать в мудром столетии. Нигде не выражает он требования уничтожить это гнусное состояние, а только возмущается им и призывает самих помещиков приступить к освобождению.

Но и это действительно страшно много для того времени. И откуда такое искреннее негодование? Говорят, из французских книжек — главное из Руссо. Однако, кто в конце прошлого века не читал Руссо, не увлекался им, не возводил в кумиры. И все же все оставались спокойными рабовладельцами, и, отложив в сторону „Discour sur l'inègalité", шли на конюшню или в Армидин сад или вообще творили бесчинства. И своим-то негодованием, своим возмущением Радищев бесконечно выше этих наших Мирабо́. Дальше, когда он размышляет о том, может ли достичь благосостояния и истинного величия рабская страна, вы слышите в нем настоящего умницу. Но, повторяю—ничего резкого. Книга благополучно прошла через цензуру; Радищев разослал уже ее друзьям,—но кто-то, должно быть, в нехорошую минуту подсунул ее императрице. Дальнейшее известно. Радищева после крепости отправили в ссылку, затем вернули уже при Павле. При Александре I одному из генерал-губернаторов вздумалось пригрозить ему ссылкой. Измученные нервы не выдержали, и, вернувшись домой, Радищев отравился азотной кислотой.

Если мы поймем, *чем* было крепостное право для России того времени, мы увидим, как серьезна скептическая мысль Радищева, и поэтому мы его смело можем назвать отцом русского общественного или, что то же, относящегося к общественному устройству, скептицизма. И это я утверждаю без колебания, зная в то же время, что книга Радищева прошла совершенно бесследно, что ее никто почти не читал, а после смешной статьи Пушкина прямо махнули на нее рукой—дребедень-де и мальчишество. Отмечаю еще одну характерную черту „Путешествия" — ту именно, что главный мотив Радищева, в отношении к крепостному праву— это чувство *жалости* к мужику, к бедному закабаленному народу, испуганно выглядывающему из подслеповатых изб „на каждого проезжающего". До голоса совести, до раскаяния в грехах своих, до сознания своей ответственности перед народом, до мысли, что ученик Запада должен притти на помощь этому напуганному мужику и закабаленному народу — еще очень далеко, но есть уже почва, на которой все это выростет. Это та почва, которой не знал Запад в своих сословных отношениях—почва жалости. Сам Радищев говорит об этом в предисловии к „Путешествию".

„Я взглянул окрест меня, *душа моя страданиями человеческими уязвлена стала,* обратил взоры во внутренность мою и узрел, что *бедствия человека происходят от человека,* и часто оттого только, что он взирает не прямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно скрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженства николи? Разум мой вострепетал от сей мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом: „от'ими завесу от очей природного чувствования, и блажен будеши“. Сей глас природы раздавался в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание, я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению и—веселие неизреченное, я почувствовал, что возможно всякому быть соучастником в благоденствии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь“.

И эти слова вполне передают настроение, диктовавшее его книгу.

Скептическое отношение в русской литературе. Сделаю теперь небольшой предварительный очерк скептического движения в нашей литературе, так как оно-то в сущности наполняет собой всю первую половину XIX века.

Скептицизм в литературе XIX века начинается с Радищева. Могут сказать, что это наносное, не русское, могут, конечно, все те, кому еще не надоело повторять славянофильские начатки и хомяковские катилинарии против „выводов свирепой имманенции“. Обращаюсь поэтому к помощи авторитета и делаю справку у основательнейшего и лучшего историка нашей литературы, г. Пыпина.

„Скептицизм,—пишет он в своих „Характеристиках литературных мнений“,—тесно связан с прошедшей умственной историей нашего общества“. „Он кажется в Чаадаеве неожиданным на первый взгляд; он выражается с такою силою, так много захватывает, что мы с удивлением встречаем его среди литературной рутины. Его появление будет однако понятно, если мы сопоставим его с теми критическими запросами и сомнениями, которые давно высказывались в русской литературе и жизни, с первой русской литературы до Новикова, Радищева, до либерализма двадцатых годов, до Пушкина и Грибседова. В этом ряде различных ступеней общественной мысли мы в состоянии будем проследить постоянно возрастающий уровень идеальных требований, и если вспомним при этом, что литература всегда далеко не вполне высказывала накопившееся недовольство, что истинная мысль лучших людей развилась вполне про себя, и что нужно принять в соображение эту скрытую, но тем не менее действительную работу мысли, мы найдем об'яснение для этой *неожиданной степени скептицизма.* У Чаадаева

эта затаенная мысль высказалась так полно потому, что, предполагая писать только для ближайших друзей, он мог обойтись без умолчаний и без лицемерия. *Мы будем обманывать себя, если станем считать вырывающиеся изредка подобные проявления одной произвольной необузданностью писателя, потерявшего дорогу,—если будем скрывать от себя эти симптомы внутреннего процесса, который происходит в сознании общества и который может служить указателем развития.* Мы убедимся в органической законности явления, если обратим внимание на то, что это явление имеет, как свои анцетеденты, так и свои последствия".

Нисколько не удивительно, что скептическое настроение молчало до 20-х годов прошлого века. Если оно и было при Павле, то проявиться все равно не могло. „Цензура, как черный медведь, стоит посреди дороги и отнимает всякую охоту браться за перо",— писал по этому поводу Карамзин, который, как известно, сам, если и страдал наклонностями к скептицизму, то в другую сторону.

— Затем мы занялись войной с Наполеоном, сначала правительственной, потом народной, и эта война отвлекала все наши силы, сосредоточивала все помышления. Изгнание Наполеона было триумфом почти неожиданным, даже невероятным, и дало такую пищу любви к отечеству и народной гордости, что скептики показались, бы прямо чудовищами. Однако уже с начала 20-х годов там и здесь, преимущественно в аристократии, началось брожение, которое закончилось бунтом на площади 14-го декабря. Причин этого движеня много, и здесь не место их перечислять. Достаточно, если мы скажем, что тут повинны, между прочим, несбывшиеся надежды на преобразования, возбужденные восшествием на престол юного императора Александра I—надежды, так долго поддерживаемые им самим.

Любопытно, что сам Александр считал эту причину наиважнейшей. По крайней мере, когда в 1824 г. будущий „великий" Бенкендорф, тогда простой флигель-ад'ютант, подал ему докладную записку, где не только все замыслы будущих декабристов, но и все имена их обозначены полностью, а приближенные стали требовать мероприятий, государь сказал: „как могу я преследовать *их*, если я сам так долго поощрял подобное настроение" (Шильдер, IV). Повинно далее и то, что „молодые люди, побывавшие за границей и познакомившиеся с тамошними порядками, воз-

мечтали ввести их в России". Так говорят наши учебники. Повинна тяжелая рука проходимца Аракчеева и мракобесие Магницких и Руничей, беснование Фотия. Повинно общее романтическое направление европейской литературы, так как—любопытная черта—декабристы-литераторы (Рылеев, Кюхельбекер, Бестужев-Марлинский) были романтиками чистой крови. Повинно и то, что в последние годы царствования Александра I действительно нечем было дышать, и, по словам одного современника, все ходили такими же понурыми, „унылыми и испуганными, как при блаженной памяти императоре Павле Петровиче". Декабристы продолжали радищевскую традицию, но его „чувствительности" придали политическую окраску, которой сам Радищев был совершенно чужд. Их мечтания сосредоточивались возле перемен государственного строя России, но на социальную сторону дела, т.-е. крепостное право, они обращали слишком мало внимания, в чем их много упрекал „один из своих", Н. Тургенев.

Заглянем еще далее, чтобы не растеряться в пестроте картины.

Тридцатым годам присвоено и установлено за ними прозвище годов идеализма. Термин идеалиста „тридцатых годов" так сжился с нашей литературой, что всякий, мало-мальски знакомый с нею, связывает с ним не только определенные представления, но и целый ряд знакомых образов—Станкевича, Белинского, Герцена, Огарева и т. д. Что все они были идеалистами—в этом, разумеется, сомневаться невозможно, но одинаково несомненно, что, прежде чем стать идеалистами, они пережили, бурно или тихо, скоро или медленно, серьезный скептический процесс мысли. Даже Станкевич не избежал его, хотя, казалось бы, что его мягкая, любвеобильная и поэтическая натура меньше всего могла искать близости к демону отрицания. Если вы возьмете тот „дух", который он привил своему кружку,—вы увидите, что там „восторги перед поэзией и красотой" далеко не исчерпывались одними словами, да это было бы слишком печальным явлением в жизни только что зародившейся русской интеллигенции. Нет, этот восторг, это понимание, эта любовь отражались прежде всего, как *требование сурового нравственного долга*, преображались в действительный подвиг собственного очищения, целомудрия, духовной возвышенности.

Надо быть самому прекрасным и чистым, чтобы понимание красоты не исчезло в душе, а, напротив того, ширилось и росло в ней. И друзья невольно выработали для взаимных своих отношений строгий, немного даже монастырский устав. Здесь на первом плане стояли безусловная искренность, откровенность и отрицание всего условного. Вообще же, что дух отрицания был далеко не чужд кружку, видно хотя бы из факта его восторженного преклонения перед Гегелем. Но, если бы даже не было этого, остается очевидным, что Станкевич, выдвигая на первый план высокие нравственно-эстетические требования, становился в полное противоречие с традиционной жизнью барской русской среды—той ее стороной, по крайней мере, которую Лермонтов так гениально охарактеризовал словами:

> И предков скучны нам *роскошные забавы*,
> Их *добросовестный ребяческий разврат*...

Источник идеализма, несомненно, кроется столько же в темпераменте Станкевича и усвоении философии Шеллинга, сколько и в отрицании всех прежних нравственных устоев жизни. На самом деле, перед нами безусловно скептическое исповедание веры, смысл которой сводится к тому, что в окружающей общественной жизни нет ни одной стороны, к которой стоило бы и можно бы „прилепиться сердцем своим“, не запачкав себя нравственно. Но о том же самом говорил и Чаадаев.

Не надо также забывать, что первым литературным трудом Белинского (кроме несохранившихся стихотворений) была его трагедия. Правда, по мнению многих, об этой трагедии не стоит даже говорить, но почему не стоит? Конечно, она явление подражательное, в ней слишком много раздирательных и жестоких сцен и т. д.;—но, она не только не хуже, а пожалуй, и лучше массы драматических произведений того времени. Если действующие лица говорят слишком много, если они не могут без монолога, страниц в 15, не только убить себя, но даже выпить чашку чаю—то ведь это ошибка всей романтической школы. Идейная же подкладка пьесы, *вдохновленной ненавистью к крепостничеству*, не оставляет желать ничего лучшего. Это именно отрицание крепостничества, затем всякой ферулы, всякого стеснения личной свободы, все равно, как и обыденной пошлой морали—это и было

тем здоровым зерном, откуда, хотя и томительно медленно, развился гений Белинского.

О Герцене *нечего* и говорить. Самым фактом своего рождения *) (кроме, разумеется, общих причин) он необходимо становился в противоречие с окружающей обстановкой. Он гордо носил случайно данное ему имя, но эта гордость не могла не оттолкнуть его от кружка старого барства, к которому принадлежал его отец, а его пылкая, с головы до пяток интеллигентная натура толкала его в другую обстановку, в круг таких отщепенцев, как Чаадаев, или, после, таких борцов и прирожденных протестантов, как Белинский.

Но самым важным, как для характеристики, так и для понимания тридцатых годов остается то, что они создали и воспитали поэзию Лермонтова. Белинский был безусловно прав, называя поэзию Пушкина „завершением“ всего прежнего периода русской литературы—на девять десятых стихийной и бессознательной. Дальше, по пушкинской дороге, итти было некуда: оставалось или перепевать его мотивы, или выбрать новые. Перепевание же было бы совершенно бесполезно, не только как перепевание вообще, но и потому еще, что в последние годы своей деятельности сам Пушкин, очевидно, утерял почву под ногами и решительно не понимал ни потребностей, ни запросов окружавшей его жизни. Как поэт, он оставался велик попрежнему, но исчезало его значение, как выразителя дум, как талантливейшего представителя своей исторической эпохи. Он перестал волновать сердца.

Поэзия Лермонтова,—(как и письма Чаадаева, о которых—после)—вся целиком выросла на отрицании прошлого и настоящего. Это было отрицание резкое, мучительное, часто страстное, в лучших вещах беспощадное. Когда вы читаете, напр., „Думу“, вы слышите смертный приговор и „добросовестному разврату предков“, и „нашему поколению“, которое спешит к смерти.

...без славы и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.

Эту строгость Лермонтова можно об'яснить, разумеется, лишь тем, что в нем, хотя бы стихийно и бессознательно, таились

*) Герцен—незаконнорожденный.

нравственно-общественные требования. Отрицая их, вы никогда не поймете последних строк „Думы“:

И прах наш с строгостью судьи и гражданина
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкою горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Слово „гражданин“ было бы совершенно неуместно, будь Лермонтов занят исключительно одними метафизическими вопросами, противоречием между небом и землею, борьбою между злым и добрым началами жизни, рождением и смертью. Все это в нем, конечно, было, как был и гордый вызов божеству и природе, и тоска по кратковременности земной страсти, и мистическая вера в ее бессмертие, но это не весь Лермонтов. Весь он не определился, хотя бы уже потому, что до конца дней своих не сумел сбросить с себя романтического костюма, на что огромное, безусловное право давал ему его гений. Но один голос настойчиво звучит в его поэзии, благодаря которому она так близка, так сродни нам. Это голос совести.

Обстоятельство это представляется мне особенно важным и существенным. Надо же, наконец, согласиться, что мы, русские люди, в высшей степени плохие философы и что, в сущности говоря, мы совершенно не склонны к философскому мышлению. На какую „систему“ можем мы указать в своем прошлом и настоящем? Систему Сковороды? заимствованный мистицизм масонства? на учение Чернышевского или Писарева, Данилевского или Страхова, Толстого или В. С. Соловьева? Как хотите, все это не философия, тем менее—русская философия. Не говоря уже о подражательном, заимствованном характере многих из названных систем и учений, ни одно из них не отвечает требованиям дисциплинированной философской мысли—и каждое представляет из себя не что иное, как *нравственную проповедь*. Это доказывает лишь то, что мы люди очень практичные—в высшем смысле этого слова, практичны не по стремлению к наилучшему приспособлению, а по желанию урегулировать свою жизнь, подчинять ее известному вероисповеданию, известной догме. Поэтому-то и русский скептицизм только чисто внешним образом связан с философским скептицизмом запада.

Источник его не внутренние противоречия метафизической мысли, а сердце, совесть, сознание незаконности своих сословных преимуществ.

Отчетливо слышен голос совести у Лермонтова. Всмотритесь внимательно в извилины и трещины этой измученной, со дня рождения надломленной души, и вы ясно увидите, что она находится под давлением какого-то тяжелого греха и в трепетном ожидании возмездия за него. Конечно, это не личный грех Лермонтова. Какие у него, в сущности, грехи? Так себе—гвардейские и уланские—не больше. А между тем человек, и притом несомненно великий человек, постоянно и искренно страдает, постоянно недоволен собою и окружающим, чувствует на своей голове терновый венец страдания. Тут заговорила властно и настойчиво совесть, измученная грехами прошлых поколений.

Лермонтов осудил себя и свое поколение. Именно идея „суда", „возмездия" и была особенно сильна в нем, и любопытно в этом отношении не только припомнить „Думу" или „Первое января", но и сравнить его „Пророка" с „Пророком" Пушкина. Пророческий дар приобретается последним в высшей степени легко, что видно хотя бы из стиха:

Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он.

Пушкинский пророк идет к людям с тем, чтобы жечь „глаголом их сердца",—т. е. возбуждать их к подвигам, ко всему высокому и прекрасному,—короче сказать, к благу. Пророк Лермонтова получил свой дар от высшего Судии. Это дар мучительный, дающий возможножность читать лишь „страницы злобы и порока". Куда же, в таком случае, должна обращаться проповедь? Очевидно, она будет взывать к совести, она будет исполнена упреков, она будет состоять из слов „облитых горечью и злостью": у нее только одна цель—вызвать раскаяние, напомнить о возмездии.

„Греховность жизни", смутное, но стихийно-могучее сознание ее не давали покоя Лермонтову, естественно и необходимо вызывая в нем ответственность перед жизнью, с которой так не мирился его гордый саркастический ум. Но он был проникнут ею во всем и даже в своей литературной деятельности. Вы, конечно, помните его знаменитое стихотворение, где он говорит, что не хочет:

Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон спокойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток.
О, нет! Преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю...

„Я вашей славы не куплю!“—а ведь Лермонтов любил эту „славу“ и дорожил ею. Но он слишком хорошо понимал, какою „тяжелою ценою“ может быть она куплена.

Эта тяжелая цена—нарушение цельности жизни, цельности миросозерцания, это разрыв со всем прошлым во имя никому неведомого будущего—разрыв, возбужденный лишь голосом возмущенной совести. И он не решался, не смел взять на себя такой ответственности и лишь в грустном раздумье спрашивал себя:

...Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но ежечасно и напрасно
Один враждует он... Зачем?

Это удивительное „зачем“ звучит чем-то робким и тоскливым, и мне кажется, что Лермонтов, несмотря на всю свою сатанинскую гордость, несмотря на озлобленный, суровый ум, был в основе своей натуры тоскующим и робким. Совесть властно говорила в нем, властно терзала его.

Я после скажу о произведениях Гоголя и Грибоедова. Сам Гоголь, как это прекрасно известно, никогда не видел в них „верного и талантливого изображения действительности“, а прежде всего видел проповедь. Это прекрасно понял и оценил Герцен в известных словах: „Проповедь (в тридцатые годы) шла все сильнее... *все одна проповедь...* И смех, и плач, и речь, и книга, и Гоголь, и история—все звало людей к сознанию своего положения, к ужасу перед крепостным правом; все указывало на науку и образование, на очищение мысли от всего традиционного хлама, на свободу совести и разума, и источником всего этого было проснувшееся сердце“. Люди тосковали, рвались на простор, одни зная, другие не зная, почему они тоскуют и чего хотят.

Тут же нам придется основательно и почтительно вспомнить „Московский Телеграф“ Полевого—этот умный и трезвый орган

нашего литературного романтизма, и знаменитые „Философические письма“ Чаадаева, и всю деятельность Белинского, и критику славянофильского лагеря, заблудившуюся, впрочем, среди семи сосен, окружавших родное Пошехонье XIX века, и мы увидим в конце концов, что зерно, брошенное Радищевым, упало не на каменную почву.

Конечно, скептическое начало не единственное в нашей литературе и, кажется, никто, кроме министра народного просвещения Ширинского-Шихматова, не считал ее сплошь отравленной духом отрицания. Там, где что-нибудь есть, должно быть и ему противоположное,—учил Гегель. Было так и у нас. Рядом с скептицизмом, рука об руку шла работа созидания и построения, и мы то и дело будем встречаться с ее отдельными проявлениями. Мы увидим эту работу в знаменитой „Записке о старой и новой России“ Карамзина, который всю надежду России полагал в подыскании 54 губернаторов,—в филологических бреднях и наивностях Шишкова, отрицавшего всякие реформы, кроме реформ языка, и думавшего, что раз вместо „министр“ будут говорить „делец государственный“, то и все остальное пойдет прекрасно,—во второй части „Мертвых душ“, где встретимся с экономными помещиками, честными откупщиками, чуть не святыми генерал-губернаторами, в „Переписке с друзьями“ того же Гоголя, где преподается, как честно и правдиво жить, оставаясь заядлым крепостником и пользуясь чуть ли не всей безграничной полнотой помещичьей власти, в учении славянофилов с их призывом „назад домой“ и т. д.

Ничуть неменьшую построительную работу мы найдем у самих скептиков, начиная с „Естественного права“ Куницына, — в бумажной бедненькой конституции декабристов, в их романтических мечтаниях о вольности. Углубляется эта работа в двадцатых, тридцатых и сороковых годах, когда молодежь увлекается натурфилософией Шеллинга, Параболой и Новым Евангелием Сен-Симона и сенсимонистов, затем гегельянством и, наконец, Жорж Занд и участью собственного закабаленного народа, который с этой поры становится главной думой и камнем краеугольным русской литературы... И замечательно, что, как бы ни различны были рассматриваемые нами эпохи, как бы ни раз-

личны были ответы, даваемые на поставленные вопросы, и из какого бы лагеря ни исходили эти ответы—всегда открывается огромный антагонизм, скрывающийся в двух противоположных решениях. Первое решение это то, что мы сами достаточно сильны, и основы нашей жизни достаточно мощны, и мы должны почерпать поэтому все от недр собственного духа, лишь с мудрой осторожностью заимствуя подробности и технические усовершенствования у западных соседей.

Второе решение: сами мы слабы, все, что есть у нас доброго, взято у запада, мы нисколько не самобытны и не оригинальны (в положительную сторону; разве в отрицательную,—ибо варвары), никакого самостоятельного культурного типа мы из себя не представляем, почему и должны оставаться в роли покорных учеников запада... Это спор западников и славянофилов. Он не закончен еще и теперь. В нем таится большое зерно раздора. Мы должны внимательно проследить его,

---

Все скептическое движение вращалось, как вокруг своей оси, около вопроса о крепостном праве. Откуда пришло к нам „право“ и почему—это в данном месте для нас безразлично; для нас важно, что оно из себя представляло и какие общественные мысли о жизни возбуждало оно? Прежде всего надо совершенно отказаться от прикрашенного и намалеванного слова „крепостное состояние“ и заменить его просто *рабством.* На самом деле, раз существовала полная возможность продавать крестьян оптом и в розницу *без земли,* ни о каком крепостном состоянии не может быть и речи. Крепостной крестьянин крепок земле; русский крепостной был крепок не земле, а помещику, который мог делать с ним все, что угодно. Не мог (по указам) он только убить его, но это ограничение фактически не оказывало никакого действия.

Впрочем, для нас в настоящую минуту даже неважно, было ли крепостное право—рабством, или же просто крепостным состоянием, принявшим, благодаря произволу помещиков и слабости центральной власти, форму рабства,—важно для нас указать на факт, что крепостное состояние масс играло в жизни государства роль огромную и даже первенствующую. Русские люди в громадном большинстве случаев не могли представить себе существования своего отечества без этого уклада. Павел Петрович считал е го

не только укладом, но и устоем всего правительственного механизма *): „у меня 100.000 даровых полицеймейстеров“,—говорил он, подразумевая под полицеймейстерами помещиков. Крепостное право создало такие понятия, как „дворянская честь“, „сословный дух“, „дворянская гордость“ и пр. Оно вызвало на свет Божий обломовщину, а обломовщина представлялась даже Добролюбову одним из существеннейших, наиболее грустных, но и наиболее трудно поддающихся лечению недостатков „нашего русского общества“. „Пусть крепостное право исчезло, следы его остались и надолго еще останутся самыми глубокими в нашей жизни. Глубочайшим же следом мы вслед за Добролюбовым должны признать явление, окрещенное им именем обломовщины“—писал Кавелин. Крепостное право позволяло нашей внутренней жизни оставаться почти без изменений, так как от Петра до Екатерины (дворянская грамота) и от Екатерины до Александра I-го не было произведено ни одной сколько-нибудь серьезной реформы. Все царствование Николая I-го прошло в заседаниях разных комитетов и комиссий, в бесплодных разговорах и прениях о реформах. Крепостное право, т.-е. право на чужой даровой труд, позволяло вести хозяйство спустя рукава,—и все же, слава богу, помещики были сыты, плодились и множились. К чему было вводить какие бы то ни было улучшения, когда и без них три четверти погребов были завалены недурной провизией, а кладовые ломились от никому ненужных холстов, полотен и домашних сукон. Крепост-

---

*) Вот официальная точка зрения на крепостное право, изложенная гр. Уваровым уже при Николае I.

1) Вопрос о крепостном праве тесно связан с вопросом о самодержавии, даже единодержавии.

2) Это две параллельные силы, как развивавшиеся вместе. У того и другого одно историческое начало, *законность их одинакова*.

3) Что было у нас прежде Петра I-го, то все прошло, кроме крепостного права, которое, следовательно, не может быть тронуто без всеобщего потрясения.

4) Крепостное право существует, какое бы то ни было нарушение его повлечет за собой неудовольствие дворянского сословия, которое будет искать себе вознаграждения где-нибудь, а искать негде, кроме области самодержавия...

5) Могут отделиться даже части—остзейские провинции, самая Польша и т. д. все в том же тоне. (См. Барсуков. „Жизнь и труды М. П. Погодина“. Т. 9, стр. 305—339).

ное право вызвало наружу, упрочило и даже кристаллизировало такие народные добродетели, как смиренномудрие, вера в свою „планиду“, полное безверие в человека, его силы и способности— словом, полную резиньяцию, как говорили наши прабабушки и прадедушки, „полное холопство“, как скажем мы. Крепостное право вызвало славянофильское настроение у тех, кто, как Тургенев, помнил Лутовиново... Наконец, благодаря крепостному праву, слишком долго застоявшемуся и позволившему горсти людей дойти до вершин мысли и образования, при общей ничтожности окружающего, так невероятно пышно и быстро распустилась наша художественная литература.

Как это ни странно, но это так. Позволю себе по этому поводу небольшое отступление.

Уже со времени Тэна стало совершенно немыслимым и даже противонаучным рассматривать художественное произведение, как нечто самодовлеющее, как продукт индивидуального духа. Вместо этой точки зрения Тэн с особенной силой выдвинул другую, более широкую точку зрения—среды.

„Чтобы понять данное художественное произведение,—говорит Тэн,—данного артиста, данную группу артистов, надо с точностью представить себе общее состояние умов и нравов их времени. Там лежит последнее об'яснение, там находится первая причина... Если мы проследим главные эпохи истории, то найдем, что искусства появляются и исчезают вместе с известными состояниями умов и нравов... Великая греческая трагедия является вместе с победой греков над персами, в момент героического напряжения народного духа, и исчезает вместе с независимостью республики, когда измельчание характеров и македонское завоевание отдают Грецию во власть иностранцев“. Художественное произведение, с этой точки зрения, не создает, а только закрепляет общественное настроение. Возьмите, напр., „Потерянный Рай“ Мильтона. В этой поэме—все религиозное вдохновение, все народовольческие восторги английских пуритан XVII века. Ни Кромвель, ни Пим, ни Гампден, ни сами пуритане ни разу не названы в ней, нигде нет даже прямых указаний на волнения и революцию, и все же вы чувствуете, что весь интерес „Потерянного Рая“ в них-то и заключается, что, не названные, они присутствуют на каждой

странице, что везде их чувства, их мысли, их настроение. Пусть даже это не та пуританская Англия, которую мы знаем из истории. Мы не видим ее мелочности, ханжества, практических стремлений; она является перед ними очищенной от земной грязи. Мильтон взял свое время в высшем его проявлении—в проявлении героизма, радостно идущего на смерть за свою веру, героизма гордого и непреклонного.

Наш Пушкин суммировал, закрепил общественную энергию, вызванную реформаторскими вожделениями первой половины царствования Александра Павловича, борьбой с Наполеоном и тем движением мысли, которое так грустно закончилось среди тяжелых „недоразумений"; Некрасов захватил огромную полосу нашего нравственного развития: в лучших его вещах мы постоянно слышим кающегося дворянина; главная тема Достоевского—встреча дворянина с разночинцем, т.-е. тема историческая, очень рельефная в течение целых десятилетий, пока, как теперь, все не свалилось в общую кучу.

Не будем однако останавливаться на этом. К индивидуальному творчеству мы прибавили среду. Сделаем еще шаг вперед. История литературы постоянно подтверждает глубокую справедливость формулы Гегеля, который говорил, положим, на счет философии, что „сова Минервы вылетает только по ночам"—это значит, что задача философа только претворить в мысль уже существующее в жизни, а это бывает возможным лишь тогда, когда существующее изжило само себя, раскрыло все свое содержание, износило свои жизненные силы и все свое тайное превратило в явное. Сова Минервы вылетает по ночам также и в области литературы. Великие философские системы и великие создания художественного творчества появляются после того, как содержание их, как жизненные факты, послужившие их материалом, сделались уже достоянием прошлого и отступили на задний план под напором новых веяний.

„Рисовать трудно и по-моему просто нельзя,—говорит Гончаров,—с жизни еще не сложившейся, где формы еще не устоялись, лица не наслоились в типы. Никто не знает, в какие формы деятельности и жизни отольются молодые силы юных поколений, так как сама новая жизнь окончательно не выработала новых окрепших направлений и форм. Можно лишь в общих чертах на-

мекать на идею, на будущий характер, но писать самый процесс брожения нельзя: в нем личности видоизменяются каждый день и будут неуловимы для пера“...

Это удивительно глубокое и важное замечание и, чтобы оценить его, стоит перелистать любую историю литературы, хотя бы нашей. „Писать самый процесс брожения нельзя“. Даже такие гиганты слова, как Гончаров и Тургенев, в своих Волоховых, Тушиных, Неждановых, Милич потерпели неудачу и лишь в общих бледных чертах наметили новых людей. Вся современная литература относится к периоду брожения,—чего же особенного хотите вы от нее?

Крепостная, дореформенная Россия в годы своей агонии выдвинула целую плеяду первоклассных талантов. Корни творческого вдохновения Гоголя, Тургенева, Гончарова, Островского, Толстого—в той эпохе, когда крепостное право стояло, „как скала“. Крепостному праву можно было воспевать панегирики, воплотив его сущность в мистические и привлекательные формы кротости, смирения, всепрощения, как то сделал Гоголь в „Переписке“, можно было бесстрастно анализировать его, как Гончаров, относиться к нему с горячей ненавистью, как Тургенев,—это безразлично: образы великих художников выросли на почве, уже выслушавшей свой смертный приговор от истории, на почве, уходившей из-под ног, но *выразившейся в резких, как бы из мрамора высеченных формах.* Истинно художественный образ—цельный образ, как Ричард III, Лир, Дон-Кихот или наши Маниловы, Коробочки. Но, чтобы изобразить цельный образ, художник должен иметь его перед глазами. Это возможно лишь в эпоху, когда общественные отношения совершенно сложились и как бы застыли в своей неподвижности, т.-е. эпоху умирающую. Скажу прямо: расцвет искусства совпадает с периодом, когда известная, определенно и резко сложившаяся историческая эпоха умирает, но уже занимается заря новой жизни, и человек особенно страстно и нетерпеливо хочет жить и беспокойно мечется, выискивая то неясное и таинственное, что сулит ему будущее“...

Таким переходом в нашей истории были 40-е года. Крепостное право заканчивало свое существование, и на рубеже двух эпох возникла великолепная художественная и критическая литература. На сцену сразу выступила целая плеяда талантов.

Не говорю уже о чисто материальной стороне вопроса. Такие советы, как совет Гоголя: написать—отложить, переписать—еще отложить и т. д., могли зародиться лишь в эпоху, когда наши литературные задачи не имели в себе ничего ремесленнического, когда писателю не приходилось торопиться и он был обеспечен извне. Огромная часть первых наших писателей—дворяне; крепостное право поддерживало их творчество и с этой материальной стороны.

Словом, крепостное право определенностью своих общественных отношений, а значит и определенностью индивидуальных физиономий доставило отчетливый материал для художественного творчества, а своими резкими противоречиями всему—и просвещенному духу века, и развитию народного богатства, и элементарному чувству справедливости, породило богатую публицистическую литературу. Но не породила и не могла породить она двух вещей, без которых никакая культурная жизнь немыслима—ни привычки к труду, ни уважение личности к собственному достоинству.

Литература первой четверти века.

Здесь, в своем введении, я могу дать лишь самую общую характеристику, предполагая факты, изложенные в учебниках литературы, известными читателю. Вообще эта литература, вплоть до Пушкина, еще вся в XVIII веке. Серьезной общественной подкладки в ней нет и очень хорошее определение дала ей г-жа Сталь своей остроумной фразой: „в России есть несколько дворян (gentilhommes), занимающихся также литературой“. Литература только организовалась, только пробивала себе дорогу, искала себе читателей и верных слуг, находя их, конечно, но в очень ограниченном количестве. Но все же в воздухе чувствуется уже новое веяние, которое выразилось прежде всего в том, что появилась довольно большая журналистика и такие прирожденные журналисты, как Карамзин, Пнин и т. д.

В 1802 г. Карамзин выступил с своим „Вестником Европы“, выходившим в Москве 2 раза в месяц. Это был общелитературный журнал, по типу приближающийся к нашим современным, но самою характерною его особенностью было то, что в нем впервые

стали правильно появляться политические обозрения, не особенно глубокие, как все, что вышло из-под пера знаменитого историка, но любопытные, тем более, что Карамзин прилагал все усилия сделать их интересными. Считая гражданское устройство России незыблемым и являясь в этом смысле консерватором, он придерживается однако точки зрения просвещенного либерализма, признает общественный прогресс, говорит о развитии мысли, но в очень определенных рамках „покорной преданности закону и власти“. Очень часто возвращается он к французской революции и видит в ней прежде всего высокий урок народам о святости гражданского строя, но он не негодует на нее, а как бы даже признает ее историческую неизбежность. В статье „Прекрасные виды, надежды и желания нашего времени“ он говорит между прочим:

„Революция об'яснила идеи: мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных и случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не упрямство, а защита от тиранства; что, разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти... С половины XVIII века все необыкновенные умы страстно желали великих перемен и новостей в учреждении обществ; все они были в некотором смысле врагами настоящего, теряясь в лестных мечтах воображения. Везде обнаруживалось какое-то внутреннее неудовольствие; люди скучали и жаловались от скуки; видели одно зло и не чувствовали цены блага. Проницательные наблюдали, ожидая бури; Руссо и другие предсказали ее с разительною точностью; гром грянул из Франции... мы видели издали ужасы пожара, и всякий из нас возвратился домой благодарить небо за целость крова нашего и быть рассудительным. Теперь все лучшие умы стоят под знаменами властителей и готовы только способствовать успехам настоящего порядка вещей, не думая о новостях. Никогда согласие их не бывало столь явным, искренним и надежным. С другой стороны, правительства чувствуют важность сего союза и общего мнения, нужду в любви народной, необходимость истребить злоупотребления. Почти на всех тронах Европы видим юных государей, деятельных и ревностных к общему благу. Революция была злословием свободы; правительства, не хвалясь именем, дозволяют гражданам пользоваться всеми ее выгодами, согласными с основанием и порядком общества. Революция обещала равенство состояний; государи, вместо сей химеры, стараются, чтобы гражданин во всяком состоянии был доволен, чтобы ни которое не было презрительным, ни угнетенным. Будем справедливы: где теперь добрый человек не может наслаждаться безопасностью? Свирепствует ли где-нибудь тиранство в Европе, если исключим Турцию? Не везде ли начальства желают способствовать успехам воспитания и просвещения, которое есть не только источник многих удовольствий в жизни, но и самой благородной нравственности, которое образует мудрых министров, достойных орудий правосудия, сынов отечества в семействах,

рождая чувство патриотизма, чести, народной гордости, и без которого люди служат только одному идолу—подлой корысти. Государи вместо того, чтобы осуждать рассудок на безмолвие, склоняют его на свою сторону“.

С точки зрения просветительной литературы времен Екатерины II, особенно же ее „Наказа“ тут нет ничего нового. Несомненно все же, что Карамзин был очень и очень далек от надежд и мечтаний правительства первых 10—11 лет прошлого века и в заслугу ему приходится поставить лишь то, что обскурант во всем, что касалось социального устройства России, т.-е. прежде всего, конечно, крепостного права—он этот свой обскурантизм не распространял ни на литературу, для которой он требовал признания и благоразумной свободы, ни на просвещение, понимая под ним просвещение привилегированных классов. Вообще Карамзин только литературный либерал и реформатор, реформатор нашего языка и типа нашей журналистики, на знамени которой он написал: „разнообразие, поучительность и общедоступность“...

Беллетристика „Вестника Европы“ продолжала сантиментальные и романтические традиции первых журналов и сборников Карамзина („Московского Журнала“ и „Аглаи“). Здесь он напечатал свою большую повесть „Марфа Посадница“, где, всецело восхищаясь новгородскими вольностями, опять пользуется всяким случаем, чтобы прочесть народам нравоучение о пользе сильной власти и необходимости полной ей покорности.

Вообще с годами Карамзин делался все более государственником и нравоучительным. Скоро оставив „В. Е.“ (1804), он принялся за свои исторические труды, за записку „о древней и новой России“ и за свою „Историю“. В „Истории“ он старается в особенности возвеличить русские духовные качества—покорность и смирение; видит истинного своего героя в Іоанне III, создавшем мощное государство на патриархальных началах народной жизни. Слишком ритор, он постоянно увлекается красноречием, почему не всегда с определенностью высказывает свои взгляды. Но несомненно, что своими симпатиями к патриархальности он протягивает руку славянофилам и как бы подготовляет почву для них. Недаром впоследствии М. Погодин возвел его в герои. В записке, предназначенной для государя, а не для публики, он высказывается еще резче. Он недоволен Петром Великим, больше же всего Екатериной II за ее пристрастие к Западу. Скрытно он

везде полемизирует со Сперанским, считает его преобразовательные замыслы безусловно вредными, и смело высказывает мысль, что Россия Александра I-го должна учиться у московской Руси Иоанна III-го. Это уже настоящая ячейка будущего знаменитого спора западников и славянофилов.

Пнин гораздо либеральнее. Он радостно откликнулся на все либеральные веяния своей эпохи и часто заходил дальше их.

„Литературная деятельность его была непродолжительна, зато отмечена характером безупречной честности и последовательности в проведении своих мыслей. Он был сторонником человеколюбивой философии XVIII-го века, служил ей искренно, преданно и притом не только в литературе, но и в жизни".

„Будучи весьма не богат,—говорит его биограф,—он любит помогать несчастным. С жаром друга человечества, всякую скорбь угнетенного людьми или судьбою человека брал он близко к сердцу своему и не щадил ни трудов, ни покоя, ни иждивения для облегчения судьбы несчастных. В своих литературных произведениях, в оригинальных статьях, в переводах, даже в стихах Пнин высказывал занимавшие его мысли о наилучшем политическом устройстве и, насколько позволяли внешние препятствия, делал более или менее прозрачные намеки на современное ему положение России".

(Пятковский).

Он задумывает издавать „Народный Вестник", „Опыт о просвещении", „Вопль невинности, отвергаемой законом", и под тем же настроением историческую драму „Велизарий",—много стихов,—„О возбуждении патриотизма", и т. д., и во всем, что выходит из-под его пера является самым ревностным просветителем. Самый замечательный его взгляд, конечно, тот, что между просвещением и политическим состоянием народа он видит теснейшую связь и зависимость, что отказывался признать XVIII-й век. Просвещение он понимает шире, чем образование, для него оно нераздельно с господством законности, с уничтожением произвола. Оттого-то для него ясно, что при господстве крепостного права никакого истинного просвещения в России быть не может. Сочувствуя Радищеву, он в более отвлеченной и рассудочной форме повторяет его взгляды, очень оригинально обосновывая их восторженной защитой собственности. „Собственность,—пишет он,—священное право, душа общежития, источник законов. Где ты уважена, где ты неприкосновенна—там только спокоен, благополучен гражданин. Но ты бежишь от звука цепей, ты чуждаешься

невольников. Права твои не могут существовать ни в рабстве, ни в безначалии". Первое практическое требование Пнина заключается, значит, в том, чтобы *право собственности было обеспечено за земледельческим сословием.* Это идея наполеоновского кодекса и „коренного" проекта Сперанского, идея чисто западническая, очень замечательная по своей определенности.

Резюмируя свою характеристику Пнина, биограф пишет:

„Назвав русские сословия, Пнин замечает, что одно из них, именно земледельческое, находится в страдательном состоянии, будучи отдано во власть рабовладельцев, поступающих с подвластными людьми хуже, чем со скотом. Важнейшая забота законодателя должна состоять, по его мнению, в ограждении прав собственности земледельческого класса: только этим путем можно распространить истинное просвещение в народе. Рисуя печальную картину крестьянского быта, автор порицает многие явления в жизни других сословий, не щадит и системы управления во всех ее отраслях. О купцах говорится, что они не поддерживают друг друга в несчастных случаях; богатый купец, видя неудачу и гибель своего собрата, не только не подает ему помощи, но еще спешит притеснить его, чтобы воспользоваться его несчастьем. В службу гражданскую, по словам автора, определяют без всякого разбора; чины и места раздают людям, едва умеющим читать и подписывать свое имя; люди же достойные избегают службы, опасаясь подпасть под начальство господ, заслуживающих не почета, а презрения и т. д.".

(*Пятковский*).

Пнин во всяком случае счастливое и редкое исключение в ту эпоху, когда „в России некоторые дворяне занимались также литературой". Такими счастливыми исключениями не надо увлекаться и надо представить себе ту ужасающую бедность общественной жизни, ту духовную нищету, которая ничем не интересовалась, никуда не стремилась, ничего не искала, совершенно довольная своей рабской обстановкой и приходившая в восторг от разрешения носить фраки и круглые шляпы, как это было в начале царствования Александра I-го. Русское масонство, напр., представляло из себя детский перевод западного течения, и как ни стараются теперь преувеличить его значение, факт тот, что содержание его совершенно ничтожно. Лучшее в нем сводилось к филантропии, к малодеятельному отрицанию кастовых различий, обычное же к ребяческой игре в тайные общества и к такой же игре в алхимию, магию, астрологию. Уже потому, что Сперанский все время оставался одним, что его падение вызвало общую радость, что ни один из либеральных проектов самого императора не осуществился, наткнувшись столько же на подо-

зрительность собственного его характера, сколько и на полное равнодушие общества и его неприязнь к каким бы то ни было преобразованиям. Высшие слои общества разлеглись на молчаливой народной массе и, совершенно придавив ее своею тяжестью, чувствовали себя превосходно.

Что читали? Старые писатели XVIII века—Херасков, Державин, Ломоносов и т. д.—пользовались полным авторитетом. Очень нравились сантиментальные повести Карамзина, потому что сантиментализм ни к чему не обязывал, но давал приятное настроение сердечной чувствительности—он был даже в большой моде, что видно по журналистике того времени;—фурор произвела „История государства российского“ Карамзина. Историку приходится удовлетворяться крупицами. Только 12-й год заставил встряхнуться это стоячее болото.

„В новейшей истории не было события, которое до такой степени охватило бы не только общество, но и целую народную массу одним могущественным чувством, потребовало бы напряжения физических и нравственных сил, затронуло бы так глубоко национальное сознание. Если потом возникали вопросы о народе, о национальных отношениях России к Западу, о необходимости внутренней общественной работы, то богатую почву для этих вопросов дали в особенности эти события и их ближайшие последствия. Первые впечатления были пока смутны и развились потом весьма разнообразно. Прежде всего национальная опасность сближала людей в общем деле, сообщала чувство нравственной связи, общественного и народного долга: манифесты, писанные Шишковым, едва ли не первый раз говорили не сухим официальным языком, требовавшим только безмолвного повиновения, а исполнены были настоящего красноречия, которое способно было пробудить искреннее одушевление, едва ли не впервые правительственная власть обращалась к народу, говоря или стараясь говорить его языком, как в афишах Ростопчина. Люди старого века, безуспешно искавшие древних патриархальных добродетелей, нашли в событиях двенадцатого года новое обвинение против людей, приверженных к „французскому“ образованию, и считали их чуть не сообщниками Наполеона, как старались выставить таким его сообщником Сперанского,—но в умах более свежих и чутких этот под'ем национального чувства положил основу для гораздо более глубокого понимания истинных потребностей национальной жизни“.

(*Пыпин*).

Это патриотрическое воодушевление, быстро впрочем, выродившееся в самохвальство, немедленно отразилось на литературе. В то время, как Жуковский воспевал русских воинов своими звучными стихами,— С. Глинка собирал в своем журнале („Русский

Вестник“) анекдоты о храбрости, отваге, мудрости и неустрашимости русских людей; под гром пушек был основан „Сын Отечества“, быстро приобревший громкую известность и не мало подписчиков; несколько позже появился „Пантеон славных российских мужей“. Судя по этим изданиям, можно подумать, что у россиян закружилась голова от грома побед, от занятия Парижа, от мировой роли своей страны. А между тем внутри дела шли все хуже; готовилось господство Аракчеева, а потом Магницких и Руничей. Другие же последствия 12-го года оказались позже.

Можно, таким образом, сказать вообще, что тон журнальной литературы эпохи Императора Александра I-го задал Карамзинский „Вестник Европы“. Все журналы наперерыв старались быть интересными, сантиментальным и разнообразными. Отечественная война сделала их патриотами. Им надо отдать ту справедливость, что они стояли на высоте умственных требований современников, иногда предупреждали их, а часто шли навстречу их ничтожным вкусам. Эта журналистика интересна лишь, как вступление к настоящей, т.-е. руководительнице духовной жизни общества, которая создана позже Полевым и Белинским.

Таким же вступлением к Грибоедову и Пушкину является и художественная литература рассматриваемой эпохи. Рассматривать ее с психологической или эстетической точки зрения у меня нет решительно никакой возможности. Общественного же настроения и хода русской мысли она не отражала. И мне достаточно напомнить общеизвестные имена Жуковского, Озерова, Гнедича, Батюшкова, чтобы в этом случае считать свою задачу поконченной. Нужна была не их сила и не их дарование, чтобы вывести русскую литературу из роли покорной и, большею частью, малоуспевающей ученицы Запада. Нужен был Пушкин, чтобы вскрыть то, что таилось в народном одушевлении 12-го года и в неясных преобразовательных грезах первой половины царствования Александра I.

А. С. Пушкин (1799—1837).

Белинский о Пушкине. „Писать о Пушкине,—говорит Белинский,—значит писать о целой русской литературе: ибо как прежние писатели об'ясняют Пушкина, так Пушкин об'ясняет последовавших за ним писателей“. В своем разборе Белинский намерен

держаться правил реальной критики и, не ограничиваясь областью одной эстетики, определить связь писателя с обществом, вникнуть в дух того времени, когда он явился и действовал.

Задача, как всякий видит, широкая и в сущности—единственно нужная, так как ни от какого критика ничего большего и требовать нельзя, и уж никак не вина Белинского, что он не исполнил ее полностью. Конечно, сидя за своей конторкой, он мог сколько угодно „вникать в дух своего времени“, но увы, все пути сообщить о результатах этого вникания своим читателям были для него заказаны. Мне кажется, это обстоятельство более всего помешало Белинскому достигнуть художественной полноты труда. „Дух времени“ 43—46 гг., когда Белинский писал свои статьи, и 33—37 гг.—самого критического периода жизни Пушкина, был в сущности тот же самый, а если и изменился, то скорее невидимо, чем видимо — там, где-то в подземных слоях бытия, и по поводу этого духа Белинский, конечно, мог бы сказать нам многое интересное, но он только намекнул на это интересное в своих письмах, в статье же ограничился одним академическим „принимая во внимание дух времени“ и только. Избежать недочетов при такой обстановке дела невозможно. Но так как мы знаем, приблизительно впрочем, как смотрел Белинский на дух Пушкинской эпохи, то и не в праве упускать этих его взглядов при чтении его великолепных статей, что впрочем делали до сей поры совершенно беспечно. Иначе мы будем совсем неправы к нему, и самые драгоценные страницы, которые только у нас есть о Пушкине, наполовину пропадут для нас.

Белинский видел в Пушкине прежде всего *артиста* и *художника*, в этой артистичности видел „пафос“ его поэзии и, как артиста, страстно любил его. Но в то же время ему казалось, что великий поэт „прячется в своем гениальном художественном даровании,—прячется от тревожного духа времени, от его запросов и не чувствует при этом никакого раскаяния“. Этого, как он ни старался, он совсем ему простить не мог. Отсюда некоторая двойственность отношения, некоторая боязнь отдаться своим восторгам, неизбежные, все возроставшие оговорки, так участившиеся к концу статей, и какой-то слишком уже рассудительный окончательный приговор. Тут еще далеко до шестидесятых годов, до того настроения, когда и Некрасов сказал: „Поэтом можешь

ты не быть, но гражданином быть обязан",—но уже чувствуется, что почва, когда обострившаяся гражданственность призовет к себе на суд Пушкина за то, что он *только* поэт, расчищается, что этот призыв будет не случайностью и что его можно было предвидеть за 15—20 лет до того.

Я приведу несколько выписок и пусть хоть эти штрихи восстановят в памяти читателя бледное воспоминание о том лучшем, что есть у нас о Пушкине, — о статьях Белинского и их двойственном, колеблющемся настроении:

„Муза Пушкина — это девушка-аристократка, в которой обольстительная красота и грациозность непосредственности сочетались с изяществом тона и благородной простотой, и в которой прекрасные внутренние качества развиты и еще более возвышены виртуозностью формы, до того усвоеннной ею, что эта форма сделалась ее природой".

„Как истинный художник, Пушкин не нуждался в выборе поэтических предметов для своих произведений, но для него все предметы были равно исполнены поэзии".

„Он не принадлежал исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине, в сфере своего поэтического миросозерцания он, как художник по преимуществу, был гражданин вселенной, и *в самой истории, так же, как и в природе видел только мотивы для своих поэтических вдохновений, материалы для своих творческих концепций.* Почему это было так, а не иначе, и к достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Если б его натура была другая и он шел по этому несвойственному ей пути, то без сомнения это было бы в нем больше, чем недостатком, но как он в этом отношении был только верен своей натуре, то за это его так же нельзя хвалить или порицать, как за то, что у него черные, а не русые волосы, и другого за то, что у него русые, а не черные".

„Лирические произведения Пушкина в особенности подтверждают нашу мысль об его личности. Чувство, лежащее в их основании, всегда так тихо и кротко, несмотря на его глубокость, и вместе с тем так человечно, гуманно.

„И оно всегда проявляется у него в форме, столь художнически спокойной, столь грациозной. Что составляет содержание мелких пьес Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, как чувства, наиболее обладавшие поэтом и бывшие непосредственным источником счастия и горя всей его жизни. Он ничего не отрицает, ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением. Самая грусть его, несмотря на ее глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна, она усмиряет муку души и целит раны сердца. *Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность.* К этому прибавим мы, что если всякое человеческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человеческое, а не животное, то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, как чувство изящное. Мы здесь разумеем не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда в высшей степени прекрасна; нет, каждое чувство, лежащее в основании каждого его сти-

хотворения, изящно, грациозно и виртуозно само по себе, это не просто чувство человека, а чувство человека-художника, человека-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина"...

Выше я подчеркнул несколько строк насчет того, что „Пушкин и в самой истории, и в природе видел лишь материал для поэтических концепций" и что за это его так же мало можно обвинять и оправдывать, как человека вообще за его черные или русые волосы. Пушкин следовал своей натуре—в этом вся суть. Но ведь точка зрения на природу и историю — какие все это большие слова — только как на материал для художественных концепций может, с одной стороны, повести бог знает куда—к полному равнодушию к людям и их судьбе, а в крайнем, извращенном случае даже к устройству над ними всевозможных экспериментов, с другой—совершенно не соответствует „духу времени", все более рвущемуся к самосознанию и гражданственности. Оттого-то Белинский и говорит довольно жестоко:

„Как бы то ни было, но по своему воззрению Пушкин принадлежит к той школе искусства, которой пора уже миновала совершенно в Европе и которая даже у нас не может произвести ни одного великого поэта. Дух *анализа*, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви, мышление сделались теперь жизнью всякой истинной поэзии".

Словом, время исключительной художественной артистичности, над которой Белинский подсмеивался (отчасти и побаивался ее), по его мнению, прошло. Настало другое, когда мышление, „полно любви и ненависти", но—увы,—ни той, ни другой не знал Пушкин. Поэтому, он—„властитель дум лишь своего поколения". Эту свою точку зрения Белинский особенно хорошо высказал в разборе „Сцены из Фауста".

Как бы то ни было, Белинский сделал все, что мог, все, что требовало его время для оценки Пушкина. Эстетическая часть этой оценки, особенно разбор „Евгения Онегина", „Бориса Годунова", лирических пьес и драматических опытов превосходны и так же свежи и оригинальны в наши дни, как и в дни своего появления. Великий критик заканчивает свою статью словами:

„Заключаем: Пушкин был по преимуществу поэтом-художником и больше ничем не мог быть по своей натуре. Он дал нам поэзию, как искуство, как художество. И потому он навсегда останется великим, образцовым мастером поэзии, учителем искусства. К особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея

под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека, как человека. Несмотря на генеалогические свои предрассудки, Пушкин, по самой натуре своей, был существом любящим, симпатичным, готовым от полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему „человеком". Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характере сильном и мощном, в нем было много детски-кроткого, мягкого и нежного. И все это отразилось в его изящных созданиях. Придет время, когда он будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство"...

Белинский, как мы видим, смотрел на Пушкина совершенно трезво и, преклоняясь пред его гением, делал оговорки с точки зрения своего времени. Быть может, вся его ошибка заключалась в том, что он местами противопоставлял поэзию Пушкина кодексу радикальных убеждений 40-х годов, а не тому, чему ее действительно следует противопоставлять—мертвой казенщине и бюрократическому формализму 20-х и 30-х годов, под которые она подкапывалась самым вольным духом своим. О, конечно, в этом последнем случае ее, все еще плохо оцененная, обновляющая роль должна выказываться с особенной яркостью, во всей своей нетленной красоте.

Пушкин в истории. О Пушкине писано и переписано, и замечательно, что вы в этих поистине бесчисленных статьях почти не найдете двух одинаковых мнений, и разнообразие их прямо одуряющее; чувствуешь, что как будто очутился среди несыгравшегося оркестра со всевозможнейшими инструментами и артистами, начиная от первоклассных и кончая совсем „малыми и нисколько не бессмертными". Это с любой точки зрения характерно, так как указывает и на трудность задачи, и на сложность натуры Пушкина, и на разнообразие мыслей и настроений в его книгах, иногда поразительное. Он возбуждал к себе любовь, доходящую до преклонения, он возбуждал и презрение, и ненависть; полубог, пророк-предвозвестник — для одних, он оказывался пустым, хотя и ловким стихоплетом для других; вызывая к себе огромное внимание со стороны почти всех выдающихся людей пережитых нами эпох, он накопил на своей характеристике следы самых различных исторических настроений, порою случайных, и все же знаем мы его очень мало... Но все же ясно, что огромное большинство писавших и говоривших о Пушкине чувствовали, что перед ними

литературное явление прямо исключительное, действительно важное и часто поразительное по своему влиянию на умы. Распределяя в одном из разговоров с Сергеенко влияние разных представителей на ход развития нашей общественной мысли по процентам, Толстой наибольшее их количество уделил Пушкину—именно 18%, тогда как нак на долю, например, Герцена досталось всего 10%, а Тургенева и этого меньше—7%. Конечно, можно спросить себя, почему собственно 18%, а не 15% или 29%, можно было бы пожелать, чтобы Л. Н. Толстой высказался о смысле этого влияния, но все же важно то, что мысль об этих 18% несомненно присутствовала в голове большинства критиков Пушкина—даже Писарева.

Особенно интересны наслоения исторических эпох и их наростание на оценке нашего великого поэта. По его поводу каждой из этих эпох надо было сказать что-нибудь действительно свое собственное и выставить действительно свою точку зрения. Превосходно предсказал это Белинский:

„Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за ней эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего“...

Белинский был прав: оценки Пушкина мы не имеем, зато „своих суждений“—сколько угодно. И кажется, ближайшая причина такого невеселого явления ясна: в Пушкине хотели видеть учителя жизни, чем он никогда не был и даже не хотел быть, как хотели того из равных ему — Гоголь, Достоевский, Толстой. Поэтому одни, не видя в нем учителя, естественно ошибались. И мы в точности знаем только то, что в нашей жизни Пушкин — величина огромнейшая, хотя насчет количества процентов влияния можно все еще спорить много, долго и безрезультатно.

Только в том я нисколько не сомневаюсь, что для 20-х годов Пушкин имел гораздо больше значения, чем для наших дней: тогда он действительно был „любимцем публики“; теперь можно говорить скорее об уважении к нему, даже о преклонении перед его гением, чем о любви, но живая связь между поэтом и обществом не могла уже не порваться за слишком 60 лет, всякие виды видавших и имевших столько других любимцев.

Я нисколько не отрицаю, что, быть может, настанет день, и значение Пушкина станет еще большим, чем в то далекое от нас время. Но я сомневаюсь, чтобы наши дни могли быть сколько-нибудь соответствующей обстановкой для поэзии Пушкина. Наши дни—все еще „дни скорби и печали", дни напряженных поисков счастья и истины, дни ожесточенной борьбы человека с человеком, и может ли найти полные отзвуки своему господствующему настроению Пушкин, этот „поэт светлой жизни", как превосходно назвал его Вл. С. Соловьев. Пусть наша тяжелая и грустная эпоха, требующая ежедневно столько и столько человеческих жертв, придавившая человека своей артиллерией, крепостями, мониторами, бесчисленными машинами,—„пусть сменится она светлой жизнью", пусть обида, таящаяся в нашем сердце, обида, ежедневно наносимая нам неправдой, даст место лучшему, более радостному настроению, и, думаю, Пушкин возродится во всем прежнем своем блеске величия.

Еще в 1839 году Варнгаген, один из умнейших людей своего времени, написал о Пушкине прекрасную статью, где, определяя значение Пушкина, говорит между прочим:

„... Но от Байрона отличается Пушкин существенно уже тем, что он тотчас же противопоставляет скуке и исполненной сомнения досаде, тоске об утраченном и недостижимом счастье—свежую веселость, которая освещает его поэзию подобно солнечному лучу и при неприятных происшествиях и отчаянии чувств сохраняет утешение и надежду.

„В этом направлении к веселости, добру и силе, которое укрепляет сердце и возбуждает дух, можно его сравнить с Гете.

„Истинное поэтическое призвание основано собственно на том, что поэзия есть радость и утешение, и только для того снисходит ко всем скорбям и страданиям. Воодушевляющую, живительную силу Пушкина может испытать всякий, кто им занимается. Он столько же привержен к комическому и шутке, как и к трагическому и страстному, но преобладает у него ирония, и до такой степени, что он часто достигает в высочайшем смысле юмора. Его веселость всегда составляет основное настроение, которому прочие настроения служат тенями. Выражение его также выказывает такой характер: везде быстрая краткость, свежие, сжатые картины, яркие блестки ума, резкие обороты. У редкого поэта встречается менее следов изысканности, отступлений к любви, бесполезных распространений, его естественность довольствуется самым простым словом, быстро охватывает и оставляет каждый предмет, его пылкое воображение, исполненное искренности и величия, его то нежная, то едкая острота,—все соединяется к тому, чтобы произвести приятное, благотворное впечатление на читателя, всегда заинтересованного и всегда свободного, никогда не терзаемого".

Характеристика Пушкина. Конечно, поэзия Пушкина не сплошная песнь, далеко не сплошь торжествующая радость, но я не боюсь нисколько обидеть его великую тень, сказав, что его мораль была прежде всего моралью эпикурейца, а наша имеет другой, более сумрачный общественно-подвижнический характер. Это мораль тяжелая, требовательная, возлюбившая страдание жизни, совестливо отстраняющаяся от ее радостей, мораль ответственности, раскаяния, и грозного: „ты должен“. Да, Пушкин, прежде всего, по преимуществу поэт светлой жизни. Меткие замечания Варнгагена на этот счет давно оценены между прочим и таким серьезным ученым, как А Н. Пыпин, который говорит: „в поэзии Пушкина сказались другие мотивы: удивительная свежесть и сила его таланта предохранили его от романтического мистицизма. Это, был, напротив, поэт наслаждения живой действительности, романтические порывы его фантазии обращались к русской народной жизни, и русская поэзия впервые усвоила здесь истинно народные мотивы. Влияние Байрона отразилось у Пушкина тем разочарованием, которое впоследствии прошло целой полосой в нашей поэтической литературе. Байроновское влияние было чужим элементом в поэзии Пушкина, которая вскоре и освободилась от него; Пушкин не мог даже понять байроновского отрицания во всей силе общественно-политического и философского значения,— но это влияние не было однако случайностью. Оно отвечало его тогдашнему либеральному настроению, недовольство настоящими порядками, с одной стороны, делало для него сочувственным байроновское отрицание, с другой — внушало его свободолюбивые стихотворения“. Если же теперь мы считаем—правильно или неправильно, что безразлично—искание радостей жизни чем-то презренным и даже буржуазным, если, по нашему мнению, человек не может жить вполне нравственно, не принимая постоянно во внимание своей ответственности перед обществом и своей зависимости от него—то как можем мы вполне оценить поэта наслаждения, радости и светлой жизни, и в состоянии ли мы с легким сердцем повторить хоть бы такую вот программу жизни:

Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю: мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть—на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Пушкин—поэт прошлого и, надеюсь, будущего, но для того, чтобы быть поэтом настоящего, в его „лире“ не достает многих и многих струн. Мне кажется, что желание сделать его „руководителем“ и вызывало десятки раз прямо отрицательное и жестоко несправедливое отношение к нему и со стороны Полевого, и Писарева, и отчасти даже со стороны Белинского.

Не то, совершенно не то было в двадцатые годы, когда слава Пушкина поднялась сразу, затмила собою другие, когда его гений разрушил на дороге искусства все преграды, разбросал, как пух, тяжелые бревна классических теорий, когда он возбуждал восторги, любовь, поклонение, ненависть, недоумение, когда его стихи быстро разлетались по всей России, когда он действительно был центральной фигурой умственной русской жизни... Каждый конечно, знает, чем были двадцатые годы, и я лишь в самых общих чертах напомню их характеристику. Время было тяжелое, мрачное, с черной тучей аракчеевщины, нависшей над ним, но далеко не без просветов. С одной стороны—Аракчеев скучный, тусклый и жестокий, стремившийся превратить всю Россию в одно огромное военное поселение, уставить ее рядами домиков, окрашенных в мутно-серую краску с плац-парадами на известных расстояниях друг от друга,—где бы люди вставали и ложились, обедали и ужинали, работали и экзерцировались, шли под венец все под тот же однообразный бой барабана,—люди, одетые в ту же форму, с невольными товарищами и даже женами, „одинакового роста“, без мысли, без чувства, с одной готовностью быть машинами и только,—или князь Голицын, наивный и добродушный мистик, доверчивый и недалекий, любивший всякие кувырканья с будто бы религиозной целью и действовавший то по наущениям кликуш-проходимцев, то по внушению Магницкого, одного из крупнейших предателей того времени,—или архимандрит Фотий, мечтавший разыграть роль Сильвестра, усвоивший его излюбленные приемы внезапных появлений, страшных угроз и ни капли его бодрого честного духа, узкий фанатик и едва ли не поврежденный в разуме своем, которому лишь обстоятельства

помешали добиться первого места,—или общий тон, общее направление „политики“, разверившейся в самой себе, боявшейся всякого крошечного проявления человеческого в человеке,—политики, полной противоречий и находившей успокоение и конечную свою цель в общем окостенении... Вот что мы видим с одной стороны. С другой—небольшая кучка романтически настроенных людей, с честнейшими сердцами и горячей головой, побывавших на Западе, видевших ту далекую жизнь и мечтавших о том, чтобы не дать остыть великому одушевлению, охватившему Россию в 1812 году, не дать народу, „освободившему Россию единственно своим беззаветным мужеством, пребывать в унизительном и постыдном состоянии рабства и невежества“. Были гонения на все живое, самостоятельное, на все ростки будущего, было и смутное брожение умов и, в основе всего, народ грубый, молчаливый, с непреоборимой силой терпения и верой в судьбу, наполнявшей все существо его и дававшей ему могучую силу молча страдать и терпеть. Многие помнили еще первые годы царствования Александра I-го, их радужные надежды, их несбывшиеся мечтания, их общий радостный тон, когда казалось, еще немного доброй воли, еще несколько шагов вперед,—и „над отечеством, свободой просвещенным“, взойдет действительно прекрасная и светлая заря новой жизни. И черная туча аракчеевщины, медленно и верно раздвигавшая свои тяжелые крылья над всей страной, раздражала, выводила из себя, вызывала негодование. Молодежь предавалась романтическим грезам. Вот, напр., что делалось в Царскосельском лицее того времени:

„История первых двух годов лицея,—пишет г. Пыпин,—достаточно известна, первый кружок лицейских воспитанников освещается личностью Пушкина-мальчика, потом юноши, который, по выходе из лицея, тотчас занимает высокое место в русской литературе. Вокруг него сближаются все поколения литературы, от Державина, которого он привел в восторг, до самого юного поколения, в котором поэзия Пушкина господствовала безраздельно.

„*Лицейское воспитание началось под впечатлениями двенадцатого года,* первый выпуск воспитанников оставил лицей в тот период, когда молодая часть общества, особенно аристократическо-военного, была полна идеальными гражданскими увлечениями“. Ближайший лицейский друг Пушкина И. И. Пущин тотчас по выходе из лицея вступил в первое тайное общество, основанное в 1817 г. Сам Пушкин не был его членом ни теперь, ни после, но он подозревал, потом положительно знал о его существовании, иногда сам порывался вступить в него,—но его не принимали, отчасти бережливо охраняя гениального поэта от

роковых случайностей тайного общества, отчасти не доверяя его подвижному, непостоянному характеру".

В Пушкине, конечно, был вольный дух, много вольного духа, но не в форме политических мечтаний и „необходимых преобразований общественности", а совершенно в другой. Его живая натура, гордая и свободолюбивая, капризная и радостная, не могла ни на минуту мириться с тусклым и чадным духом аракчеевщины; она требовала себе простора и свободы, и эта боязнь перед жизнью, которую старались заключить в казармы, этот общий страх перед „человеком"—то пугали, то смешили его. После первых же его полудетских стихотворных опытов, от него ждали страшно много, и ждали лучшие люди того времени.

Пушкин не обманул.

„В обществе этого времени,—продолжает А. Н. Пыпин, — среди увлечений либерализмом и столкновений с действительностью, развилась целая легкая литература, не попадавшая в печать,—литература, где недовольство и остроумная насмешка сдерживались тем меньше, чем больше цензура стесняла их в печати. В то время, как либералы тайного общества приходили к убеждению в испорченности различных форм русской жизни, в необходимости для нее новых идей и учреждений, эта литература—без всякой связи с тайным обществом—действовала против тех же людей и вещей, которые, по мнению общества, были виною застоя и бедствий русского народа, против смешных и уродливых явлений жизни. Остроумие Пушкина было неистощимо в эпиграммах, мелких и крупных стихотворениях, выражавших это зарождение независимого общественного мнения. У нас всего чаще ославляли этот разряд стихотворений Пушкина, как дело легкомыслия, от которого впоследствии он сам „торжественно отказывался". Правда, некоторые из стихотворений этой поры были только легкомысленны; зато в очень многих других эпиграмма наводила и на серьезные мысли, или легкомысленная форма оправдывалась самой сущностью дела: чем, в самом деле, надо было действовать против людей, против которых бесполезно, а кроме того и невозможно было бы спорить иным сбразом? Таковы были его эпиграммы на кн. А. Н. Голицына, Аракчеева, архим. Фотия и другие подобные. Это было единственное возможное отмщение за нарушаемый здравый смысл. Стихотворения Пушкина ходили по рукам, переписывались, читались наизусть. „Не было живого человека, который не знал бы его стихов",—говорят современники, и этому можно поверить, потому что и тридцать лет спустя эти стихотворения ходили по рукам в тетрадках и усердно переписывались, когда потерялась уже и их современность".

Этими колкими эпиграммами,—ничуть не презренными и, к счастью, оцененными уже по достоинству такими серьезнейшими людьми науки, как Пыпин,—часто пробивавшими иначе непроницаемые шкуры, Пушкин шел рука об руку с лучшей частью общества. Им-то, быть может, он обязан большею частью своей

ервоначальной славы, благодаря им он так поразительно скоро сделался любимцем публики, ее баловнем, славой и гордостью.

Но у него, кроме „тусклой аракчеевщины“, голицынской хлыстовщины, мракобесия Магницкого, лицемерия Фотия и пр., был и другой враг, свивший себе гнездо в самой дорогой для поэта области—области искусства. Тут тоже царила дисциплина, тут тоже были свои плац-парады, свои фельдфебели, обучавшие по регламенту французских теорий и так же строго преследовавшие за нарушение единства действия, или отсутствие лирического беспорядка, или пренебрежение к александрийскому стиху, как строго наказывалось в строю плохое равнение или „носки вместе“, или еще что-то такое, чего теперь ум человеческий не может и постигнуть; были и свои генералы „все важны, в сорок пуд“, в роде Петрова или Хераскова, которых хотя и мало читали, но перед которыми искренно благоговели за их воспарение духа, за кимвалы бряцающие их поэзии, за медь звенящую их пиризма, за вечный гром победы в их стихах и гигантскую черепаху их вдохновения.

Ни „легкий“ талант Богдановича, ни гений Державина, ни даже романтика Жуковского с ее девами, луной, мертвецами и часто воистину превосходным стихом, не могли разбить этих оков, опутавших только протиравшее себе после векового сна очи российское творчество.

Все равно, как „система“ Аракчеева считала совершенно невозможным подойти к человеку просто, предварительно не оглушив его, так точно и поэзия того времени оглушала читателя или эпическим бубном, или лирическим кимвалом и патриотическим бряцанием. В превосходной пародии на оду гр. Хвостова Пушкин осмеял, и уже раз навсегда, эту музу поэзии „более похожую на патриотическую Феклу, самолично перебившую 40 тысяч китайцев, чем на изящную грацию древности“;

Султан яртся. Кровь Эллады
И резко скачет, и кипит.
Открылись грекам древни клады,
Трепещет в Стиксе лютый Питт,
И се—летит предерзко судно
И мещет громы обоюдно.

Се Байрон, Феба образец,
Притек, но недуг быстропарный
Строптивый и неблагодарный,
Внес смерти на него резец. И пр.

Рядом с этими троглодитами русского Парнаса действовали и троглодиты русской критики. Надо представить себе их недоумение, часто переходившее в гнев, когда перед ними с веселой усмешкой предстала поэзия Пушкина, с виду легкомысленная и капризная и в то же время такая прекрасная. Не спрашивая ни у кого ни совета, ни указаний, зародившаяся где-то там, далеко от всяких теорий, пиитик и риторик, уверенная в себе, резвая и блестящая, как сама юность, она явилась перед сонными глазами этих наивных мудрецов, измерявших поэзию ее тяжеловесностью. Она не боялась никого, смеялась надо всем и вышла на свою собственную дорогу сразу без всяких усилий и потуг. Конечно, критика троглодитов не оценила и не могла оценить ее, но Пушкину этого и не надо было: его оценила публика, и оценила очень дружно. „Вольным духом", неслыханной до сей поры смелостью мысли, легкостью ее выражений веяло от каждого прихотливого стиха юного поэта. Ясно было, что юный поэт как-то особенно смело и свободно смотрит на всю окружающую его жизнь, на все тяжеловесные теории и почтенные стихи. Неожиданными шутками вызывала эта поэзия невольную улыбку, и эта улыбка разгоняла дремоту мысли, боролась без устали со спячкой мозга и точно подходила к каждому с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. И тут суть дела заключалась не столько в действительном, реальном содержании,— так как, что, на самом деле, за содержание в „Руслане и Людмиле", например?—сколько в отношении к жизни, к форме стиха, порядку и стройности изложения, и—в этом юном задоре гения... Если борьба и началась, то исход ее был ясен с самого начала. Когда читателю предлагали на выбор: „вот поэма, составленная по всем правилам, прочтя которую, ты отупеешь", или: „вот стихи: прочти их, и ты восчувствуешь радость бытия, смелый порыв к новой свободной жизни"—с его стороны не могло быть сомнения. Аристархи удалились на очередное заседание, где и заснули навеки, а молодая критика пошла за Пушкиным, следя за каждым

его произведением, учась у него тому, что есть истинное искусство... Успех был колоссальным.

В 20-х годах Пушкин не слышал других прозвищ, как „полночная звезда“, „северное сияние на снежных пустынях нашей словесности“, „Любимец Публики“ (с большой буквы); но еще не успели кончиться эти наивные 20-ые годы, как картина резко изменяется. Публика перестала понимать своего Любимца, а поэт, повидимому, перестал хотеть понимать свою Публику. Разлад обнаружился как-то сразу и резко, и восторжествовала всякая мелкая литературная сошка—и, увы, даже не сошка. Что такое случилось и кто виноват? Вопрос тем более любопытный, что, в сущности говоря, и в шестидесятых годах по тем же причинам говорилось то же самое.

Начиная с тридцатилетнего возраста, любимым мотивом его поэзии является жалоба на увядание юности, на холодность чувства, на редкость вдохновения:

Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой,
Но огнь поэзии погас,
Ищу напрасно впечатлений.
Она прошла, пора стихов,
Пора любви, веселых снов,
Восторгов краткий день протек
И скрылась от меня навек
Богиня чистых песнопений...

В этих преувеличенных жалобах слышится действительная, глубокая грусть. Мне нечего рассказывать общеизвестных фактов его биографии, из которых несомненно, что перемена внешних обстоятельств его жизни в значительной степени отразилась и на самом его характере. Вольный дух юности, вечная готовность к протесту, насмешка над всем отжившим и отживающим, брожение неустановившегося ума,—словом, все то, что так привлекало к Пушкину поколение 20-х годов, исчезло, так как не могло не исчезнуть. С одной стороны, Пушкин попытался „укротить свою свободную лиру несколькими официальными струнами“, с другой, в нем происходил действительно серьезный и важный внутренний переворот, рассмотреть и оценить который было не легко, едва ли даже возможно.

Он начал с участия в масонской ложе, той самой ложе, „из-за которой были закрыты все остальные“...

Членом ложи был Грибоедов, в степени мастера, и в масонской должности находим „офицера гусарского“ Чаадаева, которому Пушкин в это самое время, в 1818 году, писал свое послание, где находятся известные стихи:

...Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,—
Россия вспрянет ото сна...

Но теперь от этого либерализма мало что осталось.

В нем, повторяю, происходила важная внутренняя перемена, стремление сосредоточиться в самом себе, в своем внутреннем мире, отдать себе отчет в смысле жизни, ее загадке, ее предназначении. „Под тридцать лет,—пишет В. С. Соловьев, прекрасно характеризуя этот период развития Пушкина,—решительно обозначается у Пушкина „смутное влечение чего-то жаждущей души“,—неудовлетворенность игрою темных страстей и ее светлыми отражениями в легких образах и нежных звуках. „Познал он глас иных желаний, познал он новую печаль“. Он понял, что „служенье муз не терпит суеты“, что „прекрасное должно быть величаво“, т.-е., что красота, прежде чем быть приятною, должна быть достойною, что красота есть только ощутительная форма добра и истины“...

Осматриваясь на свое прошлое, Пушкин опять-таки с огромным преувеличением говорит:

Воспоминания безмолвно предо мной
Свой длинный развивают свиток.
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, я проклинаю
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Или:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье,
Но, как вино, печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней...

Тут есть значительный отказ от прошлого, но, разумеется, ни о какой измене юности не может быть и речи. Все равно, как в области поэзии он не перешел к александрийскому стиху, так и ни в какой другой не перешел к мракобесию. Страшно резко изменился круг знакомства, свободолюбивые мечты не находили пищи ни в действительности, ни в горячих речах, и Пушкин, нисколько даже не отказываясь от них, просто-напросто перестал ими вдохновляться. Но и выступившие на сцену вечные вопросы бытия, поэт, оставаясь верен себе, решает так же, как истинный эпикуреец, и даже в самом характерном для эпикурейства направлении, сближающем его с стоицизмом.

...И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

При такой точке зрения очевидно, что центр тяжести всех жизненных вопросов для человека внутри его „я“, а не во внешнем мире. Повидимому, Пушкин стихийно стремился перейти на путь самосовершенствования. Путь этот, как известно, тернистый, и особенно тяжелы его первые шаги. Как-то невольно, незаметно для него самого, человеком овладевает неизбежная гордыня. Возвысившись над собою, он думает, что возвысился и над всем остальным; „читая с отвращением свою жизнь“, он с отвращением начинает читать и жизнь других людей; увидя столько грязного, ничтожного в самом себе, он склонен выискивать только грязное и ничтожное в окружающих. Тут нет духовного равновесия, нет ясности и беспристрастия внутреннего мира,—есть гнев против прежних ошибок, гнев против ошибок мира, всегда соблазнительных, всегда соблазняющих. Таинственная работа собственного „я“, давшая толчок к возрождению, занимает все поле зрения, переоценивается, вырастает в глазах до размеров огромной важности и закрывает весь мир.

Но—замечательная черта—в Пушкине и в этот период преобладает поэт светлой мысли. Ни одной мистической строчки нет в его произведениях; соблазны мистики, так хорошо примиряющие гордыню духа со смирением его, очевидно, даже неизвестны ему. Он твердо стоит на земле, и если мечтает о бессмертии, то разве земном, так же, как и в прежние годы:

Чтоб обо мне, как верный друг,—
Напомнил хоть единый звук...

Он не хочет быть даже учителем жизни, не читает никому ни советов, ни нравоучений, ни в чем никого не упрекает и упрекать не хочет, ни перед кем не выставляет себя примером, достойным подражания, огненным столпом, который может и должен быть единственным руководителем в пустыне бытия. Он просто замкнулся в себе, загородил себя от общественных треволнений, которые, впрочем, были настолько незначительны, что от них и загородиться не стоило ровно ничего. Бог его юности—искусство, которому раньше он служил так своенравно и как бы шутя, все больше выростал в его глазах по своему значению и важности, требовал все новых жертв, обновленного духа и обновленной жизни, и поэт с гордостью человека, познавшего истинный путь, провозглашал:

Ты царь,—живи один...

Это не было просто романтическим взглядом на искусство, а настоящим исповеданием веры.

Обстановка, в которую попал Пушкин после 1825 года, не только не служила противовесом его эстетическому индивидуализму, а напротив того, всеми внушениями и впечатлениями укрепляла в нем этот дух. Он не слышал более вокруг себя страстных речей будущих декабристов или своих друзей-масонов и не получал ниоткуда ни малейшего толчка к тому, чтобы интересоваться политикой в широком смысле этого слова. После сновидений царствования Александра I и беспокойной дремоты мысли, прельщавшейся романтическими конституциями, политика окончательно заснула и уже надолго. Где-то совсем-совсем в тиши готовился общественный переворот громаднейшей важности, но чтобы предвидеть исход этого процесса, совершавшегося за семью печатями, надо было быть уже не только прозорливцем, но настоящим пророком. Поле, усеянное мертвыми костями, едва ли могло вдохновить такую живую, непосредственную и требующую все новых и новых впечатлений натуру, как натура Пушкина. Люди и посильнее его, в смысле общественного настроения и общественного интереса, должны были сознаться, что в этом смысле их роль сыграна. Пушкин нашел верный для своей натуры выход в искусстве...

Пушкина, как человека, постоянно тянуло в высшие, даже экзотические сферы. Это черта резкая и для него характерная. Ему нужно было упиваться игрою ума, той обстановкой, которая, хотя и не без значительной примеси нижегородских элементов, напоминала собой обстановку салонов 18-го века, в роде салона Смирновых. Нападать на него за это я, откровенно говоря, не вижу никакой причины, и наши специфические на этот счет взгляды можно, пожалуй, оставить про себя. Был ли Пушкин общественным деятелем в нашем смысле слова? Конечно, нет. Был ли он проникнут демократическими тенденциями? Нисколько. Был ли он подвижником? Как раз напротив. Он был прежде всего великим поэтом, в самом простом и понятном смысле этого слова. И, наконец, куда же было ему приткнуться? В народ? Тогда об этом никто не думал. В журнальную среду? Но, за самыми ничтожными исключениями, она представляет нечто прямо непристойное. К интеллигенции? А где в то время находилась такая интеллигенция? Как раз около самого Пушкина. Никто, разумеется, не мешает нам празднословить и ставить ему в упрек отсутствие в его жизни общественно-героических поступков, но что же делать, если он совершенно не был способен на них. Если бы он и совершил нечто подобное, то в юности это об'яснилось бы волнением крови молодой, а после—это было бы сознательной ложью в отношении к самому себе. Мне кажется, совершенно достаточно и того, что Пушкин не слился с окружавшей его обстановкой не проникся ни ее духом, ни ее симпатиями, все же оставался верен себе до конца дней и, очевидно, лишь против себя заставлял звучать официальную струну своей совершенно неприспособленной к ней лиры. За *неслияние* он заплатил своею кровью, все равно, как Чаадаев за свое *непримирение* — официальным титулом сумасшедшего. И тот, и другой были лишь случайными пришельцами и гостями той эпохи, которая в конце концов ненавидела и гнала их, гнала злобно и с ожесточением и держала постоянно направленные свои копья против их груди. Тот и другой были ранены смертельно—один духовно, другой—физически.

О Пушкине можно сказать, что новая обстановка, среди которой он очутился, только закрепила в нем его *эстетический индивидуализм*. Это не нравилось уже в 30-х годах.

Я говорил выше, что в Пушкине ценили больше всего не изящество формы, не поразительную подвижность мысли, а вольный дух, в отношении к чему бы он ни проявлялся. Когда он стих, когда вдохновение поэта выбрало для себя другое русло—его или перестали понимать, или с упреком указывали на прежнее. Доходили до странных вещей—до полного отрицания в нем поэзии, до низведения его в разряд ловких стихотворцев.

Трагическая смерть Пушкина и последовавшие за нею дубельто-бенкендорфские безобразия его отпевания и похорон в очень сильной степени примирили с ним и критиков, и большинство публики. Правда, некрологи безжалостно вычеркивались цензурою и искажались ею до неузнаваемости, но по тем отрывкам, которые дошли до нас, можно видеть, что знаменитая фраза „солнце русской поэзии закатилось“ была у каждого на пере. Поняли, что произошло нечто важное, ужасное и непоправимое; поняли это не столько даже умом своим, сколько непосредственным чувством, и только схоластика конца века в лице Вл. С. Соловьева попыталась доказать, что ничего во всем этом ни важного, ни непоправимого не было, а случилось нечто совершенно естественное и даже разумное, в чем он, Вл. Соловьев, подписуется. Но в то время произошло так, что критика точно раскаялась в своих ничтожных нападках на великого поэта, и свои венки на гроб ему постаралась украсить самыми свежими и красивыми цветами. Было почти полное единодушие в общем сожалении, и только люди бенкендорфской партии держались другого мнения и ликовали, и в ликовании их скрывалась ненависть... Как хотите, а в этой ненависти к Пушкину *таких* людей, ненависти не остывавшей ни на минуту в течение слишком 10-ти лет, есть много характерного и не лишена она большого исторического значения. Нельзя никак об'яснить ее тем только, что и лично Пушкин не ладил с Александром Христофоровичем Бенкендорфом, позволяя себе даже смеяться над ним. Тут скрывалось нечто большее, тут был повинен тот дух вольности, вольной мысли, царящий во всем, что вышло из-под пера поэта, дух, ненавистный властям аракчеевской школы. Этого они не могли простить никогда, потому что в нем они несомненнейшим образом читали

свой смертный приговор и знали, что распространись он—и все их казарменное здание тогдашней государственности разлетится прахом.

Поэты Пушкинской эпохи.—К. О. Рылеев. При программе моего обзора литературы крепостной России, большинство их достаточно только перечислить; это были: А. А. Дельвиг (1798—1831); К. Ф. Рылеев (1792—1826); П. А. Вяземский (1792—1878 г.); Е. А. Баратынский (1800—1844): Д. В. Веневитинов (1805--1827); Н. М. Языков (1803—1846). Из только что перечисленных наиболее серьезным поэтическим дарованием обладал Е. А. Баратынский, но общественное содержание его произведений настолько ничтожно и отвлеченно, что мне приходится оставить их в стороне. Остановлюсь поэтому на одном из самых горячих наших поэтов-романтиков и известном декабристе Кондратии Федоровиче Рылееве. Свое некрупное дарование он одушевил идеей, странно звучащей в 20-х годах. В посвящении к „Войнаровскому“ он говорит:

Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства,
Зато найдешь живые чувства—
Я не поэт, а гражданин.

Эти пылкие гражданские чувства самое ценное, что осталось от Рылеева. Вынесенный волной александровской эпохи, двенадцатым годом, общим либеральным движением, запрятавшимся в тайные общества, благодаря политике Аракчеева—он отдал свой дар и свою молодую жизнь тем идеям, которые считал справедливыми. Все эти идеи группируются возле понятия „истинный патриотизм“, как самоотверженного служения родине во имя ее блага и развития. В своих думах он восхваляет—Ермака, Матвеева, Волынского, Годунова—всех, кто так или иначе сочувствовал простому народу и боролся с гнетом деспотизма. Свобода „пленила его“, но скорее не в своих определенных общественно-политических формах, а как романтическая мечта, как греза, навеянная столько же воспоминаниями о новгородской вольнице, о вече, сколько и знакомством с западно-европейским строем. Все свое очарование этой свободой он выразил в своих „Одах и думах“—часто неуклюжих, стилистически неправильных, но искрен-

них и воодушевленных, как все, что выходило из-под его пера. В тайном обществе он играл выдающуюся роль, что, впрочем, доказывается его трагической кончиной (повешен 13-го июля 1826 г.); первоначально же судьи приговорили его к четвертованию. По сохранившимся у него письмам, мы видим перед собой человека очень мягкого, даже нежного, человека радищевского типа, скромно, но правильно ценившего свое дарование, очень демократически настроенного, наконец, человека с горячим темпераментом, умевшего верить „вплоть до костра и плахи".

Эпоха Николая I-го.

Система. Всякий, думается нам, знает, что в николаевскую эпоху господствовала „система". Эта система ясная, точная, такая, которая еще и теперь поражает нас своим грандиозным размахом. Эта система являлась как бы живым воплощением непреклонной личности самого императора Николая I. Идея, которая проникала собой всю систему и как мозг наполняла кости ее, была идеей внешнего могущества и силы России - с одной стороны, безусловного единства ее духовной жизни—с другой. Относительно внешнего могущества будем кратки: его не только добивались, им пользовались. Познакомившись хотя немного с историей дипломатических сношений времени Николая I-го, вы, прежде всего, видите тот факт, что в продолжение долгого ряда лет в европейском концерте Россия держала первую скрипку. Император был настоящим решителем европейских судеб, чьему приказанию волей-неволей должны были подчиняться за границей. В дела других европейских государств он вмешивался властно и требовательно; его голос раздавался, как голос власти, силу и право имеющей, главное—силу. Стоит припомнить классическую угрозу Николая I-го отправить в Париж миллион слушателей, т. е. солдат, в случае, если будет допущена к представлению пьеса, где выводилась далеко не в привлекательном виде Екатерина II; Луи-Филипп послушался: пьесу поспешили упразднить. Участие России в венгерском восстании—новая иллюстрация того же самого. Венгерцы восстали потому, что у них были с австрийцами свои собственные счеты; но так как император Николай I-й возложил на себя трудную задачу сохранения европейского мира

и считал безусловным своим долгом заботиться о прочности всех европейских престолов и поддерживать династическую идею везде и повсюду, то России пришлось вмешаться и в венгерское восстание ради его успокоения. Русский колосс в эту удивительную эпоху расправлял свои могучие члены и явился в полном блеске величия и власти. Но, очевидно, чтобы пользоваться в Европе такой первенствующей ролью, ему пришлось пустить в ход все свои силы, которые только были, пришлось делать невероятное напряжение, пришлось идее внешнего могущества подчинить все остальное и принести ей в жертву лучшие дарования, лучшие способности.

Одним из необходимейших условий внешнего могущества, по мнению императора Николая, являлось полное, безусловное, нетерпящее никаких даже самомалейших уклонений, духовное единство всех русских людей. Им должны были проникнуться все, начиная с первого вельможи и кончая последним мужичонком. Система николаевской эпохи стремилась подчинить себе все мысли и чувства пятидесятимиллионного населения. Это была поистине грандиозная попытка. Все усилия правительства, в области внутренней политики, сводились к дисциплине, идеалом которой была дисциплина военная. Каждому было указано свое, строго определенное место; от каждого требовалось, чтобы он говорил, думал и чувствовал именно так, как было предписано. Один должен был чувствовать побольше, другой поменьше; одному полагалось знать то, чего не полагалось знать другому; в мыслях одного могло быть больше развязности и бойкости, чем в мыслях другого или третьего, которому совсем не полагалось иметь никаких мыслей. Все это было строго предусмотрено системой, все это математически точно соответствовало положению человека на земле.

Все равно как царствование Екатерины было высшим „расцветом“ крепостного права, а значит и дворянства, так и царствование Николая I-го—высшим расцветом государственности, как системы общественных отношений, основанных на строжайших сословных подразделениях. Государство—земной бог. Все должно служить ему, все должно полагать на это служение все свои силы. Общества, общественной жизни нет и быть не может.

Государственность, *в этом смысле* слова, и полное обезличение

идут всегда рука об руку. Это два тождественные явления, из которых одно порождает другое, образуя в конце концов переплет взаимно действующих сил. Такая государственность не признавала за человеком ни права любить, ни права думать, ни права говорить, ни даже права выбирать себе занятие. Он должен был отдать себя всего, без остатка, в службу. Его жизнь была предопределена заранее, она вся проходила по чужой воле. Лучший пример такого полного поглощения человека—это военная служба при Николае Павловиче, продолжавшаяся целых 25 лет, иногда больше. Спрашивается, что же оставалось человеку самому, когда мог он пожить для себя, поесть не из казенного котла, лечь и встать не по барабану, повернуться в ту сторону, в которую хочет, завестись своей семьей? Ничего и никогда.

Прежняя государственность была безжалостна. Она, как Кальвин, об'являла, что для нее не существует людей, а только поступки. В Женеве ребенок, провинившийся в богохульстве, подвергался суровому наказанию. У нас дореформенная государственность об'явила Чаадаева сумасшедшим за то, что он думал иначе, чем следует, ввела бесконечно долгую военную службу, регулировала частную жизнь человека, и горе тому, кто отступал от правила: наказание постигало его немедленно, несмотря ни на что. Государственность была везде, в канцеляриях и департаментах, в казармах и семьях. От крестьянина она требовала только труда, от солдата—только службы, от чиновника—только исполнительности, от детей—только повиновения. Даже священники того времени были обязаны проповедывать, что главная заслуга заключается в *покорности* властям.

Больше всего, конечно, боялись мысли, и как жилось ей в этой обстановке--сообразить не трудно. Интеллигентная мысль менее всего подходила под требования системы. Ведь вся привлекательность умственной или творческой деятельности в том и заключается, что в ней человек выражает свою особенность и индивидуальность. Раз нет последнего, раз нет свободы, позволяющей проявить самого себя,—то не все ли равно, что икону писать, что утаптывать мостовую. Но какое дело „системе“ до особенности и индивидуальности? Крупных людей, как, например, Пушкина, она старалась привлечь на свою сторону. С мелкими она совершенно не церемонилась, и даже мрачные казематы Соловецкого

монастыря для „заживо погребенных“ никогда не оставались пустыми.

„Было,—говорит г. Пыпин—полное отсутствие публичности, следовательно, незнание того, что делается в стране или знание из одного официального бюрократического источника“. Поэтому „литература“ этого периода, взятая в целом, не говорит о самых насущных вопросах жизни, о которых уже говорила во времена Александра I-го. Так, литература ни словом не заикалась о политических предметах, о необходимости реформ в учреждениях административных и судебных, о внутренних делах вообще“. Все, кроме побед над иноплеменниками, считалось канцелярской тайной, и эта тайна, вредная сама по себе, была еще в 10 раз вреднее потому, что ею обусловливалось могущество этой ужасной смеси застоя, рутины, самодовольства, пошлости, жестокости, непонимания, т.-е.—русского чиновника. „В своих лучших представителях,—продолжает г. Пыпин,—литература ушла в чистую художественность, стремилась к отвлеченной философии, ставила общие нравственные вопросы. Публицистика не существовала. Предметы политические были до такой степени удаляемы от общественного мнения, как вещь опасная, что новейшая политическая история изгонялась из преподавания и литературы, политическая экономия считалась наукой разрушительной, а преподавание философии в конце концов упразднили, прикомандировав к богословию“.

Господствовала теория, которую г. Пыпин как нельзя удачнее называет „официальной народностью“. Признавалось и верилось, что „Россия есть совершенно особое государство и особая национальность, не похожая на государства и национальности Европы. Европа имеет свои основы быта—католицизм, протестантство, конституционные и республиканские учреждения, свободу слова, печати и свободу общественную. Всем этим она гордится, как прогрессивными и культурными явлениями, но такая гордость есть заблуждение и результат французского вольнодумства. Россия, к счастью, осталась свободной от этих тлетворных влияний, почему ей, как особой части света, и предстоит особенная будущность. В целости и неприкосновенности сохранила она предания веков, которым и должна пребывать неизменно верной. Сочувствовать либеральным стремлениям, какие обнаруживаются

и даже находят снисхождение правительств в разных государствах Европы,—Россия не может, как не может она не поддерживать с своей стороны принципа чистой монархии. В религиозном отношении Россия страна православная и даже наиболее православная. „Ее исповедание заимствовано из древнего византийского источника, верно хранившего предания церкви, и она осталась свободна от тех религиозных волнений, которые первоначально отклонили от истинного пути католическую церковь, а потом поселили распри в ее собственной среде и произвели протестантизм с его бесчисленными сектами“. Правда, и у нас есть раскольники, „но правительство и церковь употребляют все усилия, убеждения и меры строгости к возвращению заблудших и к искоренению их заблуждений“. Раскольники, по их невежеству, заслуживают некоторого снисхождения, но вообще терпимы быть не могут.

И во внутреннем своем быте Россия не похожа на европейские народы, продолжая оставаться особой, шестой частью света. „С оригинальными учреждениями, с древней верой она сохранила патриархальные добродетели, мало известные народам западным... Добродетели эти следующие: 1) народное благочестие, 2) полное доверие подданных к предержащим властям, 3) беспрекословное повиновение им и 4) простота нравов и потребностей. Наш быт удивляет иностранцев и иногда вызывает их осуждение, но он отвечает нашим нравам и свидетельствует о неиспорченности народа: так крепостное право (хотя и нуждающееся в улучшении и преобразовании) сохраняет в себе много патриархального, и хороший помещик лучше охраняет интересы крестьянина, чем могли бы сделать они сами... Управление государством учреждается на всеобщем, всестороннем и исключительном попечении власти о благе народа“. Само по себе управление совершенно, а если в практическом течении дел замечаются недостатки, то повинны в них людские пороки. „Люди дожны исправиться усилением надзора, воспитанием в строгой дисциплине, устранением вредных книг, строгой цензурой“ и т. п.

Если мы и отстали от Европы в цивилизации и науке, то обстоятельство это служит на нашу же пользу, так как наука получается у нас в том виде, когда все семена ее тщательно отделены от плевел. „Высшие учреждения блюдут за тем, чтобы наука

приносила нам только полезное, и запрещают все, что может повести к вредным умствованиям“.

Такова в общих чертах была система „официальной народности“, с достаточной полнотой разработанная во всех своих частях и имевшая на все готовые ответы. Основная ее мысль—уважение к преданию, отождествление терминов „патриархальный“ и „добродетельный“, „древний“ и „истинный“, взгляд на правительство, как на исключительно сдерживающую, консервативную силу. Россия отказывалась иметь что-нибудь общее с либеральными стремлениями, провозглашала себя опорой и защитницей существующего и с негодованием смотрела на те правительства, которые относились к новшествам с снисхождением. Последним словом политической мудрости, единственным залогом народного счастья и благосостояния провозгласила она полную административную власть над гражданами, и в этом отношении не желала делать никаких уступок.

Масса общества, конечно, стояла на стороне этих официальных теорий, да и не было ничего другого, к чему она могла бы прислониться. То же надо сказать и о литературе. Жуковский, этот удивительно довольный собою и всем окружающим человек, с самого начала был склонен к официальной восторженности и чисто консервативному миросозерцанию. Впрочем, его заоблачная туманная поэзия никаким путем и не могла сталкиваться с земною действительностью; она не заключала в себе ничего исторического с точки зрения общественного развития, удовлетворяла своими чарующими напевами, а не стремлениями. Певец „Леноры“ и „Светланы“ сначала, переводчик „Одиссеи“—потом, Жуковский, как писатель, служил украшением своему времени, но жизнь этого времени, его тайные думы, его волевое начало, его порывы и стремления не находили места в мечтательных и грустно-красивых созданиях поэта. Жуковский и его муза—иноземные растения, и что *здесь* вообще русского, нашего—я не знаю, если не считать нескольких официально-патриотических стихотворений. Ближе других к Жуковскому—Батюшков, несмотря на некоторую свою разочарованность и стремление философствовать. О Вяземском нечего и говорить. Как поэт, он совершенно ничтожен и известен лишь своими литературными связями. Пушкин начал с либерализма, но он был слишком аристократичен, слишком

любил жизнь, как она есть, чтобы долго удержаться на этой точке зрения. Друг многих декабристов, он, однако, не интересовался ни политикой, ни общественностью и не любил их. Эта неприязнь, а может быть усиленная осторожность, проявилась в нем очень рано. Еще когда в обществе Арзамас, сначала исключительно литературном, появился раскол и некоторые члены пожелали разговаривать о вопросах внутренней жизни—Пушкин был против этого. Гоголь—не только литературный, но и духовный крестник Пушкина и Жуковского.

Система ломала все, что встречалось у ней на пути, и огромная часть ее усилий была направлена к тому, чтобы оградить себя от возможности и в дальнейшем встретиться с какими бы то ни было неприятностями. Тут на первом плане выступают заботы о цензуре.

История цензуры эпохи императора Николая I—это ряд анекдотов, то комических, то печальных, оставляющих однако по себе чувство какого-то недоумения. Читая, например, историю русской цензуры А. М. Скабичевского, или дневник Никитенко, или материалы, собранные Барсуковым, начинаешь жалеть наших цензоров, хотя между ними и попадались удивительные экземпляры в смысле типичности, с какой они воплотили в себе дух времени и бурбонства. После введения нового цензурного устава эти маленькие чиновники совершенно растерялись, не зная, чего же в конце-концов от них требуют. Не малая беда заключалась, конечно, и в том, что, кроме одного специального цензурного ведомства при министерстве народного просвещения, было их еще одиннадцать при разных других министерствах и управлениях. Эта специальная цензура следила за тем, чтобы литература не только не обидела их канцелярий и департаментов, но и вообще не заглянула туда нескромным оком своим.

Несколько выписок из дневника Никитенко (самого цензора) дадут нам представление о том невероятном, что творилось в этой области.

„Сочинение мое о „Политической экономии“ во многих местах урезано цензурою. Между прочим, в одном месте у меня сказано: „Адам Смит, полагая свободу промышленности краеугольным камнем обогащения народов“ и прочее. Слово „краеугольный“ вычеркнуто потому, как глубокомысленно замечает цензор, что краеугольный камень есть Христос, следовательно, сего эпитета нельзя ни к чему другому применять.

„Был в театре на представлении комедии Грибоедова „Горе от ума“. Некто остро и справедливо заметил, что в этой пьесе осталось одно только горе: столь искажена она роковым ножем бенкендорфской литературной управы.

„Вечер провел у Плетнева. Там застал Пушкина. „Европейца“ запретили. Тьфу. Да что же мы, наконец, будем делать на Руси? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно...

„Новое гонение на литературу. Нашли в сказках Луганскаго какой-то страшный умысел против верховной власти и т. д.

„Сидонский рассказывал мне, какому гонению подвергался он от монахов, разумеется, от Филарета, за свою книгу: „Введение в философию“. От него услышал я также забавный анекдот о том, как Филарет жаловался Бенкендорфу на один стих Пушкина в „Онегине“, там, где он, описывая Москву, говорит: „и стая галок на крестах“. Здесь Филарет нашел оскорбление святыни. Цензор, которого призывали к ответу по этому поводу, сказал, что „галки, сколько ему известно, действительно, садятся на крестах московских церквей, и что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицеймейстер, допускающий это, а не поэт и цензор“. Бенкендорф отвечал учтиво Филарету, что это дело не стоит того, чтобы вмешивалась такая почтенная духовная особа: еже писах, писах.

„У нас на образование смотрят как на заморское чудовище: повсюду устремлены на него рогатины, немудрено, если оно взбесится“.

Когда в „Библиографических Записках“ появилось стихотворение:

КРАСАВИЦЕ.

Когда б я был царем всему земному миру,
Волшебница, тогда б поверг я пред тобой
Все, все, что власть дает народному кумиру:
Державу, скипетр, трон, корону и порфиру,
За взор, за взгляд единый твой.
И если б богом был—селеньями святыми
Клянусь,—я отдал бы прохладу райских струй,
И сонмы ангелов с их песнями живыми,
Гармонию миров и власть мою над ними
За твой единый поцелуй.

пропустивший их Никитенко был посажен на гауптвахту, так как стихотворение оказалось „атеистическим“.

Лучше всего принцип цензуры того времени изложил министр народного просвещения кн. Ширинский-Шихматов. Он запретил одно стихотворение Ив. Аксакова и на вопрос „почему“? отвечал: „оно может подать повод к толкованиям“. Поэма того же Аксакова „Бродяга“ была запрещена на том основании, что автор выбрал себе в герои беспаспортного человека.

Между тем литература существовала. Мало того—эпоха Николая I—одна из самых плодотворных эпох в истории русского общественного развития. Это доказывает лишь то, как бесполезны вообще стеснения и уставы против всемогущего духа времени.

А жить мыслящему человеку было все-таки тяжело. Недаром Белинский воскликнул как-то в одном из своих писем к Боткину: „страшное время переживаем мы теперь". Недаром Грановский писал Герцену после 49 года: „благо Белинскому, умершему во время"! Недаром скромный *средний человек* (а ведь это ужасно много значит, когда даже средний человек почувствует) Никитенко делает такие вот записи в своем дневнике:

„Было время, что нельзя было говорить об удобрении земли, не сославшись на тексты из священного писания. Тогда Магницкие и Руничи требовали, чтобы философия преподавалась по программе, сочиненной в министерстве народного просвещения, чтобы, преподавая логику, старались бы в то же время уверить слушателей, что законы разума не существуют, а преподавая историю, говорили бы, что Греция и Рим вовсе не были республиками, а так, чем-то похожим на государства с неограниченною властью, в роде турецкого и монгольского. Могла ли наука принести какой-нибудь плод, будучи так извращаема? А теперь? О, теперь совсем другое дело! Теперь требуют, чтобы литература процветала, но никто бы ничего не писал ни в прозе, ни в стихах; требуют, чтобы учили лучше, но чтобы учащие не размышляли, потому что учащие—что такое? Офицеры, которые сурово управляются с истиной и заставляют ее вертеться во все стороны перед своими слушателями. Теперь требуют от юношества, чтобы оно училось много и притом не механически, но чтобы оно не читало книг и никак не смело думать, что для государства полезнее, если его граждане будут иметь светлую голову, вместо светлых пуговиц на мундире.

„В странном положении находимся мы. Среди людей, которые имеют претензию действовать на ум общественный, нет никакой нравственности. Всякое доверие к высшему порядку вещей, к высшим началам деятельности исчезло. Нет ни обществолюбия, ни человеколюбия; мелочный, отвратительный эгоизм проповедуется теми, которые призваны наставлять юношество, насаждать образование или двигать пружинами общественного порядка.

„Нравственное бесчиние, цинизм обуял души до того, что о благородном, о великом говорят с насмешкою даже в книгах. Сословие людей, сильных умом, литераторов, наиболее погрязло в этом цинизме. Они в своих произведениях восхваляют чистую красоту, а сами исполнены нравственного безобразия. Они говорят об идеях, а сами живут без всякого сознания высших потребностей духа, выставляют в жизни своей самые позорные стороны житейских страстей. Может быть, и всегда так было, но от иных причин. Причина нынешнего нравственного падения у нас, по моему наблюдению, в политическом ходе вещей. Настоящее поколение людей мыслящих не было таково, когда, исполненное свежей юношеской силы, оно впервые вступало на поприще умственной деятель-

ности. Оно не было проникнуто таким глубоким безверием, не относилось так цинично ко всему благому и прекрасному. Но власти об'явили себя врагами всякого умственного развития, всякой свободной деятельности духа. Не уничтожая ни наук, ни ученой администрации, они однако до того затруднили нас цензурою, частыми преследованиями, что мы вдруг увидели себя в глубине души, как бы запертыми со всех сторон, отторженными от той почвы, где духовные силы развиваются и совершенствуются.

„Сначала мы судорожно рвались на свет. Но когда увидели, что с нами не шутят, что от нас требуют безмолвия и бездействия, что талант и ум осуждены цепенеть и гноиться на дне души, обратившейся для них в тюрьму, что всякая светлая мысль является преступлением против общественного порядка, когда, одним словом, нам об'явили, что люди образованные считаются в нашем обществе париями, что оно приемлет в свои недра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственным началом, на основании которого позволено действовать—тогда все юное поколение вдруг нравственно оскудело: все его высокие чувства, все идеи, согревавшие его сердце, воодушевлявшие его к добру, к истине, сделались мечтами без всякого практического значения,—а мечтать людям умным смешно. Все было приготовлено, настроено и устроено к нравственному преуспеянию—и вдруг этот склад жизни и деятельности оказался несвоевременным, негодным, его пришлось ломать и на развалинах строить канцелярские камеры и солдатские будки.

„Но, скажут, в это время открывали новые университеты, увеличивали штаты учителям и профессорам, посылали молодых людей за границу для усовершенствования в науках. Это значило еще увеличивать массу несчастных, которые не знали, куда деться со своим развитым умом, со своими требованиями на высшую умственную жизнь.

„Вот картина нашего положения; оно незавидно. Мудрено ли теперь, что мы, воспитав себя для высшего назначения и униженные в собственных глазах, кидаемся, как голодные собаки, на всякую падаль, лишь бы доставить какую-нибудь пищу нашим силам.

„Конечно, и у нас есть люди, действующие в другом духе, но их очень мало и они слишком бессильны, слишком робки, слишком недоверчивы к собственным чистым побуждениям, чтобы могли перетянуть весы на сторону добра; есть затворники, постники, которые решились пребыть до конца верными своим идеям и лучше задохнуться, чем изменить им. Но эти люди—исключение, и они несчастнее первых, ибо не вкушают сладости даже минутного забвения. Ничего удивительного, если иные из молодых людей доходят до самоубийства, как то было с нашим Поповым.

„Конечно, эта эпоха пройдет, как и все проходит на земле, но она может затянуться надолго—на пятьдесят, на шестьдесят лет. Тем временем успеешь умереть в этой глухой, дикой, каменистой Аравии, вдали от Земли Святой, от Сиона, где можно жить и петь высокие песни. Увы!

Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют“...

Журналистика эпохи Николая I-го.

Если не считать „Вестника Европы“, издававшегося Карамзиным в начале столетия (1802—1804), „Московский Телеграф“ (1825—1834) был первым русским журналом, заслуживающим это название даже с нашей точки зрения. Братья Полевые вели его не только живо и разнообразно, но, что удивительно для той эпохи, в совершенно определенном направлении. Перелистывая ветхие страницы „Вестника Европы“ Карамзина, вы видите, что он заботился лишь о том, чтобы быть интересным, не больше. И это, конечно, было почтенной задачей для того доброго старого времени, когда читатель был прямо редкость, а имена субскрибентов, т.-е. подписчиков, печатались крупным шрифтом в каждой книге журнала, „как покровителей литературы“. Но все же „В. Е.“ Карамзина не журнал в нашем смысле слова. Историю журналистики надо начинать или с сатирических листков времен Екатерины, или, повторяю, с „Московского Телеграфа“ Полевого.

Белинский, Панаев и вообще кружок „Современника“ произнесли когда-то Полевому суровый приговор. Вот, например, что говорит Панаев в своих литературных воспоминаниях: „Немногие даже из замечательных людей сберегают до старости то живое начало, ту смелость духа, те благородные стремления, которые одушевляли их и давали им силу в молодости... Грустно смотреть на этих ослабевших людей, но... ничто не может быть жалче и печальнее, когда видишь человека разбитого жизнью, бессильного, пережившего самого себя, старающегося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему некогда по праву человека, прикидывающегося молодцом, когда уже ноги дрожат и изменяют ему на каждом шагу, и с робкой завистью отрицающего действительную силу, проявляющуюся в новом поколении. Такое зрелище представлял, к сожалению, в последние годы своей жизни некогда сильный литературный боец, под влиянием которого воспитывалось почти все наше поколение. Я говорю о Полевом... Если бы он, после рокового произвола, обрушившегося над ним, присмирел поневоле и продолжал бы честно и смиренно трудиться, с единственною целью поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось бы незапятнанным в истории русской литературы. Но Полевой с испугу поспешил употребить

слабые остатки своего таланта на угодничество, лесть, которых никто от него не требовал, беспрестанно унижал без нужды свое литературное и человеческое достоинство, протягивая свою руку людям отсталым, пошлым и защитникам тех принципов, против которых он когда-то ратовал, от'явленным негодяям, и,—что всего хуже,—с завистливою ненавистью обратился к новому поколению... Хотя он совершенно потерял в последние годы свое литературное значение, но смерть его на мгновение примирила всех с ним. Полевой, восхвалявший романы частного пристава Штевена, писавший „Параш Сибирячек" и другие, тому подобные произведения, был забыт. В простом деревянном гробе, выкрашенном желтою краскою,—он завещал похоронить себя как можно проще,— перед нами лежал прежний Полевой, тот энергичный редактор „Моск. Тел.", которому мы были так много обязаны нашим развитием...".

Жестокая правда скрыта в этих словах, но правда односторонняя, слишком, я бы сказал, сухая. Мы имеем полное право несколько иначе отнестись к Полевому. Странная и даже ужасная судьба выпала на его долю. Нужен художник, чтобы изобразить эту простую и вместе с тем исполненную трагизма жизнь. Автор „Истории русского народа", сильный боец и передовой человек, гибкий и энергичный ум, открытое, живое сердце—это Полевой в первой половине своей жизни. Автор заядло-патриотических произведений, сотрудник Булгарина, человек, не останавливавшийся ни перед какими унижениями, торговавший своим талантом и быстро промотавший свою великую славу на скользком пути подслуживания,—это тот же Полевой, но уже после закрытия „Московск. Тел.". Что же случилось? Панаев об'ясняет такую перемену испугом и материальными затруднениями. Полевой был сломлен, по словам пословицы: сила солому ломит.

Расскажем вкратце его литературную биографию,—это избавит нас от необходимости произносить неприятный приговор самому видному из русских журналистов вплоть до Белинского и, быть может, хоть несколько послужит ему оправданием. Тем мрачнее представятся нам различного рода независящие обстоятельства, среди которых приходилось действовать и Белинскому. Кстати же увидим, чем этот последний обязан Полевому, так как, во всяком случае, одинаково можно говорить о влиянии Полевого на Белин-

ского, как и о влиянии Надеждина на Белинского. В сущности, „Отечественные Записки“ были прямым продолжением „Московского Телеграфа“, а не „Телескопа“.

Полевой—сын купца и самоучка. Ему было с небольшим 20 лет, когда он принялся за издание „Телеграфа“. Нельзя не согласиться, что, несмотря на свою молодость, он был, как нельзя лучше, приготовлен к роли журналиста. Не особенно образованный, он обладал однако многочисленными и разнообразными знаниями, писал он легко, свободно и литературно, прекрасно владея своим несколько резким и оригинальным юмором, а главное—он был достаточно смел, чтобы доверять своему вкусу и настроению. Как истинный журналист, писал он обо всем,—о русской и всеобщей грамматике, о санскритском языке, об истории всеобщей и русских летописях, о театре и политической экономии, о промышленности и о Шекспире, о научных теориях и об искусстве, о преобразованиях и успехах по всем отраслям человеческой деятельности, даже о новых модах.

Конечно, академия имеет полное право не причислять его к лику своих членов, а наука—отнюдь не меньше—забыть его, но нам трудно не вспомнить с благодарностью об этой кипучей, разносторонней деятельности. Она имела большой смысл и в свое время прекрасно сыграла роль толчка—и притом очень энергично.

Полевой повсюду с резким и грубоватым даже юмором нападал на заснувших лентяев и педантов; он буквально не давал им покоя, в какие бы специальные сферы или норы они ни прятались. Он по пятам преследовал ученое и литературное самодовольство, безжалостно осмеивая его представителей, искренно утвержденных в мысли о своей гениальности, вследствие какой-нибудь плохо изданной компиляции по немецким учебникам. Если и в настоящее время нередко попадаются люди, основывающие все свои претензии на величие на том, что им известна грамматика такого языка, который даже не снился простому смертному, то что же было 60—70 лет тому назад? Все равно, как каждый, строчивший библиографические заметки, наивно воображал себя критиком, как автор дикого стихотворения требовал причисления к сонму поэтов,—так и ничтожный компилятор находил в своей душе достаточно самоуверенности, чтобы мнить себя жрецом науки и с этой

высоты с презрением посматривать на окружающее вообще, и на человечество в частности.

У Полевого на этот счет была своя собственная точка зрения, недостаточно резко формулированная, быть может, не совсем ясная даже для него самого, и все же замечательная и для нас очевидная. Эта точка зрения, одушевленная впоследствии гением Белинского, согретая его чудным, бесконечно любящим и верующим сердцем, составила всю славу нашего великого критика. Я говорю, конечно, об общественной точке зрения.

Не особенно симпатичная, когда ее применяют механически и односторонне к произведениям науки и искусства, она однако всегда имела и будет иметь большое значение. Прекрасно формулирована она Белинским: „Свобода творчества,—говорит он,—легко согласуется с служением современности: для этого не нужно принуждать себя писать насильно, насиловать фантазию, для этого нужно быть только гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпатия, любовь, здоровье, практическое чувство истины, которое не отделяет убеждения от дела, сочинения от жизни“.

Всякому известно, какой переворот в наших взглядах и понятиях произвела эта общественная точка зрения; несомненно, что она была у Полевого. Понятно теперь, почему он с такой энергией преследовал всяких ученых педантов и птичьих поэтов, ибо на всякую деятельность—все равно научную или литературную—он смотрел, прежде всего, как на деятельность общественную. Большой поклонник Пушкина, вполне убежденный в его гениальности, он нападал даже на него. „Полевой,—говорит А. Скабичевский в своей „Истории новейшей литературы“,—представил в своем „Моск. Тел.“ первые задатки оценки писателей, принимая в соображение не одну степень талантливости и эстетические достоинства произведений, но также и политическую репутацию.

Так, при всех похвалах, расточаемых им Пушкину, он, насколько возможно, довольно прозрачно проводил ту мысль, что Пушкин уже не тот, что был, и, нападая на его стремление к великосветскости, ясно намекал на те новые официальные связи и отношения, которые завязались у Пушкина после 1826

года“. Сильный и остроумный писатель, враг всякого авторитета, прекрасный полемист, Полевой, очевидно, должен был возбудить против себя целую стаю литературных недругов, буквально не дававшую ему ни минуты покоя. Совершенно прав его брат, говоря:

„Издатель „Московского Телеграфа“ только начал свое литературное поприще и уже в первое время существования его журнала был, можно сказать, осыпан нападениями всякого рода, начиная от обыкновенных литературных противоречий до самых дерзких и нелитературных выходок. Он был не Карамзин, не прославленный ученый и профессор, он учился не в университетах, не в академиях,—а в глазах тогдашней публики было важно не только это обстоятельство, но и то, что у него не было дипломов ни на какое ученое звание, что так усердно старались пояснить его благородные, повитые на щитах, противники. Они упрекали, кололи его званием, выводили последствия, по их мнению, очень логические, что звание купца, следовательно, торговца, промышленника, несовместно с литературными занятиями, и, почитая его каким-то париею среди благородных каст, на этом основании позволяли себе дерзости, каких не осмелились бы сказать другому. Наконец, издатель „Московского Телеграфа“ мог опасаться, что с ним сбудется то, что Бомарше вложил в уста Дон-Базилио о клевете: „самая пошлая, самая нелепая клевета оставляет после себя след“.

В этих клеветах, злостных и упорных нападках на Полевого, как нельзя лучше проявились булгаринские нравы литературы того времени. Но на Полевого нападали и с другой стороны.

В нем на самом деле была та самостоятельность мысли и чувства, которая так не нравилась 50 лет тому назад. В литературе Полевой выступил защитником романтизма, в истории—противником Карамзина. Обратим внимание на последнее обстоятельство—оно это заслуживает. Как писал Карамзин свою историю—известно, это—история государства, а не народа, это панегирик внешней силе и внешнему могуществу, это прекрасный арсенал для всех аргументов национального самодовольства. Народа на сцене нет, вместо философской точки зрения господствует нравственная. Приобретение удела—великая заслуга, эпитеты „добродетельный“ и „недобродетельный“ пестрят страницы. Сентиментальный моралист повсюду стоит рядом с панегиристом государства.

Как бы в ответ „Истории Государства Российского“ Полевой пишет свою „Историю русского народа“.

Прекрасная книга, не утерявшая своей цены еще и до настоящего времени: для людей же 20-х и 30-х годов она была настоящим откровением. Молчаливый и закабаленный народ впервые заявил о своем непосредственном участии в деле создания и государства и истории. Ему было отведено свое место, и тем ярче выступило противоречие между народом, создавшим историю, и крепостной бесправной массой, в которую превратился тот же народ, и о чем совсем забыл Карамзин.

Одна эта книга могла бы обессмертить имя Полевого, а если прибавить к ней его заслуги, как издателя „Московского Телеграфа“, то, право, становится грустным, что у нас нет даже его приличной биографии, и только десяток статей, разбросанных в журналах, да совершенно затерявшийся памятник на Волковом кладбище—вот и все, что осталось от сильного бойца, когда-то передового деятеля нашего общества...

Правда, впоследствии Полевой сам себя опроверг и набросил на свое имя очень темную тень. Случилось это после неожиданного прекращения „Московского Телеграфа“, когда его издатель остался без всяких средств к жизни и к довершению всего получил строгое внушение. Человек умалился. Теперь, если уж надо о чем рассказывать, то не о прежней почти героической борьбе с самодовольством и обскурантизмом, а о писании только патриотических произведений, о сотрудничестве с Булгариным, об откровенном ухаживании и забегании перед силой жизни. Полевой делал все, что мог, чтобы забыли его же самого и первую половину его деятельности. Однако, он не достиг этого.

За что закрыли „Телеграф“? Рассказывают про это обыкновенно так. Кукольник написал патриотическую пьесу под заголовком „Рука Всевышнего отечество спасла“ и эта пьеса удостоилась высочайшего одобрения. Не зная об этом, Полевой в своем журнале поместил не особенно хвалебную заметку о ней. За это „Телеграф“ приостановили навсегда, а издателю пригрозили ссылкой. По поводу этого обстоятельства какой-то шутник написал эпиграмму: рука Всевышнего три чуда совершила: оте-

чество спасла, поэту крест дала и Полевого погубила. Но, конечно, погубила не „она“. „Она“ явилась только предлогом, придиркой, причина лежала глубже—в том, что к Полевому давно присматривались и давно на него косились. Не нравилось, во-первых, то, что он никому не кланялся и не льстил, не нравилась его репутация человека независимого, не нравилось просто то, что он думает, и, конечно, его насмешливая изворотливость, которая не позволяла так долго наложить на него руку. Наконец-то он оступился, и тут уже не было ему пощады. В докладе про него было даже сказано, что он стремится продолжать дело декабристов. А кто знает обстановку царствования Николая I-го, тот поймет, что значит такое обвинение или подозрение в устах сильного человека. В данном случае этим сильным человеком явился министр народного просвещения—Уваров. По крайней мере, раньше, говоря с Никитенко о Полевом, он доказывал необходимость запрещения его журнала вот на каком основании:

„Это проводник революции,—говорил Уваров,—он уже несколько лет систематически распространяет разрушительные правила. Он не любит России. Я давно уже наблюдаю за ним, но мне не хотелось вдруг принять решительных мер. Я лично советовал ему в Москве укротиться и доказывал ему, что наши аристократы не так глупы, как он думает. После был сделан ему официальный выговор: это не помогло. Я сначала думал предать его суду: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить с публикою—это правительство всегда властно сделать и притом на основаниях вполне юридических: ибо в правах русского гражданина нет права обращаться письменно к публике. Это привилегия, которую правительство может дать и отнять, когда хочет. Впрочем,—продолжал он,—известно, что у нас есть партия, жаждущая революции. Декабристы не истреблены. Полевой хотел быть органом их. Но, да знают они, что найдут всегда против себя твердые меры в кабинете государя и его министров. С Гречем и Сенковским я поступил бы иначе: они трусы, им стоит погрозить гауптвахтою и они смирятся. Но Полевой,—я знаю его: это фанатик. Он готов претерпеть все за идею. Для него нужны решительные меры. Московская цензура была непростительно слаба“.

Он фанатик, он готов все претерпеть за идею. Не все, конечно, но кое-что, и это кое-что не давало покоя, потому что, во всяком случае, он производил впечатление сильного человека. Интересный портрет его рисует Никитенко:

„Был на вечере у Смирдина. Там находились также Сенковский, Греч и недавно приехавший из Москвы — Полевой. С последним я теперь только познакомился. Это иссохший, бледный человек, с физиономией сумрачной, но и энергичной. В наружности его есть что-то фанатическое. Говорит он нехорошо. Однако, в речах его—ум и какая-то судорожная сила. Как бы ни судили об этом человеке его недоброжелатели, которых у него тьма, но он принадлежит к людям необыкновенным. Он себе одному обязан своим образованием и известностью—а это что-нибудь да значит. Притом он одарен сильным характером, который твердо держится в своих правилах, несмотря ни на соблазны, ни на вражду сильных. Его могут притеснять, но он, кажется, мало об этом заботится“.

„Мне могут,—сказал он,—запретить издание журнала: что же? я имею, славу богу, кусок хлеба и в этом отношении ни от кого не завишу“.

Что он проповедывал? Прежде всего романтизм. Конечно, после Жуковского и Баратынского, после первых произведений Пушкина в этом не было ничего особенно нового: романтизм уже был привит вкусу публики и в особенной защите не нуждался. Но, во-первых, надо было упрочить его победу в журналистике, где псевдоклассические теории имели еще таких упрямых защитников, как „Вестник Европы“ Каченовского, а во-вторых, Полевой понимал романтизм очень широко, как свободу мысли, чувства и выражения, как свободу творческого духа вообще. Здесь-то защита Полевого и становится интересной, потому что в указанной стороне и заключалось прогрессивное, жизненное значение романтизма. Псевдоклассическая теория, выросшая в обстановке французского двора, навсегда сохранила на себе его отпечаток: она стремилась соблюдать этикет во всей его строгости и преклонялась перед авторитетными именами. Ни то, ни другое к Полевому не подходило.

Литературную историческую роль романтизма г. Пыпин в своей Истории русской литературы“ сводит к следующему:

„Романтизм... начал с того, что отверг в псевдо-классицизме самое его понимание древности, узкую эстетическую теорию, и провозгласил свободу поэтического творчества; он отверг пренебрежение к средним векам и находил в них образцы высокой поэзии: он не только не презирал народной поэзии, но искал и изучал ее, как непосредственное проявление народного духа, старался воссоздать ее и открывал в ней живительный источник для современного художника, если оно хотело стать истинно-национальным; на место педантических правил старой пиитики он ставил свободу гениального художника, который должен был быть сам для себя законом. Немудрено, что люди ложно-классического века приходили в ужас от этого литературного безначалия и считали его падением поэтического искусства“...

Но романтические стремления Полевого не ограничились, как я только что указал, областью литературы. В области воспитания он проповедывал отсутствие рутины и стеснения; в области жизни вообще он защищал свободу личности и необходимость инициативы, восставал против преданий и авторитетов, опиравшихся лишь на свои лета.

В одном из №№ „Московского Телеграфа“ есть интересная каррикатура: сам Полевой и его брат (Ксенофонт) сидят за ужином, встречая новый год. Вдруг со всех сторон выступают костяки и, размахивая своими длинными безобразными руками подвигаются к столу, грозно оскалив зубы и потряхивая своими костями. Этим образом Полевой верно передал свою роль, свое значение, всю ненависть, какую возбуждал он своею деятельностью.

После закрытия журнала сильным человеком он себя не проявил. Но не трудно, кажется, вообразить себе иную обстановку, где с такими людьми, как Полевой, никакого зла не случилось бы, не пришлось бы ему в этой иной обстановке ни холопствовать, ни лицемерить, не пришлось бы отрекаться от себя и восхвалять романы частного пристава только потому, что тому дана власть вязать и развязывать. Можно ли рассуждать с точки зрения этой, не идеальной, но все же лучшей обстановки?

Нам думается, что да. Ведь общество существует совсем не для героев, а общественная жизнь—не для героических поступков. Героев так мало, что из-за них бы не стоило хлопотать. Большинство смертных представляет из себя коллекцию весьма и весьма дюжинных людей. Умных, не глупых, по крайней мере, между ними достаточно, но те, кто одарен исключительной силой воли, могучей верой и способностью приносить в жертву идеалу свое тщеславное, вечно алчущее „я“,—встречаются в виде исклю-

чения. Герой в любой обстановке—разве уже самой исключительной—не затеряется, но общественная жизнь должна быть приспособлена к людям средней воли, и их-то чувство достоинства она и должна оберегать. А если она не делает этого, если она это человеческое достоинство топчет в грязь, если она возводит в принцип неуважение к нему, в систему—преследование его, то кто же виноват? Неужели слабый человек средней руки, обремененный многочисленным семейством?..

Тридцатые же и сороковые года нашего века к этике, основанной на уважении к человеку, приспособлены не были, а как бы, наоборот, задались специальной целью доказать, что чувства собственного достоинства у человека нет, да и быть не может. На Полевом они проявили все свое могущество, и он был сломлен. Конечно, никто не мешает нам обвинять его: „жестокие“ слова и так уже не раз градом сыпались по его адресу. Но будет ли правда в этих „жестоких“ словах? Если и будет, то не полная. Не знаю, как другие, но я, вчитываясь в письма Полевого, относящиеся к последней эпохе его деятельности, чувствовал одну лишь жалость и сострадание к этому, когда-то сильному человеку. Долги, заботы о семействе, о насущном куске хлеба, тревожные думы о подневольной работе, постоянное насильственное напряжение своих сил—вот тема этих писем. Перед нами слабый, несчастный, под’яремный человек, боязливо оглядывающийся, боязливо протягивающий руку.

Мне кажется, можно просто сказать: пусть в Полевого бросит камень тот, кто чувствует себя лучше и выше его. Он делал все, что мог, он бился, как может только биться рыба, выброшенная на берег; больной, расслабленный, он работал по 16-ти часов в сутки—но ничего не выходило: судьба слишком крепко затянула свой узел. С невыразимой тоской неудачника, поставившего над собой крест, смотрел он и на свою жизнь, и на свои последние труды. Он видел, как изо дня в день мельчает и гибнет его репутация, как отворачиваются от него прежние друзья, как презирают его бывшие поклонники, но очевидно, что он начал катиться с слишком крутой горы. Остановиться не было сил, и за свое малодушие, которое,—к ужасу своему,—прекрасно сознавал, он расплатился сторицею, быть может, даже слишком жестоко расплатился за него.

Конечно, Белинский не поступил бы так, и в этом все наше утешение. Он не раз бывал в таком же положении, как Полевой, не раз нищета и томительная неопределенность положения надрывали его силы,—повидимому, он предпочел бы умереть с голоду, чем сдаться... Но все же, из всех врагов знаменитого публициста, он один отнесся к нему по-человечески, понял его, пожалел и... простил в душе.

Полевой шел в уровень с публикой,—учился вместе с нею, но учился настойчиво, проникновенно. Этим в значительной степени об'ясняется его влияние. Не совсем то представляет из себя Надеждин, издатель и редактор одинаково шумевшего когда-то „Телескопа“. Это был, прежде всего, профессор и ученый человек. Как профессор, он был вполне на своем месте и пользовался большими симпатиями слушателей:

„Надеждин производил, с начала своего профессорства, большое впечатление своими лекциями, — рассказывает К. Аксаков.—Он всегда импровизировал. Услышав умную, плавную речь, почуяв, так сказать, воздух мысли, молодое поколение с жадностью и благодарностью обратилось к Надеждину, но скоро увидело, что ошиблось в своем увлечении, Надеждин не удовлетворил серьезным требованиям юношей: скоро заметили сухость его слов, собственное безучастие к предмету и недостаток серьезных знаний. Тем не менее, справедливо оценив Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его речи. Я помню, что Станкевич, говоря о недостатках Надеждина, прибавлял, что Надеждин много пробудил в нем своими лекциями, и что если он, Станкевич, будет в раю, то Надеждину за то обязан. Тем не менее, благодарный ему за это пробуждение, Станкевич чувствовал бедность его преподавания. Надеждина любили за то еще, что он был очень деликатен со студентами, не требовал, чтоб они ходили на лекции, не выходили во время чтения, и вообще не любил никаких полицейских приемов. Это студенты очень ценили,—и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекциях, как у Надеждина. Обладая текучею речью, закрывая глаза, и покачиваясь на кафедре, он говорил без умолку, и случалось, что проходил назначенный час, а он продолжал читать: он был крайним. Однажды, до поступления моего на второй

курс, прочел он два часа слишком, и студенты не напоминали ему, что срок его лекции давно прошел".

Но если студенты прощали Надеждину и сухость его слов, и некоторую неясность выражений, и даже „собственное безучастие к предмету",—то публика не простила ему этого. Прежде всего она плохо его понимала. Не то, чтобы Надеждин писал слишком уже тяжело—нет, но, воспитанный на произведениях немецких философов, он усвоил себе и их бесконечные периоды, совершенно неподходящие для русского нетерпеливого и невнимательного мозга, а также довольно трудную терминологию, которая приводила провинцию в искреннее недоумение и даже замешательство. Не понимала публика и тонкой иронии Надеждина. Ей в то время надо было говорить резко и прямо: „это вот прекрасно и возвышенно", а „это скверно и низко". А тут человек смеялся, да еще так странно и ехидно, что никак нельзя было отличить, где он говорит серьезно, где иронически. Но самое главное, конечно, в том, что Надеждин как в лекциях, так и в критике одинаково проявлял собственное безучастие к предмету. Этого-то уж нельзя было не заметить, и это было непростительной ошибкой. Ведь в то время задача критики сводилась не только к тому, чтобы оценить произведение, растолковать его общественный смысл и поставить на подобающее место—первым ее делом было возвысить любовь и уважение к русской литературе. Эту задачу Надеждин просмотрел, и всю ее целиком вынес Белинский один на своих плечах. Однако, Чернышевский, теперь Милюков, и притом с очень значительным основанием, видят в Надеждине предшественника Белинского [1]).

Если Белинский решительным образом отвергает трескучий романтизм и шарлатанскую пустоту тогдашней ходячей литературы и проч., то в этом он шел по следам Надеждина. Надеждину наша литература также казалась бесплодным пустырем, на котором только изредка возникают прекрасные цветы, почти приводящие в недоумение своим появлением. Надеждин видел мало отрадного в старых преданиях русской литературы и в самой истории: древняя русская жизнь представлялась ему „дремучим лесом

---

[1]) Г. Венгеров это отрицает, но я предпочитаю держаться мнения Чернышевского.

безличных имен, толкущихся в пустоте безжизненного хаоса“, и он даже спрашивает: „имеем ли мы прошедшее,—жил ли подлинно народ русский в это длинное тысячелетие?“ Возникновение умственной жизни он начинает только с Петра, и литература, или вся образованность русская, с тех пор казалась ему только слабой копией европейского просвещения, где „все европейское забрасывается к нам рикошетами, через тысячи скачков и переломов, и потому долетает в слабых, издыхающих отголосках“. В „Телескопе“ он с язвительностью прежнего Надоумки (его псевдоним) говорит о новейшем романтизме, нападает, как и раньше, в „Вестнике Европы” Каченовского, на Пушкина за отсутствие в его поэзии общественности, но—надо отдать ему справедливость—и сам не отличается ею. Появляется в нем какая-то напускная вычурность, страсть оригинальничать, какая-то гимнастика ума. Никитенко очень язвительно заметил в своем дневнике: „это они как будто стараются перещеголять один другого пышностью варварской терминологии и туманным красноречием. Надеждин, например, столп вавилонский почитает изряднейшим произведением древнего зодчества, на коем почили тайны веков, первообразом древнего мира и т. д...“

До таких тонкостей публика того времени не доросла.

Собственный журнал Надеждина успеха не имел. Тогда издатель решил прибегнуть к героическому средству и напечатать в нем письмо Чаадаева. Письмо воздействовало: „Телескоп“ был прекращен в 1836 г., сам Надеждин отправлен в ссылку в Усть-сысольск, что, впрочем, его чиновничьей карьере не помешало: вернувшись, он благополучно служил при Перовском и умер в 1855 году.

Мало, к сожалению, даже слишком мало симпатичного можно сказать о третьем знаменитом журналисте, современнике Белинского—Осипе Ивановиче Сенковском, еще более известном под псевдонимом барона Брамбеуса.

Профессор университета и блестящий лектор, знаток восточной литературы и Востока вообще, ученый, прекрасно владевший языками: персидским, арабским, турецким, коптским, французским, английским, немецким, русским, польским, итальянским и испанским, свободно писавший на пяти языках, и вместе с этим

талантливый публицист, критик, автор бесчисленных повестей, единственный редактор и почти единственный сотрудник самого распространенного когда-то журнала,—таков Осип Иванович Сенковский с внешней стороны своей деятельности. Громадная память, блестящий ум и не менее блестящая фантазия, невероятное трудолюбие, разносторонний талант и энциклопедическое образование,—делали его самым заметным и влиятельным человеком среди русских журналистов.

Прочтите любую страницу из произведений Сенковского, все равно откуда выхваченную,—из его повестей или фантастических рассказов, из его критики или литературной летописи, из его фельетонов или ученых трактатов,—вам сейчас же бросится в глаза резко очерченная индивидуальность автора. После самого незначительного опыта бесчисленные псевдонимы Сенковского не будут затруднять вас. Как бы он ни подписывался—барон Брамбеус, Тютюнджю-Оглу, Т—О., О. О. О., Б. Б., Осип Морозов, Белкин, Снегин и пр. и пр.,—вы его сейчас узнаете, как узнавала его некогда публика тридцатых годов. У Сенковского не только резко очерченная индивидуальность, это—индивидуальность утрированная, утрированная самим Сенковским. Там, где вы увидите блестящее и общедоступное изложение самых трудных вопросов лингвистики, или политической экономии, или даже медицины, внезапно прерванное веселой шуткой или иронической фразой, в которой автор подсмеивается и над предметом, и над самим собой, там, где после одушевленных красивых строк вы натолкнетесь на другие, в которых дается полный простор скептицизму, готовому заподозреть все—сделанные выводы, усилия ученых, собственную эрудицию автора, и даже самого себя, там, где шутка зачастую переходит в буфф, полный утрировки, где читателю нельзя подчас разобраться, серьезно ли говорят ему или шутят, где насмешливая улыбка автора ни на минуту не исчезает с написанных строк, где все так искусственно, где все так тревожит и тормошит ваш ум и так мало действует на сердце, волю,—там вы угадаете руку Сенковского.

Но не останавливайтесь на первых страницах, не поддавайтесь очарованию безусловно умного человека, у которого, кажется, весь организм пропитан умом,—идите дальше. Идите дальше, и вами скоро начнет овладевать утомление. Ваш ум удовлетворен

стройной логикой, смелыми парадоксами, интересом аргументации, ваше воображение приятно провело время, следуя за прихотливой фантазией автора, за ее изысканными арабесками, но ваша воля и чувство остались незатронутыми. Сенковский об'яснит вам все, что угодно, но где тот предмет, который бы он заставил полюбить, где та цель, ради которой весь этот шум и блеск? Ваша воля осталась без напряжения, нет слез негодования, нет любовного волнения сердца. Вызванная чтением работа ума и игра фантазии не заменяют остающейся от него пустоты и холодности чувства.

Задача художника, актера, артиста вообще, как служителя искусства, - разогреть предмет. Мне простят неудачное выражение „разогреть“, но оно лучшее по краткости. Можно сказать иначе: „задача искусства—представить вам предмет или всю совокупность предметов, указать с их симпатической стороны“, т.-е. затронуть любовь и ненависть вашего сердца, повлиять на нашу волю. Этого не было у Сенковского.

Сравните его с Белинским. По всей вероятности, несомненно даже, он был в десять раз образованнее последнего, если не более того. Но Белинский умел угадывать, тогда как Сенковский только понимал. Белинский носил в своей груди благородное, смелое сердце, в нем таились все муки и надежды современности, он воспитывал наши стремления и умел обсуждать их; как истинный художник, он вызывал наши восторги и наши негодования; как человек с творческой силой,—он был всегда самостоятелен. А главное, статьи Белинского—сама жизнь измученной, но не утерявшей героической веры души, поэма, созданная верой в грядущее счастье, мукой и страданиями своей эпохи. Сенковский умен, умен как Мефистофель, но как часто оставляет он нас при одном бесцельном, бессодержательном смехе!.. Белинский—боец, Сенковский—наблюдатель.

Есть умное изречение, которое гласит: „жизнь представляется трагедией тому, кто смотрит на нее с точки зрения чувства, и комедией тому, кто стремится только понять ее“. Вся жизнь для Сенковского преобразовалась в комедию, часто в водевиль, иногда в скверный анекдот. Он не любил касаться высоких страстей, героических порывов, не верил даже в мрачные силы человеческой природы. Редко возвышался он до взгляда на жизнь, как на таинственную драму, разыгрывающуюся на нашей малень-

кой сцене-земле, он предпочитал видеть в ней интересную комбинацию довольно-таки бессмысленных случайностей. Величие не поражало его, зло не пугало. В первом он находил всегда яркие следы эгоизма, во втором—тот же эгоизм, в форме мелких страстей, если угодно—мошенничества, тщеславия, подобострастия.

Строго говоря, он ни во что не верил, ничего не хотел, ни к чему не стремился.

В его руках „Библиотека для чтения" стала журналом интересным, разнообразным и, по существу, совершенно беспринципным.

Перед нами более ста томов журнала, из которых каждый—плоть от плоти и кость от костей самого Сенковского. Признаемся, мы не без уважения просматривали их. Мирно и спокойно стоят они теперь в библиотеке, плотно прижатые друг к другу, все в переплетах, с пожелтевшими, запятнанными страницами. Изредка тревожит их рука специалиста или такого случайного работника, как я, большую же часть времени никто ни на минуту не чувствует в них ни малейшей надобности.

Груды книг вырастают возле них, над ними, внизу, и эти небольшие томы с каждым годом все более и более затериваются среди новых пришельцев. Их дело сделано, покончены все расчеты, итог подведен, и, молчаливые свидетели прошлого, они не имеют достаточно внутренней силы, чтобы хоть чем-нибудь заявить о себе новым поколениям. А ведь было время, когда выход каждой из этой сотни книжек ожидался с нетерпением, когда торопливые руки нервно разрезали страницы, и добродушный читател, с невольной улыбкой, выражавшей предчувствие удовольствия, набрасывался на „Литературную летопись", или критические статьи, ожидая веселой шутки, бойкой остроты. Но все это прошло. Как замирающее эхо, доносятся до нас восторги читателей барона Брамбеуса, тот говор и шум, который возбуждала „Библиотека"; спокойные и забытые стоят ее темы. Habent sua jata libelli—родятся и умирают, и одна из сотни тысяч достигает бессмертия...

„Библиотека для чтения"—журнал Сенковского. Это, повторяем, плоть от плоти его; он сам фигурирует перед нами на каждой странице, и, зная его, мы уже предчувствуем, чем должны быть и они. Мы видели, что у Сенковского было много данных, чтобы быть хорошим редактором; таким же вышел и его журнал.

У редактора-энциклопедиста журнал не мог не быть энциклопедическим; отделы наук, иностранной словесности и смеси были те отделы, в которые Сенковский вложил всю свою душу. Он был несколько англоманом, особенно в литературе. Новой французской школы он не долюбливал и даже энергично преследовал ее, доходя подчас до странного и неприличного даже вышучивания таких крупных величин, как Жорж Занд. Эту последнюю он именовал не иначе как г-жею Егор Занд. Ему больше нравилась английская литература, с ее спокойным анализом человеческого сердца, и почти все лучшие ее произведения появлялись в „Библиотеке". Постоянно встречаем мы переводы из Кольриджа, Водсворта, Диккенса, Теккерея, Скотта, Брума, Соммервиль и т. д. Не мало и статей посвящено этим талантливым писателям, так что в общем читатели „Библиотеки" могли быть благодарны ее редактору. В „Смеси" печатались каждый месяц краткие обозрения новостей английской и французской литератур, с библиографическими списками появившихся на рынке книг. В отделе наук, особенно интересном и разнообразном, Сенковский знакомил публику со всеми открытиями и новинками в области положительных знаний.

В отделах „Критики" и „Литературной летописи" в первые годы издания „Библиотеки" почти все статьи написаны Сенковским, хотя не все они статьи критические: многие представляют лишь обозрение содержания книги, с выписками из нее для образца и с немногими, иногда серьезными, но большею частью шутливыми, юмористическими замечаниями. „Литературная летопись" посвящена была почти исключительно подобным заметкам; отдел „Критики" всегда был серьезнее. В первые годы существования журнала рецензии „Летописи" писались вообще спокойным тоном, хотя не без саркастических выходок и отступлений. Они-то всего более и нравились публике, ими-то всего более и восхищались.

Тут Сенковский сделал великую ошибку: он послушался публики. Та, повидимому, решительно не имела ничего против гаерства и балагана, даже требовала того и другого, и вскоре почти вся „Литературная летопись" превратилась в непрерывную шутку: стали рассматриваться преимущественно такие сочинения, которые представляют наиболее смешных сторон, наконец, шутка дошла даже до буффа, и „Летопись" заставляет новые книги плясать перед собою, играть комедию, водевиль и представлять сцены из

„Тысячи и одной ночи“... „Литературная летопись“ была как бы отдыхом и гимнастикою для ума, требовавшего перемены занятий, и в то же время жертвою вкусу публики.

Против гимнастики ума и потворства вкусу публики можно, конечно, возразить очень много.

Можно свести к немногим основным пунктам мировоззрение „Библиотеки для чтения“.

1. Читатель глуп—его надо учить.

2. Читатель настолько глуп, что в сущности ничему научить его нельзя.

3. Без читателя нет журнала. Надо нравиться читателю, забавлять его, смешить его, льстить его вкусам, а так как он неисправимо глуп, то и смеяться над ним.

4. Литературы нет,—есть книжная торговля.

5. Все литераторы пошляки, сплетники, прыщи больного самолюбия, подчас доносчики. Надо их бить и крепко бить словом, разумеется.

6. Смейтесь же, господа, над своей несуществующей литературой, несуществующей общественностью. А не хотите смеяться,—плачьте или патриотически во все горло кричите „ура!“ на драмах Кукольника,—Кукольник выше Гоголя...

Теперь,—еще ниже, читатель; недалеко и до дна. Единственная газета с политическим отделом была знаменитая „Северная Пчела“. „Она помещала статьи по политическим вопросам и усердно проповедывала такую точку зрения: Россия и Европа, особенно Европа конституционная, представляют резкую противоположность—порядка и спокойствия, с одной стороны, буйства и своеволия—с другой; России нечего было завидовать Западу, потому что мнимая цивилизация приводит Запад только к безбожию и революциям; нам, напротив, следует всячески от него оберегаться, чтобы к нам не проникала его зараза“. „Северная Пчела“ не находила слов, чтобы выражать свое отвращение к конституциям и насмеяться над ними: парламентские ораторы Франции и Англии были крикуны, вольнодумцы, которых следовало просто усмирить полицейскими внушениями... Правда, „Северная Пчела“, уже с первых дней своего существования, стала приобретать очень и

очень некрасивую репутацию, но эта репутация, делавшая ее предметом презрения в кругу образованного меньшинства, не мешала ей представлять особое мнение целого огромного слоя русского общества из среднего грамотного класса — чиновничества, дворянства, гостинодворской публики, военного сословия... Греч, который, говоря о своих связях с Булгариным, сам, как рассказывают, с изумительной откровенностью сравнивал себя с „каторжником, таскающим за собою свое ядро“ — Греч, и его сподвижник имели своего рода популярность, в те времена очень обширную. И как эта популярность, бог весть как приобретенная и еще худшими способами поддерживаемая, популярность Сенковского, Греча, Булгарина должна была стоять поперек пути таких людей, как Белинский, раздражая и обижая их...

Об „Отечественных записках“ — самом влиятельном журнале 1840—1847 г. я скажу ниже в главе о Белинском.

Были на сцене, конечно, и другие журналы, но так как я пишу не историю журналистики собственно, а лишь историю литературных идей, то для меня совершенно достаточно ограничиваться лишь наиболее типичными представителями общественной мысли. Жаль только, что я могу очень мало сказать о читателе собственно—этом таинственном незнакомце, создающем успех или неуспех произведения, определяющем силу или бессилие данного направления. Опираясь на скудные данные, можно сказать, что любимыми писателями рассматриваемого периода (1826 — 1840) были Бестужев-Марлинский, Бенедиктов, Греч, Булгарин, Сенковский, Н. Полевой, а самыми распространенными органами—„Телеграф“, „Северная Пчела“, „Библиотека для чтения“. Нельзя сказать, чтобы эти имена, кроме Полевого, говорили о высоком вкусе публики и о больших умственных запросах, и ошибаются те, кто думает, что первое место занимали Пушкин и Гоголь. Они были первыми — это, конечно, но масса предпочитала им других. Все современники единогласно — кто с прискорбием, кто с завистью свидетельствуют о поразительном успехе „Северной Пчелы“: это был настоящий, непререкаемый авторитет для всех ее читателей, ее приговоры для них не подлежали ни кассации, ни апелляции, ее подозрительное остроумие смешило всю провинцию. Романти-

ческие повести Бестужева—часто, впрочем, действительно талантливые, но слишком пряные, ультраромантические, так сказать, наполненные приключениями благородных разбойников, дикими возгласами страсти, зубовным скрежетом нечеловеческих страданий и т. д.—читались нарасхват, давая острые ощущения среди утомительной скуки, пустоты и однообразия жизни. Почти одинаково действовали и стихи Бенедиктова. Между прочим, появился вкус к исторической беллетристике. Созданная романтизмом, любившим образы прошлого, она быстро расцвела. К ней относятся повести и романы Н. Полевого (напр., „Абадона"), Лажечникова, Загоскина (особенно его „Юрий Милославский"), Кукольника, Булгарина („Выжигин") и т. д. Разумеется, никакой истории в этой исторической беллетристике нет, тут господствует романтический шаблон, пристрастие к необычному, к сильным страстям, смесь неизвестных России рыцарских преданий с дешевкой местного приготовления. Впрочем, историческая беллетристика не процветает у нас и теперь, и чем в самом деле Г. Данилевский лучше Лажечникова, а что он хуже Загоскина—это уже несомненно. Как бы то ни было, литература демократизировалась. Росла масса читателей; разночинец быстро завоевывал себе место в журналистике, а журналистика стала чем-то действительно нужным, без чего стало просто немыслимо обходиться. „Дай бог нам более журналов, плодят читателей они", а так как без читателей литература не может стать общественной силой—то, если бы результаты сводились лишь к этому, все же журналистика свое дело сделала.

Грибоедов, Гоголь, Лермонтов.

Мне надо говорить теперь об этих трех крупнейших представителях художественной литературы рассматриваемого периода. Очень сожалею, что психологический и *эстетический* анализ их произведений мне придется оставить почти-что в стороне. Такой анализ не входит в план моей работы и может только нарушить ее единство. Я ограничусь более скромным делом и рассмотрю, как исторический момент отразился в этих гигантах слова и какую степень общественного самосознания выразили они. Я очень хорошо знаю, что в них было больше, гораздо больше, что люди

интересуются (и совершенно основательно) подробностями их личной психики, всяким шагом в развитии их творчества, обстоятельствами их жизни;—что не все создано в них эпохой, что их самосознание шире и глубже—но, я спрашиваю себя: если политическая экономия имеет право рассматривать человека только, как производителя и потребителя ценностей; если физиология видит в нем только организм, а социология только члена общества—то почему же историк литературы из всего огромного материала, который подлежит его рассмотрению, не может выделить один наиболее существенный для него элемент, одну наиважнейшую для него сторону? Все это не только необходимо, но и прямо неизбежно для него, раз он, по возможности, хочет приблизиться к требованиям научности, а не расплываться в необозримом море биографических, библиологических данных или, всегда произвольных, эстетических суждений и оценок. Мне скажут, что такая оценка будет не полной. Совершенно верно. Но перед историей литературы стоит диллема: или обратиться в энциклопедический словарь всевозможных сведений и данных о людях, писавших книги или сочинявших журнальные статьи, или попытаться стать наукой. В сущности обе эти задачи одинаково почтенны, но лично мне представляется невозможным смешивать оба ремесла, и я предпочитаю ограничиться попыткой. Герой моей книги—*общество, в его литературных представителях*, а не сами литературные представители. Вот, что прошу иметь в виду.

У всех трех, названных мною в заголовке, было не мало общего и это общее заключалось в скептическом—даже более того—в пессимистическом отношении к русской действительности, в мучительном и напрасном искании идеала и положительных данных для него,—а также в полной раздвоенности их духа. Их скептицизм и критика окружающего—страдающие, и в этом смысле их сатира, их недовольство сделала действительно огромный шаг сравнительно с прошлым. В этом их истинная оригинальность и значение, что, впрочем, нисколько не может заставить нас забыть их предшественников. Этими предшественниками были—сатирические журналы эпохи Екатерины II, граф Капнист и его великолепная комедия „Ябеда“, журналы и басни Крылова. Относительно этих басен следует сказать, что в своем роде и в литературном смысле они представляют нечто близкое к совершенству, лучшим

доказательством чему служит одинаковое удовольствие, получаемое от них и взрослыми и детьми. Можно ли смотреть на басни Крылова, как на замаскированную историю своего времени—вопрос большой и окончательно не решенный, но кажется, что в таком предположении много справедливого. В смысле положительного стремления (участь большинства русских писателей) Крылов дает очень мало, но его критика всегда метка, ядовита и лукава. И это, конечно, критика самодовольного до напыщенности общественного строя и его властных представителей.

А. С. Грибоедов (1795—1829). Грибоедов прославился своей комедией „Горе от ума“. Больше он не создал ничего, достойного своего имени.

Прочтя комедию, Пушкин сказал: „Грибоедов очень умный человек, но Чацкий не умен“. Это лучшая критика не только всего произведения, но и общественной его роли.

Грибоедов человек умный — это бесспорно. Каждое его слово режет, как бритва; вся комедия состоит из афоризмов, ставших поговорками и представляющих из себя самый сложный и остроумный синтез жизненных наблюдений. Но Чацкий, несмотря на все свое красноречие, несмотря на все глубочайшее основание для своего гнева, производит впечатление человека, напрасно и бесполезно мечущегося, не знающего чего он хочет и чего ему надо. Продолжая его историю, Щедрин с удивительной меткостью заставил его жениться на Софье Фамусовой, надеть на себя маниловский халат, подружиться с Молчалиным, а в предчувствии близкой кончины написать завещание всего из одной фразы: „все оставляю другу моему Соничке“. Конечно, друг мой Соничка ничего не получила, зато Молчалин попользовался более, чем мог ожидать.

Весь гениальный ум Грибоедова сказался в его отрицании, все недомыслие Чацкого в его утверждении, и поэтому-то, там, где Грибоедов является одним из лучших наших сатириков, Чацкий машет в воздухе руками. Русская действительность не дала Грибоедову ничего положительного, он был лишь поражен и возмущен ее ужасающей пустотой, ее беспримерным ничтожеством. Произнести ей приговора он не хотел, ему мучительно надо было

ухватиться за что-нибудь ценное и весское, что открывало бы перспективы в лучшее будущее, и он ухватился, как сейчас увидим, за что-то детское, ребяческое. Стараясь воплотить это в живом человеке—он создал Чацкого.

В этом большом человеке, Грибоедове, был еще и маленький человек Грибоедов — в этом и загадка той странности, что величайшая русская комедия страдает таким крупным недостатком, как ходульная, неживая фигура своего главного героя.

В симпатиях маленького Грибоедова было что-то староверческое, так проницательно и с таким знанием дела отмеченное А. Н. Пыпиным в его „Истории русской литературы". И эти староверческие симпатии имеют не лично-психологическое, а общественное значение, потому что они являются основой классового самосознания русского барства, так пышно выразившегося в конце концов в славянофильстве. Любопытны некоторые факты.

В юности Грибоедов сочувствовал Шишкову и морщился от нововведений Карамзина. В своих заметках о путешествии на Кавказ он пишет:

„Разгоряченный тем, что̀ видел и проглотил, я перенесся за двести лет назад в нашу родину. Хозяин представился мне в виде добродушного москвитянина, угощающего приезжих немцев, фараши—его домочадцами, сам я—Олеарий. Крепкие напитки, сырые овощи и блюда с сахарными брашнами,—все это способствовало к переселению моих мыслей в нашу седую старину, и даже увертливый красный человек, который хотя и называется англичанином, а право, нельзя ручаться, из каких он,—этот аноним только рассыпался в нелепых рассказах о том что делается за-морем, я видел в нем Маржерета, выходца при Дмитрии, прозванном Самозванцем, и *всякого другого бродящего иностранца того времени, который в наших теремах пил, ел, разживался и, возвратясь к своим, ругательством платил русским за русское хлебосольство*. И эриванский Маржерет... язвительно отзывается насчет персиян, которые не допускают его умереть с голоду".

Эти строки как будто взяты из официальных и официозных опровержений, сообщаемых иностранцами сведений о России, опровержений, которыми так богата литература XVII-го и XVIII-го веков. Опровергающие всегда упрекали критиков за то, что те пили, ели, а потом по хамству своему начинали бранить. Выше этого Грибоедов не поднялся, как не поднялся в виде восторгов перед гостеприимством русских и странной формулы: „гостеприимство должно притупить насмешливые стрелы".

„Преследуя иноземцев в русской старине, Грибоедов еще больше не терпит их в современной жизни. Забавен рассказ (в письме к Бегичеву, 1818) о путешествии его вместе с сослуживцем Амбургером, которого Грибоедов хотел уверить в непохвальности его немецкого происхождения. „Вообще,—пишет Грибоедов с дороги,—везде на станциях остановка; к счастию, что мой товарищ—особа прегорячая, бич на смотрителей, хороший малый; я уже уверил его *что быть немцем очень глупая роль на сем свете,* и он уже подписывается Амбургев, а не—р, и вместе со мною немцев ругает наповал, а мне это с руки“. Он прибавляет вслед за тем: „Один том Петровых акций у меня в бричке, и я зело на него и на его *колбасников* сержусь: коли найдешь что-нибудь чрезвычайно забавное в Деяниях, пожалуй, напиши, я этим воспользуюсь“. (Пыпин, IV, 305).

Сравнивая эти отрывки с монологами Чацкого, вы видите, что их настроение произошло из того же источника. На самом деле, что мог видеть перед собой Чацкий? Картину невыразимой пошлости, тупости, бессердечия, пронырства, самодовольства, полной духовной прострации, цинической откровенности, наглого деспотизма—словом, всего того, что так гениально изобразил Грибоедов в отрицательных лицах своей комедии. И что же оказывается в конце концов? Оказывается, что ничего бы этого не было, если бы мы не носили фраков и заняли бы у китайцев хоть немного „премудрого незнанья иноземцев“. Вы отказываетесь верить, что Грибоедов мог это сказать, вы чувствуете, что это слова Шишкова, который уверял, что Россия благоденствовала бы, если бы вместо „министр“ значилось „деловец государственный“!..

Это старо-барское староверие в таком проницательном и умном человеке, как Грибоедов, очень характерно. Очевидно, оно могло явиться результатом лишь таких глубоких и непроверенных критикой влечений человеческой натуры, над которыми сам он не властен. Здесь мы имеем дело с исторической традицией, и та же властная, могущественная традиция помешала Грибоедову отнестись хоть сколько-нибудь внимательно к крепостному праву. Жизнь не дала ему принципа, с высоты которого он мог бы охватить этот предмет. Он, конечно, мимоходом говорит о нем, возмущается тем, что набранные в кордебалет Амуры и Психеи были потом распроданы по одиночке, но очевидно, что в этом случае его поражает факт распродажи в розницу. А если бы оптом? спрашиваете вы себя... Как бы Грибоедов отнесся к такому факту? По всей вероятности—никак.

На сцену выступает полное раздвоение духа. С одной стороны, мощная критика, обращенная на современность, на самую кронку

общественного строя—его „великих писцов“, как Фамусов: „полководцев“, как Скалозуб; везде принятых мошенников, как Загорецкий; титулованных плантаторов и т. д., с другой,—полное бессилие создать хоть что-нибудь положительное, указать хоть на какой-нибудь выход. Выхода не было. Чацкий служит. На службе он рассорился с министрами. По обстоятельствам дела выходит, что это хорошо. Но представьте себе, что Чацкий сам стал бы министром? Что бы он сделал, какую бы идею осуществил он в своей деятельности? Очевидно, что ровно никакой, хотя и издал бы том циркуляров, предписаний, увещавал бы не брать взятки, с прискорбием узнавал бы, что взятки берутся даже при приведении верноподданных к присяге и т. д., а все же министерство продолжало бы управляться письмоводителями и столоначальниками.

Но это „полное бессилие создать что-нибудь положительное“ показывает, что отвращение к жизни созрело, что она, эта жизнь, оскорбляла лучших людей, давала им великолепный материал для сатиры и ровно ничего для созидания. Разве староверие Грибоедова выход? Разве выход—католицизм Чаадаева? Или проповедь Домостроя со стороны Гоголя? или самоубийство [1]) Лермонтова? Конечно, нет. У Пушкина было нечто положительное, — это его отношение к жизни, но только отношение; общественной же творческой идеи у него не было, как и у других его сверстников.

Н. В. Гоголь (1809—1852). В Гоголе это раздвоение еще сильнее, чем в Грибоедове. Он так и не вышел из него до конца своих дней, и все попытки, которые он делал, чтобы примириться с собой, были печально неудачны. Эти попытки—вторая часть „Мертвых душ“ и „Переписка с друзьями“. Великий гений погиб оттого, между причим, что не мог найти никакого положительного идеала и даже просто положительной стороны жизни. На самом деле, легко себе представить, каким уничтожающим смехом осмеял бы он своих Костанжогло, добродетельных откупщиков, ангелов, спустившихся на землю, чтобы принять вид генерал-губернатора, и каким бы удивительно странным человеком показался бы ему прежде

---

[1]) Лермонтов убит на дуэли, но все направление жизни его было самоубийством. (См. страницу 97).

всего сам Николай Васильевич Гоголь, который, только что нарисовав своих Ноздревых, Собакевичей, Маниловых и Плюшкиных, вдруг принялся оплакивать падение дворянства в России, приписывая его тому обстоятельству, что дворяне пьют слишком много шампанского!

Одни пытаются об'яснить драму жизни Гоголя ненормальностью его натуры, которая (т.-е. ненормальность) приняла в конце-концов угрожающие размеры в форме меланхолии, религиозного помешательства, другие, признавая в нем огромный талант и даже гений, считают его человеком с дурным характером, нравственно испорченным и т. д. Энергичнее всего мнение высказывал всегда сам Гоголь. В таких словах, напр., описывал он процесс собственного творчества:

„...С этих пор я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебе только то, что, когда я начал читать Пушкину первые главы из „Мертвых Душ“ в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении—он же был охотник до смеха,—начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а наконец сделался мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «*Господи, как грустна наша Россия!*“...

Но у Гоголя — замечу — было слишком много наклонности к покаянию, чтобы можно было особенно полагаться на его слова; вообще же расследование подробностей его психологии совершенно не входит в программу этого обзора.

Драма жизни Гоголя представляется мне гораздо глубже во всяком случае и гораздо общественно содержательнее, почему я считаю нужным остановиться на ней. Это на самом деле жажда веры и невозможность верить, это действительное непонимание, куда мчится тройка—Россия, куда мчится самая жизнь.

Гоголь был сатириком,значит таким дарованием, которое видит и в жизни и в людях прежде всего их отрицательные стороны. Но странно, он как бы не замечал преступлений, жестокостей, которые ежедневно и ежеминутно творились возле него, не замечал человеческой злобы, взаимной ненависти, зависти и т. д., словом всего того, что делает существование невыносимым и преступным. Не

замечал он и слез людских, людского страдания, и трудно более мягкими красками описывать крепостное право, чем делал это он. Ведь ему даже не пришло в голову заглянуть, что творится среди мужиков Манилова, Плюшкина, Ноздрева и какие драмы происходят там. Его мужички добродушно подсмеиваются над Плюшкиным, добродушно рассуждают о том, доедет ли колесо до Казани, или не доедет, и больше ничего. О цензурном стеснении тут, разумеется, говорить нечего: позволили же Пушкину напечатать его „Деревню"; не запретили же первых повестей Григоровича. Значит дело не в этом, а в том, что Гоголь не думал и думать не хотел о страданиях людей, вызванных какими-нибудь общественными причинами. Но, не видя преступлений, злобы и жестокости, Гоголь, как никто и никогда, чувствовал человеческую пошлость—тупую, застоявшуюся, самодовольную и неизлечимую. Эта пошлость заслоняла перед ним всю жизнь; густым туманом окутывала она всякий горизонт; это были какие-то теплые, зловонные испарения затхлого болота, нагло закрывавшие самое солнце. Откуда эта пошлость, спрашивал он себя? Отчего люди, которым так скоро предстоит смерть, даже не думают о ней, не „встрепенутся от ужаса, представляя себе ее мрачный и неумолимый образ, и не повысят своего существования так, чтобы оно имело смысл, настолько ценный и яркий, чтобы в его лучах терялся самый призрак пугающей смерти, этот призрак вечной ночи?"...

О ненависти Гоголя к пошлости мы находим несколько любопытных строк в знаменитых „Воспоминаниях" Анненкова:

„Важнее всего была в Гоголе та мысль, которую он приносил с собой в это время повсюду. Мы говорим *об энергичном понимании вреда, производимого пошлостью*, ленью, потворством злу, с одной стороны, и грубым самодовольством, кичливостью и ничтожеством моральных оснований—с другой. В его преследовании темных сторон человеческого существования была страсть, которая и составляла истинное нравственное выражение его физиономии. Он и не думал еще тогда представлять свою деятельность, как подвиг личного совершенствования, да и никто из знавших его не согласился видеть в ней намеки на какое-либо страдание, томление, жажду примирения и проч. *Он ненавидел пошлость откровенно* и наносил ей удары, к каким только была способна его рука, с единственной целью: потрясти ее, если можно, в основании... Честь бескорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и *по одному только отвращению к извращенной и опошленной жизни,* должна быть удержана за Гоголем этой эпохи, даже и против него самого, если бы нужно было".

Его влекло к наблюдению общества и к действию на него,—на первых шагах своего поприща, он хватается за сатиру и комедию.

Эту „пошлость“, даже в лучшую эпоху своей деятельности, Гоголь и не думал связывать с условиями общественной жизни. Он не приписывал ее ни крепостному праву, ни канцелярскому бюрократизму, ни однообразию духовных интересов или, вернее, полному их отсутствию. Сначала он просто удивлялся ей, следил за ее разнообразнейшими проявлениями, нанося ей каждой строкой своих произведений меткие и неожиданнейшие удары,—потом он начинает склоняться к мысли, что пошлость жизни это нечто роковое, неизбежное, что в ней проявляется сокровеннейшая основа человеческой натуры—ее ничтожество, и, наконец, приводит ее в связь с отсутствием религиозности. Нужно верить, чтобы жизнь получила смысл, нужно верить, чтобы избавиться от пошлого самодовольства, на которое человек не имеет никакого права, нужно верить, потому что одна вера дает идеал, одухотворяющий бытие и наполняющий его вечным и ценным содержанием. Вот к чему он пришел, поняв, что пошлая жизнь—это прежде всего жизнь неверующая, наполненная мелочами, удовлетворяющаяся малым и ничтожным и забывающая о существеннейшем — о смерти, той смерти, которая его, Гоголя, — эту вечно ищущую, религиозную, хотя и эгоистическую натуру — повергала всегда в мистический ужас. Выхода Гоголь не нашел. Этим выходом нельзя считать и „Переписку“.

„Человек и душа человека сделались больше, чем когда-либо, предметом наблюдений. Я обратил внимание на узнание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением“.

А затем его интересы поднялись еще выше:

„Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анархиста и пустынника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он. Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой, и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моею собственной душой... Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще... Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к Тому, Кто есть источник

жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движениях его, которые пропускаются без внимания людьми—и я пришел к Тому, Который один полный ведатель души и от Кого одного я мог только узнать полнее душу".

В религиозности Гоголя была одна черта, напоминающая религиозность Лермонтова. Это было лишь алкание веры, но не вера; это было вожделение религиозного экстаза, но не самый экстаз, иногда вожделение настолько страстное и напряженное, что принималось за самое обладание. Как бы то ни было, выход—вера был найден, и Гоголя — при его огромном самолюбии, при сознании своей огромной славы и при свойственной каждому русскому человеку жажде пророчествовать—он неотразимо повел к учительству. Гоголь решился научить людей, как жить, каковы у них семейные, общественные и личные обязанности и как они должны эти обязанности исполнять. Задача была трудная, тем более трудная, что Гоголь никогда не знал семьи, никогда даже не сближался ни с одной женщиной, никогда не ласкал ни одного ребенка и никогда не интересовался обществом. Все же он издал свою знаменитую „Переписку с друзьями".

Когда вы читаете эту удивительную книгу, этот истинный „Домострой" XIX века, возобновляющий, а иногда буквально повторяющий произведение попа Сильвестра, написанное за три века до того—вы невольно спрашиваете себя—откуда она? Я думаю, что в данном случае много и много помогли Гоголю его друзья Аксаковы, особенно же Константин, помогли, разумеется, совершенно бессознательно, потому что, как известно, старик Сергей Тимофеевич один из первых возмущался „Перепиской". Но Гоголь часто бывал у них, он видел перед собой прекрасную, безупречную патриархальную семью,—прекрасных и безупречных патриархальных помещиков, слышал восторженные речи о старой Руси, о безобразных идеях Запада, все сводивших к личному началу в человеке и все выводивших из него,—и семя упало на добрую почву. Что собственно хочет сказать Гоголь своим „Домостроем"? То, что человек, личность, не может быть сам собой, не может и не смеет полагаться сам на себя. Прежде всего он должен быть тем, чем сделал его случай рождения, и не стремиться выйти из своего состояния. Затем, как член семьи, он обязан безусловно повиноваться ее главе, а как член общества—главе общества. Главными

добродетелями, спасающими человека от греховных ошибок и преступлений гордости,—это смирение, довольство малым, покорность. Лучшей книги в защиту того, что существовало кругом, в защиту крепостного права и патриархального идеала, усугубленного славянофильством, нельзя было и написать. Но Гоголь забыл одно что немного раньше („Мертвые души“ вышли в 1842 г., „Переписка“ в 1847 г.) все его гениальные удары, направлялись как раз против существующего, и хотя он признал все раньше им написанное ненужным, лживым и даже вредным—но этого противоречия ему не простили. Известно, как обрушился на Гоголя Белинский, и в этом случае Белинский был не один. Я уже упоминал, что его друг и почитатель, старик Аксаков, тоже обратился к нему с негодующим письмом.

Конечно, одним влиянием Аксаковых, одной, часто разнузданной проповедью Константина нельзя об'яснить „Переписки“. Причины ее появления глубже. Их надо искать также в духовном одиночестве Гоголя, его жажде аскетических подвигов, его постоянной мысли о роковой греховности человеческой природы и об окружающих ее соблазнах, — надо искать и в том, что никакого другого выхода он не видел. Быть может, даже он старался найти этот выход в будущности России и ее народа, по крайней мере, в мечтах об этой будущности. Но у него не было даже таких мечтаний. Сравнивая Русь со скачущей тройкой, он с недоумением спрашивал—куда она скачет?—и не получал ответа.

Его гениальная сатира — истинный смысл которой и глубину нам раз'яснили потом Гончаров (своим Обломовым), Островский и Щедрин, эти его три ближайших преемника—вскрыла всю пошлость жизни крепостной России, весь ужас этой пошлости, затянувшей все правящие классы общества, выражала собой одну сторону его духа, а другая целиком запуталась в безнадежном признании, что выхода нет, и в тщетных попытках найти этот выход. Тут-то и скрывается драма его жизни—та же, которую пришлось испытать и Лермонтову, а вероятно, и сотням других менее известных русских людей. Да, выхода нет! Люди—пошляки и мерзавцы, занятые сплетнями и пересудами, погруженные в самодовольство, такие, которых даже ужас смерти не может остановить от самого ничтожного мошенничества. Что же может изменить эту жизнь, обратить ничтожное в великое, бессмысленное—в прекрасное и испол-

ненное веры? Утилизация отбросов, которой занимался Костанжогло, или человеколюбие после основательного грабежа, какое мы видим в откупщике Муразове? Повторяю, никто бы не рассмеялся таким злым смехом над таким решением вопроса, как сам Гоголь. Если бы великий сатирик был действительно религиозен, а не мучился бы только тоскою по религиозности и вожделениям экстаза — он создал бы своего старца Зосима за 40 лет до Достоевского. Но его бессилие создать что-нибудь положительное, так же ярко бросается в глаза, как, например, в сатире Свифта. И отсюда полное раздвоение духа, потому-то, оплевав всю крепостную Россию, как никто, он вдруг возвел ее в перл создания.

Вот это-то „нет выхода“ со стороны такого человека, как Гоголь, и было лучшим приговором того положения дел, среди которого создались его произведения. Все, очевидно, доходило до своего тупика, упиралось в глухую стену, несмотря на славу, купленную кровью, и полный гордого доверия покой. Впрочем, скоро от этой славы и этого покоя не осталось и следа, так как значились они в рапортах, а не в действительности.

М. Ю. Лермонтов (1815—1841).

Нет, я не Байрон, я другой
Еще неведомый избранник;
Как он, гонимый в мире странник,
Но только *с русскою душой*...

— говорит о себе Лермонтов. И в этих строках каждое слово — правда, каждое слово—чистое золото, как вообще все слова Лермонтова. Он, действительно, не был Байроном, и в настоящее время можно говорить о сходстве их характеров, об общем их страстном, хотя и исполненном недоверия отношении к жизни — но не о подражании великого русского поэта великому англичанину. Опять прав Лермонтов, называя себя неведомым избранником. Благодаря своей ранней кончине, которую он с пророческой прозорливостью предвидел до мелочей („Сон“) и ускорить которую он так стремился („Давно пора мне мир увидеть новый“, или „Я рано начал, кончу ране“)—он был и остался неведомым, какой-то грозной и таинственной загадкой, негодующим упреком своему времени. Но что хотел сказать он строкой о „своей *русской* душе?“

Какие свои особенности подчеркнул он этим словом? Ту ли совестливость своего духа, которая не позволяла ему радостно пользоваться благами жизни? Или презрение к внешнему блеску? Или его жажду самосожжения, потому что он в жизни своей действительно жег себя с двух концов? Или то кроткое любящее настроение, которое то и дело сменяли его бурные негодующие порывы? Или, наконец, стихийность своей натуры, не вылившуюся ни в одном определенном стремлении? Увы! Мы, русские люди, так мало знаем, что такое „русское“ — что пока этот вопрос должен остаться без ответа. Но эта „безответность“ только усиливает впечатление следующих строк:

Я рано начал, кончу ране.
Мой ум немного совершит:
В душе моей, как в океане—
Надежд разбитых груз лежит.
Кто хочет, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? кто
Толпе мои расскажет думы?
Или поэт—или никто!..

Будто греческий бог, Лермонтов ушел с земли, окутанный облаком.

Но вот у него на той же почве ужаса перед пошлостью жизни, ее развратом, ее безвыходностью—мотив негодования. Его слава началась с этого негодования, с великолепного стихотворения „На смерть Пушкина“, с особенно великолепной второй его части, где он грозно клеймит презренных потомков „известной подлостью прославленных отцов“, называя их палачами „свободы, гения и славы“. И то же негодование в знаменитом „На 1-е января“, где он бросает этой окружающей его толпе прямо в лицо, „железный стих, облитый горечью и злостью“. И это негодование, такое редкое в России, совершенно непонятное Пушкину, так робко звучащее в речах Чацкого, несвойственное Гоголю—является чем-то новым, неслыханным, и вам кажется, что перед вами говорит не русский Лермонтов, а один из его отдаленных предков, грозных шотландских баронов, ведущих за собою дружину отмщения,—или тут рокочет Терек, или кто-то страшный, неизмеримый „в блеске власти встал могучий, как гроза“!.. Но в этом то Лермонтовском негодовании русский человек и сознал себя впервые воистину человеком, и оно от Лермонтова передалось Герцену, с такой граждан-

ской определенностью выразилось у Белинского, потом у Добролюбова и Щедрина, что придало совсем особенный тон нашей литературе—тон протестующий, что так не нравится всем искренним и неискренним сторонникам нашего славянофильства, считающим коренными русскими добродетелями—незлобие, смирение, кротость и полноту веры. Но как тут быть с Лермонтовым и теми, кто в своих произведениях отразили ту же негодующую струю?

На что негодовал Лермонтов—сказать не трудно. Здесь прежде всего окружающая его пошлость, ложь врагов и клевета друзей, неисполненные надежды, обманы жизни, наглое самодовольство сильных, муки чуткой совести за всю эту неправду жизни; дальше—все эти реальные, отчасти даже личные мотивы преобразуются в суровый приговор над жизнью вообще и заканчиваются гордым презрительным вызовом самому Провидению в стихах: „за все, за все Тебя благодарю я" и—жажду смерти.

Но гораздо труднее сказать *во имя чего* негодовал Лермонтов? Что положительное было у него на душе, словом, какой идеал носил он в себе?

Этот идеал, очевидно, нельзя искать в прошлом. Это прошлое он раз навсегда заклеймил, сказав в своей „Думе": „и предков скучны нам роскошные забавы, их легкомысленный ребяческий разврат" и признав про себя и свое поколение, что—

> Богаты мы едва из колыбели
> *Ошибками* отцов и поздним их умом.

Нельзя искать этого идеала и в настоящем. Отношение Лермонтова к настоящему отчасти негодующее. На свое поколение он смотрел, как на обреченное. Он не верил, что из него выйдет толк, не верил, чтобы что-нибудь могло вдохнуть дух жив в это истощенное, дряблое племя людей, с детских лет знакомых с тоской, томлением и усталостью духа. Какой безнадежностью звучат последние строки его „Думы":

> Над миром мы пройдем без шума и следа,
> Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
> Ни гением начатого труда.
> И прах наш с строгостью судьи и гражданина
> Потомок оскорбит презрительным стихом...

Остается будущее... Но увы—Лермонтов не говорит о нем совершенно. Во всяком случае ясно, что оно не звало его к себе

и не манило какими-нибудь дающими отраду призраками. Ему не хотелось быть там—среди новых людей и новых поколений, оттого-то он так торопился покончить с собою, хотя и сознавал в себе всю мощь своего гения.

Во имя же чего негодовал Лермонтов—опять приходится спросить себя? Мне думается, что изо всей гаммы чувств особенно сильно было в нем развито чувство человеческого достоинства. Не только сильно, но часто болезненно, до демонической гордости, до презрения ко всем окружающим. И во имя этого человеческого достоинства, обиженного и непризнаваемого в жизни, он и негодовал. Ему казалось, что не только общество, не только палачи свободы и гения, но самое божество, наградившее его жизнью, посягают на его неот'емлемые права, как человека, не давая ему возможности жить той полной, вечной жизнью, которая единственно казалась ему ценной. А раз не было этой вечной жизни, этой полноты существования, любви без измены и страсти без пресыщения—то он не хотел брать меньшего, как не хочет развенчанный властелин брать подачку от победителя. Оттого-то на все соблазны жизни он отвечал презрением, стараясь оградить себя от той пошлости, которую эти соблазны неминуемо вели за собою... „Как то,—говорил он, об окружающем его мире,—не вижу в нем предмета ни сильной злобы, ни любви",—или же называл жизнь пустою и глупою шуткой.

Лермонтов—натура религиозная, но его религия—это искание прежде всего, это лишь неопределенное, неоформленное признание роковой тайны бытия.

Форма всего этого, конечно, романтическая, но основание—реально и жизненно. Разве одна смерть Пушкина, и обидная и преступная, не давала Лермонтову права на подобное негодование против современников, с постыдным равнодушием относившихся к гибели великого поэта, и против жизни вообще, так холодно принявшей ненужную ей жертву. „Смерть Сократа создала Платона, сделала его непримиримым врагом демократии, вызвала в нем то бесконечное презрение к толпе, т.-е. порочному большинству людей, которое заставило его считать рабство их вечным уделом". Смерть Пушкина создала Лермонтова,—и на самом деле: реальные мотивы неудовлетворенной мести и грозного негодования начинают звучать у него лишь после катастрофы 1837 г. К этому решаю-

щему факту прибавились другие, и создалась поэзия Лермонтова—романтическая, негодующая, полная мысли о величии человека в идее и обиды за его низкое, ничтожное положение на земле.

Есть такие, которые все же хотят выставить его верующим человеком, верующим во все—и в бога, и в бессмертие, и в любовь, и в счастливое будущее. Таким верующим он не был никогда. Что отличает его от Грибоедова, Гоголя, Чаадаева, романтиков вообще, это то, что он даже не искал выхода, потому что самоубийство—это не выход. Он утвердился в своей негодующей безнадежности, как никто, и его поэзия лучше, ярче всего доказывает, в какой тупик ударилась русская жизнь того времени. Но живому человеку нужен принцип жизни, и русская мысль, раздвоившись, старалась найти его в учении славянофилов и западников.

Славянофилы и западники.

Я уже говорил выше, что сначала в споре, а затем и во вражде этих двух направлений воплотилась одна из главнейших идей нашей литературной истории. Этот спор и эта вражда не закончились еще и теперь, в чем легко может убедиться каждый, проследив полемику между марксистами и народниками.

Славянофильство—это стремление опереться на народные, чисто русские основы жизни,—воплотить в общественных отношениях идеал патриархального быта, основанный на доверии, сознании кровной родственной связи и религиозных представлениях,—это признание за русским народом особого историко-культурного назначения и даже провиденциальной миссии утверждения христианства и царства божия здесь на земле. Славянофильство—гордыня нашего духа, его самовозвеличение; все равно, как западничество—его самоотрицание, или по крайней мере его скромное сознание собственных недостатков.

Вместо идеи патриархальности, основной идеей западничества является идея законности и личного развития, вместо взгляда на русский народ, как на особый культурно-исторический тип—признание, что единственно верный для него путь—это тот же, по какому шли народы Запада.

Славянофильство и западничество вышли из того же источника—из философского брожения 30-х и 40-х годов, различие их создано темпераментом, разным пониманием прошлого, разными историческими традициями. Вскоре к этому присоединилось и различие общественного положения. С известной осторожностью на славянофильство можно смотреть, как на смутное стремление дворянства сохранить патриархальный быт России,—только улучшив его, очистив от всей грязи, которую насидело на нем чиновничество,—а вместе с этим бытом и свое привилегированное положение. Западничество с самого начала выбирало своих руководителей из разночинцев. Дворяне-западники всегда тяготели и тайно и явно к славянофильству, во всяком случае непримиримой вражды к нему не питали и держались закраины, довольно свободно переступая границы обоих учений. Это были воистину западники с славянофильским настроением, и такая черта очень поучительна [1]).

---

[1]) Среди западников называют обыкновенно Герцена и Чаадаева... Были ли они в действительности ими? О Герцене возможны по этому поводу очень серьезные споры и нельзя не видеть, что в нем была славянофильская закваска, хотя он и разошелся с Аксаковым, долго полемизировал с „славянами“ и полемизировал жестоко.

Но Чаадаев на основании своей статьи долгое время оставался, как западник, без всякого подозрения, и только очень недавно было сделано открытие... Нашлось одно его письмо, в котором он пишет неизвестному другу следующее:

„*Мы, русские, искони были люди смирные и умы смиренные. Так воспитала нас наша церковь. Горе нам, если мы изменим ее мудрому учению; ему обязаны мы своими лучшими народными свойствами, своим величием, своим значением в мире.* К сожалению, новое направление избраннейших умов наших именно к тому клонится... Пути наши не те, *по которым идут другие народы.* Мы, конечно, достигнем всего того, из-за чего они бьются, но по сие время мы столь мало еще содействовали общему делу человеческому, что безумно нам величаться пред старшими братьями нашими. Они не лучше нас, но они опытнее нас... Не поверите, до какой степени личности людей в нашем краю изменились с тех пор, как облеклись этой народной гордынею, неведомой отцам нашим“.

Приводя это письмо, автор приложений к „Запискам Казанского Университета“ очень осторожно, но и основательно говорит:

„Когда полиция в 1852 г., составляя официальный список славянофилов, как людей опасных для правительства, внесла туда и Чаадаева, наравне с Аксаковыми и Киреевскими, к негодованию и смеху лиц, понимавших дело, как, например, того же кн. Вяземского, то она, конечно, не руководилась какими-либо

Я сказал выше, что славянофильство и западничество, не как настроения и веянья, а как попытка исторического и теоретического обоснования двух мировоззрений, явились результатом философского брожения русской мысли 30-х и 40-х годов. Здесь очевидно влияние Запада, и вообще, когда мы говорим о русской литературе, этого влияния забывать нельзя. Оно везде, всегда и во всем. То является оно в виде догмы, неумолимой и воспринимаемой до последней буквы, то прошедшим через горнило нашего самосознания, в виде готовых и разработанных форм, например, псевдоклассицизма, сантиментализма, романтизма и т. д.—то в виде теории. Но без него мы еще не обходились и пока обойтись не можем—да и было бы это совершенно ненужным и задорным делом. Центром этого философского движения явился московский университет в лице своих профессоров—Велланского, Павлова, Давыдова, Надеждина и пр. Все они знакомили, главным образом, с Шеллингом, но думается, что его натур-философия, возбуждая большой интерес своей новизной, оказалась для нас, русских, слишком трудной. По крайней мере ее изложение у Велланского смутно и запутанно до последней степени.

Но важно здесь не увлечение натур-философией Шеллинга, а увлечение работой мысли вообще, которая жадно искала выхода. В этом искании одинаковое участие принимали профессора и сту-

---

философскими анализами сходственности их учений. Но будущий историк литературы, несомненно, натолкнется на весьма любопытные и неожиданные сближения... даже и в частном случае—одинаковых и у Чаадаева, и у славянофилов—симпатий к Шеллингу".

Чаадаев повернул к православию и славянофильству уже под старость; другие сделали это значительно раньше, иные всю жизнь колебались между обоими учениями, стоя на закраине. Вначале это было очень не трудно делать, тем более, что как славяне, так и западники так сходились в большинстве случаев в критике современного им общественного строя, что не всегда есть возможность сказать по поводу одного, что он был славянофил, по поводу другого, что он был западник. Это несколько затрудняет исследование. Второе поколение славян и западников высказалось гораздо определеннее—одни пошли в сторону государственности и национализма, другие развивали теории личного начала и мечтали об европейских формах общежития. Вначале же такого разделения не было. Но я надеюсь все же ясно представить читателю различие обоих учений, прося его помнить об одном, что с классовой точки зрения славянофильство—доктрина, несомненно, барская, дворянская, барами и дворянами формулированная и выношенная всем их вековым прошлым.

денты. Особенно студенты, выделившие даже из своей среды тип „студента 30-х годов“—горячей головы, благороднейшего сердца, романтика и утописта, и несколько кружков, в которых, по словам увлекавшегося Герцена, заключалось в то время будущее России. Не России, конечно, а пожалуй,—независимой русской мысли. Глава одного из этих кружков—Станкевич, „вывез из Германии Гегеля“. О! Это было не только открытием, это было откровением, за которое жадно и страстно ухватились мыслящие люди того времени. Своей круглой законченной и дивно разработанной системой Гегель давал ответы на все вопросы бытия не только отдельных людей, но и целых наций, всего человечества. Сначала ухватились за его знаменитую формулу „все действительное разумно“. Это значило оправдывать все, именно оправдывать, признавая разумным существующее и преклоняясь перед ним, как проявлением Единого Абсолютного Разума. Даже страстный Белинский против себя самого, против истинной протестующей сущности своей натуры, принял эту формулу, видя „разумное“ в безудержном произволе, чуть ли не в татарщине. Под влиянием Гегеля русские люди стали эстетиками. Они стремились к нравственной красоте своего духовного мира и, оправдывая все окружающее, не думали даже о нем, сосредоточившись исключительно на себе.

Гегель не то хотел сказать, что поняли в нем русские люди. Он хотел сказать: „все действительное разумно“. Но далеко не все существующее он считал действительным. Действительным он считал лишь то, *что развивается*, что идет вперед, что является одной из необходимых стадий, одним из логически неизбежных звеньев самопознания Единого Разума. Мертвый, неподвижный Китай в его глазах был существующим, но не действительным, потому что в будущем он не ждал от него ничего. Китай, по Гегелю, свое дело сделал. Когда-то он был нужен, когда-то в нем была жизнь, было развитие, движение, божество пребывало в нем, но бог ушел в другой народ, в другую культуру, двинулся на Запад, и существующий Китай перестал быть действительным, а, значит, и разумным.

Не оправданию существующего учил Гегель. Его философия была строго эволюционной, философией развития прежде всего. Он мог воспитать человека в мысли, что нет ничего вечного, застывшего, навсегда определенного, что всякая мысль, всякий

идеал, всякая форма жизни и общественных отношений являются лишь переходом к дальнейшему высшему, что само божество находится в процессе вечного совершенствования, т. е. самопознания.

Этого долго не понимали, в чем значительная вина падает на самого Гегеля, безусловно *оправдавшего* современное ему прусское государство и превозгласившего свою философскую систему совершенством. Его ученики в почтительном недоумении спрашивали: что же делать божеству после Гегеля, в учении которого оно познало себя?

Тот же вопрос задавали себе и русские ученики. Но вот что,— как ни склонны мы к теоретическим увлечениям, с каким фанатизмом ни прилепляемся мы к философским и научным догматам — мы в конце-концов ищем везде нравственной сущности, оправдания своей жизни, своих поступков, своей любви и ненависти и своих общественных стремлений.

Всеоправдывающее понимание теории Гегеля натолкнулось прежде всего на этот основной и чудно-красивый факт нашего духовного мира. Во имя нравственных и религиозных стремлений человека пошли против Гегеля славянофилы, признав своей задачей создание своей русской культуры; восстали и западники, особенно в лице Герцена и Белинского (с 1842 г.), во имя справедливого общественного устройства. Опять помогла Европа в лице своих социалистов первой формации— Сен-Симона, его учеников, Леру, Жорж-Занд. Это направление оказалось наиболее для нас подходящим и вскоре стало господствующим.

Славянофилы.

„Славянофильство,—писал Герцен,—или руссицизм не как теория, не как учение, *а как оскорбленное народное чувство*, как темное воспоминание и массовый *инстинкт*, как противодействие исключительно иностранному влиянию, существовало со времени обрития первой бороды Петром Великим.

„Противодействие петербургскому „об'европеиванию“ России никогда не перемежалось; казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное Меньшиковым и другими царскими „потешными“ в виде буйных стрельцов, оно—это противодействие — является, как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как разнузданная брань гениального Ломоносова, как сама Елисавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов,

чтобы сесть на престол; ведь народ в Москве ждал, что при ее короновании выйдет приказ избить немцев. Все раскольники—славянофилы по настроению. Солдаты, требовавшие смены Барклая-де-Толли за его немецкую фамилию, были предшественники Хомякова и его друзей.

„Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда их задевают чужие; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того, чтобы любить русскую историю, патриоты перекладывали ее на европейские нравы; они вообще переводили с французского на русский римско-греческий патриотизм Корнеля и Расина и не шли далее стиха:

Pour un coeur bien né que la patrie est chère!

Как дорого отечество для благородно рожденного сердца!

„Правда, Шишков бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограниченно. Что же касается до настоящего народного слога, то его знал один офранцуженный граф Растопчин, да и тот частенько перевирал его, преобразовывая в „балаганный стиль“.

„По мере того, как война забывалась, патриотизм этот утихал и выродился, наконец, с одной стороны, в подлую циническую лесть „Северной Пчелы“, с другой—в пошлый Загоскинский патриотизм, называвший Шую—Манчестером, Шебуева—Рафаэлем, хваставший штыками и дистанцией огромного размера „от стен Кремля до стен Китая“...

Теоретическое славянство и самая славянская идея, никогда, впрочем, ясно не формулированная, как будто боявшаяся света ясных определений, явилась лишь во время Николая Павловича. Из настроения „славянство“ обратилось в теорию. В этом многое было повинно. Усиленный государственный режим, гнет „официальной народности“, не мог не вызвать чисто инстинктивного желания опереться хотя бы в мечтах своих на голос живой души. Внешним поводом приведения себя славянофилами в военное положение можно считать знаменитое письмо Чаадаева (о нем ниже), где проводилась мысль, что для России „нет выхода“, что мы — бродяги мысли и чувства, блуждающие в мире без всякого интереса, без всякой цели. „Это почти значило, что пора умереть, и Чаадаев прислонился к католицизму“.

„Славянофилы,—продолжал Герцен,—решили вопрос иначе. В их решении лежало верное сознание живой души в народе, чутье их было проницательнее их разумения. Они поняли, что современное состояние России не смертельная, а лишь временная болезнь. И в то время, как у Чаадаева слабо мерцает возможность спасения *лиц,* а не народа, у славянофилов ясно проглядывает мысль

о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа—его будущность.

„Выход за нами,—говорили славянофилы,—выход в отречении от петербургского периода, возвращение к народу, с которым разобщило иностранное образование; воротимся к прежним допетровским нравам.—И, чтобы не оставалось никакого сомнения, они требовали возвращения во всем—в языке, одежде, презрении и ненависти к иностранцам. К. С. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персиянина, как рассказывал Чаадаев.

„Мурмолки и персидские кафтаны должны были набрасывать тень на все славянофильские теории. Эта тень по необходимости сгустилась, когда узкий, назойливый, даже наглый национализм нашел себе убежище и радушный прием в славянофильском лагере.

„Письмо Чаадаева заставило славян организоваться. В начале 40-х годов они были в полном боевом порядке с своей легкой кавалерией, под начальством Хомякова, и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, со своими застрельщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, как бы символически выходившее всегда двумя месяцами позже, чем следовало, но все же выходившее. При главном штабе состояли православные гегелианцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и пр. и пр. По всей линии происходили ожесточенные стычки с западниками. Эти постоянные, через день повторявшиеся стычки очень интересовали литературные салоны в Москве. Надо заметить вообще, что Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги, напр., „Мертвых Душ“ составляло событие“.

История нашей литературы до такой степени разработана, что не трудно отдать себе ясный отчет в сущности славянской доктрины и убедиться в ее утопичности. Но сначала ознакомимся с главными ее деятелями—правда, возможно короче, потому что слишком уже мало внесли они пока в наше самосознание. Защитникам славянства не мешает спросить себя: где их ученые труды, где их публицистическая деятельность, в чем проявилось их гражданское мужество?

Славянофилов можно подразделить на несколько групп: Первая—это *славянофилы-москвичи* вроде Загоскина, Фролова и т. д. Сущность их „теории“ заключалась в том, что они приходили в восторг от одного имени Москвы, бранили Петербург, возили каждого на Воробьевы горы, заставляли любоваться на Замоскворечье, кормили селянкой и пирогами, а сами благополучно проходили служебную карьеру. Загоскин—тот написал, по край-

ней мере, „Юрия Милославского“—знаменитый роман в героически сантиментальном тоне, другие не оставили и такого следа по себе. Это, так сказать, приметы славянства, смесь пошлости и добродушия, глупости и восторженности, гостеприимства и удивительной обломовщины.

Далее идут *теоретики славянства* с Ю. Самариным, А. С. Хомяковым, К. С. Аксаковым и братьями Киреевскими во главе. На этих надо остановиться подробнее.

Алекс. Степ. Хомяков (1804—1860 г.) столбовой дворянин, сын богатого помещика и сам богатый помещик—натура в высшей степени талантливая, даровитая. Памятью он обладал прямо исключительной, знал наизусть имена всех византийских патриархов, всех московских митрополитов, римских пап и т. д. Он носил в своей голове целую библиотеку, сыпал цитатами, был страстным спорщиком и любил спор, как искусство, при чем всегда готов был спорить о чем угодно—о философских основаниях веры (любимая тема), о преимуществах православия (также), о первоначальном месте жительства аланов и лангобардов и вообще о чем угодно. Натура блестящая, но в то же время едва ли особенно глубокая нетерпеливая и порывистая, за все хватавшаяся. Всю жизнь он, не мог найти своего настоящего признания, хотя было оно у него, несомненно было—это поэзия и поэзия гражданская—звучная, меткая и умная, часто злая, всегда искренняя. Кто не знает его знаменитых стихов: „в судах черна неправдой черной и игом рабства клеймлена“, которые он симпровизировал, а у него таких импровизаций масса. Но ему некогда было остановиться, его тянуло в разные стороны. Сегодня он полемизировал с Грановским о переселении народов, завтра... изобретал паровую машину, отправлял изобретение в Лондон, очень беспокоился о его участи, потом метался по Москве, все опровергая и все доказывая,—засиживался у себя в деревне, спорил целыми днями с местным архиереем и вводил улучшенные системы хозяйства. Он горячо и неутомимо проспорил всю жизнь, сначала в московских гостиных, затем за границей и все во славу православия и славянства. Богословом он был нешуточным и даже не раз приводил втупик отцов иезуитов. Но вот что хорошо—он не был из-

увером ни в чем, даже в своем славянстве. Для него было наслаждением привести в замешательство своего противника и тут он сам начинал добродушно смеяться.

Слишком подвижной и умный, он и не мог стать фанатиком: ему нужны были не костры для еретиков, а игра для ума и он играл им, всю свою жизнь играл им. Убеждения его были очень благородны и очень отвлеченны: тут и панславизм, и ненависть к крепостничеству, и ненависть к чиновникам, и мистика, мистика без конца, но мистика отвлеченная, во всеоружии диалектики—оттого сухая и бесплодная, закончившаяся в догматических спорах и тяжелых брошюрах. Он любил Москву, и конечно, Москва с своими гостиными, своими бесконечными „шумим братец, шумим“, литературными интересами, а главное обломовщиной—великолепно подходила к нему. Герцен так описывает московские гостиные 40-х годов:

„...Тут К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, где Р. выводил логически личного бога ad majorem gloriam Hegelii, где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью, где все помнили Бакунина и Станкевича, где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными, где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген, где Боткин и Крюков патетически наслаждались рассказами М. С. Щепкина, и куда, наконец, падал, как конгревова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало“...

„В этих кружках за литературными чаями и литературными ужинами все волновалось и кипело. Москва принимала деятельное участие в спорах за мурмолки и против них, барыни и барышни читали статьи, очень скучные, и слушали прения, очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалели только, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот. Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых встречались западники и славянофилы, а это бывало раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу—у Свербеева, в воскресенье—у Елагиной. Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтобы посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого: приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр за Рогожской заставой.

„...Ильей Муромцем, разившим всех со стороны православия и славянизма, был А. С. Хомяков, „Горгиас, совопросник мира сего“, по выражению Морошкина. Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый в них, бо-

гатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти было нельзя".

И он требовал молитвы на основании диалектики!..

„Философские споры его состояли в том, что он отвергал возможность разумом дойти до истины (один из краеугольных догматов славянофильства); он приписывал разуму одну формальную способность, способность развивать зародыши или зерна, даваемые откровением, получаемые верой. Если же разум оставлен на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии. На этом Хомяков бил на голову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шел за ними шаг за шагом и под конец дул на карточный домик, выстроенный ими..."

И в конце концов грустно, что такая богатая натура потеряла себя на борьбу с карточными домиками, на блестящие, ненужные турниры в гостиных. И еще больше жаль, что тут затерялся большой поэтический талант, не нашедший себя среди московской безалаберности, деревенской обломовщины и общего безвременья эпохи... Впрочем, большая часть написанного им все еще находится под спудом.

Взгляды Хомякова на крестьянский вопрос характерны для славянофилов вообще. В изложении Самарина они сводятся к следующему: устраняя вопрос о праве на личность, он основывал будущий порядок вещей на чисто-поземельных отношениях между землевладельцем и сельскою общиною. Необходимость сохранить ее неприкосновенность при всех будущих преобразованиях составляла одно из коренных его убеждений. Он дорожил сю не только, как самородным произведением народной жизни и как вернейшим средством застраховать право крестьян на землю от тех несчастных и неизбежных случайностей, которых бы не вынесли разобщенные личности, но еще более, как нравственною средою, в которой лучшие черты народного характера спасались от заразительного крепостного права. Эта мысль, в одном из его писем, выражена в следующих словах: „Чем более я всматриваюсь в крестьянский быт, тем более убеждаюсь, что мир для русского крестьянина есть как бы олицетворение его общественной совести, перед которою он выпрямляется духом, мир поддерживает в нем чувство свободы, сознание его нравственного достоинства и все

высокие побуждения, от которых мы ожидаем его возрождения. Можно бы написать легенду на следующую тему: Русский человек, порознь взятый, не попадет в рай, а целой деревни нельзя не допустить“.

Глубже и уже, нетерпимее (но опять без изуверства) был К. Аксаков (1817—1860), сын знаменитого автора „Семейной хроники“, брат Ивана Сергеевича Аксакова, одинаково знаменитого публициста и издателя „Руси“. Старший сын и любимец, он провел всю жизнь под семейным кровом, и ни одно жизненное горе не коснулось его вплоть до смерти отца, которой он не перенес и сошел в могилу недолго спустя.

„Вся жизнь его была безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель, как И. Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительными. Он в начале 40-х годов проповедывал сельскую общину, мир и артель. Он научил Гаксгаузена понимать их и, последовательный до детства, первый опустил панталоны в сапоги и надел рубашку с кривым воротом. „Москва—столица русского народа, говорил он, а Петербург—только резиденция“.

„Аксаков остался до конца жизни вечно восторженным и беспредельно благородным юношей: он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем“. (Герцен).

В 1844 году, когда споры славянофилов с западниками дошли до того, что они уже не хотели более встречаться, Герцен как-то шел по улице. К. Аксаков ехал в санях. Г. дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел к Г. „Мне было слишком больно,—сказал он,— проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вашу руку и проститься“. Он быстро пошел к своим саням, но вдруг воротился. Г. стоял на том же месте; ему было грустно. Аксаков бросился к нему, крепко обнял его и крепко поцеловал. У него на глазах были слезы. Этому-то младенцу сердцем, но убежденному и непреклонному фанатику и пришлось играть видную роль в проповеди славянофильства. Можно себе наперед представить, сколько горячности было внесено в эту проповедь

и к каким жизненным практическим результатам могла она привести! Быстро и далеко зашла ссора из-за теоретических разногласий между западниками и славянофилами, и полемика за литературными чаями мало-по-малу перешла в журнальную...

Ни на чем так хорошо не можете вы изучить старо-барского обломовского духа, его лени и безалаберности, его мечтаний о патриархальном строе общества, как на произведениях К. Аксакова. Они многочисленны и разнообразны, в стихах и прозе, в форме драм и повестей, исторических исследований и характеристик, и везде во всем одна идея: народ чудно хорош своей детской верой, своим смиренномудрием, но его портит Петербург, чиновники и культуртрегеры. Народ святыня. Прочь от него со своими грязными лапами и хищническими душами, дайте ему жить, как он жил 200—300 лет тому назад, с одними священными книгами, с заветами предков. Подходите к нему с чистыми сердцами, будьте старшими и ведите народ не принуждением, а любовью.

Своего учения К. Аксаков нигде не излагал в совершенно стройном и систематическом порядке, мы знаем только, что идеалом его была Русь XVII или даже XVI века с земскими соборами, выборным началом. Но входили ли в этот идеал и дворяне? Да, несомненно, хотя дворяне любовные, радушные, патриархи—старшие над детьми и чисто русские люди [1]). На этом-то, как мне думается, и выясняется лучше всего следующее положение.

Славянофильство было, несомненно, классовой теорией. Лучшие из славянофилов были благороднейшими представителями старого родовитого дворянства: выйдя из его среды, они всем сердцем прониклись его идеалом — патриархальным строем жизни, они распространили этот идеал на всю совокупность общественных отношений; страстные, фанатически убежденные, почерпавшие свой аргумент из воспоминаний детства, из преданий целого поколения семей,—они не хотели знать, что идеал, строй жизни—историческая категория, что патриархальность отношений немыслима во второй половине XIX-го века.

Когда я говорю, что славянофильство „классовая теория", я нисколько не хочу обидеть благородной памяти Аксаковых, Ки-

*) Отношение славян к крепостному праву в сущности аналогично с их отношением к веротерпимости.

реевских, Хомякова, Самарина. Они были невольными представителями своей среды.

Впитавши с молоком матери известные традиции, они, конечно, расширили их путем серьезного образования, но осталось нечто неподдающееся разложению — это закваска старого барства. Искренне, от всей души ненавидя крепостное право, восставая против него, они в то же время смутно сознавали, что подрубают тот сук, на котором сами сидят. И в сущности, в крепостном праве они ненавидели не столько самый институт, сколько помещичьи безобразия и увлечения своими привилегиями. „Если мы вспомним,—говорит С. А. Венгеров,—с каким добродушием относился Сергей Тимофеевич к крепостному праву, то нам станет вполне понятным, что и в сыне его, раз он жизни не знал, только теоретические импульсы могли создать иные, более озлобленные отношения. Но именно теоретические импульсы и направляли его на иные пути борьбы. Те импульсы, которые вдохновляли бывших друзей Константина Сергеевича на возможно резкий протест против темных сторон крепостного права, для него были не симпатичны уже в источнике своем, потому что помимо того, что они шли с Запада, они говорили о вражде и фрондерстве, столь нелюбимых им. Общее же его миросозерцание и склад восточно-русской натуры гнули в сторону усматривания положительных сторон. Конечно, это не умаляло степени нелюбви Константина Сергеевича к крепостному праву, в ненависти к коему он едва ли уступал кому бы то ни было. Но со стороны, т.-е. для читателя,—получалось очень странное впечатление, получался тот совершенно неуместный мажорный тон, то идиллистическое изображение крепостного быта, по поводу коего каждый крепостник мог сказать: зачем отменять крепостное право, когда при нем так хорошо живется народу“?

Константин Аксаков рисовал в своих произведениях крепостнические идиллии—это несомненно, но он сделал нечто еще большее—он дал нам настоящую утопию беззаконного существования. Знаменитые стихи:

По причинам органическим
Мы совсем не снабжены
Смыслом здравым *юридическим*,
Сим исчадьем сатаны.

Широки натуры русские;
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.

вполне применимы к нему.

Закон всегда, с юных лет и до смерти, представлялся ему чем-то холодным, мертвым, формальным. Он презирал его так же, как и его представителей — чиновников. Идеал крепостного права— любовное, заботливое отношение старших к младшим, не юридическую, а нравственную связь между людьми он распространял на всю общественную жизнь. Что закон? Закон можно нарушить, обойти, неправильно истолковать; нравственная связь и нравственный долг—крепче. Если кому-нибудь нужны доказательства этого последнего обстоятельства—пусть он посмотрит на жизнь крестьянского мира, „ученого лишь по церковным книгам да по преданиям старины“.

Тут старшие и младшие, отцы и дети, соединенные любовью, но не договором. Тут живая нравственная связь между людьми, которая поддерживается общинными укладами. При ней нет места для формальной справедливости, защищающей лишь интересы большинства, при ней есть полная свобода для проявления внутренних позывов к добру, есть место для непрестанно действующей религиозности.

Нельзя не найти эту утопию несколько странною. Ведь если любовь да старые книги—все, то нам ровно ничего не надо: ни образования, ни законов, ни борьбы, а все, что нам нужно— имеется в изобилии. И все это говорил человек, изучивший гегелевскую премудрость, побывавший за границей, один из образованнейших людей своего времени, обладавший, несомненно, самостоятельной мыслью, но мыслью, совершенно затуманенной преданиями рода и помещичьей среды. Только эти предания, сохранившиеся еще с XVI-го и XVII веков, и могли заставить Константина Аксакова так упрямо держаться своих выводов, утверждать, что Европа нам не нужна, а завещанный стариною крестьянский мир спасет нас от всяких несправедливостей, бед и напастей. Нечего и говорить, что барство вообще очень симпатично относилось к теориям Аксакова, и даже такие баре, как Герцен и Грановский, зато вот Белинский никак не мог взять в толк всей этой премуд-

рости, до конца дней негодовал на нее, не переставая попутно и упрямо ворчать на всех устроителей примиряющих обедов. Очевидно, что ничто, прямо или косвенно связанное с феодализмом, его преданиями, его господствующим настроением, никакой своей стороной не могло подкупить его. Для него, нищего разночинца и интеллигента, нужна была несомненная опора в жизни, а не только доверие или милостивая подачка. И он видел эту опору в образовании, правах, лучшем экономическом устройстве. Он рвался вперед: это „вперед" обещало ему полное признание его, как человека, признание его прав на личное счастье и активную роль в общественной жизни. Признание славянофильского „назад", домой, к допетровским временам было для него — разночинца и интеллигента—чистым самоубийством.

В сущности политические идеи К. Аксакова довольно неопределенны, и из путаницы противоречий можно выделить лишь 1) мечты о земском соборе и 2) требование свободного слова. Мечты о земском соборе были формулированы им так: Правительству—неограниченная власть государственная, народу—полная свобода нравственная, свобода жизни и духа. Правительству—право действия и, следовательно, закона; народу—право мнения и, следовательно, слова.

Положительный человек наших дней, конечно, спросит себя: возможно ли так резко отделять „власть государственную от свободы нравственной" и не окажется ли последняя в любой момент отданной в распоряжение первой? Ответ на этот вопрос должен показать положительному человеку, что он имеет дело с благородным идеалистом 40-х годов, который всем существом был предан прекрасным словам. Да, К. Аксаков был действительно благороднейшим идеалистом, человеком высоко целомудренным физически и нравственно. Его можно уважать, как одного из лучших и красивейших представителей нашего старого барства.

Из его сочинений, очень, как я сказал выше, разнообразных и многочисленных, ни одно не пережило его самого, кроме общеизвестных двух статей „Об основных началах русской истории" и „О древнем быте у славян вообще", где он, местами блестяще, проводит мысль об исконном различии народа русского от народа Запада, так как русский народ всегда отделял землю от государства, т.-е. никогда не стремился к политической власти, даже

чурался ее, и что истинным укладом древне-русской жизни был не родовой (как думали Эверс, Соловьев, Кавелин), *а общинно вечевой быт.* Это последнее—если не открытие, то все же серьезная поправка ко всем теориям о „юридическом быте древних славян“, но и она ценная сама по себе, доказывает только, в сопоставлении с другими взглядами, как многое было смутно в голове доброго и хорошего К. С. Аксакова, потому что как же это можно утверждать, что русский народ всегда чурался государственной власти, и в то же время, что истинным укладом его жизни был общинно-*вечевой.* Разве вече—не власть государственная?

Необходимо определить „большой разум“ славянофильства, его исторические и общественные основы, чтобы уловить его истинную сущность. Изучение Шеллинга и Гегеля мало помогут делу, потому что философия дала славянам лишь некоторые приемы мышления, некоторые второстепенные идеи, но корни истинной сущности их учения гораздо глубже. Потому что славянофильство действительно ограническая теория, вскормленная русской жизнью, русскими историческими преданиями, и нисколько не странно предположить, что со временем славянофильство с его изгибами и разветвлениями, его странной смесью дерзости мысли и ее холопства, политической бестактности и фанатизма, протеста и оправдания даст драгоценный материал социологу-этнографу, желающему проникнуть в психологическую и таинственную сущность русской народности. Быть может, при всей неправильности, и произвольности толкования, при всей фантастичности освещения выступает однако наружу исторически и стихийно сложившийся дух этой теории. Вот ее важнейшие, хотя отрицательные черты:

1). Неверие в человеческое „я“, признание массового разума гораздо более могущественного и правильного, чем отдельный человеческий разум. Когда впоследствии народники (известная их часть) требовали следовать *мнениям* народа, его массовому самосознанию, а не плану реформ и преобразований—они, конечно, только повторяли аргумент славянофилов *). Когда Толстой в 8-ой

*) Ниже мне не раз придется указывать на близость основных философско-исторических воззрений славянофилов и Толстого. 8-я часть „Войны и мира“—в сущности редкая критика теорий, признающих активную роль личности (в высшем ее проявлении—героев) в истории.

части „Войны и мира“ дал свою философию истории, где сводил к нулю работу гениев и талантов—он шел, конечно, за Самариным, К. Аксаковым, Хомяковым, с обычной для него теоретической прямолинейностью, развивая до конца их точку зрения. Тут ясно слышится голос истории, потому что русская история действительно никогда не давала (за самыми редкими и несущественными исключениями) простора личности, личной работе и предприимчивости. „Личность“ она держала—в оковах, стеснении, невежестве, робкой покорности и рабском подчинении. Миром отражала она наседавших на нее врагов, миром заняла и колонизовала бесконечные пространства. В русской истории вы видите прежде всего медленную и молчаливую работу массового стихийного приспособления, не считающего жертв, не печалящегося о них и массой своей наполняющего ров—раз ров встретится на дороге, чтобы могли перейти следующие толпы. Это вечное повторение живого моста, изображенного на картине одного известного художника: рытвина доверху переполнена солдатами, а по их головам переезжает артиллерия. И вот это-то стихийное, массовое, бессознательное—славянофилы и возводили в перл создания. Оттого-то в первый план они и выдвигали такие качества, которые в конце-концов противоречат личному началу,—смирение, покорность, *покаяние* и даже, особенно понимаемую ими, *религиозность*, как низведение своего „я“ к безмерно малому перед безмерно большим, перед *православным* богом.

2) Недоверие к разуму, к рассудку человеческому вообще (философски—это от Шеллинга), признание его ограниченности, отрицание его полновластия. Резко и отчетливо формулирует это Ю. Самарин:

„Как у нас, так и во Франции, Англии, Германии, на первом плане один вопрос: *законно ли самодержавное полновластие рассудка в устройстве души человеческой, гражданского общества, государства?* В праве ли рассудок ломать и коверкать духовные убеждения, семейные и гражданские предания,—словом, исправлять по-своему жизнь? Тирания рассудка в области философии, веры и совести соответствует на практике, в общественном быту, тирании центральной власти. Страсть всем управлять, все регламентировать, подставлять на место предания и свободного вдохновения правило, выведенное из отвлеченного принципа—вот наша болезнь. Власть относится к обществу, как рассудок к душе человеческой. *Законное чувство тоски и пресыщения, вызванное самовластием рассудка и правительства, лежит в основании стремлений Монталамбера, Токвиля и „Русской Беседы“.*

Монталамбер и Токвиль тут собственно не при чем. Но при этом вопрос о преимуществе веры над рассудком, при этом Платон Каратаев в своем язвительном рассказе о бумажном искании правды, при этом Л. Толстой с своим „не суди“, при этом Хомяков, считавший веру, религию основанием народности, общественного и семейного строя, при этом К. Аксаков с своим презрением к юридическим началам, к регламентации рассудком междучеловеческих отношений. Тут, несмотря на смутность формулировки, чувствуется психологическая глубина, потому что, конечно, не одним рассудком живет человек, но тут же на сцену выступает и весь утопизм славянофильства, потому что, мечтая об основании общественных отношений на доверии, любви, нравственной связи, славянофилы не спросили себя, где и когда видели мы что-нибудь подобное и может ли оно быть без предварительной огромной работы рассудка, закрепляющего в юридических нормах успехи общественности? Законы святы, да исполнители лихие супостаты. И, конечно, свято доверие, любовь, нравственная связь, но где и в чем их гарантия? Что помешает им перейти в произвол?

3) Несмотря на отдельные, очень смелые, и даже по тому времени „революционные“, мнения славянофилов, их учение, взятое в целом, безусловно консервативно. Земледельческий и дворянский строй старой России нашел здесь истинное свое выражение. Опять-таки совершенно откровенно раскрывает подоплеку славянофильства Ю. Самарин. Сказавши об общей для России и Европы борьбе с полновластием рассудка, он продолжает:

„Но вот разница: Токвиль, Монталамбер, Риль и другие, отстаивая свободу жизни и предания, обращаются с любовью к аристократии, потому что в исторических данных Западной Европы аристократия лучше других осуществляет жизненный торизм. Сам Монталамбер только признает, и то с прискорбием, что демократическое начало имеет на своей стороне удивительный перевес. Напротив, *мы обращаемся к простому народу*, но по той же самой причине, по которой они сочувствуют аристократии, т.-е. потому, что у нас народ хранит в себе дар самопожертвования, свободу нравственного вдохновения и *уважение к преданию. В России единственный приют торизма—т.-е. консерватизма—черная изба крестьянина*“.

Конечно, не в отдельных параграфах славянофильской доктрины надо искать ее торизма (так как, повторяю, есть очень радикальные параграфы), а в ее духе, ее настроении. Этот „торизм“ лучше

и ярче всего выразился в отношении к крепостному праву, в тех идиллиях, которые бессознательно выливались из-под пера К. Аксакова и особенно его знаменитого отца, одного из талантливейших русских бытописателей—*С. Т. Аксакова* (1791—1859). В его „Семейной хронике“ и „Детских годах Багрова внука“ перед нами в замечательно красивой, эпической форме развертывается жизнь помещиков начала XIX-го века. Вот, кажется, совершенно правильная оценка этих произведений: „необыкновенно горячая симпатия к патриархальной обстановке жизни помещиков времен крепостного права, любовь к окружающей природе заслоняют от него все мрачные стороны личной зависимости крестьян от землевладельцев. *Любовь* и *уважение* являются, по мнению Аксакова, связующим цементом обоих сторон“. Это в высшей степени важно особенно потому, что все это высказано в ярких художественных формах, в процессе творческого ясновидения. В этой идиллической окраске „крепостных отношений“ вылился весь полувековой опыт С. Т. Аксакова, она же, конечно, обусловливала и политические взгляды славянофилов.

4) Совершенно теперь понятно враждебное отношение славянофилов к Петру I-му и его реформам. В этих последних Петр, конечно, не справлялся с самосознанием массы и мнениями народа; несомненно, что он признавал *самовластие рассудка.* Во имя государственной выгоды он безжалостно ломал патриархальные основы жизни, доходя до насмешек над самой религией. И с этой точки зрения Самарин совершенно прав, говоря:

„Два недуга раз‘едали древнюю жизнь: лихоимство и обрядность—против этого г. Соловьев спорить не будет. Древняя Русь их не скрывала, напротив, она каялась в них во всеуслышание, искала против них, но не находила исцеления,—с этим также согласится г. Соловьев. Итак, с полным и ясным сознанием своей болезни, с готовностью на все для коренного исцеления, поступила Русская земля на попечение бесстрашного хирурга (Петра I), привезшего из-за границы новую систему лечения. Она теперь испробована, прошло полтораста лет. Мы не спрашиваем: здорова ли Россия? Нет—это было бы много. Мы просим только, чтобы нам указали, какое новое, притом действительное и древней Руси неведомое или недоступное, средство открыто и употреблено в дело? Против двух коренных недугов, лихоимства и обрядности, которых все признаки так подробно описаны, *что приобрела Россия?* И когда нам укажут, что она приобрела, *мы беремся показать, что она утратила*“.

Что утратила? Конечно, религиозность, конечно, любовь и доверие, как цемент общественных отношений.

Но было ли это когда-нибудь в действительности—вот вопрос. А другой не менее важный: не является ли реформа Петра органическим и необходимым результатом всей московской государственности?

5) Но, конечно, больше всего любопытно это постоянно повторяющееся настойчивое „назад“ или это закрепление раз навсегда форм общественной жизни. Потому что *дворянству, как классу, впереди и нечего было искать.* Все было у него в прошлом или в настоящем, раньше и теперь, но не впереди. И *большой бессознательный „исторический“ разум целого сословия громче и отчетливее всего высказался в этом „назад“.*

Любовь, нравственность и религия заменяли славянофилам всякую политику. Религия в форме православия играла в их учении роль преобладающую. Но у Хомякова потребность ее вытекала из доктрины, Аксаков преклонялся перед ней, как основой древне-русского быта, только у Киреевских, особенно у Ивана, она имела мистическую окраску. Любовную характеристику братьям Киреевским дает Герцен:

„Оба брата Киреевских стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения: не признанные живыми, не делившие их интересов, они не скидывали савана.

„Преждевременно состаревшееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы, после которых уже выступил печальный покой морской зыби над потонувшим кораблем. Жизнь его не удалась. С жаром принялся он за ежемесячное обозрение „Европеец“. Две вышедшие книжки были превосходны; при выходе второй, „Европеец“ был запрещен. Он поместил в „Деннице“ статью о Новикове,—„Денница“ была схвачена, и цензор Глинка посажен под арест. Киреевский, расстроивший свое состояние „Европейцем“, уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг,—он не вытерпел и уехал в деревню, затая в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого как сталь, разъела ржа страшного времени. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества мистиком и православным.

„Жаль было разрушать его мистицизм,—эту жалость я прежде испытывал с Витбергом. Мистицизм обоих был художественный: за ним будто не исчезала истина, а пряталась в фантастических очертаниях и монашеских рясах. Беспощадная потребность разбудить человека является только тогда, когда он облекает свое безумие в полемическую форму, или когда близость с ним так велика, что всякий диссонанс раздирает сердце и не дает покоя.

„И что же было возражать человеку, который говорил такие вещи: „Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные, старики стояли на коленях и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты и мало-по-малу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением... века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между творцом и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в прах, и на святую икону—тогда я сам увидел черты богородицы одушевленными: она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей... и я пал на колени и смиренно молился ей“.

„Петр Васильевич был еще неисправимее и шел дальше в православном славянизме—натура, может быть, меньше даровитая, но цельная и строго последовательная. Он не старался, как Иван Васильевич или как славянские гегелисты, мирить религию с наукой, западную цивилизацию с московской народностью; совсем напротив: он отвергал все перемирия. Самобытно и твердо держался он на своей почве, не напрашивался на споры, но и не миновал их. Бояться ему было нечего: он так безвозвратно отдался своему мнению и так спаялся с ним горестным состраданием к современной Руси, что спорить ему было легко. Соглашаться с ним нельзя было, как и с братом его, но понимать его можно было лучше, как всякую беспощадную крайность. В его взгляде, и это я оценил гораздо позже, была доля тех горьких, подавляющих истин об общественном состоянии Запада, до которых и мы дошли после бурь 1848 года. Он понял их печальным ясновидением, догадался ненавистью, местью за зло, принесенное Петром во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, как у его брата, рядом с православием и славянизмом, стремления к какой-то гуманно-религиозной философии, в которую разрешалось его неверие в настоящее. Нет, в его угрюмом национализме было полное, оконченное отчуждение от всего западного“.

Впрочем, Петр Киреевский мало интересен для историка литературы: он почти ничего не писал. Но Иван—это довольно крупная литературная величина, которой лишь обстоятельства не позволили развернуться во всю ширь. Разносторонне, хотя по преимуществу философски образованный, он скрывал в себе редкий божий дар настоящего журналиста и к журналу его тянуло постоянно. Сначала он сам принялся издавать „Европейца“. Любопытная вещь—специально славянофильского в журнале ничего нет. Все внимание редакции обращено на Запад. Запад в лице своих мыслителей возбуждает восторг. Только какой-то странный тон статей, особенно статей самого Киреевского (его нашумевших в свое время обозрений литературы), выделяет „Ев-

ропейца“ из других журналов. Это тон не примиренного человека, но такого, который хочет примириться, который не дает простора своему недовольству, ищет чего-нибудь положительного, к чему бы можно было прислониться, чем можно было бы жить. Полемики нет, важно, сосредоточенно, серьезно, все говорит о том, что во главе дела стоит человек созерцания, каким и был Киреевский. Если читатель знаком с обозрениями или статьями о Стефенсе—он согласится со мной.

Жаль, что Киреевский не сказл прямо, чего он хочет от литературы, что такое вообще в его глазах литература. Но и косвенных указаний достаточно. Литература для него одно из выражений *религиозного* духа человека, ищущего *правды* жизни и тех основ, на которые может опираться нравственная, т.-е. стремящаяся к самоусовершенствованию жизнь. Эта страшно важная мысль осталась невыясненной и неразработанной: помешали обстоятельства. Просуществовав несколько месяцев, „Европеец“ был закрыт, а новая попытка Киреевского примкнуть к журналистике, взявши на себя редакцию Погодинского „Москвитянина“, кончилась так же скоро и плачевно. Киреевский остался не у дел...

Таковы вожди славянофильства.

Обыкновенно говорят о заслугах славянофилов в деле исторического изучения. Отрицать этих заслуг невозможно, тем более, что перед нами люди образованные, часто ученые, которых сама их доктрина обязывала заниматься историей. Их идеал был в прошлом и они любовно вглядывались в него. Погодин всю свою жизнь просидел за Нестором и другими летописями. К. Аксакову удалось выяснить значение веча в древней Руси. Хомяков интересовался преимущественно прошлым Запада. После него остались мало известные „Записки о всемирной истории“—незаконченные и необработанные, но поражающие широтой плана, невероятным запасом сведений и выдержанностью основной точки зрения. Среди нашей бедной философско-исторической литературы эти „Записки“ занимают, несомненно, очень видное место. Во всяком случае, это первый на русском языке опыт философского обозрения судеб мира и человечества, где проявилась вся „иррегулярная“, но удивительная даровитость их автора.

В подробное рассмотрение взглядов Хомякова входить не могу, ограничусь лишь общими замечаниями. Очевидно, что две задачи стояли перед умом автора.

Во-первых, он хотел ответить на формулу Гегеля: „люди и славяне“, совершенно уничтожающую историческую роль славянского племени, и показать, что славяне свою историческую роль в судьбах мира сыграли,—больше того: что эта историческая роль была велика и почетна. За судьбами излюбленных славян Хомяков и следит с особой охотой, начиная чуть не с третичной формации, не пренебрегая ни малейшей подробностью, почти без критики пользуясь всеми фактами.

Во-вторых, Хомяков не устает говорить о великом значении веры, религии, религиозных представлений в жизни народов. Для него деление человечества на расы, племена, государства (особенно государства) не представляется особенно существенным и совершенно стушевывается перед делением по верам. Вера, являясь результатом всех племенных и исторических особенностей народа, в то же время сама характеризует их. Разумеется, в результате оказывается, что славяне представляют из себя высший нравственный тип человечества, и этому типу принадлежит будущее, и таким образом „Записки“ Хомякова представляют собою настоящее правоверное исповедание веры славяно-фильской школы. Его философия истории прсто и о кратко резюмирована Ю. Самариным так: „Борьба религии нравственной свободы (начало Иранское), окончательно осуществляющейся в полноте божественного откровения, *хранимого православною церковью*, с религией необходимости вещественной или логической (начало Кушитское)—эта борьба, олицетворяющаяся в вероучениях и в исторической судьбе передовых народов—такова основная тема, связывающая разрозненные исследования Хомякова в одно органическое целое“.

Попытаюсь резюмировать смысл этой главы в нескольких замечаниях.

Нечего и говорить, что никакой ненависти и раздражения против первых славянофилов питать нельзя. Напротив, трудно не видеть в них людей, действовавших, или, лучше сказать, мысливших, по побуждению благороднейшего сердца. „Ложь не оскверняла

уста их“. Они не были холопами и не выслуживались ни перед кем, мало этого, их преследовали, сажали в крепость, как Самарина, брали под надзор, как Аксаковых, Кошелева, Хомякова, Свербеева и т. д. *). В критике существующего они шли рука об руку с лучшими умами своего времени. Они искренно ненавидели крепостное право, черную неправду судов, произвол чиновников. В отвращении и неприязни, которые они питали к нашему служилому сословию, быть может, заключается главная их заслуга. Они были правы и в критике западнических увлечений, начиная от теории родового быта Соловьева и Кавелина и кончая „lasciate ogni speranza“ Чаадаева. Они превосходно понимали, что нам, русским, надо работать и работать. Они первые узаконили гражданские мотивы в поэзии в лице К. Аксакова, Ив. Аксакова и Хомякова, которые в этом отношении были предшественниками Некрасова. Они вполне разделяли взгляд Белинского на реальные, общественные задачи литературы и критики, любопытные слова сохранились нам в этом смысле от К. Аксакова.

Вот, что писал этот учитель, наставник и, я бы сказал, начетчик славянофильства: „В наше время поэтическое произведение, хотя написанное с талантом (ибо таланты всегда возможны), может быть только средством, одним из способов для изображения той или другой мысли. Известен анекдот о математике, который, выслушав изящное произведение, спросил: *что этим доказывается?* Как ни странен этот вопрос в приведенном случае, но есть эпохи в жизни народной, когда при всяком, даже поэтическом, произведении является вопрос: что этим доказывается? Таковы эпохи исканий, исследований, трудовые эпохи постижения и решения общих вопросов. Такова наша эпоха“. Какой из критиков шестидесятников левого, конечно, лагеря литературы отказался бы подписаться под этими словами? Принадлежат же они, как сказано, К. Аксакову, начетчику славянофильства...

Все это плюсы. Я не забываю и еще одного, поставленного на счет славянофилов уже позже, в эпоху 50-х годов, Н. Г. Чернышевским. Чернышевский заявлял, что все теоретические заблуждения, все фантастические увлечения славянофилов с избытком вознаграждаются уже одним убеждением их, что общинное устрой-

---

[1]) См. след. главу.

ство наших сел должно оставаться неприкосновенным при всех переменах в экономических отношениях. Эти заявления тем характернее, что, вообще говоря, „Современник“ относится к позднему славянофильству лишь с насмешливым презрением. Но, конечно, кто, как не Чернышевский, наш первый народник-социалист, мог оценить полностью это открытие „общины“, „артели“, „мира“ в нашей старой жизни, этот взгляд на общину, артель и мир, как на устой, откуда дух жив не ушел, где он пребывал в течение всех веков крепостного права, где он должен жить независимо от экспериментов просвещенной бюрократии?..

Но ведь все это относится к области критики, отрицания, и ежели бы славянофилы ограничились бы только ею, они не могли бы вызвать к себе ничего, кроме почтительного удивления. Но роль критиков казалась им недостаточной и даже малоценной. В душе они даже презирали ее, считая ее, как Хомяков и Аксаков, эманацией лишь „низшего“ разума, низшей стороны человеческой натуры. Все усилия их творчества обращались на созидание и утверждение. И они утверждали и созидали, разрушая при этом правой рукой, что было сделано левой. И как только дело доходило до созидания и утверждения, даже такие мягкие, веротерпимые люди, как Грановский,—не говоря уже о Белинском,—выходили из себя.

„Ты не можешь себе вообразить,—писал Грановский Станкевичу о Киреевских,—какая у этих людей философия. Главные их положения: Запад сгнил и от него не может быть уже ничего; русская история испорчена Петром. Мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую историю, это даже наше назначение в будущем; *вся мудрость человеческая истощена в творениях св. отцов греческой церкви, писавших после отделения от западной* (!). Их только нужно изучать: дополнять нечего, *все сказано*. Киреевский говорит это всегда в прозе, Хомяков в стихах“...

Все утверждения славянофилов похожи на это.

Они восставали против неверия и „фейербаховщины“ современных им людей—*во имя* утрени и вечерни, как К. Аксаков; оптинской пустыни, как Киреевские; догматического православия, как Хомяков. Они восставали против безобразия современной им

обстановки *во имя* русской жизни XVII-го века или аскетического идеала отцов церкви; они защищали лучшее и главнейшее свое положение, что дух русского народа жив, хочет и должен жить, и не забывали немедленно же прибавлять к этому, что Запад гниет и разлагается.

В конечном анализе, после долгих тревог над этим вопросом, я думаю, что ошибка славянофилов, прежде всего дискредитировавшая их учение у современников и потомства, органический недостаток их доктрины заключались в том, что положительная ее сторона была, в сущности, лишь несколько исправленным и улучшенным тезисом, стоявшим все время в виде угрозы и предостережения перед русской литературой—формулой официальной народности.

Начать с того, что они охотно допускали в свою среду лиц, для которых, как, напр., для Загоскина, Фролова, Погодина, Шевырева и т. д., это было неопровержимым символом веры, благодаря чему вместо патриотизма получался самый узкий национализм. Когда неведомый поэт мечтал о том, что упьется кровью „мадьяров и немцев“, или когда Языков, обращаясь к западникам, называл их „изменниками“ и говорил:

Вы—люд заносчивый и дерзкий,
Вы—опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все—не русский вы народ!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет проклятый ваш язык!
Крепка, надежна Русь святая,
И русский бог еще велик.

то было над чем призадуматься, и дальнейший фазис славянофильства стремился утвердить такие вот мысли за русским самосознанием. Недаром умирающий Грановский, узнав, что славянам распечатали уста и позволили издавать свой орган, писал Кавелину: „Хорошо... Надо будет сказать последнее слово системы, а это последнее слово православная патриархальность, не совместимая ни с каким движением вперед. Ив. Киреевский уже удостоился искомой награды и достиг своей цели. Здешние п.. нарекли его русским Златоустом. А этот Златоуст смело говорит о необходимости изгнать из государства всех иноверцев или, по крайней мере, подчинить их строгому надзору православной церкви“.

Вот, значит, какое утверждение таилось в славянофильстве, по мнению Грановского. И еще любопытное обстоятельство: историку литературы приходится иметь дело не с развитием славянофильской доктрины, а лишь с историей ее вырождения, как бы для иллюстрации положения: живое живет, а мертвое лишь разлагается. Даже гения Достоевского оказалось недостаточным, чтобы вдохнуть жизнь в эту мертвечину и одухотворить благородную мечту вымирающего дворянства.

Но посмотрим на критику славянофилов. Надо спросить себя, во-первых, кто эту критику слышал? Она происходила в московских гостиных, барских угольных, за семью замками и семью печатями, не по воле, конечно, самих славян, однако, она все же была учением почти что тайным. Когда же она увидела свет божий, то другая, большая критика уже сделала свое дело. Это бы, впрочем, не беда, хотя все-таки заметим, что славянофилы вполне удовлетворялись крошечным кружком своих друзей и знакомых, и совсем не особенно ретиво рвалось наружу их верное слово „отрицания и сомнения“. Наоборот, если наружу и рвалось какое слово—это слово утверждения и признания, и это слово склоняется во всех падежах, числах и родах на каждой странице их „Москвитянина“, не говоря уже о „Маяке“, и даже „Московского Сборника“, редактировавшегося Ив. Аксаковым.

Это слово утверждения и признания было: „мы народ особенный, избранный, мы народ православный, и у нас другие пути, задачи и цели, чему других неспособных, неизбранных и неправославных народов. Земля наша создана святителями. В сокровищницах нашего прошлого мы найдем все нужное для нашего обновления, для нашего счастья. Домой же, назад!“... Вот что слышали люди. Назад, куда назад? История не возвращается. Самый торжествующий тон таких призывов, таких восторгов перед прошлым был огромною бестактностью. И эта бестактность становилась вредной, когда крепостное право в воображении своего ненавистника К. Аксакова оказывалось чуть ли не райским уголком. И тут-то выступает на сцену во всей своей силе второе „но“. Но... лучшие славянофилы были большие дети. Увы, это даже не я говорю, это говорит человек, глубоко любивший К. Аксакова, не позволявший слова дурного сказать о нем и даже выросший под его влиянием—его собственный младший брат Ив. Аксаков.

„Вот и Константин здесь,—писал он 20 января 1850 г.—Он приехал как бы к давно знакомым людям. С одной стороны, это ему приятно, с другой, я бы желал, чтобы он лицом к лицу встретился с *действительностью*. До сих пор это не совсем ему удавалось; теперь же я теряю надежду, чтобы когда-либо он был способен ее увидать. *Этот человек никогда не смущался, не сомневался в своих убеждениях*—и мы во многих взглядах поэтому с ним расходимся". В другом письме: „я не могу, подобно Константину, утешаться такими фразами: *главное—принцип, остальное случайность*; или—что *русский народ ищет царствия божия* и т. д. *Равнодушие к пользам общим, лень и апатия, и предпочитание собственных выгод—признается за искание царства божия!..*[1]). Что касается до принципа, то, признаюсь, это выражение Константина заставило меня улыбнуться. Это все равно, что говорить голодному: друг мой, ты будешь сыт на том свете, а теперь голодай,—это случайность; намажь хлеб принципом вместо масла, посыпай принципом—и вкусно; нужды нет, что сотни тысяч умрут; другие сотни уйдут—это случайность. Легкое утешение. Если бы я так верил в принцип и жизненность этого принципа в русском народе, то, право, и горевать бы не стал. Возмущают меня факты—ничего; вынул из кармана табакерку, понюхал принципа и счастлив! Где он, этот принцип? Куда девался? Поди, Константин, достань пыльную летопись, поищи его в XII и XIII веках, когда князья терзали русскую землю, воюя друг у друга уделы. Поздравляю с этой находкой"...

Ну, можно ли с большей язвительностью написать критику на младенчество „общественной" мысли у Константина Аксакова, на ее наивность.

И, конечно, это очень странное на первый взгляд, однако несомненное обстоятельство, что правительство Николая I очень подозрительно относилось к славянофилам. Многие из них пострадали (даже Погодин был под надзором полиции), но никто серьезно. Чем же собственно были подозрительны славянофилы? Тем,

---

[1]) В словах и тоне этого письма слышно даже возмущение.

Авт.

прежде всего, что большая их часть не служила, тем, во-вторых, что они представляли из себя тесно сплоченный кружок, тем, в-третьих, что они занимались литературой, тем, в-четвертых, что у них были какие-то панславистские мечтания.

Хотя все эти обвинения напоминают несколько горбуновский обвинительный акт: „признаете ли вы себя виновным в том, что в неизвестное время, в неизвестном месте вели с неизвестным лицом беседу о предметах, оставшихся суду неизвестными?"—однако *это действительно так было*. По крайней мере, в 1852 г. Дуббельт писал министру народного просвещения: „с некоторого времени образовалось в Москве *общество* славянофилов; что цель этих людей состоит в том, дабы сделать переворот в русской литературе, не подражать иностранным западным писателям, искать для своих сочинений предметов самобытных и народных; что хотя секретное наблюдение за членами сего общества не обнаружило до сей поры ничего положительно вредного, но как общество это под влиянием людей неблагонамеренных легко может получить вредное политическое направление и *как членыи оного большею частью литераторы*... то... государь император соизволил высочайше повелеть, дабы на представляемые сочинения в духе славянофилов было обращено со стороны цензуры особенное и строжайшее внимание"...

Я привел это отношение для того, чтобы показать, как легко было в те времена стать подозрительным, подпасть под надзор полиции и даже лишиться возможности говорить с своими читателями, потому что при особенном и строжайшем внимании цензуры славянофилы действительно лишились ее [1]). Я привел это отношение еще и потому, чтобы на прощанье оттенить одну хорошую, быть может, лучшую сторону старого славянофильства, ту именно, что, не будучи *против*, оно не было *за*. Не все, конечно. В самых первых их рядах были люди, которых Герцен с полным правом называет добровольными холопами и преданными рабами— Погодин и Шевырев, но зато другие не имели ничего общего ни с официальным миром, ни с официальной народностью. Но эти-то *другие* и создали славянство, больше даже, придали ему ореол какой-то исключительной чистоты и гражданской порядочности.

---

[1]) Прекратился совсем „Московский Сборник" на 3-м выпуске.

Как бы то ни было, они должны были оставить свои беседы с публикой. Для многих,—особенно же для К. Аксакова, который был агитатором по природе,—это было мучительно тяжело.

Часто осмеиваемые и часто побиваемые на самых разнообразных пунктах, почти без читателей, обыкновенно без подписчиков, чувствуя, что их понимают как раз так, как понимать не следует, славянофилы то и дело брались за журналистику. У них был свой почти постоянный орган „Москвитянин" Погодина, они были недовольны им. „Москвитянин" прославился своею неаккуратностью, сухостью своего содержания, „неметеным" слогом самого Погодина и тем, что Погодин рассылал его через военного московского полицеймейстера. Главная задача журнала была отстоять старину. „За нашу старину"—так называется одна из статей Погодина, и здесь исповедание веры журнала. Погодин старательно отмечает все, что было хорошего в старой Руси, удивляется Котошихину, удивляется историкам, которые доверяют человеку, повешенному за мошенничество. Впрочем,—это обычная славянофильская песня, гораздо громче и не раз пропетая К. Аксаковым. На страницах „Москвитянина" разыгрывались политические стычки славян с западниками. „Москвитянин" по пятам преследовал „Отечественные Записки" и „Современник"; ему отвечали насмешливо и полупрезрительно. Он не унывал и снова начинал свою старую песню о том, что у нас есть собственная культура, есть собственные предания, которые выше западных. Есть ли они? Вот *основной* вопрос полемики—его разветвления неинтересны и малопоучительны. Обе стороны находились в ужасно неприятном положении: им нельзя было договориться до конца, нельзя было затронуть самых насущных вопросов, но на стороне западников было влияние, сочувствие публики, были такие язвительные таланты, как Герцен и Белинский, такие молодые научные силы, как Грановский и Кавелин. Белинский, как всегда, был непримирим и неистовствовал. После схватки Кавелина с Самариным он резко писал последнему о славянофилах вообще: „Церемониться с славянофилами нечего. Я не знаю Киреевских, но судя по рассказам Грановского и Герцена, это—фаталисты, полупомешанные, особенно Иван, но люди благородные и честные: я хорошо знаю лично К. С. Аксакова; это человек, в котором благородство—

врожденный инстинкт. За исключением этих людей, все остальные славянофилы, знакомые мне лично или по сочинениям, странные и на все готовые, или пошлецы... Катай их“ [1])...

Остановлюсь теперь на кое-каких подробностях спора.

Особенно раздражало Белинского то, что он видел, как его друзья-баричи колеблются между обоими лагерями и, нет-нет, печатаются в „Москвитянине“. Он сердился, негодовал, пока не научился наконец пожимать плечами. В этом факте как нельзя лучше выразилась истинная „закваска и основание“ кружка Станкевича. Члены его, отяжелевши от праздности, все больше и больше склонялись к незлобию, добродушию и всепримирению. Примирить западников и славянофилов им очень хотелось, хотя Белинский и предупреждал их, какая это смешная, бесполезная задача. К этому времени относится один эпизод, очень характерный, рассказ о котором сразу выяснит нам отношение обоих партий.

„В конце ноября 1843 г. Грановский открыл публичный курс об истории средних веков, окончившийся в апреле следующего года. Лекции имели необычайный успех. Чаадаев назвал эти лекции „событием“, и справедливо, потому что это было первым подобного рода испытанием умственных интересов публики: находили, что в Москве никогда ничего подобного не было. Успех был таков, что сами славянофилы его признали, как ни мало сочувствовали они характеру и содержанию лекций. Талант Грановского, искреннее убеждение, которое слышалось в каждом его слове, победило все препятствия. „Лекции Грановского,— сказал Чаадаев, выходя с третьего или четвертого чтения из аудитории, битком набитой дамами и всем московским светским и интеллигентным обществом,— имеют историческое общество“. Его речь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смелости и поэзии, которые мощью потрясали слушателей, будили их. Смелость его сходила ему с рук,—он читал о средневековой истории Франции и Англии,—не от уступок, а от кротости выражений, которая была ему так естественна, от отсутствия сентенций во вкусе французских авторов, ставящих огромные точки над крошечными *i*. Излагая события, художественно группируя их, он говорил ими, так что мысль, не высказанная им, но совершенно ясная, представлялась тем более известной слушателю, что она казалась его собственной мыслью.

„Главный характер чтений Грановского: чрезвычайно развитая человечность, сочувствие, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствие, готовое на все отозваться, любовь широкая и многооб‘емлющая, любовь к возникающему, которое он радостно приветствует, и любовь к умирающему, которое он

[1]) Позже Белинский признал здоровое зерно славянофильской доктрины, но, конечно, попрежнему отрицательно продолжал относиться к их историческим толкованиям.

хоронит со слезами. Нигде, ничему не вырвалось слово ненависти в его чтениях он проходил мимо гробов, вскрывал их, — но не оскорблял усопших. Дерзкая мысль поправлять царственное течение жизни человечества—далека была от его наукообразного взгляда, он везде покорялся об'ективному значению событий и стремился только раскрыть смысл их. Мне кажется, что именно этот характер преподавания возбудил такое участие общества к чтениям Грановского. Уметь во все века, у всех народов, во всех проявлениях найти с любовью родное, человеческое, не отказаться от братий, в каком бы они рубище ни были, в каком бы неразумном возрасте мы их ни застали, видеть, сквозь туманные испарения временного, просвечивание вечного начала, т.-е. вечной цели — великое дело для историка“. Отсутствие ненависти к Западу и национального самохвальства, вместе с искренней, горячей любовью к науке, знанию, мысли—вот, что одушевляло и самого профессора и его блестящую аудиторию. Грановского обвиняли в пристрастии к Западу, он отвечал на это: „я явился читать часть его истории и не вижу, почему должен читать ее с ненавистью. Запад кровавым потом выработал свою историю, плоды ее достались нам почти даром, нет права не любить ее“.

„Между тем продолжение лекций Грановского, имевшее в публике прежний успех, начало производить в противном лагере совсем иное действие, которое, наконец, могло стать неблагополучным. „Славяне“, как называли тогда „Москвитян“ и славянофилов, быть может, раздраженные и новыми нападениями из западного лагеря, подняли говор о лекциях Грановского,—негодовали, что читая о средних веках в Европе, он не говорит о Руси, о православии, следует западной науке, мало говорит о христианстве. Возражения и обвинения были нелепы, но имели свое действие. Второй отчет Герцена о лекциях уже не был разрешен, университетское начальство стало думать о мерах против распространения немецкой философии,—митрополит московский поручил обличение Гегеля известному профессору московской академии Голубинскому“...

„При таком положении дел невольно возникал вопрос,—„в чью-же руку играют московские друзья и приятели, мешаясь с славянофилами и „Москвитянином“? Белинский прекрасно понимал, сердился и больше всего боялся, как бы и Герцена не засосало это московское болото. В мае 44 г. он написал в Москву целое длинное послание. „Я жид по натуре,—говорилось там между прочим,—и с филистимлянами за одним столом есть не могу... Грановский хочет знать, читал-ли я его статью в „Москвитянине“. Нет, и не буду читать, скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания“. Предположения Белинского о непрочности мира с славянофилами оправдались уже скоро. К осени 44 г. отношения московских его друзей к славянофильскому кружку, который они так защищали от Белинского, стали портиться, друзья приходили к заключению, что не может быть мира с людьми, которые так расходятся с ним в понятиях, открылась, наконец, явная война. Грановский, в то время наиболее видное лицо „западной“ партии в Москве,—сделался предметом самых неприязненных нападений с „славянской“ стороны в университете, в печати и за углом, в стихотворениях, ходивших по рукам. В ноябре 1844 г., в университете хотели не принять представленной им маги-

стерской диссертации и с позором возвратить ему ее, как неудовлетворительную. Это не удалось врагам Грановского, но раздражить его они, конечно, успели. Грановский теперь сам отказался от участия в „Москвитянине". Славянофильский кружок обнаруживал тот мрачный фанатизм, который друзья имели и прежде случаи видеть. Хомяков, несколько позднее, напал на Грановского в печати. Языков, известный поэт, „славянофил по родству", истощивши свою музу на мнимоpазгульной поэзии, напал на „западную" партию в стихотворениях, которые можно было бы назвать памфлетами, если бы современники не считали их за „юридические бумаги", как тогда говорилось. Он начал это в декабре 1844 г., кажется, стихотворением „К не-нашим", направленным против Грановского, Герцена и Чаадаева, которых он обвинял не меньше, как в измене отечеству, затем последовали еще два таких же: из них одно было посвящено специально обличению Чаадаева, другое было послание к К. Аксакову, где за из'явлениями дружбы и славянофильского союза следовали упреки Аксакову за то, что он подает руку людям, которые „нашу Русь ненавидят всей душой и передались лукавой неметчине", и, наконец, поощрение на борьбу с этими врагами отечества.

„Раздор продолжался".

„В феврале 1845 г. Грановский защищал свою диссертацию; факультет, в котором были непримиримые враги его из славян, наконец, должен был принять ее. Диспут снова раздражил партии. Грановскому сделана была овация, его противникам шикали. В новом „Москвитянине" дело не ладилось между самими „славянами". Белинский смеялся или сердился на воображаемые примирения, на торжественные обеды и лобызания с своими противниками, и теперь московским друзьям пришлось согласиться с ним. Московские друзья разошлись, наконец, с теми людьми „славянского" кружка, которые внушали им наиболее сочувствия по характеру и таланту".

Я не мог избежать некоторых, быть может, даже излишних подробностей, но дело в том, что спор этот представляется мне не только важным, но и основным для истории русской литературы. Все начинается с него и все к нему возвращается. В совершенно ребяческой форме является он перед нами у Шишкова с его защитой высокого, среднего и низкого стилей, с его ненавистью к иностранным словам. Славянофилы и западники подняли его до философской высоты, до вопроса о самосознании русского общества. И вы ясно видите, как этот спор растет и ширится, принимая в себя все более важные вопросы. Речь идет сначала о том, чем была Россия во времена Алексея Михайловича и переходит в другую—чем она должна быть, какие ее отношения к западной жизни вообще, к науке и мысли Запада, к его политическим формам и укладам? Есть у нас, русских, такие устои, опираясь на которые, мы можем сами самобытно решить роковые

вопросы общественной жизни, перед которыми сам Запад остановился с недоумением? Или таких устоев нет, и наш путь уже проторенная дорога? Что значат наши коренные добродетели, которых по славянофильскому списку 12: смирение, смиреномудрие, религиозность, радушие, общинность, отсутствие самоуверенности, преклонение перед тем, что получило освящение веков, доброта, способность довольствоваться малым, презрение к благам жизни, бессеребренность и удаль—остаток ли это архаических времен или камни краеугольные новой жизни? Истинна ли ценность, какую придают западные люди писаному закону, или эта ценность закона и договора вообще преувеличена, и вся суть заключается в любви одного к другому, в доверии младшего к старшему, в „опеке“ слабых сильными? Дает ли человеку какое-нибудь нравственное удовлетворение исполненная писанная правда или есть нечто высшее этой писанной формальной правды—правда сердца, стихийно в нас заложенная? И какой правде должен следовать человек? Славянофилы высказались за правду сердца (вспомним о презрении Аксакова к договору), правду старых книг, любви, патриархальных любовных отношений. В этом их главная „историческая“ ошибка. Еще дальше на почве того же спора, и мы достигаем вершин философских вопросов человечества—вопроса о роли личности в истории. Потому-то очевидно, что славянофилы и западники должны были решать этот вопрос разно.

Первые с своим смиреномудрием, своим признанием высокого религиозного начала, управляющего жизнью людей, не могли доверить отдельному, самонадеянному разуму, который для них с любой точки зрения был недостаточен; они говорили о вере, как Хомяков, об общинном мышлении, как Аксаков, об откровении, как Киреевский. Западники, на первых порах, по крайней мере, безусловно полагались на науку, и в ней, т.-е. в *малом* разуме человека, видели все спасение.

Вот „антиномия“ нашей общественной мысли, наполняющая всю историю нашей литературы...

Западники.

Говорят, что в учении славянофилов есть нечто от Востока взятое, оттуда идущее и близкое его духу. При этом указывают на религиозный элемент их миросозерцания, на отрицание личного

начала и признание как в жизни отдельных людей, так и целых народов какой-то даже судьбы, все определяющей и властно требующей от всех исполнения своих приказаний. К этому прибавляют еще, что в учении славянофилов есть ленивые, квиэтические элементы, в конце концов все сводящие к примирению. Есть, словом, то, что заставило поэта сказать:

...Все, что здесь доступно оку,
Спит, покой ценя.

И, конечно, славянофилы, несмотря на громы и молнии слова, порою вырывающиеся у них, были люди примиренные и даже в конце концов сознательно примирившиеся. Все их начала, как „масса“ и „массовой разум“, как „религия“ и притом религия догматическая, как презрение к отдельному разуму и боязнь рационализма—все это должно было восстановлять их против постоянных исканий, недовольства и томительной неудовлетворенности отдельных личностей и заставить их воскликнуть (как впоследствии Достоевского): смирись, гордый человек, спасение—не в твоих исканиях, не в гордом восстании против преданий и устоев старины, а в чистой догме православия (Хомяков), в умилении перед иконой (Киреевский), в отречении от себя, от личного в себе во имя общего, целого и стройного—общенародных основ жизни.

Запад стал поэтому чуть ли не пугалом в их глазах, потому что оттуда-то шло это неудержимое восстание личности против сложившихся и упроченных форм жизни, этот ее байронизм, эти ее беспокойные искания. Но тут-то и больше всего понадобилась поправка западников, даже страстная и невоздержанная зачастую поправка их, как у Герцена и Белинского, вся страстность их отрицания восхваляемых и превозносимых основ истинно-русской жизни, как у Чаадаева, все глубоко заложенное в них недовольство, не соглашавшееся ни на какое примирение. Тут надо было вспомнить и громко сказать, чем был всегда для нас Запад, чем его наука выше, чем его личность, несмотря на свое постоянное брожение, больше и даже красивее в своем гордом искании хотя бы самого Парамона Юродивого или дурака Левки или вообще всей огромной толпы „божьих людей“.

Чем был для нас Запад? Порою—единственным пристанищем, постоянно—„учителем“, щедро делившимся всеми своими завоева-

ниями в области мысли и знания и уж, конечно, постоянным, суровым напоминанием, что смысл человеческого существа не в *обладании* и *пользовании*, а в вечном *стремлении* и *искании* чего-то таинственного и все еще не дающегося человеку, но страстно манящего его к себе. Даже такую элементарную и простую вещь, как „надо учиться и работать“, все же сказала нам Европа, ее культура, ее дисциплина. И западники всегда помнили это громадное различие между недвижимой, сожженной солнцем, *божьей* страной и суровыми требованиями все усложняющейся жизни, где

...Железная лопата
В каменную грудь
Добывая медь и злато
Врежет страшный путь.

Человек—один из великих ищущих русских людей, но слишком нервный и впечатлительный и любивший часто и неосторожно повторять, что Запад гниет, Запад сгнил, Запад умер, все же лучше других сумел определить для нас, русских, значение этого гниющего, сгнившего и умершего уже Запада. Этим человеком был Достоевский.

„У нас русских—говорит он,—две *родины*,—Россия и Европа.—Европа—но ведь это страшная и святая вещь! О, знаете ли вы, господа, как нам дорога, нам мечтателям славянофилам, эта самая Европа, эта страна святых чудес!.. знаете ли вы, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и *родной* нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон? Русскому Европа так же драгоценна, как Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук, вся история их мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим... — Я хочу в Европу с‘ездить, Алеша, — говорит Иван Карамазов,—и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое, на самое дорогое кладбище — вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, свою истину, в свою борьбу, в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более!“

Конечно, больше чем кладбище, но все же удивительно верна мысль *о двух родинах* русского человека и *о святых* чудесах Европы. И вот это не сразу даже поняли, а почувствовали западники. И вы слышите ту же мысль, когда *Грановский* говорит

вам: „Запад *кровавым потом* выработал свою историю, плоды ее достались нам почти даром, нет *права* не любит ее",—когда *Чаадаев* указывает на идеи долга, закона, порядка, как необходимые условия мира общественного,—когда *Герцен,* скатившись в глубину неверия и отрицания, все же и оттуда проповедует смирение перед наукой и истиной,—когда *Белинский* пишет свое грозное письмо Гоголю или умирающий ходит любоваться на строющийся вокзал железной дороги, как на дар Запада,—когда молодые ученые, как *Кавелин,* начинают в прошлом искать *юридического* обоснования русского существования,—когда *Гончаров* твердит вам свое аккуратное „надо работать"—или когда *Тургенев* боязливо отстраняется от мистики и вообще от веры в широкую русскую натуру—и т. д., и т. д.—во всем этом голос Европы. Но он еще слышнее там, где идет спор о смысле человеческого существования, потому что Восток, славяне, барская обломовщина говорят о покое, о забвении, а Запад—об искании и о вечном стремлении, хотя бы и неудовлетворенном.

Страстность западнического отрицания, сводившая на нет всю Россию в ее прошлом и настоящем, так же мало обязательна для кого-нибудь, как и мысли о гнилом Западе или славянофильское утверждение, что мы призваны обновить мир—но все это лишь крайности спора, крайности полемического увлечения. Сущность же глубже, серьезнее. *Она в противоречии личности и массы, личного и общественного развития „с полным гордого доверия покоем", стремления и пользования, старо-барской России и того нового общественного слоя разночинного,—который в сороковых годах стал выходить из-под барства и впервые в общих крупных чертах сознал себя в Белинском,*—мистики, доходившей до поклонения перед полупудовыми железными колпаками юродивых, и рационализма, утверждавшего, что все спасение в науке, знании... Тут столько противоречий, что и теперь, через 60 лет работы, они не решены. Но на той и другой стороне—наше родное русское, и вот, переверните несколько страниц истории, и вы увидите уже попытку примирения обоих начал, увидите, как рационализм западничества, его рассудочность становятся в учении народников *мистическими!*

Девизом западников было: мы ученики Европы и должны еще больше, еще самоотверженнее учиться у нее, и первое, что нам

нужно—это развитие в себе чувства *законности* и собственного достоинства.

Западники начали, конечно, с полного отрицания настоящего и самобытного будущего России, и здесь (хронологически) первая роль принадлежит П. Я. Чаадаеву.

П. Я. Чаадаев (1793—1856). Биографию Чаадаева можно рассказать в 10-ти строках. Вообще замечательно, что у русских людей биографии нет, что совершенно естественно при полной скудости нашей общественной жизни. Знатный и богатый барин, Чаадаев, сначала блестящий гвардейский офицер с великолепной карьерой впереди, после одного резкого замечания Александра I, вышел в отставку и стал разносить свое недовольство по гостеприимным московским гостиным, где и скоротал свой век.

В 1836 г. он напечатал свое „Письмо“ в Надеждинском „Телескопе“, за что был об'явлен сумасшедшим и еженедельно, до помилования, подвергался освидетельствованию полицеймейстера. Он писал и еще, кроме напечатанного в „Телескопе“, но „Письмо“ создало ему славу, как „Горе от ума“ Грибоедову. Находился в дружбе со многими славными современниками (Пушкиным, Герценом и т. д.) и вел переписку с Шеллингом.

Однако, глубокую *русскую* драму нашел Герцен в этой, в сущности, пустой и бесцветной жизни талантливого, а может быть, и гениального русского человека.

„В мире не было ничего противоположнее славянофилам, как безнадежный взгляд Чаадаева, которым он мстил русской жизни,— как его обдуманное, выстраданное проклятие ей, которым он замыкал свое печальное существование и существование целого периода русской истории. Он должен был возбудить в них сильную оппозицию, он *горько* и *уныло-зло* оскорблял все дорогое им, начиная с Москвы... В Москве, говаривал Чаадаев, каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился, прежде чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью; или, может быть, этот большой колокол без языка—гиероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя *славянами*, как будто удивляясь, что имеет слово человеческое... Чаадаев и славяне равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской

жизни; они равно спрашивали: Что же из этого будет? Так жить невозможно, тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы—где же выход?—Его нет, отвечал человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре I в европейскую будущность России. Он *печально* указывал, к чему привели бесплодные усилия целого века. „История других народов—повесть их освобождения. Русская история—развитие крепостного состояния“.

„Переворот Петра сделал из нас худшее, что можно сделать из людей,—просвещенных рабов. Довольно мучились мы в этом тяжелом смутном нравственном состоянии, не понятые народом—пора отдохнуть, пора свести мир в свою душу, прислониться к чему-нибудь... Это почти значило—пора умереть, и Чаадаев думал найти обещанный всем страждущим и обремененным покой в католической церкви“.

Свои горькие и унылые мысли Чаадаев и изложил в „Философическом письме“. Вот отрывки, которые дадут ясное представление о нем:

„Посмотрите вокруг себя. Все, как будто, на ходу. Мы все, как будто, странники. Нет ни у кого сферы определенного существования... нет ничего, что бы привязало, что бы пробуждало ваши сочувствия, расположения, нет ничего постоянного, непременного; все проходит, все протекает, не оставляя следов ни на внешности, ни на вас самих. Дома мы будто на постое, в семействах, как чужие, в городах, как будто, кочуем и даже больше, чем племена, блуждающие по нашим степям, потому что эти племена привязаннее к своим пустыням, чем мы к своим городам... У всех народов бывают периоды сильной, страстной деятельности, периоды юношеского развития; когда создаются их лучшие воспоминания, поэзия и плодотворнейшие идеи, в них источник и основание дальнейшей их истории... Мы же не имеем ничего подобного. В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое, унизительное владычество татар-завоевателей,—владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и доныне. Вот горестная история нашей юности: мы совсем не имели возраста этой безмерной деятельности, этой поэтической игры нравственных сил народа. Эпоха нашей общественной жизни, соответствующая этому возрасту, наполняется существованием темным, бесцветным, без силы, без энергии. Нет в памяти чарующих воспоминаний, нет сильных, наставительных примеров в народных преданиях. Пробегите взором все века, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминания, которое бы вас остановило, ни одного памятника, который бы высказал вам прошедшее сильно, живо, картинно. Нам должно молотами вбивать в голову то, что у других сделалось инстинктом, привычкою. Наши воспоминания не дальше вчерашнего дня, мы, так сказать, чужды самим себе“.

У нас нет ничего: „ни чарующих воспоминаний“, ни „сильных, наставительных примеров в народных преданиях“, и мы живем в „тупом равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте без прошедшего, без будущего“... Мы—невольные бродяги вольной и широкой исторической дороги, и осмысленная жизнь Запада—не для нас. Там этот смысл дается прежде всего идеями. „Хотите ли—спрашивает Чаадаев—знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка. Они—необходимые начала мира общественного“. Чем же мы заменяем все это? Ничем, и происходит страшное, грустное явление: „даже лучшие идеи от недостатка связи и последовательности, как бесплодные призраки, цепенеют в нашем мозгу. Человек теряется, не находя средства притти в соотношение и связать себя с тем, что ему предшествует, он лишается всякой уверенности, всякой твердости *потому, что им не руководит чувство общего существования*, и он заблуждается в мире. Такие *потерявшиеся существа* встречаются во всех странах. Но у нас это *черта общая*“.

Неужели же все это только злоба, только раздражение? Прослушайте в таком случае еще одно небольшое место из „Апологии сумасшедшего“:

„Поверьте,—пишет Чаадаев,—я больше, чем кто-либо из вас, люблю свое отечество, желаю ему славы, умею ценить высокие качества своего народа; но справедливо также, что патриотическое чувство, меня одушевляющее, создано не совсем по тому способу как то, чьи крики разрушили мое существование. Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что можно быть полезным отечеству только под условием ясно его видеть; я думаю, что время слепых амуров прошло, что теперь, прежде всего, мы обязаны отечеству истиной. Я люблю свое отечество так, как Петр Великий научил меня любить его. Признаюсь, у меня нет этого блаженного патриотизма, этого ленивого патриотизма, который устраивается так, чтобы видеть все в лучшую сторону, который засыпает за своими иллюзиями, и которым, к сожалению, в наше время страдает много хороших умов“...

В своем „Письме“ Чаадаев выразил крайнюю степень отрицательного отношения к России и русской жизни с западнической точки зрения. Он не видит ничего хорошего не только в про-

шлом и настоящем, но и в будущем. Это сатира Грибоедова и Гоголя, переведенная на публицистический язык, и на знаменитый вопрос, поставленный впоследствии в „Мертвых душах"—„куда мчится русская тройка?", Чаадаев заранее отвечал: „никуда". Но что хорошего видел он на Западе? Его ответ на вопрос, как и большинство ответов русских людей того времени, мысль которых только начинала работать, не отличается определенностью. Он говорит об идеях закона, долга, правды, порядка, но нигде и никогда точно их не формулирует. Его знаменитое „Письмо" имеет лишь критическую, отрицательную ценность! Оно знаменовало собою то, что *русская идея,* так величественно и так самодовольно истолкованная книжниками XVI-го века, возродившаяся, как идея официальной народности при императоре Николае, вступила в фазис своего чистого отрицания. Оттого-то Чаадаев и прислонился к католицизму, нисколько не заботясь о том, что католицизм его времени меньше всего воплощает в себе идеи долга, закона, правды, порядка, и что часы истории показывали уже не IX-ый, а XIX век. Но все же вы чувствуете в Чаадаеве очень деятельное брожение мысли, напряженную и потому уже одностороннюю критику, старание добраться до глубины дела, и легко представить себе, какое ошеломляющее впечатление должно было это „Письмо" произвести на современников. Вопрос был поставлен резко: есть ли у Руси какие-нибудь основы для самостоятельного будущего? Или же нам суждена одна ученическая роль вплоть до полного слияния с культурой Запада? Что в конце концов может дать нам Запад?

Идею личного развития и общественного совершенствования—отвечали Белинский и Герцен, беря критику Чаадаева исходным своим пунктом.

В. Г. Белинский (1810—1848). Сын бедного уездного врача, он, независимо, впрочем, от семьи, получил все же некоторое скудное образование, побывал даже в университете, но был исключен оттуда, под предлогом малоуспешности, за написанную им трагедию „Дмитрий Калинин", в которой ярко и резко-негодующе выставлял ужасы крепостного права. Потом он стал лите-

ратором, пребывал в этом унизительном для того времени звании всю жизнь до последнего вздоха, теперь он *легенда*—самое чистое, светлое и великое имя русской литературы.

Уже с выходом из гимназии начинается действительно самостоятельная жизнь Белинского, полная невзгод и тяжелых испытаний, и тут же завязывается узел его жизненной драмы, определить смысл и значение которой – задача не легкая. Мы видим, как Белинский, полагаясь исключительно на свои силы и едва ли определенные ожидания чего-то лучшего, переезжает в Москву, бросив почти навсегда родные палестины, где, во всяком случае, ему с материальной стороны живется легче, благодаря родственным и иным связям. Он оказывается в огромном городе один, без друзей, без знакомых, с запасом нескольких несчастных грошей в кармане — настоящий Робинзон Крузоэ на необитаемом острове. Все надо сделать самому, все надо добыть своими руками, начиная с пищи и кончая положением в обществе. А у него нет ничего, даже необходимых сведений, даже ничтожной практической опытности. Впрочем, надо думать, что он не особенно боится материальных лишений: он уже привык к ним, и его потребности доведены до минимума. Желудок редко беспокоит его и быстро умолкает при малейшем к нему внимании. По части одежды Белинский совсем уже не стесняется, также и по части помещения. Но ему нужен театр, книги, наука... да мало ли что вообще нужно живому человеку с горячим, несколько фантастическим даже, воображением. И предстоит борьба,—тяжелая, огромная, полная невзгоды и разочарования, предстоят бесконечные серые дни бесплодных ожиданий, злобных проклятий и скрежета зубовного. Только дух крепнет в этой борьбе,--тело и самая жизнь рушатся...

Узел жизненной драмы Белинского, между прочим, и в его нищете,—нищете, доходившей подчас до того, что он целыми неделями сидел дома за неимением необходимейших принадлежностей носильного платья. Крепко схватила его нищета своими костистыми руками и в сущности не выпускала из них до самой смерти и дальше: умирая, он оставил нищую семью. Эта нищета постоянно ставила перед ним вопрос, на что же он имеет право и имеет ли он вообще право на что-нибудь в жизненном пиру?

Только этот вопрос и интересовал его. Ответы на него в зависимости от обстоятельств жизни получались самые разнообразные.

Белинский был пролетарием, *следовательно*, он не имел права ни на что: далее, он был недоучившимся студентом,— *следовательно*—ни на что; наконец, он был литератором, а не „служивым“, *следовательно*—ни на что. Словом, куда ни кинь—все клин. Извне шли впечатления самые неблагоприятные. Жизнь ежеминутно твердила человеку, что ты—нуль, и, как таковой и можешь пропасть, не требуя даже, чтобы при этом, для тебя трагическом обстоятельстве, шевельнулся лист на дереве. Белинский, далее, сошелся с кружком интеллигентных баричей, Станкевича и à la Станкевич. Что греха таить—к нему там относились покровительственно. Необразованный, дикий, хотя и гениальный, жадно искавший истины и готовый признать за истину всякое самоуверенно высказанное слово, он играл самую жалкую роль и не мог ничего возразить, когда „друзья“ на одном из своих совещаний с шампанским и рейнвейном постановили потребовать, чтобы Белинский больше ничего не писал, так как у него нет „эстетического вкуса“. Дело в том, что „друзья“, обеспеченные наследством, не понимали, как это возможно пускать в толпу высокие мысли и получать за это гривенники. А Белинский, которому есть было нечего и который сам был сыном этой толпы, все это великолепно понимал, только не мог, по робости, ничего возразить против диких реплик гг. столбовых и потомственных. Да и где ему было, несчастному, отовсюду прогнанному человеку, возражать, когда он чувствовал себя ежеминутно идущим по краю пропасти. Он молчал или кланялся из уважения к той высокой премудрости, которая яко бы таилась в прочтенных его приятелями брошюрках о Шеллинге и Гегеле.

Под их влиянием он дошел до настоящего индийского квиэтизма, и, если хотите, это действительная психологическая несообразность. И он, нищий, брошенный человек, гордо говорил: все существующее разумно; человек, в каком бы положении он ни находился, не имеет права протестовать против чего бы то ни было; он может страдать, кусать себе руки от боли в сердце, но все же... существующее—разумно. Действительно, странно. И Белинский не останавливался перед самыми крайними выводами из этого фантастического учения; он презирает всех тех, кто не

разделяет его, он готов не только спорить, но и ссориться со всеми, восстававшими против его оригинального гегелианства. Раз дело касалось учения, догмы, истины—для него переставали существовать друзья и знакомые. „Все существующее разумно“. Я замечу прежде всего, что Белинский далеко не сразу увлекся этой формулой, что он подошел к ней тихими шагами, быть может, даже незаметно для самого себя. И путь, который вел его к ней, не представлял ни угроз, ни ужасов. Формула подкупала незаметно: она проникла в душу среди страстных разговоров об искусстве, в обстановке суровой борьбы человека с самим собою во имя нравственного долга и красоты, она выросла из обстоятельных речей Станкевича, а потом Мих. Бакунина о германской философии и германской эстетике, она оправдывалась восторженным настроением духа.

Но, самое главное, знает ли кто-нибудь, почему Белинский стал таким горячим ее приверженцем? Нет, не знает никто, потому что еще нет возможности проникнуть в тайники этой страстной, увлекающейся, почти безумной души нищего поэта. Кто знает, не искал ли он в ней, в этой всепримиряющей формуле утешения от бурь и невзгод жизни, которые еще долго не давали ему ни минуты покоя, — искал бессознательно, подчиняясь лишь инстинктивному чувству самосохранения? Не давала ли она ему бодрости и силы? Не оправдывала ли она того ничтожного места, которое он занимал во вселенной? Если—рассуждал он—разумно все существующее, то, значит, разумна и моя нищета, и мои муки, и мои неудачи, и мои горести. Ниц же перед этой всемогущей, всепроникающей разумностью, потому что иначе мне остается лишь прицепить веревку к первому торчащему из стены гвоздю.

Вы не верите в возможность такого рода психологии, но надо заметить, что мы имеем дело не с обыкновенным человеком, а человеком огромной фантастичности, огромной способности самозабвенного увлечения.

„Белинский, самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца, проповедывал тогда, в 1840 г., индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед нравственным приличием, ни перед мнением других, чего так страшатся люди слабые и несамобытные.

— Знаете ли,—сказал я ему однажды, что с вашей точки зрения вы можете доказать, что и чудовищный произвол разумен и должен существовать.

— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский, и прочел мне „Бородино“ Пушкина.

„Это-то,—рассказывал Герцен,—я не мог вынести и отчаянный бой закипел между нами“.

Гегелианской мудрости своей он предавался до самозабвения. В то время с ним встретился Герцен.

Разные жизненные обстоятельства (между прочим, переезд в Петербург), следить за которыми возможно лишь в отдельной монографии, заставили Белинского одуматься и отрезветь, и, отрезвевши, он „опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей своей неистощимой энергией на свое прежнее миросозерцание“. Литература скоро почувствовала, кто у нее хозяин.

„Кто не помнит его статей о „Тарантасе“, о „Параше“ Тургенева, о Державине, о Мочалове, о Гамлете? Какая верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между цензурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых взять противника не мытьем, так катаньем, не антикритикой—так доносом“.

„Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяние их дорогие, задушевные мысли, их поэтические мечтания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую лентой.

„Как же они за то его и ненавидели.

„Славянофилы, с своей стороны, начали официально существовать с войны против Белинского: он их додразнил до мурмолок и зипунов.

„Статьи Белинского судорожно ожидались в Москве и Петербурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли „Отечественные Записки“, тяжелый № рвали из рук в руки: „Есть Белинского статья“?—„Есть“,—и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, уважений как не бывало“.

Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте: „Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу“ (Герцен).

Нет ничего отраднее и даже,—сказал бы я,—более возвышающего душу, как зрелище возрождения человека, который после долгих, томительных годов искания нашел твердую опору для своего духовного мира, для своего нравственного и умственного развития и, вернувшись к себе, сознав истинные потребности своей натуры и темперамента, является перед нами как бы преображенным. Тоска заменяется верою, упадок духа—бодростью.

Это именно и случилось с Белинским. Что возродило его? Город Петербург с деловитым, холодным складом своей жизни? Конечно, нет. Ни одного петербургского принципа жизни Белинский не облюбовал и ни одним не увлекся. Он до самой своей смерти остался таким же идеалистом, каким был раньше в Москве и еще до того—в Пензе. Правда, сам он не раз говорил, что его „переделал Питер",—но не надо придавать особенного значения этим словам. „Питер" никогда никого не возрождал и возродить не может по самому существу своему,—вот наоборот разве. Белинского, конечно, возродила работа и любовь — первая и единственная в его жизни разделенная любовь к женщине. Когда мало-по-малу он начал сознавать свою силу и влияние, когда он увидел, что с ним считаются, он, как работник по призванию, не мог не приподнять своей усталой головы, и успех влил значительную бодрость в его измученное сердце. Да, надо работать, только работать, не думая о себе, думая лишь о человеке, которого жизнь растаптывает так презрительно и равнодушно.

„Для меня человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества",—говорит он в письме к Боткину. Эта-то человеческая личность и была тем камнем краеугольным, на котором он воздвиг свое новое миросозерцание. Пусть жизнь огромна, велика, могущественна, пусть она считает за собой мириады веков прошлого, все же человек не обязан падать перед ней ниц, а напротив того — он должен призывать ее к суду перед своим сознанием, своими нравственными запросами и добиваться во что бы то ни стало своего личного и общего счастья. Теперь перед нами уже настоящий Белинский, тот, который не выносил никогда никакого внешнего давления и почти ребенком понял все ужасы крепостного права.

„Если несчастен я, и несчастны другие, значит—жизнь неразумна", так рассуждает он; и инстинктивно он всегда так думал, хотя и не решался высказать подобного рода ересь. Когда исходная точка найдена,—сделать из нее вывод не трудно, и Белинский с обычной своей страстностью и неистовством принялся за эту работу. В это время он уже резко изменил свой взгляд на Шиллера. Презренный Шиллер стал для него великим Шиллером. Он ненавидел его прежде за то, что его поэзия исполнена интимными запросами души человеческой, что в ней кипит

страсть, что в ней слышатся проклятия злу жизни. Но теперь, когда он признал законность всего этого,—Шиллер стал ему дорог и даже дороже олимпийски спокойного, величавого Гёте. По той же причине он примирился с французами и перестал находить глупыми и пошлыми их увлечения идеалами лучшего общественного устройства.

Отсюда уже прост переход к общественности. В последних своих статьях он отдает себя в жертву обществу и в служении этому обществу видит единственное назначение человека. Его бесконечно тяготила мысль, что много голода и холода на земле, и он готов отказаться от самого себя, отдать последнюю рубашку, чтобы поправить жизнь и сделать ее более соответствующей достоинству человека. Его оскорбляют чужие страдания, ему не дают покоя чужие слезы, он думает, что человек имеет право на счастье здесь, на земле, и если этого счастья нет, то виноваты обстоятельства, которые можно и должно устранить. Наивный, он много раз вздыхает о том, что у него нет какой-нибудь сотни миллионов, которая дала бы ему возможность где-нибудь в Южной Америке или Австралии основать колонию и показать людям, как они могут жить по-человечески и как безмерно могут быть они счастливы здесь на земле. Здоровый, свежий воздух, работа сообразно с призванием и назначением, свободная обязательность, любовь без страха перед завтрашним днем—все это мерещилось Белинскому, все это вдохновляло его. В этом своем настроении он твердо верит, что все зло жизни—не что иное, как результат невежества и глупости; он отрицает какие бы то ни было законы истории, которые будто бы предопределили страдания человека. Он ненавидит эти страдания, он верит, что причина их в несправедливых общественных условиях, он готов схватиться с самою судьбой во имя достоинства личности и гордо, стоя одной ногой в могиле, говорит, что человек имеет право на все, даже на бессмертие: счастье же на земле—его назначение.

И высшим выражением этой общественности является, конечно, знаменитое письмо его к Гоголю, где он писал между прочим:

„Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, что вы делаете? Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездною!.. Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утвер-

ждаете, как великую и неоспоримую истину, будто простому человеку грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вам на это? Да простит вам бог за эту мысль, если только, передавая ее бумаге, вы ведали, что творили... Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как человека? Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, и, не находя исхода производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе есть жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок верный успех, даже при маленьком таланте. И вот почему у нас в особенности награждается общим мнением так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных вами всем и каждому? Положим, что вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в „Ревизоре“ и „Мертвых Душах“ вы менее резки, с меньшей истиной и талантом, и менее горькой правды высказали? И она действительно рассердилась на вас до бешенства, но „Ревизор“ и „Мертвые Души“ не пали от этого, тогда как ваша последняя книга провалилась сквозь землю. И публика тут права; это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя и в зародыше, свежего здравого чувства, и это показывает, что у нее есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению вашей книги“.

И это слова умирающего человека. И тот же умирающий человек, которого Достоевский встретил как-то у Знаменья, сказал ему:

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль иногда облегчает мне сердце.

„Это было горячо и хорошо сказано“, замечает при этом Достоевский. Хорошо сказано—это так. Но в то же время, сколько общественного интереса надо иметь в душе, чтобы в последнем градусе чахотки интересоваться постройкой вокзала Николаевской железной дороги!

Из трех периодов литературной деятельности Белинского для нас важен лишь первый и последний. От первого нам остались такие крупные вещи, как трагедия с ее страстным протестом против крепостного права, и исповедание веры новой критики

„Литературные мечтания“ (1834); от последнего—все, что мы разумеем обыкновенно под словами „литературная деятельность Белинского“. Второй период (1836—1842), когда Белинский „поклонялся философскому колпаку Гегеля“, признавал все, даже турецкие зверства, разумным—этот период искания и насильственного примирения с действительностью очень интересен для психологии самого Белинского и мало для истории литературы.

Обращаюсь к „Литературным мечтаниям“. Важность этой статьи заключается не в мыслях, высказанных в ней (это в большинстве случаев мысли Надеждина и Полевого), а в небывалом до той поры и совершенно неслыханном отношении к литературе.

Вас поражают в статье две вещи. То, во-первых, что *здесь литература рассматривается не по кусочкам, а в своем целом,—рассматривается, словом, вся изящная литература в процессе своего исторического развития.* Юноша-автор не пошел, значит, по торной дороге, не ограничился уголком темы, а взглянул на свою задачу широко и смело, как истинный гений. В этом приеме не было, пожалуй, сознательной философии—критической точки зрения, быть может, он явился невольно, подсказанный инстинктом, но ведь важность его нисколько от этого не уменьшается. Во-вторых, Белинский отнесся к литературе не только с любовью, но и с полной серьезностью. Литература для него, очевидно, огромное и важное дело, которое может наполнить всю жизнь человека, пробудить в нем лучшие его чувства, расширить до бесконечности его умственный горизонт. Здесь, в своей первой статье, Белинский не позволяет себе ни одной шутки. Он—весь восторг, весь—увлечение и весь—серьезность. А это и было нужно, чтобы положить начало истинной критике и литературному самосознанию. Шутников было всегда достаточно, а скоро они появились в обидном изобилии.

В парадоксальной мысли „Литературных мечтаний“—„и у нас нет литературы, а есть лишь великие художественные произведения“—скрывается однако почти несомненная истина. Что такое литература? Можно ответить на этот вопрос очень просто и коротко: *литература—это проявленное в написанном слове самосознание общества.* Самосознание бывает разное: историческое, политическое, художественное и, как разное, воплощается и в разных формах. Поэтому и отделов литературы очень много, но

когда мы употребляем слово литература,—мы понимаем их все сразу. Нечего и говорить, что всякому самосознанию присущи и критика окружающего, и исходящий из нее практический идеализм, т. е. желание чего-то лучшего и более совершенного. Такой литературы у нас действительно не было; были лишь намеки на нее, преимущественно в журналистике и именно в „Московском Телеграфе“ Полевого. Но „Московский Телеграф“ плачевно закончил свое существование, как раз в этом 1834 году, за рецензию на драму Кукольника „Рука Всевышнего“, Полевой както сразу сделался другим человеком, и, странно, вся тяжесть литературы, как общественного и художественного самосознания, упала на 24-летнего юношу, которого презрительно третировали недоучившимся студентом! Страшная тяжесть, но ведь и силы были огромные!

Прежде всего надо было выбрать из всей массы печатной бумаги то, что можно было бы назвать „литературой будущего“, о которой так восторженно говорилось в „Мечтаниях“. Белинский на первых же порах сделал это, поставил Пушкина рядом с Шекспиром и Гете, принявшись в следующей своей статье толковать Гоголя. Да, он сразу оценил этот великий талант, прозрел его славное будущее; это большая заслуга, хотя отчасти мы обязаны ею и кружку Станкевича.

„Гоголь был постоянно на глазах, устах Белинского; фразы и отдельные слова из его произведений вошли у друзей, и у Белинского особенно, в привычное употребление“... (Анненков). С каким восторгом он говорил о Гоголе еще в 1835 г., в первом разборе его повестей, это известно.

Имея перед глазами Пушкина и Гоголя, Белинский действительно мог смело смотреть на будущее русской литературы и сам, как представитель этого будущего, смело относиться к признанным авторитетам. Не мало их он развенчал, не мало и похоронил их, но поступать иначе он не мог, как призванный реформатор. „Литературные мечтания“ произвели большое впечатление—не в публике, разумеется, которая почти не читала „Молвы“, а упивалась преимущественно „Северной Пчелой“ и другими изделиями Греча с комп.,—а в кружках, так или иначе прикосновенных к литературе. „Одобряли прекрасный язык, удивлялись горячности, с какой написана статья, ее неподдельному увлечению, и в то же

время большинство негодовало“. Негодовали за то, что Ломоносов был об'явлен *не*-поэтом, Бенедиктов простым ритором—словом, прежде всего за смелость, с какою неизвестный автор нападает на общепризнанные авторитеты. Дело дошло до того, что Шевырев—тогда известный профессор,—прочтя относящиеся к нему страницы „Мечтаний“, затопал ногами и закричал: „как *смел* этот *писака* так судить обо мне? Особенно дерзкой казалась основная мысль статьи. Автор решительно и без обиняков заявил, что у нас на Руси нет никакой литературы и цитатой к первой главе выбрал известный афоризм барона Брамбеуса: „есть ли у нас хорошие книги?—Нет, у нас есть великие писатели.—Так, по крайней мере, у нас есть словесность? Напротив, у нас есть только книжная торговля“. Правда, в заключительных строках автор старался смягчить свой суровый приговор: „У нас нет литературы,—писал он,—я повторяю это с восторгом, с наслаждением, *ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов*“—но самое отсутствие логики в двух частях этой фразы, связанных между собою произвольным „*ибо*“ было очень подозрительно.

После долгих и тяжелых исканий, Белинский от всех своих абстракций пришел к социализму, к несколько утопическому, конечно, но единственно известному и возможному в те дни. Он был сен-симонистом, насколько успел ознакомиться с Сен-Симоном по произведениям Жорж-Занд. Он понял очень простую для нас, но совсем не простую для своего времени вещь, что человек прежде всего продукт окружающих его реальных обстоятельств жизни и изменяется вместе с ними. Не с человека надо начинать, а с обстоятельств. Поэтому он должен был признать огромное значение действительности и с обычным воодушевлением заявил, что действительность для него теперь все. Надо знать эту действительность для того, чтобы бороться с ней. И хороша только та литература, которая знакомит нас с этой действительностью. Отсюда - восторги Белинского перед натуральной (реальной) школой искусства.

Но, конечно, не этими восторгами, отдельными признаниями и отдельными отрицаниями определялось литературное значение Белинского; это значение лучше всего охарактеризовано человеком,

страстно любившим Белинского и страстно преклонявшимся перед ним—Ап. Григорьевым, и мне остается только привести его слова.

Было время,—начинает Ап. Григорьев,—что критика наша стояла во главе всего нашего развития, мы разумеем, конечно, критику литературную. Эта роль принадлежала критике в то время, когда в литературе совмещались для нас все серьезные духовные интересы,—когда критик, не переставая ни на минуту быть литературным критиком, в то же самое время был и публицистом,—когда его художественные идеалы не разрозднивались с идеалами общественными. Этим—кроме своего огромного таланта—был так силен Белинский; в его эпоху все другие убеждения, кроме его убеждений, и все другие взгляды, кроме его взгляда, не считались и не могли считаться благородными и современными убеждениями и взглядами. Кто не видел в Пушкине, Гоголе, Лермонтове того, что видел в них Белинский,—попадал неминуемо в число ограниченных, отсталых людей и мраколюбцев. И тогда это было совершенно нормально, потому что литература была тогда все для нас, и двух убеждений в отношении к высшим литературным явлениям быть не могло. Уровень единства литературного взгляда проводим был с беспощадною последовательностью, но, вероятно, ни у кого язык не повернется, даже и теперь, назвать эту беспощадную последовательность, этот деспотизм мысли—несправедливым. Идея изящного тесно сливалась тогда с идеями добра и правды, или, лучше сказать, идея правды и идея добра не имели возможности проявляться иначе, как через идею изящного.

Белинский был поставлен в такие же условия борьбы, как Лессинг. Пламенно толкуя Пушкина, пламенно выдвигая Лермонтова, пламенно ратоборствуя за Гоголя и т. д., он был в то же самое время главным общественным двигателем нашим и великим глашатаем истины. Весь умственно и нравственно пропитанный философскою системою, до наших времен еще не смененною никакою другою, он проводил ее в жизнь через орган литературной критики. Его противоречие и изменение мнений могли казаться противоречиями и изменениями мнений только людям действительно ограниченным в его эпоху. Для него самого, для его учеников, т.-е. для всех нас более или менее, это были моменты развития, моменты стремления к истине. Белинский стоял впереди умственного прогресса и смело вел вперед поколение. В высочай-

шей степени одаренный художественным пониманием, способный трепетать, как пифия, от всего прекрасного, переживавший с каждым великим явлением нравственного мира всю жизнь этого явления: чистую ли поэзию Пушкина, злую ли скорбь и иронию Лермонтова, карающий ли смех Гоголя, мучительную ли игру Мочалова и т. д., отзывавшийся на все с необыкновенной чуткостью, он, однако, как человек стремления и прогресса, не задумывался заменять явления явлениями, когда они казались ему ближе к истине, т.-е., по его верованию, ближе к последнему слову прогресса, чем другие. Своего рода террорист литературный, он приносил жертвы за жертвами, хотя, конечно, едва ли бы принес в жертву Пушкина и его значение в нашей жизни. Дело нравственного возбуждения, совершенное в лице его нашею критикою, было велико и благотворно по своим последствиям".

Это как нельзя более справедливо. Белинский был гораздо больше, чем литературный критик и больше, чем историк литературы: он был трибуном своего времени (да и позднейшего) в области его семейных и общественных отношений, его религии и нравственности, отчасти даже и политики. Роль его воистину была революционна, но не только в сторону разрушения, но и создания того нового строя, который, как мечта о правах личности и человека, о счастье всех, преследовал его в течение всей жизни и особенно настойчиво, особенно определенно в первый и последний периоды его деятельности.

Он был революционером в литературе и по самому факту своего происхождения, как разночинец. Не первый по времени, конечно, но первый по своему значению, твердо и раз навсегда установивший литературные права разночинцев вообще. И разночинец ясно виден в нем, и в деле сокрушения авторитетов, и в страстной ненависти к барствовавшему славянофильству, и в той узкой даже практичности, к которой он пришел после долгих и мучительных исканий. Своим талантом и своим нравственным величием он безгранично раздвинул права человека в литературе, где, как это ни странно, в его время все еще упорно держались сословные предрассудки, так как литература считалась делом (или времяпрепровождением) барским, и на всякого, кто пришел со стороны, очень и очень косились, как на армейца. Стоит только припомнить отношение литературной аристократии к Полевому,

или тот факт, что Пушкин хотел переслать первый № своего „Современника" Белинскому так, *чтобы никто, никто не знал об этом,* боясь mésalliançʼa. Но Белинского признала, по крайней мере, молодежь, хотя все же настоящей своей оценки он дождался лишь в эпоху полного торжества разночинцев—в 60-е годы. Собственно говоря, в литературе 60-е годы начались со статей о Белинском и с воспоминаний о нем. Здесь-то он и был поставлен на настоящую свою высоту, здесь он был признан не как проникновенный эстетик, что было лишь частью его, а тем, чем был в действительности—истинным борцом за права *человека.*

Понятна теперь вся страстность и непримиримость его западничества, так как, если уже барину Чаадаеву пришлось жаловаться, что у него, несмотря на столько-то портретов предков и записи в такие-то книги, никаких корней в русской жизни нет,—если русская литература только и делала, что занималась лишними людьми, не чувствовавшими под ногами почвы—то какие же корни, какая же почва могли быть у разночинца Белинского? *Назад* ничто и никогда не тянуло его, *теперь*—ничто не привязывало, привязывало лишь будущее родины, но *будущее,* не как повторение вчера и сегодня, а как новое, под влиянием Запада выработанное,—то новое, что обеспечивало бы личности полноту ее свободы, а обществу полноту его благосостояния и самодеятельности.

Мужик в русской литературе. Последние статьи Белинского были посвящены горячей защите натуральной школы, — школы, созданной Гоголем, которая понимала искусство, как воспроизведение в типах—действительности во всей ее истине с точки зрения общественного идеала самого автора. Своими типами литература должна была разʼяснять разум явлений, т.-е. смысл и содержание жизни, и быть руководительницей человека в его познании окружающего. Белинский разночинец, Белинский, в котором, в конце концов, так властно заговорили практические действенные стремления,—страстно увлекся таким вот искусством, видя в нем выход из бесцельного существования литературы. Им все больше овладевало желание воздействия на жизнь, но, очевидно, чтобы воздействовать, надо знать и знать именно самую жизнь во всей ее глубине. Но о чем же могло говорить это знание жизни?

О пошлости окружающего? о преступно-ничтожном содержании человеческих стремлений, т.-е. о всем том, о чем твердили Гоголь, Грибоедов, Лермонтов? Да, об этом, но к концу сороковых годов воспроизведение действительности, все углубляясь, дошло наконец до истинной подпочвы—до крепостного мужика и его ужасного бесправного состояния.

Слово было найдено, и у литературы явилось знамя. Это слово, говорю я, был мужик. Это знамя—жаление мужика, печаль о нем.

Беспокойные томительные искания литературы закончились. Она вышла на свою настоящую дорогу и нашла свое настоящее дело. И в сущности все давным-давно, уже со времени Радищева, вело к этому, все кричало о нем, все указывало здесь единственный выход. Весь идеализм 30-х и сороковых годов, все увлечение западной философией и западным искусством должно же было вылиться в определенную форму. Тут и мечты о нравственном самоусовершенствовании, и увлечение социалистическими утопиями, и влияние народолюбивой Жорж-Занд—все сошлось в том, чтобы указать русскому лишнему, беспочвенному человеку его настоящее дело.

С 1847 года мужик становится властителем дум. И в этом, повторяю, нет ничего странного. Русское самосознание доросло теперь до понимания, что в основе всех бед, всей этой бесцельности жизни лежит бесправное состояние народной массы и существование на чужой кабальный труд... Но это было не просто сознанием. Это было чем-то бо́льшим, что в конце-концов захватило всего человека и прежде всего его совесть, властный и настойчивый голос которой я отмечал уже раньше у тех и других представителей литературы.

О народе много говорили уже славянофилы. Лучшие из них возмущались крепостным состоянием. Но странно, это возмущение сопровождалось всегда такой массой восхищения перед нравственными качествами и достоинствами закабаленного народа, что никакого влияния на русскую мысль оно оказать не могло.

Но вот заговорили западники, т.-е. люди, наиболее подчинившиеся влиянию демократических европейских идей, — заговорил Григорович своей „Деревней“ и „Антоном Горемыкой“, заговорил Герцен своей „Сорокой-Воровкой“, Тургенев — „Записками Охотника“, Белинский своими статьями о натуральной школе,—и вме-

сто „восхищения“ выделился во всем ужасе своем факт, поражавший еще Радищева,—тот, что человек с человеком может делать все, что ему угодно, что у миллионов людей отнята личность и всякая тень права, что существует русская деревня, не как местопребывание пейзанов, не как хранительница принципов русского духа, а как тюрьма и каторга, где

Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества губительный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея.
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея.
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собою множить
Дворовые толпы измученных рабов.

И вот этот-то закабаленный мужик воззвал теперь к разуму и совести русского человека и русской литературы...

Прежде было проще: в народе видели, главным образом, простонародье, (так его понимали и беллетристы, и драматурги, и историки, и сам Пушкин), нечто стадное, само по себе склонное к буйству и неистовству, но великолепно покорное при наличности хороших руководителей. И все было ясно и понятно. По миросозерцанию всех плававших и неистовствовавших на поверхности жизни человеков, народ находился там где-то, внизу, чуть-чуть не в преисподней, молчал и работал, работал и молчал, распахивая десятину за десятиной, выкорчевывая леса муромские и брянские, размножаясь с быстротой низшего организма, пестуя русское государство и русскую культуру и без задержки уплачивая все протори и убытки истории. Хорошо, должно быть, жилось ему в обществе леших, домовых, русалок, и он обыкновенно

оставался за сценой. Но случалось, что его выводили напоказ, как бы в доказательство того, что он действительно существует, что он — не миф какой-нибудь, не мечта, а нечто осязаемое и обоняемое, „волнующееся, как море, способное кричать, бежать, двигаться“. „Идем, братцы, бежим братцы!“ вдохновенно восклицала какая-нибудь борода, и „русский“ народ точно спросонок, не прозевавшись хорошенько и не протерев слипшихся глаз, шел и бежал, по дороге выбрасывал какого-нибудь „вора“ из окна, давил кого-нибудь, а добежавши до площади, сначала вопиял „ура“, а потом падал на колени. Не прелесть ли это на самом деле? И подобные картины не возбуждали ни в ком сомнения и представлялись совершенно правдоподобными не только Сумарокову, Озерову, Кукольнику, Полевому—но и историографу Карамзину, и славянофилу Аксакову, и самому Пушкину, у которого в „Борисе Годунове“ народ только и знает итти и бежать.

Но, начиная с конца 40-ых годов, народ—это прежде всего серая, закабаленная крестьянская масса, стонущая от всякой жизненной неправды. В таком виде он впервые появился в интеллигентной литературе у Григоровича, грязный, обтрепанный, в рваном зипунишке, которого обижают и обижают все. Прославленная повесть Григоровича „Антон Горемыка“ (1847 г.), в сущности говоря, совсем даже не художественное, а лубочное произведение, сразу же возбудившее к себе сердечное отвращение людей, обладавших эстетическим развитием, напр., В. П. Боткина. В ней все делано, искусственно, грубо, аляповато, и действительная правда жизни выставлена в ней так неумело, что даже и не верится правде этой правды. Схема русской трагедии та именно, что человек, раз „споткнувшись“, раз перенеся известное несчастие или потерю, не только не имеет силы более встать, но, напротив, случайно и против своей воли, путем сцепления чорт знает каких обстоятельств, доходит до преступления, полной гибели и Сибири, — намечена совершенно верно: у Антона украли лошадь и Антона же отправили по владимирскому тракту,—но от этой „верности“ до художественности, повторяю, очень далеко. Однако, повесть произвела поистине громадное впечатление. По нелицеприятному свидетельству Щедрина, она была и „живым лучом“, и „свежим глотком воздуха“. Белинский писал о ней Боткину: „Вероятно ты уже получил 11-й № Современника. Там по-

весть Григоровича („Антон Горемыка“), которая измучила меня; читая ее, я все думал, что присутствую при экзекуциях. Страшно! Вот поди ты!.. Цензура чуть ее не прихлопнула; конец переделан— выкинута сцена разбоя, в которой Антон участвует“. И далее: „Я знаю, что сужу в односторонности, но не хочу выходить из нее и жалею, и болею о тех, кто не сидит в ней. Вот почему в Антоне я не заметил длиннот, или, лучше сказать, упивался длиннотами... Боже мой! Какое изучение русского простонародья в подробных до мелочности описаниях ярмарки... Но перечитывать Антона я не буду, хотя всегда перечитываю по несколько раз всякую русскую повесть, которая мне понравится. Ни одна русская повесть не производила на меня такого страшного, гнетущего, мучительного, удушающего впечатления: читая ее, мне казалось, что я в конюшне, где благонамеренный помещик порет и истязует целую вотчину—законное наследие его благородных предков“...

Белинский, проникновенная проницательность которого в этом случае выразилась по-моему гораздо ярче, чем, скажем, в признании величия Гоголя, перед которым и раньше уже преклонялся весь кружок Станкевича, отрицая художественность в „Антоне Горемыке“, видел, однако, в этой повести „дело — произведение, способное возбуждать вопросы и производить нравственное впечатление на общество“. Для него в то время это было дороже всего. Повесть на самом деле была историческим моментом в развитии русской литературы и сыграла историческую роль.

Д. Григорович сказал то слово, которое было на языке у всех, и которого почему-то никто не решался высказать: — слово это было *мужик*, самый обыкновенный сермяжный мужик, не мужик— пастушок начала века и бесчисленных „Песенников“, не мужик орало и скоморох патриотических драм и комедий, а мужик серых буден, обыденной жизни, обыденных, но тяжелых страданий. Слово было найдено, и мужик воцарился в литературе. Белинский защищал его вторжение всеми силами своего таланта.

„Что за охота наводнять литературу мужиками?“ восклицают аристократы известного разряда,—писал он. — В их глазах писатель—ремесленник, которому, как что закажут, так он и делает. Им в голову не входит, что, в отношении к выбору предметов сочинения, писатель не может руководствоваться ни чуждой ему

волей, ни даже собственным произволом; ибо искусство имеет свои законы, без уважения которых нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требует, чтобы писатель был верен собственной натуре, своему таланту, своей фантазии. А чем об'яснить, что один любит изображать предметы веселые, другой—мрачные: если не натурой, характером и талантом поэта? Кто что любит, чем интересуется, то и знает лучше, а что лучше знает, то лучше изображает. Вот самое законное оправдание поэта, которого упрекают за выбор предметов; оно не удовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслят в искусстве и грубо смешивают его с ремеслом. Природа вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе—человек. А разве мужик не человек? Но что же может быт интересного в грубом, необразованном человеке?—Как что?—его душа, ум, сердце, страсти, склонности—словом, все то же, что и в образованном человеке. Положим, последний выше первого; но разве ботанист интересуется только садовыми, улучшенными искусством растениями, презирая их полевые, дико-растущие первообразы? Разве для анатома и физиолога организм дикого австралийца не так же интересен, как и организм просвещенного европейца? На каком же основании искусство в этом отношении должно так разниться от науки? А потом—вы говорите, что образованный человек выше необразованного. С этим нельзя не согласиться с вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой светский человек несравненно выше мужика, но в каком отношении? Только в светском образовании, а это нисколько не помещает иному мужику быть выше его, например, со стороны ума, чувства, характера. Образование только *развивает* нравственные силы человека, но не дает их: дает их человеку природа. И в этой раздаче драгоценнейших даров своих она действует слепо, не разбирая сословий... Если из образованных классов общества выходит больше замечательных людей, это потому, что тут больше средств к развитию, а совсем не потому, что природа была для людей низших классов скупее в раздаче даров своих. „Чему можно научиться из книги, в которой описывается какой-нибудь спившийся с кругу горемыка?“ — говорят еще эти аристократы средней руки. Как чему?—разумеется, не светскому обращению и не хорошему тону, а знанию человека в известном положении. Один спивается от лености, от дурного

воспитания, от слабости характера; другой от несчастных обстоятельств жизни, в которых он, может быть, нисколько не виноват“.

В сущности, впрочем, нечего было и защищать. В обществе ведь всегда есть, да и не может не быть предчувствия близкого будущего, а это будущее скоро, всего через какие-нибудь десять лет пошло по одному руслу и вылилось в одном — в „эмансипации“ мужика.

В предчувствии этом нет ничего таинственного, мистического. Оно доказывает только, что всякий факт жизни, всякая ее перемена, прежде чем быть сознанными и получить название революции или реформы, уже произошли в материальной, стихийной обстановке, и люди чувствуют их, хотя и не понимают.

На помощь нашему интеллигенту пришел мужик и перевернул всю нашу психологию. Так сказать, из небытия мысли,—хотя и огромной жажды ее, — мы вступили на твердую почву, на целые десятилетия определившую наше настроение и нашу работу. Тут есть за что, тут можно и должно сказать спасибо нашей деревне, послужившей превосходной школой нашей мысли.

Растерзанной фигуре Антона Горемыки русская литература положительно должна была бы воздвигнуть памятник. Ее духом, ее содержанием она жила почти полвека — правда, содержанием расширенным и углубленным, но в сущности тем же самым. Здесь заключалась целая программа, здесь был дан лозунг—один из тех лозунгов, которые являются в десятилетия, и второстепенное литературное произведение сыграло первую историко-литературную роль. После него можно было написать о чем угодно и сочинять что угодно, но тот писатель, который так или иначе не выяснил своего отношения к мужику, к народу, не мог уже рассчитывать на продолжительное общественное внимание; на него смотрели только, как на забавника, его читали только для развлечения, к нему не относились серьезно. „Мужик“ и мужицкий вопрос стали воистину нравственной цензурой—строгой, непреклонной, подчас неумолимой, избежать которой не было никакой возможности. Было признано и все согласились, что это „самое важное“. Сотни и тысячи произведений посвящались „самому важному“; оно создавало репутации и уничтожало их; оно подчинило себе эстетику, оно стало душою критики, мало того — у Толстого оно вылилось

в целую философски-религиозную систему. Как превосходно предчувствовал это Белинский, когда писал Боткину: „Будь повесть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное, сколько-нибудь *дельна*—я не читаю, а пожираю... Ты сибарит, сластена... тебе, вишь, давай поэзии да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мне поэзии и художественности нужно не больше, как настолько, чтобы повесть была истинна, т.-е. не впадала в шарж и аллегорию или не отзывалась диссертациею. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление. Если она достигает этой цели, и вовсе без поэзии и творчества — она для меня тем не менее интересна"... (Письмо начала 1848 г.).

Несомненно, что, благодаря мужику или, лучше сказать, мужицкому вопросу, ясно и широко сознанному лишь в конце сороковых годов, мы перестали быть „странниками"; появилась действительная „сфера определенного существования", нечто такое, что „привязывало, что пробуждало наше сочувствие, наше расположение и нравственное сочувствие"—появилась „почва мышления и жизни"... Мужик выручал не раз, надо сознаться; и есть что-то положительно трогательное в этом настойчивом появлении мужика, в той молчаливой опеке, в которой он держал нравственность не только отдельных людей, но и целых исторических эпох.

Отношение к Антонам было сначала покровительственно-сантиментальное, отчасти даже слезливое. Чисто барская эпоха и не могла выработать другого. В Антонах видели людей, но что нужно этим людям, на что они способны, что они представляют из себя, кроме некоторого вместилища страдания, этого в сущности не знали. Материал был ничтожен, случаен, и одна поэзия Кольцова глубоко заглядывала в мужицкую душу. Но любопытно, что к этой поэзии даже Белинский отнесся прежде всего, как эстетический критик, и только Майков взглянул на дело пошире и написал несколько блестящих страниц о значении „экономических условий в крестьянской жизни" и о возможности подвергать экономические темы поэтической обработке. Но теперь литература почти исключительно задалась целью возбудить сострадание к мужику и заставить видеть в нем человека с плотью и кровью, жаждой своб ды и развития.

Д. В. Григорович (1822—1900). „Григорович,—писал Белинский в 48-м году, посвятил свой талант исключительно изображению жизни низших классов народа. В его таланте много аналогии с талантом Даля. Он также постоянно держится на почве хорошо известной и изученной им действительности, но его два последних опыта—„Деревня“ и в особенности „Антон Горемыка“,—идут гораздо дальше физиологических очерков. „Антон Горемыка“—больше чем повесть: это роман, в котором все верно основной идее, все относится к ней, завязка и развязка свободно выходят из самой сущности дела. Несмотря на то, что внешняя сторона рассказа вся вертится на пропаже мужицкой лошаденки, несмотря на то, что Антон—мужик простой, вовсе не из бойких и хитрых, он лицо трагическое в полном значении этого слова. Эта повесть трогательная, по прочтении которой в голову невольно теснятся мысли грустные и важные. Желаем от всей души, чтобы Григорович продолжал итти по этой дороге, на которой от его таланта можно ожидать так многого... И пусть он не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для верного определения об'ема таланта: чем большая их стая бежит вслед успеха, тем, значит, успех огромнее“...

Своей „Деревней“ и „Антоном Горемыкой“ Григорович попал в первые ряды литературы. На известной фотографии он снят рядом с Тургеневым, Толстым, Островским. По его значению и влиянию здесь ему неоспоримое место, хотя, конечно, не по силе художественного творчества.

Он был человеком сороковых годов. Этим сказано не все, а многое, потому что эпоха была такова, что налагала неизгладимый отпечаток на каждого, кто принадлежал к ее высшим интеллигентным слоям. Несомненно, чем-то красивым и свежим, чем-то молодым и барски щедрым, барски самонадеянным веет оттуда. То была героическая эпоха нашей мысли, рыцарский период ее истории. Кто провел в ее атмосфере свою юность, тот к воспоминаниям о ней, или лучше о ее литературе, сохранил какое-то восторженное, пожалуй, коленопреклоненное отношение. Щедрин сравнивает эту литературу со сказочной царевной, которая, заключенная в неприступном чертоге, дремала, окутанная сновидениями. И хороши были эти сонные грезы о правде, добре, истине и справедливости человеческих отношений.

Григорович примкнул к общему настроению, подчиняясь скорее его стихийности, чем влечению своей натуры. Мало того, ему удалось создать главный его „момент". Он первый заговорил о жалости и сострадании к мужику, первый в ярких красках обрисовал его несчастное положение и, таким образом, положил основание нашему народничеству. Его „Деревня" и „Антон Горемыка" (обе вещи в 1847 г.) сыграли серьезную историческую роль, потому, конечно, что ими была дана конкретная форма идеализму 40-х годов, который с той поры и стал постепенно спускаться с туманных высот на землю. Тут был найден выход для чувства, для одушевления.

Это было несколько неожиданно для самого Григоровича.

Деревни он, конечно, не знал, в чем и сам охотнейшим образом признавался, да и кто знал ее в то время? Кто и теперь ее знает? Не в том суть, а в том, что он первый сказал громко и выразительно: „Бедное, загнанное и забитое существо этот мужик, и его жалеть надо". И стало это слово потрясать сердца. Конечно, через пятьдесят лет кажется странным огромное влияние такого слова, влияние чисто историческое, и невольно спрашиваешь себя: да неужели же раньше никто до этого не додумался? Додумался— это так, напр., Радищев,—но великая это вещь, во-время повторить даже самое простое слово. А его-то Григорович как раз во-время и повторил.

Григорович вообще представляется мне натурой прежде всего артистической. Он был эстетиком и любил красоту во всех ее видах. Даже в жалости к мужику он видел прежде всего ее красивую и поэтическую сторону. Да и он сам весь был красив красотою хорошего старо-барского типа—спокойный, уравновешенный, знаток изящного, доверчивый и щедрый в своем неглубоком, но ласковом внимании даже к незнакомым людям. Он обладал талантом общительности, и это в высокой степени, быть может, потому, что никогда особенно пристально не всматривался в людей и не требовал от них большего, чем они могут дать по самому существу своей натуры. Он был очень мил и легко сходился с людьми самых различных положений, но предпочитал высшие слои, куда влекли его изящные вкусы...

В начале 60-х годов он как бы рассорился с литературой и не брался за перо около 25 лет; быть может, ему были не по

натуре и резкость демократического движения, и чисто практические цели его главарей. Формула „мужика жалеть надо и проливать слезы над его грустной участью“ как-то сузилась в эту эпоху, переродилась в программы, налагала обязательства и лишилась своей поэтической и потому, для Григоровича, симпатичной окраски. Да и не в жалости только была уже главная сила. В жизни происходило что-то другое, происходила *борьба*. Григорович отшатнулся.

Впрочем, я не думаю, чтобы ссора с литературой слишком дорого ему стоила. Ведь это не Тургенев, который десятки раз проклинал писательство, а как только хандра и обида проходили, сейчас же опять брался за перо. Это не Тургенев и не Толстой, это—Григорович. Никогда действительным литератором, в том смысле, как понимали эти слова его современники—Белинский, Герцен, Толстой, Достоевский, Тургенев, Некрасов—он не был: он только занимался литературой, как одним из изящных искусств, стал писать потому, что в его кружке писали решительно все, и все решительно верили, что писательство—самое большое из искусств. Одинаково, если не больше, тянуло его к живописи, но все его попытки в этом направлении оказались неудачными.

Как натура художественная и артистическая, он был, конечно, дилетантом. Изящное и красивое он любил во всех проявлениях, так как для него они были ценны и дороги сами по себе, без всякого отношения к задачам и целям общественной жизни. Передают, что главный его талант заключался в уменьи разговаривать. Он говорил без всякого принуждения, удивительно просто и красиво, вполне уверенный, что людям, слушающим его, интересно каждое слово, что и было в действительности,—говорил обо всем, преимущественно о своих заграничных путешествиях и художественных музеях, которые он осматривал,—говорил барским бархатным тоном, без резкой горячности, но с очевидным увлечением и удовольствием. Говорил он, в сущности, один, но каким-то образом умел придавать своим речам вид беседы. Слушать его можно было целые часы без всякого утомления. Это тоже один из „героев слова“.

И. С. Тургенев (1818—1883). Корни тургеневского вдохновения находятся в эпохе крепостных отношений. Из нее, из этой обстановки извлек он свои мастерские художественные образы и руководящие чувства своей жизни. Он стал западником прежде всего из отрицания крепостничества, из ненависти к родному лицемерному рабству, а когда он творил, дореформенная Россия наполняла его воспоминания, возбуждая то ненависть, то поэтическую созерцательную меланхолию, которую мы все испытываем на кладбище или при виде покойника. На самом деле что-то грустное проникает все произведения Тургенева, какая-то темная тень легла на все, что вышло из-под его пера. „Дворянское гнездо“ — вероятно, самая грустная повесть новейшей русской литературы. Но неужели эта грусть, тоска и меланхолия—результат сожаления о том, что прошло и прошло невозвратно? После фактов, известных нам из биографии, на этот вопрос может быть только один, безусловно отрицательный, ответ. Тургенев грустит не как гражданин, а как художник: ведь в той обстановке, какова бы она ни была, прошли его детство и юность, ведь там осталось много хороших воспоминаний сердца, ведь там он нашел материал для своих чудных женских образов—Веры („Фауст“), Лизы („Дворянское гнездо“), Наташи („Рудин“), идеалиста Пунина, честного и доброго Николая Петровича Кирсанова, родителей Базарова, Фомушки и Фимушки („Новь“) и многих других им подобных, к которым и мы не можем не отнестись иначе, как с глубоким уважением и даже любовью... Безобразны были крепостные отношения, эти писанные и неписанные статьи, отдавшие человека в безусловную власть ему подобного,—но не люди, такие же, как и мы, иногда лучшие, чем мы. Припомните пушкинскую няню Арину, дворового из Спасского, восторгавшегося Херасковым, основательного, умного Хоря, поэта Калиныча, долговязую фигуру сурового охотника Ермолая с его детски-чистым, чутким сердцем, а главное, припомните тургеневских женщин и девушек, особенно девушек, и поэтическая эмоция коснется и вас. Вы не дадите ей всецело овладеть вами, не станете восторгаться верными холопами и верными рабами,—мрачный образ Салтычихи или Варвары Петровны Тургеневой немедленно же восстанет перед вами и отравит ваше сердце,—вы поймете, что, как ни хороши те исчезнувшие люди, на каждом из них крепостные отношения наложили

вою печать, неистребимую, с нашей точки зрения позорную. Вер-ым холопам и рабам вы пожелаете больше чувства собственно-о достоинства, другим, как Лизе,—большего простора для мысли, ля прав своей личности,—и все же сердце ваше будет задето. 'ем сильнее такие типы должны были задевать сердце художни-а. Вызывая их, он стоял как бы на кладбище, под холодными литами которого похоронено столько жестокого, безобразного, только доброго, честного, высокого, а вместе с ними—его собствен-ое детство, его собственная юность и ее мечты.

К новой, начавшейся после 61-го года, жизни Тургенев мог тноситься с симпатией, интересом, но она уже не захватывала ак всецело его сердце, как дореформенная Русь. Он не понимал ногого и не мог понять многого. Его художественное творчество остоянно обращалось туда, к старым дворянским гнездам, к ал-еям густолиственных кленов, где полная красоты и печали сто-ла „она“, вся сотканная из лунных лучей, из чистых влечений этского искреннего сердца... Лиза или Вера. Действие большин-тва его романов происходит в эпоху крепостного права, к ней е относятся и лучшие его рассказы. Верный преданиям юности, н любит прежде всего идеалистов сороковых годов с их благо-одными порывами, их надломленной волей. Только их в сущно-ти он и изображает. Он придал Базарову рудинские черты, он елал из Нежданова лишнего, хотя и благородного человека.

„Я творю, когда гуляю по кладбищу своего сердца“—сказал ейне, и эту фразу Тургенев с полным правом мог применить к ьмому себе. Мы знаем, какие могилы были на кладбище его серд-а: там покоились Станкевич и Белинский, покоились старые зорянские гнезда... Тургенев видел исчезновение этих гнезд, ви-ел, как вековые дубы срубались на дрова, как зарастали сады парки всякими плевелами, как покрывались плесенью стены ста-ых домов, из окон которых выглядывало когда-то грустное личико изы. Он мог радоваться, видя, как падают и разрушаются сте-ы тюрем, но какая же радость может быть на могиле своего эстного товарища по заключению... Он творил, когда гулял по ладбищу своего сердца. Что могла сказать ему новая, начинав-аяся при нем жизнь? Он был связан с нею головой, но не серд-эм, он признавал, что она полезна, нужна, хороша—он этим сполнил долг гражданина, но герои, „Что делать?“—не его ге-

рои. Он, несомненно, имел в виду идеалистов сороковых годов, когда пытался создать своего Нежданова или писал следующие строки в одном из писем по поводу 60-х годов:

„Теперь—говорит он—не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума—ничего крупного, выдающегося слишком, индивидуального, нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже жизненной работы—я беру слово „жизненный" в смысле простоты, беспристрастности... Чувство долга, славное чувство патриотизма в истинном смысле этого слова—вот все, что нужно... Мы вступаем в эпоху только полезных людей... и это будут лучшие люди. Их, вероятно, будет много; красивых, пленительных—очень мало".

А ему нужны были красивые и пленительные Рудины, Шубины, Станкевичи, понимавшие красоту, преклонявшиеся перед искусством. В среде „только полезных людей" барин Тургенев чувствовал себя не дома.

Это один из источников его меланхолии, другой—наследственность. Он был баричем с головы до ног, баричем старого времени, с привычками широкой жизни, добродушный, недеятельный... „У Ивана Сергеевича,—вспоминает Вогюэ—рука была щедра и открыта, как и сердце его. Он без разбора жертвовал всем неимущим: достаточно было носить имя русского, чтобы быть принятым в его доме, чтобы найти его кошелек открытым и слышать из его уст ласковое слово". В нем не было ни мелочной расчетливости, ни мелочной зависти, созданных конкуренцией и слишком обострившимися отношениями наших дней. Свободно уступал он первое место Толстому, свободно признавал он юные таланты, например, Гаршина.

Лучшие черты старого барства, несомненно, воплотились в его скромной, представительной, внушавшей невольное уважение, фигуре.

Ригористом и доктринером он не был и не мог быть по самым условиям своих жизненных впечатлений, по устройству своего ума, склонного к скептицизму, по слабости воли, наконец. Однажды он так формулировал свое миросозерцание: „Я преимущественно реалист и более всего интересуюсь живою правдою людской физиономии, ко всему сверх-естественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты и системы не верю, люблю больше всего

свободу, и, сколько могу судить, доступен поэзии. Все человеческое мне дорого, славянофильство мне чуждо, как и всякая ортодоксия. Больше ничего не имею доложить вам о себе"...

Он был мнителен и склонен к меланхолии. Стоит припомнить, как по-детски боялся он холеры и убегал за тысячи верст при первом же слухе о ее приближении. Он сам признался, что мужество—не его добродетель. В письмах своих он постоянно жалуется на все—на болезни, старость, нужду. Его излюбленная фраза: „Я человек конченный". Он любил славу, горячо дорожил ею, но никогда не мог поверить в нее вполне. Ему постоянно казалось, что публика его не любит, молодежь презирает, что его повести и рассказы проваливаются с треском. Сколько раз сообщает он о своем непременном желании бросить литературу „и уже навсегда", хотя сам, вероятно, понимал, что это для него совершенно невозможно, так же органически невозможно, как не пить и не есть. Однажды судьба подвергла его жестокому испытанию и несомненно, что он не сумел перенести его, не сумел встретиться лицом к лицу с бурей и непогодой. Это было в 60-е годы, во время литературной истории с „Отцами и детьми". Тургенев обиделся, загрустил, не писал несколько лет, жаловался на свою судьбу, поторопился подписать себе приговор, хотя решительно никакой надобности в этом не чувствовалось. Он поступил, как избалованный, капризный ребенок—большой ребенок, ребенок-гигант, но все же ребенок. Он дал полный простор своей меланхолии, создал свое знаменитое „Довольно"—эту лучшую по картинности песнь нашей славянской тоски, славянского пессимизма... А ведь недоразумение должно было рассеяться рано или поздно. И это чувствовалось уже в самом начале. Часть молодежи была на стороне Тургенева, Писарев прямо провозгласил Базарова героем. Но, следуя приему всех слабых людей, наш великий писатель, чтобы найти какое-нибудь утешение, вообразил свою неудачу полной и безусловной. Раз все кончено—и жалеть больше не о чем.

Натура созерцательная по преимуществу, Тургенев не был ни общественным, ни политическим деятелем. Это прежде всего поэт, художник, мечтатель, которого неотразимо тянуло к себе творчество. Он любил писать, любил страстно, хотя принимался за работу с трудом и даже отчаянием. Он весь вылился в своем языке,

своем стиле, как Толстой в своем. Его музыкальные фразы, граненые периоды, аристократическая сдержанность выражений, уменье вызвать настроение по преимуществу меланхолическое одним построением слов, их созвучием—все это делает из него первоклассного писателя и в то же время позволяет нам заглянуть в его душу. В каждого из своих героев он вложил частицу собственного духа, и посмотрите, какие это люди—мягкие, нежные, красивые, настоящие женщины—без дерзости духа, без гордости, даже без жестокости—кроме разве одного, да и то совершенно неудавшегося, Инсарова из „Накануне". И сам Тургенев относится к ним с таким же вниманием, такой же предупредительной ласковостью, как будто все они, без исключения, действительно женщины. Совершенно справедливо назвали его поэтом лишних людей, этих героев слова, этих мужчин с красивою женской душой. Одного взгляда на этих героев достаточно, чтобы сказать, что они не сделают ничего, что ни к какой упрямой борьбе они не способны, что всякое усилие глубоко претит их вялой натуре, их выхоленным рукам—красоту которых сам Тургенев отмечает постоянно—и выхоленным сердцам, где таится все честное, хорошее, благородное, но переливается не в работу—тем более в черную упрямую работу 60-х годов,—а в слезы умиления, в восторги слова, в художественные образы. Они способны лишь на красивые порывы, как Рудин, умирающий под звуки марсельезы, а больше всего на тихую созерцательную грусть, как Лаврецкий, как сам Тургенев. Даже про сурового на вид Базарова вы, послушав его разговор на сене с Аркадием, принуждены будете сказать то же самое. И все они родные братья Тургенева по духу; оттого он так любит их, так ласково относится к ним и тратит весь свой изумительный художественный талант на описание тонких изгибов их души.

В другое время и в другой обстановке он непременно увлекся бы в сторону отчаяния, быть может, даже мистицизма. Его любимым писателем был Шопенгауэр, сам он всю жизнь не мог отделаться от тоски и грусти, под старость он создал свои „Стихотворения в прозе"... Любовь, красота, искусство—все, чему он служил, во имя чего жил и работал,—все это то и дело представлялось ему ненужным, пустым, тленным. Но он крепко держал себя в руках, и мы знаем—почему.

Мнительный и склонный к меланхолии по наследству, с широкими, размашистыми, иногда обломовскими привычками, Тургенев однако так долго и часто подвергался влиянию европейской дисциплинированной культурой жизни, что выработал в себе и стойкость и веротерпимость западного образованного человека. Холопская формула, „либо в зубы, либо в ручку пожалуйте“, не менее холопская привычка падать собственной своей физиономией в грязь, для выражения собственного своего восторга—претили ему до тошноты. Чувство собственного достоинства и чувство меры были для него не пустыми словами и как для художника, и как человека. В роли пророка и Мессии, так привлекавшей Гоголя, Достоевского, а теперь привлекающей Толстого, он не выступал никогда и добродушно подсмеивался над пророками и мессиями.

Скептик по натуре, проникнутый сознанием бесконечной сложности человеческой жизни, он не мог бы никогда сказать, что „я—истина“, а все остальное чепуха. Он ценил в человеке прежде всего его свободу, его критические способности, а не всероссийскую наклонность „итти и бежать“ куда прикажете—в исповедальню Достоевского или в интеллигентную колонию. Всякая ортодоксия была ненавистна ему, и наклонность к ортодоксии он порицал чаще и резче всего—по-моему, слишком даже резко. Припомните его резкие выходки против „идола“ Губарева или секты матреновцев, т.-е. последователей взбалмошной бабы Матрены Савишны („Дым“); справедливо замечено, что русский человек—сектант по преимуществу, что ему необходимо восторгаться или плевать, иначе никак невозможно. Против этого узкого, сектантского духа и направлены все резкие выходки Потугина в „Дыме“. „Нам во всем и всюду нужен барин,—говорит Потугин,—барином этим бывает большею частью живой суб'ект; иногда какое-нибудь, так называемое, направление над нами власть возымеет: теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу... Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу—это дело темное, такая уж, видно, наша натура. Но главное, чтобы у нас был барин. Ну вот он и есть у нас, это значит наш, а на все остальное—наплевать. Чисто холопы! и гордость холопская, и холопское угождение... Новый барин народился—старый долой. То был Яков, а теперь Сидор: в ухо Якову, в ноги Сидору... Кто палку взял тот и капрал“...

Что в этих словах много верного, это несомненно, только не совсем верно они сказаны. В силу каких резонов записываемся мы в кабалу—знать можно, и натура наша тут не при чем. Все же это искание, это вера какая ни на есть, и куда она выше пустопорожней погони за лишним рублем...

Но это между прочим.

Европейски дисциплинированной натуре Тургенева претило наше холопство, как претило и наше самодовольство. Он слишком ясно видел и знал превосходство европейской культуры над нашей, чтобы колебаться в выборе пути, по которому следует итти. Надо перенимать, но как? „Кто же вас,—спрашивает он,—заставляет перенимать зря? Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому что оно вам пригодно, стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатов,—так вы не извольте беспокоиться: своеобразность в них будет в силу этих местных, климатических и прочих условий.. Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудок переварит ее по-своему, и современем, когда организм окрепнет, он даст свой сок... Весь вопрос в том, крепка ли натура? а наша натура—ничего, выдержит: не в таких была переделках. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные больные да слабые народы, точно так же как восторгаться с пеной у рта тому, что мы—русские, способны одни вздорные люди“.

В этом пункте не согласиться с Тургеневым, как кажется, совершенно невозможно. Наша культура все более сближается с западно-европейской, сближается не по дням, а по часам, с каждым новым торговым трактом, каждой новой переведенной статьей, каждой построенной фабрикой. Мы так далеко зашли по пути европейского просвещения и европейских экономических отношений, что если бы от Вержболова до границы, а от границы вдоль Карпат до устья Дуная воздвигнуть Гималайский хребет, нам все же бы пришлось итти тою же дорогой, как европейцы. Перенимать—выгоднее, экономнее, благоразумнее, да и безопаснее... особенно когда „перенимается“, хотим ли мы того или не хотим.

Но, спешу оговориться, западнические убеждения нисколько не мешали Тургеневу любить Россию. Вместе с Потугиным он мог бы сказать: я люблю и ненавижу Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину.

Если бы теперь мне предложили возможно короче определить миросозерцание Тургенева—я бы не употребил ни пошлого слова „либерал“, ни неопределенного „западник“, а сказал бы, что наш великий писатель был гуманистом. Человечность—вот, что одухотворяет его произведения, вот, что составляет их красоту.

Как ум европейски дисциплинированный, Тургенев не мог, разумеется, иметь никакого пункта соприкасательства с нашими доморощенными консерваторами или, как их лучше звать, „охранителями“. Наш консерватизм, на самом деле, вещь странная, в XIX-ом веке почти невероятная. Так или иначе, в той или другой форме, он—мракобесие. Это совсем не то, что представляет из себя, напр., английский консерватизм. Последний эгоистичен, осторожен, но он никогда не ломится в открытую дверь и никогда не стучит лбом в стену. Английские консерваторы, исторически дисциплинированные, проводят в жизнь смелые, демократизирующие общество, реформы, как Дизраэли в 66 г., как Салисбери в 84 г. Они понижают ценз, увеличивают число голосовщиков на парламентских и муниципальных выборах. Они понимают, что задерживать историю можно, но становиться ей поперек дороги—опасно и не к чему. Русский консерватор—это прежде всего добровольный соглядатай—в худшем случае, мистик—в лучшем. Он знает только одно, что надо поворачивать назад. Он стоит за розги в школе, кнут—в суде, крепостничество—в деревне. Его благополучную голову не смущает даже мысль о том, что поворачивать назад не только глупо, но и невозможно. Русский консерватор убежден, что нет ничего на свете сильнее розги или официальной бумажки.

Тургенев не был и либералом в европейском смысле слова. Западный либерализм живет формулой: „права, свобода, счастье для собственника“. Тургенев просто любил права, свободу, счастье; но не делил человечество на чистых и нечистых. Он был гуманистом в широком смысле слова.

Любил ли он мужика, народ? Не столько любил, пожалуй, сколько видел в мужике человека, признавал в нем живую человеческую душу и ценил ее. Он не народник, он не говорит, что надо учиться у мужика, что надо делать так, как мужик хочет; он видит, что мужик грязен, невежествен, голоден, что зверь еще сидит в нем, и желает для него счастья, не особенного какого-

нибудь, в роде того, которое мерещилось прежде Достоевскому, а теперь мерещится Толстому,—а единственно возможного: основанного на знании, достатке, правах.

Как гуманист, Тургенев безусловно искренен. Он гуманист не только по убеждениям, но по природе. Он прежде всего добр, как человек, как художник. Не трудно заметить, что отрицательные типы не давались ему. Два-три урода выведены им в „Записках охотника“, к ним он относится с негодованием, но что значат эти два-три типа в громадной галлерее образов, созданных им? В этом смысле Ренан прав, говоря:

„Его миссия была вполне умиротворяющей“. Он был, как бог в книге Iова, творящий на высях. То, что у других производило разлад, у него становилось основой гармонии. В его широкой груди примирялись противоречия, проклятия и ненависть обезоруживались волшебным обаянием его искусства“...

В этом гуманизме близость Тургенева с народной душой, с народной совестью. Заклейменный каторжник, убийца, жестокий истязатель для него прежде всего несчастный, которому следует сострадать. И Тургенев сострадал всем всю жизнь.

„Любовь,—писал он,—сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь“...

Из всемирно-литературных типов Тургенев выше всего ценил Дон-Кихота. Почему?

„Жить для себя, заботиться о себе,—говорил он,—Дон-Кихот почел бы постыдным. Он весь живет, если можно так выразиться, вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам—волшебникам-великанам, т. е. притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь—самопожертвование, оцените это слово, он верит крепко и без оглядки... Смиренный сердцем, он духом велик и смел“...

Тургенев и сам хотел порою, чтобы и его захватил и „закрутил порыв веры, любви, самопожертвования и не в творчестве лишь, а в жизни“,—но „каждому свое“.

В Тургеневе не было злобы. Он оставался добрым, добродушным, даже когда сердился. Иногда на словах он давал увлечь себя личному раздражению, но это было лишь минутным настроением. Великие слова: „мир между людьми“ и всепрощение были

написаны на его знамени, как человека, мыслителя и художника.

Еще несколько слов об этом большом и славном русском человеке. Как стал он писателем?

Почти в одно время с „Антоном Горемыкой“ появились и первые очерки „Записок охотника“. Странно, что они не понравились Белинскому,—просто, вероятно, потому, что он видел в них слишком много „щегольства“, от обаяния которого, в то время по крайней мере, он совершенно старался освободиться. Однако, тут было и дело—притом очень серьезное дело: „Записками охотника“ Тургенев исполнил свою „ганнибаловскую клятву“—бороться „до последнего издыхания“ с страшным врагом—крепостным правом.

Позволю себе здесь маленькую оговорку. Преклоняясь перед огромным художественным дарованием Тургенева, мы, кажется, не совсем справедливо относимся к нему, как к человеку. Мы все еще не можем отрешиться от взгляда на него, как на гениального петиметра и далеко не всегда доверяем искренности его либерализма, подозревая, что за ним скрывается огромная доля обломовщины. В 60-х и 70-х годах было прямо в моде упрекать Тургенева в заигрывании перед современностью и делать косвенные намеки, что он, как плоть от плоти и кость от костей старого барства, ничему народному, демократическому сочувствовать не может. Скажу прямее, что если в этих упреках и намеках и скрывается истина, то лишь в дозе самой незначительной. Мы всегда забываем, что Тургенев был и по образованию, и по впечатлениям молодости, и по самому складу своего светского аналитического ума—настоящим европейцем. Допустим даже, что он преувеличивает ужас своих детских крепостных впечатлений, допустим, что крепостное право мало сравнительно задевало моральную сторону его натуры, что он не чувствовал за собою „греха“, видя народ невежественным и закабаленным—но спросите себя, как должен был он, европейски образованный человек, относиться к сценам на конюшне или административным мероприятиям своей матери? Тут можно даже оставить в стороне вопрос о „совести“ и моральном воздействии, тут надо помнить лишь, что для человека другой, *высшей* культуры, факты *низшей* кажутся прямо невозможными, противоестественными и отвратительными. Так, между прочим, и смотрел на дело Тургенев, и уж в этом случае никакие подозрения невозможны. Но, думается, что

они невозможны и ни в каком другом: мы уже слишком утвердились в признании своей обломовщины—гражданской и общественной, и на всякое отклонение от нее смотрим недоверчиво.

Искренняя ненависть Тургенева к крепостному праву для меня несомненна; сомнительно его народолюбие, но ведь им он никогда не красовался, никогда даже не говорил о нем. Высшая культура просто тем фактом, что она жила в нем, пред‘являла свои требования, и все эти требования шли против крепостничества. Эта высшая культура во всяком случае не могла не научить уважению к личности, и им был полон Тургенев.

Как бы то ни было, первые очерки „Записок охотника“ появились в „Современнике“ 1847 года. Тут целый ряд портретов наших крепостных людей, красивая история того, как приспособлялась душа человеческая к своему невыносимому положению, и неопределенно высказанный протест Тургенева против этих ужасов. Именно неопределенно, потому что стоит вам сравнить любой из очерков „Записок“ с появившейся в те же дни „Сорокой-Воровкой“ Герцена, вы сразу заметите огромную разницу. Там, где Герцен волнуется и негодует,—Тургенев только задумывается, а иногда весь уходит в свое меланхолическое настроение, самое для него родное и близкое. Таким Тургенев оставался на всю жизнь, как будто образ смерти ни на минуту не оставлял его, образ не столько даже страшный и ужасающий, сколько теснящий сердце, навевая на него тоску, говоря о бессмысленности и кратковременности его существования.

Но все же какая огромная разница между „Записками охотника“, в которых Тургенев, как мог, исполнял свою ганнибаловскую клятву и исполнял общественное дело,—и „Стихотворениями в прозе“. Этими стихотворениями Тургенев прощался не с читателями, не с Россией, не с своей собственной жизнью даже, а с жизнью вообще, жизнью всего живого, что когда-либо страдало и радовалось на земле. В лучшем из этих стихотворений земля представляется ему уже мертвой, замерзшей глыбой льда, безумно и бесцельно несущейся в бесконечном пространстве. Все молчит; ни звука над этой могилой человечества, и каким-то грозным шепотом разговаривают между собою одни горы. И эти горы торжествуют свою победу. Теперь они спокойны. Люди надоедали им, надоедали своими криками,

плачем, смехом, своей неугомонною деятельностью. Такие маленькие и в то же время исполненные такого самомнения, существа! Вообразили себе, что земля создана для них, и распоряжались на ней, как господа, как цари! Но—теперь хорошо. Вечное молчание могилы, вечное сияние льда, вечный холод... И с такой философией и вместе с каким-то робким полупризнанием чего-то таинственного, мистического в жизни, что он выразил в своих предсмертных рассказах „Песнь торжествующей любви“ и „Клара Милич“—Тургенев ушел в могилу. Философия отчаяния, конечно, и отчаяния не протестующего даже, а как бы примиряющегося с тем, что выхода—нет! Какое-то предсмертное равнодушие—но, повторяю, эта философия всегда, даже в годы юности была у Тургенева, как была она у всех художественных натур сороковых годов... И не казались ли им несколько смешными угловатые и взвинченные гражданские мотивы следующего поколения, а если не самые мотивы, то, по крайней мере, этот фанатизм, та любовь и ненависть, та непримиримость, которая влагалась в них?.. Этого, как все испытавшие и пресыщенные баре, они не понимали...

А. И. Герцен (1812—1870). Получивши для своего альманаха интермедию к роману „Кто виноват“, Белинский писал Боткину: „Я из нее окончательно убедился, что Герцен большой человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать. Он не поэт—об этом смешно и толковать: но ведь и Вольтер не был поэт не только в Генриаде, но и в Кандиде,—однако, его Кандид потягается в долговечности со многими великими художественными созданиями, а многие невеликие он уже пережил и еще переживет их. У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию,—и потому в своих творениях, как поэты, они страшно огромно умны, а как люди, ограничены и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь). У Герцена, как у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот, чувства ушли в ум, осердеченный и согретый гуманистическим направлением, не привитым, не выезженным, а присущим его натуре. У него страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку“.

На мой взгляд, в этой коротенькой и, в сущности, случайной характеристике каждое слово на своем месте и каждое имеет

огромное значение. Это ничего, что Белинский видел лишь часть литературной деятельности Герцена и притом, несомненно, часть слабейшую по сравнению с другой, определившейся лишь после европейской катастрофы 1848 года: он обладал великой и ценной способностью угадывания. И он угадал Герцена по немногим, хотя и крупным намекам, дал ключ к пониманию его творчества, „подчиненного уму и просветленного им“, даже и не подозревая, какую злую и трагическую шутку сыграет это „страшно много ума“ в жизни знаменитого эмигранта. Проницательная, скептическая мысль, сознание, ясное до предвидения, неподкупный, мучительный анализ, ежеминутно готовый обратить свое орудие даже против самого себя—на самом деле первое, что бросается в глаза, при чтении Герцена. Припомните, как резко и решительно предсказал он крушение европейских надежд 1848 года, хотя большинство еще носилось с своими мечтами. Свою знаменитую фразу: „теперь, граф Бисмарк, ваше дело, пожалуйте“, Герцен написал еще до Садовой—и в это время для него была ясна не только неизбежность борьбы Германии с Францией, но и победа первой. Он никогда, ни на минуту не верил в успех польского дела 1863 года и прекрасно сознавал, чем оно могло и должно было окончиться.

Никто, как он, не видел так ясно все бессилие европейской эмиграции 50-х годов, хотя он сам находился в центре ее, а Гарибальди, Мадзини и Кошут были еще живы и полны, если не надежд, то сил. Он не умел подчиняться ни обману, ни самообольщению, хотя бы на один день или даже минуту. Он первый понял, что после 63-го года его роль в России сыграна, что никакими усилиями не удастся вернуть „Колоколу“ его прежнего положения, и приневолил себя уйти почти исключительно в свои воспоминания—обстоятельство, счастливое для литературы, обогатившейся такою удивительною вещью, как „Былое и думы“, но далеко не особенно счастливое для него самого.

Да, это был огромный ум. Его способность провидения приводит в продолжительное изумление даже покойного Страхова, и это совершенно понятно, потому что надо перенестись в обстановку 60-х годов, в ту сумятицу международных отношений, припомнить обаяние Наполеона III-го, никому невидный и незаметный рост Пруссии, чтобы по достоинству оценить проникновенные

слова „теперь, граф Бисмарк, ваше дело“, в которых высказан смертный приговор второй империи.

Но в то же время это чисто-русский ум, несмотря на полунемецкое происхождение Герцена,—ум, не знающий предела своей скептической работе, стоящий настороже против всякой иллюзии, вдохновенно работающий лишь при голосе совести. Это ум без традиций, без исторических догматов, без тени предрассудков и самообольщения, подавленный своим могуществом, органической невозможностью остановиться на чем-нибудь положительном в окружающей жизни. Как хорошо идет к нему—хотя, как скоро увидим, не покрывает его—известная характеристика Чаадаева:

„Посмотрите вокруг себя. Все (у нас), как будто, на ходу. Мы все, как будто, странники. Нет ни у кого сферы определенного существования... Нет ничего, что бы привязывало, что бы пробуждало ваши сочувствия, расположения, ничего постоянного, непременного: все проходит, все протекает, не оставляя следов ни на внешности, ни на вас самих“.

На этой-то почве вырос и развился Герцен. Сын родовитого барина, он однако не мог чувствовать особенного уважения к портретам предков уже потому, что он был незаконнорожденным и еще ребенком презрительно называл генеалогию зоологией, а генеалогические таблицы—зоологическими. Главный устой жизни того времени, крепостное право стало ему несносно и отвратительно с двенадцатилетнего возраста, хотя деревенские ужасы были знакомы ему лишь по наслышке. 17-летним мальчиком он поступил в московский университет, и начались годы чисто-абстрактного восторга перед сен-симонизмом, затем годы ссылки в Вятку, в Новгород и службы в губернском правлении. Разумеется, все время он чувствует себя совершенно чуждым провинциальному обществу и, только возвратившись в Москву, он поступает в самый центр интеллигентной жизни. Но и это длится немного лет, 1840—1846. Его скоро начинает тянуть за границу, подальше от вежливого Дуббельта и всемогущего III-го отделения. Он радостно переезжает заставу, жадно вдыхает в себя европейский воздух, долго не может поверить, что он в Париже, потом в Риме, что он видит около себя взволнованные толпы народа, слышит высокие, звучные фразы. Увы, фразы скоро замолкли, и бедный Герцен, бесповоротно загубивший свою репутацию

в 1848 г., обращается в вечного странника, держать которого боится Швейцария, которого гонит от себя Франция. Он не смеет показаться ни в Италии, ни в Австро-Венгрии, одна Англия не отказывает ему в приюте. О возвращении в Россию он уже и не думает.

История на самом деле не завещала ему ни одной традиции, которая была бы для него привычкой, ни одного воспоминания, которое бы сделалось для него инстинктом. Все завещанное прошлым было отвратительно до последней степени, потому что это завещание исчерпывалось рабством, ложью, низпоклонством. История начиналась для него действительно со вчерашнего дня—с реформы Петра Великого, она вся была в будущем, но и в это будущее верилось плохо. И он всю жизнь был странником—и в доме родного отца, с которым не чувствовал никакой связи, и в университете, так как что же общего между теорией Сен-Симона и практикой николаевской эпохи, и в провинции, где все люди представлялись ему помешанными, и потом за границей, где Наполеон III преследовал его, как Дуббельт, а Швейцария вежливо просила освободить ее от „весьма лестного при иных обстоятельствах в ней пребывания"...

Представьте себе теперь могучий, пытливый ум в такой странной обстановке, где все воспитывало ненависть к прошлому и отвращение к окружающему, где на каждом шагу бесконечно и беззастенчиво подавлялось самое святое для Герцена—свобода человеческой личности и ее достоинство, подавлялось и крепостным правом, и чиновничьим произволом, и всякими случайностями,—где все, казавшееся прекрасным и благородным, быстро погрязало в пошлости, лицемерии и предательстве,—жизнь тяжелую и утомительную, над которой лишь в недосягаемой высоте, бледными призраками, реяли чудные заветы свободы и братства, и вы поймете то разочарование, ту усталь, в которую он должен быть впасть.

Но до крушения февральской революции, до страшных июньских дней, подвигов Кавеньяка, торжества Наполеона, у Герцена была еще радостная вера в „Запад и его могучую мысль". Отраженным светом эта вера падала и на русскую жизнь. Критикуя впоследствии славянофилов, он говорил: „Их ошибка состояла в том, что им казалось, будто Россия имела когда-то свойственное

ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и не могла иметь. То, что приходит к сознанию у нас, то, что начинается в мысли, в предчувствии, то, что существует бессознательно в крестьянской избе и на поле—то теперь только всходит на пажитях истории, утучненных кровью, слезами и потом двадцати поколений. Эти основы нашего быта не воспоминания, это живые стихии, существующие не в летописях, а в настоящем, но они только уцелели под трудным историческим вырабатыванием государственного единства и под государственным же гнетом только сохранились, но не развились. Я даже сомневаюсь, нашлись ли бы внутренние силы для их развития без петровского периода, периода европейского образования. Непосредственных основ было недостаточно. В Индии теперь испокон века существует сельская община, очень сходная с нашей и основанная на разделе полей, однако индейцы с ней недалеко ушли. Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском“.

Только в самых общих чертах, только откладывая осуществление мечты все дальше на века и поколения, пораженный в то же время ужасом и отвращением к тому, что делалось в Европе его дней, Герцен сохранил веру в могучую мысль Запада до конца. Но эта вера не имела уже в себе ничего радостного, торжествующего, это было скорее умственное обязательство—ничтожный кристалл, осевший среди постоянных разочарований и напряженной скептической работы. Эта вера не питалась ничем конкретным, жизненным, в ней не было уже ярких красок вдохновения. Вокруг все противоречило ей, все было ей враждебно. Оттого-то жалобы, стоны все чаще начинают вырываться у Герцена, какая-то безнадежная грусть слышится в его словах, становится его господствующим настроением, а попрежнему могучий, но уже значительно озлобленный ум, непрестанными усилиями подтачивает последние основы жизни...

Это серьезная, мучительная драма. Рядом с скептическим, бесстрашным умом, так легко освободившимся от преданий и заветов „несуществующей русской старины“—умом, начавшим свою работу без воспоминаний о вчерашнем дне, без инстинктов, без преград, поставленных жизнью и историей, а в дни юности

радостно принимавшим все выводы „свирепой имманенции“, чего бы они ни касались: Бога, религии, допетровской старины, русской общественности,—Герцен обладал в высшей степени живым, даже страстным темпераментом, который не позволял ему ни на минуту оставаться на месте, в покое, постоянно толкал его в самую свалку жизни и делал его агитатором, хотя для такой роли он был слишком мало фанатик и слишком много скептик.

Его радовала борьба, он упивался ее атмосферой, он любил ее и вдохновенную, и напрягающую все силы человека. В виде спора он любил борьбу еще в детские и университетские годы. Он приветствовал ее в знаменитом споре западников и славянофилов, в статьях Белинского, в лекциях Грановского, а еще раньше в знаменитом „Философическом письме“ Чаадаева, он отправился искать ее на Запад, со всем увлечением примкнул к ней в начале шестидесятых годов,—но все это оказалось одними иллюзиями, случайными порывами в далекое будущее. Сомнения, анализ, этот тревожный, вечно деятельный анализ, замолчал на минуту, чтобы сейчас же наверстать потерянное, обнаружить факты жизни и ее основы во всей их уродливости, облить ядом иронии мгновенный восторг. Приходилось замыкать себя на ключ, слушать „дикие бредни“ эмигрантов, мучительно сознавать свое бессилие, а темперамент, эта основа жизни, не давал покоя и, застоявшись, не находя себе исхода, осаждался в бесконечную грусть, в уныние, в разочарованность... „Сядемте с вами на корабль, будем переплывать океан, будем всегда наготове помочь тем, кто борется за свободу“,—говорил как-то Гарибальди Герцену. Он мог лишь улыбнуться тоскливо в ответ,—нет свободы в жизни, есть „дело А. И. Герцена, дворянина“—в руках Дуббельта, в канцелярии Наполеона, десяток других в Пруссии, Австрии, Италии, Швейцарии. Нет свободы в жизни и не может быть ее пока, потому что „теперь, граф Бисмарк, ваше дело“...

В удивительном и в высшей степени своеобразном стиле Герцена вы ясно видите отражение этой постоянной, глухой борьбы между пылким, деятельным темпераментом и скептическим умом—гораздо менее склонным к добродушной насмешке, чем к злой иронии. Ничего подобного стилю Герцена русская литература не знает: он сам по себе. Если хотите, он до последней степени не-

брежен, его слова, язык—не правилен, тут немало немецких оборотов речи и английской краткости.

Герцен пишет до невозможности сжато: без всякого особенного труда вы можете распространить каждую его фразу на десяток. Оттого-то у него такое пристрастие ко всевозможным причастиям, деепричастиям и вводным предложениям. Он положительно скуп на точки. Он нагромождает один эпитет на другой, и каждый его эпитет целая мысль. Возьмите хотя бы начало его знаменитой характеристики славянофильства: „Славянофильство,—пишет он,—или руссицизм, не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание, как противодействие исключительно иностранному влиянию, существовало со времени обрития первой бороды Петром Великим“...

Так по-русски ни до, ни после Герцена не писал никто: это почти сжатость Тацита, это в немногих словах сконцентрированная мысль, даже целый ряд мыслей, это меткий намек на целую доктрину, о которой вы получаете однако яркое представление, благодаря таким эпитетам, как „оскорбленное народное чувство“, „темное воспоминание“. Вы сразу видите, что Герцен признает законность славянофильства, как восстание против обиды и оскорбления, и осуждает его, как темное воспоминание, как стихийный инстинкт.

И этим сжатым, своеобразным стилем, в котором вы не найдете ни одного непродуманного слова, где каждый эпитет говорит вам об огромной вдумчивости, об огромном запасе чувства, потраченного на процесс мысли, написаны целые томы, начиная „С того берега“ и кончая последнею страницею „Былого и дум“. Именно, много чувства, но чувства сконцентрированного, сдержанного, много порабощенной страсти слышится в каждой фразе Герцена. Конечно, поэтому-то они—эти фразы—производят такое неотразимое впечатление. И когда он порою дает полный простор тому, что у него в душе—своей обиде, горечи,—это чувство вырывается наружу, разбиваясь то на бесчисленные брызги желчной неподражаемой иронии—настоящей иронии Свифта, предлагавшего когда-то поджаривать ирландских ребятишек, чтобы они не умирали с голоду,—или гордого вызова грубому и беспощадному населению жизни, или бесконечной нежности, при грустных воспоминаниях о любимом и утерянном в жизни. Вся гамма чувств была доступна Герцену, и он

превосходно приспособил к ней свой стиль, всегда готовый ко всяким неожиданным переходам, где ум всегда сторожит чувство, где нежность сменяется гневом. Совершенно невольно, но как нельзя более кстати, вспоминается при этом фраза из приведенной выше характеристики Белинского: „ум Герцена — осердеченный и согретый гуманистическим направлением, но не привитым извне, а присущим его натуре“.

Рядом с ним, во всем, что вышло из-под пера Герцена, вы чувствуете какое-то особенное благородство, даже аристократизм, пожалуй, которые производят на вас сильное и серьезное впечатление. Вы не можете не заметить совершенно инстинктивной и невольной боязни перед общими местами, избитыми фразами, всяческой банальности. Он говорит только о том, что глубоко затронуло его, и умеет передать вам глубину своего настроения. Это благородство стиля совсем не французское даже, за которым может скрываться плачевная пустота, это даже гораздо больше, чем порядочность,—это своеобразное рыцарство духа, органически отвращающееся от всего пошлого и низменного, тем более низкого: это высшая красота огромного ума, которая не нуждается ни в каком крикливом наряде, ни в каких побрякушках, ни в какой вычурности. Вы должны всмотреться в нее, чтобы оценить всю почти сверхчеловеческую правильность форм и линий, чтобы почувствовать у себя на душе отражение этой гармонии.

Оттого-то, быть может, Герцен и пользовался так осторожно своей иронией, оттого-то его озлобление и разрешалось всегда раздумьем. Да, благородство, сдержанность, еще лучше английское reserve—это слова, которые удачнее других характеризуют стиль Герцена. И здесь, конечно, рыцарский стиль только отражает рыцарский дух. Я напомню читателю известную параллель, сделанную Герценом („К вопросу об историческом развитии чести“ и „Западные арабески“) между рыцарем и мещанином, где первому отдается полное предпочтение, хотя он страшный невежда, „драчун“, „бреттер, и разбойник, и монах, пьяница и пиэтист“ по сравнению со вторым, этим „истертым и промежуточным лицом“.

Рыцарь был больше „он сам“, больше „лицо“, был всегда открыт и откровенен—и этого совершенно достаточно, чтобы

поставить его бесконечно выше современного буржуа, отяжелевшего в своей полезной добродетели. Я помню далее известный рассказ о пребывании Гарибальди в Лондоне, когда министры мещанской Англии постарались внушить знаменитому революционеру, что его драгоценное здоровье очень расстроено,— что, конечно, они в восторге от лестного его пребывания в портах острова, но опасаются, как бы сырой климат не повредил, и т. д. и т. д.—говорил Гладстон. Надо перечесть этот рассказ, надо вникнуть в этот тон сдержанного негодования, чтобы понять, с какой силой ненавидел и презирал Герцен эти экивоки, это лицемерие, эту дипломатическую ложь.

Быть открытым и откровенным все время и до конца,—это был девиз его жизни и его стиля. Он не задумался порвать с Грановским на долгие годы, после того как тот, в значительной степени обмосквившийся, попросил, и притом резко и раздражительно, не затрогивать некоторых вопросов. Герцен сразу понял, что произошло в этой маленькой сцене, и что образовавшейся трещины не заполнить ни дружескими словами, ни визитами. Благородная прямота—лучшее украшение его характера и лучшее же украшение—его стиль.

Стиль этот порою, благодаря изумительному сочетанию раздумья и иронии, капризов чувства и глубокой прозрачной мысли, достигает неожиданных и даже грандиозных эффектов. Казалось бы, как легко затеряться в этом ряде фраз, периодов, так мало связанных между собою и проникнутых таким разнообразным настроением. Но в том-то и заключается могущество таланта Герцена, что он заставляет вас, и не поверхностно как-нибудь, а действительно глубоко, какой-нибудь дюжиной слов пережить целую гамму чувств, вызывая их иногда одними эпитетами и намеками. Когда вы встречаете подобную страницу, вы видите ясно, что она может принадлежать только великому писателю и мало того—человеку, который много испытал и много перечувствовал,— человеку, который имел полное право сказать о себе: „жизнь учит нас годами лишений, муки и горя“... Еще одно замечание: такой стиль, как стиль Герцена, очевидно, может принадлежать только действительно чуткому человеку, способному глубоко любить, глубоко ненавидеть и глубоко негодовать. И, конечно, это негодование было у Герцена особенно в тех случаях, когда наси-

лие или лицемерие затрогивали то, что он считал за святое святых нашей жизни—свободу человеческой личности. Малейшее посягательство на нее бросало его в дрожь, и эта дрожь всего организма слышна в слоге его. В последних своих произведениях Герцен вырастает до размеров Байрона. Та же тоска и тот же сарказм в его фразе, та же печаль, любовь и негодование в его настроении, та же грусть на гордой и холодной высоте одиночества, та же милая детская улыбка рядом со словом проклятия и неверия. И тот же стиль, всегда свободный и могучий, несмотря на уныние, близкое к отчаянию.

Литературная деятельность Герцена в России исчерпывается собственно следующими крупными произведениями: „Письмами об изучении природы“, „Письмами о дилетантизме и буддизме“, романом „Кто виноват“, „Записками молодого человека“, „Еще из записок молодого человека“, „Записками доктора Крупова“, „Сорокой воровкой“, и „Письмами из Avenue Marigny“ и немногими другими. Были мелкие публицистические работы, например, письма из Москвы о лекциях Грановского, полемика с славянофилами и т. д.,—но эти мелкие публицистические работы ясного представления о настоящем Герцене нам не дают. Настоящий Герцен весь в „Письмах о дилетантизме“, в „Записках Крупова“, в его романе. Сопоставляя эти вещи, вы видите уже ту роковую борьбу, которая происходила в душе знаменитого писателя в течение всей его жизни—борьбу между страстной верой в силу знания, в конечное торжество справедливости, в возможность полной перестройки жизни при помощи положительной науки и смутным в то время, но уже глубоким скептицизмом, видевшим порою в жизни торжество какой-то темной и бессмысленной силы.

Сначала о вере.

В своих философских статьях Герцен ставит вопрос: почему наука не может водворить счастья на земле? Казалось бы, для этого в ее распоряжении все средства: к тому же, если ложь человеческого существования и ее непримиренные противоречия ведут к вражде, гибели, мученичеству, то очевидно, что наука, как истина, не может не вести к торжеству справедливости и любви. Почему же этого нет? Виновата, конечно, не наука, виноваты прежде всего и только сами люди, которые не умеют и не знают, как относиться к этому сокровищу.

Он близко подходит к этому вопросу уже в „Письмах об изучении природы“. В этой крупной работе (стр. 34—300 II-го тома) он рассматривает борьбу и соотношение между различными философскими системами, делая их основательное историческое обозрение. Его смелая юная мысль стремится здесь к высшему синтезу между идеализмом и реализмом, между философией и естествознанием. Он особенно недоволен разграничением, часто враждебным, всегда резким, этих двух последних областей мышления. Естествознание сознательно ставит себе точку перед целым рядом вопросов, не обращая внимания „на голос вопиющего разума, не умеющего останавливаться на полдороге,—голос самой naturae rerum, стремящейся вполне просветлеть в мышлении человечества“. „Вероятно, вы замечали,—говорит Герцен,—с какою поспешностью естествоиспытатели предупреждают о пределах своего воззрения, как бы страшась услышать вопросы, на которые они ответить не могут; *но такого рода границы несостоятельны;* поставленные личной волей, они столько же внешне чужды предмету, сколько забор, поставленный правом собственности, чужд полю, на котором стоит. Цеховые натуралисты громко и смело говорят, что им дела нет до самых естественных и законных требований разума, что человек не должен заниматься тем, чего нельзя разрешить“... Кому нельзя? когда? почему? где критериум?—Наполеон считал пароходы невозможностью“—с страстным возмущением замечает Герцен и пишет дальше: „Большею частью смелость (цеховых ученых) подозрительна: она проистекает или от ограниченности, или от лени... У иных, однако, она имеет высшее начало для них—это ложные утешения, которыми человек хочет отвести свои собственные глаза от зла, считаемого неисправимым. По несчастию, вопросам такого рода нельзя навязать каменьев на шею и бросить их в воду и потом забыть о них; они, как упрек совести, как тень Банко, мешают наслаждаться пиром опытов, открытий, сознанием истинных и прекрасных заслуг, напоминая, что нет полного успеха, что предмет не побежден... В самом деле, неужели можно успокоиться на предположении невозможности знания? Тут человеку науки остановиться и забыть так же не под силу, как скупому стяжателю знать о кладе, зарытом на его дворе, и не искать его“.. Из этих строк совершенно ясно видно, как Герцен относился к позитивизму. Очевидно, что идея научной философии, ведающей

смысл и связь всех явлений жизни, всех данных, добытых опытом, была уже ясна ему. „Правильно развиваясь, эмпирия (опыт) должна перейти в спекуляцию, и только то умозрение не будет пустым идеализмом, которое основано на опыте“.

Отсюда—необходимость высшего синтеза. „Нет ни малейшего сомнения, что умозрение и эмпирия равно виноваты во взаимном непонимании... И философия, и естествоведение выросли из временного антагонизма своего, имеют все средства в руках понять, откуда он вышел и в чем состоит его историческая необходимость—одно только унаследованное чувство вражды может поддерживать обветшалые и жалкие взаимные обвинения. Им надобно об'ясниться во что бы то ни стало, понять раз навсегда свое отношение“... „Что тут за местничество?

Наука одна; двух наук нет, как нет двух вселенных; испокон века сравнивали науку с ветвящимся деревом — сходство чрезвычайно верное; каждая ветвь дерева, даже каждая почка имеет свою относительную самобытность; их можно принять за особые растения; но совокупность их принадлежит одному целому, живому растению этих растений—дереву: отнимите ветви— останется мертвый пень, отнимите ствол—ветви распадутся. Все отрасли ведения имеют самобытность, замкнутость, но в них непременно вошло нечто данное, вперед идущее, не ими узаконенное. Они только органы, принадлежавшие одному существу, отделите орган от организма, и он перестанет быть проводником жизни, сделается мертвою вещью: и организм, в свою очередь лишенный органов, сделается искаженным трупом, кучею частиц... Смерть и гниение трупа—полное освобождение частей“...

Наука должна отделаться от метафизических бредней, от тьмы тьмущей специальностей (кроме технической своей части), и в таком только случае она станет доступной всем людям и будет в состоянии потребовать голоса во всех делах жизни. Это возможно и достижимо. Герцен мечтает о полной демократизации науки, потому что нет „мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно, особенно в ее диалектическом развитии.

В один радостный для человечества день наука отпразднует свое бракосочетание с жизнью. Но для этого должны предварительно исчезнуть и *цеховые ученые*, замкнувшиеся в отдельной ветви какой-нибудь специальной науки,—и *дилетанты*, смотрящие

в жизнь в телескоп, и *буддисты*, которых калачом не заманишь в мир действительности: так им хорошо и почетно в мире отвлеченностей.

Идея научной философии, борьба с духом специализации и цехового самодовольства; мечта о науке, как общем достоянии, отрицание всяких абстракций и сущностей—в чем трудно не видеть влияния фейербаховской философии,—требование переработать действительность и привести ее в согласие с разумом, единой истинной наукой и нравственным чувством человека и вера в возможность осуществления этой грандиозной задачи—вот Герцен в большинстве своих статей до рубежа его жизни—краха февральской революции и романтических надежд Европы. Рядом с этим боевое отношение к факту действительности, исполненная печали насмешка над глупостью, самодовольством и пошлостью тех, кто распоряжается жизнью, имеет власть над нею, пользуется ее привилегиями,—тень мысли, что человечество неизличимо и неисправимо, и яркий свет веры в скорое грядущее возрождение... Стремись к полноте научного знания, никогда не мирись с действительностью и ее злом, умей бороться и даже погибнуть, но не лги никогда перед собой, ни перед требованиями высшей истины. Это—нравственная сторона проповеди Герцена.

Не разрешив безусловно поставленных вопросов, Герцен тем не менее сделал очень много: роль его статей и статей Белинского в области публицистического мышления такая же, как Пушкина в области художественного творчества. Пушкин был первым реалистом, первым, который умел вдохновляться действительностью. Герцен и Белинский были первыми истинными реалистами, первыми, которые признали практическую действительную жизнь за необходимй элемент мышления, которые потребовали *ответственности перед обществом* от жрецов искусства и науки.

Именно этой стороной своего миросозерцания Герцен оказал наибольшее влияние на своих современников. Он удачно развязал путы гегелевской философии, стеснявшие многих и прежде всего, конечно, Белинского. В его статьях звучал бодрый призыв к работе, к борьбе со злом, к водворению правды в человеческих отношениях. Он был против всякого примирения и против буддизма, уходившего от действительности, и против дилетантизма, отворачивавшегося от нее.

Статьи Герцена пользовались упехом, ими зачитывались. В них было что-то новое, веяло новым духом точной науки, положительного знания, общественных преобразований, которые должны явиться, раз наука войдет в жизнь. Было и самое дорогое для русского читателя—нравственная проповедь, хотя, разумеется, в тон проповедника Герцен не впадал никогда. Но он, очевидно, требовал от всякого, чтобы тот, как первое элементарное условие нравственности, защищал от жизненной лжи, лицемерия и насилия то единственное несомненное, что есть—„человеческую личность" и ее достоинство. Ни тени метафизических увлечений, уже набивших оскомину. Никаких отвлеченностей, взятых у Гегеля или Шеллинга: все просто и ясно, все подчинено одному верховному принципу: наша общественная жизнь есть ложь; только наука может и должна водворить истину вместо этой лжи. Но где же взять эту науку? Конечно, на Западе, старшем годами и мудростью, и Герцен преклонялся перед мощной мыслью Запада.

Но был ли он действительно западником? Это очень трудный вопрос. Если вы соберете воедину его работы того времени, его письма и разговоры, его корреспонденции, мелкие публицистические статьи, его насмешки над славянофилами—над „Маяком" и „Москвитянином", Погодиным, Шевыревым, вспомните о его дружбе с Белинским и Грановским—вы должны будете признать в нем истинного западника, потому что для России он видел один выход—в европейской науке, европейской мысли. Но в то же время что-то тянуло его к славянофильству, это „что-то", определившееся гораздо позже, лишь в начале 60-х годов. Ненависти к славянофильству он во всяком случае не чувствовал. Он, барин, не *мог* оборвать с славянами так резко и сразу, как Белинский (за что и слышал постоянно упреки от последнего), его насмешки добродушны, *идея* славянофильства, очевидно, смущает его, притягивает к себе. Он расправляется с нею совершенно свободно, когда она является перед ним в виде воспринятой Шевыревым и Погодиным формулы официального руссофильства, но мистические, вдохновенные речи Аксакова и Хомякова, очевидно, заразили его.

Он колебался, двоился, он думал о примирении двух лагерей, примирении, которое тот же Белинский, напр., считал совершенно невозможным, заявляя „я жид по натуре, и сидеть за одним столом с гоями не могу!" Повторяю—его смущала идея. На самом деле

чего хотели славяне? Они хотели исторически обосновать право русского народа и русского человека на самостоятельное существование. Они хотели узаконить его личность, его природу среди личности и природы других национальностей. Они хотели показать, что русские-славяне не случайные гости всемирной истории, не бесплатное и обременительное приложение к германскому миру, а нечто „само по себе“ сущее, с своим прошлым, своим настоящим и будущим, своими задачами и своими же средствами для осуществления этих задач. Пункт за пунктом старались они опровергнуть Чаадаева, который думал, что у нас „ничего нет“, что мы странники и бродяги истории, духовные босяки. И эта большая идея смущала Герцена, как мыслителя, привлекала к себе, как художника. Впоследствии, обрадованный первыми нашими реформами, он защищал ее в „Колоколе“, теперь—он больше склонялся на сторону западничества, потому что оно обещало борьбу, науку...

Еще о его раздвоении.

Этими философскими статьями все равно, как и случайными публицистическими работами, не исчерпывалась деятельность Герцена в России, собственно говоря, они дают лишь половинчатое представление о нем, как о человеке. „Верой в торжество положительного знания“ не обманет себя тот, кто хорошо знает натуру Герцена. Герцен признавал, конечно, в далекое время, в дни молодости и увлечений, окончательную победу добра над злом, но в нем всегда таилась мысль,—„никогда не исправится род человеческий“,—которую он прибавил в окончательной редакции к „Запискам Крупова“.

Рядом с умом, победами науки, величием разума и пр., он видел в жизни какую-то огромную и страшную силу, силу чисто стихийную, которая ведет людей независимо от их воли, даже против нее... куда — неизвестно, толкает их на преступления, кладет в основу их существования ложь и неправду. Впоследствии он назвал эту силу—силой исторической необходимости и с проклятиями, со скрежетом зубовным признал ее первенствующей. Но он видел все могущество ее уже и в дни молодости, выставил торжество ее в „Записках Крупова“ и в своем романе „Кто виноват“. Тут на самом деле перед вами гибель трех честнейших и благороднейших людей, гибель совершенно

бессмысленная, ничем не оправданная, вызванная случайною встречей. Кто на самом деле виноват в гибели Круциферских и Бельтовых? Недостаток образования, дряхлость натуры, отсутствие рационального бракоразводного законодательства“? Конечно, нет. Представьте себе на самом деле, что Круциферская ушла бы к своему возлюбленному Бельтову. Что же, кто-нибудь из троих стал бы счастлив? Никогда и ни на миниуту. Круциферский одинаково спился бы, Лизу замучила бы совесть, а Бельтов замучился бы муками Лизы. И вот получается какой-то роковой круг, из которого нет и не может быть выхода. Виноваты, очевидно, „обстоятельсва“, т.-е. что-то от воли человеческой независящее, что-то стихийно необходимое, так сразу раздавившее трех людей.

На вопрос о виновнике Герцен не ответил, он в то время и не мог ответить на это так прямо и ясно, как он привык отвечать на все им же поставленные вопросы. В нем, говорю я, боролись два начала, из которых одно звало его к борьбе, вызывало в нем радостные и торжествующие гимны науке, прогрессу, человечеству, другое бросало в об'ятия религии или вызывало полное разочарование, полное низведение человека до нуля перед огромной силой „истории“... В конце концов под старость, утомленный жизнью, видя вокруг себя одни кресты над могилами жены, друзей, над мечтами и надеждами своей юности, он сказал: нам остается смирение перед наукой и истиной... А что если истина в нашей гибели, а не в конечном торжестве „добра“ над злом—что тогда? Тогда, говорил этот гордый дух, ни разу в жизни не преклонявшийся перед кумиром, разрушавший все кумиры вплоть до кумира справедливости, кроме одного человеческого достоинства—тогда остается то же смирение. Странно, безумно звучит это слово в устах Герцена, но оно звучит; оно набросило грустную тень сумерок на все его воспоминания; оно окрашиваетк аждую страницу. его „Былого и дум“, оно заставляет рыдать его чудное, гениальное перо... Нет выхода—нет, кроме того, куда поведет история... И как он, агитатор и эмигрант, похож в данном случае на славного русского барина Тургенева, подслушавшего в старости разговор между Юнгфрау и Финстерааргорном над замерзшей уже землею. Это родные братья по духу: у обоих—нет выхода!

Это невольное раздвоение преследовало Герцена всю жизнь. Его страстный темперамент, настоящий темперамент борца, тяну

его в самую свалку жизни. Это было для него совершенно неизбежно, потому что вокруг него были факты, были явления жизни, с которыми он не мог мириться. Он не мог признать законной и справедливой ложь, в каком бы красивом виде ни являлась она перед ним, какими бы ненарушимыми законами ни была она узаконена. В поддержку этому темпераменту являлась его вера в науку, в положительное знание, в могучую мысль Запада, вера радостная и торжествующая. И он звал людей за собою—он, гордый, блестящий и верующий. Он ссорится с Белинским, когда тот хочет все оправдать и со всем примириться, потому что знает, что со всем мириться нельзя, ссорится с Грановским, когда тот отказывается слышать критику слишком дорогих для него вещей, потому что знает, что права критики неограничены... И в то же самое время в его меланхолической барской натуре поднимается какой-то странный загробный голос пресыщенных поколений предков и говорит ему, что все бесполезно, что все усилия людей ни к чему, что—выхода нет! Тогда он издает первую часть „Записок Крупова", „Кто виноват", стараясь сам разобраться в этой мучительной раздвоенности. Так идет дело до 1846 г., когда Герцен поехал за-границу, где все уже волновалось в предчувствии 48-го года и февральских дней в Париже.

Он поехал, чтобы больше не возвращаться, и—странно—ему улыбнулись только первые дни пребывания на Западе. Страшно скоро наступило новое разочарование, какое-то капризное и даже раздраженное, основанное на проницательности гения и, пожалуй, детской наивности. Но, все равно,—разочарование наступило. Он думал, что Запад даст ему то, чего не доставало дома—широкой и смелой общественной деятельности. Он думал, и эту мечту разделяло большинство современников, что люди Запада готовы стряхнуть с себя все цепи и путы прошлого и дружной семьей народов вступить в новую жизнь. Он думал, что еще одно усилие—и от векового рабства не останется и следа. Первые дни он на все смотрел с точки зрения этого ожидания, и радостно волновалось его сердце. Однако буря промчалась, и наступили дни возмездия—эти страшные июньские дни, когда кровь лилась потоком, когда Кавеньяк готовил трон Людовику Наполеону. Герцен понял, что с революцией кончено, что ее нет больше, что *то* „стихийное и грозное", о котором он писал в своих „Записках

Крупова", в своем „Кто виноват", выступило на сцену, и теперь человек, даже тысячи людей бессильны перед ним.

Он написал тогда книгу, одну из самых грустных книг, какую я только знаю во всемирной литературе.—Это Am andern Ufer— „С того берега" (1851 г.). Он рассказал нам, на что надеялся, что видел и как странно разрешилось „грозное ожидание". Он не отказался ни от чего, никому не сделал он уступки, прежние враги его остались врагами, но он сам с какою-то грустью, каким-то печальным недоумением останавливается перед той грозной силой, которой он не замечал раньше, силой чисто стихийной, прикрытой было блестящими фразами, заслоненной надеждами и вдруг выступившей на сцену, чтобы рассеять мечты, чтобы сказать свое грозное „veto" человеческим надеждам. Какая это сила, как назвать ее?—он не знал, но теперь только он почуял ее огромность, как будто эти пережитые волнения вскрыли перед ним гранитные слои, на которых покоится жизнь людей. И при виде их мощи, обвеянный и напуганный их холодом, он отступил с незалеченной раной в сердце, с обидным сознанием человеческого бессилия. И он громко сказал, что революция кончена, и что систематический правительственный террор вступает в свои права. За эту чудную книгу,—в которой, быть может, только та ошибка, что он хотел сказать в ней всю правду, как будто вся правда доступна человеку, как будто в лексиконе человечества есть слова всей правды,—его прозвали чуть ли не предателем. Взволнованное чувство не улеглось еще, оно стало, напротив того, уже, фанатичнее, нетерпеливее и каждую минуту прислушивалось, не раздастся ли набат... Всякий, кто прямо и откровенно говорил, что вечевой колокол народов замолк и надолго, что еще вчера мы шли за бледными призраками ночи,—мог показаться предателем. Но нет, он не был, никогда не был предателем: он был только проницательнее других. Его вина, если вообще тут есть вина в том, что он слишком откровенно признался в своем утомлении и разочаровании революцией, слишком вслух это отметил и этим многих обидел. „Книга твоя,—сказал ему по этому поводу Грановский,—дошла до нас. Я читал ее с радостью, гордым чувством. Но при всем том в ней есть что-то усталое; ты стоишь слишком одиноко и, может, сделаешься великим писателем, но

что было в России живого и симпатичного в твоем таланте, как будто исчезло на чужой почве“.

В этой лучшей, быть может, книге Герцена, несомненно, лучше всего сказалась и его капризная барская натура. Но в то же время сколько проницательности. В этой проницательности огромное проклятие его жизни. Он видел слишком много там, где для душевного спокойствия, для красивого самообмана, для увлечения борьбой и идеей было бы лучше ровно ничего не видеть. Он видел пошлость под маской добродушия, бессилие, прикрытые громкими фразами, трусость за смелыми, красивыми жестами, и полное презрение к труду и народам у тех, кто об'являл себя их вождями. И в грустном раздумьи остановился он перед этой странной и страшной картиной, поразившей его своею преданностью прошлому и мощью своего гранитного основания, С прежней проницательностью, но уже руководимой недоверием и разочароваанностью, он изучал западно-европейскую жизнь и „гегелевского бога, живущего в Берлине“, и величайшего из комиссаров полиции, царившего в Париже, и все больше расходился с ними, расходился—говорю я—и с каким-то капризным раздражением...

Теперь он не жалеет уже мрачных красок. Мрачные июньские дни рассеяли его веру в Европу, в мощную мысль Запада. Что-то говорило ему, что и тут нет выхода. Я приведу некоторые из его капризных европейских впечатлений, но надо помнить, что его оценка Европы—оценка разочарованного и начинающего уже уставать человека, оттого-то она так одностороння, так узка, так прямолинейна, наконец, несмотря на всю свою действительно гениальную проникновенность.

Вместе с последним взрывом романтических страстей и героических проектов обновления, для него исчезла вся прелесть, все обаяние западной жизни. Минута—и он готов был ставить над ней крест, совсем похерить ее, потому что вся она сосредоточилась для него в мещанине, мещанстве, потому что и в 48-м году даже он не увидел ничего другого, кроме парада политической романтики. Он не рассмотрел некоторых мрачных и сердитых фигур, дополнявших картину и не увидел, что эти мрачные и сердитые в эти-то страшные дни поняли, чего могут они ожидать от всех этих шумных и блестящих проектов единства народов, вечного мира, величия свободы

и священных прав собственности. Мещанин и мещанство, и это уже навсегда, закрыли от него Европу.

И, конечно, для него, благородного рыцаря и капризного барина, это мещанство было особенно отвратительно. Но вот его слова:

„Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов—все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов—мещанских. Они составляют целое, т. е. замкнутое, оконченное в себе воззрение на жизнь, со своими преданиями и правилами, со своим добром и злом, со своими приемами и со своей нравственностью низшего порядка... Политический вопрос с 1830 года делается исключительно мещанским, и вековая борьба высказывается страстями и влечениями господствующего сословия, жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки—редакции журналов, избирательные собрания, камеры. Англичане до того привыкли все приводить к лавочной номенклатуре, что называют старую свою церковь—старая лавочка...

Все партии и оттенки мало-по-малу разделились в мире мещанском на два главные стана: с одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающие поступиться своими монополиями, с другой—неимущие мещане, которые хотят вырвать из рук достояние, но не имеют силы, т.-е., с одной стороны—скупость, с другой—зависть. Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, — общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, т. е. собственности или места, и естественно—переход со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как качка парламентских прений — она дает движение и пределы, дает вид дела и форму общих интересов для достижения своих личных целей.

„Мещанские вопросы это само мещанство—грозная, могучая сила. Под его влиянием все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы—

нравами чинными, вежливость—чопорностью, гордость—обидчивостью, парки—огородами, дворцы—гостиницами, открытыми для всех, т. е. для всех имеющих деньги.

„Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелее и невыносимее там, где современное западное состояние наибольше развито, там, где оно вернее своим началам, где оно богаче, т. е. промышленнее. И вот отчего где-нибудь в Италии или в Испании не так невыносимо удушливо жить, как в Англии и во Франции. И вот отчего горная бедная сельская Швейцария—единственный клочок Европы, в которой можно удалиться с миром“.

А тут еще преследования не столько мучительные, сколько назойливые, невозможность действительно где-нибудь основаться и всякое шпионство и доносы. Не брезгливость только, но и нечто более глубокое возмущалось в нем.

Далекая родина и великая работа обновления, готовившаяся и совершавшаяся уже в ней с воцарением Александра II-го, на время подняли усталый дух. При первых же вестях, донесшихся оттуда, с прежней юной силой проснулся в нем борец и романтик[1]). Он пошел навстречу всем неопределенным и смелым ожиданиям, всем прекрасным и высоким надеждам. Великан просыпался и, казалось готов был стряхнуть с себя вековой сон, готов был встать в блеске и силе сказочного богатыря. Герцен по-

---

[1]) Он стал издавать „Полярную Звезду“, затем знаменитый „Колокол“ с еще более знаменитым отделом „Под суд!“ где предавал гласности все проделки административных лиц, не скрывая их имен. Осведомлен он был всегда великолепно и документально, благодаря массе корреспондентов из России. „Колокол“ пользовался огромной популярностью и расходился одно время почти в 4000 экземпляров. Огромное значение имели в нем статьи по крестьянскому вопросу, в которых, защищая общину, мир, право крестьян на землю, Герцен как бы проектировал всесословную волость,—полное слияние верхних и низших слоев общества во имя устройства такого самоуправления, которое освободило бы Русь от опеки бюрократии. Но после 63-го года им как-то перестали интересоваться. С одной стороны, „общество“ не могло простить Герцену его сочувствия полякам, да и без этого оно, пройдя через горнило патриотического одушевления, всегда по существу своему консервативного, просто устало играть в радикализм, с другой—молодежь решительно отшатнулась от заграничной эмиграции, находя, что та устарела и слишком умеренна. Это последнее обстоятельство признал сам Герцен. „Вы нас считаете отсталыми—писал он—мы не сердимся за это, и если отстали от вас в мнениях, то не отстали от вас сердцем, а сердце дает тон“.

верил всему со страстью и самозабвением. Он, который когда-то так зло высмеивал „гегелевского бога, живущего в Берлине, и едва ли не с прусской каской на голове“,—он решил, что этот бог обновленной молодой жизни переселился на бесконечные пространства далекой родины. Сердце жаждало веры, и он отдался ей... Он не сторонился даже мистических ожиданий, и сколько мистики хотя бы в этих вот словах, напр.:

„Мне кажется, что есть нечто в русской жизни, что выше общины и государственного могущества, это нечто трудно уловить словами, а еще труднее указать пальцем. Я говорю о той внутренней, но вполне сознательной силе, которая столь чудесно сохранила русский народ под игом турецких орд и немецкой бюрократии, под восточным татарским кнутом и под западными капральскими палками,—о той внутренней силе, которая сохранила прекрасные и открытые черты и живой ум русского крестьянина под унизительным гнетом крепостного состояния, которая, на царский приказ образоваться, ответила через сто лет колоссальным явлением Пушкина, о той, наконец, силе и вере в себя, которая жива в нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русский народ, его непоколебимую веру в себя, сберегла вне всяких форм, и против всяких форм, для чего?.. покажет время“. Дальше: „Россия является последним народом, полным юношеских стремлений к жизни в то время, когда другие чувствуют себя усталыми и отжившими“.

Новое разочарование не замедлило явиться, но не было уже сил справиться с ним, и он ушел в себя и в ту область, к которой воистину он был предназначен, в художественное творчество, в элегическую лирику своих воспоминаний, в одинокое творчество гения, не нашедшего себе места в жизни и ее борьбе. Результатом этого явились „Былое и думы“. Основой этого замечательного произведения были воспоминания Герцена о личной жизни. Было что вспомнить—и о барских московских кружках 20-х годов, и о годах университетской науки, и о кружке Белинского, и о расколе интеллигенции на западников и славянофилов, и о скучных 20 слишком годах заграничной жизни.

Перед нами целая галлерея портретов, нарисованных рукою мастера, так хорошо и метко характеризующих главные моменты развития нашей мысли, что никакая история не может заменить „Былого

и дум“. Но это лишь фон. Самое ценное в книге это, вероятно, те размышления, которым предается Герцен по поводу рассказанных событий. Я не говорю уже об остроумии этих рассуждений, в них столько же глубины. Все эти рассуждения сводятся в конце концов к одному вопросу: по свободному ли своему желанию, путем ли накопления знаний и опыта устраивает свою жизнь человек здесь на земле, или же есть сила безличная, стихийная, толкающая человечество к неведомому концу? Склонившись перед последней, Герцен, очевидно, признал побежденным себя и свой романтизм. Но здесь та же торопливость, та же капризность, как и в безнадежности выводов „С того берега“.

„Былое и думы“ произведение прежде всего художественное. Собственно это философско-лирическая поэма на почве строго фактической. Здесь человек и его гордый дух, беспокойно мятущийся в положенных на него государством, обществом, историей, личными привязанностями цепях, борется во имя своей внутренней свободы и своего достоинства с человечеством и историей. Человек неподкупен; он не хочет продать себя ни за довольство, ни за спокойствие, ни даже за справедливость. Он ищет свободы и самостоятельности и, не находя их—тоскует. В этом смысл поэмы. Он велик и выражен в дивных художественных образах. Это настоящий байронизм, такой же глубокий, но более разнообразный, чем у Байрона, потому что у Байрона, как у англичанина, было что-то положительное, у Герцена, кроме смутной мистической веры в особое будущее России—не было ничего. „История ничего ему не завещала“. Тем глубже, острее и безнадежнее тьма.

И правда, сколько тоски в „Былое и думы“, сколько порою отчаяния, обрывающегося на резком гениальном сарказме—le sarcasme d'un pendu, как говорил Гюго. И чем дальше—тем больше. Есть еще добрая, ласковая улыбка на страницах детских воспоминаний, есть веселый смех при рассказе об университетских увлечениях, о кружковой жизни 40-х годов, но потом тьма все гуще и гуще и наконец мрак, как предчувствие смерти, но смерти, ведущей не к возрождению, а поглощающей совсем. И тут хохот измученного пыткой человека: „признать, что нет исхода... значит тоже найти исход“...

Вот итог этой богатой, исполненной борьбы и впечатлений жизни, начавшейся так радостно и хорошо.

„Разочарование, усталь, — сказали бы о моих выболевших строках демократические рецензенты. — Да,—разочарование, да, усталь. Разочарование—слово битое, пошлое, дымка, под которой скрывается лень сердца, эгоизм, придающий себе вид любви, звучная пустота самолюбия, имеющего притязания на все, силы— ни на что. Давно надоели нам все эти высшие неузнанные натуры, исхудалые от зависти и несчастные от высокомерия в жизни и романах. Все это совершенно так, *а вряд ли нет чего-нибудь истинного, особенно принадлежащего нашему времени*, на дне этих страшных психических болей, вырождающихся в смешные пародии и пошлый маскарад!“ О, да! конечно, Герцен мог рассчитывать на лучшую участь. Суровость, с какою с ним поступали в юности, обидела эту властную, гордую натуру, и он дал себе клятву не мириться никогда. Роковой шаг эмиграции всю жизнь тяготел над ним своими тяжелыми последствиями. Герцену пришлось скитаться всю жизнь; как Байрон, он не нашел нигде покоя. Швейцария опротивела ему своим мелким, расчетливым мещанством, Англия — своим крупным мещанством, Франция — своей трусливой покорностью Наполеону. А сжечь корабли эмиграции, вернуться в Россию он не мог, не хотелось—да и к чему бы это повело? Бросая его из угла в угол, из страны в страну, из города в город, эмиграция окружала его всегда чужим обществом, или, лучше сказать, это общество было его только наполовину. С эмигрантами других стран он не мог чувствовать никакой кровной связи, свои собственные эмигранты доставляли больше горя, чем радости...

Но почему же он не мог сойтись с эмиграцией ни молодой, ни старой? Да просто по той причине, что его интересы и интересы всевозможных эмигрантов были, в сущности, совершенно различны. Он постоянно смотрел вперед и гораздо больше видел в нем, читал в нем, чем верил в него. Он предсказал неуспех революции 48-го года, франко-германскую войну, торжество политики Бисмарка. Он был настроен на мрачный лад, и что же было делать ему среди фанатиков, ожидавших торжества своих идей, проектов, предложений чуть ли не на завтрашний день.

Ему не было места между ними еще и потому, что в нем крепко сидела черта, общая почти всем деятелям 40-х годов, за исключением одного Белинского,—это черта умственного аристократизма, своего

рода даже пресыщения. Старое барство отзывалось в этом и всегда с невыгодой для тех, кто был его преемником. Возьмите Тургенева и его,—оба они, несмотря на весь демократизм своих убеждений, никак не могли сойтись с теми людьми, которые были плоть от плоти и кровь от крови демократии. Их коробили манеры, язык, замашки „новых людей“, выступивших в России на сцену в шестидесятых годах. Они искали изящества, особенной утонченности чувств и идей и, разумеется, не находили их у деятелей, явившихся на смену их поколению. Но больше всего их мутило—и это настоящее слово—от догматизма мысли, от всего, что провозглашалось с безусловной самоуверенностью и с ненавистью к какому бы то ни было ограничению, возражению, колебанию.

Они изведали слишком много, их жизнь была слишком богата, они не признавали никакого подчинения. В их взгляде всегда слышится пресыщение и утомленность. Художественная закваска, своего рода дилетантизм жизни ставил между ними и истинными „практиками“ непреодолимую преграду — и это, несмотря на искреннее желание обеих сторон сговориться, несмотря даже на общность теоретических убеждений.

Кем же был он в конце концов, этот таинственный человек и странный незнакомец русской жизни?

Он был, думаю, идеалист и романтик. Он преувеличивал силы людей и их увлечения, вызванные высокими чувствами. Он думал, что достаточно одного мгновения, чтобы переродить нашу землю и избавить ее от зла, несправедливости и насилия, и здесь-то жизнь нанесла самые сильные и жестокие удары его сердцу... Грозная и неожиданная восстала перед ним историческая действительность, стихийный ход ее развития, и он должен был признать ее могущество, но, и признав его, он продолжал видеть в ней врага. Отсюда его разочарованность и усталь, его проклятия по адресу исторического хода вещей...

„Кто-то,—говорит он,—обещал, что все в мире будет изящно, справедливо и итти, как по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и исторического развития, пора догадаться, что в природе и истории много случайного, глупого, неудавшегося, спутанного. Разум, мысль—это заключение; все начинается тупостью новорожденного, возможность и стремление лежат в нем, но прежде, чем он дойдет до развития и сознания—

он подвергается ряду внутренних и внешних влияний, отклонений, остановок...

„Сознание бессилия идеи, отсутствие обязательной силы истины над действительным миром огорчает нас. Мы скорбим, болеем. Боль эта пройдет со временем, трагический и страстный характер уляжется, ее почти нет в Новом Свете—Соединенных Штатах.

„Но чему-нибудь послужили и мы. Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Наше человечество протрезвляется, мы—его похмелье, мы—его боли родов.

„Мы знаем, как природа распоряжается с личностями: после, прежде, без жертв, на грудах трупов—ей все равно, она продолжает свое, или так продолжает, что̀ попало,—десятки тысяч лет наносит какой-нибудь коралловый риф, всякую весну покидая смерти забежавшие ряды. Полипы умирают, не подозревая, что они служили прогрессу... Чему-нибудь послужим и мы... Войти в будущее, как элемент—не значит еще, что̀ будущее исполнит наши идеалы. Рим не исполнил ни Платонову республику, ни вообще греческий идеал. Средние века не были развитием Рима. Современная западная мысль воплотится в историю, будет иметь свое влияние и место, так как тело наше войдет в состав травы, людей. Нам не нравится это бессмертие, что же с ним делать?..“

Он, идеалист, дошел и, конечно, слишком скоро, слишком поспешно и, повторяю, слишком страстно до бессилия идеи. Это не его ошибка, это ошибка целого поколения, выросшего на грезах романтики. Он не знал, что, кроме идей, которым гордые люди предназначили роль руководительниц истории и жизни, ее законодателей,—идей высоких и славных, стремящихся свернуть действительность с ее пути,—есть другие, более скромные, но и могущественные зато... Эти идеи проникнуты сознанием, что только *сила* побеждает в жизни, что свою силу они могут взять только из действительности и соответствия с ней, с ходом ее развития, ее необходимыми итогами, которые, все равно, хотим ли мы этого или не хотим, она вносит, хотя бы *кровавыми цифрами*, в приходо-расходную книгу человечества...

„Теперь, граф Бисмарк,—ваше дело“... Это стон и крик души человека, выросшего на грезах и утопиях, это отчаяние художника, которому кто-то, грубый и невежественный, испортил чудную картину, нарисованную его же воображением, раскрашенную дивными красками горячего и благородного чувства... И он, художник, ушел сам в себя обиженный и оскорбленный, ушел и потому еще, что история не исполнила его „святого каприза“...

Есть много драм в жизни человека, есть много драматических коллизий, но и эта *драма столкновения страстной мечты с суровой и безличной историей не меньше других*. Кто же для кого, в конце концов,—история для человека или человек для истории и ее неведомых, может быть, и совсем несуществующих целей?... Неужели вся наша работа, наши мечты и наши стремления—простая иллюзия, прихотливая игра стихийных сил природы на поверхности земного шара?

Он склонился к последнему ответу в минуты тяжелого раздумья, когда он остался почти одиноким в жизни, одиноким среди людей и истомленный работой неверующего духа.

Он говорил: „Мы знаем, как природа распоряжается личностями: после, прежде, без жертв, на груде трупов—ей все равно, она продолжает свое, или так продолжает, что попало“...

Ему страшно было написать такие слова, потому что святая святых его настроения, его романтического чувства, его миросозерцания заключалась в слове „человек“. В этом он и Белинский шли рука об руку.

На самом деле, в их натурах и убеждениях было по существу много общего. Свою личную самостоятельность они оба ценили выше всего, это право самостоятельности они оба распространяли на всех людей, они оба искали для нее опоры в действительности и находили ее в образовании, науке, материальной обеспеченности. В слове „человек“ для них заключалась разгадка жизни, звучало что-то святое. Они как бы впитали в себя знаменитый афоризм Новалиса: „Помни, что когда ты дотрогиваешься до руки человека, ты дотрогиваешься до колонн храма, в котором обитает божество“. И когда оба они видели храм, это человеческое сердце загрязненным и униженным, эту жизнь его, сведенную к приходо-расходной книге, к мелким и пошлым заботам „чтобы не быть хуже других“—они скорбели то сильно и горько, то в

тяжелом раздумьи. И в это же время оба они одинаково были исполнены веры. То мрачное, тоскливое настроение, которое впоследствии резко окрасило все миросозерцание Герцена и которому он слишком даже подчинялся по излишней требовательности своей натуры, еще таилось в глубине его души и редко и как бы случайно прорывалось наружу.

Да, личность, ее свобода и самостоятельность было то „все“, что он хотел и искал в жизни. Это был его бог и кумир,—которым ни для кого и ни для чего он не хотел жертвовать. Идея личности и личного развития, вообще говоря, проходит красною нитью через все написанное им,—или, лучше, через все, им продуманное и пережитое. В своем университетском кружке он увлекался Сен-Симоном, а не Гегелем или Шеллингом; пройдя через необходимую стадию мистицизма, он быстро освободился от него, увлекшись философией Фейербаха. Не теоретически только, а и органически ненавидел он крепостное право и произвол. Атмосфера современной ему русской жизни заставила его эмигрировать за-границу. Во имя личности, ее прав, ее свободы, он полемизировал со славянами. В защите своей личности и личного достоинства — он видел первую ступень нравственности. Всякая сильная, оригинальная, ярко выраженная личность неотразимо привлекала его к себе. Он—гордый, самолюбивый и властный, преклонялся перед Гарибальди, а в прошлом—перед Петром. И в Прудоне привлекало его не столько его учение, сколько то, что Прудон был всегда сам собой и даже один. С той же точки зрения—личности, трактует он философию Прудона. Когда тот утверждал, что все должно служить торжеству справедливости, он спрашивал: „как, свергнув Молоха-государственность, вы хотите поставить на его место Молоха-справедливость?“ Оттого же он так глубого ненавидел всякую доктрину и самодовольство доктринеров, потому что знал, что нет больших цепей для человека, как цепи догматического учения, за которым не слышно ни слез, ни стонов...

Он знал и верил, что свободный человек должен населять свободную землю, и если он отчаялся в конце концов в возможности достигнуть этой свободы—то это было не его личной ошибкой, а ошибкой всего его поколения, поколения романтиков

общественности, поколения наших гуманистов, гениальнейшим представителем которого он был.

Не стану пока ничего говорить о Кавелине, тоже человеке 40-х годов: он тоже был напуган 60-ми годами. Но довольно и приведенных фактов. Ясно, что разрыв между двумя поколениями должен был произойти. Тут встретились два миропонимания, две разных натуры, встретились Тургенев с Решетниковым, Герцен с Чернышевским, барин с разночинцем. И они говорили друг с другом на разных языках. Младшее в душе смеялось над старшими, язвительно (как, напр., Добролюбов и Чернышевский) упрекало их в прекраснодушии, в том, что они способны лишь на красивые слова, а не на смелые поступки, что они, как русский дворянин на rendez vous (герой „Аси“), готовы ретироваться от дела назад в самую решительную минуту. И, разумеется, чем дальше развивалось движение 60-х годов, чем более резкие и угловатые формы принимало оно—тем разрыв становился глубже, непримиримее. Даже то большое общее, что было между людьми 40-х и 60-х годов, было забыто; на сцене осталась вражда.

Н. П. Огарев, (1813—1877) поэт, друг Герцена, в конце-концов эмигрант, как и он, созидатель и сотрудник „Полярной Звезды“, „Колокола“ и т. д., является одним из самых симпатичных и красивых представителей талантливой группы людей 40-х годов. Имя Огарева знают все, но его личность как бы утонула в ярких лучах блестящей личности Герцена и остается все еще малоизвестной, все еще в тени. Несколько робкий и застенчивый, несмотря на свое огромное богатство и очень знатное дворянское происхождение, совестливый в лучшем и высшем смысле этого слова—он не производит импонирующего, яркого впечатления. Его убеждения те же, что у Герцена—та же вера в науку и мощную мысль Запада, то же разочарование в европейском строе и порядках, то же отрицание, не без ненависти к дореформенной России. Это впечатлительный, чуткий, духовно-красивый русский барич несколько обломовского типа и в своей жизни, где он постоянно действовал по чужой инициативе и под чужим влиянием (охотно, напр., на ряду с Герценом подчиняясь влиянию и Мих. Бакунина).

„У Огарева,—говорит один из новейших его биографов,—не было самого необходимого—выдержки для труда; поэтому от него осталась масса набросанных планов, начатых работ, да и те не сохранились до нас в цельном виде; мы узнаем о них по письмам; цельного же осталось одно стихотворение да несколько стихотворных повестей и поэм — вообще очень мало известных в России".

Огарев был поэтом преимущественно личной своей интимной жизни, своей дружбы с Герценом, но и к своему несомненному поэтическому дарованию он, ценя его, относился небрежно, пожалуй, даже более небрежно, чем Хомяков. Он только набрасывал и редко-редко исправлял. Он писал как будто для себя и для близких друзей, но на то, чтобы заковать свою работу в броню обработки, у него не доставало ни энергии, ни охоты. Не он виноват в этом, виноват весь строй жизни среди русского барства, бездеятельный и распущенный, не имевший ничего общего с трудом, презиравший даже его. В этой атмосфере богатейшие замыслы обращались в маниловские мечтания, порывы рассеивались где-то в междупланетном пространстве, и какие большие, важные перспективы открывают нам биографии таких прекраснодушных людей, как Огарев, в прошлую историю нашего дворянства. Воля оказывалась парализованной, анемичной с самого детства, и никакое образование, никакое благородство натуры не могли заменить ее.

А между тем для поэзии у Огарева были и достаточные средства и богатейший материал. Он вырос под влиянием немецкой идеалистической философии и социальных утопий; в его стихах немецкий идеализм и французский социализм впервые подали друг другу руки во имя протеста против существовавшего тогда в России нравственного и общественного строя. Недовольство нравственными и общественными условиями той среды, которая его окружала, опровержение догматов официальной народности отвлеченными началами умозрительной философии и социалистическими теориями Запада, тщетное стремление успокоиться в созерцании природы и грустный фантастический колорит—вот отличительные признаки его недоразвившейся лирики. В ней лучше всего—ее протестующее настроение, ее порывы к свободе (напр., „Искандеру" 1858 г.), ее ненависть к крепостни-

честву. И при большей настойчивости со стороны поэта она могла бы иметь серьезное общественное значение. Кончил Огарев тем же, что и Герцен—résignation: это не примирение, конечно, а только признание того, что существуют в жизни огромные могущественные силы, перед которыми поневоле склоняется человек.

Эта résignation иногда с пессимистической, иногда с скрытно-негодующей (как у Герцена) окраской должна считаться одним из характернейших, заключительных мотивов нашей старо-барской литературы.

Лучшими вещами Огарева считают его „Монологи", „Старый дом", его стихотворения „Купанье", „Искандеру", „У моря" и некоторые лирические пьесы.

И. А. Гончаров. (1812—1891 г.). С каким-то опасением, даже неохотой,— иногда как будто просто из вежливости люди присоединяют имя Гончарова к именам Тургенева, Толстого, Достоевского и ставят его таким образом в первом ряду нашей литературы, хотя мысль о том, что он едва ли принадлежит к этому первому ряду, смущает их. „Гончаров,—писал еще в сороковых годах Аполлон Григорьев,—дарование примечательно яркое, но, да позволено будет сказать прямо, дарование чисто внешнее, без глубокой мысли в задатке, без истинного стремления к идеалу". Строго говоря, это общее мнение. Что-то недеятельное, что-то далеко отстоящее от *ищущего* течения русской литературы видим мы в Гончарове, и это больше всего удаляет от него читателей, к счастью—не отстраняет, потому что автор „Обломова" величина во всяком случае крупнейшая. Эта отдаленность видна столько же в литературной деятельности, сколько и в личной жизни Гончарова.

Гончаров—купеческого происхождения, но барского воспитания. Его отец—богатый симбирский купец, умер рано, оставив после себя крупное состояние, благодаря которому Гончаров жил и вырос в совершенно помещичьей обстановке. Он получил прекрасное домашнее, а затем и общее образование—сначала в пансионе, а затем в московском университете в лучшую его годину, когда там процветало шеллингианство и романтизм. Очень сдержанный по

характеру, Гончаров отдал дань юности своим увлечением романтизмом. Но и здесь дальше прекраснодушия и кое-каких туманных грез о будущем он не пошел. После университета он немедленно определился в чиновники и тянул эту лямку всю жизнь до самой смерти, за исключением того промежутка времени, когда он на фрегате Паллада совершил свое кругосветное путешествие. В жизни его не было ни волнений, ни передряг, ни сильных привязанностей. Он держался в стороне от жизни — даже от литературы, в которую вступил в 1847 г., напечатав в „Современнике" свою „Обыкновенную историю". В 1858 г. появился, как великолепное создание его медлительного, но вдумчивого творческого духа — „Обломов", в 1868 — „Обрыв". Этими тремя романами определяется и исчерпывается его литературное значение.

„Обыкновенная история" сразу обратила общее внимание на молодого писателя и поставила его на очень заметное место. Но при ее появлении Белинский уже заметил: „Гончаров — поэт, художник, больше ничего; у него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю, он как будто думает: кто в беде, тот и в ответе".

На эти скрытые упреки и скрытые требования Белинского — Гончаров мог отвечать, разумеется, только своей улыбкой. Он вообще не понимал этого кипения, этого искания правды жизни, этого проповеднического жара. Жизнь представлялась ему интересной, но не захватывающей, поучительной, конечно, но не такой, которая бы непременно требовала подвига. Он любил ее тихую и ровную „с постепенным движением вперед" и морщился, когда она вдруг выходила из русла, как это случилось в 60-х годах. Конечно, ничего крепостнического, ничего реакционного в его миросозерцании вы не найдете и следа, он просто не понимал, зачем это люди слишком уж горячатся.

Старую русскую жизнь он любил не в ее безобразных барских или бюрократических проявлениях, — а в ее укладах, строго определенных, ясно очерченных, и любовался ими издали, как художник; в новой нахлынувшей волне он просто не умел, не мог разобраться, хотя и понимал, что старая жизнь свое последнее слово сказала и должна сойти со сцены. И должна сойти прежде всего потому, что она была слишком

праздная, слишком ленивая, слишком недеятельная. Прежде же всего надо работать, работать осмысленно и упорно—это Гончаров знал и это было камнем краеугольным его миросозерцания. Характерный мотив нашей литературы — мотив больной совести, создавший столько трагических фигур среди наших писателей, остался неизвестен Гончарову. Его творчество носит на себе явные следы его умиротворенной, тихой от начала и до конца и обеспеченной жизни.

Крепостное право, крепостническая обстановка не были воспитательной школой для Гончарова, как, напр., для Тургенева или Герцена. Он не замечал их ни в детстве, ни в юности, а впоследствии относился к ним с полным благодушием. Ни одно отрицательное чувство не успело зародиться и вырости в его душе: легко и спокойно принял он свою барскую долю, не задавая себе тревожного вопроса о своем праве; легко и спокойно до конца дней своих пользовался он привилегиями и преимуществами. Натолкнуть его на сомнения, недовольства, протесты—было некому; даже Якубов, (его воспитатель) хотя и просвещенный человек, хотя и масон, держался примирительного взгляда на окружающее.

На литературное поприще он выступил поздно.

Философию своей „Обыкновенной истории“ он сам превосходно растолковал в своих „Литературных воспоминаниях“: „В борьбе дяди с племянником,—говорит он,—отразилась и тогдашняя только что начинавшаяся ломка понятий и нравов — сантиментальности, каррикатурные преувеличения чувств дружбы и любви, поэзия праздности,— семейная и домашняя ложь напускных, в сущности небывалых чувств (напр., любви с желтыми цветами старой девы-тетки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостеприимство и т. п.

Словом, вся праздная, мечтательная и аффектационная сторона старых нравов, с обычными порывами юности — к высокому, великому, изящному, к эффектам, с жаждою высказать это в трескучей прозе, всего более в стихах. Все это отживало, уходило: являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезвого, делового, нужного. Первое, т.-е. старое исчерпывалось в фигуре племянника—и оттого-то он вышел рельефнее, яснее. Второе, т.-е. трезвое сознание необходимости дела, труда, знания, выразилось в дяде; но это сознание только нарождалось, показа-

лись первые симптомы, далеко было до полного развития, и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-где, в отдельных лицах и маленьких группах, и фигура дяди вышла бледнее фигуры племянника... Адуев (племянник) кончил, как большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать в службе, писал и в журналах (но уже не стихами) и, пережив эпоху юношеских волнений, достиг положительных благ, как большинство, занял в службе прочное положение и выгодно женился; словом, обделал свои дела. В этом и заключается „обыкновенная история“.

Гораздо глубже „Обломов“.

Добролюбов первый понял и раз'яснил, что тут дело не в герое романа—Обломове, а в общественном явлении—обломовщине, этой отрицательной квинт-эссенции нашего мало деятельного, растительного и мелочного феодализма, т.-е. крепостного барства.

„Обломовка,—говорит он,—есть наша прямая родина, ее владельцы—наши воспитатели, ее триста Захаров—всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово Обломовке“... „Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, я уже с первых слов его знаю, что это Обломов“. „Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он—Обломов“. „Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он—Обломов“. „Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали,—я думаю, что это все пишут из Обломовки“. „Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода,—я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку“.

Обломовщина для Добролюбова—эта капризная лень, барская изнеженность, созданная услугами трехсот Захаров и наложившая как бы неизгладимое пятно на всю нашу культурную интеллигентную жизнь.

Разумеется, Добролюбов не находит в душе ни крупицы симпатии к Обломову и обломовщине. Он рассматривает этот тип

исключительно с точки зрения его общественной пригодности. При такой постановке вопроса обвинительный приговор неизбежен. Ведь нельзя же не видеть, что пухлый, красивый, добрый Илья Ильич—не более как тунеядец чистой воды, что рабочее начало не привилось к нему, да и не могло привиться, раз к его услугам триста Захаров.

Писарев в своей юношеской, но блестящей статье „Обломов" уделяет гораздо больше места психологической критике.

„Мысль Гончарова,—говорит он,—проведенная в его романе, принадлежит всем векам и народам, но имеет особенное значение в наше время, для нашего русского общества. Автор задумал проследить мертвящее, губительное влияние, которое оказывают на человека умственная апатия, усыпление, овладевающее мало-по-малу всеми силами души, охватывающее и сковывающее собою все лучшие, человеческие, разумные движения и чувства. Эта апатия составляет явление общечеловеческое, она выражается в самых разнообразных формах и порождается самыми разнородными причинами, но везде в ней играет главную роль страшный вопрос—зачем жить? к чему трудиться?—вопрос, на который человек часто не может найти себе удовлетворительного ответа. Этот неразрешенный вопрос, это неудовлетворенное сомнение истощает силы, губит деятельность: у человека опускаются руки, и он бросает труд, не видя ему цели. Один с негодованием и желчью отбросит от себя работу, другой—отложит ее в сторону тихо и лениво, один будет рваться из своего бездействия, негодовать на себя и на людей, искать чего-нибудь, чем можно было бы наполнить внутреннюю пустоту, апатия его примет оттенок мрачного отчаяния, она будет перемежаться с лихорадочными порывами к беспорядочной деятельности и все-таки останется апатией, потому что отнимет у него силы действовать, чувствовать и жить. У другого равнодушие к жизни выразится в более мягкой бесцветной форме, животные инстикты тихо, без борьбы выплывут на поверхность души, замрут без боли высшие стремления, человек опустится в мягкое кресло и заснет, наслаждаясь своим бессмысленным покоем, начнется вместо жизни прозябание, и в душе человека образуется стоячая вода, до которой не коснется никакое волнение внешнего мира, который не потревожит никакой внутренний переворот... Во втором случае является апа-

тия покорная, мирная, улыбающаяся, без стремления выйти из бездействия, это обломовщина, как назвал ее Гончаров, это болезнь, развитию которой способствует и славянская природа, и жизнь нашего общества“.

„...Илья Ильич стоит на рубеже двух взаимно-противоположных направлений: он воспитан под влиянием обстановки старорусской жизни, привык к барству, к бездействию и к полному угождению своим физическим потребностям и даже прихотям; он провел детство под любящим, но неосмысленным надзором совершенно неразвитых родителей, наслаждавшихся в продолжение нескольких десятков лет полной умственной дремотою, в роде той, которую охарактеризовал Гоголь в своих „Старосветских помещиках“. Он изнежен и избалован, ослаблен физически и нравственно, в нем старались, для его же пользы, подавлять порывы резвости, свойственные детскому возрасту, и движения любознательности, просыпающиеся также в годы младенчества: первые, по мнению родителей, могли подвергнуть его ушибам и разного рода повреждениям, вторые могли расстроить здоровье и остановить развитие физических сил. Кормление на убой, сон в волю, поблажка всем желаниям и прихотям ребенка, не грозившим ему каким-либо телесным повреждением, и тщательное удаление от всего, что может простудить, обжечь, ушибить или утомить его — вот основные начала Обломовского воспитания. Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, чего не успели сделать труды родителей и нянек. На тепличное растение, не ознакомившееся в детстве не только с волнениями действительной жизни, но даже с детскими огорчениями и радостями, пахнуло струей свежего живого воздуха. Илья Ильич стал учиться и развился настолько, что понял, в чем состоит жизнь, в чем состоят обязанности человека. Он понял это умом, но не мог сочувствовать воспринятым идеям о долге, труде и деятельности. Роковой вопрос: к чему жить и трудиться? вопрос, возникающий обыкновенно после многочисленных разочарований и обманутых надежд, прямо сам собою, без всякого приготовления, во всей своей ясности представился уму Ильи Ильича... Образование научило его презирать праздность; но семена, брошенные в его душу природой и первоначальным воспитанием, принесли плоды“.

Эти плоды известны—постоянное лежание, лень, развившаяся до полного безволия, и болезненный страх перед требованиями действительной жизни.

Болезнь Обломова была бы не более как интересным патологическим случаем, если бы Гончаров не показал нам, как глубоко пущены ее корни и в русскую жизнь, и в русскую историю. Анализируйте эту болезнь, и вы увидите, что источник ее—услуги трехсот Захаров и легкая, праздная жизнь на чужой счет. Обломов—высшее достигнутое в нашей литературе обобщение дореформенной, барской России.

Обломов—барин. С дивным комизмом выводит Гончаров на сцену его сословные взгляды в разговоре с Захаром, который имел несчастие в спорах о переезде на квартиру сказать, что „другие-де переезжают"... Этим приравнением себя к другим Илья Ильич обиделся до глубины души.

— „Другой" работает без устали, — негодовал он,—бегает, суетится, не поработает, так и не поест, другой кланяется, другой просит, унижается. А я? Ну-ка, реши: как ты думаешь, „другой" я—а?.. Да разве я мечусь, разве я работаю? Мало ем что ли? Худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать—есть кому. Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава Богу. Стану ли я беспокоиться? Из чего мне? И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мною? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался".

На сущности всех этих выражений и основывается сословная гордость Обломова. И это не сатира. Илье Ильичу на самом деле больно и странно было бы очутиться в толпе „других", работающих, худощавых, полуголодных, видевших нужду и лишения. „Белая кость", пухлое нежное тело, материальная обеспеченность—все это, с его точки зрения, необходимые принадлежности звания. Если бы он мыслил последовательно, если бы не воспоминания детства, не запас—почти неистощимый—добродушия, он не мог бы и к своему другу Штольцу относиться иначе, как с презрением...

Образование расширило мысль и симпатии Обломова, он мечтает даже о всеобщем благополучии, но это не мешает ему оби-

жаться, и притом глубоко, искренно обижаться, когда его приравнивают к разношерстной суетливой толпе разночинцев. Он барин, но барин эпохи вырождения, сословная гордость которого опирается не на положительные заслуги, а на отрицательное превосходство над другими... Счастья он не может понимать иначе, как сытое довольство, как физическое блаженство.

„Теперь—пишет Гончаров—Обломова поглотила любимая мысль, он думает о маленькой колонии друзей, которые поселятся в деревеньках и фермах, в пятнадцати или двадцати верстах от его деревни, как попеременно будут с'езжаться каждый день друг к другу в гости, обедать, ужинать, танцовать, ему видятся все ясные дни, ясные лица, без забот и морщин, смеющиеся, круглые, с ярким румянцем, с двойным подбородком и неувядающим аппетитом, будет вечное лето, вечное веселье, сладкая еда, да сладкая лень“... Добролюбов пытался свести к типу Обломова, к воплощению вырождающегося, больного барства, всех „героев нашего времени“—Онегиных, Печориных, Рудиных, Бельтовых. Отчасти это справедливо. Обломовская закваска есть у всех поименованных героев, но только закваска. Генеология Ильи Ильича несколько другая. Он—прямой сын и наследник Манилова или Тентетникова, дедом или прадедом его можно считать Митрофанушку Простакова, в близком родстве с ним состоят московские славянофилы, не Хомяков, не Аксаков, разумеется, а те, кто пониже, напр., Загоскин.

Обыкновенно говорят: „Обломов—это старая крепостная Россия, 19-го февраля 61-го года Обломова не стало“. Но даже и теперь это справедливо только отчасти. Точно ли совершенно и окончательно умер Илья Ильич?

Присмотритесь повнимательнее к жизни и вы, пожалуй, придете к заключению, что Обломов совсем умереть и не может. Нет, Обломов—тип не только временный, исторический, а племенной, стереть который из жизни может лишь работа многих поколений.

В юные годы мы все зачитывались романом Гончарова, не могли оторваться от дивных страниц, посвященных сну Обломова, весело смеялись над беспечностью и гомерическою ленью этого вечно лежащего человека, напряженно следили за его отношениями к Ольге и немного даже плакали, услышав о его ужасно скучной смерти. Потом, когда мы стали постарше и вернулись к Илье Ильичу, перечли о нем, нам стало грустно. Нас испугала

резкая правда романа, но особенно стало ясно то, что добродушный Илья Ильич, вся деятельность которого заключается в лежании, вся красота в добродушии, все жизненное назначение в тунеядстве, никак не умещается в рамках романа, а выходит из них, захватывает как будто большую полосу жизни, расплывается по всем общественным отношениям. Мы увидели, словом, что герой романа совсем не Обломов,—какой же он герой,—а *обломовщина*, что эта обломовщина удивительно как близка нам и понятна до того, что мы сразу и невольно начинаем отыскивать в себе обломовские черты и, к нашему ужасу, находим их.

А реформа Петра Великого? Ведь достаточно краткого учебника, чтобы понять, какие удары нанесены обломовщине даже самыми маленькими мерами великого преобразователя. Вся же его реформа—это борьба с обломовщиной не на живот, а на смерть, это живое отрицание ее во всем, это преследование ее в самых затаенных уголках души человеческой и общественной жизни. Однако, обломовщина осталась, и через 200 лет после смерти Петра является перед нами во всем своем великолепии... Ведь вот, кажется, сотни лет муштруют нас по части государственности и исполнения гражданских обязанностей. А кому вошли они в плоть и кровь? Кто из нас—из громадного большинства—способен на какую-нибудь инициативу, не обладает глубокою кротостью, мягкодушием и ленью Обломова, на почве которых возможны всякие посягательства на нашу самостоятельность, личное счастье, счастье близких нам людей? Как угодно, Обломов глубоко засел в нас, и даже в одном из недавних наших движений—толстовщине—трудно не заметить черт, свойственных обломовскому типу.

Толстовщина—это последнее слово, сказанное русскими людьми после краткого периода воодушевления,—по духу своему как нельзя лучше напоминает Илью Ильича и присных его.

Толстовцы хотят отрешиться от всех форм, выработанных государственной жизнью, от культуры и цивилизации, гражданского общества и семьи, деятельности воли и разума; они могут мудрить сколько им угодно, но их идеал—растительная жизнь. Они—люди усталые, не терпящие ни рынка, ни конкуренции, прямо себя рекомендуют таковыми. Их привлекает нирвана, полное спокойствие души, полная неподвижность и однобразие бытия. Бороться с

жизнью и ее злом они не намерены; уставши, они уходят на покой в деревню, на подножный корм, где могут дышать свежим воздухом, спать спокойным сном. Труд—простая необходимость, имеющая целью только поддержать жизнь, а не совершенствовать ее: если бы можно было питаться одним воздухом, они отбросили бы работу, как отбросили науку и цивилизацию.

Да, Обломов жив. Он возрождается с каждым поколением, меняя свою форму, но в глубине души пребывая тем же мягкосердечным, горизонтальным человеком, не видящим и не понимающим смысла деятельности, во имя покоя готовым отрицать развитие,

Обломов жив, и со стороны даже жалко смотреть, как его муштруют, дисциплинируют, открывают ему европейскую науку и европейские идеалы. Он лежать хочет, а его гонят в департамент, заставляют сочинять проекты, усовершенствовать одно, переделывать другое, бороться в жизни... Бедный горизонтальный человек, которому все эти призывы к деятельности ужасно надоели и которому, вероятно, спать хочется, на все эти призывы и воззвания отвечает: „пустите душу на покаяние, хочу опроститься“.

В любимом детище Гончарова—его романе „Обрыв“ все хорошо, что относится к прошлому (бабушка, Марфинька, провинциальная глушь, Райский, как герой 40-ых годов) и все несовершенно, что относится к настоящему и будущему (Волохов, Тушин). По собственному признанию Гончарова, трудно было разбираться в неопределившихся фигурах современности. Он и не разобрался в них.

Общие замечания о литературе 40-ых годов. Эта превосходная, исполненная гуманности литература была, за одним лишь крупным исключением (Белинский), барской. Говоря так, я разумею лишь высшие слои литературы—те, которые вошли в ее историю и эту историю создали. Низшие теперь меня не интересуют, но в высших, говорю я, преобладает барин, барские или проникнутые барством идеи, барское настроение, которое бросало свой облик даже на такие вот, повидимому, общеинтеллигентные чувства, как ненависть к крепостничеству, как стремление к личной свободе. Заслуживает ли это обстоятельство внимания? Думаю, что да, и очень доволен, что не один я так думаю, хотя знаю, что это далеко не обычная точка зрения. Люди сороковых годов, этот

цвет нашей интеллигенции—так дороги нам и так высоко стоят в наших глазах, что мы охотно забываем о их сословном происхождении, смотрим на них просто как на людей, чутко прислушивавшихся к голосу своей человеческой чести и совести и смело вставших по его призыву на защиту прав и интересов закабаленной массы.

Так оно и было в действительности. Но все же барство, как традиция, как ряд воспоминаний и опытов, укрепленных и кристаллизованных наследственностью, как сумма впечатлений, полученных от известного воспитания, в известной обстановке—является таким огромным психологическим фактом, что забывать о нем умалчивать о нем более чем странно. И зачем? Разве в этом обстоятельстве есть что-нибудь постыдное, принижающее? Разве для кого-нибудь секрет, что в такой малокультурной, тем более крепостной стране, как Россия, все образование и даже возможность образования вплоть до эпохи реформ сосредоточивалось в одном классе общества? Разве сообразно с чем-нибудь предположение, что человек путем развития может до конца стереть с своего духа *всю* наследственность, *все* впечатления детства, *все* влияние обстановки? Требовать этого—значит требовать большего, чем доступно оно природе человека. Мне думается, что заслуга людей 40-ых годов не в том, что они перестали быть барами, а в том, что свою барскую культуру они довели до высшей ступени ее развития, что, оставаясь барами, они не защищали кровных интересов своего сословия, а, напротив, боролись с ними и их представителями, как и сколько могли, что защищали они и чужие интересы, напр., закабаленной массы, но, конечно, защищали их по-барски.

Вот что пишет по этому поводу г. Протопопов:

„Мы, русские, гордимся своей литературой, в особенности так называемой изящной,—и по праву: она блестит такими яркими и могучими талантами, которые сделали бы честь любой европейской литературе. Пересчитаем по пальцам эти таланты, принимая во внимание только их непосредственную художественную силу, без всякого отношения к их относительному знанию, их направлению и тенденциям: Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Писемский, Гончаров, Лев Толстой, Некрасов, Салтыков и, может быть, Сергей Аксаков и Григорович—вот корифеи нашей художественной литературы, вот те наши классики, произведения которых составляют нашу гордость и славу. И что ж? Факт в своем роде единственный, ни в какой другой стране небывалый: все эти первоклассные литературные деятели принадлежат к одному и тому же общественному слою, все они без исключения вышли из стародворянских, коренных

помещичьих родов. По рождению, по воспитанию, по семейным традициям, по всем бесчисленным нитям, связывающим человека с средою, они—*господа*, в буквальном значении этого слова. Это роскошные цветки, выросшие среди лютой зимы, в оранжерейной атмосфере счастливой, сытой обеспеченности, на тучном черноземе крепостного рабовладельчества. Нужно ли говорить, что в нашей метафоре нет даже малейшей тени упрека этим писателям? За *общие* факты не может быть *личной* ответственности. Напротив, высшая заслуга и лучшая красота большинства этих писателей в том и состоит, что они, вопреки своим сословным интересам и несмотря ни на какие традиции, говорили вслед за своим учителем и главою:

Увижу ли, друзья, народ освобожденный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

„Нравственные идеалы были для них всего дороже, духовные интересы стояли в их глазах ближе и выше интересов материальных, и в этом отношении, с этой точки зрения, они безукоризненны и неуязвимы. Большинство из них сделали все, что можно было ожидать даже от лучших, совершеннейших людей в их положении—и сострадали, жалели, любили и защищали, как могли, кого могли, кого могли просто забыть и не замечать тех, кого мало кто любил и жалел. Почти каждый из них чист от нареканий этого рода, почти к каждому из них применимы слова их вождя:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его *увенчанную* тень.

„Пусть же спят спокойно в своих гробах эти первые передовые деятели во имя „прекрасной зари“ и, конечно, „освобожденный народ“ не развенчает их теней, не оскорбит „укором“ их памяти.

„Слаб человек и охотно преклоняет он ухо к внушениям злого духа эгоизма и только в редкие, лучшие минуты своего бытия возвышается до чистого альтруизма, до полного забвения своего себялюбивого, неугомонного, вечно недовольного и вечно требовательного я. Дореформенная литература наша была порождена не интересами, а идеалами. Благородные, гуманные, совестливые люди восставали против исторической несправедливости, которой они в то же время были много обязаны—и своим блестящим образованием, и своею независимостью и всем изяществом своего комфортабельного существования. Добрые, сострадательные, чуткие люди проливали слезы над чужой бедой, над горем, которое—язвительная ирония судьбы—собственно им, лично им, приносило или выгоду в роде „легкого оброка“ и „ярема барщины старинной“, или цветы удовольствия в роде „младого и свежего поцелуя смуглянки черноокой“. Действие этого разлада, этого отсутствия гармонии между идеалами и интересами не могло не сказаться умеряющим образом и на силе протеста этих людей, не могло не отразиться невыгодно и на правде их картин и образов. Повторяю опять-таки, что не в суд и не осуждение подчеркиваю я это обстоятельство, а исключительно в видах исторической и психологической точности“.

Даже и в этих пределах изучение барской психологии должно занять почетное место в истории русской литературы, но эти пределы очень и очень раздвинутся, если мы сравним литературу 40-ых годов с литературой 60-ых, созданной *разночинцами* прежде всего, если вспомним, что в 60-х годах от литературы должны были отшатнуться такие ее деятели, как Тургенев, Гончаров, Григорович, Кавелин, Герцен, Огарев, Фет и т. п. И отшатнулись они потому, что на сцену выступил другой слой общества, с своими требованиями, задачами, стремлениями, взглядами на науку и искусство, на красоту и материальную обеспеченность, на горе и радости жизни, выступил класс, еще не живший до той поры, значит, свирепо хотевший жить во имя своих идеалов добра и справедливости и своим страстным натиском оттеснивший на второй план значительно пресыщенных и утомленных „забавами предков“ бар. И не только оттеснил, но и шпынял их постоянно и даже через меру такими классическими прозвищами как „баре“, „обломовы“, „лишние люди“, „романтики“ и т. п. Потому что человеку 60-ых годов мало было „хотеть“, „чувствовать“, „плакать“, „созерцать“—ему прежде всего нужно было дело, дело и дело...

Гуманист с несколько отвлеченными стремлениями встретился с *революционером общественности*, который очень знал, чего он хочет, и мало того, стремился каждое свое требование закрепить в *непреложные формы законодательства.* Гуманист жалел униженного человека, признавал в нем то достоинство, выше которого нет ничего в жизни, и *старался возбудить к нему сострадание.* Он чувствовал ложь и жестокость существования, плакал над ними, но как-то бессильно опускал в то же время руки. Он уходил в свои отвлеченнейшие метафизические системы, в художественное творчество, в храм вечной красоты, чаще всего—в тревоги повседневной жизни, свои личные чувства, свою меланхолию. Его заслуга в том, что он сильно чувствовал.

Встреча 40-ых годов с 60-ыми это в малых размерах встреча гуманизма и реформации. Красивые, блестящие, даровитые, образованные гуманисты встретились с суровыми монахами и ригористами—Эразм с Лютером, Шекспир с Ноксом, Рабле с Кальвином. Они не поняли друг друга и разошлись с взаимными проклятиями. Одни мечтали прежде всего о свободе духа, о радостях свободной

жизни, другие о чем-то неизмеримо большем — о перерождении всех людей, о том, чтобы все люди стали праведниками и бесстрашно выступили на страшном суде перед грозным судьей... Одни с упоением занимались отрицанием старого, разрушением его авторитетов, другие сочиняли катехизисы. Одни хотели уничтожить папство и инквизицию, другие водворить царство божие здесь на земле.

Повторяю, в малых, конечно, размерах у нас случилось то же самое, произошла встреча гуманистов 40-х годов с реформаторами и революционерами 60-х. И эта встреча двух *течений* мысли хорошо оттеняется личной встречей Чернышевского с Герценом. Приведу характерный отрывок из их разговора:

„— Что вы заступаетесь за этих *лентяев,*—говорил Чернышевский,—*дармоедов, трутней, белоручек, тунеядцев à la Онегин*?... Извольте видеть, они образовались иначе, им мир, их окружающий, слишком грязен, не довольно натерт воском, замарают руки, замарают ноги. То ли дело стонать о несчастном положении и притом спокойно есть да пить!

„Мы (т. е. Герцен) было ввернули слово в защиту, но Чернышевский и слушать не хотел. Напротив, он напал на нас за нашу защиту и, пожимая плечами, говорил, что он смотрит на нас, как на хороший остов мамонта, как на интересную ископаемую кость, принадлежащую миру иного солнца и других деревьев.

„— Позвольте же мне хоть на этом основании защитить наших сопластников. Неужели вы в самом деле думаете, что эти люди по доброй воле ничего не делали или делали вздор?

„— Без всякого сомнения, они были романтики и аристократы: они ненавидели работу, они себя считали бы униженными, взявшись за топор или за шило. Да и того, правда, они не умели!

„— В таком случае я буду называть имена: например, Чаадаев,—он не умел взяться за шило, но умел написать статью, которая потрясла всю Россию и провела черту в нашем разумении о себе. Статья эта была началом его литературного поприща. Что вышло, вы знаете. Чаадаев сделался праздным человеком. Иван Киреевский, положим, не умел сапог сшить, но умел издавать журнал; издал две книжки—запретили журнал; он поместил статью в „Деннице“, цензора Глинку посадили на гауптвахту. Киреевский сделался лишним человеком. Николая Полевого, конечно, нельзя обвинить в лени; человек он был изворотливый, а все-таки крылья „Телеграфа“ подвязали, и признаюсь в моей слабости, когда читал, как Полевой говорил Панаеву о том, что он, женатый человек, обремененный семьей, боится квартального, я не смеялся, а чуть не плакал“.

Конечно, Чернышевский был очень и очень неправ, но ведь все же самая большая уступка, которую он мог сделать Герцену, вся исчерпывается словами: виновны, но заслуживают снисхожде-

ния. И что, как не „виновны“, скажете вы о людях, проклинавших крепостное право и живших все же насчет своих собственных крепостных крестьян или—чтобы окончательно разделаться с этой мерзостью, т.-е. крепостными отношениями—закладывавших мужиков в ломбард? Вот чего—этого великолепия мысли и этой скудости нравственного содержания жизни—не мог понять человек 60-х годов. Первый его вопрос: что же сделали вы для осуществления своей идеи, для воплощения ее в жизни? оставался без ответа или с таким лишь ответом: „мы писали“ или, еще лучше: „мы пытались писать“.

Все равно, как центральной фигурой 60-х годов является барин-идеалист, выросший на Сен-Симоне, Шеллинге, Гегеле, Леру, Жорж-Занд и т. д. Это красивая и содержательная фигура, к которой воистину стоит приглядеться поближе. Многие даже думают, что это единственно цельное и гармоничное, созданное русской культурой. Не забираясь так глубоко, можно сказать, что барин-идеалист, как продукт крестьянского хлеба и иностранного образования—нечто в высокой степени самобытное, русское. Он превосходно известен нам по фигурам всех этих когда-то первенствовавших героев нашей литературы—Рудиных, Лаврецких, Бельтовых; его больше нет, он умер, сохранилась лишь память о нем, лишенная ненависти, но лишенная и любви.

Когда понадобилось настоящее *дело*, простое и даже черное, неблагодарное по своим результатам, барин-идеалист горячо взялся за него, но как-то быстро отстал, потому что не в „деле“, не в работе было его истинное назначение. Натура артистическая, художественная, склонная к меланхолии, к созерцанию конечных целей бытия, он провел свою юность (в ту пору, затягивавшуюся очень долго) в чтении превосходных книг, в дружеских горячих беседах, в романтических мечтах и грезах о чудных странах и океанических островах, где царствуют добро, красота, истина. За редкими исключениями, он не работал, предпочитал обходиться без службы. Но таланты рвались наружу, не давали покоя, и в часы, свободные от романтических радостей и огорчений, он, как прирожденный дилетант, занимался поэзией, музыкой,—сам писал стихи или прозу, изобретал летающие машины, сочинял филологические или исторические трактаты или даже увлекался химией. От его ученой работы мало что осталось.

Кажется, даже ничего не осталось, потому что наука требует усидчивости,—но наше искусство, особенно наша литература многое взяли у него.

Главные силы уходили, впрочем, на разговоры и споры об умных и высоких предметах. Кажется, никогда и нигде на Руси не разговаривали так много, как в интеллигентных кружках 30-х и 40-х годов. Эти разговоры—так хорошо питавшие в одно и то же время и барскую лень, и жажду умственной деятельности—заменяли всю общественную жизнь. И Хомяков, и Рудин, и Райский проговорили и проспорили всю жизнь. Эти разговоры были ярким отражением богатой жизни Запада, потому что там, конечно, а не у себя дома барин-идеалист находил достойную его умственную пищу. Дома были невежество, нищета; там — самое дорогое, близкое и, в сущности, даже понятное. Никогда, конечно, русский интеллигентный человек не был так духовно близок Европе, как в эти приснопамятные красивые 30-е и 40-е годы.

„С представлением о Франции и Париже,—читаем мы в четвертой главе „За рубежом", —для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то-есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание.

„Как известно, в сороковых годах русская литература, а за нею, конечно, и молодая читающая публика поделились на два лагеря: западников и славянофилов. Был еще третий лагерь, в котором копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этот лагерь не имел ни малейшего влияния на подрастающее поколение, и мы знали его лишь настолько, насколько он являл себя прикосновенным к ведомству управы благочиния. Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно, примкнул к западникам. Но не к большинству западников (единственно авторитетному тогда в литературе), которое занималось популяризированием положений немецкой философии, а к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и в особенности Жорж-Занд. Оттуда лилась на нас вера

в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что золотой век находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда.

„В России,—впрочем, не столько в России, сколько специально в Петербурге,—мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели „образ жизни“. Ходили на службу в соответствующие канцелярии, писали письма к родителям, питались в ресторанах, а чаще всего в кухмистерских, собирались друг у друга для собеседований и т. д. Но духовно мы жили во Франции. Россия представляла собой область, как бы застланную туманом, в которой даже такое дело, как опубликование „Собрания русских пословиц“, являлось прихотливым и предосудительным; напротив того, во Франции все было ясно как день, несмотря на то, что газеты доходили до нас с вырезками и помарками. Так что, когда министр внутренних дел Перовский начал издавать таксы на мясо и хлеб, то и это заинтересовало нас только в качестве анекдота, о котором следует говорить с осмотрительностью. Напротив, всякий эпизод из общественно-политической жизни Франции затрогивал нас за живое, заставлял и радоваться и страдать. В России все казалось поконченным, запакованным и за пятью печатями сданным на почту для выдачи адресату, которого заранее предположено не разыскивать; во Франции—все как будто только что начиналось. И не только теперь, в эту минуту, а больше полустолетия сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малейшего желания кончиться...

„В особенности эти симпатии (к Франции) обострились около 1848 г. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались „Историей десятилетия“ Луи Блана... Луи-Филипп и Гизо, и Дюшатель, и Тьер—все это были как бы личные враги (право, даже более опасные, чем А. В. Дуббельт), успех которых огорчал, неуспех радовал. Процесс министра Теста, агитация в пользу избирательной реформы, высокомерные речи Гизо по этому поводу, палата, составленная из депутатов, нагло называвших себя conservateurs endurcis, наконец февральские банкеты—все это и теперь так живо встает в моей памяти, как будто происходило вчера“.

Ни смеяться, ни иронизировать над подобными увлечениями, разумеется, нельзя. В них было искание того, что так нужно человеку и в чем так плачевно отказывала ему русская действительность — общественной жизни; было и нечто серьезное, скрывавшееся за этими увлечениями и разговорами—было *теоретическое* прощание с крепостным правом. А больше всего было. конечно, игры воображения, феерии мысли.

Но в словах и разговорах спасались от страшной действительности, закрывали ими себя от нее.

„Были *слова*,—продолжает Щедрин в другом месте,—которые производили чарующее действие, которые он (т. е. сам сатирик) в свои юные годы готов был повторять бесчисленное число раз, и слушая которые, он был бесконечно счастлив. Если бы от него потребовалось наполнить эти слова содержанием, он удивился бы—до того они представлялись ему несомненными и обязательными, до того его прельщал самый звук их...“

„Слова... слова“,—сказал Гамлет... но как люди могли насыщаться словами? Как могли они не спрашивать себя о их содержании, которое людям Запада далось лишь веками кровавой борьбы? Здесь-то и выступает характерная особенность эпохи, и даже не одной эпохи сороковых годов, а позднейших. Принципы были широчайшие и великолепнейшие в роде миражей пустыни, Попробуйте-ка на самом деле одолеть такие слова, как *добро, истина, красота, человек, свобода, историческое развитие*... Попробуйте, не умиляясь дорогими звуками, отдать себе отчет в том, когда человек есть действительно человек, когда добро есть точно добро, когда свобода есть свобода доподлинная, и вы увидите, что и теперь еще, после пятидесяти лет работы и опыта, не так-то легко это сделать... А тогда и совсем нельзя было это сделать, потому что сказочная царевна только дремала и всякие хорошие сны видела. Но все же в ответ на поставленный вопрос приходится сказать, что люди насыщались не одними словами: для этого они были слишком молоды и не даром воспитывались на Белинском и Жорж-Занд. Понимания не было, это так, „маленький разум“ — отдающий себе отчет в содержании—еще спал, но „большой разум“ это стихийное сознанье человека—уже проснулся и создал настроение эпохи. Отвлеченное настроение, красивое, которое все исчерпывалось понятием „гуманизм“, гуманность, жа-

лость к обездоленному... Правда, и это—слова, но этими словами наше старое барство прощалось со своим прошлым, прощалось, говоря кратко, с крепостным правом.

На ряду с другими словами и слово „действительность“ у всех на уме и на языке. Но это не значило, чтобы кто-нибудь серьезно думал изучать действительность, тем менее практически воздействовать на нее. Эстетика и дилетантизм стояли на первом плане. И несомненно поэтому, что и сороковые годы отличались не малой отвлеченностью.

Да! Сороковые годы отличались не малой отвлеченностью. Гегель был об'явлен царем мысли. К нему обращались все мыслящие и чувствующие люди за решением всех своих сомнений, как к новому дельфийскому оракулу, и вопрошали его: „что есть истина?“ К сочинениям Гегеля подходили „со страхом и верою“, как выразился Огарев, и готовы были „стоять перед ними на коленях“, как говорил Грановский. „Есть вопросы,—писал последний,—на которые человек не может дать удовлетворительного ответа. Их не решает и Гегель, но все, что доступно теперь знанию человека, и самое знание у него чудесно об'яснено“...

Изучение философии Шеллинга и Гегеля превратилось в настоящий культ. Философские системы не только передумывались, но и переживались. Ничтожные книженки о Гегеле „исправно выписывались и зачитывались до дыр, до пятен в несколько дней“. Увлечение доходило до смешного: „всякое простое чувство возводилось в категории“, все определялось по субстанциям, гуляли не для того, чтобы освежиться и отдохнуть, а чтобы „предаться пантеистическому чувству единства с космосом“. Все это любопытно и поучительно. Гегельянская закваска не могла исчезнуть очень долго, и опять-таки те же шестидесятые годы в известной статье Антоновича (о книге Гайма) не только попытались развенчать Гегеля, но и обратить его в ничто.

В искусстве сороковых годов Гегель также был учителем. С его точки зрения, цель искусства—воспроизводить прекрасное, проявлять гармонию. Таково его единственное назначение. Всякая другая цель: очищение, нравственное совершенствование, поучительность—только подробности, аксессуары или следствия. Созерцание красоты вызывает в нас тихое и чистое наслаждение, несовместимое с грубыми удовольствиями чувственного характера: оно поднимает душу над

обычною сферою ее помыслов, предрасполагает ее к благородным решениям и великодушным поступкам путем тесного сродства, существующего между чувствами и идеями добра, красоты и истины. Это и было исповеданием веры людей 40-х годов, оттого-то Белинский и написал между прочим целый том о Пушкине, а Анненков просидел несколько лет над изданием сочинений поэта. Где, на самом деле, так проявилась гармония, где так воспроизводилось прекрасное, как не у Пушкина? Ему поклонялись, его „обожали", читали и комментировали, впервые поняли его.

Искусство, творчество — вот высшее в жизни. Только здесь человек лучше всего, полнее всего, без всякой зависимости проявляет самого себя и получает наслаждение, равного которому нет на земле. Григорович трогательно высказал этот взгляд в заключительных словах своих воспоминаний. Разумеется, это не мешало людям сороковых годов быть гуманистами; в них жило сознание человеческого достоинства, и они возмущались, видя это достоинство затоптанным в грязь. Но еще больше, чем возмущение, было радости, высокой, несоизмеримой ни с чем радости творчества, созерцания красоты, проявления гармонии.

Это одна сторона сороковых годов. Была в них и другая, развившаяся и определившаяся лишь в шестидесятые. Я говорю о демократической струне, о жалости ко всем униженным и оскорбленным, о желании счастья человеку, каким бы он ни был в настоящую минуту. Оказалось, что созерцать красоту и проявлять гармонию, по крайней мере, недостаточно. Ведь у того же пророка Гегеля есть прямо обидные слова. Например, „нечего,—говорит он,—проливать слезы и жаловаться, что хорошим и нравственным людям часто и даже большей частью плохо живется, тогда как дурным и злым—хорошо". Позвольте, как так нечего плакать? Нет, тут есть от чего плакать, надо не только красоту созерцать, не только проявлять гармонию, но и думать о том,—во имя того работать, чтобы „хорошим и нравственным людям" на самом деле хорошо жилось. „Мы,—говорила демократическая партия сороковых годов,—ровно ничего не имеем против красоты и гармонии. Мы обожаем их и поклоняемся им, только что же прикажете делать с униженными и оскорбленными?"

Белинский глубоко задумался над этим и с своей обычной страстностью написал следующие строки: „Мне говорят: развивай все

сокровища своего духа, для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестнпцы развития, а споткнешься—падай, чорт с тобой, таковский и был, с... с... Благодарю покорно, Егор Федорович Гегель, кланяюсь вашему философскому колпаку, но со всем подобающим нашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне удалось влезть на высшую ступень развития,—я и там попросил бы вас отдать отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и пр., иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих собратий по крови".

Это прямо пророческие слова. Белинский как нельзя лучше угадал то направление, по которому пойдет мысль русская. И она поклонится „философскому колпаку", и она будет иметь честь донести, что „если дисгармония—условие гармонии, то уж конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии".

Сороковые годы выработали идеал человека, научно и эстетически развитой культурной личности, стоящей на высшей ступени развития. Это было настолько ново в России, что мудрено было не увлечься таким идеалом. И им увлекались, больше даже—его боготворили. Надо, необходимо надо возвыситься над мерзкой и пошлой действительностью, надо уметь находить красоту во всем и в сиянии солнца, и в жизни мужика. Только тот, кто достиг высшей ступени развития, кто познал наслаждение творчества—может с полным достоинством носить название человека. Есть одна таинственная, притягательная область—область искусства, в которой, отдаваясь порывам вдохновения, талант может постигнуть всю красоту, всю гармонию жизни.

Но тут же началась и реакция. Человек—человеком, но где же *гражданин*? Русская мысль сороковых годов слишком мало думала о гражданстве. Обиженный жизнью, окружающим его формализмом, жестокостью, человек инстинктивно искал какого-нибудь примирения с действительностью и находил его в творчестве, искусстве. Но звучала уже в эти богатые годы другая струна (Некрасова):

Поэтом можешь ты не быть,
Но *гражданином* быть обязан...

Этой струне не все сочувствовали, не все, прямо говоря, поняли ее. Слишком трудно было отказаться от принятых взглядов, с этими взглядами связано было так много дивных воспоминаний, им же люди были обязаны „долей истинного счастья". На сцену выступили люди „весьма даровитые", но „холодные и замкнутые". Опираясь на те же сороковые годы, на их демократизм, на их увлечение Жорж Занд, на их стремление осуществить свою мысль *в действительности*,—они выдвинули на сцену прежде всего гражданские мотивы и идею нравственного долга человека перед обществом. Это было несколько сухо. Прежние кумиры не легко могли найти себе место и часто даже не находили его. Совершенно естественно почему. В сороковых годах мирно уживались два направления: эстетическое и гуманитарное. Лучшие представители сороковых годов, как Тургенев, Григорович и т. д., соединяли в себе то и другое. Они столько же взывали к состраданию и уважению, к униженному и оскорбленному, сколько заботились и о красоте формы. Они были классиками искусства и вместе с тем людьми, глубоко сочувствовавшими страданиям Антона Горемыки.

Но настала пора, и „общегуманитарные" воззрения пришлось перевести на практический язык. Как же, спросили себя, устроить дело так, чтобы Антон Горемыка не только возбуждал сочувствие и сострадание людей, достигших высших ступеней развития, но и вообще „был бы счастлив"? Законно ли, чтобы человек, описывая сострадание Горемыки, чувствовал высочайшее художественное наслаждение и „испытывал истинное счастье"?

Тут, как хотите, *что-то такое* есть.

Подвергнув „что-то такое" тщательному анализу, нашли, что люди сороковых годов, воспитанные на Гегеле и его эстетике, на общегуманитарных воззрениях, на доктрине, которая хотя и соглашалась признавать зло существующего, но постоянно старалась примириться с ним во имя дивной красоты и общей гармонии мироздания,—были больше людьми, чем гражданами, имеющими ясное и определенное представление о тех путях, которыми может процветать, развиваться и совершенствоваться родина. Надо было найти эти пути. Раскол неминуемо должен был явиться,

и люди сороковых годов временно или навсегда устранили себя от литературной деятельности.

Вместо вопросов эстетики, философии и религии, на первый план выступили вопросы социальные, политические, и тут разночинец оказался сильнее барина. Барский романтизм и барскую эстетику, все равно как и барскую меланхолию, он отбросил с презрением в сторону, что впрочем, не помешало скоро обзавестись ему своим романтизмом и своей меланхолией.

В 60-ые годы—на сцене новые люди, разночинцы, люди в большинстве случаев испытавшие сами суровую нищету. Что же удивительного, если они не могли столковаться как следует ни по одному вопросу. Возьмите, напр., отношение к Пушкину. Кумир и бог для поколения, создавшего Тургенева и Гончарова он вызвал несколько равнодушных слов у Добролюбова, таких же у Чернышевского и враждебные, злые насмешки Писарева. Посмотрите дальше, как относится Гончаров к своему Обломову? Без преувеличения можно сказать, что он любит его и порою прямо любуется мягкостью, добродушием и красивым изяществом его барской натуры. Для Добролюбова Обломов и обломовщина—самое отвратительное, прямо гнусное явление нашей русской жизни. Не снисхождения заслуживает этот классический тунеядец, а лишь искоренения. В отношении к нему никакой пощады все равно, как и к его братьям по духу, опять-таки несомненно красивым Рудиным, Бельтовым, Онегиным, Печориным, Лаврецким и т. д. Все это избалованные и красивые баричи. И совершенно достаточно,—рассуждал Добролюбов,—попользовались они всеми радостями бытия, пора очистить место...

Возьмите, наконец, и самое важное—отношение к народу. Для людей 40-х годов он был прежде всего предметом глубочайшей жалости, 60-ые годы совершенно отбросили эту точку зрения. Для них народ был огромной новой общественной силой со всеми задатками прекрасного будущего, выступавший на историческое поприще. Требовалось уже не жалеть его, а любить и уважать его, веруя в его предназначение. Требовалось только расчистить почву для его деятельности. Жалость, совершенно искренняя, вызывала, конечно, *желание*, освобождения, но и *требования* его. Можно было ненавидеть крепостное право, но ненавидеть весь связанный с ним дореформенный строй—дело мудреное, а еще мудренее было требо-

вание мести в отношении к нему, еще мудренее было мечтать о мужицком царстве под главенством разночинной интеллигенции, т.-е. разделять основную мечту 60-ых годов. Дальше желание эмансипации и некоторых реформ внутреннего строя люди 40-ых годов не шли. Шестидесятники пошли гораздо дальше, и разрыв был неизбежен.

Разрыв этот произошел с взаимным раздражением. У Чернышевского, Добролюбова, даже Писарева установилось прямо-таки насмешливое отношение к барству. Жалость бар к мужику, идеализация его, искание в нем человека.—Чернышевский прямо называл „чесанием пяток“; для Добролюбова они Обломовы; в Писареве их тоска, грусть, разочарование не возбуждают ни малейшего сочувствия, и в своей статье о „Войне и мире“ он с подавляющим презрением говорит о барстве. Но мы лично так далеко ушли от этой эпохи, что с нашей стороны всякое раздражение было бы несправедливым. Мы охотно назовем лучших из баричей сороковых годов красивыми людьми, исполненными благородных идеалистических порывов; нам не покажется, конечно, только маской их меланхолия, потому что корни ее—в пресыщении и в обстоятельствах времени; мы поймем трагизм положения людей, которые ели чужой вкусный хлеб и понимали минутами, что хлеб этот действительно *чужой*; мы оправдаем, по крайней мере дадим снисхождение всем обломовским чертам характера старого барства; мы полностью оценим все, что оно сделало, чтобы привить к нашей умственной жизни интересы религиозных, философских и нравственных проблем, и тем неизбежнее станет для нас разрыв двух поколений, из которых одно потратило лучшие свои силы, чтобы создать тип высококультурной личности, страстно стремящейся удовлетворить свои философские и религиозные запросы,—другое же попыталось создать культурную обстановку для только что освобожденной массы, отдало этой массе все свои силы, все лучшие свои порывы и из служения ей сделало свою религию.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ.

Общая характеристика [1]).

Шестидесятые годы понимались разно, так разно, что по одним представлениям там жили и действовали одни нигилисты, а по другим — какие-то архистратиги всевозможных гражданских доблестей. Беспристрастное исследование в далеком или недалеком будущем покажет, насколько то или другое представление

---

*) **50-ые годы.** Их называют обыкновенно пустым местом русской литературы. Это преувеличение, конечно,—но, действительно, эти годы создали очень мало своего, оригинального. Своей физиономии у них нет, есть только внешние очертания. Тянулись эти годы целых семь лет, от 1848-го до 1855—от февральской революции во Франции до наступления освободительной эпохи. Над литературой в это время свирепствовал знаменитый бутурлинский комитет, и литература, разумеется, притаилась, так как комитет имел целью оградить общественную мысль от всяких „веяний“ и, таким образом, обеспечить торжество охранительных начал. В то время, как русские войска восстановляли потрясенный порядок в Венгрии, русская литература отчасти продолжала прежнюю свою работу, формулированную Белинским, отчасти очень робко и неумело пыталась сказать свое новое слово, хотя бы в женском вопросе, напр., отчасти спасалась от преследования и подозрений в эстетику. Возродился культ Пушкина, оцениваемого исключительно с точки зрения красоты; журналистика, даже передовая в лице „Отечественных Записок“ и „Современника“, стала по-прежнему стремиться лишь к интересному. Особенно характерен, разумеется, эстецизм как теория, как принцип, что у молодых народов может говорить лишь об упадке духа, о временном разочаровании в себе. Самыми крупными именами этой эпохи были имена Дружинина и П. Анненкова. Анненкова еще помнят, как биографа и комментатора Пушкина, но кто помнит Дружинина, хотя нельзя не отдать полной справедливости его красивому языку и легкому изложению. Изложению образцовых иностранных писателей (напр., Карлейля) он и отдал преимущественно свои силы. Критика же его бесцветна, потому что исходила из таких начал, которые сами по себе, отдельно взятые, не удовлетворяют нас. Такими началами являлись красота, изящество, тепленькая гуманность, искусство для искусства и т. д. Все это гашиш переутомленного духа, для массы же читателей такая проповедь вразумительна лишь в той степени, насколько „интересно“, литературно и красиво изложена. Но не больше. Приходится поэтому сказать, что наиболее плодотворным элементом литературы 50-х годов является ее продолжение прежней работы.

близко к истине, и выскажется вероятно, в том смысле, что на сцене работали и боролись люди в большей или меньшей степени обыкновенные, ничего исключительного, тем не менее противоестественного в себе не заключавшие. Было у них, впрочем, одно свойство, очень драгоценное, почти что утерянное нами,— свойство, которое даже на ординарнейшую физиономию накладывало особый несомненно красивый и горделивый отпечаток. Была значительная удовлетворенность жизнью, полное сознание правоты и нужности своего интеллигентного положения, была уверенность в себе, своих силах, было вдохновение работы. Это красивое освещение, потому что в нем чувствуется сила. Не всякая эпоха знает его, а большинство эпох только тоскует о нем и мечтает. „Что *хорошо?*—спрашивает Ницше.—Все, что возвышает в людях чувство силы, стремление к силе, самую силу.—Что *плохо?* Все, что вытекает из слабости". И Ницше, как большинство его современников, проклинал слабость, болезнь, малодушие.

Вера нужна, бодрость духа. Люди в конце-концов любят то только, что делает их сильными и смелыми. Если они еще плохо понимают, где и в чем источник их силы и слабости, то в этом беда не велика. Поймут рано или поздно. В этой силе и смелости вся красота жизни, а разочарованность, Blasierkeit,—к чему она? Разочарованные люди, если они честные люди, если они настолько искренни, что не хотят жить самообманом, должны признать себя больными, устаревшими, переутомленными и скромно удалиться под сень, на теплые воды—вообще убрать себя, по-

---

Отмечаю критико-литературную деятельность Дудышкина, очень осторожно и без всяких крайностей развивавшего основные положения Белинского, а главное, то литературное течение, которое известно под именем „изучения русской народности". Тут чувствуется что-то новое, и все это новое в слове „изучение", в стремлении проникнуть в истинную сущность действительной жизни народа. Здесь на первом плане стоят имена С. В. Максимова (1831—1901), П. И. Якушкина (1820—1872), П. И. Мельникова (1819—1883), отчасти Г. П. Данилевского (1829—1890). Двое из перечисленных (С. В. Максимов и П. И. Якушкин), начавши просто с этнографических очерков, ими и ограничились; Мельников возвел свои богатые наблюдения в превосходные художественные образы; Г. П. Данилевский изменил этнографии ради исторических романов, благодаря которым добился если не славы, то известности и широкого распространения. Но это движение оформилось лишь в 60-ые годы, которые внесли в него свою идею.

тому что проповедывать уныние и неверие—то же, что давать камень вместо рыбы. А нужна рыба,—изображение которой было символом для первых христиан, нужна бодрость перед бездной зла и несчастий открытой перед нами, нужна целящая пища, а не экзотический майонез из мистики, самолюбования и новой красоты. Как подумаешь, сколько ненужного зла в жизни, ничем не оправданного зла, все вперед идущего, и такого, что как будто нет ему предела, нет меры его движению, становится больно и страшно. И научить борьбе с этим злом—лучше и выше, чем, видя перед собой лежащего и обессиленного, молча поставить над ним крест.

Обращаюсь однако к скромной своей задаче—напомнить ценное из пережитой нами эпохи бодрости духа. Полагаю, что как ни случайно оно по многим причинам и отрывочно по еще большему количеству причин, оно и теперь имеет свой смысл. Человек прежде и после всего работник здесь на земле. Без работы он никому и ни для чего не нужен. Все сводится к ней, ей только все должно служить, и даже наши страсти должны быть направлены так, чтобы сделать труд человека возможно более удовлетворительным.

Вот простой и совершенно понятный теоретический принцип шестидесятых годов. Но, конечно, когда принцип переходит в жизнь, он по необходимости становится уже, непримиримее и враждебнее, чем прежде, относится к другим принципам, стоящим у него поперек дороги. Сороковые годы и красоте поклонялись, и мужику глубоко сострадали, шестидесятые—прежде всего *рабочие годы*, и, как от таковых, смешно и странно требовать, чтобы они являлись перед нами с цитатами из Пушкина или Гюго на устах. Им было не до того: им надо было по красивому и изящно нарисованному типу выстроить здание. Естественно, что пачкались в пыли и мусоре и, отбросивши комфорт и эстетику, изо всех сил принялись стучать молотками и топорами. Подойдите вы к человеку, увлеченному физической или другой работой, и попросите его вместе с вами полюбоваться на голубое небо, на струю светлой лазури и т. д.—вам придется услышать, вероятно, что-нибудь очень резкое.

Психология торопливого труда, труда, одушевленного во имя вполне ясно сознанной цели, но вполне определенной программе,

и притом неотложного,—такова психология шестидесятых годов; другой нечего искать. И если кому не нравится, как люди работают молотком и топором, тому нечего читать шестидесятников, а следует обратиться к совершенно другой эпохе. И таких эпох—достаточно.

Посмотрите, повторяю, на шестидесятые годы без предубеждения, а так, как они могут представиться хладнокровному и даже незаинтересованному наблюдателю, отбросьте в сторону легенды о нигилистах, которыми вас пугали в детстве, и вы увидите прежде всего оживленную работу и своеобразную серьезность и идейность жизни. Перед вами оживает целое поколение, если хотите не совсем „уклюжее“, не совсем изящное, совершенно не созерцательное,—поколение, на долю которого выпала преимущественно черная работа—ликвидация крепостного права и крепостных отношений вообще. Ведь и Лев Толстой был тогда мировым посредником и учил ребятишек в яснополянской школе. Другие составляли справочные книжки, энциклопедические словари, популязировали науку. Инженеру, проводящему железную дорогу, нет дела до того, что ему придется срубить вековой дуб, под сенью которого еще вчера целовались влюбленные, или что он, прорыв канаву, испортит чудный вид и остановит журчанье ручейка. С этой точки зрения шестидесятники относились к красоте и чистому искусству. То и другое они заменили „обществом“, общественными вопросами, ответственностью человека перед себе подобными и т. д. Им положительно некогда было штудировать философские системы, Петрарку и Пушкина, Тассо и Гегеля,—им надо было разрешить, и не принципиально, а подробно и практически, вопрос о норме чадела, присяжных и т. д.

Всю эту черную, подготовительную работу они сделали — и вдруг от нас видят одну неблагодарность. За что? За то, что были в поту и с мозолями на руках. Работа, тем более торопливая и черная, всегда развивает в человеке своего рода ригоризм. Сосредоточенный, внимательный работник всегда кажется дилетанту и ограниченным, и узким потому, что ему, этому сосредоточенному и внимательному работнику, не всегда есть время и охота погрустить о роковой тайне бытия и пр. Этот рабочий, трудовой ригоризм очень характерен для шестидесятых годов. Вы его найдете и у Чернышевского, и у Добролюбова, и у Пи-

сарева, ну, а второстепенные деятели доводили его до крайности и подчас прямо бранились, когда им очень уж надоедали эстетикой. По части манер и приятного обхождения — тут действительно есть недочет. Журнальные статьи того времени зачастую писались с плеча, фразы подбирались резкие, бьющие, то и дело вставлялись, для украшения стиля, слова очень решительные... Но ведь тогда было не до приятного обхождения—это во-первых, а во-вторых—соединить в себе сразу и чернорабочего, и джентльмена под силу очень немногим. Прямолинейность в довершение всего—ошибка, а не преступление, и наша обязанность — указывать ошибки, крайности увлечения, но не винить.

Многие „ошибки", по тщательном рассмотрении, могут, вероятно, оказаться очень простительными. Возьмите, напр., отношение шестидесятых годов к науке вообще, естествознанию, в частности. И той, и другим увлекались. Лучшие серьезнейшие вещи читались, перечитывались не только специалистами, а просто интеллигентными людьми. Мы далеки от такой научности и еще дальше от попыток и стремления перестроить жизнь на научном основании. Л. Толстой, напр., прямо презирает медицину, а к естествознанию относится очень скептически. Но работник так смотреть на дело не может. Каждый его шаг, каждое его соприкосновение с действительностью убеждает его, что единственная *опора труда—это знание*, что чем это знание ближе к основным потребностям жизни, тем оно полезнее. Отсюда восторг перед естествознанием.

Благодаря отсутствию научного анализа, к движению шестидесятых годов преобладает отрицательное отношение, даже в тех случаях, когда нет прямой злобы и ненависти. Подчас подсмеиваются и улыбаются, как улыбается человек, значительно одряхлевший, с усталым сердцем и пустой жизнью, смотря на свой портрет, снятый в юности, когда он страдал, любил и верил. Что-то скорбное есть в этой улыбке, и нам пора отделаться от нея.

Человек—работник. Это конечно. Но еще красивее, когда он работник, верующий в безусловную нужность своего дела. А тогда было много таких на сцене, и странно, что эпоха, изображаемая в наших полулегендах мрачной, была, в сущности, полна жизнерадостности. Кто, как не преисполненный жизнерадостности

и веры человек, мог написать такие вот воистину руководящие строки об эстетических отношениях искусства и действительности:

„Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете— жизнь; ближайшим образом такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит он;—потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить: все живое уже по самой природе свой ужасается погибели, небытия и любит жизнь. И кажется, что определение: „прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни",—кажется, что это определение удовлетворительно об‘ясняет все случаи, возбуждающие в нас чувство прекрасного.

Это удивительно характерные строки, в которых схвачена суть настроения, помогшего людям совершить дела, представляющиеся нам почти что чудодейственными,—отделаться от крепостного права и поставить жизнь на другой, более правильный и широкий путь. Это настроение, несмотря на свою поразительную трезвость, повторяю, красиво, потому что человек говорит вам от своей силы и бодрости, а не своего бессилия и пригнетенности.

Припомните главные литературные произведения того времени, его критику и беллетристику, и прежде всего вам опять-таки бросится в глаза их в высокой степени жизнерадостное и боевое настроение. Закрывая, напр., „Что делать?"—читатель не ощущает не только грусти, но и мечтательной задумчивости. Он совершенно спокоен за участь заинтересовавших его людей, потому что он знает, что они носители бодрого и верующего духа, и что этот дух вынесет много таких испытаний, которые разбили бы другой, более слабый. Даже такая неудача, как измена любимой женщины, не ставит этих людей втупик, не заставляет их растеряться: они думают, что есть выход даже из этого положения и что земля ведь не клином сошлась на одной Вере Павловне. Они рассуждали так: человек создан не для эгоистического наслаждения, а для работы, но так как эгоистические наслаждения, поднимая жизненную энергию, содействуют успешности работы, то они законны и необходимы. Величайшим из этих наслаждений для огромного большинства людей является любовь. Она двигает и вдохновляет труд. Но любовь без взаимности, без полной своей удовлетворенности становится из благодетельной — злой силой. Надо всеми способами бороться против этого, так как единствен-

ная задача разума в деле устроения жизни заключается в том, чтобы заставить страсти служить интересам труда. Только тогда можно будет достигнуть наибольшей напряженности работы и наибольшей успешности ее результатов. Все работа, все для нее и во имя ее. Она святая святых жизни и молитва человека. И когда она является полным и свободным проявлением всех его сил, когда в ней он успевает выразить себя целиком, тогда только наступает счастье, которое возможно и достижимо.

В таком взгляде навсегда лучше всего, конечно, отразилось боевое настроение эпохи. Это упоение борьбы, и борьбы удачной, это ликующее чувство при виде разрушенных плодов, это гимн радости по поводу того, что жизнь признала человека в человеке и открыла ему пути для свободной деятельности. Это естественная в то время вера в свои силы и жестокая насмешка над прежними учениями, которые хотели лишь смирения и покорности от человека, того, чтобы он безропотно выносил все тягости жизни, всю ее неправду и не смел бы возвышать голоса в защиту себя и близких своих. Человек просто как человек имеет право на все, на счастье и радость столько же, сколько на свежий воздух, пищу и питье. Осуществляя, путем работы, в жизни свои идеалы счастья и радости, *человек* исполняет человеческое...

Но уже у Чернышевского было предчувствие, что борьба потребует напряжения всех сил, потребует самопожертвования и жертв, жертв без конца. Он создал фигуру своего Рахметова. Не предчувствие даже, а полное и ясное понимание мрачных дней грядущего вы видите у Добролюбова. Не на радости и не на счастье призывает он людей, а на подвиг, на суровые лишения.

Чем дальше, тем больше выясняется призыв Добролюбова, заглушенный сначала общим ликованием. Сначала опешившее и растерявшееся темное царство оправляется. Лозунг „прекрасное есть жизнь“ и „жизнь может быть прекрасной для всех“, сменяется другим: „жизнь это борьба во имя долга и борьба суровая, страшная“.

Еще об одной характерной черте времени.

Бывают эпохи, как это всякому известно, когда общество состоит из личностей особенно пластичных, особенно восприимчивых, налету схватывающих новые веяния; бывают эпохи, гораздо более тяжелые и скучные — личности *нелегки* на под'ем и *глухи*

ко всему, что *не* носит на себе *печати старины*. Значение внешних условий ничуть от этого не умаляется, так как степени восприимчивости и глухоты могут быть очень различны.

Шестидесятые годы были движением массовым, движением охватившим значительную часть общества и проникшим в такие уголки, что просто приходится диву даваться, как это так могло произойти. Другой раз недостаточно десяти томов капитальнейшего научного исследования, чтобы убедить в чем-нибудь человека; тогда было довольно одного слова, одного намека. Почему? Для этого была подготовлена почва. Но ответить так — значит ровно ничего не ответить.

Пластичность и восприимчивость людей шестидесятых годов резко бросаются в глаза, как только начинаешь знакомиться с большим числом биографий людей этого времени. Мысли и убеждения хватались тогда налету с такою же нетерпеливой страстностью, такою же удивительной торопливостью, как это было, скажем, в иные эпохи французской или немецкой истории. Эта „физиологическая" сторона исторических явлений разработана так мало, что гораздо легче указать на нее, чем раз'яснить. А между тем странно было бы отрицать ее значение, еще страннее отрицать факт ее существования.

С. В. Ковалевская в своих в высшей степени любопытных литературных воспоминаниях рассказывает о том переполохе, который произошел в их уезде при зареве шестидесятых годов.

„Жили себе,—читаем мы,—жители Палибина мирно и тихо; росли и старились, ссорились и мирились друг с другом; ради препровождения времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи и того или другого научного открытия, вполне убежденные, однако, что все эти вопросы принадлежат чуждому, удаленному от них миру и никогда непосредственного соприкосновения с их обыденной жизнью иметь не будут. И вдруг, откуда ни возьмись, совсем рядом с ним об'явились признаки какого-то странного брожения, которое, несомненно, подступало все ближе и ближе и грозило подточиться под самый строй их тихой, патриархальной жизни. И не только с одной какой-нибудь стороны грозила опасность; она шла как будто разом, отовсюду. Можно сказать, что в этот промежуток времени, от начала 60-х до начала 70-х годов, все интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между старыми и молодыми. О какой дворянской семье ни спросишь в то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-нибудь вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за вопросов чисто теоретического, абстрактного характера. „Не сошлись убеждениями",—вот только и всего, но это „только" вполне достаточно, чтобы

заставить детей побросать родителей, а родителей—отречься от детей. „Детьми“ особенно девушками, овладела в то время словно эпидемия какая-то—убегать из родительского дома. В нашем непосредственном соседстве пока еще, бог миловал, все обстояло благополучно, но из других мест уже приходили слухи: то у того, то у другого помещика убежала дочь, которая за границу—учиться, которая в Петербург—к „нигилистам“.

Сам Писарев рассказывает нам в своих воспоминаниях следующее:

„Уже в 1858 и 1859 гг. студенты, поступившие в университет, не были похожи на нас, студентов III и IV курсов. Поступая в университет, мы были робки, склонны к благоговению, расположены смотреть на лекции и слова профессоров, как на пищу духовную и как на манну небесную. Новые студенты напротив того, были смелы и развязны и оперялись чрезвычайно быстро, так что через какие-нибудь два месяца после поступления они оказывались хозяевами университета и сами поднимали в студенческих кружках дельные вопросы и серьезные споры. Они затевали концерты в пользу бедных студентов, они приглашали профессоров читать публичные лекции для той же благотворительной цели, они устроили студенческую библиотеку, а мы, старые студенты, считавшие себя цветом университета и солью русской земли, мы остались в стороне, изобразили на лицах своих недоверие и иронию и стали повторять стих Грибоедова: „шумите вы и только“. Но скоро оказалось, что ирония наша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и успешно; оказалось, что движение и жизнь пошли мимо нас, и что мы отстали и превращаемся в книжников и фарисеев“.

А ведь всего-на-всего прошло 2 года... Но, подхваченные массовым одушевлением,—люди формировались очень быстро, иногда даже неожиданно для самих себя.

Совершенно о том же самом говорит нам и биография Добролюбова. Очень тихий, вдумчивый и глубоко религиозный мальчик почти что вдруг, даже без видимого внешнего толчка, становится в ряды отрицателей и превращается в непримиримого и даже мстительного борца за *свою* правду и во имя своих нравственных требований. И было бы клеветой подумать, что такое быстрое обращение было легкомысленным и поверхностным. Напротив, оно охватило всего человека и перевернуло весь его духовный строй.

Не буду умножать примеров. Достаточно сказать, что призывной голос времени услышали и люди уже пожилые, сформировавшиеся в совершенно другой обстановке и при другом общественном настроении. Но и они не могли устоять против необыч-

ной атмосферы, против ее возбуждающего влияния. И им захотелось общественной самодеятельности, активного участия в борьбе. Да, это было странное, полное неотразимого призыва время.

При переходе от литературы 40-х годов к литературе 60-х вы чувствуете такую разницу в тоне, идеях, настроениях, что если бы не звено—Белинский, так странно соединивший в себе барина и разночинца, эстетика и поклонника пользы,—вы бы сказали, что имеете дело с литературой другого народа. Однако, это литература только *другого класса общества*. Идеалист и теоретик барин 40-х годов уступил место интеллигенту разночинцу. Отвлеченная этика, стержнем которой была идея личного самосовершенствования, уступила место этике утилитарной, красота была отодвинута на второй план—пользой; вопросы отвлеченно философские уступили место—чисто практическим и т. д. Призванный к жизни разночинец задавал тон всему, и больше,—он действительно был руководителем эпохи. Он внес в свою работу *свою философию, свое миросозерцание*; в свои взгляды—совершенно понятное нетерпеливое желание овладеть жизнью и ее благами—наукой, искусством, обеспеченностью (для себя и других, конечно), которые еще накануне казались ему чем-то недостижимым. Он внес и раздражение против вчерашних господ, перед которыми он должен был так долго молчать. Его любовь к обездоленному и униженному собрату была равносильна его ненависти к тому, кто обездоливал, развращал и унижал. Часто он просто мстил, тем более, что видел, что враг, хотя и сбитый с позиции, все еще жив и надеется рано или поздно восторжествовать. И он торопился в своих презрительных и, увы, совершенно заслуженных, гневных насмешках излить накипевшую злобу и отомстить за свое вынужденное раньше молчание. Вот основы его миросозерцания:

1) Материализм в философии. В жизни человека и общества все *просто* об'ясняется естественно-механическими законами. Все—материя. Вне этого нечего искать. Всякое искание бесплодно и даже вредно, так как отвлекает человека от общественных задач. Материализм вообще боевой клич эпохи в ее схватках с официальным спиритуализмом.

2) Утилитаризм в этике. Главная сила человека в его разуме, рассудке. Путем науки, знания он достигает победы над природой и собственного благополучия и счастья. Но собственное благополучие и счастье возможно лишь при счастье всех. Поэтому санкцией нравственности должна быть польза общества и стремление к такому его состоянию, которое обеспечивает для каждого равную долю в пользовании жизненными благами.

3) Утилитаризм в искусстве. Роль искусства подчиненная. Самостоятельного значения оно не имеет. Оно одинаково должно служить счастью всех. Единственный источник прекрасного—жизнь, действительность. Всякое ее украшение, всякая неосуществимая мечта вредна, потому что прежде всего надо сосредоточить все силы людей на устройстве земного благополучия. В литературе 60-х годов слышится даже „вопияние“ против красоты, которая отвлекает человека от его прямых земных задач.

Однако, все это временное, случайное, историческими обстоятельствами вызываемое и исчезающее вместе с ними. Но вот святое и вечное под этой случайной оболочкой: уважение к достоинству человека как человека, каков бы он по своему происхождению ни был,—признание полного равенства и полной равноправности между людьми во всей совокупности общественных отношений. И все это слилось в одном маленьком и даже чуждом для нас слове—эмансипация. Это ключ к пониманию эпохи. Эмансипировались крестьянин от помещика, женщина от семейной кабалы, гражданин от государства, мысль от преданий и кумиров прошлого. Был порыв, была страсть, было вдохновение. И в этом красота эпохи, несмотря на грубоватую и часто неуклюжую форму.

Мне кажется так: в любую историческую эпоху в человечестве и обществе—огромный, даже безграничный запас силы. Много талантов, даже гениев, много самых разнообразных дарований, много также честных и бескорыстных замыслов. Но все это находится лишь в „возможности“; большая часть гибнет в самом зародыше; другая выбирает себе неправильный путь и теряется, заблудившись; третья далеко не развертывает всей своей силы и ограничивается первыми ступенями, и т. д. И, разумеется, чем жизнь ничтожнее, скуднее—тем больше этих бесполезных жертв, этих даром рассеянных сил, этих непроявившихся дарований.

Даже наша русская история может доставить положительно любопытную иллюстрацию этой мысли, и говоря так, я, разумеется, имею в виду все рядом стоящие эпохи—эпоху 1848—1855 и затем 1855—1863 гг. На сцене, собственно говоря, те же люди и то же поколение, те же Ростовцевы, Самарины, Арцимовичи, Кавелины, те же Хомяков и Аксаков и даже тот же Чернышевский и тот же Герцен. Но до 55 — 56 года никто из них не находил настоящего, нужного слова или высказывал его так робко, что оно терялось и замирало в окружающей мертвой жизни, как в глухом лесу. Но изменилось настроение высших сфер, произошла крымская война, люди поняли, что идея освобождения созрела, что она жизненно оправдывается и потребностями государства,—и вместо бутурлинского комитета перед нами комиссия освобождения крестьян, комиссия о новых судах, земстве и т. д., и т. д.,—перед нами, словом, красивая и бурная эпоха 60-х годов. Красивая совсем не потому, что создала какие-нибудь особенные художественные произведения, изобрела оригинальные философские системы, а потому, что жизнь расширилась, идейно разбогатела и ей понадобились люди, ей понадобилось человеческое *творчество*. Вот в чем красота. Вчера ненужные, никем не признанные, загнанные куда-то в угол таланты и дарования, люди свободной мысли вдруг оказались на первых местах, а все эти человеки в футляре, все эти жрецы и холопы жестокой и формальной правды, оказались не у дел.

Нам надо, однако, внимательнее присмотреться к герою эпохи—разночинцу, сменившему барина-идеалиста. Тем более, что спор между теми двумя типами не закончен, и жизненный синтез, единение их, взглядов не найден.

Разночинец. Ведь это не бог знает какая прелесть и какое совершенство, ведь, чаще всего, это человек, измученный и загрязненный жизнью (напр., алкоголизм Решетникова, Н. Успенского, Щапова, Помяловского, Левитова и т. д.)—обыкновенно еще до начала своей литературной деятельности жестоко истерзанный всякими и, в большинстве случаев, действительно ужасными обстоятельствами, как нищета, бурса, пьянство.

В смысле образования, начитанности, дисциплины мысли это—за редкими, хотя и крупными исключениями—совсем ничтожество перед человеком 40-х годов. Однако, временно, по крайней

мере, победа была на его стороне и именно в той области, где образование, начитанность, дисциплина мысли имеют такое важное значение. Мне думается, что причина этого в том, что барин-идеалист *сильно чувствовал*, разночинец *сильно хотел*. Воле же, хотению всегда принадлежит в жизни первенствующая роль. Барин-идеалист сильно чувствовал и художественно созерцал. В этом его неот'емлемая заслуга. Он сильно чувствовал мерзость и пошлость жизни, бесправное положение народной массы, красоту человеческой свободы и независимости,—это чувствование преобразовывалось в его душе, как художественное восприятие, было почвой для идеала.

Но чего он хотел? Всего? да. Ничего?—тоже да. Он хотел очень и очень многого, но где тот элемент его настроения, который помог бы хотению обратиться в факт жизни? Такого элемента не было. После минуты страстного хотения, наступало полное разочарование, и все, вся жизнь представлялась дымом, а все усилия людей скачками земляных блох. Не было „свинца" в хотении, не было упрямства, настойчивости, непримиренности. Было много капризного, еще больше—словесного. Психология нашего барина-идеалиста в значительной степени психология пресыщенности и необходимых при ней меланхолии и разочарованности. Такими богатыми, но *обреченными* натурами, как Тургенев и Герцен, жизнь слишком даже щедро иллюстрировала эту элементарную истину. Что такое пресыщенность — дело известное. При ней в мире своих чувствований человек быстро может дойти до высшей точки кипения, но—увы!—так же быстро и остывает он. Только что будущее расцветилось всеми цветами радуги, только что показалось оно самым дорогим и ценным, как сейчас же нахлынуло в душу что-то новое, и мечта утеряла свой блеск, будущее—свою привлекательность. Все погрузилось в серые тусклые будни. Наследственно усталые нервы отказываются поддерживать чувство на прежней высоте, и оно падает в глубь, в отрицание самого себя настолько же, насколько прежде высоко поднялось. Никакого упорства, никакой действительной силы хотения. Дилетантизм чувства, столько же, сколько дилетантизм мысли.

Но возвращаюсь к разночинцу.

Разночинец голоден. Голод можно понимать буквально, как

голод физический (был и такой),—но, вернее, что на первом плане был голод духовный. Долгое время содержимый в черном теле, встречая перед собой большею частью запертые двери, не находя доступа к влиянию на общество, видя близких своих в кабале и приниженности—разночинец вздыхал. Даже в литературе, где существовал своего рода табель о рангах, где на разночинца косились как на parvenu, или попросту проходимца, где заклевали Полевого за его „купечество“, где исключение, да и то с оговорками, было сделано для одного Белинского—разночинец чувствовал себя в значительной степени чужим. Там в высших сферах, по крайней мере, требовалось столько красоты, изящества, такой преданности интересам отвлеченной философии, что удовлетворить этим требованиям он не мог. Тон литературе 50-х годов задавал Тургенев. Поставьте теперь рядом с этой благообразной, с головы до ног барской фигурой какого-нибудь коряжистого Решетникова, и вы увидите, что Решетникову до того момента, как на сцену выступили практические вопросы, когда понадобилась правда и только правда, а искусство заменилось *делом*—настоящего места в литературе не было: он мог говорить лишь, и это без всяких прикрас, о гное и язвах жизни. Но вот голодному, алкавшему и для себя, и для других всяких благ жизни, разночинцу была предоставлена возможность и право высказаться. В экзотическую, созданную барином культуру, которая делала для человека возможным, после восторгов перед Жорж-Занд, итти в ломбард закладывать крестьян—он вступил варваром. Но хороший это был варвар, с здоровыми чувствами, с здоровым, хотя часто злым и мстительным настроением. Из дебрей и трясин жизни принес он ничем неприкрашенные рассказы о страдании массы, ее голоде, нищете, невежестве, разсказы такие же сухие, лишь ужасом фактов своих поражающие, как судебные отчеты. Но он сказал еще, что эта вот серая масса хочет жить и всячески ищет путей для своих мечтаний. Как же удовлетворить это хотение жизни, как облегчить искание путей? Разночинец весь отдался этому вопросу, а по дороге, не без злобы и раздражения, разбивал барские кумиры, временно ему ненужные, разбивал их с суровым фанатизмом протестанта, вопиял против красоты, против соблазнов художественного творчества, отвлекавщих человека от дела,—и не столько не понимал, сколько

боялся цветов поэзии, созданий искусства, их притягивающего и одуряющего аромата. Науку, знание, как средство наилучшего воздействия на практическую жизнь, стальной скальпель, а не скальпель диалектический, анатомия организмов, а не силлогизмов—вот, что обещало ему победу. И он склонился перед этим новым, но уже своим кумиром!

Этой своей работе он придавал особую окраску страстного увлечения на почве практических интересов и отомщения не лицам, конечно, а всему прошлому, старобарской культуре, которая как бы воплотилась для него в образе лишнего человека, в образе Рудина, быть может, и любившего в идее массу, но чуждого ей и ничего для нее не делавшего. *Масса* же была истинным предметом заботы разночинца. Но что нужно массе? Вещи самые простые и понятные: 1) обеспеченность; 2) просвещение; 3) независимость от произвола. Поэтому:

Трезвый реализм—вот что характерно для 60-х годов. Разночинец не хотел уходить с земли, он жил целиком ее интересами, заботами, ее думами о счастье. В элементарной грубоватой форме эту земную основу идеализма выразил Решетников, сказав: человек создан для того, чтобы самому себе добывать пропитание, а так как человеку нужно для этого немного, то он был бы вполне доволен и спокоен, если бы его не обижали бы те, кому хочется жить в свое удовольствие. Но не то же ли самое сказал и Добролюбов или Чернышевский своими картинами семейного счастья Лопухова и Кирсанова, или Помяловский своим „Молотовым“ и „Мещанским счастьем“? Не трезвый ли реализм слышите вы в проповеди пользы, полезного, этой проповеди, которая так назойливо даже наполняет собой журналистику? Но рядом с этим безмерность хотения, проявившаяся в мечтах о счастье всех, о водворении на земле фаланстеров и коопераций, в настойчивом вопросе о том, „когда же придет настоящий день“?

Трезвый реализм 60-х годов заключается в понимании, как велико значение в жизни человека материальных, экономических условий; весь идеализм в вере, что назначение человека—бесконечное, непрестанное развитие, полное развертывание всех его духовных и физических сил. Экономическое благосостояние—первая ступень, а дальше—*простор и свобода личному и общественному творчеству?*.

Литература записок и писем, как предисловие к литературе 60-х г.г. собственно.

Я сказал выше, что 60-е годы — суровые рабочие годы, видевшие смысл жизни только в работе и только в ней одной. В передовом лагере все служило этой центральной идее, все даже пригонялось к ней. Возьмете ли вы критику, публицистику, философию—везде и повсюду тот же взгляд на человека, как на носителя трудового начала, та же оценка его с точки зрения пользы, которую он приносит обществу. И это была проповедь совершенно прямолинейная, без каких-нибудь поблажек и уклонений в сторону. И ясно, что такая проповедь могла появиться, пользоваться успехом и находить себе самоотверженных поклонников лишь в эпоху повышенного общественного настроения. А что оно действительно было—это несомненно, особенно если вы знакомитесь по подлинным документам конца 50-х и начала шестидесятых годов. Кто же создал его? Что толчок был дан правительством—спорить об этом трудно, но общество радостно подхватило его и заволновалось, сначала робко и неуверенно относясь к новому курсу, а затем все сильнее и восторженнее. Отдельные слова, случайные циркуляры, слухи о поданных и принятых записках, об отставке какого-нибудь важного и накануне еще всемогущего лица (напр. Клейнмихеля), о тостах в честь „общественного мнения", как известный тост К. Аксакова, и пр. и пр.—все это поддерживало общественное возбуждение. Скоро подошли разговоры и рассуждения о предстоящей отмене крепостного права и заняли первое место. Приходится удивляться, как малым были довольны люди первое время, и как быстро росли их желания. Надо, впрочем, заметить, что все эти желания направлялись в одну сторону — сторону общественной самодеятельности. Но вначале помыслы были в высшей степени умеренны, и люди приходили в восторг от мелочей...

Первым пришлось порадоваться славянофилам. В царствование Николая I-го их действительно преследовали, заставили через полицию сбрить бороду, переменить сорочку на немецкое платье и не печатать *ничего*. Теперь вопрос о русском платье был решен в приятном для самолюбия смысле. „Говорят, государь сказал о бороде в ответ на вопрос о бороде и русском платье вообще: А мне какое дело? *Пусть одеваются, как хотят*". Эти слова обле-

тели, конечно, все дворянские угодья, и там возликовали, как ликуют дети. Хомяков писал: „Здесь все радуются проявлению стремления к народному и русскому. Освобождение от наружного подражания важно, как знамя, вызывающее освобождение мысли, как вызов к самомышлению". К. Аксаков с удовольствием сообщает, что „камергеров переименовывают в стольников, камер-юнкеров в ключников". Кошелев писал Погодину: „скажу вам радость: в Сапожковском уезде начинают носить русское платье". На эту тему сочинялись целые диссертации. Были и другие слухи, более существенные, но все об одинаково необычных и совершенно невозможных какие-нибудь месяцы назад вещах. „Государь намерен лично слушать доклад только министров Двора, Финансов и Военного, а прочие будут докладывать Комитету и Государственному Совету". „Преследование раскольников прекращено". „Императрица подарила Тютчевой Маколея". Странно, что из того же славянофильского лагеря вышли две вещи большого литературно-общественного интереса, которые лишь недавно увидели свет. Это записка о Царевом времени М. П. Погодина, знаменитого редактора „Москвитянина", и тоже записка К. Аксакова. Вот что писал Погодин (Апрель, 1855).

„Время царское дороже всего. Оно должно быть сберегаемо и соблюдаемо до последней минуты, для решения важнейших вопросов государственных, для размышления о существенных предметах управления. Занимать светскостями и одробностями, развлекать формами и церемониями—есть величайшее гражданское преступление.

„Петр I, отличавшийся от природы особенной деятельностью и работавший во всю жизнь от утра до вечера, жаловался часто на недостаток времени. А у него в управлении было только десять миллионов. Теперь Русское государство считает до семидесяти миллионов жителей, следовательно, число дел умножилось всемерно, по естественному приращению народонаселения, в семьдесят раз по вновь возникшим разнообразным отношениям между гражданами, не имеющим сравнения с прежними. В такой же соразмерности все дела стали сложнее и труднее для решения. Войско Петра I едва равнялось одному нынешнему отдельному корпусу. Что такое была торговля, внешняя и внутренняя, финансовая часть при нем, и что они при нас. О печати ему нечего было почти думать, между тем как для современного государя печать есть один из самых важных предметов заботы. Сравните число служащих чиновников, которых надо руководствовать, наблюдать, награждать и наказывать. А донесения об особых происшествиях со всех концов Империи, официальные приемы, осмотры, путешествия, проекты, доносы, жалобы, мнения. Присоедините множество дел,—назову их искусственными,—дел пустых и ничтожных, коим придается иногда важность

для получения лишней аудиенции, для сообщения докладу разительности, причем запутываются понятия, и должны напрягаться умственные способности, с заблуждением часто в награду.

„Мы не говорили еще о внешних отношениях, кои ограничивались при Петре I соседними государствами. Ныне к русскому царю везутся депеши из всех пяти частей света, из Европы и Азии, Африки, Америки и Австралии. Политика отдаленнейших государств, со всеми ее превратностями, связь их между собою, требуют неусыпного внимания. До каких же колоссальных размеров достигло количество дел, повергаемых на высочайшее воззрение, утверждение. Мысль цепенеет.

„Есть ли физическая, не только умственная возможность заниматься ими, с перерывами и отвлечениями, еще более тягостными, без противуестественного напряжения, без неизбежного утомления, без расслабления всех сил, иногда медленного, но всегда гибельного, не зародив в глубине своего сердца этого страшного внутреннего червя тоски, досады, неудовольствия, который подточит самое крепкое телесное здоровье и истомит самую твердую душу? Какое зрение не притупится от одних взглядов, бросаемых по заказу на всю эту пестроту?“

Далее Погодин говорит о том, какие бы дела мог взять на себя Государственный Совет. Но вот, вероятно, самые любопытные и смелые строки, за которые в эпоху Николая автор их прослыл бы декабристом со всеми последствиями для такого звания: „Надо определить, в какой степени может быть допущена *гласность* в видах предохранения правительственных и прочих решений от произвольности и учреждения под ними новой необходимой инстанции—бдительного общественного мнения, без которого самому правительству остается часто бродить во тьме“... „Государь получит таким образом возможность посвящать полное внимание на дела, достойные его высокого сана“—заканчивает Погодин—тот самый Погодин, который раньше занимался исключительно сочинением докладных записок о своей благонамеренности. Очевидно, что если человек может красить время, то еще больше—время может красить человека. Записка, повидимому, довольно свободно обращалась в обществе и заинтересовала собою многих. Читая ее теперь и зная, кем и чем был Погодин, невольно думаешь: „воистину горы тронулись с места!“ На ту же тему—желания некоторой общественной самостоятельности, писал и К. Аксаков, высказывая в записке „О внутреннем состоянии России“ свои излюбленные уже известные нам мысли (смотри стр. 95) о том, что „русский народ никогда не стремился принять участие в делах государственных... но желает вполне жить своей нравственной христианской жизнью... При этом развитии духовного начала он не хотел

ограничения в своей жизни семейной и домашней... Цари русские до Петра благоприятствовали развитию жизни народной, но Петр... наложил руку на народ, на святилище жизни семейной, на все, чем дорожит в человеке память его сердца. Увлекаясь жаждой перемен, Преобразователь принуждал через полицию ходить в ассамблеи, брить бороды, носить кафтан немецкий. Со времени его уже более не созывались земские соборы... Ныне земские соборы созывать невозможно, но в необходимых случаях полезно было бы совещаться с сословиями по предметам, непосредственно их касающимся“..

„Насчет народа, предоставить лицам всех сословий полную свободу в их частной жизни, не стесняя их никакими ограничениями. Пускай всякий занимается делом по своей наклонности, живет, где заблагорассудит, ездит, куда хочет, одевается, как ему вздумается, и все это делает беспрепятственно, пока действия его не противны существующим узаконениям. Вмешательство во внутреннюю жизнь народа, не принося никакой пользы правительству, производит неудовольствие и даже негодование. Свободу слова и письма подчинить благоразумному контролю относительно вопросов, касающихся веры, верховной власти и нравственности, допуская, во всяком случае, благонамеренное суждение о всех мерах и действиях правительственных и других, относящихся до народного благосостояния“.

И в этой записке и в том, что ее обсуждали, повинны, конечно, все те же слухи о новых веяниях. Люди ловили слова и намеки на новое, что должно было заменить собою утомительную тяготу предыдущего режима, и откликались на этот тогда еще неоформленный призыв всем, что было лучшего в них. Слухи росли и ширились, переходили в факты. Циркуляр в. кн. Константина, требовавший правды от официальных отчетов—правда, скоро отобранный, вызвал огромное впечатление. Нельзя было не порадоваться разрешению издать сочинения Гоголя „без всяких помарок и изменений“. Даже такой факт комментировали на все лады.

„Рассказывают еще, что недавно будто бы в каком-то отеле собрались студенты, потребовали особую комнату и хотели покутить. К ним привязался шпион и так приставал, что они его вытолкали и заперлись на ключ. Из этого возникло дело, доложили царю, что дескать задумывали юноши заговор и т. д. На это последовало решение весьма мудрое: Не видно еще заговора в том, когда люди не хотели кутить при постороннем, особливо которого они считали шпионом, потому что очень свойственно желать друзьям и приятелям пировать и беседовать между собою без свидетелей.“

Во всей этой радости, особенно в первых ее проявлениях, конечно, не мало ребяческого и детского, напоминавшего ликование и даже иллюминации петербуржцев по поводу разрешения носить круглые шляпы после смерти Павла Петровича,—но есть тут кое-что и серьезное. Кавелин превосходно отметил эту сторону в одном из самых прочувствованных и горячих писем:

„Здесь, в Петербурге, общественное мнение расправляет все более и более крылья. Нельзя и узнать больше этого караван-сарая солдатизма и невежества. Все говорит, все толкует вкось и вкривь, иногда и глупо, а все-таки толкует и чрез это, разумеется, учится. Если лет пять-шесть так продлится, общественное мнение, могучее и просвещенное, сложится, и позор недавнего еще безголовья хоть немного изгладится. Может быть, и не следует, и еще рано, и еще глупо в мои лета, а я не на шутку начинаю сердцем привязываться к нынешнему царю, который... делает умно, и которого доброе, исполненное верного чутья сердце мало-по-малу выводит нас из работы египетской. Дай-то, боже, чтоб хватило у него сил на благо.., Меня также в ужас приводит, что когда вымрут последние Александровские, ни одной головы не останется. Поверьте, что я не преувеличиваю и говорю, к сожалению, как по-писанному, ибо под глазами у меня происходит: как только намордники свалились, старичье разболталось, и тут-то вы видите всю разницу между поколением Александровским и солдатами и писарями... Не бог знает как густы граф Киселев и Блудов, а я просто боюсь, когда вспоминаю, что им обоим за семьдесят, за ними идут Долгорукие, Норовы, Броки, Панины, Анненковы, Ростовцевы. Побывайте в кухне, где готовятся государственные меры и законы да послушайте этих господ, и вас страх возьмете; нет, лучше мужик из-за сохи, лучше торгаш базарный, чем эти... годные только на мелкие интрижки... потерявшие из-за них простой здравый смысл, которым русские люди одарены так богато“.

К этому быстро присоединилось и женское движение. Началось оно, положим, раньше во время увлечения Жорж Занд и ее романами (в сороковых годах), но только теперь, связанное с другим более могущественным общественным движением перешло в жизнь и заставило считаться с собой, как чем-то реальным. У него нашлись свои подвижники и подвижницы, свои рыцари, как Михайлов, С. Шашков, свои беллетристы, как Авдеев. Брошюра Милля об эмансипации была, разумеется, настольной книгой для всех передовых людей. Прежния требования или лучше сказать пожелания, не выходившие за предоставление женщинам некоторой свободы. в их домашней обстановке или интимных отношениях—ответом на которые являлись такие вещи, как „Поленька Сакс“ Дружинина,—сменились стремлением к полной равноправности в области общественной и экономической и встречали большое сочувствие

И опять это женское движение впадало в то же русло, которое вело к отрицанию прошлого и полному разрыву с ним.

Еще два слова о литературе записок, чтобы покончить с ней. Уже в 1855 г. Кавелин писал Погодину:

„Я, с своей стороны, убежден и сердцем, и умом, и всем моим существом, что из всех вопросов—вопрос, из всех зол—зло, из всех несчастий наших—несчастье есть крепостное право. Не то, чтоб мало было у нас худого и отвратительного и без того, но все, что вы ни возьмете, прицеплено к этому коренному злу и легко изменится к лучшему, когда его не будет. Оттого-то, только что царствование сменилось, я стал писать об этом предмете большую статью в примирительном тоне, с одною мыслью свести всех к соглашению, а не к вражде; я живо представил себе,—что бы я стал говорить, если б был закоренелый помещик, и чего бы потребовал, и так далее, старался войти в мысль мужика и правительства. Плодом этого была большая статья, больше в виде программы с доводами и рассуждениями, в которой говорится: о вреде от крепостного права, хозяйственном или экономическом, нравственном, политическом. Исторический взгляд, предлагается общий план освобождения выкупом с владеемою крестьянами землею по существующим ценам, посредством банков, с уплатою крестьянами выкупной суммы в течение тридцати семи лет, и, наконец, разные приготовительные и косвенные меры. По примирительному своему характеру она принята даже самыми закорузлыми и деревянными помещиками весьма хорошо, была уже и находится: у графа Киселева, у великого князя Константина, у товарища министра внутренних дел. Есть надежда довести до царицы. Здесь я езжу, читаю, толкую и разжевываю, сколько понимаю дело, и, кажется, не без успеха; скучновато подчас... Но что делать. Это служба, и служба прямая родине, дело любви, святейшая из святейших обязанностей.

Я отметил это письмо Кавелина, потому что в нем лучше всего сознание важности исходного и даже центрального пункта движения шестидесятых годов—т. е. освобождения крестьян. В сочувствии ему, в признании его необходимости и сошлись и разночинец и барин. Но дальше этого дороги их разошлись, и они перестали понимать друг друга. На сцену явились чрезмерность стремлений и чрезмерность требований. „Умственное волнение было тогда чрезвычайное; все вопросы поднимались с самого корня, решались, перерешались и опять поднимались. Знакомые, не видевшие друг друга год или два, встречались между собой с горячими и жадными вопросами: „ну что, к чему вы пришли? На чем вы теперь остановились?“ Едва ли когда повторится в таких размерах эта лихорадка мысли.

Журналистика 60-х годов.

Но все эти слухи, все эти неясные намеки и надежды на новый курс должны были, наконец, сгруппироваться возле одного какого-нибудь центра, сосредоточиться на нем по взаимному согласию возможно большого числа людей и преобразоваться в определенную, оформленную задачу перед обществом. Этим центром и этой задачей оказался, как и следовало ожидать вопрос о крепостном праве. В свою очередь, литература записок и писем, в которой чувствуется серьезное и искреннее возбуждение, должна была найти себе новое русло, выйти из сферы частных кружков, гостиных и застольных и явиться перед всем обществом, говоря ему понятным и доступным языком. Это исполнила знаменитая журналистика, к рассмотрению которой мне и надо теперь перейти.

Начну с любопытной страницы из „Воспоминаний“ Шелгунова.

„Еще никогда не бывало в России такой массы листков, газет и журналов, какая явилась в 1856—58 гг. Издания появлялись как грибы, хотя точнее было бы сказать, как водяные пузыри в дождь, потому что как много их появлялось, так же много и исчезало. Одними об'явлениями об изданиях можно было оклеить башню московского Ивана Великого. Издания были всевозможных фасонов, размеров и направлений, большие и малые, дешевые и дорогие, серьезные и юмористические, литературные и научные, политические и вовсе неполитические. Появлялись даже летучие уличные листки. Вся печать с официальной доходила до 250 изданий“.

„Тогда, правда, и время было такое,—читаем мы в другом месте,—что на пиру русской природы первое место принадлежало литератору. Никогда, ни раньше, ни после, литератор не занимал у нас в России такого почетного места. Когда на литературных вечерах впервые являются на эстраде писатель, пользовавшийся симпатиями публики, стон стоял от криков, восторга и аплодисментов и стучанья стульями и коблуками. Это был не энтузиазм, а какое-то беснование, но совершенно верно выражавшее то воодушевление, которое вызывает писатель в публике. И, действительно, между тем временем,—когда можно было рассказывать и все верили, что Пушкина высекли за какое-то стихотворение,—и 60-ми годами—легла уже целая пропасть. Теперь писатель встал сразу на какую-то недосягаемую высоту. В умчавшуюся пору, когда, по общему мнению, Пушкина *можно* было высечь, писатель не имел корней в обществе и по своим интересам был для общества недосягаем. Поэт и беллетрист услаждали тогда лишь празд-

ный досуг, доставляли занимательное чтение, а вкусы и требования были еще настолько неразвиты, что известной части образованной публики трагедии Баркова были понятнее и выше „Полтавы“ Пушкина. В шестидесятых годах точно чудом каким-то, создался внезапно совсем новый, небывалый читатель с общественными чувствами, общественными мыслями и интересами, желавший думать об общественных делах, желавший научиться тому, что он хотел знать. Когда можно было высечь Пушкина, у нас была только литература. Сенковский же уверял, что у нас была тогда не литература, а только книжная торговля; теперь же явилась печать, т. е. литература общественно-воспитательная, литература поучающая и учащая, а писатель, как творец этой литературы стал общественным учителем, воспитателем и пророком, открывавшим горизонты будущего, указывавшим идеалы и цели стремлениям. Отношения между читателем и писателем установились теперь вполне практические, осязательные, так сказать, земные, утилитарные, писатель перестал только развлекать праздный досуг, он стал наставником и учителем общественного строительства. Словом, когда весь успех реформ зависел от общественного, развития, нельзя было не ставить высоко тех, кто творил это развитие“.

Роль писателя была настолько живая и привлекательная, что было бы странно, если бы талант не соблазнился ею.

„Главными местами изданий,—продолжает Шелгунов,—как и главными очагами русской мысли, были Москва и Петербург. В петербургских изданиях следилось преимущественно за интересами дня, за тем, что делалось в русском мире, за вопросами, которые намечались и разрешались. Петербургская печать была передовым и главным боевым полком. Она стремилась руководить и не одним общественным мнением, и ставила иногда вопросы, если не опережавшие правительственную мысль, то пытавшиеся расчистить ей путь и в действительности его расчищавшие. Москва больше теорезировала и углублялась в основы русского духа. Как только явилась большая свобода, и повеяло духом перемен, Москва принялась издавать славянофильские и полу-славянофильские органы, об'явила войну истории Запада и Петру Великому (конечно, вместе с Петербургом), и в поддержку „Русской Беседы“ Кошелева явился „Парус“ Ив. Аксакова. Но та же Москва создала и солидный орган на западно-европейской подкладке—„Русский Вестник“, основанный в 1856 г. в умеренно-либеральном направлении и сразу завоевавший популярность интересом и дельностью содержания... В Москве же издавался тогда критический орган „Московское Обозрение“, в котором участвовали только безыменные сотрудники, поставившие себе задачей полную свободу и независимость от авторитетов.

„Но умственный центр был не в „сердце“ России, а в ее голове—в Петербурге, где начал издаваться и занял первое место между журналами „Современник“. За „Современником“ стояли „Отечественные Записки“ и „Библиотека для чтения“. Петербург не уступил Москве, а превзошел ее обилием и разнообразием новых органов. В Петербурге явился „Экономический Указатель“, проповедывавший свободу торговли, неограниченную конкуренцию и личную поземельную собственность: „Искра“, юмористический и сатирический журнал, основанный В. Курочкиным с целой компанией поэтов и юмористов; „Русский Дневник“ Павла Мельникова, а в 1858 г. „Русское Слово“ графа Кушелева“.

При первом же взгляде на литературу 60-х годов для каждого очевидно, что журналистка преобладала. И действительно, она играла руководящую роль. Преобладающий ее характер был критически-обличительный. Обличительная литература одно время выражала собою сущность настроения эпохи. Она развилась с легкой руки Щедрина и его замечательных „Губернских очерков“, закрепилась „Свистком“ Добролюбова, имела специальное свое местопребывание в „Искре“ Курочкина, вообще же везде и повсюду являлась на первом плане. Оно и понятно, если взять во внимание настроение эпохи, которая первой своей задачей ставила решительное свое желание освободиться от всего старого и обновиться с головы до ног во имя нового и несомненно европейски-нового.

„**Современник**“. Основанный по мысли А. С. Пушкина и Плетнева в 1836 году, занял одно из первых мест в литературе только тогда, когда перешел к Некрасову и Панаеву (1847 г.) и, главным образом, благодаря участию в нем Белинского. Скорая смерть Белинского (1848 г.), а главное бутурлинский комитет и невозможная для мысли удушливая атмосфера приснопамятного семилетия (1848—1855) позволяли лишь влачить существование, сосредоточив все заботы на „интересности“. Но с новым духом, повеявшим в жизни, „Современник“ переродился и вспомнил, что он журнал Белинского. Он стал Современником своих дней в полном смысле этого слова, выразителем самых смелых и затаенных дум своей эпохи, самым отзывчивым ее органом. На его страницах вы найдете отражение всего, что волновало людей сорок лет тому назад, заставляло их любить, ненавидеть, надеяться или приходить в отчаяние. Здесь все шереховатости стиля, вся грубость и блеск полемики—так характерные для того времени

вся гамма общественного настроения от первых глухих и робких нот, первых упований—до полных самоуверенных аккордов людей, думавших, что они из глупой России сделали уже Россию умной, из России молчаливой—Россию говорящую. Здесь напечатаны лучшие стихи Некрасова, здесь прошла вся деятельность Добролюбова и почти вся Чернышевского—здесь, словом, главный умственный центр эпохи. Успех журнала был поразителен; его читали везде, где думали, а его редакторов—Некрасова и Чернышевского, почти боготворили. Нас „Современник“ может интересовать только как характерный памятник эпохи, как выразитель ее правды, ошибок и увлечений... Что делать, habent sua fata libelli—родятся и умирают, и сегодня живые, полные огня, страсти и волнений страницы, завтра уж угрюмо и скучно смотрят на нас с книжных полок, не возбуждая ни любви, ни гнева.

Характеристику Некрасова, как поэта, читатель найдет ниже, теперь несколько слов о том, чем он был для „Современника“. Прежде всего он был превосходным редактором, с действительно поразительной проницательностью разгадывавший таланты и нужных ему людей, под какой бы непривлекательной внешностью они ни являлись к нему. Он разгадал Чернышевского, Решетникова, М. Михайлова, Елисеева и т. д. Но он делал еще больше и лучше: заметив, что человеку есть, что сказать и что он может высказать себя, он предоставлял ему полную свободу и уже не вмешивался в его отдел. Противники Некрасова, которых у него и теперь еще очень много, называют это ловкостью, а особенно отмечают то искусство, с каким он проводил свой журнал сквозь цензурные рифы. Дело не в имени, а ловкость в хорошем деле вещь хорошая, заслуживающая искреннего уважения. Если мы скажем про кого: он ловко и умело сделал многое—то разве это не похвала?

Как поэт, он в „Современнике“ был прежде всего поэтом униженных и оскорбленных, воплотив их в образ мужика. И я настаиваю на том, что он был искренним поэтом, вдохновенным защитником слабого.

„Он *чувствовал себя хозяином скорбящего народного царства*, этих необозримо богатых владений для извлечения из них в каждую минуту чего-нибудь ужасающего для „сильных мира“. „Народ безмолвствовал“, но это только придавало еще более трагический оттенок песням Некрасова. Он увлекался своею

миссией, облагораживался в ней, возвышался до голоса истинного гражданина, видел в ней свою славу, свое искупление за какой-то грех, на который содержатся горькие, сдержанные намеки в его поэзии. В течение многих лет на глазах целой России развертывался этот роман Некрасова с народом. Поэзия была уже не только в том, что он писал, но в самой его роли, в этой истории нераздельной, болезненной любви Некрасова к народу. Так что, когда он умер, то его, издавна уже избалованного богатством, несметная толпа хоронила со слезами, как страдальца за народ и убогих“.

И он несомненно был им, был именно страдальцем и жалетелем, из обстановки личной жизни почерпавшим толчки и стимул к действительно страстному состраданию и жалению.

Пока довольно о Некрасове. О *Чернышевском* надо сказать много больше, потому что он воистину „центральный“ человек. Жалею только, что не могу сообщить ничего из его биографии, кроме двух, трех чисто внешних фактов. Но внутренняя интимная жизнь этого замечательного журналиста совершенно скрыта от нас. Ни одной подробности, ни одного письма не появилось в печати, и мы знаем только, что, сын богатого саратовского протопопа, Чернышевский родился в 1828 году, получил сначала домашнее воспитание, затем поступил в семинарию, где блестяще окончил курс, но оттуда по обычной для поповичей дороге не пошел, а отправился в Петербург, в университет. Здесь его выдающиеся способности обратили на себя общее внимание, и он, получивши диплом историко-филологического факультета, был оставлен для приготовления к кафедре. Но из этого не вышло ничего, так как его диссертация „Эстетические отношения искусства к действительности“ не была утверждена министром народного просвещения Норовым. Чернышевский занялся журналистикой, и с 1853 года мы видим его уже сотрудником „Современника“, где он скоро напечатал два обширных трактата: „Очерки Гоголевского периода русской литературы“ и „Лессинг и его время“. „Очерки Гоголевского периода“ были чем-то севершенно новым, так как, строго говоря, это восхваление, признание и защита Белинского, которого Чернышевский, впрочем, не называет: с точки зрения цензуры того времени, Белинский был чем-то в роде государственного преступника, которому лишь преждевременная, хотя и без заранее обдуманного намерения, смерть помешала понести заслуженную кару. Чернышевский на все критико-философское движение до Белинского смотрит, как на подготовку его

деятельности, и ясно высказывается, что мы обязаны продолжать начатое великим критиком.

С новым духом и с переходом из критического отдела в публицистический, Чернышевский занял первое место в текущей журналистике, и слава его выросла до огромных размеров. С ним считались даже высшие сферы, министры (напр., Норов) принимали его у себя на раутах, интеллигенция считала его главой освободительного движения. Работал он массу, при чем главный предмет его работ был, разумеется, крестьянский вопрос. Тут замечательны его статьи: „Критика философских предупреждений протпв общинного землевладения“ и „О необходимости держаться умеренных цифр при определении величины выкупа“. Полнее всего его миросозерцание высказалось в статье „Антропологический принцип философии“. Много занимался он также популяризацией исторических знаний и несомненно, что это он привил к русскому мышлению политико-экономическую точку зрения (особенно переводами и примечаниями к „Основаниям“ Милля). Слава и значение, и еще что-то темное и страшное, неясное и невыясненное не прошли ему даром. Арестованный в 1862 году, он был сослан сначала на каторгу в Александровский завод, оттуда на поселение в Вилюйск. Возвращенный в 1883 году, он с совершенно расстроенным здоровьем жил в Астрахани и умер в 1889 году в Саратове. Кроме этих фактов и его статей из „Современника“—его жизнь легенда.

Журналистом он был замечательным по темпераменту, настроению, по огромному литературному таланту. В приемах его публицистики, в его кратких молниеносных фразах, где говорят то страсть, то негодование, то ядовитый сарказм, вы слышите боевой призыв к освобождению от старого, дореформенного, к полной перестройке жизни. Его мысль отличалась прямолинейностью, часто предумышленной, высказанной нарочно, с обдуманным намерением, чтобы читатель пе увлекался в сторону, не путался ни в диалектических, ни в схоластических тонкостях, а знал бы одно и одно: что он не читатель, не мыслитель, а прежде всего *работник* во имя общего блага и радости. Каждой своей статьей он указывает *путь* к живой работе, как любили тогда выражаться, и поэтому самым характерным его произведением является его роман „Что делать“. Он комментировал Милля, полемизировал с

Юркевичем и со всей русской журналистикой, соблазнял идеалом Фурье все с одной и той же целью создать единую всероссийскую партию интеллигентных работников, которая не позволила бы молодому, только что проснувшемуся обществу погрузиться в прежнюю спячку, уже невозможную теперь, когда даровой мужицкий труд ушел в область предания, и чувствуется полное обновление всех сторон жизни, всего миросозерцания.

Вначале (до появления на сцену Добролюбова) Чернышевский выступал прежде всего, как литературный критик и историк литературы. Решительно нельзя отказать ему в критической проницательности, лучшим доказательством чему могут служить хотя бы его отзывы о Толстом и Островском. Имея в своем распоряжении лишь „Детство и отрочесто" и „Военные рассказы", он делает о таланте Толстого много, действительно, остроумных и глубоких замечаний. Например: „Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других, ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительностью, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем... Гр. Толстого занимает всего более сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином"... Или: „есть живописцы, которые знамениты искусством уловлять мерцающее отражение луны на быстро катящихся волнах, трепетание цвета на шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков; о них по преимуществу говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто подобное делает Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. В этом состоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Из всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело". Нечего и говорить, что Чернышевский приветствует выступление Толстого на литературное поприще, называет его „прекрасной надеждой нашей литературы" и заканчи-

вает свою статью, написанную в 1856 г. словами: „мы предсказываем, что все, данное доныне графом Толстым нашей литературе, только залоги того, что совершит он впоследствии, но как богаты и прекрасны эти залоги!“ В Островском Чернышевский признавал огромный талант и в то же время он понимал, что этот талант совершенно чуждый и „Современнику“, и западничеству, что истинные симпатии великого драматурга на стороне патриархальной русской жизни, ее старых родовых устоев. Опять-таки тот же Чернышевский среди общих восторгов публики и критики и наперекор им поставил на свое место Авдеева, Евг. Тур и т. д. Но главная его заслуга заключается, как я думаю, в том, что он с увлечением и большим знанием дела напомнил Белинского, перед которым он преклонялся, и дал связный обзор русской литературы и особенно русской журналистики, в своих „Очерках Гоголевского периода“. Тут журналистика впервые рассматривается, как выражение общественной мысли, как общественная *сила* и общественное *служение*. Теоретические взгляды на искусство Чернышевский высказал в своей неодобренной министерством диссертации „Эстетические отношения искусства к действительности“. В высшей степени любопытно вспомнить, что видели в этой работе наиболее чуткие из современников. Обращаюсь поэтому к „Воспоминаниям“ Шелгунова:

„Умственное направление шестидесятых годов (я говорю преимущественно о литературном движении мысли), выразившееся наиболее ярко с 1859 по 1862 год, создалось не в эти годы. Оно проходит через целый ряд годов и в первый раз в своем зачаточном виде было провозглашено в 1855 году на публичном диспуте в петербургском университете. Я говорю о публичной защите Чернышевским его диссертации: *О эстетических отношениях искусства к действительности.* Задолго до публичной защиты о ней было уже известно в кружках, более близких к автору... Небольшая аудитория, отведенная для диспута, была битком набита слушателями. Тут были и студенты, но кажется было больше посторонних, офицеров и статской молодежи. Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах. Я тоже был в числе этих... Чернышевский защищал диссертацию с своей обычной скромностью, но с твердостью непоколебимого убеждения. После диспута Плетнев (председательствовавший) обратился к Чернышевскому с таким замечанием: „Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!“ И действительно, Плетнев читал не то, а то, что он читал было бы не в состоянии привести публику в тот восторг, в который ее привела диссертация. В ней было все ново и все заманчиво: и новые мысли, и аргументация, и простота, и ясность изложения. Но так на дессертацию смотрела только аудитория, Плетнев ограничился своим замечанием, обычного поздравления не последовало,

а диссертация была положена под сукно... Я напомню читателю главное содержание диссертации.

„Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априористическим, хотя бы и приятным для фантазии гипотезам,—вот характер направления, господствующего ныне в науке; к тому же знаменателю следует привести и наши эстетические убеждения,—говорил молодой магистрант.—Наука о прекрасном, эстетика, имеет разумное право на существование только в том случае, если прекрасное имеет самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Здоровый человек встречает в действительности очень много таких предметов и явлений, смотря на которые не приходит ему в голову желать, чтобы они были не так, как есть, или были лучше. Мнение, будто человеку непременно нужно „совершенство“—мнение фантастическое, если под „совершенством“ понимать такой вид предмета, который бы совмещал всевозможные достоинства и был чужд всех недостатков. Прихотливая строгость требований ведет только к праздности, холодности и пресыщенности. Русские женщины не так красивы, как итальянки, которых рисовал Рафаэль, но как бы ни было велико наше недовольство этим, русские женщины от него не похорошеют. Недовольство действительностью совершенно бесплодно и нелепо, когда оно обращено на красоту, и напротив того, оно необходимо, когда направлено против житейских неудобств, устроенных умами и руками людей. „Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни“. Искусство не может создавать таких чудес красоты, каких не бывает в действительности, и оно должно воспроизводить действительность, т.-е. все то, что интересно для человека в жизни. Для чего же нужно это воспроизведение? А вот для чего. Потребность, рождающая искусство, в эстетическом смысле слова (изящные искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи. Портрет пишется не потому, чтобы черты живого человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности. Содержание, достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто оно пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто: художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведения искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: да стоило ли трудиться над такими пустяками? Бесполезное не имеет права на уважение. Человек сам себе цель; но дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе. В этом отношении чаще других погрешали поэты. Привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо более интересующие человека; вообще вся поэзия и изображаемая в ней жизнь принимает какой-то сантиментальный, розовый колорит; вместо серьезного изображения че-

ловеческой жизни, произведения искусства представляют какой-то слишком юный взгляд на жизнь, и поэт является обыкновенно молодым, очень молодым юношею, которого рассказы интересны только для людей того же нравственного или физиологического возраста. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее— понять и об'яснить действительность, потом применить к пользе человечества свои об'яснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его,—для вознаграждения человека, в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью,—воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека об'яснить ее. Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности, быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни.

„Эти прекрасные мысли, выраженные с такой страстной любовью к людям, и до сих пор дышат свежестью и будят в душе благородные чувства. Какой же увлекающей силой они явились тридцать лет назад! Это была целая проповедь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство. Вот в чем заключалась влекущая сила этого нового слова, приведшего в восторг всех, кто был на диспуте, но не тронувшего только Плетнева и заседавших с ним профессоров. Плетнев, гордившийся тем, что он угадывал и поощрял новые таланты, тут не угадал и не прозрел ничего; он даже и не предчувствовал, что перед ним восстала во всем своем будущем величии новая идея, которой суждено овладеть всем движением мысли и указать новый путь, которым и пойдет затем наша литература и журналистика...

„Явись эта диссертация только шестью-семью годами раньше, когда кончал Белинский и выступал В. Майков, влияние ее, конечно, не перешло бы литературных пределов. Но теперь было другое время, теперь мы уж узнали Севастополь. Общественное внимание, хотя и смутно, но уже устремилось к оценке действительности. И момент не мог быть выбран более удачно, чтобы сказать обществу, что никакого другого дела у него не может и не должно быть, как только думать о своих делах. Еще внушительнее и необходимее было это указание для художников слова, раньше не знавших, о чем им следует говорить: „говорите о жизни, и только о жизни,— возвестил им один из лучших представителей своего времени,—отражайте действительность, а если люди не живут по-человечески, учите их жить, рисуйте им картины жизни хороших людей и благоустроенных обществ“.

Я сомневаюсь, чтобы книга Чернышевского могла бы вызвать теперь хоть частицу восторгов Шелгунова. Нечего и говорить, что область искусства шире, что никаких обязательств перед обществом брать на себя оно не может, что заставить его отражать действительность, значит, в сущности, упразднить его, что у него есть своя „красота“, которой оно служило и служит, что по природе своей оно романтично, а не натуралистично, что оно не только

напоминает, а и, ведет, и радует, и печалит, что желания, мечты, идеалы человека, его скорбь и надежды так же для него дороги, как и действительность—доставляющая лишь кирпич для его построек—но все это не может нисколько помешать нам признать интерес и значение „Эстетических отношений“. Тут разночинец впервые создает свою теорию искусства (чего не успел сделать Белинский) и его пользу для человека, его служение обществу ставит верховным принципом. Здесь полное опровержение эстетических теорий Станкевича и его кружка, теорий прекрасных, но слишком барских, слишком индивидуалистических для новой эпохи.

Чем дальше, тем текущие события, текущая жизнь получали все бо́льшее значение в глазах Чернышевского. В конце-концов, он весь отдался им с тем страстным увлечением, на которое была способна его глубокая натура. Он был учителем и, конечно, в известном направлении: с идеалом общественной свободы и самодеятельности, с идеалом крестьянского материально и духовно-обеспеченного царства в душе. Он весь ушел в интересы дня, которые казались ему наиболее удобными для осуществления заветнейших дум. Первая и заветнейшая из этих дум была полное отречение от дореформенного патриархального строя, его идеалов и его устоев. Поэтому, вместо нравственности, основанной на идее долга, он проповедывал утилитарианизм. „*Добро*,—говорил он,—*это польза для всех, по крайней мере, для большинства*, и если добро чем-нибудь отличается от пользы, то разве тем, что в нем с особенной силой выдвинута черта постоянства, прочности, плодотворности с наиболее хорошими, долговременными и многочисленными результатами. Польза—качество поступка, добро—качество человека, т.-е. огромного ряда поступков. Добро—это польза в превосходной степени, это—как будто очень полезная польза. Творя полезное и доброе, человек делает приятное себе, осуществляет, идею своего личного счастья, но *действительно прочное, истинное счастье человека возможно лишь при счастье всех.*

Нравственное учение Чернышевского построено исключительно на естественно-научных данных. Можно спросить себя, откуда такое уважение к естественным наукам, которые об‘являлись кам-

нем краеугольным всех человеческих знаний вообще? Почему так дорожили открытиями Фохта, Бюхнера и Молешотта, почему их сочинения давались как первое, необходимое руководство всякому, желавшему, по терминологии того времени, стать мыслящим суб'-ектом? Почему, далее, даже такие критики, как Писарев, считали популяризацию естествознания едва ли не главной задачей своей работы? Мне кажется, что здесь, в этом факте, проявляется прежде всего стремление к выработке ясного и определенного миросозерцания. Думали, что данные естествознания наиболее способны разрушить все предрассудки и порвать всякую связь человека с прошлым. Ведь собственно говоря, данные из книг Молешотта и Бюхнера не имели ровно никакого отношения к основным задачам времени, тем, которые зажигали сердца, и едва ли существует какая-нибудь действительная связь между происхождением человека от плешивой обезьяны и требованием самопожертвования в пользу общества. Но все равно—люди искали бесспорного и положительного и брались за первое, что попадалось им в руки. Под влиянием Запада попалось естествознание.

„В движении 60-х годов,—пишет г. Головин,—была одна, так сказать, общечеловеческая черта, несколько приближавшая его к рационализму конца прошлого века в Западной Европе. Черта эта заключалась в восторженном, даже в страстном поклонении точному знанию, от которого ожидалось не только расширение научного кругозора, но и нравственное обновление. Как раз в десятилетие с 50-го по 60-й год естественные науки не только сделали большие успехи сами по себе, но проникли собою и своим методом чуждую им до того область обществознания. Имена Фарадея, Гельмгольца, Тиндаля, Дарвина, Ляйеля, Вирхова, Гексли обозначают собою такой под'ем естествоведения, что за эту эпоху оно совершенно затмило собою прочие науки, тем более, что, благодаря его методу исследования, открылись новые, широкие гипотезы, совершенно изменявшие господствовавшее до того миросозерцание. Не обращая внимания на то, сколько в этих гипотезах было сомнительного и недоказанного, масса читающей публики и на Западе, и в особенности у нас ринулась на новые пути с тем большим доверием, чем менее она была в состоянии критически отнестись к научным догадкам. С этим расширением области естествоведения шла рука об руку иная работа—попытка распространить на ход развития человеческих обществ законы и методы естественных наук,—об'единить, так сказать, в одно целое всю природу, от движения небесных тел до ощущения души человека. Понятно, что в этой области, менее доступной проверке опыта, было еще более места для фантазии, лишь прикрытой именем науки, чем в области так называемых точных знаний. Строго говоря, новые философские учения, получившие названия позитивизма, эволюционизма, утилитаризма, были учениями вполне материалистическими, так как они стремились подвести под один уровень явления физической и нравственной жизни. От чистого

материализма их отличал только способ постановки вопроса—именно отсутствие каких-либо доктринальных признаний единства материи и духа и допущенное ими симптоматическое различие между физическими процессами, с одной стороны, и психическими—с другой. Но едва ли будет ошибкою признать, что быстрая популярность, именно у нас приобретенная именами Лекки, Милля, Литрэ, Бокля, Спенсера, была вызвана всего более сходством их выводов с материалистическим учением".

Изучение литературной деятельности Чернышевского лучше всего показывает, что материализм лишь внешняя форма, случайная одежда того бьющего через край идеализма, который формулируется нами как движение 60-х годов. По интенсивности своего идеалистического порыва, по той самоотверженности, которую проявляли представители этого движения, по силе веры, вложенной в него—оно может быть названо даже религиозным. Ибо такими словами, как общество, общественные задачи, служение обществу, человек воистину не только малым разумом своим—разсудком, но и большим разумом, т.-е. всем своим существом, всей волей своей и своими стремлениями отвечал на страшный и таинственный вопрос о смысле жизни. Только для *этого* и стоит жить. И в служении массе, еще вчера закабаленной, в деятельности, которая приподнимала бы ее самосознание, заключался идеализм эпохи.

Материалистическое миросозерцание было, повторяю, лишь оболочкой, одеждой истинной сущности движения 60-х годов, было прежде всего протестом против официального спиритуализма предшествовавшей эпохи. Рассудок, как верховный руководитель человека, польза, как конечная цель его поступков, материальное благосостояние, как необходимое и первое условие жизни — все это, конечно, нравственный материализм. Но не надо обманываться внешностью, не надо допускать, чтобы внешность скрывала истинное содержание и значение вещей. Потому что этим истинным содержанием и значением были интересы массы. Вот они-то и придали совершенно особенный характер всему миросозерцанию. „Рассудок", „польза", „материальное благосостояние" — все это узенькое, маленькое мещанство, все это принципы, которым ничего не стоит опошлиться до pig's philosophy—философии свиного корыта. Но в русле этого узенького мещанства 60-ые годы пробыли, быть может, один лишь день, или даже лишь случайно заглянули туда. Безмерность желаний и стремлений русской интел-

лигенции быстро оттеснили все проявления этого духа. Идеал счастья становился все более отвлеченным, идеал героизма и подвижничества все более жизненным. Но и раньше, и всегда было нечто серьезно противо-мещанское в проповеди наиболее мещанского. Возьмите хотя бы идею материального благосостояния. Естественно, что ее выставили на своем знамени люди, сами вышедшие из массы, из среды тех, кто жил „между нищими и средними“. Им она была дорога, бесконечно дороже, чем, скажем, барину-идеалисту. Но ведь это материальное благосостояние понималось не как конечная цель, а лишь как необходимое условие развития, потому что нищета действительно душит и гадит человека. И потом в каких грандиозных картинах рисовалось это общее материальное благосостояние! Тут были и дворцы из агата и хрусталя, был общий земной праздник, была веселая земля, населенная веселыми людьми,—приволье и радость разумно трудящихся работников. Фурье никогда не возбуждал таких восторгов, как в это время.—Нет, это не так просто! Нравственный материализм есть нечто отвратительное, когда он соединен с малостью и робостью духа и с сухим эгоизмом натуры, но не когда он является одним из рычагов для переоценки нравственных ценностей. А это-то и было в 60-ые годы, которым надлежало переоценить ценности, созданные крепостной эпохой.

Экономические статьи Чернышевского были руководящими для журнала, и естественно, какой огромный интерес возбуждали они в то время, когда мысль об устройстве крестьянского быта была у всех на уме, пугая одних или возбуждая —увы!— несбывшиеся мечты в других. Чернышевский в этих статьях выступал с совершенно определенными взглядами и требованиями, чем и обусловливается их значение и их историческая роль. Прекрасно начитанный по части западной экономической литературы, он ясно видел, что экономическая эволюция России представляет из себя некоторые особенности, остальным европейским государствам или неизвестные или известные очень мало, и понимая, что эти особенности, главной из которых было существование общины, хороши с точки зрения экономической самостоятельности крестьян, естественно проповедывал их сохранение, поддержку и развитие. Основную свою точку зрения на крестьянский вопрос „Современник“ выразил в следующих словах:

„Фантазия—способность очень слабая, она не в силах отдаляться от действительности. *Она не в силах создать для своих картин ни одного элемента, кроме даваемых ей действительностью.* В действительности, по вопросу о пользовании продуктом труда высший элемент, знакомый нашему воображению—положение поселянина-собственника. Все теории коренных улучшений человеческого быта построены на этом понятии. Со временем, конечно, будет представлять действительность данные для идеалов, более совершенных, но теперь никто не в силах отчетливым образом описать для других или хотя бы представить самому себе иное общественное устройство, которое имело бы своим основанием идеал более высокий. Да, из этого скромного основания возникают и эту скромную цель преследуют все так называемые утопии: *дайте нам такой быт, в котором каждый человек мог бы занимать положение поселянина-собственника* или другое положение равнозначительное ему, в котором каждый человек мог бы работать действительно в свою пользу“.

Подчеркнутые слова лежат в основании всех экономических рассуждений Чернышевского. Перед собой он видел воистину мужицкое царство и он думал, что это мужицкое царство может развиваться без конца, пока в нем не осуществятся сны Веры Павловны о дворцах из агата, о вечной радости и весельи людей. В основу этого царства он полагал общину и общинный дух, дух круговой поруки и артелей, из которого должно выработаться новое братство и единение. Он считал общину камнем краеугольным нашего экономического развития, он думал, что эта община, вызванная к новой жизни реформами и западной наукой, допустившая в свою среду интеллигенцию, легко перейдет в другое, бесконечно лучшее существование. Община представлялась ему живучей и устойчивой, оттого-то так и раздражали его выходки бюрократов. В двух словах его идеалы на этот счет можно выразить так: Чернышевский *считал не только желательным, но и безусловно возможным влить самое богатое и разнообразное культурное содержание в самые примитивные и даже архаические формы экономического быта без обмена, без капитала и даже без государственного вмешателества в строй общинной жизни.* Он верил, что так должно было бы быть, но уже и в ту эпоху, когда считались осуществимыми самые смелые надежды, сомнение нет-нет овладевало им, и он тоскливо спрашивал, будет ли так?

Н. А. Добролюбов. (1836—1861). Быть может, это самая глубокая и серьезная фигура всей нашей литературы 60-х годов. Я не говорю — самая влиятельная: самым влиятельным журналистом

был, конечно, Чернышевский. Но я настаиваю на словах глубокой и серьезной и хотел бы даже удесятирить их значение, заменив одним определением: Добролюбов был натура *религиозная*; счастье человечества было его богом, и он служил ему, как жрец, с страстной любовью, нежным умилением, но и с беспощадным негодованием в то же время против всех людей иной веры, иного кумира. Даже у противников 60-х годов по поводу Добролюбова вырываются порою хорошие строки, как вырываются они у всех, кто проник в истинный смысл хотя бы одной из статей, написанной так безжалостно рано умершим критиком. Его обвиняют в холодности, его называют подчас мертвой головой, затвердившей одно слово: „счастье всех" и бесконечное число раз переворачивавшей его на все лады. Да, от него действительно веет холодом, но это холод сдержанного негодования, холод страсти, кристаллизованной, поглотившей всего человека, сделавшей из него в одно и тоже время маньяка и ясновидца и испепелившей его наконец. „Милый друг, я умираю, оттого что был я честен" — не пустыя слова и не гордыня духа. Честность не та, конечно, пошлая мещанская честность, которая не ворует платков, а та большая, мучимая муками всех обездоленных, откликающаяся на все их слезы, сделавшая задачу их отомщения своей задачей, действительно свела его в могилу. И он ушел в нее без слез и без отчаяния с теми же словами предсмертного завета, с которыми он при жизни обращался к толпе учеников: „верьте, что бог— счастье всех людей, бог, которому мы служим — теперь обиженный и опозоренный, еще сойдет на землю во всей красоте и величии и сделает из этой юдоли страданий и плача — юдоль красоты и веселья. Верьте, что вы будете отомщены, потому что все униженные и оскорбленные достойны отомщения".

Он умер на 26-м году и, конечно, у него нет биографии. На его могиле Некрасов прекрасно сказал: „бедное детство в доме бедного сельского священника, бедное, полуголодное ученье; потом 4 года лихорадочного, неутомимого труда и, наконец, год за границей, проведенный в предчувствии смерти—вот и вся биография Добролюбова". Но за этим послужным списком скрывается богатая интимная жизнь и, к счастью, любящая рука его друга и учителя, Чернышевского, сохранила нам кое-что из нее. И все сохраненное из дневника, из писем, из воспоминаний знавших

Добролюбова говорит о том, что все его детство и юность прошли в страстной вере в простого русского бога, в страстном желании положить за него душу свою, в подвигах самобичевания, в пытках, добровольно наложенных на себя. Потом простой русский бог заменился богом—человечеством, и вся религиозная страсть, ничуть не ослабленная, но как будто еще больше раскалившаяся, направилась в новое русло, вся неудовлетворенность жизни и счастья, все вынесенные унижения бедности, возвышенные и очищенные религиозным экстазом, одухотворенные им, вылились в мучительной жажде счастья для всех. Многое ли он сделал, сдвинула ли горы вера его? Послушем врагов его эпохи, его настроения.

„Связать литературу с жизнью,—говорит В. Розанов,—заставив первую служить последней и понимая последнюю через явления первой—это составило смысл и задачу второго периода нашей критики, высшим выразителем которого явился Добролюбов. Прекрасное в литературе было отодвинуто на второй план, как и наслаждение только им было признано мало достойным. Как на самое существенное указывалось в ней на то, что она может глубже и вернее, нежели что-либо другое, отражать в себе жизнь, и притом не только с внешней стороны, которую одну мы наблюдаем в действительности, но и с внутренней, более глубокой, которая часто ускользает от нас. Художник или поэт есть как бы бессознательный мудрец, который в выводимых им образах или передаваемых фактах концентрирует рассеянные черты жизни, иногда схватывает глубочайшую их сущность и даже угадывает их причины. Поэтому, изучая литературу, мы изучаем самую жизнь, а с тем вместе и научаемся, как относиться к последней. Но не всякое литературное произведение выполняет все эти задачи одинаково и совершенно: несмотря на совершенство, например, в изображении и обобщении, оно может неверно определять смысл изображаемого или, еще чаще, может погрешать в указании его причин. Задача критики и состоит в том, чтобы внести поправки ко всему этому. Она есть строгий и обстоятельный комментарий к литературе, который вносит в нее недостающее, исправляет неправильно сказанное, осуждает и отбрасывает ложное, и все это—на основании сравнения ее содержания с живою текущею действительностью, как ее понимает критик.

„Невозможно было придать литературе более жизненное значение, пробудить к ней более глубокий интерес, так слить ее с душой исторически-развивающегося общества, чем как это сделал подобный взгляд на ее сущность и на задачи критики. Именно под его влиянием литература приобрела в нашей жизни такое колоссальное значение. Не знать ее, не любить ее, не интересоваться ею—это значило с того времени стать отщепенцем своего общества и народа, ненужным отброском родной истории, узким и невежественным эгоистом, которому никто не нужен и который сам никому не нужен. Писатель стал главным, центральным лицом в нашем обществе и истории, к мысли которого все прислушиваются. И все это совершилось без слов, даже без видимых, осязаемых влияний, просто че

рез изменение взгляда на литературу, через новое отношение к ней, в которое стала критика, а за ней—общество.

„Великое значение исторически развивающейся жизни заключается в том, что она, в своем ровном и могущественном течении, удерживает в себе все истинное и доброе, что в нее вносится индивидуальною волею, дает рост ему и силу, и сама от него возрастает, ложное же и дурное почти все и без усилий оставляет в стороне. Деятельность Добролюбова, как ни кратка она была по времени, вошла органическим звеном в духовное развитие нашего общества, и трогательные слова, написанные им в предвидении близкой смерти в виду ранней и незаслуженной могилы:

Но зато родному краю
Верно буду я известен,

осуществились так, как только он сам мог пожелать для себя, даже более—как мог он пожелать для самых дорогих своих надежд. Целый ряд поколений, както быстро выступивших и быстро же сошедших со сцены, неотразимо подчинился его влиянию, усвоил тот особый душевный склад, тот оттенок чувства и направление мысли, которое жило в этом еще так молодом и уже так странно могущественном человеке. И кто из нас, теперь живущих и уже свободных от этого влияния людей, обратясь к лучшим годам своей юности, не вспомнит, как за томом сочинений Добролюбова забывались и университетские лекции, и вся мудрость, ветхая и великая, которая могла быть усвоена из разных старых и новых книг. К нему примыкали все надежды, вся любовь и всякая ненависть“.

Это хорошо, сильно, а, главное, верно сказано. Добролюбов не думал отрицать ни эстетики, ни художественности, но он органически, всем существом своим понимал, что бывают эпохи и задачи, несовместимые с эстетикой, что есть категории добра и зла, несовместимые с другими категориями, и, главным образом, с категорией красоты. Как настоящий шестидесятник, как один из творцов эпохи, он был работником-ригористом, чуждавшимся всякой роскоши, даже художественной, и боявшимся ее. Поэтому он очень мало говорил о Пушкине и Гоголе, о Толстом, недолюбливал Тургенева за его очевидную красивость и любовное свое внимание сосредоточил на Гончарове и особенно на Островском, который хотя и не ответил на главный вопрос жизни самого Добролюбова: „как устроить так, чтобы всем было хорошо?“—зато картинами и типами своего темного царства ближе всего, по мнению критика, подходил к ответу на другой вопрос: „отчего людям нехорошо?“ От самодурства, от предрассудков, от собственной трусости самих страдающих, а главное, от той страшной экономической зависимости, в которой находится большинство людей. В то же время скептик Добролюбов спрашивал себя, достаточно ли велики деятели современной литературы и вообще всей русской

литературы, чтобы заслуживать разбора с самостоятельной художественной точки зрения—и спокойно отвечал: „нет: они не Гете, не Шекспир, не Данте или Байрон“. Их романы и комедии вызывают интерес настолько лишь, насколько они дают нам живое отражение русской жизни; и потому эта жизнь с ее вопросами и тревогами гораздо более заслуживает разбора, чем герои повестей и комедий. И через голову этих героев, которыми он почти и не занимается вовсе, Добролюбов направляет свои удары против ненавистного ему строя русской жизни. За современной литературой он признает одно лишь значение, значение прикладное и служебное—будить в обществе сознание уродливости этой жизни, вызывать его на борьбу с темными силами застоя. Хотя Добролюбов при этом говорит, что литература не должна становиться орудием партии, что от нее требуется одно лишь—безусловная, неумолимая правда, но едва-ли он имел что-нибудь и иротив чисто партийной литературы. В статье „Луч света в темном царстве“ он спрашивает себя, что должно служить мерилом при оценке литературных произведений, всяких—художественных и нехудожественных, и отвечает на этот резко и определенно поставленный вопрос так:

„Мерою достоинства писателя или отдельного произведения мы принимаем то, насколько служат они выражением естественных стремлений известного времени и народа. *Естественные стремления человечества, приведенные к самому простому знаменателю, могут быть выражены в двух словах: чтобы всем было хорошо*“.

Совершенно естественно поднимается вопрос: „почему же людям плохо?“ и почему все в жизни идет против естественных стремлений людей? Добролюбов прямого и ясного ответа на только что поставленные вопросы не дал; слишком увлеченный быстрой сменой событий своего времени, он давал лишь случайные и частные ответы. От души ненавидя дореформенный русский строй, он зло и метко подводил ему итоги. Он указывал на самодурство темного царства, на то, в какое безвыходное положение ставит людей экономическая зависимость, на зло от робости, невежества и трусости людей. (Статьи „Темное царство“ и „Луч света в темном царстве“). Но, вероятно, лучшей его статьей следует признать: „Что такое обломовщина?“ Тут он весь искренний и непримиримый. Тут он весь разночинец, восставший против бар-

ской культуры и ее „героев“. Обломовщина для него самое отвратительное явление нашей жизни, и понимает он ее очень широко. Рудин, Бельтов, Онегин и т. д.—все герои нашей литературы в барскую эпоху ее развития—те же Обломовы с его ленью, прекраснодушием и полной пустотой своей прикрашенной чужим трудом жизни. Они прежде всего тунеядцы и привилегированные люди, а этих двух „грехов“ Добролюбов не прощал никому...

Вся деятельность Добролюбова прошла до эмансипации, хотя он и пережил „Манифест“ на несколько месяцев. Ясно, что он не мог не уделять большого внимания и крестьянскому вопросу.

О правоспособности мужика к свободе Добролюбов высказался, в сущности, один только раз, но высказался так резко и решительно, как только этого можно желать, в своей знаменитой статье, посвященной рассказам *Марко-Вовчок*. Напомнить ее читателю для меня прямо необходимо; к тому же и данная здесь характеристика М.-Вовчка имеет для нас значение.

„Новая книжка „Народных рассказов“—писал Добролюбов,—проникнута тем же характером и тенденциями, как и прежние „Народни Оповидання“. Великие силы, таящиеся в народе, и разные способы их проявления под влиянием крепостного права—вот, что мы видим в этих рассказах. Тон автора, обрывисто певучий, характер рассказа грустный и задумчивый, второстепенные подробности полные чистой и свежей поэзии в описаниях—все это осталось таково же, как и в прежних рассказах“.

Конечно, это очень большая похвала и сама по себе взятая, и несомненно еще большая, раз она принадлежит такому суровому критику, как Добролюбов, который вообще не долюбливал комплиментов. Он, впрочем, нисколько не увлекался и превосходно видел, с кем и с чем имеет дело. Характерно, с этой точки зрения самое заглавие его статьи: „Черты для характеристики русского простонародья“. Заметьте: только „черты“, и этого Добролюбов не забывает ни на минуту. Он пишет:

„...Мы берем книжку Марка Вовчка и напомним вам несколько русских характеров, в ней изображенных.

„Надо заметить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художественной полнотой, а только лишь намечены в коротеньких рассказцах Марка Вовчка. Мы не можем искать у него эпопеи нашей народной жизни,—это было бы уже слишком много. Такой эпопеи мы можем ожидать в будущем, а теперь покамест нечего еще и думать о ней... Сознание великой роли народных

масс в экономии человеческих обществ едва начинается у нас, и рядом с этим смутным сознанием появляются серьезные, искренно и с любовью сделанные наблюдения народного быта и характера. В числе этих наблюдений едва ли не самое почетное место принадлежит очеркам Марка Вовчка. В них много отрывочного, недосказанного, иногда факт берется случайный, частный, рассказывается без пояснения его внутренних или внешних причин, не связывается необходимым образом с обычным строем жизни. Но... для нас довольно и того, что в рассказах Марка Вовчка мы видим желание и уменье прислушиваться к этому еще отдаленному для нас, но сильному в самом себе, гулу народной жизни: мы чуем в них присутствие русского духа, встречаем знакомые образы, узнаем ту логику, те требования и наклонности, которые мы и сами замечали когда-то, но пропускали без внимания. Вот чем и дороги для нас эти рассказы; вот почему и ценим мы так высоко их автора. В нем видим мы глубокое внимание и живое сочувствие, в нем находим мы широкое понимание той жизни, на которую смотрят так узко и убого многие из образованнейших наших экономистов, славянистов, юристов, либералов, нувеллистов и пр., й пр.".

Что Добролюбов подразумевал под „широким пониманием" народной жизни, известно всем и каждому. Больше всего возмущал его взгляд на народ, как на безличную массу, живущую лишь стихийными инстинктами и коллективно-физиологическими процессами. Оттого-то он с особенной любовью отмечал проявления личного начала, прощая даже его заблуждения, как, например, при разборе характера Ефима из рассказа М. Вовчка: „Купеческая дочка". Он верит, что это „личное начало" существует, что оно только притаилось, запуганное внешними обстоятельствами крепостного права и гнетущей мыслью о невозможности для человека сделать хоть что-нибудь и хоть чем-нибудь заявить о самостоятельности своей мысли и чувства. В то же время он старается доказать хотя бы чисто априорным путем, что отсутствие подобного „начала" было бы вещью совершенно необ'яснимой и даже противоестественной, что оно есть, что его не может не быть, что оно должно быть, наконец. Оно предсказывает ему полное и разумное развитие в будущем, когда исчезнет не только внешний гнет крепостного права, но и всевозможных его остатков и переживаний. Поэтому главная задача его замечательной статьи сводится к тому, чтобы избавить рассказы М. Вовчка от нарекания в идеализации, прикрашивании, жоржзандизме и пр., доказать, что они не „фантазия", не идиллия в социальном вкусе, не „мечты будущего золотого века", а плоть от плоти настоящей, действительной жизни, той жизни, которой не хотят видеть практические люди с судачьими глазами, „гу-

манными взглядами и тайными симпатиями к крепостным отношениям". В конце концов, резюмируя свой разбор рассказов Вовчка, он говорит: „Мы можем здесь еще раз обратить внимание читателей на мысль, развитие которой составляет главную задачу этой статьи,—мысль о том, что *народ способен ко всевозможным возвышенным чувствам и поступкам наравне с людьми всякого другого сословия, если еще не больше, и что следует строго различать в нем последствия внешнего гнета от его внутренних и естественных стремлений, которые совсем не заглохли, как многие думают... С таким доверием к силам народа и с надеждою на его добрые расположения, можно действовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое дело крепкие, свежие силы и предохранить их от того искажения, какому они так часто подвергаются при настоящем порядке вещей*".

Отношения к мужику—единственная область, где Добролюбов обходился без своего обычного и очень глубокого скептицизма. Здесь он допускал даже идеализацию, не в смысле прикрашивания, разумеется, а лишь „ошибок любви и веры". Здесь он говорит о великих силах, таящихся в народе русском, здесь у него другой тон, другие приемы критики. Но совсем иначе относился он к русскому обществу и русской интеллигенции. Здесь на одного избранного он видел десятки и сотни козлищ, здесь не радовали его ни Кокоревы, ни Ламанские, каким бы беснованиям всероссийского прогресса ни предавались они; здесь он давал полный простор своему злому, язвительному и очень часто злорадному смеху. Искренней ненавистью ненавидел он барство и все проявления барской натуры, с отвращением он смотрел на то, как вчерашние крепостники ломались перед публикой на либеральных подмостках, чтобы сорвать дешевые стадные рукоплескания. Ему казались глупыми и бессмысленными восторги общества, когда ничего еще не было сделано, когда все было впереди и заря настоящего дня не брезжила еще. Созданный им „Свисток" и был тем лобным местом, куда он выводил всех ликующих, праздноболтающих, а их, конечно, было большинство. Не ликования и празднолболтания нужно было ему; он хотел, чтобы „эпоха великих реформ" совершилась в серьезности и молчании, с огромным пониманием той страшной ответственности, которую возлагает на каждого будущее народной жизни. В прочность

официального прогресса он не верил никогда. Он точно предчувствовал, что этот прогресс очень скоро повернет марш-маршем назад, и несомненно видел, что все это „очаровательное здание“ реформ стоит на курьих ножках. Где наше общество, которое могло бы поддержать сделанное, где наши ручательства за будущее?—спрашивал он в каждой статье, и на это приходилось давать лишь отрицательные ответы. Указывали многие на журналистику, как на крупную общественную силу. Добролюбов смеялся и над этим. Журналистика крупная сила? И он принимался подсчитывать число наших читателей, число грамотных вообще. Получалось нечто воистину мизерное... Нет общества, нет общественного самосознания, а есть гг. Кокоревы, одним словом, болтуны. Теперь, полагаю, станет совершенно ясной вся едкость знаменитого стихотворения „Наш демон“.

В те дни, когда нам было ново
Значенье правды и добра
И обличительное слово
Лилось из каждого пера;
Когда Россия с умиленьем
Внимала звукам Щедрина
И рассуждала с увлеченьем,
Полезна палка иль вредна;
Когда возгласы раздавались,
Чтоб за людей считать жидов,
И мужики освобождались,
И вред был сознан откупов...

—в те дни исполненный злого скептицизма демон предстал перед русским обществом и, не зная ничего святого, не верил, что

...Нужен гений,
Чтобы разумный дать ответ
Среди серьезных наших прений,
Нужна ли грамотность иль нет?
Он хохотал, как мы решали,
Чтоб мужика не барин сек,
И как гуманно утверждали,
Что жид есть тоже человек...
Весь наш прогресс, всю нашу гласность,
Гром обличительных статей,
И публицистов наших страстность,
И даже самый Атеней—
Все жертвой грубого глумленья

Соделал желчный этот бес,
Бес отрицанья, бес сомненья,
Бес, отвергающий прогресс.

Эта лучшая характеристика „Свистка“.

По самой натуре своей Добролюбов не любил карнавалов—он был постником и подвижником и боялся этого ребяческого увлечения красивой иллюминацией. Впереди ему представлялась одна работа, которая потребует от человека всех его сил, а может быть, и жизни. Оттого то так мало радовали его даже личные успехи и личная слава. В одном из лучших своих стихотворений он говорит:

...Боюсь,
Чтоб кто-нибудь в усердьи глупом
На гроб цветов мне не принес...
Чтоб бескорыстною толпою
За ним не шли мои друзья,
Чтоб под могильною землею
Не стал любви предметом я.

У него было слишком мало друзей, были люди, только сочувствовавшие ему, понимавшие его лишь с внешней стороны, но которые даже и не заглядывали в истинную глубину его требований от жизни. „Чтобы всем было хорошо“—вот его девиз, вот смысл всей его проповеди; увлекались же больше тем, как он отделал Пирогова за снисхождение к розге, осмеял Погодина за его напыщенное академическое самодовольство. И чем больше страдал он, тем злее и беспощаднее становилось его перо, от уколов которого не могли не корчиться несчастные жертвы „Свистка“.

После смерти Добролюбова и ссылки Чернышевского журнал перешел в руки эпигонов, таких как М. А. Антонович, Ю. Г. Жуковский, Г. З. Елисеев, А. Н. Пыпин и т. д. Нельзя сказать, что он остался на прежней высоте, несмотря на яркий расцвет таланта Некрасова и на фельетоны Щедрина, принявшегося теперь за ежемесячную литературную деятельность. Труднее стало самое время. Освобождение крестьян было делом настолько назревшим, так хорошо подготовленным самою жизнью, всем прошлым нашего экономического и умственного развития, даже нашими международными отношениями (это, кстати сказать, смутно чувствовалось самими современниками, которые думали, что освобождение было потребовано Наполеоном и союзниками)—что русская мысль двигалась в сущности по одному руслу, и лагерь крепостников был

ей не страшен. Но теперь наступила разноголосица, так как, очевидно, предстояли дальнейшие реформы, по поводу которых мнения очень разделились. Одни требовали полного обновления всего строя, другие рекомендовали умеренность, третьи хотели вернуться назад, как будто история возвращается. Выступили на сцену вопросы: дворянский, судебный, педагогический, университетский и т. д., которые требовали самого пристального внимания к себе. Со всем этим приходилось считаться, что было очень трудно „Современнику", где главная роль перешла теперь к М. Антоновичу, человеку очень талантливому, очень образованному, но которому во всяком случае не под силу было заменить сразу публицистику Чернышевского и критику Добролюбова. Но все же влияние журнала не уменьшилось, оно стало лишь уже, партийнее. В 1866 г. „Современник" был закрыт по причине „смутного состояния умов".

„**Русское Слово**" (основано в 1858 г.). В смысле популярности „Русское Слово" не уступало „Современнику", но в смысле влияния на жизнь его приходится поставить на второе место. К голосу „Современника" прислушивались даже в высших сферах, с ним считались все партии. „Русское Слово" такого значения не имело. Издаваемое под редакцией Благосветлова, одухотворенное талантом Писарева, собравшее вокруг себя немало заметных дарований, таких, как Шелгунов, Зайцев, Соколов, Омулевский и пр., оно поражает нас смелостью и яркостью своей мысли, своим молодым задором, полным отсутствием какого бы то ни было скептицизма. Тон журналу давали статьи Писарева, но, как ни велико было дарование этого третьего замечательного нашего критика, никак нельзя забывать и его товарищей. Каждый из них делал свое дело и делал его хорошо. *Шелгунов* занимался преимущественно популяризацией, и если статьи его не представляют ничего оригинального, то несомненно, что они были очень нужны в то время. Нельзя, на самом деле, забывать, что, в каких бы ярких красках ни представлялась нам эпоха великих реформ, невежество русского общества было поразительное. Это было общество младенческое, наивное, едва выходившее из состояния крепостной дикости. Оно ничему не училось, ничего не знало, ему нужно было рассказывать о самых элементарных вещах, выяснять самые обыденные представления. Оно столько же нуждалось в руководителях,

сколько—в популяризаторах. И взявшись за это без всяких претензий, без всякого самомнения, с обычной милой скромностью, Шелгунов, разумеется, отвечал потребности, вполне и безусловно назревшей. Заметнее деятельность *Зайцева*—совершенно несправедливо забытого и даже заживо забытого. Тем же, чем был Писарев для критики, тем был Зайцев для библиографии. Своими крошечными статейками, проникнутыми одною мыслью, что нам необходимо расстаться со всем прошлым,—его авторитетом и его „верой" (для Зайцева только суевериями), он действовал точно из скорострельного орудия, постоянно дисциплинируя и возбуждая читательскую мысль. Но было и еще нечто в его деятельности—это то, что он *один из первых, если не первый, серьезно и внимательно отнесся к рабочему движению на Западе и старался ознакомить с ним общество.* Здесь приходится отметить его перевод речей и мелких брошюр Лассаля.

Имело ли „Русское Слово" право на самостоятельное существование была ли его постоянная полемика с „Современником" результатом задора или вызывалась необходимостью? Мне думается что имело и вызывалась необходимостью. Обращу пока внимание на один только, но существенный, пункт, на отношение к мужику. Для „Современника" этот мужик, в смысле ли великих таящихся в народе сил Добролюбова или в смысле крестьянина-собственника Чернышевского, или истинного начала всех начал Елисеева, был действительно камнем краеугольным всего мышления. Елисеев, напр., писал не только с точки зрения его интересов, но, по возможности, его языком, подражая его грубоватому юмору, его уступчивому лукавству—вообще его „себе на уме". Он тонко подсмеивался над барскими затеями, над интеллигентными мечтаниями, всеми своими статьями он говорил, что пока в крестьянстве, в серой молчаливой массе не будет для этого почвы—то вообще не будет ничего. Верил же он и в то, что такая почва может быть очень скоро подготовлена. „Современник" поэтому по всей истине и справедливости может быть назван органом старого народничества. „Русское Слово" в лице своих главарей, по крайней мере, было к мужику сравнительно равнодушно. Писарев очень определенно высказался по этому поводу, указывая, что единственное горе народа в его невежестве, единственное лекарство—просвещение. „Пока наука не перестанет быть барскою роскошью, пока

она не сделается насущным хлебом каждого здорового человека, пока она не проникнет в голову ремесленника, фабричного работника и простого мужика,—до тех пор бедность и безнравственность трудящейся массы будут постоянно усиливаться, несмотря ни на *проповеди моралистов, ни на подаяния филантропов, ни на выкладки экономистов, ни на теории социалистов.* Есть в человечестве одно только зло—невежество, против этого зла есть только одно лекарство—наука, но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а сорокаведерными бочками. Слабый прием этого лекарства увеличивает страдания больного организма. Сильный прием ведет за собою радикальное исцеление. Но трусость человека так велика, что спасительное лекарство считается ядовитым“.

Вот и все, что могло сказать „Русское Слово“ по адресу мужика. Тут нет не только порыва, но и особенной сердечности. Ни малейшей мысли о том, что мужик—начало всех начал. Начало всех начал—наука, просвещение и—как превосходно добавлял Зайцев—решение экономических противоречий современного общества, взятого целиком. И несомненно, что конечный идеал „Современника“—мужицкое царство, где каждый был бы „крестьянином-собственником“, был совершенно чужд „Русскому Слову“.

Главной силой „Русского Слова“ и, вероятно, самым блестящим и остроумным русским критиком, на которого все другие сотрудники журнала, по откровенному признанию Н. В. Шелгунова, смотрели с низу в верх, был *Дмитрий Иванович Писарев* (1841—1868), работавший в „Русском Слове“ и только в нем целых 5 л. (1861—1866), после закрытия которого перешел в „Дело“, где успел напечатать одну статью, и затем, рассорившись с редактором Благосветловым, остался не у дел. Сын полуразорившихся помещиков, он, получивши приличное домашнее образование, поступил в 3-ю гимназию С.-Петербурга, оттуда в университет, который и окончил благополучно в 1860 г. Вышел он кандидатом, с медалью и самыми милыми убеждениями, которые потом с веселым юмором изложил в своих статьях „Наша университетская наука“; но дух времени быстро изменил его, и уже через год он является перед нами передовым журналистом. Писал он много, скоро и всегда превосходно. Главной своей задачей он считал популяризацию естественно-научных и исторических знаний, о чем

он говорит между прочим в одном из писем к своей матери: „общие рассуждения и высшие взгляды составляют совершенно бесполезную роскошь и мертвый капитал для такого общества, которому недостает самых элементарных знаний. Поэтому обществу надо давать все необходимые знания, т. е. знакомить публику с лучшими представителями европейской науки. Мне эта задача во всех отношениях по силам и по душе“. Эта задача,—так подходившая к духу времени, когда масса, ее интересы, ее роль и значение в жизни, действительно, приобрели огромное значение во всех соображениях и надеждах мыслящего человека,—нашла в Писареве талантливейшего исполнителя. Писарев прекрасно понимал, что движение захватило лишь верхи, что для прочности ему надо проникнуть в массу, что надо эту массу приподнять до себя, чтобы потом уже на ее знаниях, на ее самостоятельной жизни построить что-нибудь прочное и ценное. Много преданных людей пошло за ним и между прочим их усилиями эпохе 60-х годов был придан ее рационалистический, просветительный характер.

Как известно, начиная с 1861 г., Писарев сделался постоянным сотрудником и даже помощником редактора „Русского Слова“. Успех его статей превзошел самые смелые и нетерпеливые ожидания. Им зачитывались большие и малые, мужчины и женщины. Дальнейшая его биография обращается в постоянное литературное горение. Писарев жег свой талант с обоих концов. Впрочем, и время было такое, что не жаль было жечь его. Весело было работать для внимательных и возбужденных слушателей, жадно ловивших каждое твое слово, весело и отрадно было сознавать, что ни одна трезвая, хорошая мысль не пропадет даром, а найдет себе сочувственный отклик в читательском сердце. Как истинный журналист, Писарев не только любил дело, он любил читателя, и на такое к себе внимание читатель того времени имел полное право.

„Теперь к моему характеру,—пишет он 17 января 1866 года,—присоединилась еще одна черта, которой в нем прежде не существовало. Я начал любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мне до них не было никакого дела. Прежде я писал отчасти ради денег, отчасти для того, чтобы доставить себе удовольствие, мне приятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чем не думал и не хотел думать. А теперь мне представляется часто, что мою статью читает где-нибудь в глуши очень молодой человек, который еще меньше моего жил на свете и очень мало знает, а между тем желал бы что-нибудь

узнать. И вот, когда мне представляется такой читатель, то мною овладевает самое горячее желание сделать ему как можно больше пользы, наговорить ему как можно больше хороших вещей, надавать ему всяких основательных знаний и, главное, возбудить в нем охоту к дельным занятиям.

„Это наверное отражается и в изложении моих статей, и в выборе их сюжетов, и это придает процессу работы особенную прелесть для меня самого. Работа перестает быть делом одной мысли и начинает удовлетворять потребности чувства“...

Вернемся однако к жизни Писарева. Отсылая за подробностями к его биографии, я ограничусь самым существенным и необходимым. В 1862 году в июле месяце за одну статейку, напечатанную им в подпольном органе, он попал в крепость, где и просидел 4 года с половиной. Оторванный от семьи и общества, от своих литературных друзей и развлечений юности, Писарев однако не упал духом. Напротив того: во время пятилетнего заключения в крепости развернулись все лучшие стороны писаревской души и таланта. Как это ни изумительно, однако таков факт, что лучшие статьи написаны здесь, что здесь ни на минуту не прекращалась работа мощного духа. Перечтите такие статьи, как „Наша университетская наука“, „Реалисты“, „Роман кисейной девушки“, „Промахи незрелой мысли“—где же тут хотя бы тень вполне законного уныния и тоски? Нравственное мужество 22-летнего литератора не было ни на йоту сломлено страшным испытанием. Работа ума, кипучая, напряженная, торжествующая, продолжалась без перерыва, миросозерцание развивалось в том направлении, которое было указано предшествовавшей жизнью. Прибавьте ко всему этому то, что целых два года Писарев совершенно не знал, что с ним сделают: отправят ли его в ссылку или оставят на месте. Но и эта неопределенность положения—самая мучительная из всех пыток—не сломила его. Он засел за работу в тот день как захлопнулись за ним двери каземата, и с той же работой, с такими же планами вышел из крепости. Написанные им за эти годы статьи, проходя всевозможные цензурные мытарства, печатались в „Русском Слове“.

Отмечу любопытный факт, что наибольшее число листов и статей притом самых блестящих, написанных Писаревым, относится к 1865 году, или третьему году его заключения. Это факт, не требующий комментарий.

После выхода из крепости Писарев, прожил всего около 2 л. и умер в июле 1868 года. С этой стороны он может быть, воистину,

причислен к великомученикам русской литературы, которая и заменила ему жизнь. Жизнь (опять-таки вне литературы) прямо не улыбнулась ему, да и была ли она?.. Положительно приходится удивляться духовной мощи этого человека, его заражающей бодрости, его настойчивому призыву к работе, несмотря ни на что.

Он не ликовал—о нет! Слишком ясно понимал он, какую толщу невежества, предрассудков, крепостнического наследства вообще надо пробить, чтобы дать ход новому человеку; он сознавал, что работа, предстоявшая новому человеку, велика и серьезна он не обещал скорой победы и скорого наступления пира жизни, он знал, что в один момент не поумнеют и не приобретут ни гражданской выправки, ни гражданского мужества 80 мил. русских людей, из которых 79 находились в первобытном состоянии, но он верил, что в конце концов доброе, разумное, честное победит злое, глупое, подлое, и требовал, чтобы каждый шел по истинному пути „мыслящего реализма“.

Писарев никогда не формулировал ясно своего общественного идеала, но у него был „герой“, в выяснении индивидуальности которого и заключается суть его критических статей. Этот герой— *мыслящий реалист*, нашедший свое литературное воплощение в типе Базарова. Писарев облюбовал этот тип, облюбовал, как эстетик, потому что для него жизнь мыслящего реалиста не только самая полезная, но и самая красивая. В мыслящем реалисте на первом плане стоит его ярко выраженная индивидуальность. Этот человек всеми способами защищает свою духовную самостоятельность. Он верит только в ум, знание, науку. Он враг всяких предрассудков, стесняющих личную свободу, он враг всяких сословных, кастовых перегородок, мешающих человеку работать в сфере истинного своего призвания, „где он только и может принести наибольшую пользу обществу с наибольшим наслаждением для себя“. Он имеет дело, прежде всего, с действительностью, которая, вследствие нищеты и невежества людей, требует постоянных улучшений и настойчивой работы. Эта работа, руководимая и вдохновляемая всем прежним реальным опытом человечества,—истинное его назначение. Но во имя чего станет работать мыслящий реалист? Во имя долга? Конечно, нет, так как

Писарев не признавал долга. Во имя нравственной ответственности перед людьми? Тоже нет, потому что реалист такой ответственности не знает. Во имя общественной пользы?—Польза, конечно, будет, но не она вдохновляет к труду. *Вдохновляет лишь красота самой работы, наслаждение, получаемое от нее, вдохновляет творческое осуществление цели и влияние на жизнь.*

Этим Писарев как бы замыкает круг решения задачи о смысле жизни. Все выходит из личности, все возвращается к ней. Она не требует для себя никакой опеки, никакого руководства, кроме руководства *науки и знания.* Вне себя она не ищет ни опоры, ни цели. Она совмещает в себе весь божий мир, и даже работа, которую она отдает обществу, возвращается к ней в виде наслаждения и влияния. Ее первая, главная, единственная цель—собственное развитие, собственное совершенствование. Вне личности, важнее личности нет ничего; все, что отвлекает личность от самой себя,—все это вредно. И Писарев всею силою восставал против мистики, говорящей о началах высших, чем личность—и против схоластики и метафизики, т. е. той же мистики, только преображенной, введенной в логические схемы и формулы.

Личность мыслящего реалиста есть нечто самоценное и самодовлеющее, значит, нечто такое, что может пользоваться абсолютной, безграничной свободой и полной безответственностью. Реалист всегда поступает за свой счет и на свой страх. Если разум и наука оправдывают его поведение, то никакого другого оправдания ему и не нужно. И Писареву в сущности оставалось сделать один только шаг, чтобы дойти до „потребляющей ближних своих“ личности Штирнера или даже до сверх-человека Ницше. Но этого шага он не сделал и не мог сделать. Сын 60 годов, ученик Чернышевского, Писарев должен был считаться с идеей общественной пользы и интересов массы, т. е. господствующей центральной идеей эпохи,—такой даже, которая составляла истинное ее содержание, ее одухотворяющее начало. И эту идею он принял так же цельно, так же органически, с тем же увлечением, с каким и идею личной свободы. Она-то и ставит не совсем логичные, но серьезнейшие ограничения его индивидуализму.

Надо заметить, что полную, безграничную свободу Писарев предоставляет только мыслящим реалистам, а никак не всем людям.

На мыслящих реалистов он надеется—и верит, что наука и знание не допустят их до ложного шага. Эти наука, знание, разум очень требовательны. Они не только требуют, чтобы человек работал, но и работал непременно в известном направлении, *сообразно с интересами массы.* Для своей эпохи он не видел, напр., ничего более полезного, чем популяризация исторических и естественно-научных сведений и борьба с невежеством и нищетой. Конечно, внутренняя свобода реалиста этим не нарушается, потому что такая работа (по схеме Писарева) как нельзя более соответствует истинным требованиям его натуры и голоса, ведущей его науки, он слушается не по приказанию или указке, а с радостно раскрытым его внушениям сердцем, но все же у нас получается и *определенная* работа и *определенная* цель, а значит, и самоограничение. Чтобы сделать такое самоограничение свободным и независящим от чего-нибудь внешнего, постороннего—Писарев создает свою систему среднего и высшего образования. *Школа литература*—вот две главные силы, вырабатывающие мыслящего реалиста, и обе они должны быть сплошь реорганизованы, чтобы реалист получился должных размеров и сообразных с своим призванием качеств. *В школе*—на первом плане реальные знания, самостоятельная работа, духовная независимость ученика; *в литературе*—реальные общественные вопросы, указание истинных путей для борьбы с нищетой и невежеством, распространение полезных сведений, а главное, борьба с предрассудками, борьба не на живот, а на смерть со всеми пережитками схоластики, метафизики и крепостного права.

Кроме того, чтобы пользоваться свободой, *реалист должен быть сам свободен не только уже от предрассудков или пережитков; но больше того, он должен быть мыслящим пролетарием.* Почему, когда говорят о Писареве, или свысока называют его талантливым мальчиком, или отказываются видеть в нем что-нибудь другое, кроме бойкого и талантливого пера,—не считают нужным упомянуть об этом пункте его учения,—я не знаю, но это ничуть не уменьшает его важности. Мыслящий реализм, получивший уже свои ограничения от науки и знания, этим вот требованием Писарева обращается, пожалуй, даже в подвижничество, потому что только ради идейного самоуслаждения, ради полноты своего духовного мира работает мыслящий реалист, а не ради какой-нибудь

внешней выгоды. Писарев требовал от человека работы и думал, что истинную работу может совершать лишь пролетарий, который знает, в чем действительно нуждается его бедная и невежественная родина. Он, человек настоящих, а не выдуманных потребностей, будет стремиться к полезному и необходимому по существу; или в резкой формулировке—научить сначала шить сапоги, а затем уже понимать Шекспира. И мало того, его личные интересы, как пролетария, органически, бескорыстно, без душевного надрыва сольются с интересами нищей и голодной массы. Владение чем-нибудь, какая-нибудь привилегия, все это не может не явиться помехой в трезвой работе реалиста.

И вот странное, повидимому, явление, что сам барин и чуткий эстетик, Писарев, с поражающей силой благородного негодования или с уничтожающей насмешкой, обрушивается на все барское и на эстетику прежде всего! Он прямо-таки вопиет против эстетики против самодовлеющей красоты, он мечет на них громы и молнии, хотя идее самодовлеющей и самоценной личности он нисколько не противоречит. Но настроение эпохи и тон, приданный ей господствующим типом разночинца, оказались сильнее барской закваски Писарева и заставили его самое ценное приобретение барской культуры, идею красоты, подчинить идее пользы. Вообще, по этому поводу мне хотелось бы сделать небольшое замечание. Я думаю, что не следует быть слишком большим теоретиком в вопросах „живой жизни", которая разумеется, своею сложностью всегда перещеголяет самую сложную теорию, а по своему разнообразию не хочет уложиться ни в какие строго определенные рамки. Поэтому, придавая очень большой смысл вопросу о сословном происхождении человека—я никогда не думал, однако, требовать, чтобы у каждого барина были непременно идеи барские, а у каждого разночинца—„разночинные". Это равнялось бы требованию, чтобы все кошки были непременно серые. В той же сословной среде возможны самые разнообразные влияния, а значит, и разные результаты. Я думаю только, что основной тип своего сословия человек действительно сохраняет очень упрямо, так что и попа в рагоже узнают. Но в то же время всякий культурный слой, всякая общественная идея—при чем, *конечно*, и слой, и идеи создаются преимущественно жизнью и духом известного сословия—обладают силою *внушения*, притом очень часто распро-

страняют свою власть и влияние на области совершенно для них чуждые. Благодаря этой силе, они способны находить себе самых неожиданных последователей даже там, где, казалось бы, кроме вражды они не могли встретить ничего. Поэтому барское происхождение Писарева меня решительно не смущает. Подчинившись многим идеям господствовавшего разночинца, радостно подрубая тот самый сук, на котором сидели его предки и родичи, волнуясь и спеша, с юношеской восторженностью опракидывая все барские традиции, провожая их пинками и насмешками,—Писарев, однако, очень упрямо сохранял основной тип своего сословия. Ведь не даром все же так недолюбливал его „Современник", напр., в лице Антоновича, потому что в глазах „Современника" „мыслящий пролетарий" Писарева очень напоминал „мыслящего аристократа-белоручку", а г. Михайловский в своих воспоминаниях с большим основанием говорит о Писареве: „в то время, как Писарев и другие изыскивали программу чистой святой жизни, уединенной от всякой общественной скверны" и т. д.,—т. е. просто напросто упрекает Писарева в прекраснодушии, воистину, отличавшем передовых представителей нашего барства. Развитая личность для Писарева была действительно выше всего. Величия массы понять он не мог. Никакого мистического влечения к массе (как у Добролюбова, напр.) он не чувствовал. Он видел, что она глупа и бедна, и мало ею интересовался. Даже луч света в темном царстве нисколько его не радовал: он не мог поверить, чтобы луч этот сам собою загорелся внутри массы, и думал, что этот луч должен быть внесен в массу реалистами. Я думаю, что Добролюбов очень и очень не одобрил бы Писарева за это отсутствие веры в народ и в таящиеся там великие силы. Но тот же Добролюбов едва ли бы отказался отдать справедливость Писареву не только уже за огромный, прямо-таки исключительный литературный талант, но и за ту неутомимость, за ту меткость, с какою он расстреливал барские идеалы и пережитки барской культуры, и как славно и лихо вел он с ними свою партизанскую войну, воистину, не давая им ни отдыха, ни срока.

Установить связь идей Писарева с идеями его предшественников—не трудно. Припомните, как отстаивал Белинский личную свободу и самостоятельность.

Современники то и дело обвиняли его за то, что он не признает никаких литературных авторитетов и осмеливается по поводу каждого разбираемого автора свое суждение иметь. Обвинение совершенно справедливое, но мы, разумеется, поставим его в заслугу великому критику. Это „свое суждение“ и создало его славу, оно—его право на бессмертие. Литературный авторитет так же вреден, как и всякий другой, раз человек подчиняется ему не сознательно, а лишь из робости мысли и чувства, словом—с чужого голоса. Личность всякого человека должна быть свободна. Этому учил Белинский. Разумеется, что эмансипация личности не ограничивалась у него областью литературы и критики. Вооруженный тем же принципом, он смело подходил к вопросам любви, семейной и государственной жизни.

„Наш романтизм,—говорил он,—хлопочет не о том, однажды или дважды должно и можно любить в жизни, но о том, чтобы не разбить другого предавшегося вам сердца и не быть причиной несчастия его жизни. Один так, другой иначе, тот—один раз в жизни, этот—десять раз, оба равно правы, лишь бы только на совести которого-нибудь из них не легло ничье несчастье“.

Любовь должна быть свободна, и человеку нечего взваливать на себя каких бы то ни было обязательств в деле чувства. „Нет более чувства,—пишет Белинский,—и верность теряет свой смысл“. То же и на счет власти родительской: „если бы отец нашего времени стал отнимать у сына счастье его жизни на основании собственных корыстных рассчетов,—все бы увидели, что отец любит себя, а не сына, и тем самым уничтожает свои права над ним: ибо, если нет любви, связывающей отца с детьми, то у детей нет отца“.

Не такое было время, чтобы Белинский мог высказываться свободно, но все же его симпатии и антипатии нам известны очень хорошо. Что привлекало когда-то в его статьях, что продолжает привлекать в них и в настоящее время? Очевидно, одно: уважение к человеку, настойчивое требование простора для мысли и чувства. Не даром же Писарев с такой почтительностью относился к Белинскому: он продолжал его дело.

Идея эмансипации личности разрушила крепостное право, создала реформы 60-х годов и внесла много света в темную область старинных семейных условий. Для русской жизни она

была откровением и продолжает быть им до настоящего времени.

Следуя духу времени, Писарев придал ей резкую гражданско-утилитарную окраску. Этой стороной своего миросозерцания он вплотную прирос к 60-м годам и, несомненно, является одним из самых ярких и талантливых представителей „идеализма земли". Он ценил все, что улучшает бытие человека здесь на земле, но один вопрос постоянно смущал—и притом совершенно основательно смущал его мысль: можно ли вливать новое вино в старые мехи? Какой прок может выйти из всех реформ и благих начинаний, раз самые люди ничтожны? Что поделаете вы с карликами и господами, приспособленными лишь к мартышкину труду? Только то обновление прочно, которое воспринято критически-мыслящими умами. Оттого-то он и сосредоточил все свои усилия на создании интеллигентных людей, мысль которых являлась бы основой хорошей человеческой жизни. Оттого-то он так страстно проповедывал критику и науку. Остановимся на минуту на термине: интеллигентный человек. Это приведет нас к философско-историческим взглядам Писарева.

Интеллигентным человеком Писарев называет того, у кого в голове есть своя самостоятельная мысль. Дело не в образовании, не в знании даже, а дело в том, чтобы человек в своей собственной жизни, по мере сил и способностей, повторил умственный опыт человечества, насколько это, конечно, возможно. Если говорят, что надо повторить опыт человечества, то это совсем не значит, что следует каждому начинать с состояния троглодита, изобрести самому хижины и куртки, пройдя предварительно через стадию звериных шкур, потом—огонь и т. д., вплоть до философии Канта и Спенсера включительно. Это совсем пустяки. Хижины и куртки изобретены и довольно уже давно. Кант и Спенсер свою философию написали, и изобретать изобретенные вещи—значит совсем напрасно тратить время. Но начать с того, что в самом способе восприятия выработанного уже материала есть большая разница: можно воспринимать механически, можно и с полным уважением к авторитету, и вместе с полным желанием сохранить свою самостоятельность.

Это законно и даже необходимо. Знаменитое декартовское „doute absolute" еще и теперь не утеряло своего громадного значения для развития и, я думаю, никогда его не утеряет.

Нельзя, конечно, во всем сомневаться и ко всему относиться недоверчиво. Это мотовство и самомнение. Когда вам говорят: „дважды два—четыре“, что тут спорить?

Писарев постоянно твердил, что дорога самостоятельного мышления с должной дозой скептицизма—вот единственно, что вырабатывает интеллигентных людей, а не ходячие формулы. Формулы могут быть очень симпатичны, но люди, воплощающие их, могут тем не менее никуда не годиться. Они очень мизерны—это, во-первых, очень подозрительны—это, во-вторых. Да, подозрительны. Ведь, если они с такой легкостью восприняли сегодня одну формулу, то кто же поручится, что завтра они не воспримут с одинаковой легкостью другой формулы, прямо противоположной первой? Выработав себя путем самостоятельного мышления, интеллигентный человек отличается поэтому двумя качествами: чувствительностью к личному опыту—во-первых, веротерпимостью—во-вторых.

Люди, у которых прекрасно развита шишка двуперстия, к личному опыту, да и не только к личному, а и вообще ни к какому опыту нечувствительны. Им хоть кол на голове теши, а они знай свое повторяют: „Исус“ да „Исус“. Не помню, какому-то типичному аббату средних веков ученик сообщил свое астрономическое открытие, что „на солнце есть пятна“.

— Друг мой,—отвечает типичный аббат,—я всю жизнь читал Аристотеля и никаких пятен на солнце у него не показано. Советую и тебе перечесть внимательно творения мудреца.

В данном случае очевидно, что между двуперстием и творениями мудреца решительно никакой разницы нет. Но это-то двуперстие и уничтожает всю красоту, всю полезность интеллигентной деятельности. Писарев ни в чем другом ее красоты не видел, как именно в оригинальности, в самостоятельности, а когда перед человеком, вместо этих прекрасных качеств, штамп, то, признаться, ничего, кроме скуки и самого искреннего позыва к зевоте, никто и ощутить не может.

„Увлечься идеею,—говорит он,—не трудно, подчиниться идее способен человек очень ограниченных способностей, но такой человек не принесет идее никакой пользы и сам не выжмет из этой идеи никаких плодотворных результатов. Чтобы переработать идею, напротив того, необходим живой мозг; только тот, кто

переработал идею, способен сделаться деятелем или изменить условия своей собственной жизни под влиянием воспринятой им идеи, т.-е. только такой человек способен служить идее и извлекать из нее для самого себя осязательную пользу. Подчиняются идеям многие, овладевают ими избранные личности, оттого в слоях нашего общества, которые называют себя образованными, господствуют идеи, но эти идеи не живут; идея только тогда и живет, когда человек вырабатывает ее силами собственного мозга, как только она перешла в категорический закон, которому все подчиняются, иначе она застыла, умерла и начинает разлагаться...“

В этих словах Писарева как нельзя лучше изложена разница между человеком интеллигентным, в котором идея живет, и человеком образованным, в котором она лишь пребывает.

Интеллигентных людей характеризует творческая способность творческая самостоятельность. Степень этой способности может быть очень различна, но, малая или великая, она должна быть и при лучших условиях может быть и у большинства.

Так смотрел Писарев на интеллигентных людей. Они—соль земли, инициаторы всего хорошего, их критическая мысль—залог прогресса и устойчивости этого прогресса.

Следовательно, чтобы пересоздать жизнь, надо прежде всего эмансипировать личность и открыть ей дорогу как к развитию так и проявлению самой себя.

Совершенно понятно, почему идея эмансипации так страстно пропагандировалась русской журналистикой с самой минуты ее пробуждения и проходит красною нитью через сочинения лучших наших критиков и публицистов. На Западе личность сознала себя уже в XVI веке и потребовала к себе внимания и уважения, хотя бы в области религиозных верований. Карлейль уверяет, что новую историю надо начинать со слов Лютера: „hier stehe ich und anders kann ich nicht. Gott helfe mir“, т.-е. „я настаиваю на том, что это истина, иначе думать и верить не могу. Бог да поможет мне“. Лютер сказал, что он имеет право толковать священное писание, как он его понимает, и верить сообразно с своим разумом. Французская революция признала личность, как политическую единицу, и лишь особенные обстоятельства ограничили понятие личности принадлежностью к одному классу собственников—буржуа. В самой

же буржуазной среде личность достигла и экономической независимости.

Как бы то ни было, в течение XIX века Европа добилась правовой эмансипации личности и могла все усилия свои сосредоточить на том, чтобы дать праву реальность, т.-е. обеспечить его в экономическом отношении.

У нас по этой части все шло шиворот-навыворот. Мы учились у Запада, жадно прислушивались к тому, что проповедуется с берлинских кафедр и парижских трибун, читали Жорж-Занд, Луи Блана и пр., а между тем государственная жизнь покоилась на крепостном праве, т.-е. на полнейшем отрицании личности, семья— на идеях Домостроя, отрицавших личность жены и детей перед воплощением патриархального права, т.-е. отцов. Это противоречие сразу бросалось в глаза и в 40-х и в 60-х годах не менее ярко, чем в 20-х или даже в предыдущем столетии.

Белинский уже очень серьезно занимается этим вопросом, еще больше внимания уделяет ему Герцен. Наступают наконец 60-е годы. Вино подается новое, но мехи остаются прежними. Эти мехи—крепостная личность, крепостная, хотя не юридически уже, но фактически, благодаря своей дикости, невежеству, умственной робости.

Отчаянным натиском и геройским приступом 60-е годы заняли много позиций, где очень самодовольно и в кажущейся безопасности гнездились устои прежней жизни. Если их можно было притом сравнительно легко, выкурить из кодекса законов, то выкурить их из понятий оказалось куда труднее—прямо не под силу никому. Писарев посвятил этому всю свою молодую жизнь, всю страсть своей горячей натуры, весь свой громадный талант, и мне думается, что он шел верной дорогой, дополняя „Современник“ с его строгой „политико-экономической программой“...

„Отношения между мужем и женою, между отцом и сыном, матерью и дочерью, воспитателем и воспитанником—все это,—говорил он, —должно быть обсуживаемо и рассматриваемо с самых разнообразных точек зрения. И это обсуждение не должно привести к составлению законов семейной жизни. Боже упаси! Догматизм вреден в таких отношениях, в которых не должно быть ничего условного, в которых понятие обязанности должно уступить место свободному влечению и непосредственному чувству. Выражать свои мысли и убеждения об условиях домашней жизни должно не для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы натолкнуть его на мысль о необходимости

подвергнуть тщательному и смелому пересмотру существующие формы, освященные веками и потому подернувшиеся вековою плесенью".

Русская история постоянно грешила каким-то вполне систематическим отрицанием личности. В этом повинны столько же монгольское иго, сколько и Петр Великий. Человека на сцене не было никогда, разве в легендарный период, когда соловьи-разбойники прятались по лесам муромским и брянским. Люди, создавшие русское просвещение, как нельзя лучше понимали это, и эмансипация личности—нерв прогрессивной русской мысли.

Проповедуя ее, Писарев становится на почву выгоды и экономии сил, оставляя таким образом шаткие подмостки добра и зла. Он, обращаясь к здравому смыслу и рассудку своих читателей, старается доказать им, что счастье может быть достигнуто только при этом условии. И это не личное маленькое счастье, а напротив—широкое, общечеловеческое счастье. Ему жаль, и притом совершенно основательно жаль, тех иногда недюжинных сил, которые разбрасываются на служение обычаям и приличиям, в погоне за различными иллюзиями, жаль и той работы, которая совершенно не отвечает влечению их природы. И такая постановка вопроса совсем не пустяшная, а как раз наоборот.

Одинаково смотрели на дело Сократ и Платон и все, кто умел трезво взглянуть на человеческую и общественную жизнь. „Познай самого себя" учил здравый, глубоко практический гений Греции. Что собственно означает это познание самого себя? Оно означает, что обязанность каждого, как человека и гражданина, заключается прежде всего в том, чтобы взвесить свои силы, тщательно и без всякого самообольщения определить их размеры и найти для них такую точку приложения, когда они могли бы обеспечить наибольшую пользу для общества, наибольшее счастье для самой личности.

Таков истинный смысл эмансипации личности, как понимал ее Писарев. Личность свободно определяет свои силы и свое влечение и свободно работает на избранном поприще. В результате—прежде всего экономия сил.

Это существеннейший пункт.

Было когда-то в моде восторгаться мудростью природы и писать на тему, как все прекрасно устроено в этом лучшем из миров. Наконец, наука пришла к той простой мысли, что хотя природа и совершенствуется по части приспособления, но делает это с

безумной расточительностью. Лотце уподобляет природу охотнику, который, желая убить одного зайца, пускает во все стороны 10,000 выстрелов, в чаянии, что авось который-нибудь заряд и попадет куда нужно. А не попадет—что за беда?

Путем бесконечно долгой и упорной работы мысли человек отделил себя от природы и уверовал, что он может и должен устроить свое благополучие, пользуясь собственными силами и средствами. Следовательно, он признал, что его дорога к счастью другая, чем у природы-матери, если у последней вообще есть какая-нибудь дорога, и различие двух дорог резче всего проявляется в двух пунктах:

1) в экономизировании сил и

2) в уважении к личности, как таковой.

Экономия сил для природы — вещь совершенно посторонняя. Также посторонне для нее уважение к личности, индивидууму. К ним она относится с обидным даже пренебрежением и жертвует миллионами, не чувствуя при этом ни малейшего угрызения совести. Всякий знает, я думаю, какая это в сущности жестокая, с нашей, человеческой, точки зрения вещь—естественный подбор. Гибнут десятки и сотни, чтобы дать возможность выжить одному.

Говорить читателю, что деятельность Писарева заключалась главным образом в пропаганде этих двух великих идей новой науки, т.-е. экономии сил и признания за каждым права на полноту существования,—излишне. Но надо заметить, что он—русский человек, следовательно—мот. Он забыл на свои философско-исторические взгляды налепить соответствующие ярлыки, забыл указать в нужном месте, что это его мысль, что раньше, до него, этого никто не говорил.

Причина, как видит читатель, совершенно основательная, чтобы пользовались его идеями, не указывая источника. Но еще большая беда, что, как журналист, Писарев не успел придать своим взглядам научный характер и систематически изложить их в двух— или сколько там—томах с соответствующими ссылками на первоисточники.

Но что будешь делать? Не удалось Белинскому написать своей „Истории литературы", а пришлось разбросать ее на протяжении XII томов, не удалось и Писареву разработать свою идею „до таких ясных и осязательных результатов, до каких еще никто не

доводил раньше меня“, как выражается он в письме к матери. Он ограничился журнальными статьями, по необходимости обремененными массой постороннего текущего материала. Но все же очевидно, что он больше, чем кто-нибудь из русских писателей, сделал для того, чтобы закрепить за русским самосознанием идею об исторической силе эмансипированной, критической личности. Что бы вышло из этой идеи потом, как изменилась бы она под влиянием обстоятельств времени, мы не знаем, но, конечно, для своего времени идея его была самая живая и подходящая...

Главное обаяние Писарева в той юной силе, которая бьет в нем ключом. Оттого-то его сочинения и имеют неувядаемую прелесть, что с вами как будто разговаривает сам бог молодости. Мы и теперь с непонятным наслаждением перечитываем его статьи, готовые шаг за шагом опровергать их содержание. Но обаяние юности сильнее всего. Иногда попадается в руки забытая тетрадь с пожелтевшими уже страницами, с серыми, вместо черных, строками, размашисто и торопливо написанными. Очевидно, время не ждало, очевидно, человек, подчиняясь внутреннему непреоборимому импульсу, как в бреду записывал свои мысли, стремясь охватить своим умом все, готовый на борьбу со всеми препятствиями и влекомый потоком своей вдохновенной мысли, уносился все выше и выше туда, в область утопий и счастливого грядущего. Это—юность с своими несоразмерными размахами, своею гордостью и самонадеянностью и вместе с тем той истиной, которая доступна бескорыстному, страстному мышлению. Надо читать такие тетради и вливать свежие соки в свое сердце. А сочинения Писарева как раз—есть тетрадь пылкой и верующей юности.

Впрочем, не все юность... В мыслях Писарева об искусстве, в его педагогических статьях, в общем строе его миросозерцания есть много ценного, что останется ценным надолго, если не навсегда. Сделаем краткий обзор основных его взглядов. Говорят, что он отрицал искусство, и ссылаются при этом на его статьи „Пушкин и Белинский“ и „Разрушение эстетики“. Это неправда. Натура глубоко-художественная, с чутким пониманием всего прекрасного, он никогда искусства не отрицал. Он отрицал лишь замкнутое в себе самом служение красоте. Напротив, более горя-

чей и страстной тирады во славу поэтов и поэзии, чем та, которая сорвалась с пера Писарева, вы не найдете ни в нашей, ни в иностранной литературе. Я считаю нужным целиком напомнить ее:

„Истинный „полезный“ поэт должен знать и понимать все, что в данную минуту интересует самых лучших, самых умных и самых просвещенных представителей его века и народа. Понимая вполне глубокий смысл каждой пульсации общественной жизни, поэт, как человек страстный и впечатлительный, непременно должен всеми силами своего существа любить то, что кажется ему добрым, истинным и прекрасным, и ненавидеть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелких и дрянных глупостей, которая мешает идеям истины, добра и красоты облечься в плоть и кровь и превратиться в живую действительность. Эта любовь, неразрывно связанная с этою ненавистью, составляет и непременно должна составлять для истинного поэта душу его души, единственный и священнейший смысл всего его существования и всей его деятельности. „Я пишу не чернилами, как другие,—говорит Берне: — я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов“. Так и только так должен писать каждый писатель. Кто пишет иначе, тот должен шить сапоги и печь кулебяки.

„Поэт, самый страстный и впечатлительный из всех писателей, конечно, не может составлять исключения из этого правила. А чтобы действительно писать кровью сердца и соком нервов, необходимо беспредельно и глубоко-сознательно любить и ненавидеть. А чтобы любить и ненавидеть, и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты от всяких примесей личной корысти и мелкого тщеславия необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это сделано, когда поэт охватил своим сильным умом весь великий смысл человеческой жизни, человеческой борьбы и человеческого горя, когда он вдумался в причины, когда он уловил крепкую связь между отдельными явлениями, когда он понял, что надо и что можно делать, в каком направлении и какими пружинами следует действовать на умы читающих людей,—тогда бессознательное и бесцельное творчество делается для него безусловно невозможным. Общая цель его жизни и деятельности не дает ему ни минуты покоя; эта цель манит и тянет его к себе; он счастлив, когда видит ее перед собой яснее и как будто ближе; он приходит в восхищение, когда видит, что другие люди понимают его пожирающую страсть и сами с трепетом томительной надежды смотрят вдаль на ту же великую цель; он страдает и злится, когда цель исчезает в тумане человеческих глупостей и когда окружающие его люди бродят ощупью, сбивая друг друга с прямого пути...

„Человек, прикоснувшийся рукою к древу познания добра и зла, никогда не сумеет и, что всего важнее, никогда не захочет возвратиться в растительное состояние первобытной невинности. Кто понял и прочувствовал до самой глубины взволнованной души различие между истиной и заблуждением, тот волей и неволей в каждое из своих созданий будет вкладывать идеи, чувства и стремления вечной борьбы за правду.

„Итак, по моему мнению, истинный поэт, принимаясь за перо, отдает себе строгий и ясный отчет в том, к какой общей цели будет направлено его новое создание, какое впечатление оно должно будет произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажет им своими яркими картинами, какое вредное

заблуждение оно подроет под самый корень. Поэт—или великий боец мысли, бесстрашный и безукоризненный „рыцарь духа“, как говорит Генрих Гейне, или же ничтожный паразит, потешающий других ничтожных паразитов мелкими фокусами бесплодного фиглярства. Середины нет. Поэт—или титан, потрясающий горы векового зла, или же козявка, копающаяся в цветочной пыли. И это не фраза, это строгая психологическая истина“.

Чем-то могучим и страстным веет от этой патетической тирады, и где тут хотя бы только намек на отрицание искусства?..

Педагогическими вопросами он занимался очень внимательно. Он посвятил им целый ряд статей. „Наша университетская наука“, „Мысли Вирхова о воспитании женщин“. „Педагогические софизмы“ и т. д. И все равно, как в искусстве он отрицал педантизм искусства, так и здесь он боролся лишь против педантизма школьной схоластики. Он хотел, чтобы школа выпускала здоровых, сильных, по возможности умных людей, снабженных реальными сведениями, а не чучел, набитых вокабулами.

Но, конечно, главное значение Писарева в его общественных идеях. Что он увлекался, что он переоценивал роль критических личностей, что он признал огромность этой роли на веру—все это элементарные, азбучные вещи, которые и повторять не стоит. Он говорил: „обязанность критической личности определить, что действительно общеполезно, и обязанность мыслящего человека совершать общественную работу, следуя влечению своей натуры, проверенному и руководимому мыслью и опытом жизни. Общеполезно же прежде всего то, что делает нас умнее и богаче“. Это голос эпохи—громкий и самонадеянный, полный веры. Но мне кажется, что идеал, во имя которого Писарев совершил свою гигантскую литературную работу, и идеал несокрушимый, такой, который надолго будет служить еще путеводной звездой. Это проповедь принципа экономии сил...

Во-первых,—говорит он,—мы бедны, а во-вторых, глупы... Глупость и бедность не какие-нибудь мечтательные бедствия, а реальные, и чтобы победить их, надо притянуть к живой, полезной деятельности все силы русского общества. Где же и в чем она, эта живая полезная деятельность?

„Во-первых, известно, что значительная часть продуктов труда переходит из рук рабочего населения в руки непроизводящих потребителей. Увеличить количество продуктов, остающихся в руках производителя, значит уменьшить его нищету и дать ему средства к дальнейшему развитию... Во-вторых, можно действовать на непроизводящих потребителей, но, конечно, надо действовать на

них не моральной болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только к тем потребителям, которые желают взяться за полезный увлекательный труд, но не знают, как приступить к делу и к чему приспособить свои силы. Те люди, которые, по своему положению, могут и, по своему личному характеру, желают работать умом, должны расходовать свои силы с крайней осмотрительностью и расчетливостью, то-есть они должны браться только за те работы, которые могут принести обществу действительную пользу.—Такая экономия умственных сил необходима везде и всегда, потому что человечество еще нигде и никогда не было настолько богато деятельными умственными силами, чтобы позволять себе в расходовании этих сил малейшую расточительность. Между тем расточительность всегда и везде была страшная, и оттого результаты до сих пор всегда получались самые жалкие. У нас расточительность также очень велика, хотя и расточать-то нам нечего. У нас до сих пор всего какой-нибудь двугривенный умственного капитала, но мы, по нашему известному молодечеству, и этот несчастный двугривенный ставим ребром и расходуем безобразно. Нам строгая экономия еще необходимее, чем другим, действительно образованным народам, потому что мы в сравнении с ними—нищие. Но чтобы соблюдать такую экономию, надо прежде всего уяснить себе до последней степени ясности, что полезно обществу и что бесполезно"...

„Экономия умственных сил есть не что иное, как строгий и последовательный реализм"...

Н. В. Шелгунов. (1824—1891 г.). „Мы бедны и глупы"—говорил Писарев. Шелгунов обратил особенное свое внимание на вторую половину этой формулы. „Нам нужны школы, еще школы и еще школы"—любил говорить он. Но, конечно, не одними только школами ограничивались его вожделения, да и сама школа для того, чтобы действительно просвещать, требует куда как много от жизни. В общую литературу (именно в „Русское Слово") Шелгунов вступил в 1862 г. и совершенно в духе своего миросозерцания начал с популяризации исторических и экономических знаний. Затем он сотрудничал в „Деле", а в 1885 г. начал в „Русской Мысли" свои известные и популярные „Очерки русской жизни", в которых с удивительной искренностью и уважением к чужому мнению, старался разобраться в наступившей после крушения народничества смуте умов и вывести заблудившуюся русскую мысль на путь простого и ясного миросозерцания 60-х годов. Ему больно было видеть в молодежи или разнузданный индивидуализм, или „толстовство"; карьеризм, конечно, был прямо ненавистен ему. Радостно приветствовал он всякие культурные начинания, как бы ни малы были их размеры, указывал постоянно на огромность общественных задач, лежащих на интеллигенции,—

на бедность и невежество народа, которому *помочь* надо, — на чудное сознание исполненного общественного долга. Особенно, повторяю, подкупал он своею искренностью, своею душевной бодростью, которую он так счастливо сохранил и в преклонном возрасте. Совершенно, поэтому, был прав г. Михайловский, сказав про него: „С шестью десятками лет на плечах, после десятков лет утомительной литературной работы, после всяческих житейских невзгод, он не зачерствел, не состарился умом и чувством и не сложил рук. Он—все тот же *идеалист земли* и на фоне нынешней литературы он кажется даже моложе, чем когда-нибудь".

Шелгунов не весь в Писареве, не весь в умственном самоусовершенствовании. Он знает уже настоящую цену общественных и экономических условий и, высоко ставя интеллигенцию, он однако не преувеличивал ее роли. Он знал, что интеллигенция должна опираться на умный, просвещенный и во всяком случае не на нищий народ. Поклонники Шелгунова в особенную заслугу ставят ему действительно талантливую полемику с „абрамовщиной", т. е. проповедью малых дел на пользу народа, с популяризацией отрадных фактов и светлых явлений, что, разумеется, должно было бы повести к самоуслаждению, и с учением Л. Толстого, особенно его знаменитым непротивлением злу. Но с этим нам придется встретиться еще позже. Пока же замечу, что Шелгунов одна из самых твердых, выработанных эпохой общественного под'ема фигур, до конца не изменивший основам миросозерцания своей юности.

М. Н. Катков и „Русский Вестник". Очень значительное и, в начале по крайней мере, очень плодотворное участие в движении 60-х годов принимал и Мих. Ник. Катков с своим „Русским Вестником". И сам Катков, и его журнал—явления в нашей жизни настолько крупные и прямо характерные, что нам нет возможности обойтись без подобного отчета о них.

М. Н. Катков родился в 1818 г. в Москве. Отец его, совершенно разорившийся русский дворянин, рано умер, и после его смерти семья осталась без всяких средств к существованию. Отмечаю и подчеркиваю это обстоятельство, придавая ему серьезнейшее значение. Каткову пришлось испытать крайнюю бедность и

необходимо сопровождающие ее унижения, пришлось не раз натолкнуться на равнодушие людей, чувствовать свое бессилие хоть в чем-нибудь помочь матери, самоотверженно отдавшейся воспитанию детей, и мне кажется—весь вопрос в том, на какую почву упадут такие впечатления. Представьте себе натуру гордую, властолюбивую, замкнутую в себе, натуру ищущую и требующую от других людей и поклонения и подчинения, и в то же время в течение долгих лет обреченную на заботы о куске хлеба, на необходимое смирение, по крайней мере, на постоянное самоограничение. Не вызовет ли это в ней раздраженного и даже озлобленного отношения к жизни, желания властно захватить ее в свои руки и при некоторой удаче выразить свое непременное желание, чтобы никто кругом не смел даже пикнуть? Мне кажется, что натура Каткова была именно такова, как я сказал, и он в течение жизни пережил только что указанный мною психологический процесс:—он хотел властвовать, он любил мстить—особенно под старость, необходимым спутником которой является обыкновенно духовная черствость и сухость. К этому прибавьте еще обиды от литературы, которая не признавала его таланта, считала его изменником лучшим убеждениям юности и памяти Белинского, видела в его огромном влиянии на бюрократические сферы результат мероприятий с его стороны, имеющих лишь самое отдаленное родство с литературным мастерством собственно, и вы прибавите еще лишний штрих к раздраженной и мстительной психологии этого человека. Нечего при этом придавать какую бы то ни было веру его будто бы презрению к литературе во всем ее составе: он при своем огромном самолюбии хотел, чтобы и здесь, в этой сфере склонились бы перед ним, его умом, проницательностью, талантом. А свой талант он очень ценил, что видно хотя бы из его хвастливой фразы: „трижды один на один ходил на Искандера“.

Очень рад, что могу для избежания упреков в пристрастии привести характеристику Каткова, принадлежащую перу одного из его духовных питомцев—В. Розанова. Трудно не согласиться с большею частью сказанного в ней:

„Катков“ и его „десятилетняя“ память. Катков „как великий государственный человек“. Нет—малый. Почему? Он—среди идущих, а не тех, которые ведут. Его сущность, как она правдиво формулирована г. Грингмутом, и заключается не только в отсутствии, но до известной степени в коренном отрицании—в отрицании на века, в отрицании для всего народа этих „зовущих голосов“,

этих таинственных „зовов“, на которые, оборачивая во все стороны голову, мы не понимаем, откуда они несутся, но почему-то, все дела бросая, спешим их выполнить. Как это прекрасно выразил наш поэт, очевидно, в себе эту глубокую тайну почувствовав:

...Из пламя и света
Рожденное слово...

„Мы выше назвали Каткова „мечтателем“: это—потому, что им не принята в расчет коренная действительность истории, самый главный ее нерв, хотя в то же время и наиболее тонкий, менее всего грубо нащупываемый, и потому же еще мы назвали его „неопытным сердцем“: он не знал человеческого сердца в древнейших, исконнейших его основаниях — тех основаниях, которые бросили военную Францию за 17-летнею девушкою, кинули Карно и даже позднее Бонапарта распространять „исповедание савойского викария“ и, наконец, циничную и растленную, какова она была при Борджиях, римскую церковь повлекли вслед странного паладина, еще менее рассудительного, чем герой Ла-Манча. Все это, вся эта громада психики и реальнейшей действительности осталась непонятною Каткову. Конечно, подобных движений мы у себя не знали, все было у нас меньше, бледнее, и суженность русской истории, сравнительно с европейскою, заключается в том, что „ветхий деньми“ туман „юродства“ и истинной „хромоты духа“ чуть-чуть брезжил у нас в почти-политических, т.-е. узких и сухих слишком „умных“ для настоящей значительности партиях славянофилов и западников. Но и это ему не понравилось: даже бледную зарю „взыскуемого града“—как еще говорит и, говоря, конечно, освящает Апостол—он хотел бы согнать с серенького неба нашей истории. Они еще „ищут“, эти партии, они „алчут“—когда он так „сыт“. В самом деле, какая беда и „мука“ для уравновешенности от этого! И вот „великий государственный человек“, взяв в руки „государственную клюку“, хотел бы вымести всю эту „мистику“, или, как говорит Федор Павлович Карамазов своей жене „кликуше“: „я из тебя эту мистику-то выбью“, не подозревая, что „малейший в царстве сем“ непреоборимо сильнее его, и, как гиппопотам Иова, без труда и даже равнодушно мнет „выгребающие клюки“, подобные для него „мягкому тростнику“. Вот мы, „искренно уповая“, как и г. Грингмут, „на Бога“, окончили анализ „идеала“ и определили „великое“ как малое, поставив на место его кой-что „малое“, но что и для бога, а главное—для самих людей, есть истинно „великое“, оплакиваемое и возлюбленное“.

Возвращаюсь к некоторым штрихам из биографии Каткова. Повидимому, еще в студенческие годы он познакомился с Белинским и примкнул, хотя совсем не вплотную, к его кружку. Вплотную он ни к чему и ни к кому не примыкал. Мешало властолюбие, мешало и то, что он постоянно с кем-нибудь да ссорился [1]). Он ссорился даже с Белинским, который прямо-таки надоедал своим друзьям хвалебными отзывами о его дарованиях. Любопыт-

---

[1]) Ссора с М. Бакуниным едва не разрешилась дуэлью.

ные отзывы о Каткове мы находим в письмах Белинского к В. П. Боткину. Вот что писал Белинский:

„Что это делается с К.? Он в восторге от Одесского альманаха, от стихов Огарева и Сатина—недостает ему приходить в восторг от повестей К. Ф. Павлова... Он полон дивных и диких сил, и ему предстоит еще много, много наделать глупостей. Я его люблю, хотя и не знаю, как и до какой степени. Я вижу в нем великую надежду науки и русской литературы. Он далеко пойдет, далеко, куда наш брат и носу не показывал, и не покажет. Славная его статья о книге Максимовича, прекрасная статья, мысль так и светится в каждом слове. Вообще преобладание мысли в определенном и ярком слове—есть отличительный характер его статей и высокое их достоинство, а отсутствие сосредоточенной, непосредственной теплоты сердца—недостаток, но это недостаток не его натуры, а его лет. Общее поглощает его дух и, так сказать, обезличивает его индивидуальность. Это—чудное начало,—оно всегда останется с ним, укрепляясь наукой, а когда он перестанет пылить... то и недостаток, о котором я говорю и который определенно не умею назвать, исчезнет. Я читаю его статьи с особенным уважением—наслаждаюсь ими и учусь мыслить“...

Следующий отзыв уже далеко не такой восторженный:

„В нем бездна самолюбия и эгоизма—и мы много развили в нем и то и другое. Сперва держали его в черном теле, а с истории Щ. начали носить его в хлопочках—вот он и зазнался.

„Вспоминая об известной тебе моей истории с ним, ясно сознаю, что я тогда же видел то, чего никто не видел, и ты особенно, и что с другим кем у меня была бы невозможна подобная история, что он слишком бесчестно наслаждался плодами своей победы надо мною и что его ненависгь после того, как все об‘яснилось в его пользу, выходила из самого черствого эгоизма и что не он, а я жестоко оскорблен был. Да, Боткин, признаюсь в слабости, а и теперь иногда тяжело вспомнить об этой истории. Вот этот человек как-то не вошел в наш круг, а пристал к нему. И он не мог войти в него; он для этого слишком молод, и он еще только теперь страдает теми болезнями, которые мы или давно перестрадали, или к которым притерпелись, так что не чувствуешь их, как лошадь хомута и упряжи. Это важное обстоятельство—одновременность развития. Да, много, много пятен в этой, впрочем, прекрасной натуре. Время образует ее: есть натуры, трудно и туго развивающиеся—к таким принадлежит и натура нашего юноши. А между тем, это натура, полная силы, энергии, могучая, натура широкая, если пока еще не глубокая, он никогда не сделается ни пиэтистом, ни резонером, ни сантиментальным шутом. *Только он носит в себе страшного врага — самолюбие, которое... чорт знает до чего может довести его*. Удивительно верно твое выражение: „бравады суб‘ективности“ [1]). *Это конек, на котором наш юноша легко может свернуть себе шею*. Самолюбие ставит его в такие положения, что от случайности будет зависеть его спасение

---

[1]) На „птичьем“ языке наших гегелианцев „бравадами суб‘ективности“ назывались самонадеянность, самохвальство, самомнение и пр.

или гибель, смотря по тому, куда он повернется, пока еще есть время поворачивать себя в ту или другую сторону".

Надо заметить, что вообще говоря, Белинский был не мастер различать людей: в этом очень мешала ему его доброта. Но его характеристике Каткова не можем отказать в значительной проницательности и даже духе предвидения.

Кончив курс университета, Катков стал готовиться к профессуре и в то же время занялся писательством. Печатался он почти исключительно в „Отечественных Записках", и надо сказать, что каждая его статья обращала на себя очень серьезное внимание. Белинский часто приходил в восторг от его статей, а публика принимала написанное им за написанное Белинским. Но уже в этих ранних юношеских произведениях обращает на себя внимание их риторичность. Теплыми словами и знаками восклицания, прикрываются очень холодные и часто пустые мысли. Мне кажется, опять прав Белинский, сказавший „читаю статьи Каткова и восторгаюсь: закрываю книгу—и не помню ничего". В. П. Боткину, человеку очень чуткому и первоклассному стилисту, статьи Каткова не нравились. Но как бы то ни было, Катков в то время (начало сороковых годов) работал рука об руку с вождями юной России.

Занявши кафедру философии в Москве, Катков вскоре вынужден был оставить профессуру, так как преподавание философии светскими людьми было признано ненужным и вредным, и философию было решено прикомандировать к кафедре богословия. Так решил бутурлинский комитет, образованный, как известно для искоренения „французской революции в России". Катков остался не у дел, повидимому, сильно нуждался, пока ему не удалось получить редакцию „Московских Ведомостей". Между прочим он издавал с К. Леонтьевым сборник „Пропилеи", посвященный изучению классической древности. Отмечаю этот факт, сам по себе в истории литературы неважный, но как любопытный в том отношении, что он является как бы предисловием к классической (во всех смыслах) реформе средней школы, произведенной впоследствии графом Д. Толстым, Катковым и Леонтьевым. Но это дело его не удовлетворяло: „Московские Ведомости" были изданием официальным, его тянуло на широкую литературную дорогу, и он

при первой же возможности выступил на ней. Это случилось в 1857 году, когда ему было разрешено издавать „Русский Вестник“.

Каковы были его убеждения в это время, можно судить по тому, что критикуя, напр., программу „Русской Беседы“, он почти накануне издания собственного журнала писал в „Московских Ведомостях“: „из программы, признаемся, не видно, чем именно новый журнал будет отличаться от других наших журналов. Правда, в программе говорится о посильном содействии к развитию русского воззрения на науки и искусства, но ведь науки и искусства допускают лишь одно воззрение—просвещенное, следовательно, *общечеловеческое*“. Это очень ядовито сказано для будущего „защитника русского единства“, как назвало Каткова московское дворянство, поднося ему чернильницу.

Разрешение на издание „Русского Вестника“ было получено в 1855 г., и редакция составилась из Е. Ф. Корша, Кудрявцева, Леонтьева и самого Каткова. Душою всего дела был, конечно, он сам, и надо отдать ему полную справедливость, повел его прямо блестяще, особенно с 1858 года, когда он взял в свои руки политические обозрения. В них он задался странной мыслью привить к русской жизни некоторые формы общественного и государственного строя Англии, правовое самосознание ее граждан и вместе с этим... английский лендлордизм. Последнее обстоятельство очень любопытно отметить; думаю, что это-то и есть то горчишное зерно, из которого впоследствии распустилось пышное дерево Катковщины в общеупотребительном смысле этого слова, под сенью которой мы прожили почти 20 лет! Однако, на первых порах, Катков выдвигал вперед не свои аристократические симпатии, а свои несомненно либеральные, местами даже демократические взгляды. Это нравилось; даже такой благопристойный в политическом смысле человек, как Кавелин, очень одобрял Каткова и его журнал.

„О „Вестнике“, кажется, приговор ваш строг. При таком министерстве и цензуре и надежды-то нет разгуляться, а что вы сделаете, когда перо ходит под влиянием убийственной мысли: этого-то цензор не пропустит, это исковеркает, это в III-е отделение пошлет. Цепи на руках, и на мысли те же цепи. Бросимте предубеждения, которые нас губят, пусть хорошее будет хорошо и для нас, хотя бы враг сказал или написал. Хоть и разных приходов,

а все свои. Теперь такое время, что даже за несколько выходящих из ряда мыслей и даже фраз, внушенных любовью к добру и высказанных смело, можно сказать спасибо".

Так в то время понимали Каткова благопристойные люди и имели на это полное основание. Как в нашей полудикой стране было, на самом деле, не приветствовать хотя бы англоманство, тем более, что лендлордизм почти не выпячивался вперед, а скрывался под звучными словами: правовое самосознание, самоуправление, гражданская ответственность и т. д. И выговаривал эти слова не кто другой, как человек обширной учености и начитанности, как бывший профессор университета, и выговаривал их горячо, с темпераментом...

„С давних пор, еще с прошлого столетия, государственное устройство Англии было предметом тщательных изучений. Интерес этих изучений возрастал с течением времени, непрерывно обогащая теорию и практику государственного права новыми элементами. Но никогда страна эта не возбуждала столь сильного и столь сознательного интереса, как в наше время. Публицисты всех стран поставляют одною из главных задач своих изучение всех особенностей английского устройства, которое раскрывается перед взорами, как неистощимо разнообразный и многосложный мир, требующий таких же приемов изучения, как и природа. Здесь нет написанных слов, готовых формул, отвлеченных понятий, английское устройство не есть конституция на бумаге, это не книга, это даже не нация, это—жизнь и природа в своем развитии, в своем действительном созидании".

Чему же хорошему может, по мнению Каткова, научить Англия, хотя бы даже и Россию? Прежде всего чувство законности и законности твердой и затем свободе общественных отношений... По этому поводу он высказывается очень определительно—я прошу внимательно прочесть хотя бы следующие строки:

„Возможно и должно поставить граждан в такое положение, чтобы они не скрывали того, что думают, и не говорили того, чего не думают. В Англии более, нежели где-либо, эти требования находят себе удовлетворение, и вот почему мы расположены всегда сказать доброе слово об Англии и при всяком случае указываем на нее нашим читателям... *Единственным ручательством за искренность суждений служит гражданское обеспечение личной свободы. Обеспечение это заключается в твердости и ясности закона и в беспристрастии его применения.* Рассматривая с этой точки зрения западные европейские государства, мы опять находим, что в Англии более, нежели в котором-либо из них, личность и собственность обеспечены, а закон, без всякого сомнения, стоит твердо и применяется беспристрастнее, нежели где бы то ни было... До сих пор,—замечает Катков,—только англичане выучились искусству делать реформы без революций, и мы, кажется, ничего не потеряем, если будем соревновать им в этом отношении... Если на страницах нашего журнала,—

заявляет в заключение та же статья,—часто говорится об Англии, если мы часто обращаем на нее внимание наших читателей и во многих случаях представляем ее классическою страной новейшей цивилизации, то пусть вспомнят, что не одни мы это делаем".

Слова эти прямо золотые и написаны в декабре 1861 года. В них implicite заключается требование судебной реформы, которая, впрочем, в то время была у всех на уме и на языке. В том же 1861 г. Катков в своем журнале принял под свою защиту и суд присяжных, который даже Спасович признавал для нас несвоевременным, находя, что у нас слишком мало „зрелой опытности в суждении об общественных делах, а в случае надобности, нет даже и решимости взять на свою душу осуждение обвиняемого преступника. Катков горячо восстал против такого мнения — доказывал, что и нравственная простота народа, является скорее достоинством, чем недостатком и ни мало не препятствует введению у нас этой формы суда"... Англия в этом случае могла служить Каткову прекраснейшим аргументом; суд присяжных одно из исконных ее учреждений.

В то же время поднимался вопрос, куда приткнуться дворянству после реформы, на самом деле выбившей его из исторической колеи? Совершенно естественным представлялось в это время следующее решение вопроса. То были неосуществимые пожелания о всесословной общине. Отмечаю факт, что эту всесословную волость одинаково горячо защищали Герцен, Щедрин и Катков.

Интересную страницу находим мы по этому поводу в его биографии:

„По вопросу о сословности в „Современной Летописи" 1871 года помещена статья М. Салтыкова, нашего знаменитого сатирика, в которой указывается на необходимость общения дворян с народом, как на единственный предстоящий для них исход, причем помещикам рекомендуется для этого обращаться в члены тех сельских обществ и волостей, в которых находятся их имения. С своей стороны, Катков счел нужным весьма решительно высказаться по сословному вопросу, в виду падавших на него в то время нареканий в „аристократическом направлении". „Когда бароны были господами вассалов, — говорит он, — когда дворяне владели населенными имениями и крепостным людом, они могли дорожить своим исключительным состоянием, которое давало им право власти над другими людьми, но когда эта власть исчезла,

то для людей особой породы нет причины находиться в исключительном и разобщенном состоянии. Все, что имело цену этому состоянию, исчезло, остается лишь только то, что дает чувствовать его невыгоду". „Аристократическое начало, — формулирует он свою мысль—никак не должно существовать под фирмой особой породы или облагорожденного сословия". („Совр. Лет.", 1861 г. № 51, стр. 17). „У нас, слава богу, — продолжает он, — особые гражданские состояния, основанные на родовом начале, или гражданские породы— дело не туземное, не домашнее, не коренное, а случайное и пришлое. Это дело со многим другим заимствовано нами из Германии. Особые гражданские породы, или, как мы выражаемся, сословия у нас происхождения очень недавнего. В прежнюю пору были у нас исключительно служебные и общественные разряды, но они не были породами, не были особыми гражданскими состояниями".

Нечего и говорить, что защита крестьянской реформы (путем выкупа) входила в программу „Р. Вестника". А сколько превосходных мелочей, на которые впоследствии с недоумением должен был смотреть сам Мих. Ник. Катков...

„**Искра**"—юморический журнал, издававшийся В. С. Курочкиным в сотрудничестве, главным образом, с известным каррикатуристом Степановым. В свое время „Искра" пользовалась большим успехом и влиянием, являясь грозой всей мелкой администрации и всех крепостнических остатков русской жизни. „Искра" обличала. В этом было ее главное назначение; она обличала своими стихами, пародиями, каррикатурами, иногда очень даже серьезными статьями (напр., против Н. С. Лескова), и попасть в „Искру" значило больше, чем сесть на скамью подсудимых: суд общественного мнения в то время значил больше, чем суд официальный, был более жесток и требователен, раз дело касалось застоя, взяточничества, административного произвола. Кто были сотрудниками „Искры"? Кроме Курочкина, Степанова, Д. Минаева, кроме некоторых известных литераторов, все так называемые *литераторы-обыватели* прогрессивного лагеря — этот интересный тип, выдвинутый на сцену русской жизни обновившими ее реформами и некоторой струйкой повеевшей на нее свободы. Называя этих литераторов-обывателей литературной богемой, Елисеев говорит о

них: „она—явление не случайное, не дело каприза или безделья тех или других лиц, а явление необходимое, неизбежное, потому что времена созрели... Представители богемы действуют не по посторонним побуждениям, корыстным расчетам и т. п., а по чувству долга, в твердой уверенности что *обличать*—это их нравственная обязанность, их призвание, за которое они готовы подвергнуться каким угодно неприятностям, страданиям. Эта черта (т.-е. бескорыстие и самоотречение) резко отделяет богему начала 60-х годов от длинного ряда обличителей последующего времени. Богема по своим талантам и сведениям была разнообразна до бесконечности. Большая часть ее, вероятно, не знала ничего, или, может быть, разве немного более десяти заповедей. Но этого было совершенно достаточно для ее действий. Не убий, не укради, не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна и т. д.— вот весь тот кодекс нравственности, за исполнением которого в общественной жизни она следила, в тех, впрочем, только явлениях, которые окружены были тайною для закона, суда и полиции или истинная духовная сущность и смысл которых были неуловимы для них, как преследующих неисполнение только буквы закона или которые происходили публично, в наглой расправе над лицами беззащитными. Ложь, лицемерие, своекорыстие, самоуправство, наглость, эксплоатация, нахальство—вот те общественные пороки, которые преимущественно преследовала богема со всею неутомимостью, имея при этом всегда в виду защиту эксплоатируемых, притесняемых, обижаемых,— в особенности, если они беззащитны по возрасту, полу, своему общественному положению и т. п.“.

Эти-то литераторы-обыватели и были главными поставщиками материала для „Искры“. Обработанный Курочкиным, иллюстрированный Степановым, этот материал возвращался в провинцию, производя впечатление взрыва бомбы. Провинциальный администратор, по словам одного из современников, плохо спал накануне получения № „Искры“.

„Искра“—в конце-концов была трибуналом общественного мнения и совести, главным образом, по домашним, мелким делам. Для более крупных был другой трибунал—это знаменитый отдел „Колокола“, „Под суд“.

Славянофильские органы. Про славянофилов, как про Бурбонов после их реставрации, можно сказать, что „они ничему не научились“. Официальная реставрация славянофильства произошла, как мы видели, в начале нового царствования, а в 1857 г. у них, хотя и после усиленных хлопот, был уже свой орган „Русская Беседа“. На какие силы рассчитывали они? Прежде всего на старых славян—К. Аксакова и Хомякова, а затем славян юных, из которых, по общему мнению, особенной благонамеренностью отличался Т. И. Филиппов. Как на критика была надежда на удивительно даровитого и удивительно беспутного русского человека Аполлона Григорьева, про которого его покровитель Погодин как-то с большой проницательностью заметил: „странный он: под лестницей молится, а в переднем углу“... Обещал свое участие и Ив. Аксаков, который, впрочем, в то время был очень и очень далек от славянофильского правоверия.

В программе „Русской Беседы“ значилось:

„Основное начало мнений, распространению коих посвящается сей журнал, есть Православие. Оно душа всей Русской [1]) жизни, оно же должно определить характер всякой умственной деятельности в нашей родине: таково убеждение издателей.

„Посвящая себя преимущественно служению русского начала, журнал сей ни мало не будет враждебным к западной цивилизации. Всякий просвещенный Русский знает, сколь много он ей обязан своим умственным развитием, и убежден, что еще весьма многому он должен у нее научиться, преимущественно по части так называемых положительных знаний, но вместе с тем, очевидно для всякого истинного Русского, что западная цивилизация, лишенная необходимого основания всякого истинного Просвещения — Религии, может быть для России полезною только по пропущении ее через критику Русского духа и его коренных начал. Заимствовать как можно более у богатого сведениями Запада, переливать занятое в Русские формы, показывать отношения Запада к России и России к Западу и содействовать настоящей оценке в России западной цивилизации,—вот предметы, которые „Русская Беседа“ постарается иметь постоянно в виду.

„Будут прилагаться к журналу виды замечательных Русских и Византийских зданий, изображения Русских одежд и уборов и пр.“...

Если мы вспомним время, когда появлялась „Р. Б.“ то не правы ли были мы, сказавши, что славянофилы ничему не научились! На самом деле, кого в 57 г., когда ожидалась отмена кре-

---

[1]) По орфографии славян прилагательное „Русский“ всегда писалось с большой буквы.

постного права и, следовательно, необходимый исторический перелом всего строя русской жизни,—могли интересовать виды Византийских зданий и изображений (!) Русских одежд и кокошников?

Как бы усугубляя впечатление программы, А. С. Хомяков в первом же № „Русской Беседы“ писал: „Русский дух создал Русскую землю в бесконечном ее об'еме, ибо это дело не плоти, а духа; Руссский дух утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму общежительности в тесных пределах; Русский дух понял святость семьи и поставил ее, как чистейшую и незыблемую основу всего общественного здания: он выработал в народе все его нравственные силы, веру в святую истину, терпение несокрушимое и полное смирение. Таковы были его дела, плоды милости божией, озарившей его полным светом Православия. Теперь, когда мысль окрепла в знании, когда самый ход истории, раскрывающей тайные начала общественных явлений, обличил во многом ложь западного мира, и когда наше сознание оценило (хотя, может быть, еще не вполне) силу и красоту наших начал, *нам предлежит снова пересмотреть все те положения, все те выводы, сделанные западною наукою, которым мы верили так безусловно;* нам предлежит подвергнуть все шаткое здание нашего просвещения бесстрастной критике наших собственных духовных начал и тем самым дать ему несокрушимую прочность“. (Хомяков. Соч. т. I, изд. 1861 г.).

Любопытно отметить, что эта статья подписана не Хомяковым, а редакцией „Беседы“. Статья очень значительная и естественно, что у Грановского, бывшего уже накануне смерти, вырвалось такое решительное слово:

„Надобно будет сказать последнее слово системы, а это последнее слово— Православная патриархальность, несовместная ни с каким движением вперед. Иван Киреевский уже удостоился искомой награды и достиг своей цели. Здешние и... нарекли его Русским Златоустом. А этот Златоуст смело говорит о необходимости изгнать из государства всех иноверцев или, по крайней мере, подчинить их строгому надзору Православной Церкви. Из всей этой безобразной партии только у Петра Киреевского и у Ивана Аксакова есть живая душа и бескорыстное желание добра“.

Да, это пожалуй, главная заслуга „Русской Беседы“, что она первая дала возможность славянофильству явиться с изложением задушевных своих мыслей, изображением византийских видов, и

разрушить легенду, сложившуюся около него, благодаря неосторожным преследованиям III-го отделения.

Близко к редакции „Беседы“ стоял замечательнейший русский ритор И. С. Аксаков. Он старался удержать редакцию от преувеличенных выходок, от византийских увлечений, — но напрасно. Его не слушали, ибо: славяне не научились ничему. Вот что писал И. Аксаков:

В письме 17 сентября 1857 г.;

„Будьте, ради бога, осторожны с словами *народность и православие* Оно начинает производить на меня то же болезненное впечатление, как и Русский барин, Русский мужик и т. д. Будьте умерены и беспристрастны и не навязывайте насильственных, неестественных сочувствий к тому, чему нельзя сочувствовать, к до-Петровской Руси обрядовому православию, к монахам, как И. В. Киреевский. До-Петровской Руси сочувствовать нельзя, а можно сочувствовать только началам, не выработанным или ложно направленным, проявленным русским народом; но ни одного скверного часа настоящего я не отдам за прошедшее! Что касается до православия, т.-е. не до догматов веры, а до бытового исторического православия,—то, как ни вертись, а не станешь ты к нему в те же отношения, как и народ или как до-Петровская Русь: ты постишься, но не можешь ты на пост глядеть глазами народа. Тут себя обманывать нечего и зажить одною цельною жизнью с народом, обратиться опять в народ ты не можешь, хотя бы и соблюдал самым добросовестным образом все его обычаи, обряды и подчинялся его верованиям. Я вообще того убеждения, что не воскреснет ни Русский, ни Славянский мир, не обретет цельности и свободы, пока не совершится внутренней реформы в самой церкви, пока церковь будет пребывать в такой мертвенности, которая не есть дело случая, а законный плод какого-нибудь органического недостатка“...

В письме 9 октября из Екатеринослава:

„Много я ездил по России: имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, которые бы не знали наизусть письма Белинского к Гоголю; в отдаленных краях России только теперь еще проникает это влияние и увеличивает число прозелитов. Тут нет ничего странного. Всякое резкое отрицание нравится молодости, всякое негодование, всякое требование простора, правды принимается с восторгом там, где сплошная мерзость, гнет, рабство, подлость грозит поглотить человека, осадить, убить в нем все человеческое. Мы Белинскому обязаны своим спасением, говорят мне везде молодые честные люди в провинциях“...

И дальше в том же письме:

„... О славянофильстве же здесь в провинции и слыхом не слыхать, а если и слыхать, так от людей враждебных направлению. *Да оно и не может возбуждать сочувствия молодежи*, лезущей вперед, оно требует большой справедливости, беспристрастного разумения, основательности и проч. Требования эмансипации, железных путей и проч. и проч., сливающиеся теперь в один общий

гул по всей России, первоначально возникли не от нас, а от западников, а я помню время, когда, к сожалению, Славянофилы, хотя и не все, противились железным дорогам и эмансипации, последней потому только, что она формулирована была под влиянием западных идей. ...Вот в Екатеринославской губернии во всей нет ни одного экземпляра „Русской Беседы", а получается „Русский Вестник" и другие журналы. В них слышится направление новое, требование Просвещения, жизни, простора; ему сочувствуют с жаром и, невольно подчиняясь авторитету журнала, вместе с хорошим принимают и дурное"...

„Беседа", конечно, не пользовалась никаким успехом. Не только молодежь, но и вся Россия „лезла" вперед. Со страниц же журнала все же раздавался призыв: „назад... домой" и какие-то странные *для нас* панславистские стремления... „Русская Беседа" скоро перешла под редакцию И. Аксакова, но странно, что он, высказавший так много действительного умного и дельного в своих „письмах в редакцию", ровно ничего не сделал для улучшения журнала и продолжал самоотверженно тянуть старую лямку славянофильства, не „бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда". То же можно сказать о собственном его журнале „Парус": России, ее жизни почти нет, зато на каждой странице:

...На Ладу, Мареву, на дальнюю Саву,
На Тиссу, на Дриссу, на Драву, Молдаву,
На синий прозрачный Дунай...

Приходится отметить странное обстоятельство: и „Русская Беседа", и „Парус", которого вышло только два №№, были скоро закрыты. Причину этого обстоятельства я вижу исключительно в том, что славянофилы с своими панславистскими стремлениями всегда слишком близко подходили к области международных отношений (с Австрией), прямо-таки затрогивали ее, мечтая все о том же и о том же времени,

Когда славянские ручьи сольются в русском море...

т.-е. о каком-то всеславянском государстве, как политическом и духовном противовесе германскому миру.

О журналах братьев Достоевских „Время" и „Эпоха" я не считаю нужным распространяться. Оба они просуществовали очень недолго и влияния на общество не имели. Во „Времени" читали „Записки из мертвого дома", в „Эпохе" не было и этого, и вся тяжесть лежала на Н. Страхове, человеке очень талантливом, как говорят его поклонники, но несомненно плохом журналисте.

Не стану одинаково распространяться о журнале В. И. Аскоченского „Домашняя Беседа“. Это уже не литература. Это изуверство бывшего атеиста, ставшего ханжей. Достаточно сказать, что Аскоченский травил нигилистов с таким же бешеным ожесточением, с каким в наши дни некоторые травят „жидов“.

Но еще о двух писателях нового славянофильства надо сказать несколько строк.

Ап. Ал. Григорьев (1822—1864). Выражаясь собственными стихами Аполлона Григорьева, он в литературе и жизни

Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но с русской, чистою душой...

„Безалаберность“ Ап. Григорьева—вот что прежде всего бросается в глаза и в его жизни и в литературной деятельности. Так он и умер, не выяснив себе ни там ни здесь настоящих своих стремлений. А между тем в его сочинениях видна большая работа мысли, видна оригинальность творчества и критических приемов, видна живая душа, широко открытая всем лучшим впечатлениям окружающего. Но выражая „путаным языком“ свою „мутную мысль“, Григорьев так и остался непонятным своими современниками, недостаточно еще оцененный потомками, хотя имя его и растет постепенно.

Он жил и работал в эпоху нашего рационализма. Совершенно сложившимся явился он в обстановку 60-х годов, и надо сказать прямо—он понимал ее и сочувствовал ей гораздо больше и лучше, чем она понимала его и сочувствовала ему. Все его убеждения были глубоко демократичны, и в этом отношении он воспринял лучшие традиции славянофилов первой формации. Еще больше расширил он их своим увлечением французскими социалистами. Никаких дворянских или вообще классовых симпатий он не имел: его кумиром был народ, *русский* народ, как трудящаяся в поте лица своего, достойная счастья и радости, но еще не добившаяся их масса. Этот взгляд он вносил в свои критические работы. Он спорил всегда с дилетантами и теоретиками искусства; бессмысленной представлялась ему формула „искусство для искусства“.

„Искусство,—писал он,—всем истинным художникам открывалось в виде великой, вверенной им мировой воли, в виде великого служения на пользу души человеческой, на пользу жизни общественной“. Или: „Понятие об искусстве для искусства является в эпоху упадка, в эпоху раз'еденения сознания немногих лиц, утонченного чувства дилетантов с народным сознанием, с чувством масс... Истинное искусство было и будет всегда народное, демократическое, в философском смысле этого слова. *Поэты суть голоса масс*, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключами к уразумению эпох—организмов во времени и народов—*организмов в пространстве*“. Таким образом, требование Аксакова, чтобы художественное произведение „что-нибудь доказывало“ и отвечало какой-нибудь потребности, какому-нибудь общественному запросу, осело в трудах Ап. Григорьева.

На этой почве, почве своего демократизма и общественности, Григорьев мог, повидимому, столковаться с главарями шестидесятников; однако, он видел с их стороны одно пренебрежение, одни насмешки, и чем ближе мы знакомимся со взглядами Григорьева, тем очевиднее становится для нас, что иначе оно не могло и быть. Главари шестидесятников были прежде всего рационалистами с верою в решающую силу разума. В эту решающую силу разума Григорьев не верил, тем менее верил в рассудок, т.-е. в расчет выгоды или невыгоды, создавший наш (в области нравственных начал) далеко не философский утилитаризм. Он думал, что в жизни человек руководится и должен руководиться *цветной*, как он называл, или органической истиной. Что такое цветная истина? Это истина плюс весь человек—т.-е. чувство, его воля, его идеалы, словом, весь он, со всеми своими особенностями, с голосом и влиянием всех создавших его условий, всей его исторической обстановки. Конечно, идеал души человеческой всегда и повсюду остается неизменным, но такой идеал в чистом его виде никогда не может быть ни познан, ни воплощен. Для своего познания и воплощения он нуждается во внешней форме, в конкретной оболочке, которая конечно, случайна и временна. Но зато в результате мы получаем нечто *органическое*, т.-е. выражение всего человека. Но далеко не все способны найти такое выражение для

себя, тем менее для массы, для данного общества, для данной эпохи, для народа. Это дело художников, дело искусства.

Как бы развивая взгляды немецкого романтизма, Ап. Григорьев смотрел на искусство, как на высшее выражение творческой деятельности человека; он прямо переоценивал его значение и с обычным своим эмфазом говорил порою, что искусство—это все. Только искусство *осмысливает* жизнь, говорил он. Или „искусство должно осмысливать жизнь, определять разум ее явлений, — положительно или отрицательно—на что имеет два орудия: трагизм или, лучше сказать, лиризм и комизм". Тут опять проявляется недоверие Григорьева к рассудочным основам жизни. „Теории, как итоги, выведенные из прошлого рассудком, правы всегда только в отношении к прошедшему, на которое они как на жизнь опираются. Прошедшее же—труп". Поэтому никогда теории не дают ничего *нового*, нужного, органического. Одно искусство способно дать его, способно заставить поверить в свои мысли, свои идеалы. „Для того, чтобы в мысль поверили,—пишет Григорьев,— нужно, чтобы мысль приняла тело, и, с другой стороны, мысль не может принять тела, если она не рождена, а сделана искусственно". *Родить* же мысль может лишь художник-творец.

„*Искусство* определяет разум явлений жизни", выражает *сущность стремлений и идеалов масс, эпохи, народа*. Особенно важна его функция в последнем случае. Говорить от лица народа, его голосом—вот высшее, на что может рассчитывать художник. От лица русского народа говорили полнее, правдивее всех Пушкин сначала, потом Островский.

Существует ли русский народ, как нечто отдельное от других, отдельное не только во времени и пространстве, но отдельное органически, по самому существу своему, отныне и до века? Двух ответов на этот вопрос со стороны Григорьева быть не могло. Конечно, говорил он и истратил массу мысли и работы, чтобы определить эти коренные, существенные особенности народа русского, чтобы утвердить в русской литературе ясное и точное содержание понятия народности. „Не только в мире художественном, но и в мире всех общественных и нравственных наших сочувствий, Пушкин есть первый и полный представитель наших сочувствий". „В Пушкине надолго, если не навсегда завершился, обрисовавшись широким очерком, весь наш душевный

процесс". Пушкин—мерка наших принципов, говорит потом безудержный критик. Надо заметить, что в Пушкине он больше всего ценил создание им типа Белкина. Но что такое Белкин? Это „наше, настоящее, русское", это воплощенная кротость,—в противоположность самомнящим, рассудочным хищникам Запада, это смирение, постигшее религиозную тайну жизни. Правда, Григорьев понимал, что „голос за простое и доброе (т. е. за Белкина-мужика—русский народ), поднявшийся в душах наших против ложного и хищного (т.-е. западно-европейского), есть, конечно, прекрасный, возвышенный голос, но заслуга его есть только отрицательная: его положительная сторона, есть застой, закись, моральное мещанство"—но понимая это, Григорьев все же, как основные свойства русского духа, выдвигал кротость, смирение, смиренномудрие, *православие*. Воплощением же этого оказывается или безхитростный Белкин или Любим Торцов!

Отсюда необходимый разлад с эпохой.

Пользуясь прекрасной работой г. Гольцева, привожу сделанный им свод мнений Аполлона Григорьева о задачах критики: „Что художество в отношении к жизни,—писал он,—то критика в отношении к художеству: раз'яснение и толкование мысли, распространение света и тепла, таящихся в прекрасном создании". Чисто эстетической, замкнутой критики быть не может: жизнь так или иначе заденет. Критика чисто техническая была бесполезна и для художника, и для массы. „В наше время может существовать только историческая критика, которая рассматривает литературу, как органический продукт века и народа, в связи с развитием государства, общества и моральных понятий". Во всем временном есть частица вечного, неприметного, поэтому „общие эстетические законы подразумеваются исторической критикой художественных произведений". „Показать относительное значение всех литературных произведений в массе, определить каждому подобающее место, как органическому, живому продукту жизни,—и поверить каждое безотносительными законами изящного,—непременно поверить каждое—вот дело исторической критики"... Органическая же критика признает, что идеал может быть затерян, но остается всегда один и тот же, всегда составляет единицу, норму души человеческой... Искусство заранее чувствует приближающееся будущее, как птицы заранее чувствуют грозу

или ведро. В нем поэтому, с особенной силою выражается историческое чувство: сознание цельности души человеческой и единства ее идеала. Для художника необходимо, с этой точки зрения, суб'ективное стремление к идеалу и об'ективная способность воспроизводить явления внешнего мира в типических образах".

Этим взглядам Григорьева, как вообще всем его взглядам, не достает ясности и определенности.

Н. Н. Страхов (1828—1896). Страхов писал много, писал всю свою жизнь и умер почти что с пером в руках. Но влияния он не имел никогда, не имеет его и теперь, после смерти, несмотря на все даже талантливые попытки гальванизировать его имя и идеи. Между тем у него, несомненно есть очень ценные критические исследования (напр., о „Нигилизме", о „Войне и мире", о борьбе с Западом или лучше сказать с рационализмом в русской и европейской литературе и т. д.) — но он был слишком журналистом, чтобы ученые могли признать его своим, и слишком ученым (в смысле теоретичности своих воззрений), чтобы журналисты хоть сколько-нибудь дорожили им. Каждый вопрос, с которым ему приходилось сталкиваться, он рассматривал, как некоторую научную проблему из области естествознания и при непременном требовании нашей журналистики принадлежать душой и телом к какому-нибудь лагерю, защищать как его ошибки, так и истину, иметь прежде всего в виду практические результаты идеи. Страхов был просто не на месте, особенно в 60-е и 70-е годы. Благодаря своей „научности", привычке высказывать свои воззрения с дюжиною оговорок, он попадал порою прямо в комичные положения: в то время, как над ним потешались радикалы, правительство запретило журнал за его статью (напр., за статью „Роковой вопрос" было запрещено „Время").

В начале своей литературной деятельности в 60-х годах он играл роль мишени для „Современника". Потом его как-то забыли, временно, впрочем; позже он дважды и очень неудачно выступал как защитник „анти-дарвинистских" и „почвенных" взглядов Н. Я. Данилевского. Обе его полемики с проф. Тимирязевым и Влад. С. Соловьевым были печальны.

По всем данным своей натуры Страхов был приспособлен лишь ко второй роли, но так как его вожди—Апол. Григорьев и

Н. Я. Данилевский—ни известностью, ни влиянием не пользовались, то естественно, что еще меньше влияния и известности выпало на долю их последователя, хотя по разносторонности своего образования и по своему литературному таланту он был выше обоих.

Направление, которого держался Страхов, носит название *почвенного*, это славянофильство, но без его панславистской утопии и исправленное в грубейшей ошибке, будто нам надо вычеркнуть два века своей истории и вернуться назад, домой, в допетровскую Русь. Вычеркнуть два века истории и забыть их—нельзя. Это почвенники знали. Но с тем большею цепкостью и, пожалуй, страстью (особенно Ф. М. Достоевский, как публицист, и Ап. Григорьев) ухватились за другую часть славянофильского наследства—за самобытность основ нашего духовного развития, за существование особого (русского или славянского) культурно-исторического типа, который, пользуясь приобретениями европейского разума и просвещения, ему однако не подчиняется и идет *своей* дорогой.

Проповедуя эти взгляды в области литературной критики, Страхов следовал, конечно, взглядам Хомякова и Григорьева. По его мнению, „в произведениях ряда поэтов и художников, начиная от Пушкина, после некоторого колебания и склонения в сторону западно-европейских типов духовной красоты человека, мы замечаем возвращение к самостоятельности и создание типов и характеров, в безусловной нравственной красоте которых мы не можем сомневаться, перед которыми преклоняются, как только узнают их, и западные писатели—и которые вместе с тем совершенно гармонируют с душевным складом, до сих пор живущим в нашем простом народе? Ап. Григорьев много говорил о нем, но не выяснил его; Страхов также много о нем говорил, но одинаково не выяснил. В сущности, даже после знаменитой пушкинской речи Достоевского этот вопрос остался открытым. Собирая крупицы ясного и определенного, находящегося в сочинениях почвенников, находим прежде всего мотив Тютчева:

Не поймет и не оценит
Гордый ум иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В *наготе* твоей *смиренной*.

Эта смиренная нагота фигурировала у Григорьева, как кротость, противоположная хищническому, завоевательному западноевропейскому типу. Страхов на этот счет высказался в своих критических статьях о „Войне и мире“.

„То, — говорит его комментатор, В. Розанов, — чего он смутно искал, чего ожидал с сомнением, появилось в образах удивительной красоты и твердости, перед которыми невольно склонилось читающее общество, еще не понимая всего их значения. Ни для кого это значение не могло быть так ясно, как для него (Страхова). В 6-ти томах громадного литературного произведения он нашел две строчки, мимоходом брошенные автором, в которых была сгруппирована вся мысль романа, быть-может, не так отчетливая для самого знаменитого художника. Эти строки он и избрал эпиграфом для своего разбора. „*Нет величия там, где нет простоты, добра и правды*“—в этих коротких словах содержится указание иного и высшего типа для всемирной истории, по которому она еще никогда не двигалась и который хранится, как нравственный идеал, бессознательно, в недрах народа нашего; по нему, конечно, вступая и вкривь и вкось, развивался и быт наш до реформы Петра. Этот тип может быть удержан при всей сложности развития, при всякой высоте умственных созерцаний или обширности замыслов и стремлений. Нельзя не согласиться, что он есть норма для человеческого духа и мерило достоинства для человеческой деятельности. Придерживаясь его, первый никогда не почувствует неудовлетворенности и тревоги, а вторая успеет достигнуть всяких целей. Если мы всмотримся в двухтысячелетнюю историю Западной Европы, мы увидим, что все великое, в ней совершившееся, совершилось по иным типам, нежели этот. Могущество внешнего авторитета в одни моменты ее развития, свобода личной совести в другие, гражданское равенство в третьи, далее спиритуализм или материализм воззрений, чувств и отношений—вот окончательные цели, которые преследовались западными народами и породили великие циклы их развития: католицизм и реформацию, систему централизованных государств и революцию, рыцарство и промышленность, аскетизм монастырей и шум энциклопедистов. Идеал всегда бывает несложен, он называется двумя-тремя словами, но его осуществление на всех ступенях жизни, проникновение им всех форм развития, всех моментов личного существования и общественных отношений наполняют собою века народной жизни, поглощают труд бесчисленных поколений. Западная Европа в течение всего последнего столетия движется в пределах мысли, которую мы можем читать в двух словах, вырезанных на французских пушках, хранимых в Московском Кремле „liberté, égalité“: сюда примыкают ряд монархий и республик, законодательства и журналистика, индустрия и пролетариат. Итак, слова эти кратки, но смысл их долог. Не трудно понять, как забвение великого идеала, хранимого в нашем народе, пренебрежение которою-нибудь из его черт порождает наше бессилие достигнуть хоть каких-нибудь из своих целей, и не нужно быть особенно проницательным, чтобы предвидеть, до какой степени легко и радостно мы достигли бы их всех, если бы в стремлении своем действительно были всегда просты, совершенно правдивы и не заботились ни о чем, кроме добра. Но к добру мы примешали

лживость, к правде—ожесточение, извратились сами и извратили свою жизнь, и несем ее как бремя, ненавистное для себя и для других".

Все это, как видит читатель, довольно наивно: до торжества Москвы, до разорения Новгорода Грозным наша история смирения не знала. Смирение вколочено, вбито в русскую натуру казнями Грозного, дубинкой Петра,—а больше всего монгольским игом и крепостным правом, когда смирение оказывалось единственным средством самозащиты. Но надо отметить, что панегирики Страхова и Григорьева кротости не скрывали за собой никакой задней мысли, и оба эти почвенника воистину не знали, что творят...

У Страхова была еще идея, общая всем славянофилам, всегда, как я указывал раньше, тяготевшим к Шеллингу (во второй половине его деятельности). Это недоверие к разуму, рассудку, рационализму, вообще неудовлетворенность ими. Здесь Страхов опять-таки шел за Аполлоном Григорьевым (вообще своих главных мыслей у него не было). Григорьев, проповедуя свою *органическую* критику, рассматривал каждую идею, каждое художественное произведение не как продукт личного индивидуального творчества, а как результат работы *общего, большого* разума, разума „местности, массы народа"—т. е. как продукт чего-то стихийного. Это, несомненно, самая драгоценная идея славянофильства, и жаль, что они говорили о ней так бледно, вяло и неясно. Этот *большой стихийный разум* Григорьев называл *органическим,* Хомяков *верой.* Самарин видел всецело в его неприкосновенности, нетронутости, в том, что он уцелел у нас, а не раздробился на мелкие индивидуальные рассудки—наше преимущество перед Западом, залог нашего будущего. И опять надо сказать, что у Страхова и Григорьева это недоверие к рационализму, к рассудочному, чисто механическому толкованию природы и человека не переходило в мракобесие. Но оно перешло в мракобесие у их меньших сторонников, которые для своих целей воспользовались их аргументами. Вот, повторяю, горе Страхова, что он никогда не знал и не понимал, в чью руку он играет, как не понимали, в конце концов, и все славянофилы.

„Неудовлетворенность—и безотчетная—одною из самых общих и великих форм европейской цивилизации дала ему возможность безошибочно определить подобное же недовольство ею и в

других умах, которое сказалось так же враждебно, повело к таким же, как и у него, страстным отрицаниям. Рационализирование природы в философии и науке, безграничное стремление, избегая всякого страдания, улучшать каждую частность жизни и через это надежда достигнуть ее полного совершенства, вера в могущество своей природы и отвержение необходимости для себя какой-нибудь помощи в религии—все это может считаться главными и самыми общими чертами европейского общества второй половины XIX-го века. В целом ряде западных писателей он (Страхов) открывает, как вера в рационализм, столь же горячая, какую он исповедывал некогда, привела к недовольству и отрицанию других сторон европейской цивилизации, то подавляемому еще, как у Штрауса, то колеблющемуся, как у Д. С. Милля, то исполненному какого-то недоумения, как у Фейербаха, то открытому и резкому, как у Ренана и отчасти у Герцена.

„Но если для западно-европейских писателей за отрицанием своей цивилизации остается только сумрак и отчаяние, то для писателя иного народа, еще не вошедшего окончательно в формы этой цивилизации, остается надежда на возможность иной культуры. К этой надежде примыкает, из нее исходит вся критическая деятельность Н. Страхова“.

Надежда превосходная, но когда вся она строилась на стихах Тютчева и Хомякова и сомнительной философско-исторической теории Данилевского,—нечего удивляться, что влияния она не имела, что вызывала она лишь насмешки и даже вражду. Потому, между прочим, что не у Страхова, а у меньших она перешла в шовинизм, национализм, гордыню духа, те самые вожделения и мечты о третьем Риме, которые в конце-концов могли сыграть лишь чисто отрицательную, реакционную роль.

Полемика. Для полноты картины мне хочется сказать несколько слов о журнальных бурях 60-х годов. Много было этих бурь, очень много и, быть может, они—одно из характернейших явлений того времени. Они поражают своей страстностью, высоким вздыбом своих полемических волн, своею резкостью. Поводы зачастую были малы и случайны,—напр., вопрос о том, откуда пришли первые князья—из Литвы или из „норманов“,—но это не мешало людям влагать в них весь свой темперамент. Масса

электричества, которым была наполнена атмосфера 60-х годов, разряжалась в этих полемиках, потому что, как ни случайны были поводы, речь в конце-концов сводилась к тому, как и каким образом переустроить на новых началах общественную жизнь для ограждения ее гражданской самодеятельности? И надо отдать полную справедливость публике того времени: ее настроение было главным источником высокой журнальной температуры того времени. Какое бы, казалось, дело этой публике до ученого спора между Костомаровым и Погодиным; до того—литовское ли это имя „Игорь“ или нет?—Но публика знала, что Костомаров человек передовой, Погодин—академик, издатель славянофильского „Москвитянина“, человек очень сомнительных общественных симпатий, очень близкий к теории официальной народности, вообще журналист и ученый—*чиновник*, и этого было достаточно, чтобы все симпатии были на стороне Костомарова. Погодина освистали. В более близких для нее вопросах публика проявляла еще более решительности. Это прекрасно доказывается трагической историей „Века“ (редакт. П. Вейнберг). В этом журнале П. И. Вейнберг, в одном из своих фельетонов, осмеял некую г-жу Толмачеву за то, что та на одном из литературных вечеров прочла „Египетские ночи“ Пушкина. Насмешка была воистину неосторожная, и публика ее не простила. В какие-нибудь 2—3 месяца все подписчики „Века“, которых было около 4000, разбежались, и журнал перешел в другие руки. Было, вообще, много чуткости, страстного увлечения, много и ребячества, конечно,—над чем так ядовито подсмеивался Добролюбов в своем „Свистке“, но надо вспомнить, что время было горячее.

Почти весь 1860 год тянулась знаменитая полемика между Чернышевским и Юркевичем. Вопрос шел о материалистических и идеалистических основах человеческого бытия. Публика примкнула, конечно, к Чернышевскому и его материализму. Почему? Отчасти и потому, конечно, что Юркевич был профессор духовной академии, но главнейше по той причине, что правильно или неправильно, но в идеализме она видела одну из основ старого русского быта, что она знала официальную боязнь николаевской эпохи к материализму.

Волна настроения была высокая. Многих подняла она, еще больше кого захлестнула. Не только все двуличные и двуязычные,

но и все недостаточно решительные оказались не у дел, загнанными в угол.

Многих удивляет ожесточенная полемика между „Современником“ и „Русским Словом“, хотя оба они стояли во главе передового движения и оспаривали один у другого симпатии молодежи. Однако, ничего странного в этой полемике нет. Верный духу Чернышевского, „Современник“ держался народнически-социалистской программы; „Русское Слово“—программы мыслящего реализма. Различие обоих журналов так же велико, как различие между Чернышевским и Писаревым, особенно ярко проявилось оно в оценке Базаровского типа, по поводу появления „Отцов и детей“ Тургенева (1862).

„Современник“ в лице Антоновича нашел, что Тургенев, рисуя своего Базарова, унизил молодежь. Он спрашивал, что делает этот всеотрицающий нигилист? Неужели осмысленный человек может удовлетвориться резаньем лягушек и любовью к полной барыне Одинцовой? Неужели его не тянет в ряды погибающих за великое дело любви? Если не тянет, то, очевидно, он — клевета. Писарев посмотрел на дело иначе. Для него Базаров властитель дум. Он — человек без предрассудков, он занимается естественными науками, он построил свою жизнь на триедином принципе любви, знания, труда. Что он не думает о переустройстве жизни—это несущественно, потому что самым фактом своего существования он переустраивает ее. Отсюда полемика, которая, только благодаря исключительному таланту Писарева кончилась не в пользу „Современника“.

Страстность журналистики 60-ых годов можно, кажется, об'яснить тем обстоятельством, что вопросы, интересовавшие ее, были чисто практического свойства. Нужна ли розга в школах? Нужна ли розга в крестьянском быту? Как произвести крестьянскую реформу? Каков должен быть размер выкупа? И т. д. Все эти вопросы слились в конце-концов в один: Что надо делать, чтобы закрепить жизнью новые начала общественной самодеятельности?

Беллетристика 60-ых годов.

Беллетристика 60-ых годов по преимуществу *учительская*. Она вела читателя, указывала ему *смысл* и *цель* жизни, отвечала на

вопрос: *что делать*? Надо работать во имя счастья всех, надо работать во имя того, чтобы освободить и массу, и отдельные личности от предрассудков, надо работать во имя водворения на земле справедливости — вот ее ответ. Задачи и средства художественного творчества были отодвинуты на второй план. Часто беллетристика являлась лишь иллюстрацией ко взглядам, изложенным в журнальных статьях. Во всяком случае, это была проповедь, было учительство, проникнутое верой во всемогущество человеческого разума и его зиждущую роль на земле.

Высокие художественные произведения, одно за другим, как бы из рога изобилия, появлявшиеся в шестидесятые годы, внутренне духовно им не принадлежат: они связаны с нею только хронологически и для нее не характерны за исключением, быть может, „Отцов и детей“ Тургенева, „Тысячи душ“ Писемского. Но все же надо помнить, что на сцене были Толстой, Тургенев, Гончаров, Островский, Писемский, и первенствовавшая в эту эпоху критика извлекла из их произведений полезные для себя публицистические выводы чисто общественного содержания и при том такого, о котором самим авторам, быть может, и не снилось. Так, Добролюбов для своих статей „Темное царство“ и „Луч света в темном царстве“ взял материал у Островского; для статьи „Что такое Обломовщина“—у Гончарова; Писарев особенное внимание обратил на произведения Тургенева (особенно его женские типы и тип Базарова) и Писемского. Любопытно, что на „Войну и мир“ критика передового лагеря мало откликнулась, но этот роман Толстого появился в конце эпохи.

Мне бы следовало, повидимому, посвятить особые главы произведениям двух первоклассных наших художников слова—Островского и Писемского, но я этого не сделаю, и вот по каким причинам. Преклоняясь перед художественным гением Островского (1823—1886 г.), я думаю, что истинную свою оценку он может найти в общеэстетической части истории литературы, или той, которая поставит себе целью определить проявление русского духа, русской народной индивидуальности, поскольку она отразилась в художественных произведениях. Но эта почтенная этнографическая задача не входит в программу моей работы, так как я совершенно теряюсь перед ее громадностью и сложностью. Как понимали *русские* художники слова русские начала своей

жизни — на этот вопрос, конечно, должен ответить анализ творчества Кольцова, Островского, С. Т. Аксакова, Толстого и т. д.— и *особенно*, конечно, Островского и Толстого. Островский, несомненно, старательно, любовно и проникновенно отметил все то положительное, что можно найти даже в наших самодурах-купцах. Я едва ли буду далек от истины, если скажу, что героем, центральной фигурой его творческой деятельности является Козьма Минин Сухорук. В этой легендарной фигуре он видел истинное воплощение русского народного гения, русского народного духа. Но частица яркого света, озаряющего могучую личность Минина, несомненно падает и на всех положительных героев Островского, которых у него *очень* много. Этой вот стороной своего миросезерцания Островский, несомненно примыкал к славянофилам, и превосходные, прямо-таки художественно-прекрасные статьи Добролюбова о его произведениях—едва ли проникают в их истинную сущность. Россия для Островского светлое, а не темное царство, с темной разве закраиной. А. Ф. Писемский (1820 — 1881 г.), этот истинный наш натуралист, даже (порою протоколист, опять-таки в высокой степени важен для характеристики русского народного духа, русского характера, к которому он, в противоположность Островскому, относился совершенно отрицательно. Русская жизнь для него тускла, сера, окутана пошлостью и какой-то ненужностью. Истинные ее герои— это Тюфяки, ипохондрики, Калиновичи—люди без воли, без идеи. „Возрождающее“ движение 60-ых годов одинаково не создало ничего ценного, положительного, и Писемский отнесся к нему с явной насмешкой и неодобрением. Для чего живем мы, русские люди—это никому неизвестно, да и не живем, а просто прозябаем. Писемский несомненный сатирик, прямой ученик Гоголя, но без всяких исканий, спокойно ставящий крест на всех своих пошленьких героях.

Перехожу к беллетристике 60-ых годов собственно.

Беллетристика Чернышевского. Существуют два рода художественных произведений, достоинство которых может быть совершенно одинаковым по степени и совершенно различным по типу. Одни из этих произведений действуют прежде на наше эстетическое чувство и возбуждают нашу эстетическую эмоцию

красотой своих образов и изложения; чтобы оценить их, надо очень мало рефлексии: заключающиеся в них чувства передаются, так сказать, телепатическим путем. Они могут быть вечны, по крайней мере, долгевечны, но в них так тщательно удалено все временное и случайное, их настроение так обще, что вы ни за что не определите, когда они написаны. Что, напр., за превосходная вещь „Довольно" Тургенева или его „Призраки", или его „Собака", однако, попробуйте установить их хронологию без документов и свидетельств, ничего общего с этими произведениями не имеющих, и вам ни за что это не удастся: „Довольно", „Призраки", „Собака" и пр. принадлежат решительно каждому веку. Еще относительно „Довольно" вы по проникающей его слишком барской меланхолии, догадаетесь, пожалуй, что оно написано русским человеком, но другие может создать и французское, и немецкое и вообще любое человеческое гуманное воображение. В таких вещах на первом плане психологический анализ и чувства, принадлежащие или могущие принадлежать каждому человеческому существу. Они иногда чудно красивы, но все без роду, без племени, настоящие метеоры, проносящиеся неизвестно откуда: так, из недр духа человеческого.

Переходя теперь ко второму роду художественных произведений, немилосердно бракуемых эстетической критикой, надо сказать, что их главный характер заключается в их в высшей степени рельефной историчности. Каждая строчка, каждая страница в них носит печать своей эпохи и тех интересов, которыми жило тогда общество. Здесь уже невозможны никакие сомнения по части хронологии: она подсказывается всем—и ходом действия, и общим настроением автора, и отношением к действующим лицам, и самым стилем, который не мог бы быть раньше или позже. Это известные продукты общественной эволюции. Они так плотно приросли к известной ее стадии, что по необходимости чувствуют себя чужеземными растениями во всякой другой. Плоть от плоти и кость от костей, и они прекрасны, и ярки лишь при особенном освещении своего времени: только это освещение может открыть все их достоинства и соединить в одно гармоническое превосходное целое их неясные и кажущиеся угловатыми данные. Чтобы сделать их памятными и привлекательными для другого времени, других людей, выросших в других условиях общественности и в других

ее интересах, критика должна стать прежде всего исторической и критик обратиться прежде всего в историка. Конечно, это нисколько не помешает ему перейти потом к их научному анализу и к эстетическому, но тот и другой будут в значительной степени страдать погрешностями, если для них не приготовят предварительно чисто исторического фундамента.

Как относились люди к жизни в ту прошлую эпоху, в чем видели ее смысл, как понимали важнейшие вопросы личного счастья, долга, будущности человечества, „роль личности в истории“ и т. д.—вот вопросы, на которые прежде всего должна ответить критика, рассматривая подобные произведения. Насчет же степени их художественности, суждение должно быть установлено по общим правилам, т.-е. по правилам, приложимым решительно ко всякого рода произведениям творческого духа человека. Насколько широко захвачена в них жизнь, насколько ярки выведенные в них типы и—насколько полно собраны общие черты данного типа и т. д. Если по всем указанным пунктам получатся удовлетворительные ответы, то произведение должно быть названо художественным. Художественность выражается прежде всего в красоте выполнения, в той полноте впечатления, которую выносит читатель, в силе и яркости образов и, в сущности, ни в чем больше.

Роман Чернышевского „Что делать?“, так же, как и первый незаконченный его роман, в котором рассказывается жизнь четы Волгиных—принадлежит, конечно, ко второму роду художественных произведений. Это прежде всего, документы своего времени, в которых лучше, чем где-нибудь, отразилось его настроение, в то же время это программа жизни, как она понималась тогда... когда розы росли без шипов... и разве с самыми маленькими. Если это и не решает вопроса о степени художественности, то вопрос о важности и значительности во всяком случае уже решен. Прежде всего, что поражает или лучше сказать—бросается вам в глаза в романах Чернышевского, это их в высокой степени жизнерадостное настроение. Закрывая книгу, читатель не ощущает не только грусти, но даже „мечтательной задумчивости“. Он совершенно спокоен за участь заинтересовавших его раньше героев, ни одна ужасная сцена, исполненная трагизма, не встретилась ему на протяжении сотен страниц, ни разу не было упомянуто о смерти,

выведенные на сцену люди всегда достигали чего хотели и, в сущности, без особенных усилий, человеческая жизнь заключалась в работе для счастья и в достижении этого счастья. Это важнейший и, по моему мнению, самый интересный признак романов Чернышевского. Имеет ли он общее историческое значение для своей эпохи или же сам автор просто проявил себя в нем—вот вопрос, на который мы пытаемся ответить.

Личное счастье человека законно,—личное счастье человека греховно. Личное счастье человека достижимо,—личное счастье человека не достижимо. Возле этих двух полюсов колебалась мысль человека, особенно русского человека и, разумеется, русского интеллигента. С этой точки зрения было бы положительно интересно рассмотреть историю русской литературы, хотя бы за один только XIX век. Конечно, к этому надо прибавить разное понимание счастья в разные эпохи.

То или другое понимание счастья кажется мне центральным пунктом нравственной философии человечества. От каких причин зависит его разнообразие—для нас это в настоящую минуту не важно. Но все равно, как нельзя отрицать его, так нельзя не признавать в нем одного из самых характерных признаков самосознания той или другой эпохи.

Как отнеслись к вопросу о счастье шестидесятые годы? Насчет законности или права на него не могло быть, конечно, и речи. Но, самое главное, счастье считалось совершенно достижимым, и главная ответственность за него возлагалась на самого человека. Он может его заработать, если захочет. Так решает вопрос Чернышевский в своих романах, Писарев в своих статьях,—только скептик Добролюбов никогда не забывал прибавить: „если обстоятельства позволят". Возьмите всех героев Чернышевского, кроме одного—Рахметова, рассмотрите всю их жизнь от начала до конца, и вам невольно захочется воскликнуть: „как все это просто и из-за чего на самом деле люди мучаются?" Как будто и правда не из-за чего. Стоит только „пошевелить мозгами", „раскинуть умом" с точки зрения двух верховных принципов „наибольшей полезности и наилучшего применения сил, и все жизненные затруднения распадаются сами собой"... Припомните на самом деле, известный эпизод разрыва Лопухова с Верой Павловной. В чем тут суть?

Муж убеждается в том, что жена больше не любит его. Правда, с ее стороны нет измены тела, но есть измена души. Налицо, следовательно, полная программа для той романической коллизии, которую Щедрин осмеял в своей программе для всякого рода беллетристических произведений: „возьми, сказал он, двух мужчин и одну женщину и не стесняйся“. Читатель естественно ожидает драмы, что и предчувствовал Чернышевский, начавши роман с примерного самоубийства. Драмы однако ровно никакой не происходит. Лопухов превосходно знает, кого любит его жена. Видя, как та худеет и бледнеет, и понимая, что возврата к прошлому быть не может, он начинает „шевелить мозгами“ и „раскидывать умом“, при чем для него становится все более и более очевидным, что так дело продолжаться не может и не должно. Можно, разумеется, убить Кирсанова на дуэли, запереть хорошенькую Веру Павловну под замок, наконец, застрелиться самому, но будет ли какой-нибудь прок? Очевидно, ровно никакого. Следовательно, произойдет лишь напрасная трата сил. С другой стороны, принцип наибольшей полезности требует, чтобы все люди были по возможности счастливы. Чтобы достигнуть этого, Лопухов устраивает примерное самоубийство, удаляется в Америку и представляет Кирсанову и Вере Павловне устраивать жизнь по-своему.

Коллизия страстей разрешается просто, даже слишком просто, особенно с точки зрения наших дней, когда мы склонны переоценивать страсти человека и когда каждый из нас ставит себя куда „превыше“ общества и даже целой вселенной. Но ведь наша точка зрения решительно не годится для оценки 60-х годов и точки зрения Чернышевского. Последняя в кратких словах заключается в следующем: человек создан не для эгоистического наслаждения, а прежде всего для работы, но так как эгоистические наслаждения, поднимая жизненную энергию, содействуют успешности работы, то они законны и необходимы. Высочайшим из этих наслаждений для огромного большинства людей является любовь. Она двигает и вдохновляет труд. Но любовь без взаимности становится из благодетельной злой силой. Поэтому надо достигать этой взаимности или содействовать ее достижению. Становясь именно на эту чисто трудовую точку зрения, Лопухов и отдает свою жену Кирсанову, так как понимает, что без Веры Павловны тот обратится в нуль, да и сам он, Лопухов, видя страдания близких лю-

дей, не избегнет той же грустной участи. Поступив иначе, он, несомненно, изменил бы тому, что составляет сущность его натуры и костный мозг его твердых и непоколебимых убеждений, т.-е. трудовой теории. Конечно, Лопухов—натура рассудочная, к тому же никакой страсти к жене он в сущности не питал, он скорее любит ее, как товарища и друга:—иначе бы он и не выпутался так легко из своего затруднительного положения, но все же полагаю, что нет решительно никакого основания считать его лишь чиновником особых поручений при теории экономии сил. В его душе много жизни, много движения, и легко представить себе обстоятельства, при которых он вырос бы в героя: напр., если бы ему предложили отказаться от своих убеждений. На это он не пойдет никогда. Посмотрите дальше, как легко подавляет он в себе свое мелочное самолюбие. Допустим, действительно, что он совсем не любит Веры Павловны, но ведь в нем мог бы заговорить мужчина со всем его эгоизмом и себялюбием. Однако, этого нет и следа.

Заставить страсти человека служить интересам труда—вот задачи разума в деле устроения человеческой жизни. Только тогда можно будет достигнуть наибольшей напряженности в работе и наибольшей успешности ее результатов. Вся работа, все для нее, все во имя ее. И когда она является новым и свободным проявлением всех сил человека, когда в ней он успевает выразить самого себя целиком, тогда наступает момент счастья.

Так понимает Чернышевский счастье, в законности, необходимости и достижимости которого он не сомневается ни на минуту.

Светлые сны Веры Павловны представляют из себя не что-нибудь постороннее для романа, напротив того, они органически связаны с его основной идеей. Потребность в чем-нибудь исключительном, экстраординарном, так сказать, Чернышевский об'ясняет прежде всего противоестественными условиями нашего бытия, необходимостью жестокой борьбы с силами окружающего нас зла, а совсем не естественной эволюцией человеческого рода. Его привлекают прежде всего простые и искренние люди, люди дела, а не подвига, обыденной жизни, а не исключительных обстоятельств. Он с наслаждением погружается в интересы их существования, следит

за борьбою их страстей и с спокойным сердцем устраивает их благополучие и, строго говоря, благополучие очень некрупных, а с героической точки зрения, даже мелких размеров. Все это простые работники, которые разнятся между собою лишь по степени талантливости. Припомните на самом деле его действующих лиц.

Литератор Волгин[1]) пользуется большою популярностью среди учащейся молодежи. Он стоит во главе передового журнала, проповедующего демократические идеи, и перед нами постоянно целая груда самой неотложной работы: его читатели привыкли, чтобы он сам лично откликался на все вопросы текущей жизни и просвещал их с своей, излюбленной ими, точки зрения. Он делает это охотно, с увлечением, но ни следа сомнения найти у него нельзя. „Литературного таланта у меня нет,—говорит он о себе,—я пишу плохо, длинно, часто безжизненно. Десятки людей у нас умеют писать гораздо лучше меня. Мое единстненное достоинство, но важное, важнее всякого мастерства писать, состоит в том, что я правильнее других понимаю вещи“.

Волгин не придается никаким несбыточным мечтам, никогда не выходит за пределы обычной журнальной публицистики и проповедует лишь „применение разума к жизни“. Он хочет, чтобы люди думали больше и не бросали свои думы в окошко, раз в них заговорила страсть. Он нисколько не аскет, напротив, свое настоящее наслаждение жизнью он находит лишь у себя в семье возле своей красавицы жены, ласки которой совершенно вознаграждают его тяжелую, неутомимую работу. Он не только не фанатик, но полагает даже, что все стремления и надежды людей должны прежде всего сообразоваться с окружающими условиями и ни в коем случае им не противоречить. Фанатизм он может ценить, может восторгаться им, но прежде всего он хотел бы видеть возле себя искреннюю убежденность: ее-то нам и недостает прежде всего. Он в сущности счастлив, любимый труд, и любимая жена, и успех—вот условия его счастья, и никакие необычные ожидания не тревожат его трезвую, ясную голову. Он талантливый работник и только.

О Лопухове мы говорили выше и к его характеристике нам остается прибавить очень немногое. С нашей точки зрения он,

*) Любопытно, что псевдонимом Волгин подписывался Добролюбов в „Современнике“ (под стихотворениями).

несомненно, самая несимпатичная личность из всех, нарисованных Чернышевским. Нас невольно отталкивает его рационалистическая бухгалтерия, его отношение к жизни и к женщине, лишенное всякой эстетичности, всякой поэзии. Но надо иметь в виду, что Лопухов прежде всего человек массы, в высшей степени простой, несколько грубо обделанный и без всяких барских затей. Он дорог Чернышевскому, потому что тот знает, как дороги такие люди во всех обстоятельствах жизни: на них можно положиться безусловно. И естественно, что он с особенной любовью отмечает заботы Лопухова о чужом счастье, которое должно быть куплено ценою его собственного. Он даже подсмеивается несколько над Лопуховым, когда тот старается заглушить голос собственного сердца двойной бухгалтерией принципа наибольшей полезности.

Лопухов—рядовой рабочей армии.

Целой головой выше его Кирсанов. Талантливость расширила его геризонт, познакомила его с вдохновением и—что может показаться странным для всех, основательно забывших Чернышевского,—дала ему то, что недоставало прежде всего Лопухову—эстетичность. Он эстетик в самой своей работе, для которой нужна обстановка, он эстетик в своей любви к Вере Павловне, он может весь целиком отдаться своей страсти. Ничего сурового нет в его натуре, напротив, в ней все удивительно нежно, а часто и капризно. Но зато, когда его страсти не против, а за его дело—он работает вдохновенно, с упоением и огромным успехом.

О женских типах Чернышевского надо говорить или очень много, или совсем ничего не говорить. Ограничусь поэтому лишь одним замечанием. Неправы, даже очень неправы те, кто считает Чернышевского хоть на каплю повинным к крайностях и резкостях женского движения. Как раз наоборот: все эти крайности и резкости решительно противоречат тем образцам, которые он дал своим читателям и читательницам: его героини не имеют ничего общего с вечной памятью „нигилистками“ и очень даже не прочь заботиться о своих нарядах, не забывая, разумеется, обо всем прочем. Писарев был десять раз неправ, когда увидел в проповеди Чернышевского какое-то разрушение эстетики. Никакого разрушения эстетики на самом деле не было. Вся суть лишь в том, что для Чернышевского красота никогда не была самодовлеющим началом, так же, как и женская красота. Та и другая должны были служить высшей цели—работе.

Перед нами таким образом различные представители „единой“ и „нераздельной“ жизнерадостной трудовой армии, во главе которой мы видим однако не личность, а более отвлеченное понятие—разум. Ничего особенно эффектного и поразительного нет во всех этих людях, и Чернышевский с особенным удовольствием подчеркивает, что его „герои“--такие же люди, как и все, но только с головой, устроенной получше, и с мыслями, которые у у них не способны расходиться с делом. Вернее, у него совсем нет героев в общепринятом смысле слова, единственная героиня его романов—жизнь, которая за те блага, какие она дает человеку, требует от него работы. А как работать—это уж его дело: носить ли решетом воду, или же, наоборот „пораскинув умом“, сообразить как важна и драгоценна, как, прямо говоря, дорого стоит каждая крупица силы и как выгодно не только использовать ее полностью, но и все более увеличивать ее производительность, призвавши на помощь ей страсти и разум—выбор между этими двумя крайностями предоставлен ему самому. Его герои выбирают второй член дилеммы и благо им: в награду за это им дается полнота земного, человеческого счастья.

Я уже сказал выше, что в общем это простое счастье не заключает в себе ничего героического. Это именно счастье, а не блаженство, в нем нет никакого порыва, и светит оно тихо и ровно. Оно не результат служения идее, самоотвержения во имя ее, оно живет не будущим—хотя и вдохновляется им, а прежде всего настоящим. Просто силам человеческим дан простор, и для них найдено наилучшее и самое плодотворное применение. Остальное приложилось к этому так же естественно, как прикладывается прибыль к капиталу, затраченному на выгодное предприятие.

Но все ли этим сказано, вся ли жизнь исчерпывается таким ее рационалистическим пониманием и просвещенным эгоизмом ее работников? Разве сны Веры Павловны уже осуществились? Разве трудно представить себе такие обстоятельства, когда двойная бухгалтерия Лопухова и слабовольная талантливость Кирсанова окажутся недостаточными? Волгина минутами томит тяжелое предчувствие, что над жизнью вообще, над его личным счастьем в частности, соберутся когда-нибудь черные тучи. К чему же приводится в таком случае идеал личного счастья, хотя бы безуко-

ризненно честно приобретенного, хотя бы даже и общественно полезного, как обусловливающего наибольшую продуктивность работы? Нужны будут другие идеалы и другие стимулы труда, и, понимая это, Чернышевский выдвигает на заднем фоне движущейся картины могучую фигуру Рахметова.

Рахметов—не действующее лицо в романе, или лучше сказать, все его „действие" ограничивается тем, что он говорит с Верой Павловной, с'едает кусок ветчины, выкуривает сигару и ложится спать. Однако, с добавлениями из его прошлой жизни, он сразу же производит впечатление человека, неизмеримо более сильного, чем все его окружающие. Это человек долга, идеи, воля которого настолько сильна, что сумела претворить этот долг в свою вторую натуру. Настоящим Рахметов не живет, он весь в будущем,—в служении народу, к которому и готовится, как к схиме или пострижению. Пока он сам считает себя на положении послушника и лишь закаляет свою душу и тело. Естественно, что он аскет, ест случайно и наскоро, как в походе, спит на доске, утыканной гвоздями, с каким-то наслаждением вырывая из себя все остатки барства. Но это совсем не значит, чтобы он стремился к состоянию полного безразличия. Напротив—он живой человек, который не только понимает, но и любит все радости бытия, но только—они „не для него".

Рахметову нет ни малейшего дела в окружающей его жизни. Оттого-то он и держится в стороне; он готовится. Это герой 70-х годов, которых он и ждет. Тогда на самом деле все идеи долга и самоотречения, дающие ему жизнь, окажутся наиболее подходящими и заражающими.

Чернышевский, мне кажется, поступил превосходно, удалив Рахметова на вторую сцену. Его роман, как исторический документ, исчез бы совершенно, будь Рахмегов впереди. Что бы мы подумали тогда о Лопухове, Кирсанове и т. д? и какую дозу вниманяя могли бы мы уделить их жизни? Очевидно, слишком незначительную и совершенно недостаточную для художественного впечатления. Один Волгин, быть может, не стушевался бы перед этой могучей фигурой, дышащей жизнью, правдой и героизмом и способной одним случайным взглядом подчинять себе людей, но и Волгину пришлось бы почтительно отступить в сторону.

Я так подробно остановился на романе Чернышевского, потому что он—самое яркое и главное, что дала нам специальная, просветительная беллетристика 60-х годов. Его верховный принцип, что жизнь человека может быть устроена лишь при помощи разума и знания, повторяется бесчисленное множество раз. Таким образом в этом отношении ничего нового не дает нам, напр., роман Омулевского (И. В. Федорова) [1] „Шаг за шагом“ („Светлов“). Все равно, как Лопухов наталкивает Веру на путь общественной деятельности, так и Светлов, избавив героиню от ужасной семейной обстановки, помогает ей стать образованной женщиной. Роль интеллигенции огромна, и бодрый, исполненный веры призыв этой интеллигенции на борьбу с мраком жизни во имя поддержания человеческого достоинства, во имя обеспечения счастья всех обездоленных, составляет самое красивое и юное и притягательное, что есть в Светлове.

Еще общей чертой героев литературы, созданной 60-ми годами, является то, что все они (хорошие) непременно общественные деятели и признают, что лишь в общественной деятельности человек может найти в конце-концов свое полное удовлеворение. Конечно, выбор того или другого рода общественной деятельности зависит от их индивидуальности, но она *должна* быть для полноты жизни. И она, эта общественная деятельность, настолько высока и привлекательна, что все узко-личное кажется перед ней ничтожным и мелким. На этой идее построен роман Арнольди „Василиса“, героиня которого—молодая светская дама, недавно раз’ехавшаяся с мужем и проживающая в Ницце, страстно любит молодого русского эмигранта, врача Борисова. Борисов—агитатор, он отдается своему делу со страстью, больше того, с религиозным фанатизмом, и на этой-то почве разыгрывается драма. Василиса требует, чтобы возлюбленный принадлежал ей, и только ей, Борисов, конечно, отказывается, и героиня топится в Женевском озере.

Перехожу теперь к другим крупным явлениям беллетристики 60-х годов, миновать которых мне нельзя, и замечу лишь, что в те дни „крупное“, особенного выдающегося значения, строго говоря, не имело. Передовая литература превосходно дисципли-

---

[1]) 1836—1883.

нированная, не особенно нуждалась в тяжелых осадных орудиях и, очень искусно направляя свои удары все в ту же сторону, действовала, если можно так выразиться, из скорострельных орудий мелкого калибра, осыпая читателя градом беллетристических произведений гг. Бажина, Засодимского и друг.

Н. Г. Помяловский (1835—1863)—дарование очень крупное, но слишком рано погибшее, чтобы иметь возможность высказаться. Сын дьякона с Малой Охты, Помяловский в свое время был отдан в бурсу, где вытерпел все, что только может привести человека к озлоблению. По его собственному приблизительному подсчету, его высекли что-то 400 раз; сколько раз он был наказан иначе—сосчитать, разумеется, невозможно. Особенно тяжело пришлось ему вначале, когда, по установившемуся обычаю, все с каким-то азартом набросились на восьмилетнего новичка. Доставалось от товарищей столько же, сколько от учителей, доставалось в виде побоев, издевательства. Суровое было время и суровая школа! Изобразив ее впоследствии в своих „Очерках бурсы", Помяловский произвел на читателей впечатление прямо потрясающее: по русскому обычаю читатели, разумеется, не знали, что делается у них бок-о-бок. „Пересечен я или недосечен?" философствовал впоследствии Помяловский по поводу своих бурсацких воспоминаний, и какова была эта философия, видно из того, что несчастный сейчас же хватался за водку. Душа болела и ныла, и от этого Помяловский не освободился до конца. По окончании семинарии, он, „проболтавшись" годика два, принялся за литературу. Выступил он в ней с огромным запасом наблюдений, и с тем умственным кругозором, который успел выработать себе настойчивым, хотя и беспорядочным чтением. Жажды знания бурса засечь в нем не могла; кроме того, самая эпоха с своим быстрым кровообращением, своей повышенной жизнью облегчала восприятие идей. Конечно, Помяловский, разночинец и семинарист, примкнул к передовому кругу, представителем которого был „Современник". Идеи Добролюбова и Чернышевского сформировали его, дали смысл и направление тому жгучему протесту, который жил у него в душе, сформировали самый его идеал, который—вполне в духе эпохи—может быть формулирован так:

всякий человек имеет право на счастье. Несчастных нет, есть только несправедливо обиженные, лишенные своей доли радостей несправедливостью и жестокостью ближних. Литература оказалась истинным признанием Помяловского. Исключительно и со страстью занявшись ею, он в течение *двух* только лет написал: „Мещанское счастье“, „Молотов“, „Очерки бурсы“; сделал массу набросков для своего романа „Брат и сестра“. Он умер в 1863 г.

Помяловский—величина очень крупная. Расширю поэтому его характеристику.

Человек пил, страшно пил и умер, собственно говоря, от того, что совсем расстроил свой организм непробудным пьянством. Пил мрачно, без перерыва, желая заглушить в себе вечное беспокойство и тревогу, дикую злобу против сытой и довольной жизни. Пил без жалоб и умер без них, сделавши так мало, несмотря на свои огромные силы, оставив неоконченными, быть может, лучшие, во всяком случае самые глубокие свои работы, как „Гражданский брак“, как „Брат и сестра“—особенно „Брат и сестра“—эту страшную картину петербургской нищеты и петербургских трущоб, где героями должны были явиться отверженные люди. Долго мечтал Помяловский об этом своем романе, набрасывая из него ряд отрывков, мечтал с злорадством каким-то, говоря: „вот уже я выставлю эти картинки напоказ нашему обществу—пусть полюбуется“.

Тут на первом плане должна быть правда, жестокая и обидная для общества, которое создает этих отверженных и, сдавших их куда-нибудь в Вяземскую лавру или на Горячее поле, успокаивается и не хочет знать несчастных, а хочет лишь того, чтобы они не показывались ему на глаза, выползали бы из своих трущоб лишь в темноте, пробирались бы как-нибудь по улицам вдоль стен, таились бы вообще и прятались и никак не смели бы нарушать гармонии довольного и сытого миросозерцания. Потому что они погибшие, потому что больше с ними нечего делать. И, пожалуй, погибшими считал их и сам Помяловский, но в этой же же гибели видел он великую обиду для человека и человеческого достоинства и хотел он раскрыть все муки и тоску этой гибели, хотел отомстить за нее своей „правдой“—бросить ее неприкра-

шенную и грубую в лицо довольным и сытым, чтобы „полюбовались“, бросить, как лермонтовский новогодний стих, облитый горечью и злостью. „Вы не смеете быть довольными, потому что тут рядом *человек* гибнет“—вот что хотел он сказать прежде всего.

Он много ходил по трущобам, жил в них целыми неделями, изучал их. изучал не со стороны, не с высоты величия прославленного молодого беллетриста, которого редакции рвали на части, от которого, и совсем основательно, такие люди как Некрасов, Чернышевский и Писарев, особенно Писарев, ждали так много,—изучал с тоскующим и мучительным любопытством, потому что и сам в себе чувствовал отверженного, потому что и сам, как и все, кто был возле него в этих трущобах, страдал от той же обиды, от той же неотомщенной своей гибели и шел ей навстречу. Ему надо было сказать правду о них, досказать то недосказанное, что таилось у них на душе, проклятие их и слезы их надо было выразить и так, чтобы затрепетали сердца людей, чтобы задрожали они от ужаса, от этих смрадных картин нищеты, от этих ее оголенных язв, от промозглых трущоб, где таится она. Ведь эти трущобы—кладбище, и тут похоронены неудачные порывы талантливых натур, робкие мечты о счастье, надломленные непосильным трудом силы, загубленные жестокой и холодной жизнью души людей,—эти все же святые души, несмотря на всю грязь, все унижение, в какое попали они. Грустные, скорбные тени маленьких детей, погибших от холода и голода, таинственные и печальные, с невысказанной бессильной жалобой на крошечных личиках, с предсмертным недоумением в этих правдивых, хороших глазках;—тени всех, кто хотел счастья, самого маленького, законного человеческого счастья, но не сумел решить мудреной задачи жизни и мог лишь неслышно спрашивать: за что?—реют над этими трущобами. И Помяловский хотел был мстителем за них.

Сколько, на самом деле, непримиримой, здоровой и возрастающей злобы было в нем все равно, как в самой жизни было много такого, о чем не мог он вспомнить без содрогания и ужаса, без жажды мести.

„Желчными, глубоко рвущими сердце страданиями выражалось его опьянение, так что, глядя на эти муки, и жалко, и страшно становилось за него. Бывало начнет он, будто нарочно, предста-

влять перед собою неприятные для него личности и припоминает все зло, какое нанесли они ему. С дьявольским наслаждением он разбил эти призраки, призывал на них всевозможные проклятия, силился верить, что они рано или поздно будут отомщены... —„Проклятые!—шепчет он бывало задыхаясь от злости.—Как я вас ненавижу! о, как страшно я вас ненавижу! Вы отравили всю жизнь мою, вы разбили лучшие мои надежды!“—И не плачет он: выражение лица сдержанное, тяжело спокойное, а у самого слезы так и льются... В эти минуты с трудом можно было удержать его от скандала; он готов был сейчас же бежать и мстить... Тяжело было глядеть на эти страдания, на эти холодные, нелегко выдавливаемые слезы“... (Н. Благовещенский).

В глубине души этого могучего и большого человека таилась любовь и жгучая жалость к людям, но на поверхности была злоба и жажда мести. Обида жила в сердце и рвалась наружу, обида за этих погибших и за себя, надломленного, истерзанного и загубленного жизнью и прежде всего бурсой, куда он попал семилетним чистым мальчиком, а вышел мрачным, озлобленным и тоскующим кандидатом в духовное звание. Это звание было, конечно, не по нем, и зачем же в таком случае целых 14 лет бестолковой долбни и всей той мерзости, которая так хорошо знакома нам даже из его отрывочных, в сущности, только начатых „Очерков бурсы“... Ведь помните, на самом деле, эти картины „зимнего вечера“, этих странных, жестоких игр, этого бесконечного зубрежа, этого вечно напряженного состояния от голода и холода, от ожидания порки, этих жестоких кровавых расправ со стороны полупьяных, озлобленных и тоже обиженных учителей,—всей этой промозглой атмосферы, перед которой, по мнению Писарева, бледнеют даже ужасы „Мертвого дома“, и вы поймете, откуда эта злоба, откуда эта жажда мести. Не совсем погиб здесь Помяловский; слишком много силы было заложено в него; долбня не уничтожила в нем страсти к учению; розгами не забили его таланта—но здесь привилась к нему та скверная и мрачная болезнь, от которой погиб он в конце-концов. И бурсе своей он отомстил, навеки пригвоздив ее к позорному столбу, расшатав те гнилые столбы, на которых она еще держалась в то время. Он рассказал о ней правду, только правду он вспомнил, описывая ее, весь ее странный воровской язык, ее противоестественные

воровские нравы, ее жестокость, нищету, ее смрад; он нарисовал страшную картину гибели чистой детской души; он показал нам во всем её ужасе школу, где учителя и ученики самые жестокие и непримиримые враги друг друга, он проклял ее, и в этом проклятии было его торжество. Он отомстил, и вся жестокость нанесенной ему обиды нашла здесь, в этих удивительных, полных сдержанного, великого добролюбовского гнева, очерках, свое искупление.

Но он хотел большего. Хотел мести и за жертвы гибнущих и погибших уже в трущобах больших городов. Хотел мести путем все той же „правды". И, заметьте, не к жалости взывал он—о нет!—он был для этого слишком горд и озлоблен и понимал, что не жалостью можно исцелить эти гнойные язвы общественной жизни,—и не к состраданию, а к чувству чести, к чувству достоинства, к стыду людей, допускающих все это рядом с собой.... Он хотел бы видеть испуганные „правдой" глаза читателя, видеть, как он, ошеломленный, растерявшийся начинает бормотать о „преувеличении", о вреде натуралистического направления нашей литературы" и прочих глупостях, и злорадно рассмеяться ему в лицо; рассыпаться дьявольским смехом гибнущего человека и мучить правдой его дольше, мучить без конца, терзая душу картинами чердаков и подвалов, этими грозными картинами нищеты; мучить эту сытость, это самодовольство, которые сам Помяловский, конечно, ненавидел всего больше на свете.

И этого страшного дьявольского эффекта, так вдохновлявшего его при первых мазках „Брата и сестры"—романа, бледное отражение которого мы имеем в „Петербургских трущобах". Всев. Крестовского, в столичных очерках Левитова, в набросках Новодворского или Кущевского—он хотел, говорю я, добиться правдой. В правду он верил, ей он хотел служить.

В этой вере, в этом служении, в смелости, с какой она высказывалась, в ея безбрежии вы видите отражение мощного духа эпохи. Тогда действительно люди хотели знать жизнь, как она есть со всеми ее ужасами, срывали все сто ризок с нас возвышающих обманов, со всего, что может успокоить и убаюкать нашу совесть и воображение и заставить нас сказать со вздохом удовлетворенности: ах, как хорошо!... Нет—не хорошо. Скучно, когда хорошо, а вообще... как страшно и больно жить! Почему

страшно и больно? Потому что загрязнена, унижена и оскорблена самая святыня жизни—человек. И надо показать всю глубину, всю мерзость этой грязи, этого унижения и этой обиды. Надо и не страшно сделать это, потому что чувствуется кругом, в только что обновленном великими реформами обществе, рост могучих сил, готовых на борьбу и достойных побед.

Бесстрашие правды—самое красивое, самое светлое, что осталось нам от литературной эпохи 60-х годов. Были кумиры, но не было идолов. Была жалость, но не было сантиментальности, рядом с любовью была злоба. Не боялись говорить полную, грубую правду даже о мужике.

Того же—и я думаю, что этого прежде всего—хотел и Помяловский. Во имя чего? Во имя жгучей жалости к людям, боли за их неотомщенные и невидные, и как-то пренебрежительно забываемые обиды, во имя святая святых жизни—человеческого достоинства. Это не был натурализм, не был протокол себе довлеющий, не было „констатирование фактов", менее всего—рисование с натуры—это, как все в ту эпоху, было пропагандой, проповедью, было призывом к работе, для успешности которой надо знать всю правду, как она есть. Это было в то же время криком боли и мести обиженного человека, в основе своей такого прямого, честного и даже простодушного *).

---

*) То же бесстрашие правды по отношению к тем идеям времени, которые многим казались самыми передовыми, а значит по убогой логике наших интеллигентов и самыми несомненными—видно и из замысла его романа „Гражданский брак". Здесь он намеревался изобразить невинную, несколько экзальтированную, девушку, попавшую в общество пустопорожних прогрессистов, в роде Ситниковых и Кукшиных. „Эти господа отуманили ее напыщенными фразами и соблазнили ее вступить в, так наз., гражданский брак, что будто бы было нужно для служения идее" (П. Благовещенский).

Помяловский хотел сорвать маску с этих самозванцев передового движения и обнажить весь их цинизм, прикрытый громкими фразами. „На нас клевещут,—говорил он,—и наша честь требует, чтобы с молодого поколения сняли то пятно, которое кладут на него эти лица. Всякая сила вызывает непременно множество бездарных подражателей, однако по этим бездарностям общество судит об оригиналах и приобретает недоверчивость к ним. Надо доказать, что они—не наши, что наши стремления не те. Трудна эта задача, но я возьмусь за нее, потому что это—дело нашей чести".

Нечего напоминать читателю, что часто даже большие люди робко отступали перед „несомненнейшими", и „прогрессивнейшими" идеями времени, хотя и

Но в Помяловском, конечно, нисколько не было ненависти против культуры. В этом он верный сын 60-х годов, чистый западник, который в формах европейского общежития видел нечто заманчивое и обеспечивающее достоинство и счастье человека. Он раздражался лишь тем, что блага культуры были распределены так неравномерно, с таким очевидным капризом и несправедливостью. Права же человека на личное счастье он так же мало думал отрицать, как и самую культуру; страдание он так же мало проповедывал, как и опрощение. Совершенно в духе времени написаны им два романа „Молотов“ и „Мещанское счастье“, героем которых является голодный разночинец.

Тут замечательно все, начиная от первой строки до последней— замечателен и серый будничный колорит рассказа, и видимая удовлетворенность автора своим героем, и его внутренняя неудовлетворенность „мещанским счастьем“, которому однако он хочет любовно сочувствовать. Молотов—как все герои эпохи—разночинец, темного происхождения, и в то же время новый человек. Воспитанный из милости стариком-профессором, Молотов вступает в жизнь одиноким и беспомощным и лишь мало-по-малу, кропотливым, усердным трудом обеспечивает себе достаток и личное счастье. В том, что он должен во что бы то ни стало добиться этого личного счастья, что он, как человек, имеет на него полное неот’емлемое право—Молотов нисколько не сомневается. Это его мещанская логика, которой он пропитался до мозга костей.

Что же такое Молотов? Надо отдать полную справедливость энергии и настойчивости его характера, грубой и подчас прямо жестокой искренности его натуры, несколько зачерствевшей в своем духовном одиночестве. В нем есть что-то цельное и сильное, правда, угловатое и, пожалуй, неуклюжее, но во всяком случае ложь и даже подобие лжи далеки от него. Человек массы, самый обыкновенный, средний человек толпы, он ни разу однако не думает склониться перед обстоятельствами, не боится мелкого, кропотливого труда. Он пришел в жизнь, как завоеватель, и не сумел обойтись без жертв. Совесть его спокойна до конца, и самым характерным для него было то обстоятельство, что он ни

чувствовали их ложь или напыщенность. Для шага, на который хотел рискнуть Помяловский, действительно нужно было его бесстрашие правды и вся дерзость его молодой, искренней мысли.

разу не спросил себя: да законен ли мой идеал личного счастья, да стоит ли он действительно тех жертв и усилий, какие я приношу ему, и прав ли я, отождествляя понятие счастья с домашним благополучием? Помяловский, повидимому, все время на стороне своего героя: он разделяет его негодование на Обросимовых, находит совершенно естественным поступок с Леночкой, в концеконцов награждает Молотова любовью такой серьезной и милой девушки, как Надя Дорогова, и „исполнением всех желаний“; но спросите себя, точно ли художник Помяловский, эта крупная черноземная и, увы, недоразвившаяся творческая сила русской литературы, считает „счастьем“ мещанское счастье своего героя и не сочувствует ли он ему скорее из принципа, чем по влечению? Конечно, только из принципа. Будь Помяловский удовлетворен сам, он не закончил бы роман странным восклицанием: „эх, что-то скучно жить на свете, господа“,—восклицанием, так не подходящим к победному тону последней страницы:—он не вывел бы на сцену и Череванова с его мрачной, кладбищенской философией, давным-давно махнувшего рукой на молотовские кумиры, — философией, от которой пахнет тленом, смертью и разложением. Мне кажется, что в этом, т.-е. в признании законности и необходимости для каждого личного счастья, с одной стороны, в сознании невозможности найти удовлетворение в личном счастье и, пожалуй, некоторой его незаконности, раз человек хотя немного выше толпы и ее пошлого самодовольства — с другой, и заключается любопытная черта миросозерцания 60-х годов.

С точки зрения господствующего настроения Помяловского, „Молотов“ и „Мещанское счастье“ — пожалуй, ошибка. Не для него это сытое довольство, этот покой, заработанный годами канцелярской барщины, этот тихий семейный очаг, расположившийся по близости трущоб Вяземской лавры. Это лишь временный мир усталой души, волна бодрости, оживившей измученного человека, волна, которая роковым образом должна отхлынуть, чтобы очитить место мрачным картинам бурсы и „Брата и сестры“. Но хорошо в то же время любовное отношение к человеческому счастью, даже тусклому и серенькому, потому что для Помяловского всякий человек был святыней.

Обиду и горечь, минуты радости и годы тоски и томления, жгучую жалость к людям и жажду мести за них знал он в своей

короткой двадцати-восьмилетней жизни. В могилу он унес с собой огромную недоразвившуюся силу и тайну своего правдивого честного творчества. Я рад, что напомнил хотя бы в самых общих чертах образ его, рад я, и грустно мне в то же время, потому что не веселое, а тяжелое пришлось напомнить мне—загубленную жизнь, загубленную силу. Силу большую, но не сознавшую себя во всей полноте. Что-то роковое, стихийное, и дай бог, чтобы навсегда прошедшее, есть в судьбе Помяловского, и прежде всего эта жажда самосожжения, которая роднит его жизнь с жизнью стольких и стольких хороших и талантливых русских людей, ни капли себя не жалевших, ни пальцем не ударивших, чтобы пристроиться как-нибудь и утихомирить свою тревожную душу. Не для них это все. Не для них, так как ежедневно и ежеминутно видели они, как самое для них дорогое, как великий их идеал топчется в грязь, и все питало обиду их сердца. Они хотели, и это прежде и больше всего хотели, чтобы жизнь хранила и лелеяла святыню человека, чтобы давала ему все нужное для развития его сил и способностей, чтобы гордый и счастливый, полный здоровой любви к ближнему, бодрой веры в себя и свои мечты, шел он по житейской дороге, а не тащился по ней усталый и измученный, с ярмом на шее, мимо трупов уже уставших товарищей. И они думали, что так оно должно быть.

А. И. Левитов (1842 — 1877). После сказанного о Помяловском,—о Левитове достаточно несколько слов. Тот же тип, то же настроение, почти та же самая жизнь, сначала в доме бедного сельского священника, потом в бурсе и семинарии, наконец (после ссылки в Шенкурск и Вологду за какую-то нераз'ясненную хорошенько историю) — занятие литературой, скитальчество и оброщенность. Но Помяловского побаловали еще литературные успехи, которых Левитов видел очень мало; побаловала еще Помяловского и ранняя смерть среди неостывшего еще общества, среди смелых надежд и нерастерянных упований. Левитов выступил на сцену позже и увидел вокруг себя лишь разрушенную храмину. Оттого краски его еще мутнее, отношение к жизни граничит с полной безнадежностью, сочащаяся кровью рана в обиженном сердце не затягивается ни на минуту. Он, изверившийся во всем, только ры-

дает, и это рыдание, этот стон то и дело слышны в его рассказах. Он описывает деревенскую нищету, невежество, семейные раздоры, обманутые ожидания, жизнь босяков и потерянных людей, единственным утешением которых служит водка. Но в начале литературной карьеры („Степные очерки“ и т. д.) эти картины темного царства чередуются с другими, из жизни привольных степей, из собственных детских лет. Потом колорит все более сгущается. Мрак безнадежности закрывает перед глазами автора („Горе сел и деревень“) всю жизнь. Перед вами талантливый горемыка, затерявшийся среди улиц большого города, среди его шума и треска, не знающий куда преклонить свою голову. То злоба, то отчаяние, то постыдное сознание полного своего бессилия чередуются у него на душе, и—говорю я—он плачет. Но сквозь слезы слышится смех, конечно, злобный и сардонический, нисколько не облегчающий душу. Это прощание со всеми надеждами и мечтами, еще оставшимися где-то в тайниках души, это насмешка над собой, своей минувшей юностью, насмешка над жизнью, приманивающей к себе человека обманчивыми грезами. Насмешка и прощение — потому что кругом тьма и гибель. Левитова зовут обыкновенно „южным степным цветком, затерявшимся в холодных пустынях севера“. Это красиво и, пожалуй, верно. Его богатое, цветистое и прихотливое воображение, неумолкающий лиризм—говорят о его горячей крови, о его страстных чувствах. Но больше всего в нем жалости к погибшим и погибающим, жалость к этим бесчисленным жертвам обыденной жизни—скитальцам, одиноким, горемыкам, проституткам, жалости к себе и злобы против всех, кто еще находит время и возможность быть довольным собой, или достаточно жестокости, чтобы толкать погибающего.

А. Л. Шеллер (1838—1900). Дебютировал в „Современнике“ двумя большими романами „Гнилые болота“ (1864) и „Жизнь Щупова“ (1865), затем сотрудничал в „Русском Слове“, редактировал „Дело“, „Неделю“ и „Живописное Обозрение“. Из его многочисленных романов назову: „Лес рубят—щепки летят“, „В разброд“, „Гг. Обносковы“, „Старые гнезда“, „Хлеба и зрелищ“, „Ртищев“ и т. п. Кроме романов, он написал много публицистических работ, например: „Пролетариат во Франции“, „Ассоциации

во Франции, Германии и Англии", „Наши дети" и проч. Он был истинным сыном 60-х годов, учеником Писарева, публицистом в романах, апологетом интеллигенции, человеком, верующим в великую и даже безусловную силу разума, который призван решить все социальные противоречия и устроить счастливую жизнь здесь на земле (по программе фаланстеров). С особенной любовью Шеллер прослеживает процесс выработки критического взгляда на действительную жизнь. Сын лакея („Гнилые болота"), сын помещика („Жизнь Щупова"), сын дворянина и т. д. в конце-концов выбиваются из состояния бессознательного к твердому преследованию идеалов. Они стоят за всех угнетенных и обиженных; их практическая деятельность сводится к занятиям наукой, открытию школ и вообще всякого рода культурной работе"—к „маленьким делам" вообще по рационалистической, писаревской программе 60-х годов.

„Талант его не был крупный, но произведения его получали свое значение от того нравственного содержания, какое он вносил в свои труды. Он воспитался на той эпохе начала шестидесятых годов, которая одушевила русское общество перспективою преобразований, надеждами на лучшее будущее в умственной и общественной жизни, и люди молодого поколения, с какими-нибудь задатками идеализма, жадно устремлялись к этому будущему,—не воображая, конечно, какие тяжкие испытания ожидали их уже вскоре. Шеллер был из числа тех, которые сохранили на всю жизнь лучшие порывы молодости; это сказалось в его многочисленных романах и сообщало им живой интерес, несмотря на художественные недостатки". Он не заблуждался,—как заблуждается множество второстепенных писателей,—о художественной цене своих произведений и справедливо говорил: „мои произведения будут дороги тем людям, кому дороги идеи и мысли, сильно выраженные, о нашей жизни... Писатель всегда силен идеями, а не картинами... Что и за картина, если в ней нет содержания, что и за образ, если он ничего не говорит русскому обществу?"

Тот же недостаток художественности исполнения и горячую преданность идеям всегда отмечала в Шеллере и критика, напр.:

„Пусть в его сборниках нет таких женщин, пленительных, благоуханных, как у Тургенева, нет той щемящей сердце психологии, как у Достоевского, нет глубокого реализма, как у Толстого. Может быть, Михайлов не владеет тайной художественного внушения, какою владеют даже молодые наши корифеи. Но у Михайлова есть великий дар внушения нравственного, способность волновать сердце не красотою, а совестью своего таланта. Секрет этого таланта в том, что у него есть, что сказать, и за это существенное читатель охотно прощает ему некоторую бледность стиля и разные конструктивные недочеты. Вся сила Михайлова—в благородном отношении к жизни, которым он особенно заражает молодежь. Вспоминая свою юность, я всем друзьям рекомендую Михайлова, как

писателя-идеалиста, как лучшего друга для вступающего в мир молодого поколения. Оссбенно дорог он для тех средних слоев, которые томятся среди гнилых болот жизни или бредут вразброд засоренными дорогами, добиваясь деятельности достойной и светлой „Жизни Шупова“.

Шеллер до конца своих дней оставался преданным представителем идей 60-х годов, горячо защищал их даже в форме увлечений:

„Я понимаю свободу и счастье человека в зависимости от того или другого политического порядка вещей, от степени образования в стране, но ничего не понимаю в „метафизической свободе“. Если говорят о внутренней свободе человека при любом порядке вещей, то... разве этим и кончается все? Ведь этой внутренней свободой нельзя же самого себя тешить! С нею связаны дела и поступки, то-есть нужды времени, опять-таки не вечные, а настоящие... Таков склад моего ума. Я всегда был врагом фразерства. Пока русский народ будет без сапог,—ему не до Шекспира и Пушкина. Я достаточно понимаю Пушкина, и когда я расстроен, то ничто так не успокаивает мои нервы, как чтение в сотый раз того же Пушкина. Но если до крестьянских школ доходят только сказки Пушкина, и только один старый кабак реформируется в казенную винную лавку, а больше ничего из реформ не попадает в деревню, то Пушкин и Шекспир будут ему чужды. „Сейте рожь, а васильки сами вырастут“... При таком понимании эта мысль о ржи ничего не содержит в себе пошлого и материалистического. Разные нынешние учителя проповедуют „метафизический идеализм“ против ржи и каши... Они думают, что утилитаризм есть предпочтение сапогов Шекспиру; они думают, что Писарев не понимал превосходства Шекспира. Ошибаются. Писарев лучше их понимал и Пушкина, и Шекспира. А только, пока русский народ будет без сапог, не читать ему ни Шекспира, ни Пушкина. Вот о чем надо заботиться. Никто из шестидесятников не опровергал идеализм, то-есть стремление к тому, чтобы прежде самому быть лучше, а потом уже и строй изменится... Но мы понимали, что он изменится не иначе, как если мы будем сеять хлеб, а васильки сами народятся“.

Шеллер высоко ставил предание „шестидесятых годов“; он не скрывал от себя их недостатков, но горячо защищал их общий характер и направление, и с негодованием восставал против тех, кто отрицал их значение. *„Я вообще за руководительство народа интеллигенцией со всеми переходными фазами, а народ мы даже мало знаем в политическом значении...“*

В сущности все это упрощенные взгляды Писарева.

Беллетристы народники.

60-е годы не боялись правды, какою бы она ни была. Напротив, ее-то прежде всего они искали, ее-то и требовали. В них была органическая ненависть, было и органическое отвращение ко всякой лжи, всякому обману, хотя бы и „нас возвышающему“. В свое „представление“ о жизни они не хотели допускать никаких самообольщений. Оттого-то они производят несколько грубоватое, прямо ненавистное разного рода эстетикам, впечатление. Правда без всяких иллюзий, без всякой идеализации была их девизом, и, естественно, им не нравилось изображение мужика в нашей старо-барской литературе. Они находили его прикрашенным и не без основания спрашивали: откуда бы могло явиться столько доблести и всяческих добродетелей в сердцах людей, выросших под розгой крепостного права? Такой способ изображения мужика Чернышевский резко называл барским самоуслаждением и сантиментальным чесанием пяток.

Н. В. Успенский (1837—1889). Опровержением „мужика“ барской литературы являются рассказы из народного быта Н. В. Успенского. С первого же своего появления в „Современнике“ (1857 г.) эти рассказы обратили на себя общее внимание. Автора засыпали похвалами, и на то были *серьезные* причины, а не просто новый тон, который Успенский взял в отношении к мужику. Эти серьезные причины превосходно выяснил Н. Г. Чернышевский в своей статье „Не начало ли перемены“? (1861), посвященной как раз сборнику рассказов Н. В. Успенского.

„Давным-давно,—писал Чернышевский,—критика стала замечать, что в повестях и очерках из народного быта и характеры, и обычаи, и понятия (народа) *сильно идеализируются*. Стало быть, нам нечего и доказывать это, когда всем оно известно. Мы лучше поищем причин, по которым не мог отстать от идеализирования народа никто из прежних наших беллетристов, несмотря на советы критики. По нашему мнению, источник непобедимого влечения к прикрашиванию народных нравов и понятий был и похвален и чрезвычайно печален. Замечали ли вы, какую разницу в суждениях о человеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение о том, можно или нельзя выбиться этому человеку из тяжелого положения, внушающего вам сострадание к нему? Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди и т. д.

Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках—пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть панегириком ему,—говорить о нем в ином тоне было бы вам совестно“.

По мнению Чернышевского, идеализация мужика была необходимостью для барской литературы 40-х годов, когда положение мужика представлялось безвыходным. Но *теперь* выход найден. Нужна, следовательно, правда и только правда о народе, которая помогла бы вывести его на настоящую дорогу. К чему, — спрашивает Чернышевский,—вела идеализация? И отвечает:

„...Читайте повести из народного быта гг. Григоровича и Тургенева со всеми их подражателями—все это насквозь пропитано запахом „шинели“ Акакия Акакиевича.

„Прекрасно и благородно,—в особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза из этого—народу? Для нас польза действительно была и очень большая. Какое чистое и вкусное наслаждение получали мы от сострадательных впечатлений, сладко щекотавших нашу мысль ощущением нашей способности трогаться, умиляться, сострадать несчастию, проливать над ним слезу, достойную самого Манилова. Мы становились добрее и лучше,—нет, это еще очень сомнительно, становились ли мы добрее и лучше,—но мы чувствовали себя очень добрыми и хорошими. Это очень большая приятность, ее можно сравнить только с тем удовольствием, какое получал покойный муж Коробочки от чесания пяток“...

Словом идеализация—это барский самообман, самообольщение. И опять отмечаю факт, как в этом вопросе о мужике столкнулись две культуры, два общественных слоя. Сколько злой иронии в словах Чернышевского и с каким очевидным удовольствием сводит он всю идеализацию к самоуслаждению, к сантиментализму. Правду он увидел в рассказах Успенского. Была ли она там? Я знаю, как трудно ответить на этот вопрос. Имя Н. В. Успенского далеко не пользуется популярностью. Слава его расцвела так же быстро, как и упала. Дело в том, что требование правды, и только правды продержалось очень недолго. Скоро и, пожалуй, слишком скоро опять понадобилась идеализация мужика, потому что его быт и устои его жизни интеллигенция клала во главу угла здания будущей счастливой жизни. Понадобилось ипостазирование крестьянства, по крайней мере — самое строгое и любовное отношение к нему. Этого-то у Успенского не было: он лишь знал народ и ничего больше. Поднявшаяся волна народничества смыла его, его рассказы и его славу. Они стали казаться мелкими,

анекдотичными, а главное, легкомысленными. В них не было проповеди, не было требования служить народу, не было любви. Они никуда не звали. Очень богатые по части подробностей, особенно бытовых, зачастую яркие, всегда занимательные, они не затрагивали сердца. Больше того: они шли против быстро распространявшейся веры, что интеллигенция опору своим стремлениям найдет в народе. Напротив того, мужик Успенского был груб, невежествен и прямо-таки непрезентабелен. У него мало что можно было найти. За эту-то вот „правду" интеллигенция и не взлюбила Н. В. Успенского.

Ф. М. Решетников. (1841—1871). Совершенно по той же причине быстро сошел со сцены и Ф. М. Решетников. Он—сын дьячка, родился в Екатеринбурге, вынес в своем детстве столько, сколько, по его собственному выражению, не дай боже вынести „беспризорной собаке". От пеленок до могилы ближайшим его спутником были нищета с ее свитой: унижением, побоями, шатанием с места на место, ожесточенностью и, наконец, пьянством. А сердце у него было хорошее, честное, обиженное только жизнью, но не запачканное ею. Добравшись в 1863 году какими-то путями до Петербурга, он в 1864 году напечатал в „Современнике" свои „Подлиповцы" и потом весь отдался литературе. Лучшими его произведениями считаются: „Между людьми", „Глумовы", „Где лучше", „Свой хлеб". Считать его фотографом действительности нет никакого основания: в писания свои Решетников вкладывал всю свою душу, бесконечная жалость к народу видна за грубой их оболочкой. „Я задумал описать бурлацкую жизнь с целью хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам",—говорил он в письме к Некрасову, посылая ему „Подлиповцев".

У Решетникова, в его произведениях, гораздо более сердца, жалости, чем у Н. Успенского. Он любовно следит за похождениями своих героев, за их напряженными исканиями того уголка в жизни, где рабочему люду действительно лучше.

Несомненно, что для Решетникова, которой вышел не только из народа, а из самых низших его слоев, то-есть самых обездоленных, это счастье представлялось особенно дорогим, и забота

о нем является главной руководительницей его вдохновения. И это уже без всяких уступок, без всяких уклонений в сторону; вот почему его рассказы, несмотря на полное отсутствие „прикрас“, несмотря на свою топорность, производят такое потрясающее впечатление. Это голос самой стихии, это не писательство, а работа рудокопа, откапывающего своих засыпанных товарищей, чьи стоны он слышит из-под земли. Решетникова ничем соблазнить нельзя, он прирос к своему делу, к своим Подлиповцам и Глумовым, знает, что они задыхаются, потому что и сам всю жизнь задыхался, — и на все прекрасные слова, на все благороднейшие бездеятельные чувства, на все указания благодеяния культуры и завоевание прогресса он ответит своим презрительным: „Эх, ты, цивилизация парикмахерская“. В этой неуступчивости и прямолинейности—его сила.

Можно жалеть бедных тружеников и желать им всякого счастья, как жалели и желали наши славянофилы и почти все люди сороковых годов; но можно и жить этим, сделать из этого свою религию, наполнить им все свое существо, все свои помыслы, стать фанатиком, и вот тогда-то всякое ваше простое слово и неуклюжая речь приобретут особенное грозное значение. И оно есть, конечно, в том суровом приговоре „парикмахерской цивилизации“, в этом вопле против красоты или; вернее, красивости, заставляющей человека забывать о настоящем деле. В этом случае в творчестве Решетникова было много мрачного и даже озлобленного, несмотря на мягкость и детскую наивность его характера.

Надломленная с детства жизнь Решетникова протянулась недолго: он умер 5-го сентября 1871 года, 30-ти лет с небольшим. Смысл его биографии для его произведений, конечно, тот, что Решетников сам на своих плечах вынес всю тяготу народной жизни и, говоря о страданиях бедных тружеников, не только *о них плакал*, но плакал *с ними.*

Перехожу к его сочинениям. Конечно, об их форме, их технике я не скажу ни слова: Решетников рубил топором—это ясно для каждого, знакомого хотя бы с двумя написанными им страницами. И вообще какие эстетические требования можно пред'являть к человеку, вопиявшему против красоты, отворачивавшемуся от всяких прикрас, пожалуй, с тем же чувством, с каким раскольник от табачного дыма (т.-е. с фанатизмом даже), и для которого

польза людей, служение им были своеобразной, но всеодухотворяющей религией? Но если вместо требований красоты, изящества мы пред'явим Решетникову требования характерности (чего эстетика нисколько не чуждается), то наша оценка выйдет совсем другая, и Решетникову придется отвести едва ли не одно из первых мест в нашей литературе. На самом деле до него никто так глубоко не заглядывал в народный быт и не рисовал его такими резкими, простыми и небрежными на первый взгляд штрихами, как он. Главное, что простыми и резкими, которые вот сразу всей картине или всей фигуре лица придают совсем особенное, только ей свойственное выражение, а без них это было бы что-то дюжинное, шаблонное. И, благодаря этим-то чертам и черточкам, вы сразу видите, какой эпохе, какому месту, какому человеку принадлежит такая-то страница. Ведь ясно, напр., что беллетрист 40-х годов, т.-е. беллетрист старобарской культуры, ни за что не посмел бы изобразить глубину любви Сысойки к Апроське тем, что Сысойка у ней мертвой хочет откусить нос или что начинает драться с ее отцом, потому что тот торопится закопать ее. Тот же беллетрист ни в каком бы случае не решился бы втиснуть целую жизненную драму в две строчки. А Решетников это делал постоянно. Из любой почти страницы Решетникова опытный беллетрист легко может составить повесть. Но Решетников точно торопился и разбрасывал пригоршнями свои драгоценные наблюдения, нисколько не заботясь о том, чтобы облегчить для читателя труд их понимания. Он как будто говорит угрюмо: „сами разберетесь, коли хотите“, и как опять в этом он (как и лицом своим) похож на свою суровую северную природу, которая так скупа на все, привлекающее к себе человека, ласкающее, и которая требует от него труда, терпения, выносливости, чтобы открыть пред ним крошечную частичку своих богатств. Надо долго пробродить по тайге, пробираясь сквозь частый переплет мириад ветвей и деревьев, сидящих друг от друга в таком же расстоянии, как пальцы на руке, чтобы оценить ее своеобразную прелесть; надо в течение нескольких дней, а еще лучше недель „прилежаться“ к своей юрте, чтобы понять красоту бесконечной тундры. Так и сочинения Решетникова (особенно самые ценные: „Глумовы“ и „Где лучше?“) требуют значительного предварительного искуса, чтобы раскрыть свою историческую идею, составляющую их душу.

А в них — в этих сочинениях — не только захвачен, но даже выражен один из самых важных моментов нашего недавнего прошлого. Все они относятся как раз или к кануну освобождения, или к первым дням после него, т.-е. к 59—62 годам прошлого века. Прошлое, т.-е. крепостное право собственно, захвачено Решетниковым только описательно. Его интересует самый момент, когда засидевшаяся в одной из самых скудных и унылых окраин Русь снялась с своего места и пошла бродить, куда глаза глядят, в поисках за такими местами, „где лучше", где рабочему человеку можно жить. Очевидно, ей предстояло долгое и трудное странствование. С чем же, с какими данными, какими силами и запасами вышла она в дорогу, какая сила стихийно и неотразимо толкала ее вперед шаг за шагом, довела подлиповцев из Чердынского края до Нижнего, потом до Москвы и до Петербурга, что нашли они здесь? Перед вами, конечно, люди, выращенные предыдущей эпохой, когда крепостная Русь неподвижно сидела на месте, люди почти что дикие, но в них во всех есть новая черта какой-то странной, наивной предприимчивости, которая, очевидно, явилась в них под живительным влиянием освобождения. Им опротивело, очертело прежнее место, где изводили человека работой и наказаниями, где всякая мелкая сошка, в роде приказчика, играла роль самодержца (один из приказчиков Решетникова до такой степени проникся своим самодержавием, что имел даже привычку в день своих именин облегчать участь всех пострадавших по его претензиям!), где завтрашний день обещал лишь точное повторение скверного сегодня, где все, созданное годами труда, умом или талантом, пропадало, как от пожара, от малейшей прихоти властителей. Но вот двери тюрьмы раскрылись, и огромные толпы заключенных, грязных и оборванных, приученных лишь к безропотному смирению, как бы даже свыкшихся уже со стенами острога и решетками камер, — вышли в безпорядке, толкая и давя друг друга, на вольный божий свет и сейчас же разлились в разные стороны, как вода в половодье. Все было ново для них, все поражало своей необычностью, и они, растерянные от массы нахлынувших впечатлений, брели шаг за шагом, все вперед и вперед, подталкиваемые смутным и радостным сознанием, что руки и ноги у них без кандалов. Эта-то первая минута воли, когда человек пошатывался, как пьяный, от непри-

вычного свежего воздуха, зная, что ни право, ни лево, ни вперед ему не заказаны, эта-то первая волна новой бродячей Руси, вдруг переполнившая города, дороги, всякие вяземские лавры и катакомбы,—удивительно изображены Решетниковым. Точно сцены из великого переселения народов, без битв на Калках или Каталаунских полях, но, пожалуй, с неменьшим числом жертв, не вынесших тяжести пути и умерших где-то в придорожной канаве, как Пила и Сысойка, или действительно добравшиеся до Рима,— следуют одна за другой с поражающей отчетливостью. Шли, куда глаза глядят, эти люди, способные заблудиться между трех сосен, или потому, что дома за ними не оставалось ничего, кроме голода и побоев, потому что вперед манил их, точно огненный столб в пустыне, все дальше и дальше уходивший от них кусок хлеба. И вот совсем не героев, не личностей надо искать у Решетникова, а надо, понять в его изображении жизнь этих тысяч человеческих песчинок, разнесенных в разные стороны ветром и волнами, вызванными в русской жизни великим освобождением. Здесь непоседливая психология самого Решетникова как-то сливается с психологией толпы.

Прямо страшен по своей духовной нищете исходный пункт движения—подлиповщина и глумовщина.

Подлиповщина—царство голода, нищеты, беспросветного мрака, от колыбели до могилы повторяющее одно унылое „ись хоцу“ (хочу есть). Это „ись хоцу“ — главный определитель жизни подлиповцев, и под его влиянием они то и дело озверевают, равнодушно смотрят на страдания и смерть близких и даже радуются их смерти, особенно смерти детей. Впрочем, все хорошее, что в них есть, Решетников отмечает особенно старательно, но это-то „хорошее“ особенно ярко оттеняет тот ужас нищеты, которую вынесла подлиповщина, и которую она носит в себе. И это подлиповщина—этот предел падения хронически голодающих людей— потянулась бродить, подчиняясь все тому же стихийному, оживляющему всякими надеждами, призыву воли. Можно себе представить, сколько мук и горя вынесли они на пути. Даже богатырь Пила, который собственноручно убил 8 медведей,—и тот не выдержал. Умер и Сысойка,—много народу умерло под шум и грохот самой по себе идущей жизни, не обратившей, разумеется, ни малейшего внимания на эти жертвы. Но дело все же было сделано:

подлиповщина тронулась с места, а дети Пилы уже понабрались „кочегарной“ культуры, завели себе сундучек и зеркальце и даже способны задать вопрос: „А пошто же не все богаты?“

Тронулась и глумовщина. Глумовщина, впрочем, сила более развитая, чем подлиповщина. Это—заводские крестьяне приуральской области. Из-под гнета крепостного бича она все же вышла с известным запасом знаний (так как большинство из них мастеровые), хитрости и лукавства, выработавшихся в ежечасной борьбе с начальством,—даже кое-какими мыслями в роде той, напр., что в жизни многого можно добиться трудом и ловкостью. Но в гражданском отношении и глумовская толпа была такая же невежественная и беспомощная, как и подлиповская.

Половодье, первая волна новой Руси, говорю я, захватило даже Пилу с Сысойкой. Но самые тяжелые и неприспособленные элементы быстро осели, кто где и как; другие докатились до Нижнего и даже Питера. Описанию похождений этих последних посвящен лучший, по-моему, роман Решетникова—„Где лучше?“ Как эпопея жизни бродячих мастеровых и чернорабочих, именно эпопея от первого шага до последнего—это своего рода образцовое произведение искусства. У Решетникова есть уже и поэтический, и философский синтез, попытка обобщать жизненные явления во всей их массе и разнообразии. Где же лучше простому трудящемуся человеку?—спрашивает он себя, и его герои то и дело возвращаются к этому вопросу, отвечая на-двое, что „богатому везде хорошо, а бедному везде плохо“, или „что человек создан для того, чтобы самому себе добывать пропитание“, и так как человеку нужно для этого немного, то он был бы вполне доволен и спокоен, если бы его не обижали те, которым хочется жить в свое удовольствие. Философия немудреная и неверная, но вполне под стать людям „первой волны“.

Мне нечего, конечно, раз'яснять читателю всю важность исторического момента, изображенного Решетниковым. Этот момент начало нашей собственной жизни и нас самих, конечно, в наших общественных отношениях. Новая Русь вступила на сцену и разбрелась в разные стороны искать своего счастья. Бредет она и теперь и в Приморскую область, и в Сибирскую тайгу, и в Прибалтийские степи, и на Кавказ, и в Закавказье, даже в Америку...

Дай же ей бог найти того, чего ищет она. Мне же лично над
еще на минуту вернуться к Решетникову.

То, что он был разночинец, играло, разумеется, большую рол
как в обстоятельствах его личной жизни, так и в складе ег
творчества, больше даже—в истории нашей литературы.

„Дореформенная литература наша была порождена не интере
сами, а идеалами,—говорит г. Протопопов в своей статье о Ре
шетникове.—Благородные, гуманные, совестливые люди восставал
против исторической несправедливости, которой они в то же вре
мя были лично много обязаны—и своим блестящим образованием
и своею независимостью, и всем изяществом своего комфортабель
ного существования. Добрые, сострадательные, чуткие люди про
ливали слезы над чужой бедой, над горем, которое—язвительна
ирония судьбы—собственно им, лично им, приносила выгод
в роде „легкого оброка“ и „ярема барщины старинной“. Действи
этого разлада, этого отсутствия гармонии между идеалами
интересами не могло не сказаться умеряющим образом и на си
ле протеста этих людей, не могло не отразиться невыгодно и н
правде их картин и образов. „Не с ними плачешь, а о них“,—
говорил Константин Аксаков по адресу Некрасова, оплакивающе
го в своих стихах „сеятеля и хранителя“ русской земли. Это
упрек—если это упрек—должен быть отнесен не к Некрасов
только, а ко всей господской фракции нашей литературы, ко все
нашим первостепенным художественным талантам, защищавши
народ *не на почве его практических интересов, а на почве свои
теоретических идеалов*“.

„Но вот „порвалася цепь великая“, народ призван к активно
му участию в историческом процессе; повеяло весенним воздухом
и в литературе появляются новые птицы, и слышатся новы
песни. В числе самых первых ласточек, не делающих, но знаме
нующих весну, был и наш скромный, неуверенный, невзрачны
Федор Михайлович Решетников“.

Все это представляется мне совершенно справедливым. О Ре
шетникове на самом деле никак нельзя сказать, что он только
них плачет; нет—он плакал всегда с ними. Это даже не значи
что он умнее, честнее, благороднее и прочее всех раньше писа
ших о народе: он просто ближе к нему, просто лучше понимае
его, сам знает, что такое голод, безработица, неожиданное и гру

бое насилие со стороны какой-нибудь мелкой сошки. Ведь согласитесь сами, что ни Тургенев, ни Григорович, ни Щедрин не могли постигнуть с полной очевидностью, что значит быть человеком, над которым начальниками являются решительно *все* окружающие. А Решетников это понимал. Дух, помыслы, интересы и идеалы народа были его собственными. Оттого-то он нисколько не боится говорить о нем правды, как бы неприглядна она ни была; он прекрасно знает, что создало эту неприглядную правду (голод, невежество, крепостная зависимость и т. д.), знает и то, что ни подлиповцы, ни глумовцы в ней не виноваты, что они не виноваты ни в чем, что их надо учить, чтобы они хорошо работали и т. д. Оттого он так практичен и ищет прежде всего „дела“, оттого-то идеалы его на первый взгляд могут показаться такими скудными, как бы исчерпывающимися заботами о куске хлеба. Но ведь это лишь первая ступень, и пока она-то не обеспечена за человеком, пока в достижении ее ему мешают на каждом шагу, – о чем, спрашивается, он станет думать? Оттого-то он одним из первых действительно серьезно отделался от всякого жалостливого и сантиментального отношения к народу. Он любит мужика, лучше всякого другого знает, что мужик—человек, но знает, что этого мужика можно довести и до дикого состояния, и ему не страшно показывать его в таком виде. Напротив того, это дикое состояние служит для него лучшим доказательством всей мишурности, всей лживости культуры, так горделиво превозносящей себя. „Эх ты, цивилизация парикмахерская!“—сурово восклицал он, потому что фундамент этой цивилизации—мужик, народ только страдает и только терпит, потому что, пока он не будет обеспечен, уважаем и возведен на высоту, не будет ничего.

Поэты 60-х годов.

Н. А. Некрасов. (1821—1877).

Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым бог тебя ведет,—

говорит о себе Некрасов. Это гордые, сильные слова гордого и сильного человека. Но это не претензия. Некрасов сделал то, о чем он говорит; он действительно воспел страдание „изумляющего терпением народа“, потому что он умел плакать его слезами и болеть его болью. Он певец горя народного, но и странной, живучей веры народа в себя, его неистребимой бодрости, его чудной способности своим юмором, своей примитивной удалью становиться выше окружающего и каким-то смутным сознанием, что как ни соблазнительны блага мира, как ни тянут к себе богатство, власть, почет—„человек все же выше этого“.

„Какой же источник этой любви Некрасова к народу?—спрашивает С. А. Андреевский.—Нам кажется, здесь влияли два фактора: во-первых, эпоха общей влюбленности в крестьянскую массу, во-вторых, события из личной жизни поэта“.

„Проницательный Некрасов не заносился в облака, но общее тяготение к народу, с которым он бок-о-бок выстрадал голод, было ему на руку. Из жизни этого народа он стал брать темы для своих потрясающих картин. Он увидел свой успех; эта работа его увлекла. По натуре сдержанный и крутой, почти не отзывчивый на чувство прекрасного, человек сильный и глубокий, но изуродованный и огорченный жизнью, Некрасов нуждался в отмщении за обиды судьбы, и он полюбил мстить самодовольным за несчастных. Граница между искренним и искусственным у него потерялась. Часто он любил только „мечту свою“, часто обливался слезами над „вымыслом“. Но он чувствовал себя хозяином скорбящего народного царства, этих необозримо богатых владений для извлечения из них в каждую минуту чего-нибудь ужасающего для сильных мира“. „Народ безмолвствовал“, но это только придавало еще более трагический оттенок песням Некрасова. Он увлекался своею миссиею, облагораживался в ней, возвышался до голоса истинного гражданина, видел в ней свою славу, свое искупление за какой-то грех, на который содержатся горькие, сдержанные намеки в его поэзии. В течение многих лет на глазах целой России развертывался этот роман Некрасова с народом. Поэзия была уже не только в том, что он писал, но в самой его роли, в этой истории нераздельной, болезненной любви Некрасова к народу. Так что, когда он умер, то его, издавна уже избалованного богатством, несметная толпа хоронила со слезами, как страдальца за народ и убогих“.

По сложности и разносторонности своей духовной организации Некрасов, в память его великого и влиятельного имени, требует для себя подробнейшей, любовно и художественно составленной биографии, для которой теперь нет материала. Ограничусь немногими внешними фактами, чтобы не последовать примеру тех, и

даже очень почтенных, людей, кто из неясного и недоговоренного, а иногда просто неизвестного, заключает о глубоких нравственных недочетах Некрасова.

Некрасов происходил из обедневшего дворянского рода. Нигде не кончив, как следует, курса и не составив себе никакой официальной карьеры—он всю жизнь прожил по паспорту недоросля из дворян. Детство сохранило ему главное святое воспоминание его жизни—любовь к матери, обожание ее, и это навсегда. Потом наступила юность, полная нищеты и лишений. Бедный, оброшенный, одинокий явился он в столицу, но не растерялся, он дал себе слово завоевать этот гордый шумный город и исполнил это слово. Несколько лет пришлось жить буквально впроголодь. Вот его университетские воспоминания (1839—1841).

„...Ровно три года,—говорил Некрасов,—я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Приходилось есть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не раз доходило до того, что я отправлялся в один ресторан на Морской, где дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросив себе. Возьмешь бывало для виду газету, а сам пододвинешь себе тарелку с хлебом и ешь“...

Некрасов на себе вынес нищету и оброшенность трущобной жизни—кто смеет сомневаться в его искренности, в его глубоком и, конечно, сочувственном понимании души нищего и оброшенного человека! Но так как я лично совсем не поклонник нищеты и ее будто бы воспитательного значения, то думаю, что кое-что из вынесенной грязи на душе Некрасова осталось.

Как он выбивался из трущобы, как завязал отношения к литературе, как вошел в кружок Белинского, как, наконец, в 1847 г. очутился во главе „Современника“,—рассказывать долго, и знаем мы обо всем этом лишь урывками. Долго был он просто литературным поденщиком, тем более, что его „поэтическая“ попытка—издание сборника своих первых, бог знает где и как написанных, стихотворений „Мечты и звуки“—кончилась полной неудачей. Очень нелегки были и первые 8 лет издания „Современника“. Приходилось перебиваться, платить долги, писать самому по нескольку печатных листов в месяц—даже романы (напр., „Три страны света“), и только в 1855—1856 году его журнал стал на ноги, и во всем величии явилась перед обществом его муза „мести и

печали". После прекращения „Современника" в 1866 году он вместе с Елисеевым (с 1868 г.), а потом и Щедриным встал во главе „Отечественных Записок" и создал наш лучший передовой журнал. В 1877 г. он умер.

Трудно представить себе поэта, писателя, журналиста, который так близко, так вплотную подходил бы к своей эпохе, как Некрасов. Он в своих стихах раскрыл всю ее тоску, все ее порывы, все ее страдание и неудовлетворенность, ее смелые надежды и ее глубокую, терзающую близость к обездоленному. Конечно—

... бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука...—

но эти неверные звуки редки и случайны. Верные же звуки Некрасов находил всегда, когда был в своей огромной и важной области—в отношениях передовой интеллигенции 60-х годов к мужику, к народу. Связующими звеньями этих двух общественных слоев в его поэзии являются: 1) сознание своей дворянско-интеллигентной слабости и оторванности от народа и 2) жалость к обездоленному.

Совесть, тоска переплетались в его душе с чувствами мести и раздражения. В каком-то странном сочетании любви и ненависти, злобы и умиления он восклицал:

От ликующих, праздно болтающих,
Омывающих руки в крови—
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви—

но в тот стан он пойти не мог, хотя и стремился туда в лучшие минуты своей жизни.

Его поэзия впервые раскрывает нам всю глубину психологии кающегося дворянина—типа, особенно распространившегося в 70-е годы, т. е. человека, который прежде всего жил (в лучшие моменты, конечно) тревогами и муками своей отравленной совести за свое общественное положение. Это мотив определенный и властный, способный охватить всего человека. Совесть не знала покоя. Ее

тревожили картины прошлого, собственное бессилие ее обладателя в настоящем и, вероятно, ожидание Немезиды в будущем. Прошлое—это грехи предков, совершенные ими в привольные времена крепостного права; прошлое—это собственная культурность, приобретенная за чужой счет, за чужой—опять-таки крепостной—труд. Настоящее—это сознание, что ответственность перед народом, долг народу—

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусство, науки,
Предаваться мечтам и страстям—

огромен. Расплатиться надо, но есть ли на это силы у того, кому суждены благие порывы, но кому ничего не дано совершить? Отсюда терзание и муки, потому что выхода не было.

На эту тему Некрасов написал одну из лучших своих вещей „Рыцарь на час". Это целая поэма. Понимая буквально—она обращена к матери. Но образ матери нарисован в ней такими общими штрихами, что он без всякого труда со стороны читателя, без всякого его насилия над собой, легко и свободно расширяется до образа русской женщины („все выносящего русского племени—многострадальная мать", как любил ее называть Некрасов), до образа русского народа вообще, изумляющего своим долготерпением. Что же этот кающийся дворянин несет народу?

Я кручину мою многолетнюю
На любимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.

Это стон бессилия. Народ, русскую женщину, мать ему нечем утешить и с самобичующей откровенностью, с жестокостью погибающего он предупреждает:

О, прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь—

Единственное его оправдание это его собственная гибель.

Но я гибну—и ради спасения
Я твою призываю любовь...

Как видит читатель, это очень сложное отношение к народу. Тут и голос отравленной совести, и стыд, и муки за свое бессилие, и жалость к обездоленному, и какой-то наивный эгоизм, достойный извинения лишь за глубину выстраданного. Но чем сложнее психологический мотив, тем роскошнее поэзия большого таланта, и роскошной была она у Некрасова. Он наш первый и, вероятно, самый крупный народник, потому что народничество движение глубоко-этическое, безмерно совестливое. И, исходя из основной посылки расплаты с народом, оно требовало от человека героизма, героических поступков, когда же героизм оказывался не по плечу, оно давало терзания.

Нечего и говорить, что народ не веселил Некрасова, да и не за весельем шел он к тем,

Кто идет по житейской дороге
Безрассветной глубокой ночи
Без понятья, о правде, о боге,
Как в подземной тюрьме без свечи...

По собственному признанию поэта—

Но и крестьяне с унылыми лицами
Не услаждают очей.
Их нищета, их терпенье безмерное
Только досаду родит...

И какая, действительно, услада может исходить от толпы, собравшейся возле парадного под'езда? Некрасивы на взгляд, и мало надежды внушает это приниженное смирение...

И пошли они золнцем палимы...
Разводя безнадежно руками,
И покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...

„Возьмите картины Некрасова из крестьянского быта и что найдете вы там? Описание нищеты, голода и холода, болезней, мук от зноя в страдную пору, трудностей этапного перехода, удушливых потемок каторжных нор, вредного воздуха фабрики, невыносимой тяготы бурлацкого труда“ *),—

а главное этого гнетущего душу безропотного смирения без конца и краю, которое заставляет спрашивать в тяжелом раздумьи:

*) Слова С. А. Андреевского из его чтения о Некрасове.

Ты пронешься ль, исполненный сил,
Иль судеб повинуясь закону,
Все, что мог, совершил,
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..

До такого отчаяния доходил Некрасов в своих сомнениях, и характерно, что здесь, как всегда, спасал его образ женщины, приниженный и страдальческий, но чудно красивый в ореоле своего страдания. Он изображал бессильных героев современности в „Рыцаре на час", в „Саше", он бросал им в лицо жестокие стихи:

Покорись—о ничтожное племя,
Неизбежной и горькой судьбе!
Захватило вас трудное время,
Неготовыми к трудной борьбе:
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно.
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...

и в то же время рисовал свою Сашу, портреты Трубецкой и Волконской или величавый образ крестьянки Дарьи („Мороз Красный нос")

Есть женщины в русских селеньях,
С покойною важностью лиц,
С красивою силою в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц—
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
Пройдет—словно солнце осветит!
Посмотрит—рублем подарит".

Эта Дарья после смерти мужа берет на себя мужскую работу без ропота и справляется с ней стоически и самоотверженно...

И вот этими-то своими героическими образами русской женщины, этой своей жалостью к обездоленному—этим сознанием великой своей ответственности перед народом и страданием Некрасов и подходил вплотную к своей эпохе—и сливался совсем уже с наступающей эпохой 70-х годов.

„Мне борьба мешает быть поэтом",—говорит о себе Некрасов, и он прав, но лишь в том случае, если слово поэт понимать в его обычном, даже шаблонном смысле. „Красота и женская лю-

бовь—эти вечные родники поэзии,—почти не пробуждали его вдохновения". Его вдохновение пробуждалось от других родников—жалости, печали и мести. Поэтому не без упрека даже говорит Андреевский по адресу Некрасова: „не одна борьба (мешала Некрасову быть поэтом), но и время, в которое он действовал, и требование читателей, и влияние руководящих критиков, и, конечно, больше всего, собственная натура Некрасова, самая положительная, дельная, земная, какую только можно себе представить. Пусть он был энергичным, искренним, даже пламенным деятелем слова—все-таки грунт его природы был по преимуществу практический, вкусы—трезвые и материальные".

Да, это был идеалист земли в чистом его виде. Вместе со всеми своими современниками он считал счастье—земное конкретное счастье, увенчанием здания человеческих усилий и стремлений. Не даром и от глубины натуры своей писал он в 1874 г.:

Я видел красный день: в России нет раба!
И слезы сладкие я пролил в умиленьи...
„Довольно ликовать в наивным увлеченьи"
Шепнула Муза мне: „Пора итти вперед:
Народ освобожден, *но счастлив ли народ?..*"

И посмотрите в то же время, какие часто наивные, милые формы принимает его идея о народном счастье! Когда же, спрашивает он, станет „сносней крестьянская страда? Когда побежит по лугу „играя и свистя, с отцовским завтраком довольное дитя?" „Цели земные, насущные всегда оставались наиболее близкими сердцу Некрасова" и тот героизм, требование которого implicite заключается в его поэзии, разрешался в человеческом довольстве и счастье.

Человек 60-х годов виден и в окончательной его характеристике: „Речь его была сильная, проповедь горячая и грозная,—но в основе все-таки сидел человек дела, рачитель об общественных нуждах, красноречивый гигиенист или пламенный социальный депутат". Но эта трезвая основа миросозерцания скрашивалась требовательным идеализмом земли...

Совершенно естественно, что в народолюбивое время 60-х—70-х годов истинным успехом и влиянием мог пользоваться только

Некрасов или те, кто ближе всего подходил к его настроению, напр., Т. Г. Шевченко или И. С. Никитин. Другие крупные поэтические дарования, как, напр., А. А. Фет, А. Н. Майков, Ф. И. Тютчев, Л. А. Мей, Я. П. Полонский, оставались, в сущности говоря, в тени, лишь изредка обращая на себя благосклонное внимание публики, чаще же возбуждая насмешки. Стихов, вообще говоря, недолюбливали: их считали как бы роскошью, барской забавой и охотно прощали их одному Некрасову. Господствующее настроение эпохи было, словом, напряженно вытянуто в одну линию.

Общие заключительные замечания.

Что же дали нам 60-е годы?—И какой период русской жизни можно назвать этим именем?

На последний вопрос я могу ответить, если не ошибаюсь, очень определительно: 50-е годы продолжались от 19-го февраля 1855 (если уже нужна безусловная точность) до 4-го апреля 1866 г., т.-е. слишком 11 лет. 19 февраля 1855 г. вступил на престол Александр II-й, и сошла в могилу система Николая I-го; в 66-м году начались покушения, которые дали невозразимое основание для робкой до того времени правительственной реакции,—а эта, все усиливаясь, разрастаясь, идя в ширь и глубь, породила интеллигентное движение 70-х годов, нуждавшееся уже в иных нравственных философско-исторических принципах, чем движение их предшественников. Поворотным пунктом истории 60-х годов я считаю 19-ое февраля 1861 года, т. е. день издания манифеста о воле. Я считаю этот день поворотным пунктом оттого, что единодушная до него передовая интеллигенция, сходившаяся на необходимости освобождения, разделилась на группы и фракции: кто пожелал здесь и остановиться, кто пошел направо, а кто налево.

Труднее ответить на первый из поставленных вопросов. Однако сделать это необходимо.

Шестидесятые годы называют обыкновенно эпохой великих реформ. Это название очень хорошо, но далеко не покрывает всего движения эпохи. Но если бы дело ограничилось только реформами—и то 60-ые годы заслуживают полного уважения: как

граждане, мы живем только ими; если что делает нас культурной нацией, а не только соседкой Турции, Персии и Китая—то опять та же эпоха. В ней при первом же взгляде можно различить некоторые характерные особенности. *Во-первых*—стремление отделаться от наследства барской культуры, стремление настолько резкое и часто одностороннее, что оно восстановило против себя и даже озлобило всех людей 40-х годов. Над этим делом—и, конечно, не без злобы и раздражения—работал разночинец, работали и сами дворяне иногда с юношеской восторженностью, как Писарев, иногда в скорбном раздумьи, с проклятием собственному своему бессилию, как Некрасов. Все основы патриархального барского строя были об'явлены упраздненными, так как реалист работник 60-х годов не чувствовал в них никакой надобности Славянофилы были прямо не у дел и вызывали одни насмешки Едко смеялись над ними Добролюбов и Писарев; Чернышевский не видел в их учении ничего ценного, кроме признания общины. Патриархальность и официальная народность—вот истинные мишени журнальной канонады 60-ых годов. Вместо этого (*во-вторых)* люди желали *автономии общественной* жизни от бюрократической опеки и автономии личности, которая была признана способной руководствоваться собственным разумом, собственной критической мыслью, воспитанной и дисциплинированной широким естественно-научным образованием. По этому поводу позволю себе небольшую оговорку.

Иные во всей эпохе 60-х годов, за вычетом деятельности правительства, видят какое-то беснование мысли, какую-то разнузданность чувства, почему и называют ее эпохой беснования и разнузданности. Насчет беснования мысли литература, как мы видели, никаких указаний не дает; более, повидимому, обоснован упрек в разнузданности чувств. В подтверждение указывают обыкновенно на 1) „Что делать"? Чернышевского, 2) проповедь Писарева и 3) появление нигилистов.

В „Что делать?" находят проповедь свободной любви. Хотя эта проповедь и не занимает первого места—она есть. Мужчина и женщина могут жить вместе лишь в том случае, если любят друг друга. Раз любовь по каким бы то ни было причинам прошла—самое лучшее для них расстаться. Нет ничего постыдного в том, если женщина от нелюбимого человека уйдет к человеку

любимому. Вот что говорит автор истории Веры Павловны. Но, посудите сами, какая же тут разнузданность? Где, в чем? Ведь у Чернышевского все эти сближения и расставания „ограничены“ любовью и притом самой горячей и искренней. Никакого намека на „беспорядочное половое сожительство“. И потом — это самое главное—не надо забывать, что ни Лопухов, ни Кирсанов, ни Вера Павловна—совсем не идеал для Чернышевского.

Проповедь Писарева называют обыкновенно проповедью сенсуализма или, просто говоря, проповедью приятных ощущений. Ничто не может быть смешнее такого названия. На знамени Писарева было написано: любовь, знание, труд—насчет же ощущения ровно ничего не сказано. Писарев хотел в сущности одного,— чтобы человек, освободившись от всякого рода предрассудков, весь отдался истинному своему, опять-таки „общественному“, призванию, развивал его до совершенства, просвещал его наукой и приносил обществу возможно большую пользу. Он хотел, конечно, чтобы труд человека был приятным. Но, скажите, неужели труд человека должен быть неприятным и даже проклятием его жизни? Почему? Зачем? Какая кому отсюда выгода? Приятный труд, труд творческий, работа по призванию, а не по принуждению, не из страха голодной смерти, во всяком случае продуктивнее, но это не значит, что эта работа легкая и обращается лишь в усладительное времяпрепровождение. Напомню еще раз один небольшой отрывок из письма Писарева к матери; быть может, он хорошо об‘яснит читателю разнузданность этого столпа сенсуализма и нигилизма: „Теперь мне представляется часто,—пишет Писарев,—что мою статью читает где-нибудь в глуши очень молодой человек, который еще меньше моего жил на свете и очень мало знает, а между тем желал бы что-нибудь узнать. И вот, когда мне представляется такой читатель, то мною овладевает самое горячее желание сделать ему как можно больше пользы, наговорить ему как можно больше хороших вещей, надавать ему всяких основательных знаний и, главное, возбудить в нем охоту к дальним занятиям“. Хороша распущенность и разнузданность, особенно если вспомнить, что эти строки написаны на 4-й или 5-й год заключения в крепости!

Не разнузданность, а напротив того, „самоограничение“ являлось характерным элементом проповеди главарей литературного

движения. Добролюбов требовал его в форме подвижничества, Писарев—работы. Подвижнический характер проповеди Добролюбова отмечают даже... постоянные сотрудники „Русского Вестника“ последней его формации. Добролюбов,—говорит, например, г. К. Головин,—правда, не раз призывал к свободе от стеснений, налагаемых семьею—избытком родительской власти и неразрывностью супружеского союза. Но совсем не забавы он сулил молодежи вне родительского дома, а суровый труд; и не во имя наслаждений свободной любви он стоял за женскую эмансипацию: он только перемещал центр тяжести нравственного долга. Его этический идеал далеко расходится с общепринятым, но он все-таки видит в нем не простое удовлетворение прихотливых требований своенравной воли, а напротив того—строгое подчинение этой воли обязанностям не менее тяжелым, чем те, какие налагала на нее традиционная мораль“.

В этих словах, которые, конечно, применимы не только к одному Добролюбову, есть кое-что из глубины эпохи взятое. Странное, на самом деле, было время. Оно началось при несомненном под'еме настроения, при некоторой восторженности, при некотором даже феерическом освещении разных упований и огромных надежд; оно закончилось, когда было признано, что все это неосуществимо или, в лучшем случае, отложено на неопределенный срок. В действительности было пережито только 10 лет и несколько реформ, хотя и крупнейших. Но в мечтах, упованиях, в надеждах и созерцании было пережито страшно много—от личности, живущей под опекой патриархальных устоев,—весь ужас которых так удивительно обрисован Островским в его бессмертных драмах—до личности, не признающей над собой ничего, кроме власти разума и добровольно возложенных на себя обязательств. Все это, разумеется, оказалось сном, но таким сном, которого, раз его увидевши, человек не мог уже забыть. Не о пустяках шло дело, не о подробностях, не о „немножко побольше гласности“, не о немножко более правом суде, а обо всем этом в высшей степени. Не на преждевременность таких стремлений надо указывать нам—„благодарному потомству“—ибо преждевременность указана и доказана хронологией—а надо понять их огромность, понять и то, что и тогда в массе ликующих и праздноболтающих все же были люди, хотя бы отдельные только люди,

влиятельные однако и задававшие тон, которые тоже понимали всю серьезность и важность переживаемого момента. Уж никак не в легкомыслии или проповеди разнузданности можно их упрекнуть, и кто знает, на скольких памятных и хвалимых—и еще больше—на скольких забытых, заброшенных и поросших лопухом могилах можно было бы написать вместо эпитафии двустишие:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен...

Не слова все это, нет, не слова, как не слова и движение 60-х годов. Есть в нем, конечно, много наивного, в роде непоколебимой и безграничной веры в разум, в возможность рационального устройства человеческой жизни, но разве когда что-нибудь примечательное и важное в жизни людей обходилось без примеси наивного?

Но наивность наивностью, однако, очевидно, что лучшие люди 60-х годов страдали скорее скептицизмом, чем легкомыслием. Они думали, что цену имеет только та вера в торжество добра, истины и справедливости, которая основана на знании. Они думали, что знать нужно многое и прежде всего действительность жизни. Нужно соразмерять свои силы и свои удары,—говорили они. Нужно определять шансы успеха и неудачи. Самонадеянность, хотя бы проистекающая из благороднейших источников, всегда одинаково вредна. Человек, не полагаясь только на свои силы, должен прислониться к науке, массе народа, должен стремиться к достижимому. Общественный деятель, руководящий умами, как полководец, не должен увлекаться. Поэтому-то ни бубнов, ни барабанов не видим мы в лучших статьях того времени, но видим ясное сознание необходимости работать в „истинном“ направлении, не скрывая от себя громадности работы, не предаваясь легкомысленным упованиям. Это не „полегоньку“ и „потихоньку“, не малые дела позднейшей эпохи. Надо помнить, что в эпоху 60-х годов человек вообще, разночинец в особенности, *верил* в себя и свои силы. Мысль о том, что он служит обществу, прогрессу, совершенствованию жизни вообще, удваивала его энергию. Это не интеллигент наших дней, который, повидимому, все свои упования возложил на кокарду и в случае ее отсутствия чувствует себя как бы оплеванным и ненужным. В своей

самоуверенности человек говорил тогда: для защиты правового дела надо напрягать все свои силы, все свои способности, работать не покладая рук, не печалиться от неудач и верить в неминуемое торжество справедливости хотя бы и там, далеко, в тумане голубого дня. Мысль, что ты стоишь на стороне правого дела, что его конечная победа настолько же обусловлена твоими личными усилиями, как и роковым ходом нашей общественной эволюции—единственная, которая в состоянии придавать человеку неисчерпаемую веру и сделать ее нравственной в лучшем смысле этого слова. Истинная нравственность не может не основываться на знании истории и современности: человек только помогает исторической эволюции, но не создает ее. Защищать папство и католицизм в XVI-м веке было не только глупо, но и безнравственно. Нравственное поведение—то, которое содействует развитию общества; безнравственное (хотя бы проистекающее из честнейших и прекраснейших мотивов)—то, которое тормозит развитие общества.

Вот эта-то простая и элементарная этика 60-х годов совершенно забыта нами.

Оценивая 60-е годы (я имею в виду редкие случаи оценки без страсти и раздражения), мы, как кажется, прибегаем к одному приему, вообще говоря, правильному, но пользоваться которым надо с величайшей осторожностью. Мы говорим: „60-е годы не оправдали надежд, возлагавшихся на них, не имели серьезного и продолжительного успеха, следовательно, они виновны, хотя, быть-может, и заслуживают снисхождения". По моему искреннему убеждению, оценивать исторические явления по их успеху и неуспеху—можно и должно. Это даже существенный, правильный и реальный критериум, без которого мы непременно запутаемся в дебрях метафизики и высоких фраз. Но к сожалению, этот критериум нельзя употреблять с такой же легкостью, как аршин или фунт.

По интересующему нас вопросу заметим, прежде всего, что мы, люди 80-х и 90-х годов, далеко не компетентны в оценке успеха или неуспеха эпохи, слишком близкой от нас, нашего, так сказать, „накануне". В истории то и дело бывают временные остановки и временные повороты назад. Так случилось, например, во Франции с рационалистическим движением, которому сначала сочувствовали все монархии Европы и которое потом,

в период реакции, оказалось униженным и стоптанным в грязь. Но реакция не помешала тому же рационалистическому движению возродиться впоследствии и вновь вызвать в себе полное сочувствие... Дидро и его научное трезвое миросозерцание, совершенно не понятое современниками, получили истинное свое признание лишь в наши дни. Гений Вольтера униженный в период 1800—1830 гг., опять расправил свои орлиные крылья и воспарил над землей в период 1831—1848 гг., и т. д. Разумеется, все истинное, правдивое, нужное для жизни должно иметь успех, иначе оно не истинно, не правдиво, не нужно, но—увы!—история, эта капризная mobile donna, сегодня оттолкнет, завтра привлечет, потом опять оттолкнет. Только историк, имеющий перед собой весь цикл развития явления, может смело оценивать по успеху и неуспеху; современник должен быть скромнее.

Но что же делать ему? Не может же он положить печать молчания на свои уста и воздержаться от личного мнения в ожидании, что жизнь выскажется и грядущие столетия раз'яснят все? Конечно, не может. Поэтому, кроме скромности, я позволю себе напомнить ему правило, пользовавшееся всеобщим признанием со стороны лучших людей 60-х годов. Правило это гласит: *Только то миросозерцание может рассчитывать на победу и торжество в жизни, только то миросозерцание полезно, истинно и нравственно, которое, опираясь на знание действительности и истории, соответствует прогрессивным и неустранимым потребностям жизни.*

Значит насчет беснования и разнузданности 60-х годов можно и не говорить.

Перехожу теперь спокойно к нигилизму, как одному из любопытнейших течений мысли в описываемую эпоху, созданному автономией личности. Самое слово „нигилизм", „нигилистика", хотя и было изобретено гораздо раньше (Надеждиным), но упрочилось за нашим литературным обиходом лишь в 60-е годы и пользовалось широкой распространенностью. Но... что такое нигилизм? За раз'яснениями я позволю себе обратиться к одному человеку тех дней, тогда журналисту и довольно видному — Н. Н. Страхову. Он в данном случае компетентен: вся „история" нигилизма прошла на его глазах, он сам боролся с этим явлением, насколько

мог. Временами он ненавидел его, если вообще ненависть и Страхов понятия совместимые.

„Нигилизм,—говорит Страхов,—есть явление нашей умственной жизни, представляющее великое множество безобразий. Всем известны эти безобразия, они описаны в повестях и романах, каждый о них рассказывает с разными добавлениями и вариантами.

„Поэтому первое невольное отношение, в которое мы становимся к нигилизму, есть высокомерие. Мы обыкновенно смотрим на него презрительно, смеемся над ним, как над детским неразумием или возмужалым сумасбродством.

„Справедливо ли это? Справедливо ли судить о каком бы то ни было факте умственной жизни по одним его безобразным проявлениям? Самые безобразия, чем чаще и обильнее они происходят—не свидетельствуют ли только о силе источника, из которого они проистекают, не представляют ли, очевидно, крайностей, до которых неизбежно должно вырождаться в иных последователях настроение, глубоко проникающее в умы?“

Считая нигилизм явлением историческим и серьезным, Страхов советует прежде всего не плеваться, а спросить себя, откуда оно? Конечно, с Запада, отвечает он, или подробнее:

„Прежде всего, нигилизм есть некоторое западничество. Он возник под влиянием Запада, следовательно, под тем влиянием, которое так давно и так сильно на нас действовало и постоянно действует. Напрасно у нас некоторые критики и публицисты, ради пущего унижения нигилизма, уверяют, что он есть наше доморощенное, туземное сумасбродство, что на Западе ничего подобного не существует, а все идет чинно, стройно и благополучно. Совершенно ясно, что умственные явления Запада дали точки опоры для развития нашего нигилизма, явления, давно там зародившиеся, имеющие силу и будущность и потому составляющие постоянный источник, постоянную поддержку для нашего нигилистического движения. Нигилизм, какого бы оттенка он ни был, всегда характеризуется великим уважением к Западу, всегда имеет там каких-нибудь божков и оракулов, может-быть, превратно понимаемых, но от всего сердца поклоняемых и славимых. Это та сторона нигилизма, в которой обнаруживается недостаток у нас самостоятельного развития—наше подчинение Западу.

„Во-вторых, нигилизм есть не что иное, как крайнее западничество,—западничество, последовательно развившееся и дошедшее до конца. В этом отношении он представляет действительный, неизбежный прогресс, и напрасно некоторые наши западники чураются нигилизма, утверждая, что и ныне, как встарь, можно питаться западными взглядами и идеями, нимало не впадая в нигилизм“.

Запад, — продолжает Страхов, — в умственном и нравственном отношении велик и многообразен. Здесь полный простор для выбора по вкусу, чего кто хочет—от правого гегелианства до анархизма. Но почему же мы, русские люди, показали особую наклонность к восприятию доктрин отрицательных? Потому, — отвечает Страхов, что:

„Запад сам учил нас, что его формы преходящие, что все подчинено течению, изменению, прогрессу и мы, *столь жаждавшие изменений у себя дома, жадно примкнули к этому учению.* Мы поверили всей душой теории прогресса, которая утверждала, что рано или поздно не останется в старой Европе камня на камне; мы не захотели исповедывать то, что должно было скоро отжить и разрушиться, а прямо примкнули к новому, будущему, к надеждам и порываниям вперед“...

Признавши критику Запада над самим собою, мы должны были или: 1) преклониться перед началами собственной народности, или 2) применить метод и штандпункты западной критики к своим доморощенным порядкам. Мы выбрали второй путь, и это естественно там, где доморощенные порядки дают обильнейший материал, до того обильный, что ум теряется.

Именно таков конечный вывод Н. Н. Страхова—этого замечательного и глубокомысленного русского публициста, который всегда как-то удивительно ловко и остроумно приходит к утверждению тех выводов, которые он взялся отрицать!.. Вот его слова:

„Нигилизм есть, прежде всего, и главнее всего—отрицание; это его основная и здоровая, правильная черта. Все, что может служить опорою для отрицания, все, что дает отрицанию разумность и право, все идет в прок нигилизму, составляет его законную пищу, законный источник. *Русская жизнь, которою в сущности дела вызывается это отрицание, вызывает его с двух сторон.* Слабость нашего духовного развития, неясность, неформулированность его глубоких основ, внушают смелость отрицать эти основы, отвергать их состоятельность в силу тех требований и задач, с которыми мы, повидимому, имеем полное право приступать к ним. С другой стороны, безобразия, которыми преисполнена русская жизнь, составляют еще более распространенную и общедоступную пищу отрицания. Можно сказать утвердительно, что каждое безобразие, творимое ныне на русской земле, имеет своим непосредственным следствием между прочим, и усиление нигилизма, отражается в его пропорциональном наро-щении.

„Эта здоровая сторона нигилизма никогда не должна быть упускаема из виду. Скептицизм, недоверие, отсутствие наивности, насмешливость, бездеятельная, но умная леность,—все эти черты русского характера находят здесь себе исход“ *).

Словом, Запад дал орудие, русская жизнь — материал, и что удивительного, если закипела прежде всего чисто отрицательная работа. По Страхову, она не только естественна и необходима, но и здорова в то же время. И тут опять приходится вспомнить знаменитые слова Чаадаева о нашем духовном и историческом

---

*) Страхов. Бедность нашей литературы. Спб. 1868, стр. 44—52.

босячестве. О, конечно! Будь у нас больше ума, культуры, знания, мы не начали бы с нигилизма, не увлеклись бы им, потому что он, в конце-концов, сводится на мычание. Но, по Страхову, нигилизм был нужен для расчистки почвы... Это свое дело он сделал.

Пока, как видите, ни слова о разнузданности. Есть мимоходом брошенное замечание о безобразиях нигилизма... Но кто и когда думал их отрицать? Но где общественное движение без ила и грязи?.. И какое все это имеет отношение к литературе 60-х годов?

Пора однако сказать, в чем их суть, как я ее понимаю. Суть эта заключается в дружном, а временами и единодушном стремлении к общественной самодеятельности. Не о ней ли говорят в своих записках Погодин и К. Аксаков? Не эту ли их мысль приветствует К. Кавелин, полностью подписуясь под ней? Не о том же ли мечтал Хомяков? Не ее ли защищал Катков в своем англоманствовавшем „Русском Вестнике“. Не ту же ли самую цель преследовали, наконец, и все наши реформы вплоть до судебной, т.-е. до 1866 года? Конечно, да.

Итак, стремление к общественной самодеятельности и к автономии личности от опеки устоев патриархального строя является центральной осью движения 60-х годов как в литературе, так и в жизни. Эти мечтания стали для нас преданием, почти легендой, над миром они пронеслись с шумом... Практические результаты эпохи 60-х годов и ее литературы чувствуются и теперь... Откуда иначе наша гражданственность, хотя бы и запуганная, хотя бы ползающая, но все же существующая, как некоторый общепризнанный факт жизни?

СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ.

Общая характеристика.

Что-то напряженное, скорбное, часто прямо-таки фантастическое чувствуется в этой эпохе. Она близка к предшествовавшей ей эпохе 60-х годов, родственна ей и в то же время представляет нечто особенное, отличное и обособленное. Вера в непреложность и истину науки и ее выводов сохраняется, конечно, но даже и здесь, в этой области человек, личность, заявляет свои права на верховенство и соглашается, в конце-концов, принять лишь такие выводы, которые соответствуют его нравственному идеалу (суб'ективный метод). Это грань индивидуализма и своеволия. Религия человечества продолжается—это единственная религия двух десятилетий—но требует она уже не разумного, рационального служения людям, а подвижничества прежде всего и самоотречения. Проповедуют счастье с надрывом, даже отказываясь от собственного личного счастья, идея которого вся целиком поглощена идеей подвига. Тот же надрыв в отношении к народу. Мысль о нем, забота о нем — на первом плане, как и раньше, — но самый народ или идеализируется или даже является в мистическом ореоле сказочного богатыря, целые века спавшего и теперь готового проснуться, чтобы всем людям, всему человечеству указать путь и осуществить идею своего нравственного миссионизма, т.-е. водворить если и не царство божие здесь на земле, то, по крайней мере, царство справедливого распределения земных благ. Личность еще больше в своих глазах, еще могущественнее, еще „самоценнее“—но тем больше и ее подчинение. Не вынося своей свободы и полноты своего своеволия, она жадно ищет преклонения и преклоняется, прежде всего, перед крестьянской массой, перед тем залогом грядущего справедливого распределения богатств и гармонически цельной жизни, который она несет в себе. Пока же на первом плане (в литературе) жалость к освобожденному, но не счастливому еще народу, жаление его до слез, умиление перед сохраненной им чистотой своего внутреннего образа, „лика“ так сказать и, конечно, непримиримая ненависть к окружающим народ

обстоятельствам. Кающийся дворянин вносит в эту атмосферу мотивы своей больной совести, жажду покаяния, тот духовный надрыв,—который помог бы ему сразу перешагнуть пропасть, отделяющую его от народа,—и идею красоты. Она, эта идея, выдвинута на первый план. С ее точки зрения созерцается, между прочим, и крестьянская жизнь,—почему мы то и дело слышим разговоры о поэзии земледельческого труда, о праведности (высшая степень красоты этической) крестьянской жизни вообще,—и самая жизнь, отвлеченно взятая. В центре представления о ней лежит идея подвига, прекрасного вне отношения к своим результатам, влекущего к себе внутренней красотой своей. И все это—и огромность стремлений, и жажда подвижничества, и безнадежный утопизм в отношении к народу и интеллигенции,—все это, повторяю, придает эпохе ее напряженный, фантастический характер.

В общем своем стремлении 60-е годы были скромнее. Их часто и справедливо называют „просветительными“. Их умственное движение сравнивают даже с умственным движением Европы XVIII в., разумеется, mutatis mutandis. На самом деле вера в разум, в возможность построения жизни на разумных началах, требования школы, образования, преклонение перед естественными науками—этим точным знанием,—все это явления той же категории и все это одинаково характерно для эпохи. Шелгунов всю свою жизнь твердил: нам нужна школа, еще школа и еще школа. Камнем краеугольным учения Писарева было сознание, что мы бедны и глупы, и значит, наша первая обязанность—учиться, чтобы развивать свои *производительные* силы. Вся беллетристика того времени была построена на противоположении людей умных, рационально устраивающих свою жизнь, и людей неумных, держащихся рутины, традиций и предрассудков. Прибавьте к этим фактам женское стремление к образованию, воскресные школы, массу публичных лекций, которым лишь обстоятельства помешали превратиться в народные университеты, упорную популяризацию, напряженное издание дешевых и общедоступных книжек, работу на поприще народного образования—и вы увидите, что просвещение — это нерв эпохи. Не единственный, конечно, но самый важный, и можно сказать, что, когда исчезли все другие мечты,

когда все другие ее верования оказались разрушенными — эта мечта видеть народ умным, образованным и самодеятельным, эта вера в могущество разума и знания уцелели среди обломков и составляют необходимые элементы „людей 60-х годов“, очутившихся среди новой обстановки. Слова Писарева, что мы бедны и глупы и что, пока мы бедны и глупы, ничто нам не дается, быть может, самое драгоценное, что завещано нам тем временем. Отсюда понятным и опять-таки характерным для эпохи является интерес к вопросам воспитания, понятной и характерной — роль лучших наших педагогов, напр., Ушинского, Водовозова, Стоюнина и т. д.— потому что 60-е годы это та же мечта о создании путем науки и просвещения новой породы развитых, умных, здоровых и самодеятельных людей.

Мечта быстро доказала, если и не свою неосуществимость, то во всяком случае—стало очевидным, что ее приходится отложить в очень долгий ящик, раз в распоряжении у людей нет каких-нибудь средств кроме популяризации, лекций, воскресных школ...

Это сознание неосуществимости мечты становилось изо-дня в день все очевиднее. Все вело к нему и все укрепляло его и прежде всего, конечно, та *реакция, которая началась в правительственных сферах.* Симптомы этой реакции можно было рассмотреть уже с 62-го года в таких фактах, как приостановка „Современника“ и „Русского Слова“ на 8 месяцев; петербургские пожары, и самое главное—польское восстание 63-го года дали этой реакции твердую почву под собой. После выстрела Каракозова (1866) она стала фактом, обратилась в систему. Чиновничество и дворянство, как бы стушевавшиеся в эпоху великих реформ, несколько огорошенные общим увлечением и напуганные им подняли свои головы. Катков начал свою упорную и в общем победоносную борьбу с радикалами, либералами, или, как он презрительно говорил, „мальчишками“, волна общественного увлечения отхлынула.

„Нелегко и невесело,—пишет, напр., К. Арсеньев,—жилось русским людям в ту эпоху, с которою совпадает второй фазис развития щедринской сатиры. Противодействие реформам, предпринятым в конце пятидесятых годов, не прекращалось, собственно говоря, ни на одну минуту, беспрестанно подбрасывая палки под колеса, создавая или сочиняя преграды, ограничивая задуманное, искажая исполненное; перевес, однако, оставался сначала на стороне движения, актив политической жизни оказывался крупнее ее пассива. В первой половине шестидесятых годов, вслед за великим днем 19-го февраля, реакционные стре-

мления стали быстро расти и укрепляться, но в светлых промежутках все еще не было недостатка. Окончательно потемнел горизонт не раньше 1866 года; к 1868 г. темнота была уже явлением нормальным и привычным. Ни одна реформа не была формально отменена, но все были в большой или меньшей степени обрезаны, обессилены, извращены, выражаясь словами поэта, все рановременные меры—рановременные, конечно, только с реакционной точки-зрения теряли должные размеры и с треском пятились назад. Осуществление преобразований было отдано, за одним лишь исключением, в руки людей, им враждебных. Закрытие земских учреждений в С.-Петербургской губернии (1867—68) послужило грозным предзнаменованием для всего земства. Целые отделы нового законодательства о печати сделались мертвой буквой, прежде чем было вполне испытано их действие; практика, стеснительная для печати, была узаконена дополнительными постановлениями 1872 и 1873 г. Новые суды, едва вступив в жизнь, стали предметом недоброжелательства и подозрений. От крестьянских учреждений уцелело почти одно только имя, крестьянский вопрос был об'явлен навсегда порешенным, больше несуществующим. Податная реформа, поставленная было на очередь самим правительством, застыла на одном месте, несмотря на длинный ряд сосочувственных ей земских постановлений; на первый план выдвинулся взамен ее, вопрос об усилении губернаторской власти. В общественной жизни все резче и резче заявляли себя обычные результаты реакции и застоя, зарождались все те явления, которые достигли своего апогея к концу семидесятых годов. Мельчали учреждения, мельчали люди, усилился дух хищения и наживы, всплывало наверх все легковесное и пустое".

Рассмотрим хотя бы в самых общих чертах положение двух основных сословий в государстве—дворянского и крестьянского, и этот краткий обзор только подтвердит справедливость приведенных слоев.

В самый разгар эпохи бури и натиска многие, и прежде всего сами дворяне, искренно полагали, что их дворянское сословие упразднено. В историческом прошлом дворянская идея до такой степени срослась с крепостным правом, с рабством и привилегией, что когда смелые реформы подкопались под этот фундамент, не трудно было, особенно сгоряча, с перепугу, вообразить полное ниспровержение дворянства. Нелицеприятное свидетельство на этот счет мы находим у Щедрина.

„Странное дело"—читаем мы в „Письмах о провинции":—покуда существовало крепостное право, никому не приходило в голову усомниться в существовании русского дворянства. Это существование заявляло себя целым рядом таких действий, которые самого неверующего человека заставляли верить... Трудно было не поверить тому, что всегда стояло, как живое перед глазами то в виде помещика, творящего суд и расправу, то в виде исправника, творящего суд и расправу, то в виде судьи или заседателя творящих суд и расправу.

Это было сословие, как бы предназначенное природой для суда и расправы; оно одно имело возможность пред'являть некоторую силу среди общего бессилия, некоторую инициативу среди общего безмолвия. Но главная и самая характеристическая черта, которая проходит сквозь всю историю этой корпоративной силы, заключается все-таки в том, что, однажды устроившись, она до самого конца осталась при этом устройстве, занимаясь повторением задов и ни разу не поставив себе вопроса, возможно ли для нее дальнейшее развитие, в каком именно смысле и в какую сторону? Будущее для нее не существовало.

„Но будущее имеет за собой то неудобство, что оно непременно является в срок. В настоящем случае, оно пришло в виде упразднения крепостного права—и что же оказалось? Что одного удара было достаточно, чтобы ослабить все связующие нити, что вместе с исчезновением крепостного права, исчезло и дворянство!“

И, конечно, старое дореформенное дворянство, как первая экономическая сила государства, обладавшая к тому же огромными привилегиями, как его единственный культурный представитель—исчезло. Но, наперекор фактам жизни, осталась дворянская идея и она-то, при первых признаках реакции, подняла голову. Эта дворянская идея слагалась из нескольких элементов. Прежде всего из элемента обиженности, потому что, хотя за крестьян было заплачено и заплачено очень щедро, хотя, в виде выкупных платежей, дворянство получило более 400 миллионов и почти столько же в виде железнодорожных концессий и ссуд из земельных банков, однако крепостное право по общему мнению представляло из себя такое устройство человеческой жизни, что лучшего ничего и не выдумаешь и потому потери его не могли вознаградить никакие миллионы. Крепостное право, как нечто устойчивое, обеспечивало, полагалось, все будущее дворянство; деньги в его руках не удержались и только раззадорили аппетит. Второй элемент дворянской идеи заключался в том, что государство обязано содержать и кормить всех дворян, без различия пола и возраста. Этот элемент, конечно, самый существенный, и как только упала горячка 60-х годов, замолкли либеральные фразы, а выкупные свидетельства были проедены; мы видим поучительное зрелище—движение дворянства в города и преимущественно столицы на службу или вернее на корм.

„Неизбежным последствием дворянского оскудения,—пишет г. Головин,—было искание благ насущных вдали от родных гнезд—искание, за которое наиболее расторопные из помещиков и принялись весьма усердно.

„Шло оно по двум главным направлениям—в сторону государственной службы, где пристроиться особенно старалось молодое поколение, и в области деловой спекуляции, манившей к себе преимущественно зрелых представителей дворянства. Как раз в половине 60-х годов на том и другом поприще открылись широкие виды на обильную жатву. Реформы значительно размножили административно-судебный персонал, обставив новые должности и сытными окладами, а разрастание железнодорожной сети значительно увеличило тяготение провинции к столице. Это тяготение и вызванный им усиленный обмен не только людей, но и товаров, между деревней и городом, в свою очередь создало, прежде совсем неизвестные, источники обогащения.

„Сидевшее по своим углам провинциальное дворянство протерло глаза, почуяв негаданную добычу. Возможность приобрести несколько учредительных паев в железнодорожной концессии или пристроиться к какому-нибудь вновь открывшемуся банку, блестящим миражем проносилась пред восхищенными глазами старосветских помещиков, которым прежде и во сне не снились сказочные суммы, теперь представлявшиеся уже не во сне только, а и на яву. В то же время вести о новых местах и неслыханные прежде оклады по судебному финансовому и другим ведомствам, давали надежду обеспечить сынков, которым уже не сиделось в деревне и прежняя карьера армейского кавалериста, да украшение сельских досугов прелестями разных Палашек и Матрешек, казались очень уже мизерными. Аппетит разыгрался и у детей, и у отцов, и разыгрался не потому только, что дома наступило оскудение, а потому в особенности, что далекая прежде столица, стала такою доступною, благодаря чугунке. Я охотно бы даже сказал, что не оскуднение вызвало эмиграцию в Петербург, а как раз наоборот, пробуждение новых потребностей и погоня за мишурными приманками столицы, вызывали бросание имений на произвол судьбы и потому разорили помещичьи хозяйства. Как бы то ни было, надежда обогатиться разом, вдруг, естественным образом должна была обусловить и готовность достичь такого обогащения, каким бы то ни было путем. Погоня за успехом, во что бы то ни стало, не могла не подействовать разрушающим образом“.

На интеллигентное движение надвигался беззастенчивый карьеризм и разгулявшиеся аппетиты. И оно было беззащитно, потому что его подавляла масса, а что еще хуже: *правительство, отвернувшись от него, стало относиться к нему сначала подозрительно, а потом и прямо враждебно.* Это сразу должно было изменить положение вещей и, очевидно, не к выгоде для людей 70-ых годов. Но было и еще в жизни нечто, если не в одинаковой степени заметное, то в одинаковой—крупное и стихийное. Я говорю, конечно, о той новой общественной силе, которая успела так сказать оформиться и выступить на сцену жизни (и для многих, конечно, совершенно неожиданно)—это сила русской буржуазии, русского мещанства.

Куда-нибудь да пошли 400 миллионов выкупных платежей и столько же миллионов земельных ссуд. Пошли они на

упрочение русского кулачества и русского капитализма. Из своих подвалов и лавок, из своей скрытой застеночной жизни купец вышел на улицу и скоро эту улицу себе подчинил. Барин все же держал его в передней: теперь ему не мешали не только зайти в гостиную, но и рассесться там чуть ли даже не в переднем углу. Что он нес с собою? Конечно, на первых порах только дух хищнической наживы, торгашеского расчета и того узкого практицизма, который знает, что рубль должен дать рубль, и больше ничего не знает. Вместе с карьеризмом дворянства эти вот разнузданные торгашеские инстинкты и составили господствующий дух времени. Бороться с ним и победить его хотела интеллигенция. Из каких элементов состояла она в эту эпоху?

Конечно, не все дворянство пошло по пути карьеризма и не все оно сосредоточило свои думы на прокормлении. Рядом с дворянской идеей была сильна, хотя и не в одинаковой степени, культурная традиция. Эта культурная традиция, исполненная еще воспоминаниями об интеллигентном движении тридцатых и сороковых годов, как бы напрягла теперь все свои силы и, видя себя окруженной врагами извне, теснимая предателями изнутри, создала один из самых красивых, хотя и болезненных русских типов— *тип кающегося дворянина.* Тут—голос совести, встревоженной воспоминаниями о неправде предков, тут бескорыстнейшее благородство, тут надрыв души, то самообожавшей себя всей полнотой самообожания, то презиравшей себя всей полнотой презрения.

В кающемся дворянине прежде всего и слышнее всего голос совести. Он спрашивает себя, откуда у него образование, откуда культурные стремления, откуда тонкость вкуса, откуда благороднейшие побуждения, и на все это у него готов один ответ: „все оттуда же, все из условий крепостного состояния, в котором целые века томился народ, и этот народ безропотно, а часто и самоотверженно кормил, одевал, услаждал моих предков, а они расплачивались за это зуботычинами, кровавыми расправами на конюшне, полным пренебрежением к личности человека“... Он может, конечно, успокоить себя вот каким рассуждением: „мои приятели, крепостные Федька и Яков проданы, и этою ценою оплачено мое воспитание: таким образом создался образованный гуманный, развитой, либеральный молодой человек, который, выйдя на стезю жизни, еще более расширит предел гуманности, образованности, развития

и либерализма",—но он не хочет, не может сделать этого. Его мучит совесть. Его тяготит дворянское происхождение. Он знает, что он должен ответить за все это, должен искупить вину. И он спешит, торопится, хотя каждый шаг дается ему нелегко. Он точно взбирается на высокую гору и часто лишь отчаянным приступом, надрывом берет крутизны:

„Но во имя правды,—восклицает он,—пожалуйста, не говорите о „веселой торопливости". Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпел впоследствии, вспоминая жидовские проклятия, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое... Нет, тут не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да как же не торопиться? Как не торопиться из угарной комнаты, когда голову ломит, дышать трудно, ноги подкашиваются? Как не кричать: воздуху! воздуху! света! Как не каяться, если совесть мучит? Пусть она мучит вздором и неправильно, да ведь мучит. Это—факт"...

Историческое прошлое русской барской интеллигенции (разумеется, в лице лучших ее представителей), доказало, что вопросы совести (начиная с Радищева), не только не чужды ей, а напротив того, самые для нее близкие и родственные. Стоит вспомнить имена Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Герцена, характеристику декабристов в известном стихе, „хлеб, возделанный рабами, не шел им в прок" и, наконец, Толстого со всеми его исканиями, самобичеванием и т. д.—чтобы сделать эту истину очевидной. Что же удивительного, если—вполне согласно с исторической традицией—вся работа духа у кающегося дворянина подчинилась голосу встревоженной совести? Отсюда предстояло два выхода—или упорная работа самосовершенствования, или другая более широкая работа в виде *расплаты* перед народом за грехи прошлого. Кающийся дворянин выбрал под влиянием обстоятельств последнее.

„Вот замечательный и, смею сказать, исторический факт: в то время, когда Писарев и другие изыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной от всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу в жизнь, в то самое время, все эти Помяловские, Решетниковы, Щаповы, Нибуши и проч. знать не хотели никаких эпитемий и знакомились с белой горячкой. Они были полны ненависти и были правы в своей ненависти. Их не могло мучить сознание личной ответственности за свое общественное положение, их могла душить только злоба за искалеченную жизнь. Но они были все-таки близки нам, именно своею ненавистью, и из

этой близости возникали чрезвычайно странные столкновения. Прежде всего, они нас спасли от окончательного погружения в писаревщину. Мы готовы были совершенно закупориться в тесную раковинку собственной чистоты, примирившись с тем фактом, что в нижнем этаже того самого здания, где мы себе устроили уютное гнездышко, живет непроглядное невежество, безысходная нищета. Но разночинцы выходили именно отсюда, из этого страшного подвала, и вносили с собою струю свежего воздуха. Так что они, со всем своим пьянством и буйством, спасали нас“.

Эти Помяловские, Решетниковы, Щаповы спасали, указывая путь искупления, пробуждая в барской душе несвойственные ей резкие и решительные чувства, собственной своей искалеченной судьбой напоминая кающимся, что

„Для того, чтобы из меня гениальный комок нервов выработался, нужно кому-нибудь снять с меня весь физический труд, необходимый в данную минуту, то-есть нужны Федьки и Яковы, не крепостные, так „вольные“, но во всяком случае, приспособленные к стихии физического труда и превосходно с ней справляющиеся“.

Такова этическая почва, на которой выросло народническое движение 70-х годов. Это была почва истерзанной совести, расплаты, жажды искупления и *жаления.*

Тут не только любовь и уважение к мужику, не только печалование об его участи,—тут нечто большее, я бы сказал даже, мистическое тут жаление, жалость до боли, до самопожертвования, тут плач об исчезающих устоях народной жизни, непримиримая обида, наносимая сердцу человеческому самодовольным ходом жестокой действительности, тут жажда верить во что бы то ни стало, несмотря ни на что, желание держать мчащийся поезд голыми руками.

Голос совести—вот что слышнее всего. А она не считалась, не соразмеряла сил.

„Надеялись на народ, на самих себя—интеллигенцию. На мужика надеялись потому, что его идеализировали, а это было вполне естественно в „кающихся дворянах“ по отношению к тем, перед кем они каялись. Этого мужика горячо любили за надежды, которые на него возлагались, и за тот грех, в котором себя перед ним винили и, может быть, еще горячее любили за те страданья, которые он перенес в прошедшем и переносил в настоящем: любили-жалели. Самих себя—интеллигенцию тоже любили, но лишь постольку, поскольку отрекались от себя, скидали с себя барские „ризки“, „сливались“ с народом, делая его дело... Под интеллигенцией разумели всех... „хороших“ людей. В горячей любви к мужику, в великих надеждах коренился источник и великой способности к самопожертвованию... К середине 70-х годов жизнерадостности уже было

немного. Надежды оставались, но уже были не розовые: они как бы светили сквозь какой-то мрачный туман от тех трагедий, которые чуялись в воздухе.. Не одна уже была введена поправка, не мало было сделано оговорок. Но все-таки надежды были великие. Лирическое, пробавлявшееся одним собственным настроением народничество, уступило место критическому. Последнее уже видело, что община—это „чорт знает что, а не община“, но еще держалось—и теперь нам видится, пожалуй, здесь какой-то порыв отчаяния—держалось за надежду—„бессознательную красоту ржаного поля“, стихийное благообразие форм народной жизни превратить в сознательную красоту и благообразие, и сделать это могла и должна была интеллигенция, которая для того сама должна стать свободной“... *Неведомский.*

Все это так, но в высшей степени, с надрывом даже. Иначе, впрочем, и быть не могло. Интеллигентные стремления имели против себя: 1) нежелание правительства продолжать дело реформ, 2) новый факт жизни—ее „окапитализирование“, так сказать, 3) господствующий дух торгашеской наживы и карьеризма.

Словом, оно имело против себя все деятельные, организованные силы общества. А за себя? Верили и думали, что „за себя“ был народ, хотя эта вера и эти думы были совершенно фантастические. Но все равно они были и были именно в безмерной степени—в такой же, в какой была вера и в себя, интеллигенцию, и в науку, и во *власть человека над жизнью.* Возьмите хотя бы такую вот программу: „русская интеллигенция и русская буржуазия не одно и то же и до известной степени даже враждебны и должны быть враждебны друг другу: предоставьте русской интеллигенции свободу мысли и слова, и может быть, русская буржуазия не с'ест русского народа; наложите на уста интеллигенции печать молчания, и народ будет наверное с'еден, и вы поймете, чем была русская интеллигенция в своих собственных глазах.

Шли к мужику, раздавали свои имения, надеясь обновить себя, успокоить встревоженную совесть, отрешиться от „проклятого“ барства, а потом чем дальше, тем больше, тем напряженнее шли к мужику осуществить идеал крестьянского царства. На мужика надеялись, его идеализировали, считали его носителем не только „зоологической правды“, правды, выработанной властью земли и веками общинной жизни, но правды вообще, способной обеспечить счастье всех. Но мужик спал и спал глубоко в какой-то одури от своего труда и забот. В то время, как интеллигенция шла к

нему с своей гордой, самонадеянной верой, с своей мечтой о возрождении человечества, он был еще в эпохе Даждь бога и молился аллилуевой жене без мысли о собственном достоинстве, собственных правах—забитый и заколоченный тяготой недоимок, весь—продукт и порождение крепостного права. Он был, по скорбно-саркастическому определению Щедрина, Конягой, поражавшим своей живучестью, и только.

Произошла во всяком случае трагическая встреча двух мировоззрений—народного и интеллигентного, при чем верили и признавали, что народ и интеллигенция могут превосходно столковаться друг с другом. Думали дальше, что мы, интеллигенция, знаем народ.

Точно ли знаем мы его? Можем ли мы его знать? А если мы его знаем, то можем ли мы его понять? Я не говорю уже о глубочайшем фатализме земледельческого миросозерцания [1]), но и

*) Это очень важно, и чтобы фатализм земледельческого миросозерцания не было пустым словом в глазах читателя, напомню хотя бы следуюшие вот строки из сочинений Гл. Успенского; „Корнем влияний (на мужика)—говорит этот замечательный писатель,—я должен был признать природу. С ней человек делает дело, непосредственно от нее зависит — чему же она его учит? Она учит его признавать власть *и притом власть бесконтрольную своеобразную, капризно прихотливую и бездушно жестокую.* В самом деле, чего только не выделывает природа над Иваном Ермолаевичем! По какому-то необ'яснимому злорадству она, напр., иссушает его ниву, буквально облитую потом. С беспощадной жестокостью она ни день, ни два, а два—три месяца под ряд томит его ежеминутно, ежесекундно мыслию о голоде, о нужде, томит и молчит... Ежедневно она без всякого милосердия сулит ему дождь, урожай, с утра собираются тучи, ходят в небе станицами, громоздятся несметными массами, глыбами, сулят благодать и счастье... Нужно быть на месте Ивана Ермолаевича, чтобы понять ту чисто физическую жажду к этой туче, к этой воде, которую сулит небо, чтобы понять его страстную муку, страстную внимательность к этому небу, к этой туче... Вот, наконец, она собралась, вот она тронулась и обложило небо со всех сторон, она гремит и сверкает, она дышит влагою, Иван Ермолаевич даже собственным горлом чувствует эту влагу и воду, жаждет-жаждет и ничего! Прошла туча!.. И все это с безбожнейшим несправедливейшим равнодушием... Терпи, Иван Ермолаевич! И Иван Ермолаевич умеет терпеть, не думая, не об'ясняя, терпеть беспрекословно.

„Он знаком с этим выражением на факте, на своей шкуре, знаком до такой степени, что решительно нет возможности определить этому терпению более или менее точный предел", Или: „...Случайности в природе он (мужик) сосредотачивает в боге, случайности всевозможной политики—в царе. Царь пошел вое-

кроме него, как об'яснить эти буржуазные, мещанские, накопляющие инстинкты русского крестьянина, как об'яснить то, что стоит только человеку из народа отшатнуться от него, и он начинает маклачить и кулачествовать? Какую дальше цену придать этим инстинктам?

Щедрин сурово напоминает хозяйственному мужику, что не о едином хлебе жив бывает человек. Но мужик, конечно, этот самый насущный хлеб и заботы о нем ставит на первый план своего житейского обихода и не может не ставить его. Тургенев, который знал мужика не хуже наших народников, а пожалуй, что и получше их, писал как-то Герцену: „Народ, перед которым вы преклоняетесь, консерватор par excellence и даже носит в себе зародыши такой буржуазии в дубленном тулупе, теплой и грязной

вать, царь дал волю, царь раздает хлеб. Что царь скажет, то и будет: деньги платятся царю, а разбирать, что такое урядник или непременный член—это уже совершенно ненужная подробность“ (т. II, 541). А в пояснение всего этого Успенский говорит: „Повинуйся и повелевай“ до такой степени прочно вбиты природою в сознание Ивана Ермолаевича, что их оттуда не вытащишь никакими домкратами. Непосредственная постоянная связь Ивана Ермолаевича с природой, от которой он единственно почерпает все свои сведения, взгляды, вкореняя в основание всего жизненного обихода Ивана Ермолаевича эти два положения „повинуйся и повелевай“ до такой степени последовательно продолжается в его семейно-общинной жизни, что пошатнуть что бы то ни было во всей этой стройной организации нет решительно ни возможности, ни смысла. Но и кроме этого, читатель должен согласиться, что всякие попытки человека, имеющего в тех же вещах понятия книжные, бумажные и т. д., должны непременно оказаться бесплодными. В ответ на все такие книжные разглагольствия Иван Ерм. может ответить *только* одно: „без этого нельзя“, но это „только“ имеет за собой вековечность и прочность самой природы“.

Жаль, что мужика поняли так поздно и нельзя не воскликнуть: „Бедные интеллигенты!“ Потому бедные, что они попали в самое неприятное положение. Они не поняли, да и не хотят понять, что крестьянин есть *собственник*, прежде всего, они дали себя обмануть остатками общинного духа, потребительного хозяйства, артелей и т. д., они думали, что их идеал коммунистического благополучия как нельзя лучше и проще внедрится в народную жизнь. А между тем, на их же глазах деревня делилась на 2 лагеря—хозяйственных мужиков, этих упрямых мелких буржуа, способных к ожесточенному владению собственностью и голь, для которой единственный выход—фабрика. Но что общего между коммунистическим идеалом и хозяйственным мужиком или невежественной неорганизованной голью,—идеалом, который, как это прекрасно доказывается историей, для своего хотя бы кратковременного только осуществления, требует от человека высочайшего под'ема идеалистических и религиозных его стремлений?

избе, с вечно набитым до изжоги брюхом и отвращением ко всякой гражданской ответственности и самодеятельности, что оставит за собой все метко верные черты, которыми ты изобразил западную буржуазию в своих письмах. Далеко нечего ходить—посмотри на наших купцов".

Тот же Тургенев написал „Новь"—это удивительное произведение нашей литературы, бесконечно грустную сатиру на наше народничество. Однако о „Нови" было принято не говорить, а над Тургеневым было принято подсмеиваться, в чем, между прочим, не раз упражнялся и г. Михайловский.

Но если Тургенев прав, если наша вышедшая из народа буржуазия способна заткнуть за пояс даже западную буржуазию, потому что она дика, как лесной зверь,—то не смешно ли самое предположение, что кающийся дворянин Нежданов, голова которого набита сенсимонизмом и проектами архитектурных чудес XV-го века, может столковаться с Хорем, любящим жилой запах? А Хорь—это сила, действительная жизненная сила, не считаться с которой просто смешно: сын его откроет кабак или лавку и не ударит в грязь даже в роли господина Губонина, будет превосходно играть на струнах народолюбия и приобретать акции, очарование которых для него, разумеется, милее, чем очарование жилого запаха.

Умственный мужик идет в буржуазию—вот жизненный факт, теперь слишком очевидный, чтобы его оспаривать, но совершенно незаметный для интеллигенции 70-ых годов. Не то, чтобы она не знала его, а просто знать не хотела, он не пугал ее, не входил необходимым элементом в ее мышление, он не существовал для нее, а если и существовал, то лишь как „грустное явление", „как ненормальность", как материал для нравственного суда и и нравственного осуждения. И догмат: „интеллигенция и народ могут превосходно столковаться друг с другом"—не возбуждал вначале никаких сомнений.

Не хотелось бы этого говорить, а надо: на сцену выступает почти невероятное самомнение интеллигенции и, заметьте—интеллигенции очень немногочисленной и в массе своей жестоко-некультурной, набиравшейся с бору да с сосенки. На ее стороне было несколько крупных литературных талантов, несколько проблематических обобщений несуществующей науки—социологии и

жажда самопожертвования—вот все, что было на ее стороне. Была еще обида за жестокость жизни, была и жалость к народу, при полном ее непонимании. Думали, напр., что земледельческое миросозерцание крестьянина радостно прилепится к высшим и даже коммунистическим формам общежития, а вот Успенский, сам из числа мечтателей, говорит, что по строгой логике своего земледельческого миросозерцания ответ мужика „колебателю той или другой из основ должен непременно выразиться в представлении этого самого колебателя по начальству“ (т. II с. 550). Разберитесь вот хотя бы в этом одном противоречии, и вам станет ясна вся шаткость надежд и упований наших народников. Но и понятна в то же время вся настойчивость *героической* проповеди с их стороны, все признание, что вера двигает горами, потому что, кроме как на это, не на что было бы и опереться. Эта проповедь героизма выходила не только из больной совести кающегося дворянина, не только из гнева, жажды отмщения и жалости разночинца, но и из смутного сознания, что воистину надо горы сдвинуть с места. Потом, вера не могла не ослабеть и на сцене лишь невозможность примирения, лишь отчаяние, несущее гибель... Тут уже нравственная эстетика на первом плане, красота порыва и отваги, противопоставленная прозе буден и серого, за себя дрожащего, существования и гложущая жалость сердца.

Философия критической личности.

В литературном отношении эпоху 70-ых годов можно начинать с 1860-го года, когда умер Писарев, появились „Отечественные Записки“ под обновленной редакцией Некрасова, Елисеева, Щедрина—и Арнольди. Лавров напечатал в „Неделе“ свои замечательные и глубоко характерные для эпохи „Исторические письма“.

Точка зрения „Исторических писем“—одного из первых на русском языке философско-исторических произведений—несмотря на броню, надетую на нее высоко образованным автором—чисто этическая. Это спряжение глагола „быть должным“. Это горячий, полный веры призыв к борьбе во имя прогресса, целью которого об'явлено общечеловеческое счастье. Это нечто большее, это призыв к расплате за те жертвы, которые уже принесены людьми в

их прошлом во имя все еще неосуществленного идеала, т.-е. идеи, которая не могла не приттись особенно по душе кающемуся дворянину. Это утопия, в которой нельзя не видеть ни огромной требовательности по отношению к каждому отдельно человеку, ни ясного желания задеть его совесть, представляя ему безмерность цены прогресса и выставляя на вид всю полноту его нравственной ответтственности перед страданиями прошлого и настоящего. То было тяжкое бремя, добровольно возлагаемое на себя. „Современник,—говорилось тогда,—помни, что у тебя нет ничего *собственного*. Все, чем ты гордишься, все, что доставляет тебе наслаждение, весь комфорт, которым ты пользуешься, крититическая мысль, освободившая тебя от предрассудков, — все это стоит страшно дорого и стоит на твоем личном счету. Расплатись же по этому счету, если у тебя есть честь, совесть, сознание собственного достоинства"... Каков, как не этот, мог, действительно, быть смысл такой вот речи:

„История не кончена. Она совершается около нас и будет совершаться поколениями, растущим и еще не родившимся. Настоящее нельзя оторвать от минувшего, но и минувшее потеряло бы всякое живое и реальное значение, если бы оно не было неразрывно связано с настоящим, если бы один великий процесс не охватывал историю в ее целом. Умерли деятели минувшего. Изменилась культура общества. Новые конкретные вопросы стали на место прежних. Девизы минувшего изменили смысл и значение. *Но общечеловеческая роль личностей в настоящем осталась та же, что была за тысячи лет.* Под пестрыми формами культуры, в сложных вопросах нового времени, под разнообразными девизами побежденных и победителей скрыты все те же задачи. Вне истины и справедливости прогресса никогда не существовало. *Без личной критики не добыта ни одна истина. Без личной энергии не осуществилось ничто справедливое. Без веры в свое знамя и без уменья бороться с противниками не восторжествовала ни одна прогрессивная партия.* Формы культуры требуют для своего развития работы мысли, как и в минувшие тысячелетия. Великие точно так же мало застрахованы от опасности потерять или заменить свой смысл. Общественные условия для возможного прогресса не изменились. *Требования уплаты за прогресс не могут быть игнорируемы развитою личностью*"...

Любопытно отметить, как настойчиво повторяется слово „уплата“ в проповедях того времени и как охотно даже серьезные люди принимают тон моралиста и проповедника. Создаются формулы прогресса, сочиняются философско-исторические труды, и все это имеет единственною, главнейшею целью воздействовать на совесть слушателя, пробудить уснувшую или непросыпавшуюся еще, поддержать колеблющуюся. Атмосфера была насыщена нравственною ответственностью, и считалось чем-то пошлым и прямо буржуазным говорить о праве каждого на личное счастье.

Арнольди постоянно и настойчиво возвращается к мысли о цене прогресса, о жертвах, понесенных человечеством.

„Дорого,—продолжает он,—заплатило человество за то, чтобы несколько мыслителей, в своем кабинете, могли говорить об его прогрессе. Если бы счесть образованное меньшинство нашего времени, число жизней, погибших в минувшем в борьбе за его существование, и оценить работу ряда поколений, трудившихся только для поддержания своей жизни и для развития других, и если бы вычислить, сколько потерянных человеческих жизней и какая ценность труда приходится на каждую личность, ныне живущую несколько человеческою жизнью,—если бы все это сделать, то, вероятно, иные наши современники ужаснулись бы при мысли, *какой капитал крови и труда израсходован на их развитие.* К успокоению их чуткой совести служит то обстоятельство, что подобный расчет невозможен.

„Впрочем, следует ужаснуться не тому, что прогресс меньшинства обошелся дорого, но разве тому, что он обошелся так дорого и что за эту цену сделано так мало. Если бы меньшинство ранее и старательнее позаботилось о распространении около себя развития, приобретенного в области культуры и мысли, то число потерянных жизней и труда было бы не так велико, сумма, приходящаяся на каждого из нас, была бы менее, и не увеличивалась бы так громадно с каждым поколением. Над законами естественной необходимости мы не властны, а потому рассудительный человек должен с ними помириться, ограничиться их спокойным исследованием и, насколько возможно, воспользоваться ими для своих целей. Не властны мы и над историей, прошедшее доставляет нам лишь факты, которые могут нам иногда служить для исправления будущего. За грехи отцов мы ответственны лишь

настолько, насколько продолжаем эти грехи и пользуемся ими, не стараясь исправить их последствий. Мы властны в некоторой степени лишь над будущим, так как наши мысли и наши действия составляют материал, из которого организуется все содержание будущей истины и справедливости. *Каждое поколение ответственно перед потомством за то лишь, что оно могло сделать и чего не сделало.* Поэтому и нам, в виду суда потомства, предстоит решить вопросы: какая доля неизбежного, естественного зла лежит в том процессе, который мы называем громким именем исторического прогресса? Насколько наши предки, доставившие нам, цивилизованному меньшинству, возможность воспользоваться выгодами этого процесса, без нужды увеличивали и продолжали страдания и труды большинства, выгодами прогресса никогда не пользовавшегося? В таком случае ответственность за это зло может пасть и на нас в глазах будущих поколений.

„В виду этого мы должны признать, что выгоды современной цивилизации оплачены не только неизбежным злом, но еще огромным количеством совершенно *ненужного* зла, ответственность за которое лежит на предыдущих поколениях цивилизованного меньшинства, частью по беззаботности, частью по прямому противодействию всякой цивилизующей деятельности. Исправить в прошедшем это зло мы уже не можем. Страдавшие поколения умерли, не облегченные в своем труде. Нынешнее цивилизованное меньшинство пользуется их трудом и страданиями. Мало того; оно пользуется еще страданиями и трудом огромного числа своих современников и может влиять на увеличение труда и страданий их внучат. Так как за это последнее обстоятельство мы несли и будем нести нравственную ответственность перед потомством, то историческое исследование цены совершавшегося прогресса приводит к следующему практическому вопросу: какие средства имеет настоящее поколение, чтобы уменьшить свою ответственность? Если бы живущие личности различного развития спросили себя: что нам делать, чтобы не отвечать перед потомством за новые страдания человечества?“

Чтобы не нести этой страшной нравственной ответственности и чтобы расплатиться за прошлые жертвы, человек должен знать, что главным деятелем прогресса является критически мыслящая личность, которая ставит цели (идеал) и осуществляет их.

По прямолинейности—это почти писаревская точка зрения. Критическая мысль превознесена, ей воспет гимн, на нее возложены все упования. Если она разрушила родовой строй, создала науку, искусство, воспитание, разделение промышленных работ, политические формы государственной жизни, то можем ли хоть на минуту сомневаться в ее великом предназначении для будущего. Посмотрите, как тщательно удалены все бесчисленные элементы культурной эволюции—деятельность подражания, самостоятельное развитие форм жизни путем развития внутренних противоречий и т. д. Только критическая мысль об'явлена всемогущей, только в ней сосредоточилось все доброе истории. Она выработала, вырабатывает и выработает еще обстановку общего счастья и благоденствия. Конечно, ей отводится первое место и в разрешении экономических неудобств и зол нашей жизни...

Опровергать тут в сущности нечего. Это — вера целой эпохи, такой далекой от нас по своему духовному строю, что нам почти невозможно проникнуть в ее истинное настроение. В этих нескольких неуклюжих гимнах Арнольди чувствуется и живое слово, и „дух жив", чувствуется вера, исходившая из таинственных глубин человека. Это не фразы, не набор слов, не систематическое изложение тех и других взглядов—это нетерпеливый, нервный катехизис, бывший так страшно нужным для людей, считавших себя призванными делать историю и нравственно ответственными за ее ход, за все прошлые и современные им страдания человечества... Измученная совесть кающегося дворянина, старо-барская щедрость значительно пресыщенного и утомленного духа, интеллигентная гордость разночинца, смело противоставившая свою критику „векам и народам"—все соединилось для того, чтобы создать эти искренние, светлые и бодрящие призывы. Можно целиком отрицать эти мысли, можно не видеть в них ни крупицы научности, но нельзя смеяться над восторженными речами фанатика, готового умереть за свои иллюзии и призраки.

Эта вера,—повторяю, — поражает своею огромностью и, быть может, причиной этой огромности было то, что выросла она на чисто нравственной почве ответственности перед счастьем и злополучием людей. Не были спокойны люди, мучительно тревожились они, видя себя окруженными несчастием и страданием. Страшно ненавидели они всю эту скверность жизни, всю ее же-

стокость, и их ненависть была тяжелой болезнью. Ничто не ослабляло ее, кроме мысли, что зло и неправда сейчас же должны быть упразднены, что люди для этого могут и должны пожертвовать даже личным своим бытием. Нравственные начала окрашивали собою проповедь, в этих воззваниях слышался упрек равнодушию и обещание блаженства. Они усиливались еще воспоминаниями о жертвах, уже принесенных Молоху цивилизации, и эти воспоминания, очевидно, стремились пробудить совесть, стыд и вдохновить на новые подвиги устававших борцов...

Я думаю, что представления эпохи о смысле жизни, способах борьбы со злом, счастье личном и общечеловеческом имеют огромное значение для ее понимания. Эта философия истории отражается и в критике, и в поэзии, и беллетристике. Это центральный пункт, который суммирует в счастье. Не зная философии истории данного времени, вы не знаете его психологии. Поэтому я позволю себе еще немного остановиться на учении Арнольди о прогрессе, точнее же о формуле прогресса, почти без перемены принятой в настоящее время многими, напр., Максимом Ковалевским.

„Чтобы ответить на вопрос, в чем мог состоять прогресс, приходится прежде всего определить его элементы и отыскать в разнообразных процессах, охватываемых словом, развитие, то, что для нас представляет стремление к лучшему“.

„Здесь нам представятся два процесса, в которых мы не можем не признать, с первого же взгляда, процессов прогрессивных, но которые как бы различаются настолько, что могут оказаться противоречивыми и действительно входили между собою в столкновение в реальной истории“.

„Пред нами рост личной мысли, с ее техническими изобретениями, с ее научными завоеваниями, с ее философскими построениями, художественными созданиями и нравственным героизмом. Пред нами солидарность общества с ее основными побуждениями: „каждый за всех, все за каждого“, „всем все необходимое для жизни и развития, от каждого все его силы для работы на общественную пользу, для общественного блага, для общественного развития“.

„Рост сознательных процессов в личности, развитие личности в области мысли, есть бесспорное для нас явление прогресса. Те условия, которые обеспечивают наибольший и наибыстрейший рост личной мысли в человечестве, суть, вследствие этого, условия прогресса.

„С другой стороны, прочность общественной связи является необходимым условием здорового существования общества и благосостояния особей, в него входящих. Поэтому все, скрепляющее эту связь, является нам элементом благодетельным, прогрессивным; все, ослабляющее эту связь, все, вызывающее вражду

в обществе, создающее неравенство в его среде, есть для нас явление патологическое, регрессивное. Идеалом общества является для нас в этом отношении общество личностей равных, солидарных друг с другом по своим интересам и по своим убеждениям, живущих при одинаковых условиях культуры и устранивших, по возможности, из своей среды все враждебные друг другу эффекты, всякую форму борьбы за существование между членами общества".

Таким образом: „*Прогресс есть рост общественного сознания, насколько оно ведет к усилию и расширению общественной солидарности, он есть усиление и расширение общественной солидарности, насколько она опирается на растущее в обществе сознание. Органом прогресса является развивающаяся личность, вне деятельности которой прогресс невозможен, которая, в процессе развития своей мысли, открывает законы общественной солидарности, законы социологии, прилагает эти законы к современности, ее окружающей, и в процессе развития своей энергии находит пути практической деятельности, именно перестройки окружающей его современности во имя своего знания*".

Важна, впрочем, для нас не сама формула, важно положение, что „вне деятельности развивающейся личности прогресс невозможен", и из этого простого социологического положения вытекала уже вся этическая система Арнольди. Во имя своего долга перед человечеством, во имя своей ответственности перед принесенными уже жертвами личность обязана стремиться к развитию. Это развитие дает ей истинное наслаждение собственного сознаваемого роста и вместе с тем вызывает желание и потребность предоставить возможность и условия развития *всем* людям, которые по своей внутренней ценности равны и одинаковы. Высшим проявлением нравственной деятельности является поэтому творчество новых социальных форм, т.-е. форм, наиболее способствующих возможности общего развития, в непрестанности и успешности которого находятся все условия человеческого счастья.

Народничество.

С значительным основанием можем мы смотреть на народничество, как на синтез, или, вернее говоря, как на попытку синтеза двух основных течений русской мысли: западничества и славянофильства. Разумеется, это замечание относится только к теорети-

ческой части народничества, которое, однако, никогда не имело вида строго разработанной, систематизированной доктрины. Это было учение чисто органическое, т.-е. такое, которое отвечало не одним потребностям рассудочной мысли, а и потребностям воли, т.-е. мечты, надежды, стремлений. Воспитанные преимущественно на образцах западной мысли, на теориях французских утопистов, как на фундаменте,—народники продолжали дело западников, развивая и обостряя их критику окружающих условий, относясь с полным и непримиримым отрицанием ко всей совокупности и ко всем частностям доктрины официальной народности. Только в России неофициальной, *крестьянской* прежде всего,—они видели существование таких устоев, опираясь на которые, по их мнению, можно было питать самые смелые надежды. Этими устоями были артель, община, кустарная промышленность и иные остатки „первобытного хозяйства", как называют это явление западные социологи. Это сближало народников с славянофилами.

Что же отличало народников 70-х годов от народничества-социализма 60-х, главным представителем которого был, как мы видели, Чернышевский? Не программа—нет. Программы тех и других совпадали по всем существенным пунктам. Но разница во времени вызвала и различие в настроении. Народничество 70-х годов имело перед собой уже совершившийся факт—капитализации русской промышленности, а отчасти и земледелия. Для Чернышевского же это было дело будущего, устранение которого вполне находилось во власти людей. И потому там, где Чернышевский обращался к разуму для предупреждения и устранения, народники должны были звать к борьбе, к героическим порывам и поступкам, которые не только бы направили жизнь по надлежащему руслу, но и повернули бы ее с одного русла на другое.

Рационалистическая этика 60-х годов заменилась героической и абсолютной 70-х.

Народничество как народолюбие, как признание за народом первенствующего значения в общественной и государственной жизни, как стремление опереться на народные уклады жизни, не представляло из себя чего то единого, а напротив того, разделялось на толки и направления, усиленно даже враждовавшие

одно с другим. Многое разделяло и прежде всего самое понятие народа.

Понятие *народа* в русской литературе—категория чисто историческая. С какой-то странной, чисто механической правильностью оно менялось каждое десятилетие,—на которые судьба подразделила ход развития русской мысли. От народа—„Идем—бежим“, перешли к народу-Горемыке; затем верили в народ, исполненный стремления к свободе, с затаенным, но сильным чувством собственного достоинства (Добролюбов и его школа), явился, наконец, народ-учитель, перед которым оставалось только снять шапку и низко-низко поклониться в тайной надежде, что он своей вековой мудростью, бескорыстием своей правды, выросшей на почве вековых страданий, излечит интеллигентную душу от всякой скверны и убелить ее более снега. Так и сделали Достоевский, Толстой и одновременно с ними в грубой, топорной форме—почему-то так безжалостно забытый и всеми пренебрегаемый (даже народниками, которым уж оно совсем не к лицу)—И. Юзов. Нечего, конечно, и говорить, что одинаково представление о народе, как о стаде и быдле ни на минуту не покидало известную часть нашей литературы, но как ни могущественна была эта „*часть*“ в сфере своей специальности,—на общественную мысль собственно она оказывала влияние самое незначительное. Не то, конечно, на административные меры...

Впрочем, как ни различны определения понятия „народ“, в основе его *всегда лежало и лежит еще понятие простонародья и мужика*. Это своеобразное наследие нашей истории, остаток дореформенного кастового строя, отрешиться от которого мы никак не в состоянии.

Как ни различны определения от „народ—это мужик“, до „народ—это трудящиеся классы общества, живущие исключительно на заработок“, но для народничества собственно они не характерны. Характерно такое определение: *народ—это трудящаяся крестьянская масса, живущая в особых экономических* (общинное землевладение, артель, кустарная промышленность и т. д.) *и обычно правовых* (мир) *условиях*. Народники верили, что эти экономические условия представляют из себя своего рода *устои*, почему одной из основных догм народничества была такая:

Для нас русских, путь западного экономического развития не обязателен. Мы можем пойти своим путем, опираясь на устои крестьянской хозяйственной жизни.

Еще больше, чем понятие народа, разделял действительно трудный вопрос: с чем следует (или следовало бы) согласоваться— *с мнениями или интересами народа?* В различных решениях этого вопроса особенно ясно отразилось преобладание славянофильской или западнической струи. Начну с преобладания первой.

И. Юзов. (О. И. Каблиц). (1848—1893). В одном из некрологов Юзова-Каблица мы читаем:

„*Народничество*—любимый термин покойного, было символом любовного и внимательного отношения к народу, прислушивания не к одной только нужде его (радикальное направление), но и к его думам, чувствам, всему нравственному и умственному строю, без какого-либо признания за собою права насильственно изменять его, но и без чувства обязанности быть с ним безусловно слитым—что часто не может быть сделано искренно".

„Достаточно было хотя несколько знать покойного или раскрыть и прочесть несколько страниц из его книги, чтобы почувствовать в собеседнике или авторе прежде и ярче всего золотое сердце. Признаемся, выслушивая иногда его умные и сложные соображения или ссылки на авторитеты, еще недавно так значущие и теперь так поблекшие (как Спенсер и др.), мы никогда не могли быть так внимательны к ним, как этого желал бы покойный; сквозь все эти рассуждения и ссылки мы видели нечто гораздо более светлое и прочное, чем они, — *совесть*, которая никогда и ни с кем его не допустила бы до насилия. Отсутствие притеснения, в какой бы форме оно ни совершалось, от кого бы ни исходило, ради каких бы целей ни начиналось, было краеугольным камнем всего его миросозерцания, всякой беседы, каждой страницы его писаний; и, с тем вместе, он вовсе не был либералом". *В. Розанов.*

Юзов в своем народничестве ближе всего к славянофилам. От народа, его общинно-мирских укладов, его характера он приходил в восторг и умиление. *Общинно-мирские уклады жизни* не были в его глазах формою хозяйственных отношений ни прежде всего, ни исключительно—они *были воплощением нравственной стороны народного духа.* Этот дух высок и крепок; он не ищет материальной выгоды, не соблазняется ею; он ищет и хочет правды жизни. Он достоин того, чтобы в него поверили, чтобы его уважали как святыню. И поэтому *мнения* народа тоже святыня, которая не подлежит никаким ни интеллигентным, ни бюракратическим, ни интеллигентно-бюрократическим экспериментам, ни улучшениям,

Улучшения нужны, конечно, но *сам* народ лучше всего знает, *что* ему нужно, и в этом случае не только необходимо его выслушать, но необходимо и слушаться его. Юзов не то, чтобы отрицал интеллигенцию и ее возможную роль в жизни народа, но он не доверял ей. Он любил распространяться о ее дряблости, книжности, теоретичности, об отсутствии у нее живого знания жизни, заменяемого мертвым знанием журнальных статей; он боялся ее сближения с народом, ее экспериментов. Мечта его заключалась в том, чтобы только помогать народу итти, куда он хочет, куда он сам выбивается. Лучше всего даже не помогать, а только не мешать. Очевидно, что любимая мысль Константина Аксакова о совершенстве нравственных (но не религиозных) основ народной жизни крепко сидела в душе Юзова, и он пугливо отстранялся от всякого „насилия“ над мнением народа все равно с какою бы целью ни производилось оно. Народ он защищал до конца. Готов был защищать даже сожжение колдунов и ведьм, даже обращение с „бабами“. Был же он в конце-концов тем, что мы называем благородным мечтателем, но с очень определенной идеей. Главное его сочинение „Основы народничества“.

В. В. (Воронцов). Воронцов—известный экономист и очень смутный, нудный философ. Им написаны: „Судьбы капитализма в России“, „Крестьянская община“, „Прогрессивные течения в крестьянском хозяйстве“, „Очерки кустарной промышленности“, „Наше направление“. По существу он довольно близок к Юзову и довольно далек от „Отечественных Записок“, где, однако, постоянно работал. Он сам себя называет народником и совершенно основательно.

Основными положениями его народничества являются следующие:

„Интересы народа, как *цель*, формы вырабатываемые его коллективною мыслью, или другие, соответствующие его желаниям, как *средства* и самодеятельность населения, как *рычаг* общественной эволюции—таковы три положение, характеризующие народничество, каким оно определилось в пореформенную эпоху нашей истории. Практическое осуществление этих pia desideria требует умственного под'ема массы, который поэтому и поствален, как главная задача переживаемого момента“. (Н. Михайловский).

Эта программа шире юзовской, культурнее. Народничество Юзова—сермяжное; у Воронцова оно, если можно так выразиться, в немецком платье. Но умиление перед общинным землевладением, но недоверие к интеллигенции, боязнь ее—одинаковы у обоих.

„Изучение,—говорит, напр., В. В.,—обнаружило *в народной среде наличность таких форм быта и таких воззрений,* которые *лучше других,* доселе осуществлявшихся в жизни, соответствуют требованиям, какие можно пред‘явить обществу с точки зрения идеальных представлений о правде и справедливости“.

Нечего и говорить, что из „таких“ форм быта первое место занимает община—этот наш исконный, драгоценный уклад, на самостоятельное развитие которого В. В. и возлагает все свои упования. Поэтому главная его задача сводится к тому, чтобы следить за прогрессивными явлениями в крестьянском хозяйстве и тщательно отмечать их всем на удивление.

Определенного ответа на вопрос, чего надо держаться—*мнений* или *интересов* народа, В. В. не дал. Похоже на то, что этого вопроса во всей резкости для него и не существует. Он успокоился на мысли, что уклады нашей народной жизни лучше других соответствуют идеальным представлениям о правде и справедливости. Такими считает их сам народ, такими должен считать их всякий порядочный человек. Народу прежде всего надо не мешать и содействовать не его экономической эволюции, а лишь умственному развитию.

Близость В. В. к Юзову и славянофильству очевидна. Опять-таки все сводится к выуживанию отрадных и прогрессивных фактов крестьянской жизни. Эта близость не раз отмечалась в печати. Напр., по адресу В. В. „Вестник Европы“ говорит:

„Что касается этического вопроса, известно, что именно на этом давно настаивала славянофильская школа, утверждавшая, что русский народ носит в себе высшие нравственные начала, неизвестные европейскому Западу, даже, что он есть единственный истинный христианский народ. Рискованно также сказать, будто бы до народников у наших экономистов и публицистов не было представления об особых условиях экономической жизни русского земледельческого народа. В обоих случаях вернее бы было просто

сказать, что экономисты, называющие себя народниками, только дальше ведут дело исследования, начатое их предшественниками". (Н. Михайловский).

Народники государственники. Программа их очень проста: Инициативу „прогресса" и руководительство им берет на себя государство (т.-е. бюрократия), которое и действует в интересах народа. О самодеятельности народа или о его мнениях тут не было уже речи. Эта программа как бы была списана с деятельности иезуитов в Парагвае: иезуиты обеспечивали новообращенным материальное довольство и спокойствие совести на том условии, чтобы те не рассуждали, не сомневались, не думали, а только слушались. Здесь весь идеал в счастье сытого стада...

Критическое народничество.

Народничество „Отечественных Записок" нечто другое, или, во всяком случае, нечто гораздо более сложное, имеющее с корнем народничества, т.-е. славянофильством лишь то общее признание, что путь западно-европейского экономического развития для нас не обязателен. В программе „От. Зап." гораздо даже более веры в интеллигенцию, в критическую мысль, чем в народ собственно и уклады его жизни, хотя г. В. В., повторяю, постоянно работал в этом журнале. По основному вопросу „кого считать народом?" „От. Зап." в лице г. Михайловского отвечали: все трудящиеся классы общества. По другому вопросу: „держаться ли мнений или интересов народа?" „От. Зап." считали нужным считаться и с теми и другими, склонялись в пользу „интересов". По этому поводу любопытные раз'яснения мы находим в одной из поздних статей Н. К. Михайловского. Напр.:

„Представим себе, что вы, читатель, присутствуете при той „эксплуатации народного невежества" каким-нибудь колдуном, которую г. Юзов расписал даже черезчур яркими красками: не то, чтобы колдун кого захочет отравляет, но, положим, он держит в страхе все окрестное население, верующее в его сверхестественную силу, и берет с него всякого рода дани. В интересах населения, если вы таковые признаете достойными вашего внимания, вы постараетесь упразднить влияние колдуна, и именно для этого должны будете встать в оппозицию к мнению о его могуществе. Представим себе далее, что, по мнению вы-

веденного, наконец, из терпения народа, колдуна надо сжечь. Я надеюсь, что вы не испугаетесь громов г. Юзова насчет „покровительства“ и „писанной торбы“ и решительно не согласитесь с этим мнением народа; и при этом, препятствуя всеми доступными вам средствами совершению варварского преступления, вы будете действовать в интересах народа. В последние холерные беспорядки мнение народа состояло в том, что холеру пускают господа в подзорную трубу, а хлеб раздают голодным слуги антихриста. Вы можете как вам угодно думать о происхождении подобных мнений, винить в их существовании самих „господ“, скорбеть об общем порядке вещей, порождающем такие отношения, но с самыми мнениями согласиться не можете. Именно не можете, хотя сообразоваться с ними, т.-е. иметь их в виду и поступать с соответственною осмотрительностью вам, конечно, придется. И это будет в интересах народа. Не можете вы согласиться и с тем, например, очень распространенным в народе мнением, что муж имеет право „учить“ жену, т.-е. чуть не на смерть ее заколачивать, и т. п. Это не значит, чтобы народ не имел иных мнений, кроме нелепых и безобразных. Это значит только, что, разбираясь в мнениях народа, вы по необходимости одни из них признаете правильными, а другие отвергаете, как неправильные, и иного критерия, как ваше собственное, личное мнение, не имеете и иметь не можете при этой разработке. Ваше мнение может, конечно, оказаться ошибочным, но признаете его таковым вы только тогда, когда вам это докажут, а не тогда, когда укажут на разногласие вашего мнения с чьим бы то ни было, в том числе и с мнением народа. Поступаться своими интересами ради интересов народа или вообще кого бы то ни было—возможно, и при известных обстоятельствах на этой почве произрастают цветы и плоды великодушных подвигов. Поступаться же своими мнениями—фактически нельзя; можно лишь подчиниться чужим мнениям и затаить свои собственные „страха ради иудейска“ или по иным побочным соображениям, при чем очень часто это не только не подвиг какой-нибудь, а дрянная трусость или лицемерие. Поэтому человек, для которого интересы народа священны, совсем не обязан признавать таковыми же и его мнения. Великое для него счастие, если его мнения совпадают с мнениями народа, и великое несчастие, если они расходятся, но изменою своим мнениям эта трагедия не разрешается, потому что верховным судьей конфликта остается все-таки наше собственное сознание и наша собственная совесть. И это фатально, никакими изворотами мысли, а тем более слова—неотвратимо“.

„Отечественные Зап.“ слишком верили в интеллигенцию, в силу и мощь критической личности, которая должна освободить Россию от бедствий западно-европейской экономической эволюции, чтобы непосредственно примкнуть к народничеству. Но у них было народолюбие, было уважение к устоям народной хозяйственной жизни, истинным их героем являлся интеллигент, посвятивший свои силы служению народу и его интересам, они верили, что при энергической работе и героизме критически мыслящих людей, сохраняющих и развивающих народно-хозяйственные устои возможно

миновать стадию капитализма, пролетариата, мещанских правовых форм жизни и устроить здесь на земле крестьянское интеллигентное царство. Впрочем, надо заметить, что в первой половине 70-х годов „От. Зап.“ были гораздо ближе к народничеству, чем во второй или в начале 80-ых.

„Отечественные Записки“ (1868—1884). Перехожу к журналистике и главному органу этого времени — „Отечественным Запискам“. В центре программы этого замечательного журнала стоял „мужик“, „мужицкое счастье“ и то самое крестьянское царство, о котором мечтал раньше „Современник“. Собственно даже „От. Зап.“ были прямым продолжением „Современника“. Их редакция состояла из тех же лиц: Некрасова, Елисеева, Щедрина. Не доставало лишь М. Антоновича и Ю. Жуковского, но их с большим успехом заменил Н. К. Михайловский, в ведение которого с 1870 г. перешло все обществоведение, а отчасти и литературная критика. Мало отличались „Отечественные Записки“ от „Современника“ и по тону, хотя он был несколько сдержаннее и литературно более обработанным. „Современник“ был началом, „Отечественные Записки“ — завершением. Они, в духе времени, говорили о долге, нравственной ответственности, расплате с народом. Они требовали героизма и самопожертвования. Находясь в полной оппозиции к бюрократии, все яснее вступавшей на путь политической и общестенной реакции, они главную свою надежду возлагали на интеллигенцию и на народ. В лице Елисеева они верили, что в народной жизни кроется самовозрождающаяся сила. Интеллигенция лишь должна дать толчок. Отсюда идеализация крестьянства и той части интеллигенции, которая ему самоотверженно служила. *Эта идеализация гораздо больше, слышнее, заметнее, чем в „Современнике“ и, на ряду с полным и окончательным недоверием к официальному государству,* составляет характернейшую особенность физиономии журнала.

Интерес к мужику и мужиколюбие, идеализация крестьянства и вера в него,—а у более скептических умов, страстное желание постичь мужика, чтобы точно знать, как и в какой мере можно на него рассчитывать—были, повторяю, потребностью и насущнейшей потребностью эпохи.

Семидесятые годы вообще находились под знаком „мужика", который и был точкой приложения их сил. Один из современников, живший тогда в провинции, в самом центре России, так характеризует ту эпоху. Характеристика неполная, но интересная.

„Всякий спрашивал себя с недоумением, откуда *это* взялось, и вместе с тем каждый невольно подчинялся тому же настроению. Стоило только сойтись двум-трем интеллигентным людям, хотя бы самого различного общественного положения, начиная с предводителей дворянства и кончая студентами университета, как немедленно же разговор их, точно руководимый какою-то стихийною силою, обращался к мужику, условиям его жизни, его силе и его бессилию. В сущности, только этим и интересовались. Все с грустью чувствовали и сознавали, как недостаточно их знакомство с реальной крестьянской жизнью, поставленной, благодаря недавним реформам, в совершенно особенную обстановку, и от всей души создавали широкие планы экономических, статистических и иных исследований, которые должны были наконец перекинуть мост от барина к мужику. Нетерпеливые с некоторым презрением относились к проектам таких работ и шли в народ прямо, надеясь на свою интуицию, армяки и полушубки".

„Пробовали свои силы. Думали и стремились отрешиться от фраз, как бы высоки они ни были и как бы красиво ни звучали составлявшие их слова. Искали прежде всего дела, настоящего дела и винили отцов за то, что те говорили слишком много, и ничего, кроме слов, после себя не оставили. Одно время было даже в моде жениться на крестьянках и распространить таким образом народническую доктрину и на свою личную и семейную жизнь. Что в большинстве случаев выходило из этих браков—представить себе не трудно, но они гармонировали с настроением и решительно никого не удивляли: до того вся атмосфера была переполнена призывом к слиянию. Каждая книга журнала приносила в изобилии вести из мужицкого мира. Талантливейшие публицисты под влиянием всеобщей экзальтации писали: „пусть секут, мужика секут же". Многие, и притом совершенно искренно, избрали на все „мужицкую" точку зрения или, по крайней мере, такую, которая казалась им самой естественной для мужика и наиболее отвечающей его интересам. Кто пережил то время, тот превосходно знает, как неправы люди, считавшие все это одним маскарадом и нездоровым, случайным поветрием! Напротив того, все делалось из глубины души. Совесть заставляла расплачиваться за вековые обиды, нанесенные мужику крепостным правом, культурою и образованностью. Все брали этот исторический грех на себя, никто не пугался огромности пред'явленного счета, потому что искали жертвы и самопожертвования".

Доказать превосходство крестьянского царства над другими царствами вообще, утвердить читателя в мысли о его возможности и необходимости, все равно как и в мысли о возможности и необходимости слияния народа и интеллигенции, при чем народ даст висский *тип* своей жизни, а интеллигенция *ступень* своего развития; воплотить в общественной жизни *правду-истину* (науку)

и *правду-справедливость;* дискредитировать бюрократию; дискредитировать русский либерализм и его надежды на реформы, на общественную самодеятельность; убедить всех в недостаточности одних только гражданских преобразований—вот пункты программы „Отечественных Записок“, которые должны выясниться нам из характеристики главных сотрудников журнала: Щедрина, Елисеева, Михайловского, Успенского, Златовратского, В. В. Писарева, М. Протопопова, А. Скабичевского, П. Лаврова, Якубовича, Южакова, Новодворского-Осиповича, Кущевского. Не примыкая к журналу печатались Островский и Достоевский („Подросток“).

Г. З. Елисеев (1821—1891), — собрание сочинений которого так долго заставляет себя ждать, был все время вторым редактором „Отеч. Зап.“. Происходя из духовного звания, он отличался большими способностями, долгое время занимал место профессора казанской духовной академии, но когда тамошние порядки пришлись ему не по душе, приехал в 1858 году в Петербург и здесь быстро сошелся с редакциями „Искры“ и „Современника“. Свое литературное положение он упрочил, главным образом, внутренними обозрениями в „Современнике“ (1861—1866 гг.) и, как думают некоторые, создал тип этого существенного отдела нашей журналистики. Человек живой действительности, с практической складкой ума, недолюбливавший философствований вообще — он ценил жизненные факты в полноте их значения, отнюдь однако не подчиняя им своей духовной свободы. Центр его помышлений составлял—народ, что по тому времени значило мужик *и, главным вопросом представлялся ему всегда такой: как та или другая мера, как то или другое явление жизни отразятся на жизни народа, т.-е. мужика.* Он был народником в том смысле, что твердо признавал общину, артель, кустарные промыслы, но в народническую утопию, т.-е. в немедленное обращение этих утопий в идеальную форму общежития, он не верил. Для этого он был слишком практичен и слишком хорошо сознавал, что значит действительность. Елисеев был настоящим, подлинным литератором, представляющим в литературе интересы мужика и народа. Эту почетную позицию он занимал долго и с честью, успешно пуская в ход свой грубоватый мужицкий, несколько лукавый, но всегда добродушный юмор, всякий раз, как дело шло о том, чтобы облагодетельствовать народ какими-нибудь бумажными проектами. Ко-

нечно, успехи нашей промышленности и торговли нисколько не приводили его в восторг, но он и не пугался их, разделяя общее редакции „Отеч. Зап.“ мнение, что с капитализмом можно еще справиться. Его соредактор по журналу г. Михайловский дает ему такую характеристику: „Елисеев был, если можно так выразиться, аскет текущей жизни и непосредственных фактических результатов... В теоретические сферы он пускался крайне редко. Но он не мешал делать это другим, хотя, может быть, и скептически относясь к подобной работе и лишь убедившись, что эта работа может быть приведена в связь, хотя бы отдаленную, с тем, что он считал обязательным центром не только литературной деятельности, но и всей общественной и государственной жизни. Таким центром был для него народ, мужик... В своих обозрениях он ценит просвещение и свободу, требует честности и добросовестности в делах, клеймит самоуправство и произвол и т. д.“ Но настоящим, вполне Елисеевым, он становится тогда, когда задает себе вопрос: „как отзывается или отзовется такое-то явление нашей жизни на мужике“.

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889). Щедрин оставил после себя очень богатое наследство, заключенное в 12 томах „Полного собрания сочинений“, где столько прекрасного исторического и художественного материала. Весь этот материал относится к четырем десятилетиям; написанные в нем статьи, очерки и рассказы имеют дело с самыми разнообразными общественными настроениями и условиями русской политики, и при чтении Щедрина это постоянно надо иметь в виду, так как чисто публицистическая струя замолкала в нем сравнительно редко. Случалось так, что Щедрин начнет какую-нибудь работу, затем оставит ее и примется за другую, снова вернется к первой, опять сделает перерыв и конец ее отсрочивался таким образом на несколько лет. Разобраться в массе переменяющихся настроений положительно не легко. Многое притом же в этой блестящей публицистике значительно устарело, кроме, разумеется, вкрапленных в нее чисто художественных сцен и картин, и не всегда понятно современному читателю, а если и понятно, то далеко не в такой степени, как в дни написания: даже самая талантливая публицистика увядает очень скоро. Про-

ходит какой-нибудь десяток лет, и общество совершенно изменяет свою физиономию и волнуется другими вопросами, задачами, думами, и от живого когда-то организма остается лишь сгнивший труп. К счастью для долговечности памяти Щедрина, он умел даже злобу дня брать в таком широком масштабе, связывая ее с общечеловеческими вопросами и интересами, что и она лишь в самых редких случаях является совершенно увядшей и всегда сохраняет свое историческое значение.

Щедрин сказал сам о себе в третьем лице:

„Все силы своего ума и сердца он посвятил на то, чтобы восстановлять в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет. В этом собственно заключалась задача всей его деятельности“.

Щедрин был прежде всего огромным художественным дарованием. Но он жил в такое время, когда все окружающее каждым явлением твердило человеку: „поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан“. То были 60-е и 70-е годы. Правильно или неправильно, но Щедрин думал, что, создавая свои превосходные по силе и глубине мысли, по богатству образов, по разнообразию красок „Губернские очерки“—он не в достаточной степени исполняет свой гражданский долг. Ему захотелось более близкого, более непосредственного, участия в жизни и коловращениях судеб. Он стал публицистом. В сущности говоря, этим неотразимым влиянием эпохи и об'ясняется такое обилие публицистического материала в произведениях того времени. Жизнь— несколько, впрочем, лицемерно—из'являла готовность слушаться людей, и люди принялись учить ее. Щедрин один из первых вступил на этот путь после 10 лет работы, заставил всех мыслящих людей читать себя. Но художник, к счастью, не замирал в нем ни на минуту, и лучшие места его фельетонов—это несомненно те художественные вкраплины, которыми они так богаты. И здесь он оставался верен себе, и здесь проповедь „света и правды“ была для него прежде всего проповедью „человечности,— в самом широком и в то же время, как скоро увидим, самом определенном смысле слова.

Он был человеком сороковых годов. Об этих годах он сохранил самое чистое и светлое воспоминание, но это воспоминание обнимало, разумеется, не всю жизнь, а почти исключительно литературу, к которой у него так рано проявилось тяготение. Правда, и литературу эту далеко нельзя было принимать во всем ее целом, не жертвуя самим собой, но все же, по словам Щедрина, ей удалось отыскать известные идеалы добра и истины, благодаря которым она не задохлась, она же создала те человечные предания, ту честную брезгливость, которые выделили ее из общего строя жизни и дали ей возможность выйти незапятнанною из-под ига всевозможных давлений. Никакого прямого выхода в жизнь, никакой возможности прямо воздействовать на нее литература, конечно, не имела; она, как сказочная царевна, была заключена в неприступном чертоге и только дремала, окутанная сновидениями... в основе которых лежало человечное, так что, ежели литература не принимала деятельного участия в негодованиях и протестах жизни, то не участвовала и в ее торжествах. Больше всего, в дни молодости, Щедрин увлекался статьями Белинского, и французской литературой и жизнью, где в начале его литературной деятельности все готовилось к 1848 году. „Я — вспоминает он,—естественно примкнул к западникам, к тому безвестному кружку их, который прилепился к Франции. Разумется, не к Франции Луи Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана, в особенности Ж. Занд“. Под влиянием Франции в атмосфере действительно чувствовалась какая-то новая струя свежего воздуха, чуялось брожение в умах, и романами Жорж Занд готовилось откровение, которое и выразилось скоро в народолюбии — этом знамени русской интеллигенции, начиная с сороковых годов.

Все идеалистические порывы, все хорошие прочитанные книги французских социалистов о правах человека и немецких романтиков о святости человеческой личности,—все это вело к отрицанию основы государственно-сословной жизни, т.-е. крепостного права. Это общеизвестно, и здесь довольно того, если мы признаем тот несомненный факт, что для людей передовой мысли крепостное право, главным образом, ужасы конюшни, тургеневское „чики-чики“, действительно представлялось учреждением отсталым и безобразным, и, живя у себя в деревне, они все более проникались ужасом.

На всем движении сороковых годов лежит печать чего-то отвлеченного, пожалуй, даже сантиментального. Этот последний элемент мало заметен у Тургенева, благодаря его огромному художественному дарованию, но у Григоровича он на первом плане. Я надеюсь показать, что и Щедрин был несколько склонен к нему, хотя сатира и часто преднамеренная грубость слова и заслоняют от читателя эту сторону его дарования. Но все „отвлеченное" было на первом плане и в области философии, и в области нравственности, которая понималась как стремление к абсолютному семосовершенствованию, и в области религии, где все вертелось на доказательстве бытия божия, и в области понимания общественных явлений. Это „отвлеченное", от которого скорее всего отделались Белинский и Герцен, и которое заключалось в полном игнорировании материальной стороны исторического процесса, доходило прямо до крайностей и составляет одну из самых характерных сторон рассматриваемого времени. Даже в формуле „мужик—человек" вы безусловно чувствуете его, так как слово „человек" само по себе означает очень мало. Но в нем же и заключалась сильная сторона умственной жизни эпохи. Оно помогло создать и „идеалы добра и истины", и „человечные предания", и „честную брезгливость".

Щедрин полностью пережил веяние своего времени и, вспоминая о днях своей юности, он говорил потом, по обыкновению, в третьем лице:

„Еще в ранней молодости он был уже идеалистом, но это было скорее сонное мечтание, нежели сознательное служение идеалам. Глядя на вожаков, он называл себя фурьеристом, но в сущности смешивал в одну кучу и сен-симонизм, и икаризм, и фурьеризм, и скорее всего примыкал к сен-симонизму. В особенности его пленяла Жорж-Занд в своих первых романах. Он зачитывался ими до упоения, находил в них неисчерпаемый источник той *анонимной* (т. е. не имеющей определенного об'екта) восторженности, которая чаще всего лежит в основании юношеских верований и стремлений. Были слова: добро, истина, красота, любовь, свобода, совесть, которые производили чарующее действие, которые он в свои юные годы готов был повторять бесчисленное число раз и, слушая которые, он был бесконечно счастлив. Если бы от него потребовалось наполнить эти слова содержанием, он удивился

бы—до того они представлялись ему несомненными и обязательными, до того его прельщал самый звук их". Под этим влиянием он написал свое *„Запутанное дело"*, где изобразил несчастное положение одного молодого провинциала, попавшего в столицу. Самое важное, конечно, то, что несчастия своего героя Щедрин об'ясняет не его личным характером, не сплетением случайностей, а общими причинами. Герой гибнет стихийно, задавленный общественной пирамидой, в низшем слое которой находится он. Это взгляд социалиста, но все же пока на первом плане находились слова.

Известной дозой реального содержания высокие слова „любовь, красота, истина" и пр. наполнялись критикой окружающей русской обстановки. Положим, что человек не знал, что такое добро и истина, но он твердо знал, что все, признаваемое за добро и истину обыденной моралью, не добро и не истина; пусть даже для него был непонятен истинный смысл слова человечный, но он не сомневался, что „человечное" обыденной морали в действительности бесчеловечно и т. д. Нельзя не согласиться, что это, действительно, очень оригинальный „метод" мышления „от противного", но история всероссийской интеллигенции говорит нам, что он применялся всегда и с одинаковым успехом. Не встречаем ли мы его опять в бесчисленных, так называемых, семейных драмах шестидесятых годов, когда к каждому слову моральных сентенций своих родителей дети прибавляли „*не*"? Хороший жених, по этому способу, превращался в нехорошего жениха, законные доходы в доходы незаконные, справедливая кара за непослушание отцу или матери или обоим вместе в кару несправедливую. Человек, слетевший с луны, мог бы посмеяться тут многому, но людям земли тут положительно смеяться не над чем. И совершенно естественно, где источник этого назойливого и постоянного „не". С одной стороны, круг понятий, основанный на предании, авторитете и идеале личного довольства, с другой—такой же круг понятий, но основанный уже на признании личной независимости, на мечтах о будущем. Столковаться в то же время было совершенно невозможно, и драма сменялась драмой, а слезы слезами...

Все высокие слова Щедрин хотел возобновить для больного усталого поколения впоследствии в памяти под именем „забытых".

Он не успел этого сделать и так и умер лишь с мечтами о такой работе. Но настойчивость, с какой его память возвращалась к забытым словам, показывает, как сильно запали они в его душу. Расширенные, просветленные сознанием и опытом, ставшие настоящими живыми существами с плотью и кровью, они на самом деле являлись истинными руководителями всей его жизни. Они даже не утеряли нисколько своего отвлеченного характера, закваска юности оказалась ферментом целого человеческого существования. Эта отвлеченность, несомненно, обусловливала и огромную требовательность от всего окружающего, и жажду совершенства во всем, и вечную неудовлетворенность крохоборными усовершенствованиями,—что так часто приводило в недоразумение добрых людей. Конечно, пребывание в провинции только утвердило отрицательное отношение Щедрина к русской действительности. Идя в своих „Губернских очерках“ за Гоголем, он не углубил, конечно, но расширил его сатиру, распространил ее на весь государственный и общественный быт и тут же начал свою огромную задачу—полного дискредитирования русской канцелярии.

Одним из самых красивых, привлекательных и вместе с тем неопределенных слов сороковых годов было слово „человек“ и происходящее от него „человечное“. Щедрин привязался к нему со всей страстностью, на которую только была способна его, вся состоявшая из нервов, натура, и на развитие его истинного смысла посвятил всю свою литературную деятельность, при чем „публицистика“ являлась простым подспорьем художественного творчества. Насколько такое-то явление „человечно“—вот вопрос, который интересовал его прежде всего. Его нельзя было ни обмануть, ни обойти словами. В этом отношении он был безусловно неуступчив и, если мы посмотрим на него с этой стороны, то увидим, какая огромная доза моралиста скрывалась в этом большом русском человеке—как, впрочем, и вообще в больших русских людях, близко принимавших к сердцу жизненные интересы своего отечества, а не ограничивавшихся тем только, чтобы наблюдать за коловращениями его судеб, регистрируя их то в статистических таблицах, то в художественных образах... Очень вероятно и даже наверное, что по сочинениям Щедрина трудно ответить на вопрос о сущности красоты и истины, но сущность „человеческого“ раз’яснена им полностью. Впрочем „*человеческое*“

было тем верховным понятием, которому он охотно подчинял все остальные. Только человеческое могло быть действительно прекрасным, только оно могло быть истинным. Замечу, впрочем, что по свойству своего ума и дарования он останавливался не столько на положительных определениях человеческого, сколько на уклонениях от него, на его извращенностях. Если он мало говорит о психологии настоящего человека, который у него обыкновенно за сценой, зато о психологии не-человека—раба, куклы и злодея—он говорит очень и очень много. Раб, кукла и злодей—это для него главные разновидности *не-людей*, все равно как и служители формальной правды.

Больше всего он говорит о психологии раба. Чувствовал ли он, что здесь заключается главнейший слабый пункт русских преуспеяний, или по какой-нибудь другой причине—судить не берусь. Рабство и его разновидности, хамство, холопство, это непоминание своего достоинства, это отрицание достоинства в других, эта жестокость сильного, переходящая в человеконенавистничество, издевательство над слабым—вот наследие крепостного права. И, конечно, корни вдохновения Щедрина, как вдохновения Тургенева, Гончарова и т. д., находятся здесь. Несомненно, что высшее из созданного им относится именно ко времени крепостного права. Он знал его и даже больше, чем знал; по его собственному признанию, оно преследовало его „по пятам“ в течение всей жизни.

В воспоминании Щедрина о временах крепостного „быта“ есть что-то страшное—вплоть до самоубийства детей.

„Я,—говорит он,—слишком близко видел крепостное право чтобы иметь возможность забыть его... Я видел глаза, которые, ничего не могли выражать, кроме испуга, я слышал вопли, которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего, кроме физической боли, я был свидетелем зверских вожделений, которые разгорались исключительно по поводу куска хлеба... *В царстве испуга, физического страдания и желудочного деспотизма нет* ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли...“

Можно привести массу подобных выписок, но это совершенно излишне. Дело ясно само по себе, и смешно даже сомневаться в том, что впечатления дореформенной эпохи были, вероятно, самы-

ми сильными в жизни Щедрина: великолепная эпопея крепостного быта—„Пошехонская старина“—создана им на склоне дней, а „Господа Головлевы“ написаны в течение 1872—1876 гг., т.-е. 11—15 лет после реформы... Создавая рабов, холопов и хамов, общую атмосферу лести, подхалимства, жестокости и напуганности, поддерживаемой вечной пыткой, крепостное право вырабатывало основной элемент таких страстных натур, как у Щедрина—*негодование и тоску о здоровой, человечной жизни.*

Крепостное право не знало людей собственно, а знало господ и холопов. Первые командовали, вторые слушались, и обе стороны взаимно и незаметно развращали друг друга. Когда крепостное право было уничтожено, оно исчезло только из свода законов. Жизнь так освоилась с ним, ее уклады так применились к нему, оно пустило такие глубокие корни во всех ее областях и прежде всего в области нравственности и общественности, что и долгое время спустя можно было видеть не только „следы“ его, но и целый кодекс морали и общественных отношений, оставленный им на пользование и поучение потомства. Еще Добролюбов, говоря о неизбежном и неминуемом падении крепостного права, строго прибавляет, что этим задача далеко не исчерпывается, и что всероссийский гражданин отнюдь не имеет полного права почить на лаврах, что напротив того, ему предстоит еще труднейшая задача бороться с последствиями крепостничества, не только забравшегося во все щели, но и растворившегося, так сказать, в атмосфере, общественной жизни. Задача была огромная и, чтобы выполнить ее, нужны были огромные силы. Щедрин взялся за нее начиная с „Губернских очерков“.

В основе этого духовного рабства и всепоглощающего самосохранения лежит *трусость*. Ей, в чистом ее виде, Щедрин посвятил две превосходных сказки: „Премудрый пискарь“ и „Самоотверженный заяц“, слишком известные, чтобы на них останавливаться, и вообще его сочинения—это галлерея рабов, при чем обыкновенно рабами оказываются и те, кто считает себя за господ. Разное рабство и разнообразное. Рабство прямое, юридическое, как крепостные отношения; рабство духа, с детства запуганного; рабство в виде материальной зависимости; рабство подчиненных в отношении к начальникам. „Бедная страна эта Россия: ее надо жалеть“, говорит Щедрин; бедная, потому что страна рабов...

Премудрые пискари, самоотверженные зайцы, гордые помещицы, как Арина Петровна, Иудушка—все это не люди, способные воспринять „истину, добро и красоту“ жизни, а лишь пол-человека, четверть человека, вообще какие-то дроби людей. Одни запуганы, как премудрый пискарь, и страх выел их душу, у других холопство стало второй натурой и преобразилось в беззаветную преданность, у третьих умерло все, кроме злобной наклонности к пакостничеству и негодяйству. „Господи, да куда же настоящие-то люди попрятались?“—с ужасом спрашивает себя художник и снова берет в руки свой диогеновский фонарь и днем с огнем ищет человека. Но кукольных дел мастер Изуверов об'ясняет ему, что человека нет. „Взглянешь,—говорит он,—кругом—все-то куклы, везде-то куклы. Не есть конца этим куклам. Мучат, тиранят, в отчаянность, в преступление вводят. Верите ли, иногда думается: Господи, кабы не куклы, ведь десятой бы доли злых дел не было против того, что теперь есть“.

В тоску привел Изуверов Щедрина, показывая ему своих деревянных людишек: слишком близки они к жизни, чтобы отделаться от впечатления, что настоящая фабрика их там, в этой путанной сети человеческих отношений, себялюбивых и недоверчивых, где человек человеку враг, где гибель одного вызывает торжество другого, а торжество другого зависть третьего и желание видеть гибель удачника.

Куклы—порождение столько же дореформенного, сколько и пореформенного времени, когда процесс обездушивания человека происходит не сразу, а постепенно и систематически, путем непрестанного воздействия мелочей жизни. В добрые старые дни обряд оглушения производился более энергично, сразу: самый факт рождения в курной избе или барских хоромах предопределял судьбу человека от колыбели до могилы.

Кроме того, в распоряжении бурмистров и других начальствующих лиц находились сильно действующие (heroica) средства, быстро приводившие к общему знаменателю забывшегося человека. Экономическая зависимость—тоже рабство, но действуют не казацкими набегами, не неожиданными натисками, а гораздо деликатнее, хотя результаты, в конце концов, те же самые, да жизнь, в сущности говоря, та же самая—проходящая в вечном страхе перед завтрашним днем, в вечном трепете за свое существование.

Быть может, горечь такой зависимости усиливается еще близким к иллюзии сознанием, что, по действующим законам, циркулярам и постановлениям, возможность добиться довольства и, так сказать, „материальной“ свободы предоставлена решительно каждому. Могий вместити пусть вместит, говорят эти законы, циркуляры и постановления человеку, лукаво подмигивая в сторону счастливцев и удачников. Правда, несколько напряженных попыток быстро убеждают любого из нетерпеливых, что довольство и обеспеченность—удел лишь очень и очень немногих, и он все свои вожделения сводит к скромной формуле: „хотя бы как-нибудь свести концы с концами“; но это дело очень затруднительно: скудный кусок достается лишь под условием постоянного страха утерять его. Этот-то страх гораздо более, чем самый труд, и есть то иго, которое несет современное человечество под разными широтами, на разных меридианах, представляющее из себя поскудное зрелище твари дрожащей. Эту грандиозную картину оскудения духа, полного забвения им не только уже божественного, но и просто человеческого своего существования, сатирик изобразил в одной из лучших и поздних своих вещей, названной им „Мелочами жизни“...

И вдруг просыпается душа, и среди окутавшей все существо человеческое, мелочей тьмы властно и неумолимо раздается ее голос: „что ты делал? зачем жил?“... Много ухищрений изобретено человеком, чтобы не слышать этого призыва к покаянию и раскаянию, но все же, рано или поздно, должен наступить этот страшный момент и „человеческое“ пред'явит свои права.

На этой простой мысли Щедрин строил свои драмы. „Господа Головлевы“ кончаются тем, что даже Иудушка задает себе страшный вопрос, зачем он жил и зачем кровопийствовал. Герой эпопеи „В среде умеренности и аккуратности“, Молчалин в ужасе видит, как почва уходит у него из-под ног, как он после катастрофы с сыном покатится в какую-то зияющую пропасть, и от всей его жизни, усилий, кровопийства, человеконенавистничества не останется ничего, кроме отчаяния и мрака.

Щедрин верил в человека, верил в то, что в основе нашей жизни и нашей природы лежат всемогущие нравственные силы, совершенно устранить которые из своего бытия человек не в состоянии. Только давая простор этим именно силам, не заслоняя

их ни мелочами, ни ложью, можно рассчитывать на истинное счастье. Иначе вся жизнь окажется не только суетой сует, но и грехом. Правда, иначе грешит покорный раб Черезов, чем злодей Иудушка; иначе губит людей бездушная кукла, чем кровожадный волк, но и здесь и там все грех, грех и грех. Это точка зрения моралиста? Да, конечно, и, как художник, Щедрин обыкновенно стоял на ней. Мало того, он был проникнут ею и постигал ее во всей ее глубине. Высшим верховным судьей человека он признавал его собственную совесть, которая над собой не знает уже никакого судьи. Ей отмщение и она воздаст... а мы можем только верить в необходимое торжество этого верховного начала. Только поэтому Щедрин примирил нас с Иудушкой и с кровожадным волком, который, замученный совестью, сам, учуяв облаву, спокойно вышел навстречу охотникам со словами: „вот она смерть избавительница“. И кто же бросит камень в лежащий невдалеке от погоста холодный труп Иудушки или в этого волка, почти героя? „Будьте людьми, не давайте мелочам жизни заполнить духа своего, не давайте злодейству загрязнить его“—вот завет Щедрина... Но что же делает из человека Иудушку, куклу, Молчалина, кровопийцу, служителя формальной и жестокой правды? Что заставляет людей радоваться горю ближних, издеваться над ними, бить лежачего? Как в „Запутанном деле“, так и вообще во всех своих произведениях Щедрин давал на это один ответ: причина такого унижения человека кроется в *общественных условиях.* Они-то создают из человека раба. А раб есть раб. Он не может быть правдив и честен, смелость и порыв недоступны ему, он вырос в затхлой атмосфере обиды и унижения и умеет только обижать и унижать. Жизнь сделала его бездушным, его счастье и спасение только в этом бездушии, и самое страшное, самое трагическое—это *пробуждение в рабе человека...*

Отвлеченный, в юности воспринятый, идеал красоты, добра, истины, человечности, идеал Щедрина нашел свое воплощение в крестьянском царстве... Ум огромный и глубоко скептический, Щедрин боялся отдаться ему совсем, но позволял ему увлекать себя.

Если отбросить крайности народнического движения, то несомненно, что Щедриным оно было пережито полностью. В крестьян-

ской жизни он видел прежде всего наиболее полное воплощение идеалов правды, добра, справедливости—даже красоты и истины. Он любил противопоставлять жизнь интеллигентную, чиновничью, барскую—жизни мужицкой, и читателю ни разу не придется сомневаться, на чьей стороне симпатии художника. Но в то же время у него есть и очевидные следы перелома правоверной народнической мысли. Любопытная черта: несомненно идеализируя мужика и устои его существования,—Щедрин в то же время никогда не доходил до идолопоклонства. Его ум был в высшей степени трезвый, отчасти даже скептический, который всегда заставлял его остановится во время. Он не носился ни с общиной, ни с миром, ни с артелями, ни с круговой порукой. Проникая в истинную „подоплеку"—его выражение,—он говорил, напр., об общине:

„Теперь все это до того стерлось, что самые рубрики сделались пустопорожними выражениями. Теперь большинство славянофилов убедилось, что *есть община и община*; что община, на которой они созидали благополучие и силы России, не обеспечивает ни от пролетариата, ни от обид, приходящих извне, что, наконец, будущая форма общежития, наиболее удобная для народа, стоит еще для всех загадкою. Напротив, по странной случайности, бывшие западники, ставше ближе к кормилу, примирились с общиной, потому что с нею связана круговая порука. Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять".

Можно, как кажется, прямо утверждать, что, разделяя народническое настроение, видя в крестьянской жизни основу жизни всего народа и всего государства, источник его силы и слабости—Щедрин не разделял народнических идеалов и не соглашался признавать в устоях крестьянского быта чего-то самодовлеющего. Если община лучше канцелярии—это еще не значит, что она хороша, если крестьянская работа лучше, реальнее работы столоначальника—это не значит, что она хороша и т. д., с этой точки зрения известная картина, изображающая Щедрина на опушке леса перед поляной, на которой пашет мужик,—картина, внушающая, так сказать, зрителю, что вот этот пашущий мужик и есть идеал сатирика—совершенно неосновательна. Это годилось бы разве, да и то с натяжкой, для Толстого. На самом деле, если пашущий мужик может служить идеалом, то отсюда прямой пра-

воучительный вывод: „бери соху, паши землю“ и оставь в стороне искусство и науки. До такого вывода Щедрин не доходил и дойти не мог, потому что в нем очень и очень была сильна культурная, европейская закваска.

Есть каверзный вопрос: кому у кого учиться? интеллигенту у мужика или мужику у интеллигента, или же тому и другому, к общей радости и благополучию, меняться взаимными услугами? Мужик, говорят, будет обучать нас нравственности и добродетели, а мы его грамоте, сельскому хозяйству и прочим хорошим вещам. И будет в таком случае на земле мир и благоволение. Но, во-первых, можно ли научиться нравственности и добродетели? Сократ это признавал, это был один из краеугольных камней его проповеди, но, в сущности, научил ли он кого-нибудь, чему хотел? Это сомнительно. Наша моральная жизнь является, прежде всего, проявлением нашего характера, нашей натуры и лишь в очень и очень незначительной степени наших идей. Идеи указывают точку приложения силы, но самой силы они никогда никому не давали и давать не могут. Вся система наших нравственных понятий находится в такой близкой органической связи с условиями нашей жизни, что произвольно их раз‘единять нет решительно никакой возможности. Возьмите, напр., отношение к женщине. Вообще говоря, „учить жену“ принято в крестьянском мире, а мы смотрим на такого учителя, как на варвара и башибузука. Нас возмущает даже всякое насилие над личностью. Этим насилием над личностью живет община. Нас приговор большинства ничуть не освобождает от упреков совести, но крестьянин, раз „мир постановил“, хотя и нечто заведомо несправедливое, умывает свои руки и остается совершенно спокойным. Миром приковали сумасшедшую на цепь и постановили, чтобы она сидела на цепи до конца дней. Миром отправили Ивана Непомнящего в Сибирь на поселение, и о чем еще толковать тут,.. и т. д. Такова система нравственных понятий, неразрывно связанная с сохой. Взявшись за соху, сделавшись общинником, вы должны принять и эту систему нравственных понятий. Но у нас многие склонны смотреть на дело иначе и видят в „системе нравственных понятий“ своего рода шапку, которую с большим или меньшим успехом можно напялить на любую голову. Крестьянское моральное миросозерцание для нас совершенно не годится, для современного

крестьянского общинника не годится и наше. Что, действительно, станет он делать с нашим скептицизмом, критикой, нашим преувеличенным даже преклонением перед личной свободой и независимостью? Он на первых же порах столкнется с миром, и это столкновение сразу же и неизбежно станет трагическим. Мир себя покажет, как, по свидетельству наших народников, он сотни и тысячи раз показывал себя, продавая за ведро водки свое достоинство, свои права и преимущества.

Мы всегда забываем самую простую вещь, что „система нравственных понятий“ общинника есть не что иное, как система нравственных понятий нищего человека, жмущегося к стаду, потому, что, в конце-концов, на миру и смерть красна. Вы хотите крайнего и решающего доказательства этой простой мысли? Кажется, что за ним очень и очень недалеко ходить и стоит только обратиться к свидетельству той же самой народнической литературы по части всех тех „особей“, которые экономически прежде всего, а потом и духовно выбрались из обычного для крестьянского полунищенского уровня существования.

Из песни слова не выкинешь. Не выкинешь и из картины нашей жизни того несомненного и очевидного факта, что все эти Колупаевы и Разуваевы порождение нашего мира, нашей общины, укладов нашей крестьянской жизни. Почему же это так постоянно случается, что стоит только человеку подняться ступенью выше сравнительно с ближними своими, стоит ему только начать торговать водкой, капорским чаем и линючими ситцами, как от его добродетели не останется и следа и вместо смирения духа появляется наглость его, вместо жалости и сострадания—желание затоптать ближнего в грязь, презрение к слабому и гордое торжество над погибшим и погибающим? Нет хуже и горше обид, которые наносили крестьянину в лице бурмистров при крепостном праве, в лице Колупаевых и Разуваевых теперь.

Повторяю: совершенно неправы поэтому те, кто навязывал Щедрину идеалы крестьянского быта или преклонение перед его устоями. Все равно, как он не мог в свое время признать нигилизм „высшей формой мышления“—как впоследствии он не восторгался деятельностью земских учреждений, так и к основному пункту народнической доктрины, провозгласившему общину панацеей всех зол, он отнесся прямо отрицательно. В ответ на

все песнопения слышался его суровый скептический голос: „современная нам форма крестьянского общежития неудовлетворительна“, и „будущая форма общежития, наиболее удобная для народа, еще загадка для всех“. Только тот, кто знает, какую роль играла „община“ и „общинность“ при создании народнических утопий, какие надежды возлагались на них, до какой степени незыблемыми они представлялись, — оценит по достоинству предостерегающий голос Щедрина.

Но в то время он бы не был человеком своего времени и даже вождем его, если бы не видел в крестьянстве и крестьянской жизни основы жизни всего народа и не требовал бы в отношении к ней наибольшего внимания, наибольшей любви и даже наибольшей самоотверженности.

Но что же делать, если мещанские инстинкты, обоготворение имущества, так глубоко заложены в крестьянскую душу, что ждут лишь удобного случая для пышного своего расцвета? На этот огромный вопрос Щедрин не ответил. В своем отношении к крестьянству и крестьянскому миру он был столько же трезвым мыслителем, сколько поэтом-идеалистом. Он отдыхал на картинах мужицкой жизни и правды, он давал этим картинам возможность обманывать, увлекать себя. Сатирик часто надевал на себя костюм идиллиста, но, увы, этот костюм был слишком не по мерке ему, чтобы он мог долго оставаться в нем.

Перечтите рассказ Пименыча о святой земле или повествование о чудесах, виденных на пути странницей Пахомовной, и скажите, разве это не умиление? Разве не умилялся и Крамольников, произнося свою страстную речь на юбилее „Полита Мосеича“, разве не то же чувство продиктовало Щедрину слово искупителя, обращенное к тем, кто поливает землю потом и кровью сьоей? Странного, неожиданного в них ничего нет. Щедрин ничуть не виноват, что мы его плохо знаем, что для одних он все еще писатель по смешной части, для других „политический“ сатирик по преимуществу, развенчавший и дискредитировавший всех ярыжек, под’ячих и канцелярских служителей. Оба взгляда одинаково обидны для Щедрина. Он был, прежде всего, великим русским писателем, таким же, как Гоголь, Толстой, Некрасов — значит болел их же болями, значит искал и находил утешение там же, где находили

они—в вечных заветах любви и жизни народа, его будущем. Обращаясь к народу, он мог бы сказать словами Некрасова:

Я кручину свою многолетнюю
На родимую грудь изолью...
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою... [1])

---

[1]) Я думаю, мне нечего даже и прибавлять по этому поводу, что Щедрин одинаково, как и Некрасов, был одним из наших кающихся дворян. Если вообще этот тип сыграл существенную роль, то, разумеется, потому лишь, что он имел в своей среде очень крупных представителей. Одним из крупнейших был Щедрин. В доказательство принадлежности его к кающемуся барству не буду ссылаться, как иные, на его служебную карьеру, до которой историку литературы очень мало дела. Историк литературы скажет только, что гуманные и радикальные мечты и идеи 40-х годов были очень широки, лишены действительно реального содержания, и что о безусловной ответственности перед ними не могло быть и речи. Оттого-то такие люди, как Добролюбов и Чернышевский, и не переваривали „барства". Но по отношению к народу стоит остановиться. Факт был тот, что освобожденный народ не был счастлив и, больше того, оказался почти что в прежней кабале, хотя и у других уже хозяев. Такое несчастное положение народа должно было во всех лучших людях,—к какому бы классу они ни принадлежали,—вызывать самое простое и естественное чувство жалости к нему, желание его научить, дать ему в руки хорошую книгу, дать ему основы гражданского существования. Но кающийся дворянин к этому простому, повторяю, и естественному чувству должен был прибавить ту напряженность и даже истеричность, которые зависели не от исключительной любви к слабому, а от воспоминаний о собственных или отцовских грехах, т.-е. кричащий голос своей совести. Это было, значит, народолюбие, разогреваемое и разгорячаемое чувствами совершенно посторонними. И такого народолюбия не могло быть, напр., ни у Решетникова, ни у Добролюбова. Здесь духовный надрыв. Здесь не только желание помочь народу, но и мысль о расплате с ним.

Вообще же к сказанному мною выше я должен прибавить, что барскими и разночинными идеями я считаю совсем не те, которые находятся в голове данного барина или разночинца. При исследовании каждого данного случая в отдельности могут быть сделаны совершенно неожиданные открытия, диаметрально противоположные ожидаемым. Это значит лишь то, что известные идеи обладают силой внушения, достаточной для преодоления классовых симпатий или антипатий, раз тому благоприятствуют обстоятельства. Барские идеи должны быть выработаны и действительно вырабатываются на почве прочных укладов барской, крепостнической культуры. Так же вырабатываются и барские натуры, и вся барская связка чувств. У разночинцев тоже были прочные уклады или, лучше сказать, отсутствие этих укладов, была жизнь, отданная на произвол каприза, прихоти и случайности, выработавшая свои идеи и настроения, напр., чувство мести, идею утилитаризма, вопияние против красоты и т. д. Кто какими идеями

Между Гоголем и Щедриным есть та разница, что то, что Гоголь преследовал с нравственно-религиозной точки зрения, то Щедрин клеймил как моралист и общественный деятель. Гоголь был близок к обстановке своего времени, но эта обстановка интересовала его, прежде всего, с ее метафизической и религиозной стороны. Он искал ответа на вопрос, в чем смысл жизни, выводил на сцену людей, которые придают этой жизни какой-то странный и пошлый смысл, т.-е. обращают ее в бессмыслицу, и тосковал об этом, потому что грозные призраки смерти и вечности совсем не мирились в его представлении с образом жизни, заботами, тревогами и радостями Маниловых, Плюшкиных, Ноздревых и т. д. Когда Гоголю приходилось спрашивать себя, откуда это пониженное существование людей, это полное умаление их духа, эта непроходимая и пошлая низменность их существования—он отвечал на это не указанием на историю, хотя сам был, положим случайно, историком, или—на крепостное право, которое он при-

---

увлечется—это часто дело житейской случайности, но вообще естественно предположить, что барское ближе барину, чем кому-нибудь другому, и что барин-отрицатель останется в основе своей натуры все тем же Рудиным, тем же Бельтовым, т.-е. барином, занявшимся отрицанием. И в отрицании будет слышаться тот же барский смех, та же барская избалованность или то же барствование во Христе. Могут быть редчайшие исключения, но не о них речь.

Кающийся барин 70-х годов шел той же дорогой, как и протестующий разночинец. Во всяком случае, той противоположности взаимного непонимания и вражды, какая была между барином и разночинцем в 60-ые годы, теперь на сцене нет. Кающийся дворянин ушел в свое народолюбие, несколько сузив сферу других своих интересов, все больше отказываясь от широчайшей и всеоб'емлющей гуманности 40-х годов, от своего эстетического отношения к действительности. Это уже барин, переработанный шестидесятниками и их прямолинейными взглядами. Он во многом подчинился разночинцу, но во многом подчинил и его себе. В литературе он занял первые места. Его народолюбие (как расплата с народом, как веление больной совести) очень близко подходило к народолюбию разночинца. Народ он идеализировал, между прочим, и потому, что кающийся всегда идеализирует измученного им или такого, кого он считает собою измученным, человека. Но идеализировал народ и разночинец, как единственный предмет своей любви, теперь с каждым днем все больше оплевываемый, а не освобождаемый, как раньше. И муки совести и единственная любовь возвеличивали красоту безымянного даже подвига. Таким образом, в 70-ые годы мы видим своего рода синтез разночинца и барина. Это можно проследить даже в подробностях, напр., в философии Арнольди или Михайловского, которые, очевидно, синтезировали взгляды 40-х и 60-х годов.

нимал, как факт, не возмущаясь им, не допуская, повидимому, даже мысли о возможности и необходимости его упразднения, и говорил: люди оттого живут так безобразно и даже гадко, оттого они ползают в грязи, что не понимают своей *судьбы*, тайны своего рождения и тайны смерти, не понимают и той огромной ответственности, которая ждет их за гробом; их религиозное мышление или бездействует, или прилепилось лишь к обрядовой стороне веры или, отделившись от жизни, не влияет уже на нее. Как натура глубоко-религиозная, с некоторым даже оттенком церковничества. Гоголь и не мог отвечать иначе на тот вопрос о смысле жизни, который он поставил себе.

Как всякий крупный русский человек, Щедрин был одинаково натурой религиозной. Но его религиозность надо понимать в том смысле, в каком понимает ее, напр., Солтер в своей „Religion der Moral“. Сущностью этой религиозности является тот же вопрос о смысле жизни, но ответ на него диктуется прежде всего и даже исключительно нравственным чувством, совестью,—тем, что Кант называл присущим человеку моральным законом. Смысл жизни может быть осуществлен лишь в той обстановке, которая обеспечивает счастье всех; теперь смысл жизни может быть найден лишь в стремлении к этому счастью, что в глазах Щедрина является долгом каждого. *Его нравственность сводилась к требованию подвижничества во имя общественных целей.*

Он весь в общественных интересах, он дышит и живет ими.

С обстоятельностью хроникера он следит за всеми переменами общественных мыслей и настроения, за всяким мероприятием канцелярских сфер, за каждым выдающимся фактом газетной хроники, за всякой интересной книгой. В нем настоящий темперамент журналиста: он и редактор, и сатирик, и фельетонист, и внутренний обозреватель, и библиограф. Поражаешься его неутомимости и его отзывчивости. Он следит за всем и на все откликается. Он исполнен гнева и благоволения, любви и ненависти, подавляющего презрения, жестокого сарказма, самого непримиримого раздражения и самой нежной жалости. Его письменный стол — это трибунал, перед которым каждый месяц должны пройти все факты общественной жизни и отдать ему отчет в своем содержании. Он допрашивает и пытает их, он разражается то смехом, то слезами, он вечно в волнении. И в этом его огромная сила, как и в непри-

миримости. Все его заботы сосредоточены на том, чтобы разбудить, наконец, эту спящую или засыпающую публику. Он тормошит ее постоянно. То обращается он к ней с добродушной насмешкой, увеселяет и развлекает ее разными шутками, уговаривает и учит ее, дает ей советы, высмеивает ее увлечения, ее скоропреходящих героев, хохочет им прямо в глаза, от лирического воззвания переходит к художественному изображению какого-нибудь ужаса жизни, изображает его с настоящей трагической силой и гневно спрашивает: да неужели вы не понимаете, что скрывается под этим, чем это грозит вам? Он прекрасно знает, что публика любит его, что у него масса восторженных читателей, что ему простят всякие дерзости и оплевание кумиров, и он щедр на дерзости и на оплевание. Но в основе своей он всегда серьезен, потому, что та цель, которой он служит, велика и важна в его глазах, потому, что он верен раз навсегда своей любви и ненависти, потому, что он непримирим в своей борьбе с канцелярией и канцелярщиной. Великий мастер слова, он с огромным искусством пользуется всеми его оттенками, всеми родами писательского искусства (вплоть до стихов)—чтобы расшевелить человеческую души своей милой публики, тетеньки, чтобы поднять ее уважение к себе, разрушить ее равнодушие.

Сатира Щедрина преследовала самодовольство и самоуслаждение во всех его видах и в чем бы оно ни проявлялось. Самодовольство является необходимым и неот'емлемым элементом всех его отрицательных типов, начиная от изуверовских кукол и кончая Иудушкой Головлевым и Угрюмом Бурчеевым, грозно приказывающим речному потоку поворотить свои волны вспять. Самодовольство—синоним умственной и нравственной отупелости, это броня, защищающая человека от всякого сострадания, от всякой любви к ближнему. Пусть льются слезы, пусть царит неправда, пусть нищета высасывает последние соки из своих жертв...—я заплатил за месяц прислуге, я ни копейки не должен в мелочную лавочку, я вызубрил краткие начатки либерализма, — и благо мне“... Надо спросить себя, откуда эта странная, все побеждающая сила Иудушек, кузин Машенек и прочей—виноват за выражение,—сволочи? Не в том, разумеется, что у них есть деньги, так как начали они все же без гроша, и не в лицемерии, потому что на одном лицемерии далеко не уедешь,—их сила в самодовольстве, в той нравственной тупости, которая позволяет им бить и добивать лежащих

людей и успокаивать свою совесть соображением, что они поступают на законном основании. И все отступают перед ними, и все попадают в их паутину, потому что формальная правда на их стороне. Прямо они не воруют, прямо не насильничают, и кто же посмеет придраться к ним. Как вороны, издали зачуяв запах тлена и разложения, слетаются к трупу и падали, так Иудушки и кузины Машеньки кружатся возле всех слабых и гибнущих, чтобы, воспользовавшись минутой полной растерянности, доканать их. Нет у них той неудобной вещи, которая в общежитии называется совестью, представляющейся с психологической точки зрения процессом самокритики... Самодовольство самодовольству рознь. Оно знает самые различные степени, ступени и градации. Оно может быть наивным и добродушным, как у бессмертных героев Диккенса, Стерна, Рабле, может соединяться и с холодной злобой опустошенной души, как у большинства героев Щедрина. Оттого-то его сатира так часто и переходит в драму, что он выбирал действующими лицами своих рассказов людей, пожалуй, и добродушных, но таких, руки которых „запачканы кровью". Возьмите, напр., Молчалина. „Я, — рассказывает Щедрин, — видел однажды Молчалина, который, возвратившись домой с обагренными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими руками разрезывать пирог с капустой. — „Алексей Степанович,— воскликнул я в ужасе,—вспомните, ведь у вас руки..." — „Я вымыл",—ответил он мне совсем просто, доканчивая разрезать пирог". Молчалин совсем не злодей, он превосходный семьянин, страстно любит своих детей и ко всему этому настолько добродушен, что откушать у него пирог с капустой прямо приятно.— Также и старик Разумов из „Больного места"—тоже добрый человек. Всю свою жизнь он куры не обидел, служил всегда по сущей совести и, право, ему не за что упрекнуть себя. Аккуратный, исполнительный, нерассуждающий, он жил для своего семейства и прежде всего для единственного сына — Степы, возле которого сосредоточивались все лучшие его чувства и все вожделения. Степа выйдет умницей, Степа возвеличит род Разумовых. Старик доживает всю свою жизнь, не зная, за что и в чем упрекнуть себя, — с точки зрения формальной морали, он прав. „Что-то" однако заставило одну обездоленную мать провожать его по улице с проклятиями „сатана, сатана, сатана", что-то заставило чест-

ного Степу кончить жизнь самоубийством после того, как он подробнее ознакомился с прошлым своего отца.

Сатира и трагедия всегда идет рука об руку в произведениях Щедрина, и в этом случае он представляет явление исключительное во всей европейской литературе! Правда, вы найдете то же самое у Капниста—„Ябеда“, у Гоголя—„Ревизор“ и „Мертвые души“, и у Герцена в описании малиновских нравов,—но далеко не в такой степени.

Гоголь определил юмор, как видимый миру смех сквозь невидимые миру слезы. Почему-то мы приняли это определение без всякой критики. Возьмите, однако, комедию Плавта и его излюбленный тип „miles gloriosus“, большую часть фигур Диккенса и бессмертного Пиквика, откормленных Грангузье и Гаргантюа Рабле, мужиков малороссов у самого Гоголя, его Подколесина, Кочкарева, Жевакина и пр. и скажите, где тут слезы? Если я слышу их за сценой „Ревизора“, в жалобе несчастной солдатской вдовы, которая сама себя высекла, если их—этих слез так много в „Мертвых душах“, в которые Гоголь вложил всю свою глубокую тоску о пустой и бесцельной человеческой жизни, поставленный с глазу на глаз с великой тайной мироздания, где он с образностью мирового гения воплотил страшное противоречие между жизнью „как самым верным путем к смерти“, и жизнью, наполненной игрой мелкого тщеславия,—то никто не заставит меня видеть этих слез ни в „Коляске“, ни в „Женитьбе“, ни в „Сорочинской ярмарке“. Гоголь дал свое определение слишком поздно, когда его настроение было уже окрашено глубоким мистицизмом, когда он искренно скорбел о жизни людей, какая бы она ни была, потому что считал ее несоответствующей по достоинству ни нравственным задачам человечества, ни его мировой роли.

Но за смехом Щедрина действительно почти всегда слышатся слезы — то бессильного сострадания, то одинаково бессильного гнева. Возьмите любую из его сказок, лучшие страницы из „Головлевых“ и „Пошехонской старины“, процесс дохлого пискаря, „Повесть о правде и торжествующей свинье“, „Губернские очерки“ и многое, многое другое, и для вас станет ясным, что в основе всего лежит тоска—не отвлеченная, не мистическая грусть Гоголя, а *тоска по униженном человеческом достоинстве*, по этой правде, которая так жестоко запоздала своим появлением в свет. И жа-

лость о судьбе этого бедного вороньего рода, на которого все эти хищные ястреба, соколы, копчики, коршуны рассчитывают как на „каменную гору“... О, этот бедный вороний род, обреченный на гибель и растерзание... И это не мужик исключительно, хотя, разумеется, мужик по преимуществу. Кадры его наполняются всеми доверчивыми, наивными душами, всеми готовыми на жертву и самопожертвование во имя любви и правды. Тут и заяц, мечтающий о снисходительности и милосердии волка, и премудрый карась, ни для кого незаметно попадающий в разверстую пасть щуки, и сестры-актрисы Аннинька и Любинька, и сельская учительница, нагло обманутая каким-то либеральным прохвостом, и сотни других пискарей, корчащихся в кипятке, чтобы была действительно вкусная уха для самодовольных и самоуслаждающихся. Где, в чем эта страшная сила нравственной тупости? Почему, встречаясь с нею, намеченные роком жертвы притягиваются к ней с тою же неотразимой силой как железные опилки магнитом, как мотыльки сжигающим их светом? Вечно занятый этим вопросом, понимая его во всей глубине, Щедрин выростает в великую, *трагическую* фигуру нашей литературы.

Н. К. Михайловский (род. 1842 г.). Настроение 70-х годов нуждалось в научном или, по крайней мере, наукообразном, похожем на научное, обосновании, так как предыдущее десятилетие уже приучило видеть в науке главного руководителя. И это наукообразное обоснование несомненно дал г. Михайловский в своих многочисленных статьях, чем и об'ясняется значительность его роли в истории русской мысли. Задача, стоявшая перед ним в начале его литературного поприща, была велика и существенна, и для своего времени, по крайней, мере, он решил ее в высшей степени успешно. Эта задача—борьба с коренными стихиями русского духа: обломовщиной и фатализмом, потому что русского человека гнет к фатализму, к признанию над собой стихийной власти („линии“, „планиды“), каким бы самонадеянным не представлялся он иногда. Это та же задача, которая стояла перед Белинским и, особенно, Герценом (напр.—в его письмах о дилетантизме и буддизме в науке), и, я повторяю, для своего времени г. Михайловский справился с нею как нельзя более успешно. Его

блестящий публицистический талант, в котором чувствуется или „художник-недоносок“ или просто невыработавшийся художник, (потому что для меня вполне несомненна эта художественная закваска г-на Михайловского и, не будучи в состоянии оценить всей глубины его научных открытий, я лучшим его наследством считаю „Из сказок Таволгина“ и некоторые главы „В перемежку“)—его полемическое жестокосердие, уступающее разве жестокосердию Добролюбова или Чернышевского, его серьезная научная подготовка, особенно в области естественно-исторических дисциплин, поражающая самоуверенность его тона, глубокая искренность и красивый подкупающий лиризм—сделали его одним из самых видных писателей-учителей 70-х годов. В его стиле, в его капризном изложении, его меткой иронии, его способности передавать негодующие струны духа есть что-то напоминающее Герцена, хотя и умаленное, разжиженное, так сказать, журнализмом,—но минутами прекрасное; в его бодром идеализме, подернутом, однако, дымкой меланхолии, скептицизма, а пожалуй, и пессимизма (хорошо говорит Таволгин: „кабы настояще верил, так не так бы и жил, а кабы совсем не верил, так тоже иное бы дело“)—вы видите истинного наследника старобарской культуры, кающегося дворянина, кающегося барина, — в значительной степени переработанного разночинцем, но сохранившего свою художественную подоплеку, свои художественные требования и к жизни отдельных людей, и всего общества.

Литературная роль, выпавшая на долю г. Михайловского, очень велика, и надо было быть действительно центральной фигурой своего времени, чтобы ответить на его сложные вопросы. Надо было не создать, конечно, а формулировать „религию“ или такое учение, которое связывает понятие о мире с правилами личной жизни и общественной деятельности; надо было для больной, возмущенной и обиженной совести людей указать работу, поведение, цель в жизни, которая соответствовала бы их научному миропониманию. И, конечно, формулирование такой вот этико-научной „религии“ было самой дорогой, упоительной, даже мечтой всей литературной деятельности Михайловского. Надо, впрочем, столковаться о словах. Под „религией“ г. Михайловский разумеет:

...такое учение, которое связывает существующие в данное время понятия о мире с правилами личной жизни и общественной деятельности; связывает так

прочно, что для исповедующего это учение поступить против своего нравственного убеждения в такой же мере невозможно, как согласиться, что, например, дважды-два равняется стеариновой свечке. Очевидно, что первые христиане обладали таким учением. Их понятия о прошедшем, настоящем и будущем вселенной были самым тесным, неразрывным образом связаны с понятиями о нравственной жизни, и связь эта была такого возбуждающего свойства, что давала им возможность действовать с полной определенностью. Очевидно также, что мы такого учения не имеем; наши понятия о существующем стоят сами по себе, понятия о долженствующем существовать—тоже сами по себе, наконец, наши действия—опять сами по себе".

В предисловии к полному собранию своих сочинений, опять возвращаясь к тому же вопросу о задачах своей литературной деятельности, г. Михайловский говорит:

„Я никогда не мог поверить и теперь не верю, чтобы нельзя было найти такую точку зрения, с которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую пополняя. Во всяком случае, выработка такой точки зрения есть высшая из задач, какие могут представиться человеческому уму, и нет жизни, которую жалко было бы потратить на нее. *Безбоязненно смотреть в глаза действительности и ее отражению, правде-истине, правде об'ективной и в то же время охранять правду-справедливость, правду суб'ективную—такова задача всей моей жизни*".

Как позитивист, как сын 70-х годов, г. Михайловский, разумеется, стремился вывести свое здание на фундаменте точных наук. Он убежденный враг всякой метафизики, отчего задача его, разумеется, только осложнилась. Не желая и не смея перед своей позитивной совестью допускать ничего произвольного, г. Михайловский для своей религии нуждался более всего в точных выводах и обобщениях социологии. Но—увы—таких точных выводов и обобщений не существовало, как не существовало и самой науки. Если и теперь еще социологические работы неизбежно и как бы роковым даже образом начинаются с вопросов: „что такое социология", какой ее метод и пр. „ab ovo"—то легко себе представить, что было 30 слишком лет тому назад. Надо было начинать сначала, создать самую науку социологии, но „тут же,—говорит г. Михайловский,—иногда среди самого процесса теоретической работы привлекала меня к себе своею яркой и шумной пестротой, всей своей плотью и кровью житейская практика сегодняшнего дня, и я бросал высоты теории, чтобы через несколько времени опять к ним вернуться и бросить". Естественно, поэтому, что у г. Михайловского, как у случайного гостя высот теории, чисто науч-

ные исследования отличаются как бы отрывочностью и некоторой даже неожиданностью и едва ли могут удовлетворить полностью кого-нибудь (особенно при такой задаче, как создание религии!) и лучшее заглавие им, как и всему написанному г. Михайловским, это, разумеется, „вперемежку". „Вперемежку"—наука и публицистика, высоты теории и плоть и кровь житейской правды сегодняшнего дня, вперемежку—даже случайные, чисто беллетристические работы, и в результате—почтенные 6 томов полного собрания сочинений Михайловского, в которых читателю предоставляется разобраться самому. И, конечно, если в нем самом есть нечто от г. Михайловского, от психологии кающегося дворянина, от голоса больной совести—вообще от настроения 70-х годов—он кое в чем разберется; в противном случае, его недоразумения от всего этого недосказанного, неполного, разбросанного и случайного, всех этих „высот" и „низин" могут быть очень многочисленны. Цемент разнообразнейших работ г. Михайловского—настроение эпохи, ее идеалов, и если их нет в нас самих, то эти 6 томов не могут не показаться чем-то в роде разрушенной храмины. Это, впрочем, прекрасно понимал г. Михайловский, когда в средине 80-х годов писал по поводу пред'явленных ему недоразумений; „Хорошее это было время (70-е годы)". Тогда писатель знал и чувствовал, что у него „есть собеседники, в головах которых живут те же задушевные мысли, которые стоят на одной с вами почве, поймут вас на полуслове, договорят для себя недоговоренное вами и, в свою очередь, одним своим присутствием начнут речь, которую вам стоит только договорить и развить..." „Мне случалось тогда писать, кроме отдельных статей, по два ежемесячных обозрения зараз по самым разнообразным вопросам—философским, социологическим, нравственным, чисто практическим, литературным. И всё это связывалось *единством пульса жизни*, который у меня бился в такт с моими читателями. Да, хорошее было время!.."

Все это так, но все же труд читателя, живущего после этого хорошего времени, мало облегчается такими соображениями.

Создать религию (в положительном, позитивном смысле этого слова), удовлетворить жажде служить прогрессу, вселяя при этом убеждение, что этот прогресс не мечта, не иллюзия и что формула

его имеет за собой серьезнейшие, строго научные основания,— приподнять то нравственное, героическое, что таится в душе человека, взывая к его совести и чувству чести—этого хотел и это для своего времени сделал г. Михайловский. Мне он представляется, прежде всего, не человеком науки, не философом, а хорошим русским публицистом, мечтающим о создании новых общественных форм жизни, политиком, для которого правда-справедливость, т.-е. условие, обеспечивающие человеческое счастье—первенствует над правдой-истиной, т.-е. холодными и равнодушными к судьбе людей выводами науки. И он служил своей мечте в течение целых сорока лет, служил с огромной страстью и темпераментом, и подкупающей искренностью. Что вдохновляло его? Вот вопрос, на который он отвечает с полной откровенностью.

„Мы — я говорю „мы“, потому что вменяю себе в честь стоять в рядах этих citoyen'ов—мы поняли, что *сознание общечеловеческой правды и общечеловеческих идеалов далось нам только, благодаря вековым страданиям народа*. Мы не виноваты в этих страданиях, не виноваты и в том, что воспитались на их счет, как не виноват яркий и ароматный цветок в том, что он поглощает лучшие соки растения. Но, принимая эту роль цветка из прошедшего, как нечто фатальное, мы не хотим ее в будущем. „Логическим ли течением идей“, как вы смеетесь над Герценом, или непосредственным чувством, долгим ли размышлением или внезапным просиянием, исходя из высших общечеловеческих идеалов или из прямого наблюдения,—мы пришли к мысли: *мы должники народа*. Может быть, такого параграфа и нет в народной правде, даже наверное нет, но *мы его ставим во главу угла нашей жизни и деятельности*, хотя, может быть, не всегда вполне сознательно. Мы можем спросить о размерах долга, о способах его погашения, но *долг лежит на нашей совести*, и мы его отдать желаем. Вы смеетесь над нелепым Шигалевым и несчастным Виргинским за их мысли о предпочтительности социальных реформ перед политическими. Это характерная для нас мысль, и знаете ли, что она значит? Для „общественника“, для citoyen'a, для человека, вкусившего плодов общечеловеческого древа познания добра и зла, не может быть ничего соблазнительнее свободы политической, свободы совести, слова устного и печатного, свободы обмена мыслей (политических сходок) и проч. И мы желаем этого, конечно. Но если все связанные с этой свободой права должны только протянуть для нас роль яркого и ароматного цветка,—*мы не хотим прав и этой свободы*. Да будут они прокляты, если они не только не дадут нам возможности рассчитаться с долгами, но еще увеличат их. А, г. Достоевский, вы сами citoyen, вы знаете, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже мечтать о ней, соблазнительно желать ее во что бы то ни стало, для нее самой и для себя самого. Вы, значит, знаете, что гнать от себя эти мечты, воздерживаться от прямых и следовательно, более или менее легких шагов к ней—есть некоторый подвиг искупительного страдания“.

В другом месте г. Михайловский пишет в том же духе:

„Скептически настроенные по отношению к принципу свободы, мы готовы были не домогаться никаких прав для себя, не привилегий только, об этом и говорить нечего, а самых даже элементарных параграфов, того, что в старину называлося естественным правом. Мы были совершенно согласны довольствоваться в юридическом смысле акридами и диким медом и лично претерпевать всякие невзгоды. Конечно, это отречение было, так сказать, платоническое, потому что нам, кроме акрид и дикого меда, никто ничего и не предлагал, но я говорю о настроении, а оно именно таково было и доходило до пределов, даже мало вероятных, о чем в свое время скажет история. *„Пусть секут, мужика секут же“*—вот как, примерно, можно выразить это настроение в его крайнем проявлении. И все это ради одной возможности, в которую мы всю душу клали, именно *возможности непосредственного перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуазного государства.* Мы верили, что Россия может проложить себе *новый исторический путь, особливый от европейского,* при чем опять-таки для нас важно не то было, чтобы это был какой-то национальный путь, а чтобы он был путь хороший, а хорошим мы признавали путь сознательно практической пригонки национальной физиономии к интересам народа. Предполагалось, что некоторые элементы наличных порядков, сильные либо властью, либо своею многочисленностью, возьмут на себя почин положения этого пути“.

Это очень характерные строки, из которых, прежде всего, с полной очевидностью выступает факт, что толковать г-на Михайловского вне конкретной, исторической обстановки его времени, вне настроения его эпохи—труд совершенно бесполезный, потому что очевидно, что никакие теоретические изыскания не могут привести к формуле сердечного надрыва: „пусть секут, мужика секут же“. Это голос совести, все равно, как слова: „мы должники народа“, „мы не хотим прав и этой свободы“, „долг (перед народом, мужиком) лежит на нашей совести и мы его отдать желаем“— никому в мире не могут принадлежать, как только кающемуся дворянину. Им, прежде всего, и был г. Михайловский и в большом, и малом, и в своей формуле прогресса, и в своих рассуждениях о том, как несправедливо в наши дни вознаграждается труд кухарки.

Г-ну Михайловскому принадлежит прекрасное произведение „Вперемежку“, где между прочим изложены психология и обстоятельства жизни кающегося дворянина Темкина. Отнюдь не смешивая дворянина Темкина с г. Михайловским, думаю, однако, что некоторые размышления первого имеют ближайшее родство и с та-

кими формулами последнего, как только что приведенные, и даже с „самой“ формулой прогресса.

Отец Темкина не каялся, хотя чувствовал, что в жизни его есть что-то неладное, во всяком случае не отличался непосредственностью дедов и прадедов. Сын сравнивает свой душевный мир с водой в неподвижно стоящем сосуде, которую подвергают медленному охлаждению. Ртуть давно уже упала ниже нуля, а вода не замерзает, но стоит лишь слегка всколыхнуть сосуд, и на поверхности немедленно же появляется лед. Значит и тут термометр давно уже стоял ниже точки замерзания, нужен был самый крошечный толчок, и этот толчок дал дяденька генерал своим рассказом об одной действительно крупной и даже занятной несправедливости по отношению ни к кому даже другому, а к своему же ближайшему родственнику—из летописей рода Темкиных. Рассказ слишком длинен, чтобы его тут приводить,—но неподвижный сосуд всколыхнулся...

И вот дворянин Темкин сначала мало, потом все больше, до истеричности даже, начинает заподозревать правоту своего привилегированного положения, своего образования, как купленного ценою пота и крови разных крепостных Федек, и конечно, как барин, как прирожденный эстетик—потому что идея красоты у нас вся из барской культуры—прежде всего пришел в восторг от дивной красоты своего покаяния:

„С тех пор, как стоит святая Русь, никто, более нас, поэтического апофеоза не заслуживал. И мы его, наконец, получим. Ах, если бы я был первоклассный художник, если бы я мог разлиться в звуках, в образах, в красках — я воспел бы вас, братья по духу, изобразил бы вас, мученики истории, и изломал бы затем перо, резец и кисти, потому что, отведавши сладкого, не захочешь горького не запоешь подблюдных песен... Но дело так ярко говорит само за себя, что даже я, вполне сознавая ничтожество своих сил, надеюсь дать вам, по крайней мере, намек на *дивную красоту нашего покаяния*“.

И конечно, была красота, была красота духовного мира, почти что внезапно проснувшегося от долгого сна и вдруг постигшего свои глубочайшие связи с жизнью и ее первоосновой—трудящейся, обездоленной массой народа. Впрочем, и красота покаяния, и восторги барина Темкина были ограничены кое-чем существенным...

„Но во имя правды,—пишет он,—пожалуйста, не говорите о „веселой торопливости“. Неправда это. О, сколько муки душевной я вытерпел впоследствии, вспоминая жидовские проклятия, службу отца по откупной части и еще многое,

многое другое... Нет, тут не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да как же не торопиться? Как не торопиться из угарной комнаты, когда голову ломит, дышать трудно, ноги подкашиваются? Как не кричать: воздуху! воздуху! света... Как не каяться, если совесть мучит!“

Очевидно, что он уже победил и, если чему радуется, то никак не покаянию, а именно своей победе. Жизнь заставила его отказаться от дарового труда, от всех привилегий положения, мысль, в конце-концов, указала, что это не зло, а благо, что это-то и есть самое настоящее, чего только можно желать. Из угарной комнаты, угарной от хамских предрассудков дяденьки-немца, откупной службы отца, зуботычин дяденьки-генерала, разврата, насилия, всякой нечести он перешел хотя и в каморку, но в каморку со свежим воздухом.

Он действительно и искренно заподозрил правоту своего общественного положения. Опять несколько любуясь собой, несколько торопливо подчеркивая свою современность, он говорит: „Личное благополучие, как принцип, есть шутка, конечно, очень, как бы сказать... мещанская что ли. Стремление к личной чистоте и соответственное покаяние—штука старая, давшая искусству, кажется, уже все, что с нее взять можно. Но чувство *личной ответственности за свое общественное положение* есть тема *новая*, почти незатронутая“.

Как ни случайно, повидимому, явилось в душе нашего героя „чувство личной ответственности за свое общественное положение, оно все же оказалось достаточным, чтобы перевернуть вверх дном и его жизнь, и его внутренний мир. Дело, разумеется, в том, что это не было его личное чувство, а чувство и настроение целой эпохи, по крайней мере, целой общественной группы, часть которой ушла в карьеру, а другая часть в себя, чтобы копаться в душе своей, копаться в ней вплоть до детских воспоминаний и даже дальше того—до летописи и поколений, копаться там и мучить себя, переходя от рыданий к восторгам перед дивной красотой нового чувства. Мелко это или крупно—это в сущности безразлично, но совсем не безразлична другая точка зрения на жизнь, выработанная неугомонной совестью. Вот, напр., совсем маленькое соображение:

„Для того, чтобы из меня гениальный комок нервов выработался, нужно кому-нибудь снять с меня весь физический труд,

необходимый в данную минуту, то-есть нужны Федьки и Яковы, не крепостные, так „вольные“, но, во всяком случае, приспособленные к стихии физического труда и превосходно с ней справляющиеся“.

Просто любопытно, как правильно, как даже схематически правильно повторяется в герое 70-х годов кающийся процесс всего нашего культурного дворянства вообще! И тут последний, еще необходимый штрих — кроме удивительно характерной „дивной красоты покаяния“ — из которого видно, что процесс покаяния у Темкина просто и естественно должен был перейти в прекраснодушие, в исключительные заботы о собственном нравственном благообразии.

„Вот замечательный и, смею сказать, исторический факт: *в то время, как Писарев и другие изыскивали программу чистой святой жизни, уединенной от всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу в жизнь, в это самое время, все эти Помяловские, Решетниковы, Щаповы, Нибуши и проч. знать не хотели никаких эпитемий и знакомились с белой горячкой.* Они были полны ненависти и были правы в своей ненависти. Их не могло мучить сознание личной ответственности за свое общественное положение, их могла душить только злоба за искалеченную жизнь. Но они были все-таки близки нам, именно своею ненавистью, и из этой близости возникали чрезвычайно странные столкновения. Прежде всего, они нас спасли от окончательного погружения в писаревщину. Мы готовы были совершенно закупориться в тесную раковинку собственной чистоты, примирившись с тем фактом, что в нижнем этаже того самого здания, где мы себе устоили уютное гнездышко, живет непроглядное невежество, безысходная нищета. Но разночинцы выходили именно отсюда, из этого страшного подвала, и вносили с собою струю свежего воздуха. Так что они, со всем своим пьянством и буйством, спасали нас.

Разночинец не дал кающемуся дворянину осуществить программу Станкевича и его кружка,—программу чистой святой жизни, уединенной от всякой скверны, т.-е. программу, так подкупавшую наше барство тридцатых годов; разночинец в эту прекраснодушную психологию внес свою ненависть и больше—правоту своей ненависти, свой гнев, свою жажду отмщения и жертвы. Не механически соединились теперь оба эти элемента—кающегося барина и непримиримого разночинца, идеи красоты и общественного служения, ближайшей пользы, ближайшего стремления—помочь голодной массе, накормить ее—и лучезарного идеала, эстетически созерцаемого идеала (как сейчас увидим)—гармонически развитой лично-

сти,—а полно и органически и создали движение 70-х годов и его философическое отражение—6 томов собрания сочинений г-на Михайловского.

Г. Михайловский несколько раз публично заявлял, что он не народник. И, конечно, он не народник юзовского толка,—так понятие „народ“ он не смешивает с понятием „мужика“, а расширяет его до определения „все трудящиеся классы общества“ и в вопросе о том, как надо поступать „сообразно ли с мнениями или с интересами народа?“—высказался скорее (хотя несколько неопределенно) за *интересы*, а не за мнения. В то же время он и не почвенник, потому что не находит ничего привлекательного в том, „что блестит и тайно светит“ в смиренной красоте русского народа или в простодушии отставного солдата Кудимыча, у которого все народы—хорошие люди, и который всех этих хороших людей „эва, сколько перебил“. Г. Михайловский, так сказать, убежденнейший интеллигент, убежденнейшим образом исповедающий веру в *силу критической личности* и разделявший некогда самонадеянные мечты и надежды русской интеллигенции 70-х годов. Это его слова: „предоставьте *русской интеллигенции*“ свободу мысли и слова, и, может быть, русская буржуазия не с'ест русского народа“. Самая задача его деятельности синтезировать правду-истину и правду-справедливость свидетельствует о полном его уважении к науке, знанию, интеллигентности вообще. Но все же я думаю, что и сам г. Михайловский не станет отрицать, что в некоторых существенных пунктах он очень близок не только к народникам, но и к народникам-опростителям. Такое, напр., признание, что он верил (и вначале, разумеется, без сомнений) в возможность (для России) *непосредственного* перехода к лучшему высшему порядку, *минуя* среднюю стадию европейского развития, стадию европейского государства“—заставляет очень многих считать его народником. И, конечно, у него есть или было духовное согласие с этим существенным пунктом программы последних. К кому же, впрочем, как не к народу и было прислониться ему—кающемуся дворянину, кого же больше всего жалеть, о ком же мучительнее всего думать! Восклицает же дворянин Темкин, вспоминая о ребяческой своей подлости в отношении к дворовому человеку: Федька великодушный, прости меня!—почему бы не поискать того же крика

и в формуле прогресса г-на Михайловского? Конечно, тут строгая наука-формула Бэра и пр., но суть, кажется, не в этом, а в том, что наследственно-утомленная барская культура ищет выхода в идеале опрощения (не даром же увлекалась Руссо двенадцативековая аристократия Франции), а русская—в несколько очищенной от грязи, несколько прикрашенной мужицкой жизни.

Напомню центральное место из статьи г. Михайловского „Что такое прогресс".

„Первобытное общество представляет в целом массу совершенно однородную. Все члены его занимаются одними и теми же делами, обладают одними и теми же сведениями, имеют одни и те же нравы и обычаи. Но каждый из них, отдельно взятый, вполне разнороден: он и рыбак, он и охотник, и пастух, он и лодки умеет делать, и оружие, и жилище себе сам строит и т. д. Словом, каждый член первобытного общества совмещает в себе все силы и способности, какие только могут родиться при тогдашнем уровне культуры и местных физических условиях. Но вот происходит первое диференцирование общества на управляющих и управляемых. Общество сделало шаг от однородности к разнородности, но входящие в состав его неделимые перешли, напротив, от разнородности к однородности. Мускульная система у одних стала развиваться в ущерб нервной системе, а у других, наоборот. Прежде каждый член общества умел строить жилище и ловить зверей, а теперь одна половина их отвыкла от этих занятий, но зато научилась управлять, лечить, гадать и т. д. Следующий шаг к социальной разнородности есть, вместе с тем, и шаг дальнейшей индивидуальной специализации, т.-е. однородности. Правящий класс распадается на светских и духовных правителей. Одни сосредоточивают свои силы и способности, главным образом, на войне, а другие на собственно интеллектуальной деятельности, в пределах, допускаемых уровнем культуры, и затем каждый из представителей того и другого подкласса избирает себе все более узкие специальности. Это есть усложнение, увеличение разнородности общества в целом, но вместе с тем, специализация, уменьшение разнородности в каждом неделимом. Некоторые силы и способности от долгого неупотребления в целом ряду поколений как бы атрофируются, перестают действовать, и это отзывается, разумеется, и на физической организации.

„Нельзя сказать, чтобы деятельность первобытных людей исключительно состояла из физического труда. Это мнение, весьма распространенное, в сущности совершенно ложно. Если мы примем в соображение неудовлетворительность первобытных орудий для добывания пищи, устройства жилища и т. д., те опасности, среди которых жил первобытный человек, то для нас станет совершенно ясно, что мозг его должен был быть в постоянном напряжении, быть постоянно настороже, постоянно придумывать весьма трудные для него комбинации, которые в настоящее время давно уже готовы и решаются простым приложением меха-

нической силы. Ум и тело человека первобытного работали единовременно и с одинаковым напряжением, и если мы, современные цивилизованные люди, не признаем этого, то только потому, что смотрим на первобытное общество из прекрасного далека, слишком от него отличного. Современный цивилизованный человек, вообще говоря, физического труда не знает, и потому ему кажется громадным и всепоглащающим физический труд человека, с другой стороны, современный цивилизованный человек обладает таким количеством знаний, что умственная работа дикаря — представляется ему ничтожною. Придумать топор— штука не хитрая, а вот дров нарубить—так тяжело,—так рассуждает современный цивилизованный человек, постоянно видевший топоры и никогда не рубивший дров. Естественно поэтому, что ему кажется, что мысль первобытного человека не работала вовсе и что вся жизнь его сводилась на труд физический. Первобытный человек, как член однородного общества, до того поворотного пункта, на котором резко обозначилось разделение труда, был личностью целостною, личностью, в которой умственная и физическая стороны нахсдились во взаимной гармонии. Другое дело—круг его умственной деятельности: он не был и не мог быть обширен. Каждый из членов первобытного общества обладал такими же сведениями и понятиями, как и все остальные, но все они имели сведения весьма ограниченные. Поэтому в однородной массе первобытного общества неделимые были вполне разнородны, насколько это допускались условиями места и времени. Горизонт деятельности их был небольшой, но представлял полный круг, замкнутую линию. Они были полными носителями современной им культуры. С диференцированием общества на управляющих и управляемых, с диференцированием, обусловившим развитие общества, т.-е. переход общества от однородного простого к разнородному и сложному, началось нарушение целости отдельных личностей и переход их от разнородного к однородному. Дальнейшие распадения правящего класса имеют тот же двойственный характер: вызывают разнородность в общественном строе и, напротив, однородность и односторонность в отдельных личностях“.

„Сравнивая, затем, первобытное состояние общества с современным состоянием низших классов, мы придем к тому же результату. Возьмите работу дикаря, с одной стороны, и труд современного фабричного, с другой. Дикарь собирается построить себе жилище. Он сам выбирает годные для его цели деревья, сам валит их, сам свозит их на место, сам делает сруб и доканчивает хижину. Хижину он, положим, наверное слепил очень плохую, но не в том дело. Во все время работы он жил полною жизнью. В то время, как он потел и надрывался в лесу, он работал не только физически: выбор деревьев, места для провоза их. места для постройки — все это требует известной умственной напряженности. Кроме того, во все время работы дикарь думает о своей будущей жизни в той хижине, над постройкой которой он бьется, о тех удобствах, которыми украсится его жизнь и жизнь его семьи; на эти мысли его наводит каждый угол, каждая щель. В то же время он вносит в план хижины свою убогую идею красоты и пускает в ход все свои физико-математические знания. Словом, дикарь живет во время работы всем существом своим. Совершенно противоположную картину представляет работа современного фабричного в тех областях труда, которые подверглись наибольшему числу диференцирований. Например, производство

карманных часов, по Боббеджу, состоит из ста двух отдельных операций, по числу отдельных частей часового механизма, так что из сотни людей, занятых этим делом, каждый всю жизнь сидит над одними и теми же колесами или винтиками, или зубчиками — и только мастер, складывающий разрозненные части механизма, умеет делать что-нибудь, кроме своего специального дела.

Понятное дело, что это однообразие занятия исключает какую бы то ни было умственную деятельность, или, по крайней мере, низводит ее до возможного minimum'а. Как говорит Шиллер: „Вечно возясь с каким-нибудь обрывком целого, человек и сам превращается из целого в обрывок".

В тульском оружейном заводе разделение труда доведено до такой степени, что мастер не только всю жизнь свою делает собачки, или курки, или сверлит стволы, но передает свое мастерство детям по наследству. Постоянное и однообразное занятие, естественно, должно выразиться не усложнением, а упрощением организации, должно провести в организме, более или менее глубокую, так сказать, борозду однородности, которая и без того, в силу наследственной передачи особенностей организма, может усвоиться потомством, а в этом случае естественный фактор—наследственность, усиливается содействием социального фактора. Понятно поэтому, что в ряду поколений тульских оружейников мы должны встречать все больший и больший переход от разнородности к однородности. Предки их делали все ружье, и потому должны были принимать в соображение такие данные, которые совершенно не нужны и не пригодны потомкам, только сверлящим стволы или делающим курки. Поэтому предки были разнороднее потомков, и в то же время появление этих специалистов-потомков способствовало увеличению разнородности общества, т.-е. его развитию".

Я привел центральное место статьи г. Михайловского, в котором он устанавливает основания своей формулы прогресса. Не знаю, что собственно напоминает оно вам, мне же лично за этими фразами, так горячо и так воодушевленно написанными, слышатся мечтания Руссо и то чувство очарования и восторга, которое овладевало французским философом при мысли о первобытном состоянии людей, их полной свободе и независимости.

„Свобода исчезла и заменилась рабством"—говорит Руссо. „Цельность личности, ее разнородность, полнота развития всех ее сил и способностей--словом все необходимые условия для счастья—уступили место экономической и общественной специализации, тому процессу, который превращает человека в „палец от ноги", в колесико бесконечно большой общественной и государственной машины",—говорит г. Михайловский. Прочтя „Discours sur l'inegalite", Вольтер сказал, что ему хочется встать на четвереньки и убежать в лес; сказать то же самое после прочтения статьи г-на Михайловского, пожалуй, не захочется никому, но

если кто действительно проникается настроением его блестящих картин, то может пожелать уйти, напр., в деревню и путем хотя бы опрощения достигнуть состояния прежней цельности и полноты.

Конечно, и г. Михайловскому приходится сознаться, что не все в этой первобытной жизни и среди условий простого сотрудничества так уже хорошо и привлекательно. Довольно резко отмечает он, напр., зависимое и рабское положение женщины, но, очевидно, что им же нарисованная картина заключает в себе такие черты, которые искупают все ее недостатки. Он любит ее и много любит, потому что много ненавидит противоположную ей картину современного строя, где нет, разумеется, и следа ни цельности личности, ни ее разнородности, где она не может быть человечески-счастлива, потому что необходимость заставила ее развить в себе лишь одну способность, лишь один какой-нибудь орган,—глаза, голову, руки.

Не может г. Михайловский одинаково отказаться и от мысли, которая являлась одним из догматов веры интеллигента 70-х годов,—той, что золотой век не позади, а впереди нас, что все наши усилия должны быть направлены к тому, чтобы водворить царство его здесь, на земле. Но прообраз этого будущего века дан уже в прошлом, и наша интеллигентная задача заключается в том, чтобы восстановить тип этой прошлой жизни, предоставить человеку полную возможность развития всех своих сил и всех способностей. Человек должен возродиться перед нами во всей своей „разнородности“ и во всем своем могуществе, должен вернуть себе отнятое у него обществом и государством, экономическим и общественным разделением труда, должен войти в жизнь не одной какой-нибудь стороной своего организма—мыслью, или руками, трудом только физическим и только умственным, а всем существом своим.

Я полагаю, что никто не станет оспаривать эту, быть может, даже неумышленную идеализацию первобытного бытия со стороны г-на Михайловского. Очевидно, что для него „правда“ жизни была там, а затем история делала ошибку за ошибкой. Он, впрочем, сам очень откровенно говорит об этом:

„Во временных и случайных союзах простого сотрудничества эта цельность и непосредственность взаимных отношений остаются во всей своей силе... Если

бы принцип простого сотрудничества восторжествовал, если бы цивилизация постепенно раздвигала именно этим видом кооперации личное существование равномерно во все стороны, не раздробляя индивидуальности, а приобщая к ней все новые и новые индивидуальности, столь же цельные, если бы при этом воззрение на природу, путем коллективного опыта, очищалось от об'ективного антропоцентризма... я не знаю, что было бы в таком случае",—

во всяком случае, добавлю я от себя, не такая мерзость, которую мы видим вокруг, потому что мерзее этой мерзости г. Михайловский не может себе ничего и представить.

„Разделение труда одолело". „Запутанный порядок сложного сотрудничества постепенно стирал непосредственность взаимных отношений и дробил индивидуальную цельность". Цивилизация развивалась, но все ее развитие происходило за счет отдельного человека, личности. Чтобы использовать одну какую-нибудь его силу, один его орган, от него отнимались другие. Цивилизация действовала так же жестоко, как спартанцы, которые выкалывали глаза своим рабам, приставленным к ручным мельницам, чтобы эти несчастные не развлекались, а могли бы молоть и молоть без конца.

История вступила на ложный и страшный путь постепенной и систематической кастрации личности. Правда, на другой путь она и не могла вступить, что и г. Михайловский признает, но все же путь ее ложен и страшен. Это путь общественного и экономического разделения труда, все зло, весь вред которого так горячо, так убежденно выставлены в статье „Что такое прогресс". Разделение труда—зло огромное и безусловное, и никаких оговорок, никаких уступок г. Михайловский не делает. Цитируя даже осторожное замечание Милля насчет того, что „разделение занятий, исполнение одновременным трудом многих работы, которая не могла бы быть окончена каким бы то ни было числом порознь,—вот великая школа кооперации",—он сейчас же замечает, „великая ли это школа—это вопрос, подлежащий обсуждению, но это не единственная школа кооперации, потому что есть еще школа простого сотрудничества"... Во всяком случае, чтобы достигнуть счастья, человечество должно от разделения труда вернуться к простому сотрудничеству.

Однако, где же эта первобытная жизнь, высокая по своему *типу*, хотя и низкая по *степени*? где это простое сотрудничество,

которое для г. Михайловского, действительно, является великой школой кооперации? Я думаю, что всякий сам легко укажет источник вдохновения г. Михайловского—до того он очевиден, до того он был близок к нему.

Русские люди исходили из обычного настроения всякого критического периода,—из настроения, указывающего идеал в условиях естественного существования, но они видели это естественное существование перед собой, видели его на всем протяжении русского государства, в таинственных и молчаливых деревнях, устоям которых, повидимому, ничто не предрекало скорой гибели. Мало того: прошлое нашей истории, почти неизвестное тогда, очень плохо понятое и еще хуже истолкованное, говорило о прочности этих устоев и возможности продолжить их жизнь в неопределенно далекое будущее.

Интеллигентная мечта прилепилась к деревне, в ней нашла она конкретный образ своего идеала, и естественна и понятна была ее радость и торжество по этому поводу. За десять-пятнадцать верст от города находили и Америку и Эльдорадо, и острова Тихого Океана, и все условия для возможного человеческого счастья здесь, на земле. Находили и простое сотрудничество, и об'ективно - антропоцентрическое миросозерцание, и возможный minimum разделения труда, и разнородность личности, и отсутствие специализации. Находили, словом, исходный пункт исторического процесса, тот пункт, с которого история Запада в каком-то слепом и страшном заблуждении свернула, чтобы породить бесчисленные беды и бесчисленные противоречия.

В своей статье „Что такое прогресс“ и как раз в тех ее местах, где выставляются прелести первобытного существования, г. Михайловский ни словом не обмолвился о мужике. Но, приведенная мною выше характеристика жизни первобытного общества прекрасно подходит к нашей деревне: стоит только вместо слов „первобытного общества“ подставить „крестьянское общество“, вместо „первобытный человек“—„мужик“. Совпадение прямо трогательное. Сделав подстановку, мы прочтем:

„Крестьянское общество представляет в целом массу, почти однородную. Все члены его занимаются одними и теми же делами, обладают одними и теми же сведениями, имеют одни и те же нравы и обычаи. Но каждый из них отдельно взятый—вполне разнороден: он и рыбак, он и охотник, и пастух, он и лодки

умеет делать, и оружие и жилище сам себе строит и т. д. Словом каждый член крестьянского однородного общества совмещает в себе все силы и способности, какие только могут родиться при деревенском уровне культуры и местных физических условиях... Нельзя сказать, чтобы деятельность мужика исключительно состояла из физического труда. Это мнение, весьма распространенное, в сущности, совершенно ложно... Возьмите работу мужика, с одной стороны, и труд современного фабричного—с другой. Мужик собирается построить себе жилище. Он сам выбирает годные для его цели деревья, сам валит их, сам свозит на место, сам делает сруб и доканчивает иабу... Во все время работы мужик думает о своей будущей жизни в той избе, над постройкой которой он бьется, о тех удобствах, которыми украсится его жизнь и жизнь его семьи, на эти мысли его наводит каждый угол, каждая щель. В то же время он вносит в план хижины свою убогую идею красоты и пускает в ход все свои физико-математические знания...

И т. д.,—словом, до мельчайших подробностей быта и миросозерцания. Термины „дикарь“, „первобытный человек“, „первобытная жизнь“ и проч. были просто-на-просто façon de parler. На самом деле имелись в виду крестьянин и крестьянский труд, и так в действительности все г-на Михайловского и поняли.

Напр., один из героев Гл. Ив. Успенского, Пигасов,—Протасов тож—очевидно, очень и очень начитанный по части социологических статей г. Михайловского, говорит: „Вероятно, после морей крови и страдания они, т.-е. западные люди, придут путем огромных усилий знания и воли к тому, что ассоциация-то должна быть в одном человеке, что в нем одном должны сосредоточиваться, если так можно выразиться, все знания, все науки, ремесла, а союз таких всесторонне развитых людей будет община, общество... То-есть придут к типу нашего мужика, который все сам, на все руки, все может; ни в ком не нуждается и, сосредоточивая в одном себе возможность всестороннего развития врожденных в нем физических и нравственных сил, представляет тип „полного человека“, а не башмачника, сапожника, телеграфиста... Но зато, если культурный человек после всех усилий ума, знания и воли, после всех страданий, после морей крови придет к тому же типу, который в нашем крестьянине уже есть, существует во всей красе и силе—не завоеванных им, а взятых даром—тогда уже и самостоятельность, и независимость этого, своей волей выбившагося из мрака и холода мук, человека будет вековечная“...

Крестьянин и крестьянский труд, тип мужицкой жизни, существующий во всей красе и силе—вот истинный идеал эпохи, но

идеал, если можно так выразиться, неодушевленный. Это просто на просто прекрасная статуя „первоначального сотрудничества“, вышедшая из рук великого художника—природы, которую надо воодушевить и воодушевить прежде всего интеллигентной мыслью, чтобы сделать ее бытие вековечным.

Если все прошлое русской интеллигентной мысли,—о чем я подробно говорил раньше,—подготовило нас к особенному, любовному отношению к мужику, к идеализации его жизни, к взгляду на нее, как на законченный, красивый и сильный тип человеческого существования,—то старое барство, помнившее еще ужасы крепостничества, с своею жалостью к обиженному и обобранному человеку, и кающееся дворянство с своею больною совестью—не могли не усилить степени этой идеализации.

Эта идеализация была не только психологически, но и логически неизбежна. Интеллигентный человек не мог отказаться от своих традиций. Эти традиции влекли его к мужику, с одной стороны, к преклонению перед личным развитием, личной свободой и самостоятельностью, с другой. Как примирить эту личную свободу, личное развитие и личную самостоятельность с общинной жизнью? Можно ли их примирить?

Для г-на Михайловского простое сотрудничество, т.-е. сотрудничество без разделения труда,—ненависть и отвращение к которому заставили его признать тип крестьянской жизни не только высшим по отношению к типу жизни западно-европейского рабочего но и высшим вообще из всех прошлых, настоящих и будущих,—наиболее обеспечивает индивидуальное развитие, всесторонность и полнота которого и дает человеку счастье.

На его формулу критика откликнулась очень вяло. В сущности мы имеем по этой части одну статью, резюмировать которую можно в очень немогих словах: „Прогресс, по взглядам г-на Михайловского, есть постепенное приближение к цельности неделимых, к возможно полному разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Возможно-ли, вообще говоря, достижение такого идеала, т.-е. полного равенства и всестороннего развития индивидуумов? С одной стороны, различие пола и возраста, а также прирожденных способностей

противопоставляется самой природой возможности полного равенства между особями, с другой,—кратковременность человеческой жизни мешает всестороннему развитию отдельной личности, мешает тому, чтобы эта личность была всем для себя, ни в коем не нуждалась, все знала, все понимала, все умела".

„Чтобы все были равны и всесторонне развиты, пришлось бы пожертвовать очень немногим—устранить, напр., некоторые отрасли знания, уменьшить область науки и техники, чего ни в коем случае нельзя назвать прогрессом. С другой стороны, раз такой идеал достигнут, и все особи избегают всякой теоретической и практической деятельности, которая бы отличала каждую из них от других, возможен ли будет тогда дальнейший прогресс, и не грозило ли бы это обществу катаклизмом? *Наконец, встав на эту точку зрения, мы должны были бы смотреть на историю, как на ряд явлений регрессивных, ибо несомненно, что в обществе дикарей существует большее равенство между индивидуумами и каждый из них более способен ко всем родам деятельности, доступной человеку в диком обществе, нежели мы видим это у цивилизованных народов*".

Автор этой статьи приходит к тому выводу, что формула прогресса г. Михайловского в любой данный момент может поставить точку всякому прогрессу. И в конце концов, сам г. Михайловский, как я думаю, ровно ничего против этого не имеет. История представляется ему рядом явлений регрессивных, разделение труда он отбрасывает целиком. Наконец, верховной целью поведения он ставит счастье. Если же счастье ставится верховной целью—то не все ли равно, на какой ступени развития оно достигнуто? Зачем прогресс науки, техники, самосознания—что ведет, в конце концов, все к большей специализации людей, к разделению труда между ними, раз эти самые люди достигли равенства между собой, а условия их жизни обеспечивают им устойчивость этого равенства. История—ряд ошибок, вызванных процессом общественного дифференцирования (разделения труда), от *нас* зависит не повторять эти ошибки в будущем, воспользовавшись для этого особенными обширными условиями крестьянской жизни. Надо лишь внести в них высшее „интеллигентное содержание". Та боязнь перед культурой, перед развитием, которая так характерна для русского духа вообще, для славянофилов в частности, недоверие к этой культуре и развитию, желание обеспечить счастье на нравственно-экономической почве—все это нашло себе, несомненно, самое талантливое в русской литературе выражение у г. Михай-

ловского. Он (опять-таки герценовская черта) устал духом своим от этой бестолковой истории, которая идет, сама не зная куда и зачем идет, просто *никак*, обращая людей в орудия и средства для своих целей, ломая и уродуя их, идет с слепыми глазами, вся в крови, равнодушная и стихийно жестокая... И вот никак я не могу отказаться от мысли, что глубиной-то своей натуры, своего настроения—этот негодующий и страстный русский публицист, этот человек, всю жизнь боровшийся и звавший на борьбу, т.-е. г. Михайловский — способен увлекаться любимой мыслью о „маленькой колонии друзей, которыя поселятся в деревеньках и фермах, в пятнадцати или двадцати верстах от его деревни, как попеременно будут с'езжаться каждый день друг к другу в гости, обедать, ужинать, танцовать“. Конечно, маленькая колония друзей в представлении г. Михайловского должна разростись до всего человечества,—еда и лень отойдут на последний план, но все же чувствуется в г-не Михайловском такой-же хороший, бесконечно добрый русский устопист с истощающей даже жалостью сердца, с горячим порывом остановить это колесо истории, воистину колесующее людей, каким был и Илья Ильич Обломов, и А. С. Хомяков, и наши детски наивные и детски добродушные „трибуны“—Герцен и Белинский. Коренной стихийный идеал нашего прошлого—равенство в бедности, а не уравнение богатства. И не знаю, поэтому, зачем жалел г. Михайловский, что в Белинском не было немножко Прудона, т.-е. его оппортунизма, и что старый солдат Кудимыч, перебивший уйму поляков и черкесов, так бесконечно глуп и так бесконечно добр?

Красота ржаного поля, поэзия земледельческого труда, не сознанная нравственность общинных устоев жизни, равенство и разнородность людей первобытного общества — все это вошло, как эстетико-этические элементы в формулу прогресса г. Михайловского. Потому что он эстетик. Истинная жизнь человека представляется ему не только нравственной, но и красивой, гармонически цельной и уж никак не жизнью „колесиков“, „обрубков“, подробностей государственного механизма.

Формула прогресса г. Михайловского гласит: „нравственно, справедливо, разумно, полезно только то, что уменьшает разно-

родность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение".

Для своего времени эта формула была своего рода откровением. За вопросом 60-ых годов „что делать?" необходимо следовал вопрос, что такое прогресс, так как делать, очевидно, надо что-нибудь прогрессивное, что-нибудь такое, что дало бы возможность самым легким и скорым способом осуществить здесь на земле идеал человеческого счастья. Тут решена задача, как обосновать нравственность наукой, как примирить стремление к правде-истине с стремлением к правде-справедливости. Люди, рассуждает г. Михайловский, или устраивают, или должны сами взяться за устройство своей жизни, создать свою пригодную для них (по формуле прогресса г. Михайловского) действительность, которая и обеспечит их счастье. Но согласна ли существующая действительность, коверкающая и колесующая людей, обратиться в действительность, обеспечивающую человеческое счастье? Да, если люди захотят—то согласна, отвечает г. Михайловский, или его собственными словами: „предполагалось, что некоторые элементы наличных порядков, сильные своею властью, либо своею *многочисленностью* (!!), возьмут на себя почин в проложении этого пути". Но будет ли это сообразно с наукой?

Отвечая на этот вопрос, г. Михайловский создал свою собственную науку (исходя из учения Конта и автора „Исторических писем", а думается, что и статей Герцена и Писарева) или, по крайней мере, свой суб'ективный метод. Этот метод требует, чтобы человеческие желания и стремления и наши нравственные идеалы вошли необходимым элементом в научное социологическое мышление

У меня нет ни малейшего желания останавливаться на достоинствах и недостатках суб'ективного метода. Для меня важно лишь отметить и подчеркнуть то обстоятельство, что метод этот у нас явился в семидесятые годы, эпоху оживленной общественности, веры в силы интеллигенции,—эпоху, когда формула „мы делаем историю и должны делать ее во имя общечеловеческого счастья", пользовалась не только успехом, но, пожалуй, что и общим признанием. По мере того, как жизнь ставила этой превосходной формуле все большие ограничения и доказывала ее несостоятельность,—и суб'ективный метод все больше терял свой

кредит. Не изменил ему окончательно только сам г. Михайловский. Иные продолжают признавать его, но все с большими ограничениями. Понять его сущность не затруднительно; стоит только припомнить, что он появился, главным образом, для защиты формулы прогресса и способа ее получения. Можно ли получить эту формулу лишь путем бесстрастного исследования исторических и социологических фактов (как хотел Спенсер), или же такой путь недостаточен? Суб'ективисты признали его недостаточным. Так как, по их мнению, история делается людьми, путем их личной инициативы, во имя их же собственных желаний и целей, то, следовательно, для построения правильной формулы прогресса—эти собственные цели и желания должны быть приняты во внимание. Но так как целей и желаний как звезд небесных, то выбираются лишь те, которые соответствуют высшему нравственному идеалу. Увы, однако и нравственный идеал у каждого свой собственный. Чья же формула прогресса (в ее суб'ективных элементах) будет в таком случае истинной? Разумеется, того, чья личная нравственность наиболее подходит к высшему нравственному идеалу и т. д.

Наука, словом, должна быть этической, должна служить человеку, считаться с его нравственными идеалами и оправдывать их. Потому что люди, критически мыслящие личности, попросту интеллигенция делает историю, и они-то могут спасти русский народ от перспективы быть пожранным буржуазией, и, благодаря их усилиям, станет возможным миновать среднюю стадию европейского развития, опираясь, конечно, на устои народной жизни.

Все, в конце-концов, сводится к этике, этическим требованиям, проповеди нравственной и общественно-полезной деятельности. Почему, напр., Спенсер,—говорит г. Михайловский,—излагает свои мысли в высшей степени *спокойно и бесстрастно*, обставляет их множеством примеров из самых разнообразных отраслей науки и жизни, при чем обнаруживает огромные сведения и располагает свои примеры чрезвычайно искусно. Эти-то свойства его аргументации делают ее *чрезвычайно опасною*, и в особенности для нас, русских. *Спенсер трактует об общественных вопросах совершенно так же бесстрастно, как о гипотезе туманных масс или фазах развития гидры. Мы к этому не привыкли*“ и т. д. [1]).

[1]) Суб'ективная правда требует свободы, равенства и счастья всех людей, но можно ли эту правду, это наше желание оправдать с точки зрения точной

Научное мышление, напротив того, должно включить в себя нравственные идеалы человечества, а человек науки должен быть прежде всего общественным деятелем. В этом и должен был опять отразиться дух времени, его настроение.

70-е годы действительно отличались и темпераментом и характером. Эту справедливость им надо отдать в полной мере. Припомните журналистику того времени, ее ожесточенные полемики, быстрое решение, которое получали в ней самые серьезные вопросы, резкость и определенность ее точек зрения—и вы увидите, что люди жили или, по крайней мере, им казалось, что они живут полною жизнью. И было несомненно больше определенных физиономий, чем потом. И в общественной жизни чувствовался тот же темперамент, та же напряженность ожидания, тот же, повторяю, своего рода фанатизм и сектантство. Чувствовалась, словом, известная вдохновенность общественностью. Было не мало признанных вожаков, и теперь видно, как страстно и напряженно работали они, и едва ли кто-нибудь из них предполагал, какое жестокое разочарование ожидает их всех и притом в самом непродолжительном времени. В этом не их вина, конечно...

науки? Вопрос жгучий и если, по мнению некоторых, г. Михайловский мало сделал для его решения, то, во всяком случае, он много хотел. Когда точная наука в лице Спенсера заявила, что до запросов человеческого счастья ей нет никакого дела, г. Михайловский ополчился на Спенсера; когда явились попытки подвести явления общественной жизни под открытые Дарвином законы биологии, г. Михайловский выступил против этих попыток; то же было и при некоторых толкованиях теории Маркса. Критика Спенсера была первым серьезным литературным трудом г. Михайловского, где он высказался с полной определенностью. Здесь он употребил и весь свой большой талант, и все свое немалое остроумие чтобы развенчать английского философа в глазах русской публики и чуть ли даже не свести его на нет. Ведь Спенсер ровно ничего не говорит о величии критической мысли, не признает героев, не упоминает о „крови, слезах и страданиях" людей, т. е. „цене прогресса", а только бесстрастно исследует ход развития,—и ослабить его авторитет представлялось для своего времени делом большим, значительным и трудным. Оно—это дело было велико и значительно, потому что вместо формулы Спенсера: „*мы не делаем истории*" надо было поставить другую: „*мы делаем историю и должны делать ее*"; оно было трудно потому, что за Спенсером стояли европейские авторитеты, а к нему самому, как прежде всего естествоиспытателю, невольно склонялись симпатии русских читателей, еще помнивших недавнее увлечение естественными науками и Боклем—тоже совершенно равнодушным к судьбе отдельных людей.

Нечего и говорить, что та же требовательная общественность стремилась подчинить себе и искусство. Искусство, как и наука, должно служить все тому же разрешению общественных вопросов: художник, как и человек науки, должен быть прежде всего общественным деятелем; одинаково должен он стремиться не только к пониманию, об'яснению и изображению—нет, прежде всего он должен страдать и радоваться, прежде всего в его голосе должны быть слезы о прошлых и настоящих муках человечества...

Суб'ективный метод к социологии, во всяком случае сослужил хорошую службу г-ну Михайловскому: он дал ему возможность выработать несколько социологических формул, которые могли явиться основанием для нравственного поведения. Идея этого суб'ективного метода внушена не столько отдельными фразами положительной философии Конта, сколько настроением эпохи, голосом ее совести, жаждой расплаты с народом и той русской интеллигентной самонадеянностью, которая допускала возможность немедленного осуществления человеческого счастья в русской земле.

Этот суб'ективный метод, это вторжение личности и ее нравственных идеалов в научное мышление—это бесспорное верховенство личности и ее идеалов, которые, в конце-концов, создают науку, историю и действительность, говорит о безмерных стремлениях и безмерной жажде „творчества общественных форм", владевших русскими интеллигентными людьми 30 лет тому назад, о том чисто религиозном фанатизме, с каким они относились к служению обществу и устроению народного счастья. Больная совесть кающегося дворянина, тревожная мысль о неоплатном долге народу мстительная непримиримость разночинца, все это слилось в одном настроении, требовательно искавшем путей для немедленного осуществления своих мечтаний. Во имя своих нравственных идеалов личность декретировала свое верховенство не только над формами общественной жизни, но и над выводами науки. Тут завершение нашего процесса „эмансипации", ибо личность, ее критическая мысль поглотила в себе *все*—общественные формы и об'ективные выводы науки... И все это странно, противоречиво соединилось с любовью к молчаливой и безличной массе народа и даже преклонением перед ней.

Г. Ив. Успенский (род. 1840 г.). Г. Ив.Успенский один из самых замечательных русских художников-публицистов 70-х годов. По удивительной правдивости своей натуры, по способности к крайнему увлечению, он, быть может, больше кого-нибудь другого напоминает Белинского. Он народник, но народник-скептик. Каждой свое строкой он разрушает веру в прочность устоев крестьянской жизни; в сущности—он поэт распадения этих устоев, и особенно ясен для него факт, что чумазый (капитал) „орудует“ и в лесах, и в лугах, и на пашне, и в самом сердце „пригородного“ мужика, к типу которого приближается роковым образом все русское крестьянство. Распадение деревенских устоев, нарождение деревенского пролетариата—вот пугающее и страшное в нашей жизни и особенно пугающее и страшное для Успенского, который удивительно чутко проник и в гармоничность и целостность земледельческого миросозерцания, и в поэзию крестьянского труда и красоту ржаного поля. Все это для него святое и прекрасное, истинный храм, в котором завоеватель-торгаш устроил свой прилавок и стойла для своих лошадей. Успенский понимал, что торгаши, хищники, Разуваевы расположились очень основательно, что их очень трудно выгнать, но все как-то надеялся, что может быть и удастся выгнать всю эту сволочь, пачкающую, коверкающую и развращающую чудное произведение художника-природы—крестьянскую жизнь. Аргументов против народнической веры и даже против всяких мечтаний о том, что „добрый барин“ может направить крестьянскую жизнь по желательному руслу,—в произведениях Успенского сколько угодно, но те же произведения лучше всего другого раскрывают нам глубину этой веры, затрагивавшей и подчинившей себе самые могущественные струны души человеческой, жажду земной справедливости, жажду красоты.

Именно и именно красоты. До сих пор мало кто подчеркивал эстетическую сторону мировоззрений Успенского (исключая г. Михайловского), а между тем ее придется, пожалуй, очень и очень выдвинуть вперед. Дело в том, что красота типа народной жизни (конечно, более ясная при патриархально-крепостном строе, чем теперь, потому что самый тип был нетронут),—действовала на Успенского могуче и непосредственно вне влияния всяких политических и политико-экономических соображений. Она так же *обязывала*, как и страдание народа... Между прочим у Успенского

есть очерк „Выпрямила“, посвященный Венере Луврской. Стоит на нем остановиться несколько, чтобы примирить эту несообразность—народничество и высшую эстетику. И мы увидим, что несообразности никакой здесь нет, так как восторги Успенского перед луврской Венерой те же самые, что и его восторги перед красотой крестьянской жизни.

Красота крестьянской жизни, поэзия земледельческого труда, красота самого земледельческого типа по существу своему для Успенского то же самое, что красота... луврской Венеры. Я не в парадоксах упражняюсь и не о том говорю, что Успенский нашел у Венеры „*мужицкий*“ завиток волос. Но, спросите себя, чем Венера так обрадовала и так выпрямила русского интеллигента-пролетария, Тяпушкина-Успенского? О впечатлении „женской прелести“ не может быть, конечно, и речи. „Я окончательно уверил себя,—пишет Успенский,—что г. Фет *без всяких резонов*, а единственно только под впечатлением слова „Венера“, обязывающего воспевать женскую прелесть, воспел то, что не составляет главного в Венере Милосской, в общей огромности впечатления, которое она оставляет“. Не в прелести дело, а совсем в другом: „он (художник) брал (при создании Венеры) то, что для него было нужно и в мужской красоте и в женской, не думая о поле, а пожалуй, даже и возрасте и ловя во всем этом только человеческое; из этого разнообразного материала он создавал то истинное в человеке, что составляет смысл всей его работы, то, чего сейчас, сию минуту, *нет* ни в ком, ни в чем, нигде, но что *есть* в то же время в *каждом* человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку, а не на распрямленную.. И мысль о том, когда, как, каким образом человеческое существо будет распрямлено до тех пределов, которые сулит каменная загадка (Венера), не разрешая вопроса, тем не менее рисует в вашем воображении бесконечные перспективы человеческого совершенствования, человеческой будущности и зарождает в сердце живую *скорбь* о несовершенстве теперешнего человека“. Венера Милосская явилась перед Успенским с обломанными руками, с какими-то даже нашлепками на носу, и все же в этом вот обломке он увидел то истинное человеческое, что есть в каждом, увидел бесконечные перспективы человеческого совершенствования. Оттого-то он и впал в чисто молитвенный восторг, что впечатление

красоты человеческой соединилось в нем со скорбью о несовершенстве теперешнего человека. Будь он только эстетик, он, конечно, увидел бы в Венере больше „женщины", чем увидел в действительности. Но у него эстетика особенная. Это эстетика 70-х годов, эстетика насквозь этическая, вызывающая скорбь о несовершенстве. Вот что надо понять: *у чутких художественных натур семидесятников не только совесть обязывала, обязывала не только истина и справедливость, а действительно обязывала и красота.* Кое-что в этом смысле можно найти у Михайловского, но у Успенского оно ярче, полнее: восторг перед красотой у него чисто молитвенный, коленопреклоненный стоит он перед святыней красоты, очарованный этой каменной загадкой, открывающей такие бесконечные перспективы человеческому совершенствованию. Не приниженным, не скомканным, как старая перчатка, не трусливо-беспокойным, а именно божественным, как луврская Венера, является перед ним человек будущего, и эта мечта, этот призрак обязывает. В это „этическое" время все становилось этическим. И помните, для чего, в конце концов, „пригодилась" Венера: „вот стало быть и я, Тяпушкин, всей моей жизнью обреченный на то, чтобы не жить личною жизнью, а исчезнуть, пропасть в каком-то не моем, но трудном деле ближнего, был глубоко рад, что *великое художественное произведение укрепляет меня в моем тогдашнем желании итти в темную массу народа.* Теперь, благодаря всему, чему великое художественное произведение научило меня, я знаю, что мне по моим силам можно и должно итти туда", чтобы помочь начинающему жить *человеку-народу* подняться хоть на единую только ступень к недосягаемому совершенству того божественно-человеческого, что воплотилось в каменной загадке. Тут нет боязни красоты, вопияние против красоты, низведение красоты к пользе,—словом, всего, что так характерно для разночинца 60-х годов. Кающийся дворянин с своей барской культурою, эстетической традицией расширил, порою прямо-таки одухотворил миросозерцание этого разночинца, и вместо вопияния перед нами молитвенный восторг перед красотой, понимание, к чему она *обязывает.*

Сначала, быть может, это даже смешно немного, что луврская Венера заставляет итти туда, в темную массу народа. Но если понимание этого, на первый взгляд комичного, обстоятельства

ускользнет от читателя, то ускользнет от него понимание 70-х годов. Пусть они чужды нам, пусть через край самонадеянны и часто „напыщены“ даже гипотезой собственного величия, но все же мыслью-то своей, остаточком опустошенной гражданственности можем мы приблизиться к пониманию их основного мотива. Молитвенный восторг перед святыней красоты, заложенной в человеке *художником-природой* (именно *художником*, а не *безличной материей*), ведь это что же такое? Ведь это и есть та высь религиозная, та высь религиозного настроения, с которой только и может быть понятной жажда не только уже бесполезного, но даже и безымянного подвига.

Говорю я все это к тому, чтобы сделать такое заключение, что у Глеба Успенского и Златовратского красота Венеры Милосской, по впечатлению, которое она производит, по типу своему, по скрытому в ней нравственному обязательству то же самое, что красота Парамона-юродивого, с его полупудовым железным колпаком вместо шапки, народной интеллигенции, искони—народной жизни, вообще.

„В этих двух характерных чертах народного строя жизни заключаются все данные для многостороннейшего проявления человеком всего, что в нем есть *божеского* и человеческого... Облечь этот образчик полноты существования в такие формы, которые бы пленили мысль и взор читателя, не позволяет горькая действительность, и вот почему мы не смеем живописать *красоту* существования Марфы“.

Кажется ясно, в чем дело. Красота Венеры Милосской обязывает итти в народ, чтобы не дать начинающему жить человеку-народу унизить себя до размеров скомканной перчатки и колесика государственной машины. И к тому же обязывает красота народной жизни, что

Сквозит и тайно светит
В наготе *ее* смиренной.

Успенский, художник большой изобразительной силы, не хотел, однако, быть художником. Больше даже: этого не позволяла ему его совестливая, его кающаяся психология. Не знаю, были ли у него даже в юности такие минуты, когда бы он совершенно свободно отдавался своему творчеству без думы, без заботы о том, что же из этого выйдет и выйдет ли из этого что-нибудь. Но ясно, что такие думы и заботы стали тревожить его очень

рано, тревожить настойчиво и властно, несомненно, стесняя его, налагая оковы и иго на его свободный дух и свободное вдохновение. Редко, поэтому, является он перед читателем во весь свой рост: он точно робеет, точно прячется за свои длинные „рассуждения публицистического характера", точно боится тех простых и ясных вещей, которые подсказывает ему его огромная наблюдательность и его неменьшая художественная интуиция. Кто знает, что вышло бы из него при полной внутренней свободе, об этом можно только гадать, но очевидно, что мы имеем полное право гордиться и тем, что вышло в действительности. Но все же, повторяю, Успенский боялся самого себя, и этим прежде всего, этой его робеющей совестливостью, его *застенчивостью* об'ясняется обилие публицистики, часто остроумной, часто детски наивной, в его произведениях.

Надо на минуту хотя бы припомнить время, когда он начал работать, историческую идею этого момента и общее ожидание обновления жизни через мужика.

Оказалось, что для новой цели прежние рамки беллетриста, драматурга, статистика, публициста никуда не годится. Вопрос о мужицком счастье застал нас врасплох. Не было истории крестьян, не знали, что такое раскол, спорили об общине, и не в том беда, что спорили, а в том, что доказательства брались не из фактов и опыта, а или из глубины благородного сердца, или из какого-нибудь другого не менее подозрительного источника. Писатель, воспринявший к сердцу вопрос о мужицком счастье, должен был, как это оказалось по опыту, в литературно-критических статьях разорвать политико-экономические истины, в рассказ о страдании двух сердец вставлять рассуждение о круговой поруке или общине. Романы, повести, драмы, статистика и этнография перепутались между собой до такой степени, что, казалось, святое искусство окончательно упразднено, пьяные мужики, опохмелившиеся фабричные кричали и безобразили на страницах литературных произведений, кровянили друг другу „рыла", давали друг другу в „эту самую кость", а Антон-Горемыка, этот меланхолический страдалец, решительно заявлял: „а теперь, братец, в кабак"... Сам писатель бросался из стороны в сторону, наскоро сочинял очерки, рассказы, наброски, сцены, не думал о красоте и стройности, а лишь о том, как бы успеть, как бы не упустить

чего. Все, что важно в мужицкой жизни, все это имеет полное законнейшее право на внимание писателя. Г. И. Успенский, самый яркий и талантливый представитель этой новой народолюбивой литературы, не мог не воспринять того же принципа во всей его полноте и прямолинейности. Попробуйте определить, кто он, какова его литературная специальность—и вам этого не удастся. Его сочинения вы с одинаковой свободой можете разбирать, вооружившись и курсом эстетики, и лучшими преданиями литературной критики, и сборником статистических таблиц. Перед вами то художественные перлы, то художественные иллюстрации, то этнографические заметки, то чуть ли не статистические таблицы. И, вместе с тем, во всем этом разнообразии вы видите самое строгое единство. Народная жизнь—вот что делает стройным целым все эти бесчисленные очерки, рассказы, сцены, наброски, „мимоходом“, „из разговоров“, и проч. Раз трава, рекомендуемая крестьянским лечебником и „полезная от сечения“, играет роль в мужицкой жизни, то Успенский уже не преминет посвятить ей несколько страниц. Он не затруднится оборвать рассказ на самом интересном месте и вставить рассуждение о круговой поруке или народном суеверии. Важно все, что важно для мужика, а в какую форму воплотится это важное—не все ли равно? Поэтому-то и нельзя писать об одном рассказе Успенского, об одном его очерке, о наброске, можно писать лишь обо всем, что вышло из-под его пера, так как все это органически между собою связано: беллетристика дополняется публицистикой, публицистика статистикой.

Очевидно для всех и каждого, что между Успенским и мужиком такая крепкая, органическая связь, что нет никакой возможности говорить о них в отдельности. Если Успенский не потонул окончательно в трясине самоедения и самобичевания, о чем ниже, несмотря на глубоко меланхолический темперамент, если веселая, детски-простая и откровенная улыбка то и дело освещает страницы его писаний, если он является пред вами бодрым и радостным или же, наоборот, тоскующим и хмурым, если он пишет на такую тему, а не на другую,—то за все это приходится и благодарить, и винить мужика. Возьмете ли вы слог Успенского, или его юмор, или его миросозерцание, или его манеру писать, куда бы, словом, вы ни обратили свой взгляд—везде мужик, везде влияние его жизни, интересов и характера.

Если мужик многим обязан Успенскому, то ничуть не меньшим обязан и Успенский мужику. Между ними произошел взаимный обмен одолжений. Приведу следующий эпизод из литературной биографии Успенского, оговорюсь только, что эта литературная биография нам известна лишь с внешней стороны, и притом в самых общих чертах.

Успенский не сразу нашел мужика. В первых его произведениях мужик почти не фигурирует. Здесь перед нами на сцене фабричный, приказчик, мелкий чиновник, городская голытьба, разорившийся помещик. Но коренного земледельца, того земледельца, во имя которого впоследствии стал исключительно страдать и радоваться Успенский, здесь нет. Описывая эту городскую жизнь, Успенский постоянно чувствовал какую-то вполне, впрочем, понятную неудовлетворенность. Его пьяные, с опустошенной душой, герои, их пустая, лишенная какого бы то ни было живого чувства и наслаждения, жизнь едва ли могла навести что-нибудь, кроме уныния. Измученная писательская душа искала отдыха, успокоения, гармонии. Но их не было, и, естественно, Успенский стал отрицать себя и свою работу. Она представлялась ему неважной и ненужной даже. Общее народническое пробуждение сулило ему как-будто какое-то большое дело, куда можно было бы уйти целиком, всей душою, но тогда он не знал еще, какое это дело. „Общество—пишет он,—вступившее в совершенно новый период жизни, требовало от литературы—и имело на это право—многосложной и внимательной работы. Таким образом, как отсутствие школы, так и глубокое внутреннее сознание, что „теперь“ обновляющаяся жизнь требует больших дарований и задает им огромные задачи, делали то, что незначительная способность написать „рассказец“ или „очерк“ ослаблялась внутренним сознанием ненужности этого дела. „Все это не то“,—думалось тогда, и вследствие этого материал обрабатывался плохо, кое-как, появляясь в виде отрывков без начала и конца“.

Зная нервную, болезненно впечатлительную натуру Успенского, не трудно предсказать, чем закончилось бы это мучительное сознание ненужности и бесполезности работы, как бы ни тянул к ней талант, как бы ни звало вдохновение. И время-то не такое было, чтобы писать для писания, а тут еще этот страшный писательский червь: „не нужно, не надо, бесполезно...“ Но вот

явился мужик, и Успенский сразу воспрянул духом, сразу увидел перед собой бесконечную перспективу необходимой и привлекательной работы. Его удивительный жанровый талант нашел себе полный простор и применение, сознание, что он не только пишет, а и дело делает, что перед ним громадная, никому неизвестная жизнь, от блага которой, однако, все зависит, не могло ни придать непоколебимой бодрости и энергии. Юмор развивался и „освежел“, практическая действующая складка ума оказалась удовлетворенной, и посмотрите, каким глубоким сознанием собственной надобности и спокойствием дышат следующие слова:

„Вы, вот, все жалуетесь, что нет изящной словесности,—все только о мужике пишут. Во-первых, это неправда: вы имеете ежемесячную массу литературных произведений, написанных вовсе не о мужике, и при том весьма изящно. А во-вторых, зачем вы читаете об этом мужике и, главное, зачем вы полагаете, что писания эти надо причислить к изящной словесности? Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее в оглавлении, и там сказано, „заметки...“, „отрывки...“ Какая это словесность? Это просто черная работа литературы, а с словесностью, вероятно, надобно повременить...“

Благодаря мужику, Успенский примирился и сам с собой, и с способом своего писания, и со своей отрывочной работой, он ясно увидел, что это нужно.

Найдя „мужика“, Успенский стал пользоваться своим художественным талантом, главным образом, для иллюстрации. Добровольно возложенная на себя громадная задача определить наконец, что же это за „таинственный незнакомец“, вынесший на своих плечах всю тяжесть русской истории, эта „святая скотина“, сохранившая свое золотое сердце, несмотря на татарщину, крепостничество, заставляла его бросаться из стороны в сторону, выискивая повсюду мужицкую подоплеку, приходить в отчаяние при виде неиз’яснимых противоречий, торжествовать, когда мужик оправдал себя, и надоумевать, когда его детски-наивная простая душа вдруг оказывается способной на всякие мерзости: забивает в гроб жену, обращается в мироеда, опаивает водкой грудных детей,—так как они ненужные, лишние рты. Некогда было высиживать, выдумывать и, написавши что-нибудь, положить, по рецепту Гоголя, в ящик на несколько лет и затем семь раз переделать и семь раз собственноручно переписать. Не о создании художественного произведения шла тут речь, а о мужицком счастье; перед

вами не поэт, не художник, а поэт-журналист, художник-журналист, у которого не просто тенденция, а вполне определенная практическая программа, в которой и общественные запашки, и волостные суды должны найти и находят свое определенное место.

Мне думается, что и самая сущность таланта Успенского как нельзя более подходила к этой разбросанной отрывочной работе. Он не мастер в деле выдумки, интриги, развития характера, он не любит описывать природу, сторонится от сильных драматических коллизий, и слишком привержен к факту, к действительности, чтобы посягнуть на создание чего-нибудь крупного, целостного. Пишет он всегда сразу, без подготовки, даже без помарок. Мгновенного впечатления ему совершенно достаточно, чтобы творчество заработало, фигура человека обратилась в характер, в тип, а факт действительной жизни—в образ. Он пишет штрихами, дает всегда самое необходимое, удовлетворяется отдельными картинами и не чувствует ни малейшего зазрения совести, оставляя героя на самом интересном месте.

По всем этим приемам вы без труда узнаете жанриста. Ведь тому тоже все равно, под каким небом—голубым или перламутровым, при каком освещении и в соседстве с какими цветами и полями присходила та или другая сцена. Ничто так хорошо не передается гравюрой, фотографией или просто карандашом, как жанровая сцена. Именно карандашом, а не красками, и рисует обыкновенно Успенский. Его прежде и больше всего интересует душа и ее бытовое проявление, и если это проявление ясно из одного штриха, то ничего больше и не требуется.

В альбоме произведений Федотова есть снимки, недоконченных, на скорую руку пером или карандашом набросанных, рисунков. Не хватает иногда целой половины рисунка: там недорисована рука или нога, там рот или глаза едва намечены. И все же вы понимаете, в чем бытовая душа такого рисунка, по одному штриху угадываете мысль художника, так как этот штрих верен, смел и так близок к действительной жизни, что для вас он является вполне достаточным и даже богатым намеком.

Совершенно так же работает обыкновенно и Успенский. В жанре—сущность и прелесть его дарования, жанр дает ему такую свободу, какой не может дать ни один из родов искусства, он,

как нельзя лучше, подходит к разбросанным и отрывочным, но вместе с тем и глубоким наблюдениям Успенского.

Однако эти глубоко-проникновенные наблюдения, эти художественные штрихи, на каждой странице разбросанные и точно молнией освещающие эти длинные, скучные рассуждения, лишь в самых редких, пожалуй, даже исключительных случаях складывались у Успенского в яркий образ, в определенную картину. Много сделал Успенский, но и после всего того, что он сделал, таинственный незнакомец—народ, так и остался таинственным незнакомцем. „Некогда было таким делом заниматься, работа не ждала, не ждала и самая жизнь, взволнованная и ищущая пути, исполненная противоречий и всякого рода неожиданностей. Надо было ловить момент, закреплять, хотя бы в штрихах, хотя бы в эскизах постоянно меняющуюся физиономию мужика и мужицкой жизни. Ведь незадолго до нас „порвалась цепь великая, порвалась-раскачалася“, горы еще накануне сошли с места своего, и было некогда...“

Новое всегда разрозненно, разбито на куски, разбросано и там, и здесь. Извольте подобрать все эти его части и слить их воедино. Если и есть примеры такой удачной работы, то они—счастливые исключения, которые могут не итти в счет. Любопытно, что равного Платону Каратаеву или Поликушке Толстого у Успенского нет ни однго типа. И причина этого не только в том, что дарование Толстого выше, а и в том еще, что до мужиков Успенского уже коснулось новое: коснулся кабак, воля, трактирная цивилизация, кредит, мироед и пр. Каратаев тем и удивителен, что в нем нет никакого противоречия, что он весь тут, как порождение вполне определенного строя, вполне ясно выразившейся системы жизни. А мужик Успенского носит на себе отпечаток разрозненности: он то и дело двоится, как двоится и самая жизнь, создавшая его, как двоится наша община между кулаком и старыми порядками и преданиями. Платон Каратаев вырос и мог вырости только в обстановке крепостного права. Он раб, и только раб. В нем вы видите идеальное отречение от самого себя и своей личности; забота о себе, о своем счастье, очевидно, никогда не тревожила этой младенчески-чистой души. Вся жизнь Каратаева ушла на служение кому-то другому, о чем он едва ли и знает что-нибудь определенное, и на все обиды, на все страдания, вынесенные им,

он отвечает одной детской, бесконечно ласковой улыбкой. Красота такого типа—если вообще тут может быть речь о красоте—в том и заключается, что он прост, что ему не приходится бороться с собой, что из утробы матери он вышел на свет таким же, каким уйдет в могилу. Он просто живет и просто умирает, как лист на дереве, как колос в поле. И эта удивительная гармония внутреннего мира освещает всю фигуру Каратаева мягким и ровным светом. Его не может не полюбить всякий, кто любит природу.

Мужик Успенского „двоится". Земля еще не утеряла своей власти над ним: она все еще его поилица и кормилица, она все еще руководит его жизнью, указывает, когда надо ложиться и вставать, во что верить, чего бояться, чему радоваться. Но рядом с землею явился всемогущий кабак, рядом с земледельческим трудом—нажива, проценты, обороты. Внутренняя жизнь мужика утеряла свою стройность, так как та же стройность исчезла из внешней обстановки его бытия. Это мужик переходного времени, без определенной физиономии, без прочных устоев. Это что-то нарождающееся, формирующееся, не принявшее ни определенной формы, ни подобия. Его пиджак и его душа никак не могут сговориться между собою. Пиджак тянет к легкой жизни, легкому труду, к сладострастию, наживе, чувственным наслаждениям; душа, не забывшая еще старых устоев, то тоскует, то злобствует или человеконенавистничает. Пиджак уже заставляет ее быть жадной, себялюбивой, восстать против всего во имя личного счастья. Но это мудреная задача, как мудрены все задачи переходного времени.

Создать что-нибудь цельное среди этой разорванной жизни мудрено. Переходное время каждую минуту создает что-нибудь новое, неожиданное, не идет ни под какую формулу. Люди, как будто не люди, а что-то среднее „с песьими головами", мир, как будто община, а как будто и кабак, мужицкая добродетель, как будто добродетель, а как будто и непроходимая глупость. Растеряться во всем этом немудрено. Но громадный талант жанриста выручает Успенского. За невозможностью создать и найти в жизни Каратаева полную и законченную фигуру, характер, он рисует лишь полные и законченные отдельные сцены, где опять-таки полно и законченно проявляется одна какая-нибудь отдельная

сторона души, одна отдельная сторона жизни. Бытописатель формирующейся жизни, он выводит на сцену лишь формирующихся людей, половина которых там, в крепостном праве, а половина там—в неведомом будущем.

Успенский из ищущих, из вечно взыскующих града и не обретающих его. Он „присматривается“. Он страстно любит мужика, но его любовь проникнута болезненным скептицизмом. Это не вдумчивый меланхолический скептицизм Некрасова, который, обращаясь к народу, говорит:

Ты проснешься ль, исполненный сил?

Скептицизм Успенского—продукт в высшей степени интеллигентного, без конца анализирующего ума. Оттого-то чтение его книг и производит на некоторых, по крайней мере, такое болезненное впечатление. Я лично не только не знаю сам, на чем остановиться, во что верить, я не знаю даже—на чем остановился, во что верует и сам автор. Надо ли чему-нибудь учиться у мужика, или наоборот, мужика всему учить надо? Или положить упования свои на „взаимодействие“? Хорош ли мужик, или нет? Есть ли у него добродетель, или такой за ним не значится? Существует ли в деревне общественность, или господствует рознь? Кто одолеет: мужицкая идея или кулак? Раз у мужика есть добродетели, то в каком смысле их понимать надо: настоящая ли добродетель это, или стадность, влияние обстановки, а не нечто сознательное и т. д. Правда, никто так резко мне этих вопросов не поставит, как Г. И. Успенский, никто не воплотит своих сомнений в таких художественных образах, но все же вопросы так вопросами и остаются. Любопытно было бы хоть попытатся осуществить программу лучшего из наших народников, я полагаю, что пришлось бы „по суху плыть, а по воде ходить“. Передо мной самое искреннее, но болезненное, надрывами какими-то, стремление полюбить мужика цельностью, рядом с этим поразительный здравый смысл, который насквозь видит все зло деревенской жизни, и тут же мучительный, до последней буквы правдивый анализ, не смеющий отдаться спасительной вере и глубоко страдающий от этой самой причины. Кого люблю, того и бью—говорят обыкновенно про отношение Г. И. Успенского к народу. Но он мало того, что бьет, а просто хлещет, при чем видно, что ни в чьем сердце эти удары не отражаются с такою болью, как в сердце самого Г. И. Успен-

ского. Ему бы до страсти хотелось идиллии рисовать, да своих мужичков выводить все умными, да пригожими, да добродетельными, но перо, подчиняясь художественной правде и здравому смыслу, пишет и рисует совершенно другое. Прочтя иные страницы из произведений Успенского, трудно не воскликнуть: „Однако, этот мужик"... Но автор, как бы сам замечая неблагоприятное впечатление, произведенное его кумиром, сейчас начинает толковать про тысячу одно обстоятельство, препятствующее добродетели кумира, набрасывается на интеллигенцию и этим самым доводит курс кумира до нормы. „Действительно, думаете вы, обстоятельства—вещь существенная, да и итнеллигенция бездельничает... Нельзя же мужичку самому выбираться". Переверните еще несколько страниц, и опять вас начинают охватывать сомнения: „Ну, а если бы земли побольше, а если бы интеллигенция принялась дружно за работу?" Повторяю, большинство вопросов остается без ответа.

Успенский любит мужика, но и верит в него в то же время. Он любит его, то как эстетик, находя в быте его дивную красоту, то как человек, утерявший в своей личной жизни все цели и весь смысл и знающий почему-то, что только мужик может вернуть единство и здоровье его нравственному миру, любит его, то с оттенком покровительства, то с надрывом раскаяния и душевной растерянности. Никогда ни один писатель не находился на такой опасной дороге, как Успенский, никогда ложь не представлялась таким естественным и, пожалуй, необходимым исходом для наболевшего духа, как при его работе, при его целях и задачах, и никто не сказал так много голой и страшной правды, как он. Все влекло его к идеализации, все делало соблазн ее неотразимым:—и настроение эпохи, и „разговоры с приятелями", и заранее готовый вывод, что в мужике и торжестве мужицкой идеи—единственный исход из зла, единственное наше спасение, и никто бы не стал обвинять Успенского, если бы он только идеализировал: всякий бы понял, что эта идеализации—его личное дело, дело его больной совести. Но от лжи и идеализации его спасла могучая художественная сила, какая-то поразительная чуткость к жизненной правде, пожалуй, даже смирение перед ней.

Однако, всякий, кто внимательно читал Успенского, не мог не заметить, что окраска рисуемой им подлинной правды жизни

произвольна. В этой окраске так много любви, так много добродушия, что решительно нет возможности сердиться, негодовать, какой-нибудь один мелкий штрих совсем вас обезоруживает, готовое вырваться у вас резкое слово замирает. В этом деле Успенский—великий мастер. Рассказывает он вам, например, про то, как трое случайно встретившихся после урожая мужиков и распивших по этому поводу бутылку, завалились спать и задавили ребенка на смерть. Сцена, кажется, довольно отвратительна, но, описывая ее, Успенский умеет, пожалуй, даже и не разжалобить вас, а просто обезоружить случайной подробностью, представить вам этих мужиков до того наивно растерянными и с таким недоумением повторяющими: „Вино-то дюже забрало... Вино хорошее, вино, надо сказать прямо, первый сорт“,—что вы готовы, чего доброго, улыбнуться. Задавленный мальчик остался где-то там, в поле, а тут на первом плане серьезная и дельно-простодушная похвала вину, которое, „надо сказать, прямо первый сорт“. И дюже хорошее вино заслонило в ваших глазах холодный трупик...

Муж торгует женой. Мужик жаден и хочет во что бы то ни стало разжиться. Жадна и баба, к тому же и красавица она. Подвернулся случай и началась бойкая торговля. Но любопытное впечаталение остается у вас в душе, хотя Успенский ровно ничего не скрывает и не утаивает.

„И не как-нибудь зря стала Аграфена заниматься этим делом, а так, что самый рассчетливый, самый основательный человек, осуждая ее поведение, мог в конце-концов, только похваливать ее, признать в ней необыкновенный ум, направленный без всяких послаблений и увлечений только к одной цели, которую она и достигла не как-нибудь, а с толком, умно, рассчетливо. Она сумела вытянуть из всех пятерых все, что у них было, вытягивала все лето возможными ценностями, при чем вниманием удостаивала далеко не всех, довела их до ссоры, чуть не до дуэли и в то же время не только не изменила обличья крестьянской жены, работящей и молчаливой, но даже и тени гордости не выказывала перед завидовавшими ей приятельницами. Вставала она попрежнему в три часа, гнала коров, шла на реку с тяжелыми ведрами, жала в поле, ходила босиком по грязи, словом—ни на волос не давала заметить ни господам, что они нужны ей, ни своим, деревенским соперницам, что они нужны ей. „К нам опять, баринушка, милости просим. Не оставьте уж нас опять-то, очепно мы вами благодарны“—как простая деревенская баба говорила она, кланяясь и держа конец фартука у губ, когда баринушки осенью раз‘езжались по домам, унося, быть может, истинную любовь в сердце.—„Непременно, непременно“,—кричали ей искреннейшим образом баринушки и махали шляпами.—„Присылайте других, побогаче“,—прибавила она грубо и бессердечно, когда баринушки умчались, и Аграфена

осталась с мужиком с глазу на глаз. Никаких больше разговоров, ни воспоминаний, ни даже имен этих баринушек не повторялось. Точно ничего не было такого, о чем можно было шепнуть друг другу пару слов. Веселая и радостная. после от'езда постояльцев, Аграфена потом поставила самовар и сама начала такую речь: „А ты вот что, Михайла: ты вот лошаденок парочку беспременно у Барсукова купи. Лошади первый сорт“...—„За лошадьми надо в Поговково. у Барсукова что?“ И пошел деловитейший из деловитых разговоров“.

Успенский и здесь добился своего. Он сказал всю правду, какую только знал, ничего не утаил, не прикрасил даже, но все действительно отвратительное отодвинуто куда-то на второй план, заслонено и затушевано деловитостью Аграфены, ее огромной выдержкой, ее преданностью интересам хозяйства. И вы уже прекрасно подготовлены к обычному заключению Успенского: „нет, не виновны“, ни Аграфена, ни муж ее не виновны, хотя все истинно человеческое убито уже в них, выедено этой страшной ржавчиной наживы и жадности.

Мужик не виноват ни в чем: он не может быть ни в чем виноват,—он никогда ни в чем виноват не бывает. Даже странно как-то звучат такие вот слова Успенского. „Раз он (мужик) делает так, как *велит* его хозяйка-земля, он ни за что ни отвечает: он убил человека, который увел у него лошадь,—и невиновен, потому что без лошади нельзя приступать к земле; у него перемерли все дети—он опять невиноват: не родила земля, нечем кормить было; он в гроб вогнал вот эту свою жену—невиновен: дура, не понимает в хозяйстве, через нее стало дело, стала работа, а хозяйка-земля требует этой работы, не ждет“. Словом, свалив всю ответственность за хорошие и дурные поступки с мужика на землю, на интересы хозяйства, Успенский этим самым как будто совершенно отрицал в мужике личность, т.-е. самое дорогое, что есть в человеке, без чего его жизнь —не жизнь, а произрастание, а самое поведение так же нравственно или безнравственно, как полет галки. Обидно...

Нечего и говорить, что этой привилегией полной невинности в глазах Успенского пользуется только мужик. Другие, особенно барин, те могут быть виноваты, и тех совесть мучает и укоряет по всей истине и справедливости.

Надо заметить, что к сатире ни склонности, ни дарования Успенский не имеет. Раз он хочет бичевать—у него получается каррикатура; к злобе, ненависти у него нет влечения, в крайнем

случае, он раздражается и только заставит своего „барина не у дел“ бить мух или напяливать на себя ордена от обезьяньей княгини, и затем рассмется сам своей обычной, добродушной улыбкой. Юмор его проявляется лишь там, где его любовь, т.-е. в описании мужицкой жизни, изображая же господ или интеллигентов-разночинцев („Тише воды, ниже травы“, „Воле-неволей“, „Овца без стада“), он или раздражается, или тоскует—тоскует до полного умопомрачения. Но стоит лишь вынырнуть мужицкой фигуре, хотя бы грязной, растрепанной, пьяной, Успенский оживает и становится неподражаем.

Любит Успенский мужика и любит, очевидно, не за звериную правду, а за то же, за что любит его Толстой и Достоевский,—за „интеллигентное“ сердце, или, лучше сказать, за остаток этого интеллигентного сердца, за какие-то признаки его, которых зачастую он и сам не признает.

И вот этому-то интеллигентному сердцу он хотел бы предоставить полный простор в жизни. Читая его, вы, особенно при тщетных попытках разобраться во всех его бесчисленных противоречиях чувствуете, что какая-то чуждая волна вторглась в его творчество, его внутренний мир, и замутила его. Сильно, настойчиво бьется он в этой паутине теоретических выкладок, очевидно, сам увлекаясь формулой прогресса, только порою нет-нет и брякнет он что-нибудь такое, за что все жрецы прогресса и формулы должны бы передать его анафеме. Но через несколько строк Успенский опять начинает кадить культурным идеалам, хотя по существу ни до какой культуры дела ему нет, и кроме зла, кроме мерзости ничего он в ней не видит. Не хватает у него смелости сказать то, на что решился, наконец, Толстой: „да уходите вы прочь с вашей культурой... никому и ни на какого чорта не нужна она... ложь она, ваша культура, и источник лжи“. Искренний художник Успенский почему-то очень ценит этикетку прогрессиста...

В Успенском много от голоса больной совести и даже от психологии кающегося дворянина. И отсюда страстное стремление его героев к слиянию с народом.

Все равно как человек наших дней, чувствующий, что погрязает он все более в мелочных, чисто буржуазных заботах о завтрашнем дне, о шести парах брюк, о том, чтобы жить не хуже

чем живут другие и пр.,—что гаснет то героическое, то красивое, что было у него когда-то в душе, что это вот паутина мелочных забот, соображений, лжи, уступок, лицемерия, всегда в большей или меньшей степени полезных, а часто и необходимых, становится господином, властно распоряжающимся его внутренним миром,—иногда в минуту просветленного отчаяния завидует хотя бы босяку, не знающему страха жизни, этого пошлого, мучительного страха, и готов идеализировать беззаботное и даже дерзкое существование нашей нищей городской вольницы—так барин, не видавший покоя и свободы, превозносил крестьянскую жизнь, с который у него все же были какие-то неоконченные старые счеты. Ему казалось, что он не может иначе достигнуть счастья, как если молчаливая крестьянская масса поглотит его целиком и без остатка, как если он уничтожится в ней и сольет свою больную психику с безбрежной и здоровой психикой народа. Отношения к крестьянскому миру, заботы об его счастье и благополучии были вопросами чести и совести, вопросами личного счастья и воплощением общественных мечтаний и утопий. Ходили в народ, носили армяки и тулупы, женились на крестьянках—все во имя того же и того же прекрасного и недостижимого крестьянского царства—царства труда, братского единения, здоровой и хорошей жизни.

Как художник, Успенский не только понимал, но и знал великолепно, что никаких нужных для утопии данных в народной жизни уже нет, что эта жизнь пошла уже другой дорогой, но и его не могло не заразить господствующее настроение. Он даже подчинился ему:. он увлекся теоретическим представлением о народной жизни, о ее красивом типе, ее могучих устоях.

Это было нужно ему прежде всего для души, нужно как опора своего интеллигентного существования, какого-то безпочвенного, пожалуй, даже оторванного от всего. И что на самом деле оставалось интеллигенту? Содействовать прогрессу промышленности и торговли, увеличивать собою и так уже густые ряды чиновников и людей формальной правды? Нет, очевидно, не это его дело, не здесь его призвание и назначение, а совсем в другом месте. Видя и зная, что крестьянской жизни уже нет, или кое-где уцелели лишь обломки ее прежнего строя, Успенский все же неотступно и настойчиво звал туда, в этот призрачный мир,

интеллигентного барина, указывал ему, что он может, что он должен делат и какая огромная награда в смысле нравственного успокоения и нравственного здоровья ожидает его за это. Безжалостно опровергал он сам себя, иронизировал даже над собой и, сказавши так прямо, так резко, как никто, что мужик и барин столковаться не могут, что общины нет, что забота о рубле, о деньгах поела злою ржавчиной устой мужицкого существования, что и самого барина-то нет, он все же с какой-то детской, простодушной и, право, милой наивностью начинает писать на тему, что барин вот приедет, барин все рассудит по-хорошему и по-благородному.

Когда эта чужая повязка спадала с глаз Успенского, что видел он перед собой в этой дивно-красивой мужицкой жизни? То только что хранить и беречь ее нельзя да и не к чему, что в сущности даже и нет ее, этой жизни, по крайней мере, в освещении, приданном ей тревожной совестью кающегося дворянина.

„Ведь пора же знать, что сельское общество тогда только было, в самом деле, самоуправляющейся крестьянской общиной, когда основанием средств к существованию всех ее обывателей была земля и исключительно для всех одинаковый крестьянский труд. Какие же это общинники теперь, если сосед наживает на соседе капитал,—скромную деревенскую копеечку на копеечку?“

—„Главная причина, братец ты мой,—говорит один из героев Успенского,—пищи нету у нас,—вот“...

Это отсутствие в деревне новых элементов, расширяющих размеры „общественого внимания“, делает то, что самое общинное пользование землею в настоящих условиях деревенской жизни вовсе не избавляет члена общины от голодной смерти.

Но если нет общины, т.-е. камня краеугольного народной жизни, если община только пустое слово, о чем Успенский повторяет тысячу раз, слово радностное и многообещающее для кающегося дворянина и нужное для социологов-народников совсем в такой же степени, как разрыв-трава или меч-кладенец для героев наших легенд и сказок, то спрашивается,—что же осталось? Ведь без общины никакой переход к совершенному будущему немыслим, ведь если нет общинного духа, то, очевидное дело, надо поставить крест и над всеми народническими утопиями... А этого общинного духа действительно нет. Всяк за себя—бог за всех. Рубль, деньги „нужны до умопомрачения“, и

стремление добыть этот рубль, эту кредитную бумажку,—целая трагедия, унизительная и развращающая.

Рубль рядом с каким-то общим стихийным обнищанием природы, внес страшную разладицу в крестьянскую жизнь. Но не только рубль, а все и хорошее, и дурное—и кабак, и лавочка, и школа даже вносит ту же разладицу. Успенский признает, что есть во всем этом что-то стихийное и неизбежное, а с еще большей грустью долже сознаться, что никакой силы сопротивления у мужика нет, что он сам по слабости первый идет навстречу тому, что грозит ему уничтожением.

Влияние цивилизации отражается на простодушном поселянине решительно при самом ничтожнейшем прикосновении. Буквально „прикосновение“, одно только легкое касание—и тысячелетние идеальные постройки превращаются в щепки. Вот перед вами трудолюбивый, деликатный, умный, целомудренный крестьянин, но поездил он две зимы легковым извозчиком и уже развратился. Скажите, пожалуйста, какая же тут может быть цивилизация ездить зимой в морозы на облучке и сидя спать в трактирах, опустив голову на стол? А между тем развращается. В две зимы человек „насобачивается“ так, что уж делается чужим в родном своем семействе. Гордость рождается у него, фанаберия и насмешка, приучается прятать деньги от матери, от большака, и непременно задумывает делиться. И это в лучшем случае, а то просто делается мерзавцем: иной приедет из Петербурга без копейки, хоть и „при часах“, ничего не делает, не работает, а свою же родную мать посылает ходить по миру и ждет ее, поглядывая на свои часы“.

И выходит, поэтому, для всякого, что-нибудь думающего о народе человека, задача поистине неразрешимая: цивилизация идет, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того, что не можешь остановить этого шествия, но даже, как уверяют тебя и как доказывает сам Иван Ермолаевич, не должен, не имеешь ни права, ни резона соваться, в виду того, что идеалы земледельческие — прекрасны и совершенны. Из этого беглого очерка уже можно видеть, что раз'единение деревенского общества на разные лагери, и лагери не вполне дружелюбные, сулит в перспективе явления, весьма неблагоприятные. Теперь уж надобно делать усилие, несправедливость для того, чтобы поравнять всех так, как все были

уравнены крепостным правом. Преследуя те же идеалы, Иваны Ермолаевичи должны уже бороться за них, враждовать с известною частью своих односельчан, когда-то им равных, и помышлять об отделении от них, о выходе из общества. С другой стороны, и противная партия, преследующая те же земледельческие идеалы, не может равнодушно сносить превосходства людей, когда-то равных с ними. Замечательно при этом следующее: хромоногий солдат, или тот работник, на которого жаловалась баба, все они изнывают и нищают потому, что им и мысли не приходит о том, чтобы работать товариществом: напротив, живя старыми земледельческими идеалами, каждый полагает, что в возне на собственном дворе и должна быть сосредоточена вся жизнь и все интересы, и все удовлетворения.

Нет общины, нет мира, нет единения, нет уже народного интеллигента, который вносил бы свет и правду в эту нищию и озлобленную жизнь, но было бы слишком грустно расстаться с утопией мужицкого царства,—и Успенский настойчиво начинает доказывать, что оно все же возможно. Но, чтобы оно было, возможно, надо восстановить власть земли.

Но точно ли крестьянская жизнь была когда-нибудь на вершине горы, точно ли она была такой дивно прекрасной? Не призрак ли этот исходный пункт и веры народников, и их отчаяния,—веры, всецело разделявшейся Успенским, и отчаяния, так мучительно высказанного им. Если был такой исходный пункт, о котором стоило бы жалеть, то когда же был он?

Прочтите „Власть земли“—эти удивительно остороумные, воистину блестящие страницы, и странный ответ получится на поставленный только что вопрос. Крестьянская жизнь была дивно прекрасной в самый разгар кабального холопства и крепостного права, когда ею владела стихийная сила ржаного поля, когда никто и ничто не вносили в нее разлада, когда мужик без думы, слепо, опять-таки стихийно работал всю свою жизнь от колыбели до могилы, не отрывая глаз от доставшегося ему клочка земли, порабощенный им и требовательными заботами с его стороны, когда он был автоматом-пахарем и ничего больше. Нужна была невероятная тягость труда, нужно было полное закрепощение человека, чтобы произрастала здесь, на земле, дивно-красивая жизнь. Разврат пришел лишь вместе с культурой, школой, лавкой, воз-

можностью другого не чисто земледельческого заработка, и разврат этот развивается все шире, расходясь все возрастающими кругами от центров городской жизни.

Жизнь под невообразимо тяжелым давлением, жизнь, постоянно пригибающая человека к земле, не дающая даже ему свободной минуты, чтобы расправить спину, чтобы подумать о себе, жизнь вся целиком отданная в кабалу земледельческому труду, без своей воли, без следа сознания, жизнь, продиктованная ржаным полем—вот она настоящая крестьяская жизнь, она дивно прекрасная... Прекрасна и потому, между прочим, что без мук, без исканий, без надрыва досталась она человеку, а просто так. И мужик хорошо живет, честно и красиво живет тогда только, когда нет в жизни его никакого ума, никакого своего стремления, никакой своей воли.

„Он живет, лишь подчиняясь воле своего труда... А так как этот труд весь в зависимости от разнообразных законов природы, то и жизнь его разнообразна, гармонична и полна, но без всякого с его стороны усилия, без всякой своей мысли. Вынуть из этой жизни гармонической, но подчиняющейся чужой воле, хотя капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо заполнить своей волей, своим человеческим умом, а это так трудно, так мучительно...

„Вот у нас часто, изучая народную жизнь, иные в высшей степени гармонические явления народного быта приписывают народному уму, и тогда он кажется необ'ятным. А между тем эти гармонические явления, до которых умом человек непокорной воли дойдет только через тысячи веков, существуют и рождаются просто так, как галка, как жеребенок. Неисповедимыми путями предуказано, чтобы кобыленка по весне ходила по полю и махала хвостом. Она ходит и махает, потом ее начинает пучить, и в конце концов, получается прелестнейший жеребенок в миллион раз умнее и лучше выдуманного человеком локомотива, но появляется без собственной воли, устраивается и принимает формы и строения без собственного ума, а просто так. И народная жизнь в огромном большинстве самых величественнейших явлений удивительна, стройна, гармонична, красива, просто так“.

Галка премудро устроена и прежде всего потому, конечно, что ни капли своей воли, своего ума не приложила она к этому устройству, и, разумеется, самую сильную обиду ее галочьему совершенству можно нанести лишь попыткой вмешательства в стройность и гармоничность ее бытия. Ничего, кроме данного ей от природы—галке не надо. Ничего не надо и мужику, даже школы не надо, потому что школа, потребность в ней только пока-

зывает и утверждает разлад в крестьянской жизни. „Разве в этой жизни,—спрашивает Успенский,—основанной на власти земли, власти все проницающей, все устраняющей и все в народной жизни уясняющей, разве там есть место какой-нибудь книжке, какой-нибудь науке? Зачем она тут? Зачем сюда соваться и разрушать удивительную стройность ни в каких указаниях, кроме указания природы, не нуждающейся жизни?“

Да и кто сунется? Конечно, барин, культурный человек, сунется с своей книжкой и наукой, с гордыней своей мысли, с своей больною совестью и внесет сюда муки сознания и все несовершенство дела рук человеческих.

„Культурный человек—это человек, выгнанный из рая неведения, из рая где всякая тварь служила ему, как служит теперь нашему мужику, под условием не касаться древа знания... Его выгнали в пустыню, в голую безжизненную степь, на полную волю. И в обиде на неправду, а также и в гордом сознании силы своего ума, ведь он вкусил от древа-то, он, вероятно, сказал, уходя из рая: „Так будет же у меня мой собственный рай, да еще лучше этого“... И вот над созданием этого рая он и бьется несчетное число веков: ему не служат твари—он сделал своих: локомотив его бегает лучше лошади, он выдумал своим собственным умом выдуманных ихтиозавров - корабли, он хочет летать, как летает птица... И, вероятно, когда-нибудь в бесконечные века он добьется своего... Будет у него свой собственный, выдуманный, взятый умом и волею рай. Но как еще ужасно, ужасно далеко это время. Когда-то еще его мертвое животное, локомотив, достигнет поворотливости любой деревенской кобыленки... Когда-то еще его упорное желание летать птицей осуществится хотя в приблизительных только размерах того совершенства, которым уже обладает галка, обладает так, без всяких усилий с своей стороны, а просто так... галка, так галка и есть, взяла да и полетела. А Надары еще лет тысячи будут разбивать себе головы и тонуть в морях прежде, нежели добьются уменья произвольно перелетать с крыши на крышу... Вот точно так же и народная жизнь“...

Из-за чего собственно бьется Успенский? Ведь то, что он в приведенных строках говорит о культурннм человеке,—еще далеко не самое резкое, что можно найти на этот счет в его произведениях. Это еще довольно милостивая характеристика. Если же вы возьмете рисуемые им портреты культурных людей вообще, то какая все они, с позволения сказать, дрянь, выеденная молью: как малосильны они, как беспомощны, как не умеют они ничего сделать и как не нужны они мужику, с которым и двух-то слов сказать они не умеют. „Не суйся“,—вот единственное, что говорит им коренной мужик, для них непонятный совсем и ими непонятый. „Не суйся“,—говорит и мужицкая жизнь, одинаково непонятная и

одинаково непонятая. Кажется, ясно, а между тем, через несколько страниц Успенский начинает горячо звать барина в деревню и, тоскуя о расстройстве деревенской жизни, об исчезновении ее дивной красоты, ее стройности и гармонии, пишет и такие воистину наивные строки:

„Конечно масса случайностей была бы отстранена, если бы „хороший“ барин подумал серьезно о народном кредите, который, в самом деле нужен, как и самому „хорошему барину“.

Умный человек Успенский и понимает он, что хороший барин—миф, и никакими кредитами не возстановишь совершенства мужицкого бытия, а подите же... Тут прямо напуганность какая-то, тут человек перед вами хватается за соломинку. Или такая вот картина:

„В строе жизни, повинующейся законам природы, несомненна и особенно пленительна та правда, та справедливость, которою освещена в ней самая ничтожнейшая жизненная подробность. Тут все делается, думается так, что даже нельзя себе представить, как могло бы делаться иначе при тех же условиях. Лжи, в смысле выдумки, хитрости, здесь нет—не перехитришь ни земли, ни ветра, ни солнца, ни дождя,—а стало быть, и нет ее и во всем жизненном обиходе. В этом отсутствии лжи, проникающем собою все даже, повидимому, жестокие явления народной жизни, и есть то наше русское счастье, и есть основание той веры в себя, о которой говорит Герцен. У нас миллионные массы народа живут, не зная лжи в своих взаимных отношениях,—вот в чем держится наша вера. Впоследствии мы постараемся рассказать несколько самых, повидимому, возмутительных жестокостей в народной жизни, и все они, с точки зрения миросозерцания, воспитанного неизменными законами природы, окажутся неизбежными, а люди, совершившие их,—чистыми сердцем, как голуби“.

И опять, очевидно, на сцену должен явиться молью из'еденный культурный человек, чтобы восстановить и сохранить отныне и до века наше русское счастье, расползающееся и расползшееся уже по всем швам.

Нет, не культуртрегер тут нужен, вечно пьяный к тому же, и ни слова бы не сказал о нем Успенский, если бы не кающиеся господа, внушившие ему свои идеалы. Суть-то в том, что, с точки зрения самого же Успенского, не только культуртрегера, а и вообще никого и ничего не нужно, кроме власти земли и крепостной от нее зависимости. И кредита не надо мужику, как не надо его и галке, и школы не надо, а больше всего не надо барина, потому что:

„Проникнувшись непреложностью и последовательностью взглядов исповедуемых Иваном Ермолаевичем, я почувствовал, что они совершенно устраняют меня с поверхности земного шара“.

„На мой взгляд, жизнь современного крестьянина на каждом шагу, кажется вопиет о том, что только дружество, товарищество, взаимное сознание пользы общинного, коллективного труда на общую пользу суть единственная надежда крестьянского мира на более или менее лучшее будущее, единственная возможность „сократить“ те невероятные размеры труда, поглощающего всю крестьянскую жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежит на крестьянине таким тяжелым и, как мне казалось и кажется, бесплодным бременем“.

„Но это только—на *мой* взгляд, а *никак не на взгляд мужика*, который всем существом своим против коллективности, и знать ее не хочет, который покорно и рабски подчиняется новым условиям, выделяя из своей среды Машенек, как раньше покорно и рабски подчинялся он власти ржаного поля“

Что выставить против этой силы?

В ответ на это душевная растерянность, необходимость все увеличивать дозу и так уже отравившего народную жизнь культурного яда... А не хочет этого Успенский, не хочет он всем существом своим... Была бы сила, была бы возможность, взял бы он эту дивную, прекрасную мужицкую жизнь и унес бы ее куда-нибудь за леса и болота, скрыл бы ее от нескромных взоров представителей культурного человечества, скрыл бы с ревнивым опасением за ее цельность, стройность, гармонию. Он бы оставил ее там скрытую и запрятанную в царственном довольстве собой, без и мысли знания, под властью тяжелого и непрестаного труда, законов природы и ржаного поля, законов непреложных и истинных, смирение перед которыми дает человеку счастье. Бог с ней, с культурой, и кому, для чего, на какой конец она нужна? Что несет она взамен безжалостно и жестоко нарушаемой стройности жизни? Вражду, злобу, ожесточение, гнев против жизни, обнищание природы, разлад между людьми. Все это страшно. Правда, есть и приманки: где-то там вдали, за рядом веков, за миллионами усилий, тщетных попыток, за трудами жертв, вырисовывается идеал сознательного довольства и сознательного счастья, он—улита едет, когда-то будет она, и будет ли она? Как бы хорошо было остаться без нее, остаться при том, что есть, не тратить целых поколений для проблематического будущего проблематических потомков.

Но нельзя этого, и в этом „нельзя“ источник душевной драмы Успенского. Влюбленный в народную жизнь в тех формах, которые приданы ей властью ржаного поля, влюбленный в это стихийное, бессознательное событие, ставящий выше всего его слепое счастье, его спокойствие, он должен каждую минуту говорить об изчезновении этого бытия, показывать неизбежность этого исчезновения, хотя вместе с ним исчезает и святая святых его жизни, его веры, должен призывать эту ненавистную, злую культуру, хотя бы в форме пьяного хорошого барина.

Это тяжелый и мучительный разлад между человеком и историей, между идеалами доброго сердца, пугливо отстраняющегося от всякого страдания и жестокой правдой, не нами устроенной, нам навязанной жизни. И нет выхода отсюда: отстранить себя история нэ хочет и не можит, остаетчя остранить себя человеку.

Успенский не вынес тяготы разлада. В своих произведениях вскрыл он перед нами муки своего сердца: страстный народник разрушил все утопии народничества, но всякий знает, что стоило ему это, эта суровая правда, воистину добытая им кровью своего сердца и соком своих нервов. Нет больше мужика, нет больше мужицкой жизни, есть уже раб чумазого, и чумазый победит, покорит это красивое бытие и заменит ложью своей культуры его безискусственную, стихийную правду.

Н. Н. Златовратский (род. 1845 г.). Златовратский—не ищет веры в мужика: она далась ему от природы. Он не спрашивает себя каждую минуту: „хорош ли мужик или нет?“ Он знает, что мужик хорош, и не тратит времени на ненужные колебания. Никаких надрывов, никаких вивисекций над народом в произведениях г. Златовратского заметить нельзя. Все свои сомнения, муки, вопросы, ежели таковые были, он разрешил безапелляционно глубокой, всепроникающей верой и любовью к народу, к мужику, и чувствует себя совершенно спокойным возле нарушенной, но все еще живой святыни народной жизни.

Г. Златовратский, сам того не замечая, постоянно рисует вам идиллии из крестьянской жизни, хотя, видимо, старается говорить правду. Но ему больно было бы навести хоть какую-нибудь тень на излюбленную деревенскую жизнь, и он, о чем бы ни говорил,

какие бы ужасы ни описывал, все же приведет к тому, что читатель вынесет, в конце-концов, из своего знакомства с мужицким обиходом, отрадное и бодрящее впечатление, то самое, которое вынес и постоянно выносит сам автор. Любопытно, между прочим, что те самые кулаки из народа, о которых мы так много наслышались, почти не фигурируют в произведениях Г. Златовратского. Если они и появляются, то так себе, мимоходом. Вывести их во всей наготе было бы обидно для автора-мужиколюбца. Г. Златовратский верует, и вера наполняет все существо его. Когда он говорит о мужиках, он становится эпически спокоен и благолепен и ветхозаветен даже. Он не боится, например, перемешивать свой рассказ отступлениями страниц по 20, да и чего бояться? Ведь эти отступления касаются все того же мужика, как же можно не интересоваться ими, как же можно, например, зевать, читая бесчисленные биографии Пиманов, Мысеев, Груздей Ефимичей, Минов, Евтропов и еще кого там? Эти мужики-радетели, их жизнь—настоящая жизнь, не то, что „гниль интеллигентная"... У мужика все хорошо, даже разговор хорош, даже выговор „чаво", вместо „чего", мелодичен, но лучше всего—эта „довольство в себе", вера в свою правоту, в нужность своей жизни. Златовратский, действительно, ничего не боится и ни в чем не сомневается. Не то, чтобы он в то же время не видел ничего страшного, пугающего. Он и его видит в достаточной степени: видит рознь между обыкновенными мужиками и умственными, видит нашествие кулака, безземелие, но ведь сила его веры слишком велика, чтобы не считать всего этого преходящим явлением крестьянской жизни, от которого она легко и просто может освободиться сама собой. Наши интеллигентные страхи не знакомы ему, и он ни на минуту не поддается им. Жизнь народа для него постоянный и неиссякаемый источник бодрости. Это уже полная уверенность, это знание. Что за беда, если на крестьянина и его жизнь насели всякие враги: стоит ему только развернуться во всю свою могучую ширь и силу—и врагов как не бывало. Посмотрите, например, как описывает старик Мин, „слушать которого все равно, что в церковь ходить", мужицкую жизнь, противопоставляя ей жизнь кулака.

„Так вот, говорю вам, кулакам и мироедам не жить... А не жить им потому, что у них сытости нет... Коли сытости нет—ша-

баш, пропало... А у них, милые, даже ни чуточки ее нет. У барина хоть малость да было, а у кулака нет, у него одна злоба, жадность, глад душевный и телесный. Чем больше жрет, тем больше утроба просит. Вот, что у пьяниц: чем больше пьет, тем больше хочется. Он думает: вот волю еще,—буду в довольстве, сытости, а его пуще алчба мучает... Вот от этого самого. А отчего эта алчба? От неправоты. Правоты в своем положении не видит... Коли кто правоту чувствует свою, он всегда и сытость чувствует, у него есть предел, у него довольство в себе есть. Вот, милые, где их гибель ожидает“.

Это приговор не только дяди Мина, а самого Златовратского, приговор решительный, резкий и без всяких смягчающих обстоятельств. Это приговор праведной жизни над другой жизнью, полной неудовлетворенных стремлений, полной насилия над собой, полной греха, а значит, и обреченной на гибель. Кулаческому существованию не на чем держаться. У него нет никакой опоры, так как, очевидно, что „алчба“ такой опорой служить не может. И крестьянину нечего даже бороться с кулаком, потому что неправильная, скверная жизнь последнего сама исчезнет, собой же с'еденная,—исчезнет, как дым от лица огня, как темнота ночи перед рассветом. Крестьянин доволен собой—и в этом его огоромная сила, его огромное преимущество. У лучших наших крестьян:

„Нет ни зависти к людям, ни жадности: малым довольны, всех любят, душою равны, все в них, словно в младенцах, играет... Посмотри на него, он весь наружу, точно стеклянный... Поговоришь с ним,—словно сходишь в божью церковь“...

Или послушайте рассказ того же Мина о своем разговоре с барином.

„Бывало, молодой барин так-то однажды мне говорил: „Минька, отчего ты всегда так доволен и весел?—„Оттого, говорю, барин, что у меня в душе довольство“.—„Отчего же, говорит, это у тебя в душе довольство?“—„А оттого, говорю, что я при правом деле состою - хлеб рощу. Без хлеба людям жить нельзя.“— „Ну, а у Захарки, Захарка камардин был, при нем значит нет такого довольства?“—„Нет, „говорю“.—„Да ты, говорит, посмотри на него: вся рожа у него оплыла... Видишь, как улыбается.“—Нет, говорю, не может быть у него довольства, потому не при правом деле состоит.“—„Как, говорит, не при правом? Ведь он тоже работает. Ведь и повар Васька работает, и Савельевна работает“. Савельевна была тогда нянюшкой взята.—„Савельевна, говорю, точно имеет в

душе довольство, потому что она при правом деле: при деточках, деточек произрастает. А при деточках наблюдать, все равно, что при молодом хлебе... В деточках неправого дела нет“ и т. д.

На стороне этого Мина, очевидно, и сам автор.

Чтобы иметь довольство в душе, надо состоять при правом деле. Это прежде всего. Но разве есть дело более правое, чем дело крестьянина? Он „произрастает“ молодой хлеб, создает только полезное и необходимое и не больше, чем нужно его. Его труд—это молитва, служение богу и людям, труд, устанавливающий равенство и любовь между людьми, исключающий между ними зависть и злобу, это труд, для всех нужный, возле которого каждая человеческая сила может найти себе применение, не тесня другую, не вступая с нею в борьбу. Это труд „совестливый“, красивый и поэтичный труд, служащий источником общего единения. Таковы же люди, созданные им и выросшие в нем.

Для Златовратского крестьянская жизнь—единственно истинная и правая, мало того, она поэтичная, и автор то и дело выставляет вам на вид эту самую поэтичность, описывая деревенский труд, деревенскую природу, деревенскую жизнь вообще. Возьмите мужиков г. Златовратского. В сущности, все они хороши. Хорош старик Михей, твердо верующий, что „всем хватит“, хорош хозяйственный Пиман, хорош Груздь, еще лучше романтик Мин Афанасьев. Мужицкая глупость у г. Златовратского прикрывается такой массой добродушия, например, у Лимподиста или у Вонифатия, что даже, эта самая глупость становится нам симпатична. Индивидуалистические наклонности „умственного“ мужика непременно сочетаются с идеалом всеобщего благополучия, с непременным, хотя бы и неумелым желанием осчастливить всех. Хитрый хлопотливый староста Макридий, только и думающий о том, как бы „спустить“ ненужные, т. е. неплатящие элементы общины, очевидно, преследует „обчественные“ выгоды. Ни одного кулака, конокрада, непробудного пьяницы. Прочтите описание жизни в „Мысеевом поселке“ и вы увидите перед собою несомненно идеализированную маленькую крестьянскую общину, радостно принимающую к себе всех несчастных, готовую без всякой бережности делиться с ним землей и последним куском хлеба. Тут и общественные запашки, и общие закрома, и чего еще тут нет. Сравните теперь все это вместе взятое с картинами Гл. Ив. Успенского

и скажите, да неужто это не идиллия? Ну, хорошо, если это слово вам не нравится, возьмите другое—оптимизм, хотя, по-моему, художник-оптимист ничего другого, кроме идиллии, рисовать не может. Г. Златовратский верует, что основы народной жизни здоровы, хороши, идеальны, что эти основы выдержат какие бы то ни было сотрясения и что все, в конце-концов, сольется в крестьянском море. Эта-то глубокая, непоколебимая вера и льет на все картины, рисуемые Г. Златовратским, на все картины, выводимые им, ровный мягкий свет, заставляет его подчас писать гомерическим дактилем и выдвигать на первый план не конокрадов, кулаков и пр., а идеально-честных Минов, идеально-хозяйственных Пиманов и всех других многочисленных и прекрасных рыцарей труда: это и делает его самого эпически наивным и простодушным автором героических легенд, од и баллад, целых эпопей нашего народничества. Его вера—не купленная, не взятая на прокат, не выработанная в поисках и разочарованиях, но взятая приступом в минуту душевного надрыва—это что-то спокойное, могучее и цельное.

Для Златовратского община не только устой, не просто результат инстинктивного приспособления, а—идеал, сознанный и прочувствованный крестьянством. В подтверждение этого я мог бы привести много цитат, но ограничусь наиболее характерными, из которых, очевидно, следует, что сравнение „общинников“ с тупорылыми сазанами, общины с коллективным рылом даже и в голову не могло притти г. Златовратскому. „Вот,—говорит он,—какие широкие и глубоко-гуманные основы, для совместного существования человеческих индивидуумов, выработал народ. Эти же основы—краеугольный камень нашей народной жизни: на них покоится все мировоззрение народа, его инстинкты, его будущее“. Община нетолько коллективное рыло, нет, по чувству справедливости она является даже „покровительницей нравственной индивидуальной свободы“, о чем едва ли думает волжская рыба сазан. Самая народная жизнь сохранила, к нашему счастью, в своих, еще мало изведанных глубинах драгоценные чистые перлы, те великие зачатки общественных идеалов, которые она излюбила когда-то и которые пронесла неприкосновенными через весь ужас стихий-

ной борьбы. Как ни глубоко затерялись эти перлы под игом всевозможных внешних исторических воздействий как ни трудно, повидимому, открыть их теперь, но, при мало-мальски честном, добросовестном наблюдении народного быта, их присутствие чувствуется—они, как золотой песок, рассыпаны по жилам народного организма. А там, где сила внешних влияний была наименьшая, была сведена до нуля, там уже теперь есть целые самородки, блистающие ярким светлым отблеском первобытного идеала...

Какое благородное поприще, какая великая сокровишница для мыслящего человека эта народная жизнь... Хорошо.

Но оставим г. Златовратского как публициста, обратимся к нему опять как к художнику. Тут еще яснее, конкретнее, понятнее. Для него крестьянин прежде всего—нравственная личность, проникнутая сознанием правоты и нужности своего дела. Старик Мин прямо утверждает: „Да что нам, други, с чего горевать-то? Никто нашей правоты от нас не возьмет... Как нашу правоту от нас взять-то? Да ты меня куда хочешь посади, куда хошь пошли—я все-таки при своей правоте останусь“. В этом человеке есть нравственная основа. Это не волжская рыба-сазан, не дуб, который растет, сам не зная для чего. Он не только знает, но и прекрасно знает, к чему клонят эти условия, торжество какой идеи преследует он. Это—мужицкая идея, торжество мужицкой правоты. Вы полагаете, что он неподвижен, что влияние климата, параллели и меридиана выработала в нем известные догмы, дальше которых он не может ступить ни шагу? По г. Златовратскому, сам народ сознательно, в лице лучших своих представителей, стремится приспособить формулу своей старой общинной жизни к новым условиям. „В то время,—читаем мы у него,—как столько людей, носителей старой правды, уже сгибло, изверилось в эту старую правду или закорузло в ней фанатически, когда изменилось положение—являлась необходимая поправка в этой старой правде. Мин уже творил новую правду... или нет, не новую правду: правда всегда оставалась неизменной, в какие бы путы или паутины не была заткана,—это неизбываемая правда к себе, внутренняя правота собственного существования всех труждающихся и обремененных, так как у народа только и есть правота производителей необходимых потребностей жизни, и правота романтика, как бескорыстного носителя и ратника идей этой пра-

воты. Нет, не новую правду творил Мин, так как никакой новой правды сотворить народ не может, а творил новые ее формы". Итак, деятельность Мина, т.-е. сознательное стремление приспособить формулы старой общинной правды к новым условиям жизни,—сам г. Златовратский об'единяет с деятельностью народа... При чем тут коллективное рыло?.. В сущности, только один тип хозяйственного мужика, выведенный Златовратским, подходит под теорию власти земли, да и то не совсем. Чтобы этот самый хозяйственный мужик мог чувствовать себя невинным, правым, убив конокрада, вогнав в гроб и пр.—это невероятно с точки зрения г. Златовратского. Повторяю, в его произведениях,—мужик не сазан и не дуб, община—не коллективное рыло, народная жизнь —сознательна и проникнута идеалом, в ее представителях господствует стремление выйти на свежий путь и осуществить мужицкую идею, распространить ее на всю жизнь, на все отношения людей друг к другу.

Не народ собственно и не народная жизнь внушает такую веру Златовратскому, и народная интеллигенция—богатыри рыцари молчаливой крестьянской массы, существование которых он несчитает ни минувшим достоянием прошлого, ни призрачным. Напротив того, он твердо знает, что народная интеллигенция была, есть и будет, что она в конце-концов повернет мужицкую жизнь в то русло, которое ей надлежит принять.

„Принимая от земли, от природы указания для своей нравственности, человек, т.-е. крестьянин-земледелец вносил волей-неволей в людскую жизнь слишком много тенденций дремучего леса, слишком много наивного лесного зверства, слишком много наивной волчьей жадности... Но не эту зоологическую, не лесную, а божескую правду вносила в народную среду народная интеллигенция. Она поднимала слабого, беспомощно брошенного бессердечною природой на произвол судьбы, она помогала, и всегда делом, против слишком жестокого напора зоологической правды: она не давала этой правде слишком много простора, полагала ей пределы".

Так говорит Успенский по поводу народной интеллигенции. Но этот скептик, этот вечно сомневающийся и вечно ищущий человек, этот страстный народник, боящийся веры в народ, немедленно же прибавляет: „теперь нет в народе такого типа, такого

работника, никто не пачкает своего платья из-за чужой беды. Все добрые дела обязались делать земские собрания за умеренное вознаграждение. Народная душа опустошена и, пожалуй, ожесточена, так как и труд — не труд и жизнь одновременно, а только труд". Этой-то вот прибавки и не мог, как всякий понимает, сделать Златовратский. Прежде, теперь, после—все равно когда, во времена Ильи-Муромца, под гнетом ли крепостничества или в переходную эпоху к неведомой, но все же чудной, красивой жизни—народная интеллигенция не сходила и не сходит со сцены, и ее роль во всякое время одна и та же: роль глашатая правды, христианской любви и братского единения.

Удивительно красивы типы народных интеллигентов у г. Златовратского. Это ничего, что они оборванные и в лохмотьях, это ничего, что у них ни кола, ни двора, это ничего, что они знать не хотят своего хозяйства, не блюдут его, считают его даже какой-то помехой для себя. Они чудно привлекательны неиссякаемым запасом своей любви и своей жизненной неустрашимостью. Нет в сердце их места для страха иудейского, нет унижающей заботы о завтрашнем дне,—какое-то ровное, спокойное, пожалуй, торжественное настроение постоянно владеет ими. Только своей внутренней мощью, не опираясь ни на какую внешнюю силу, поднялись они на почти что недосягаемую высоту любви, бесстрашия и смирения. Они непобедимы: никакой жизненный соблазн не подкупит их, никакая сила не склонит их перед собой, не вырвет у них слова лжи, неправды и лицемерия, ничто не испугает их. Им нечего терять: у них все в себе, в этом цельном духе, постигшем всю красоту, всю радость жизни. Именно красоту ее и радость. Точно боги какие, точно греческие боги, восприняли они в дух свой всю красоту, всю радость бытия и достигли высшего блаженства, доступного человеку—блаженства бесстрашия. Они видят постоянное торжество кулаков и кулаческих идеалов, видят, как неправда привольно чувствует себя в их же собственной среде, видят зло и победу этого зла, видят собственные неудачи, наконец но светлый и радостный дух их ни на минуту не омрачается этими картинами. Они знают, кто и что победит, и века тому назад, и теперь, и века спустя будут делами напоминать о высшей, божественной правде и полагать предел лесной и зоологической правде — правде борьбы за существование. Возьмите любую из выведен-

ных им фигур, хотя бы дядю Мина, „поговорить с которым то же самое, что в церковь сходить“, и вы сейчас увидите, в чем дело. В Мине на первом плане—все равно, в словах ли, устах ли, поступках ли, в его отношении к природе и людям—сердце. Гуманность его обходится без всяких теорий, без всяких сторонних соображений, она непосредственна и свободна, как рост цветка, как пение птиц. Сердце народного интеллигента тянет, неотразимо тянет к любви и правде, просто потому, что он инстинктивно как настоящий „художник добра“, чувствует их красоту и прелесть, такую же красоту и прелесть, как в небе, лесе, полях, природе вообще. Ему жаль сорвать и бросить в грязь красивый цветок, жаль сломить молодое деревцо, только что выбравшееся из под земли, жаль нарушить красоту человеческой жизни злом и несправедливостью. Он просто добродетелен и нравственен,—он в то же время поэтичен в лучшем смысле этого слова, и Златовратский никогда не устает отмечать именно эту черту народного интеллигента, на счет которой можно спорить лишь в том смысле: обычна ли она, или необычна, часто ли она встречается, или редко, но отрицать ее нельзя. Откуда бы иначе взялась поэзия у Кольцова? У него добро и красота также идут всегда рука об руку.

Но это еще не все. В любви народного интеллигента нет ничего теоретического, нет в нем, словом, той любви, которую вырабатывает наша интеллигентная жизнь. Мы грешные, можем, например, любить массу и презирать или быть постыдно равнодушными к каждому из малых сих в отдельности. Как один из героев Успенского, каждый из нас смело может сказать про себя: „личное участие, личная жалость мне незнакомы и чужды, в моем сердце нет запаса человеческого чувства, человеческого сострадания, которое я мог бы раздавать всем этим песчинкам, миллионы же, которые в виде цифры занимают одну десятую часть вершка на печатной строке, напротив, меня потрясали“. На такую отвлеченность чувства народный интеллигент не способен: он любит не людей вообще, а каждого человека в отдельности, не отвлеченную справедливость, во имя которой можно быть иногда ужасно жестоким, а справедливость, пригревающую всех и каждого, даже преступника, злодея, врага.

Вот эти-то черты народного характера постоянно и тянули к мужику всех наших писателей: Григоровича, Тургенева, Толстого, Достоевского, Златовратского, привязанность именно к этим чертам и дает нашему народничеству вполне определенную физиономию, краски которой, конечно, сгущены примешавшимся сюда барским покаянием.

Народная интеллигенция у Златовратского—вся в духе своем и нравственных основах этого духа, не смущенного правилами человеко-ненавистничества и борьбы за существование. По внешности она нищая, безграмотная, в ней есть даже что-то юродивое. Но внешней силы, хотя бы то была сила знания, ей не нужно. Эта внешняя сила обманчива, в ней есть яд, отравляющий сердце, есть источник какого-то обмана, есть и могущественное стремление заглушить голос внутреннего человека и внутренной правды. Оттого-то Златовратский и не зовет интеллигенцию в народ, т.-е. нашу образованную и начитанную интеллигенцию. Он просто-на-просто не доверяет ей. Он видит в ее среде людей крупных, безусловно честных и искренних, людей готовых к преданной самоотверженной деятельности, но не видит праведников и чистых духом. Много, конечно, могут они сделать, но могут внести и заразу в эту чудно-красивую крестьянскую жизнь, в это царство божеской правды, с ее светочем христианской любви и единения. Кто из этой начитанной интеллигенции ослаб уж духом и пропадает за скверной бутылкой водки, кто весь ушел в заботы о собственном благополучии, в мебель, квартиру, затягивающую тишь счастливой семейной жизни. И от прежних увлечений, от прежней гордыни самоотверженных порывов у них осталось лишь воспоминание, смутный и неприятный упрек.

Златовратский знает и верит, что такие люди не нужны в крестьянской жизни, что в этой жизни есть собственный запас мощной силы и мощной интеллигентности, которые рано или поздно сами преодолевают всякое зло. Он знает и верит, что та же крестьянская жизнь стремится сама собой к тому, чтобы выбраться на истинный путь, развить свою мужицкую идею в духе устоев прошлого его: общины, артели, взаимопомощи. Он знает и верит, что если есть зло и нищета, то это зло и нищета—временны и случайны, призрачны, пожалуй, что основы народного духа они нисколько не затронули, что дух этот, несмотря

на все вынесенное и претерпенное, сохранился чистым и радостным, и в этой-то его чистоте и радостности, дающих носящему их в себе возможность быть щедрым в отношении других, и заключается залог будущего общечеловеческого, по крестьянскому образцу устроенного счастья.

Неверующие народники.

Эта меланхолическая группа имеет несколько крупных представителей—А. О. Новодворского, В. Гаршина, С. Надсона и, наконец, в высшей степени оригинального и самостоятельного писателя—Дм. Мамина (Сибиряка). Попытки теоретического обоснования народничества, так и остались попытками, от которых решительно никому ни тепло, ни холодно: никого они не задели, никого и задеть не могут. Народничество было прежде всего настроением, жалостью, голосом совести за свои общественные привилегии. Оно было прекрасно и могущественно, когда жило в сердце человека, но когда „народ ушел из сердца",—исчезло и народничество, и когда этот факт был сознан—русский интеллигент почувствовал себя каким-то ненужным и совсем одиноким. Еще вчера все было так ясно: был кумир, идол, которому следовало покланяться; были устои, которые надо было защищать; ими определялась и любовь, и ненависть; было самое важное—было сознание своего родства, своей духовной близости с молчаливой, серой массой; был и выход, совершенно ясный и определенный, из своего положения: „В народ!"—и это слово, написанное на знамени, заключало в себе целую программу, целую философию, целый кодекс морали. Оно было жизненно и способно наполнить собой бытие. Вспомните, на самом деле, созданные 70-ми годами типы народного учителя и особенно „учительки", земского врача, земца просто, и для вас станет ясным, как много внутреннего содержания заключалось в этом коротеньком слове „народ". И слезы кающихся дворян, и целомудрие духа, отвернувшегося от соблазнов жизни, и жажда самопожертвования, и вера в чудное будущее этой серой массы, только что освободившейся от крепостной опеки, и понятная, законная гордость от сознания, что и ты участвуешь в великом процессе созидания

новой жизни, — все шло в дело, все соединялось для того, чтобы создать одно из самых оригинальных и привлекательных общественных течений... и все это рухнуло или, лучше сказать, все это расплылось в мутном тумане серенькой жизни, в которой стал уже орудовать хищник.

„Хищник,—писал Щедрин еще в 73-м году,—вот истинный представитель нашего времени, вот высшее выражение типа нового, ветхого человека. Хищник проникает всюду, захватывает все места, захватывает все куски, интригует, сгорает завистью, подставляет ногу, стремится, спотыкается, встает и опять стремится... Хищник—это дикий, в полном смысле этого слова; это человек, у которого на языке нет другого слова, кроме глагола „отнять“. Но так как кусков разбросано много, и это заставляет глаза разбегаться; так как, с другой стороны, и хищников развелось не мало, и строгого распределения занятий между ними не имеется, то, понятно, какая масса злобы должна накипеть в этих вечно алчущих сердцах. Самое „торжество хищника“ является озлобленным. Он достиг, он удовлетворен, но у него, во-первых, есть еще нечто впереди и, во-вторых, есть счеты позади“.

Хищника—с одной стороны, полную инертность крестьянской массы, с другой—вот что встретило народничество в жизни с первого же дня своего появления на свет божий, вот обо что разбились, да и не могли не разбиться, все его усилия. Так что говорить о медовом месяце народничества как-то даже не приходится, если не разуметь под этим общераспространенного в самом начале 70-х годов „хождения в народ“, женитьбы на крестьянках и тому подобных разновидностей „опрощения“.

Понадобились жертвы и жертвы, особенное мужество, отказ от личного счастья, не из аскетического пренебрежения к нему, а потому, что господствовавший этический принцип признавал полную его невозможность рядом с страданием и горем народным.

Народ освобожден, но счастлив ли народ?—

спрашивал еще Некрасов. Пришлось ответить ясно и просто: счастья нет. Нищета, граничащая с голодом, невежество, поклоняющееся „святой Пятнице“, полное бесправие, жестокая экономическая кабала у хищников,—вот обычные факты народной жизни, о каком уже тут счастье может итти речь?

Народническое настроение, вошедшее в плоть и кровь, естественно, обращалось в жажду подвижничества и прямо-таки требовало этого подвижничества, потому что на пути народного счастья и идеала крестьянского царства было слишком много преград. Ни перескочить через них, ни обойти было невозможно, надо было сдвинуть их с места, чтобы очистить дорогу, и сдвигать приходилось горы. Тут нужен был духовный восторг, фанатическая вера и фанатическая любовь. Если устами одного из своих вождей 60-ые годы говорили: прекрасное есть жизнь, и что при известной умеренности желаний можно быть счастливым здесь на земле, то огромность задачи сделать народ счастливым и развившиеся, пожалуй что, до художественной полноты противоречие между административными и интеллигентными стремлениями, потребовали других формул: „жизнь есть борьба и подвижничество“ и „личное счастье, при несчастьи народа, незаконно“. Но для всего этого надо быть героем.

Муки своего бессилия, на ряду с непомерной, иногда прямо болезненной жалостью к обездоленным, жажду веры, на ряду с крепнущим сознанием, что почва идеала уходит из-под ног, жажду личного счастья вместе с ригористическим признанием его незаконности—мы находим и у Новодворского (Осиповича), и у Гаршина, и у Надсона. В сущности—это падение народничества, потому что всякое жизненное течение держится лишь верой и душевной бодростью.

А. Н. Новодворский-Осипович (1853—1882). Человек голодал всю молодость, почти всю жизнь; не раз был на краю самоубийства. Начал писать в 1877 г., немного оправился, но скоро умер от ранее запасенной чахотки. Был чуток, впечатлителен, наполнен порывами болезненного бессилия. Он хотел итти навстречу трудящимся массам и отрешиться от традиций и условностей буржуазно-дворянской культуры. Для этого надо было сжечь корабли. Но „сжигание кораблей“, т.-е. отречение от личного счастья и своей семьи, тяжело обходится героям Новодворскогоу лучшие страницы его произведений посвящены именно анализ, внутренней борьбы героев, борьбы между чувством общественного долга и „жаждой покоя и супружеской жизни“. Из этой внутрен-

ней борьбы герои выходят изломанными людьми, которыми владеет скверное чувство „отчужденности, ненужности, непутности". Эти люди представляют из себя тип „ни павы, ни вороны", тип „кающегося дворянина", не способного ни к какой продуктивной работе. Но после этой общей характеристики, остановлюсь подробно на произведениях Новодворского.

Двадцать лет уже прошло со дня смерти Новодворского, и разве вам не кажется порою, что за эти годы мы пережили целую вечность? Найдите вы теперь на улицах столицы хотя бы человека в пледе... Едва ли вам это удастся, а в те времена человек в пледе был злобой дня, и с чего бы ни начиналась речь, все же, в конце концов, она сводилась к тому же таинственному процессу, который совершается под этим пледом. Но это, конечно, подробность, хотя и любопытная. Самое важное то, что тон, интересы, темы нашей современной литературы совершенно отдалились от Новодворского и его героев. С кающимся дворянином тихо, так же тихо, как и с мужиком, к которому он хотел приблизиться, которого он любил с каким-то надрывом и даже отчаянием. Новые лица—новые песни, и, может быть, ни одна страница Новодворского не найдет уже настоящего отклика в нашей душе, потому что другие теперь интересы. А Новодворский сделал не мало, хотя главное из сделанного им чисто отрицательного характера: он испытал весь ужас бессилия и частичку этого ужаса сумел передать читателю.

Строго говоря, у Новодворского один герой—он сам, есть правда, другие, но они едва намечены, являются на сцену как-то случайно и исчезают неизвестно куда. Эти другие—люди, в большей или меньшей степени, сильные, верующие, преданные своим убеждениям иногда с фанатизмом и всегда до готовности пожертвовать собою, сам Новодворский только стонет, подавленный невыносимой тяготою жизни и гнетущими мыслями о собственном бессилии. Напрасно старается он облегчить свою тоску насмешкой, сарказмом, каламбуром даже—она следует за ним, как тень и как червь подтачивает его лучшие мысли, его молодые силы, эта тоска—не апатия, она выросла на почве полной неприспособленности к жизни и больной, надорванной совести.

Я не стану рассказывать биографию Новодворского, хотя бы потому, что, в сущности, никакой биографии нет. Бедность в

детстве, бедность в гимназические и студенческие годы, потом беганье по грошевым урокам, простуда, чахотка и смерть в Ницце на казенной больничной койке. И это вся жизнь, слегка прикрашенная литературным успехом и, очевидно, редкими минутами свободного творчества. Литературная биография—шире, богаче, и только в ней тоскующий, надорванный дух тихого и придавленного жизнью человека успевает заявить о своем существовании, о вынесенных им муках и потребовать ответа на эти вечные „за что“ и „почему“. Нечего и говорить, что эти вопросы остаются без разрешения, тем более, что встать на шаблонную и патентованную точку зрения Новодворский не хочет.

О его детстве нечего распространяться. Это ряд картин дворянской, т.-е. самой неприкрытой, нищеты. Но вот юность.

„Домашние уроки“ дали ему возможность привести в порядок свою внешность, хотя немного облегчить участь семьи и побывать даже в университете, где все же он узнал, наконец, эту таинственную науку, хотя все время приходилось питаться кониной. Впрочем, конина—пустяки. По искреннему убеждению самого героя „ее следует только хорошенько разбить гимнастическими гирями, бросить в котелок, сварить с должным количеством соли и перцу и потом с'есть. Больше ничего“. Гораздо труднее справиться с жизнью. Странно даже. Прошла она в самой реальной обстановке, весь ее горизонт ограничивался провинциальным городишком, а в период лежания на диване—плетнем, на котором с утра до ночи сушилось белье унтера и его сожительницы, потом наступило шатание по урокам, сразу и томительное, и унизительное—а между тем душа героя полна самых фантастических настроений и идей. Он никак не может приспособиться к жизни, никак не может понять, чего та хочет от него. Казалось, ему отчитали только-что по книге целый ряд нравоучений, доказали ему, что он ничто, нуль, что ни на какую счастливую случайность он расчитывать не может, что лишь в поте лица добьется он хотя частицы личного счастья. Но нет. Он не хочет сдаваться, он точно забывает все полученные им щелчки и пинки, становится выше конины, нетопленной комнаты, расстроенного здоровья и, проводя за думами бессонные ночи, приходит, к фантастическому представлению, что он должен быть героем.

Отсюда прямой, логически необходимый вывод: „я не имею права на личное счастье“.

В рассказе о его первой любви вам в глаза прежде всего бросается невероятное обилие каламбуров и шуток. Вы думаете, и вправду весело человеку. Нисколько,—ему больно, у него сердце бьется, как подстреленная птица, при воспоминании о той минуте, когда любовь едва не подхватила его на своих золотых крыльях куда-то далеко, далеко от всех этих проклятых вопросов и мук больной совести. Но, рассказывая, он хочет смеяться, во что бы то ни стало смеяться, хотя бы цинично и грубо, чтобы никто не разглядел его слез, чтобы никто не услыхал его рыданий. Ведь он обиженный и озлобленный человек и кроме того застенчив и самолюбив. Теперь, когда он пишет, т.-е. творит суд над собой—он беспощаден к самому себе, как палач. Кто знает, не мелькает ли в эту минуту в его голове мысль: „отказавшись от любви, ты перестал жить“... Но он не выскажет вам ее, он спрячет ее за каламбуром и лучше состроит шутовскую гримасу, чем попросит вас о сострадании.

Вот конец истории:

„Как она на меня посмотрела. Во всяком случае, скала почувствовала себя весьма тоскливо. Я тогда взял ее за руку и произнес глубокопрочувствованную речь следующего приблизительно содержания: „Друг мой, - я вовсе не скала, *я скорее слаб, чем силен*, но во мне есть кое-какой огонек, кое-какие желания и планы, и я хочу их осуществить. *Я не имею права на личное счастье*, хотя бы с тобою: я его не заслужил. Я должен итти, куда ты не можешь следовать за мной, а если бы ты пошла, то это принесло бы только вред: меня связала бы любовь к тебе. Если силы мои окажутся достаточно большими, чтобы вести нас обоих, и если в твоем сердце не угаснет любовь ко мне, то я приду, упаду к твоим ногам, если же...“ Она упала в обморок. Ее обессиленное гибкое тело лежало у меня на руках, я осыпал ее поцелуями... Часа через два я уехал из Севастополя“.

Бедный фантастический человек. Он боится любви и счастья, он не может представить их себе иначе, как в самой будничной, филистерской обстановке. Он верит, что любовь женщины потянет его вниз, отнимет у него бодрость духа и жажду самопожертвования. В ту минуту, когда мог бы настать перелом в его жизни и вздохнула бы его усталая грудь,—его воображение заглядывает далеко, далеко вперед и видит, как он отяжелел, опустился, как все его заботы свелись к кофейку и ветчинке. В ужасе перед

этим он говорит свое „нет“ Доминике Павловне и читает ей нотацию, не хуже, чем Евгений—Татьяне. Он так запутался в своих мыслях, в своих теориях, что в сущности не может даже разобрать, любит он действительно или нет? Он знает только, что ему надо совершить подвиг. И наверное он долго готовился к этому подвигу, прибавляя дни вольного голодания к дням невольного, быть может, даже, как Рахметов, спал на доске, утыканной гвоздями, в тоске по правде сурово истреблял всякий признак наслаждения и удобства из своей жизни. Но ведь он любил—и стон, который то и дело вырывается у него, слишком ясно говорит об этом.

Настала, наконец, минута испытания. Он нанялся на барку таскать бревна.

„В эту минуту на берегу раздался резкий крик подрядчика: „Эй вы, принимайся“... Мужики встали, перекрестились, скинули с себя верхнюю одежду и принялись за работу. Два белоруса подавали бревна, остальные—каждый по одному носили их по перекинутой с барки доске на берег. В каком-то сладострастном опьянении подошел я к полену, но... в этом полене, казалось, сосредоточилось, как в фокусе, все тяжелое, такое тяжелое, что при попытке поднять его меня всего бросило в жар. „Задержанное движение всегда превращается в теплоту“, плаксиво притворился я, яко бы хладнокровно размышляя, но собственно никаких мыслей в голове не было: было только одно чувство... Ах, какое это было чувство, прекрасная читательница... Если бы с молодой девушки, в первый раз выехавшей в свет, в самый разгар бала свалилось платье, если бы только что обвенчавшийся страстно влюбленный юноша, выводя из церкви новобрачную, вдруг почувствовал, что на ласки любимой женщины может отвечать лишь слезами отчаяния—ни та, ни другой, наверно, не испытывали бы такого жгучего стыда, такого пламенного желания провалиться сквозь землю. Я употребил нечеловеческое усилие и поднял. В спине что-то хрустнуло. Согнувшись в три погибели, едва не провалившись с доски, дотащил я бревно до берега и принялся за другое. Оно, это другое, было еще тяжелее. У меня не хватило сил донести его, я пошатнулся, выпустил свою ношу и сам повалился на скользские доски барки „Ха, ха! Небось, не сладко?—слышались голоса товарищей. Я смутно сознавал все происходившее вскруг. Мне было невыносимо жутко „Но, парень, серьезно проговорил старый рабочий,—это, видно, не твое дело, тебе бы сюда не соваться .. Дай, помогу, что ли?“ Но мне не нужна была его помощь. Я встал, молча поднял упавшую с головы шапку и, тихо шатаясь, пошел прочь —„Утек, хлопцы, ей-богу. . ха, ха, ха“! слышалось сзади.—Ишь щелкопер“.—„Чего зубы скалишь? Ну, известно, парень хворый. Из лакеев, должно быть“. А у меня—полнейший хаос в голове. Я брел наудачу, едва различая предметы, в глазах дрожали слезы, в ушах раздавалось „хворый, хворый“...

А дальше—проклятая по адресу каких-то варваров, и бедный освистанный актер бросается в воду с моста.

Такова биография литературного двойника Новодворского, которую мы отрывками находим в его рассказах. Герои Новодворского и его литературный двойник, так саркастически рассказывающий о своей любви, были и быльем поросли. Тут дело, разумеется, не в конине, которую и теперь едят многие, а именно в этой несоразмерной фантастичности, в этой жажде подвига, в этой экзальтации чувства и в каком-то теоретическом фанатизме, заставляющем отказаться от единственного луча счастья, из боязни загрязнить свою душу прикосновением к жизненному пиру. Кто такой герой Новодворского? Нежданов? Судьба их, обстановка их деятельности та же самая, но в то же время это два разные типа. Нежданов у Тургенева — аристократ по крови и эстетик. Герой Новодворского искреннее, фанатичнее и, пожалуй, серьезнее. Всеже его душа там, куда он идет—в толпе меньшой братии. Он много вынес, много голодал, и меньшая братия для него понятнее и ближе, чем для Нежданова. Детски-наивно совершает он свой геройский поступок, отказываясь от любви Доминики Павловны, но все же это—подвиг, и этот подвиг говорит о глубине его чувства. Это—не вера. Это—напряженное, дошедшее до слепоты чувство, которое вышло не столько из любви к народу, сколько из сознания своей ответственности за его невежество и его несчастие. Надо итти и спасать, надо слиться без остатка с этой серой массой, и, забравшись в самую ее сердцев, вести ее к свету и истине. Для него, слепого романтика, нет жертвы, которую нельзя было бы принести во имя этого, нет невозможного дела. И он рвется туда... до первой неудачи, потому что чувство, напряженное до последней степени, обрывается, как слишком натянутая струна. Все, что в нем есть,—это слепая, стихийная сила чувства и рядом с этим тоска по правде. Он ищет правды, не добивается ее, — он хочет сразу овладеть ею. А когда жизнь еще раз ударяет по голове проученного мечтателя, он падает тут же, чтобы подняться, но уже без силы, без надежды, с одною тупою тоскою в сердце, с подавляющим сознанием своего бессилия.

Такие герои были и... быльем поросли. Но если их и нет теперь, то разве это мешает нам интересоваться произведениями Новодворского?

Поэтому, в заключение — еще два слова о его стиле. Странный стиль, опять-таки не имеющий ничего подобного себе в текущей беллетристике. Это стиль надорванного духа и, вероятно, разбитого сердца. Это стиль человека, обойденного жизнью, который к тому же горд и застенчив. Нет порядка в ходе рассказа. События нагромождаются одно на другое, лирические отступления пестрят страницы. Чувство так и рвется наружу, кажется, хочет растопить сердце, увлечь за собой людей, по крайней мере, закрутить их в вихре тоскливых ощущений, но сейчас же за признанием, за исповедью следует сарказм, иногда простой каламбур. Новодворский не хочет даваться в руки!.. Он прячется то за беспорядок своего рассказа, то за насмешку. Он как будто мстит и себе, и вам. Вам, впрочем, он не верит. Он боится быть слишком откровенным, боится плакать перед вами, чтобы не оказаться в положении актера, над страстью которого подсмеивается публика. Он знает, что вы прочтете его рассказ, и... забудете. А ведь это — кровь его сердца, все это, начиная с конины, он действительно вынес, вся эта тоска, на самом деле, свела его в гроб. И он хочет стать выше своих страданий, смеется искривленной улыбкой, надорванным смехом, и зачастую его лирика не что иное, как пляска гейневских мертвецов над собственными могилами. Что поделаете? Жизнь обманула человека. Она внушила ему веру во всемогущество его благородных порывов, но не дала ему ни действительной силы, ни знания той обстановки, среди которой ему пришлось жить и бороться. Она твердила ему, что надо быть героем, она рисовала ему будущее в самых радужных красках, и он шел навстречу ему голодный и оборванный, могущественный своими иллюзиями, но без сил и средств, шел по направлению миража пустыни, не обращая внимания на свои израненные ноги, на смертельную болезнь своего духа, уже не веровавшего, а только старавшегося верить с надрывом отчаяния, преследуемый своим насмешливым Горе-Злосчастием...

Полетел молодец ясным соколом,
А Горе за ним—белым кречетом,
Молодец полетел сизым голубем
А Горе за ним—серым ястребом...

Новодворский один из влюбленных людей семидесятников, признавших его своим. И, конечно, он был своим потому, что с

страшною силою разыгрался в нем драматический момент эпохи и жажда личного счастья и добровольно-мученический отказ от него, и стремление слиться с народом, войти в него, в его тяжелую трудовую жизнь, в его голодовку и холодовку, завершился слишком уже ясным и убийственным сознанием собственного своего бессилия. Он не только не выполнил наложенной на себя задачи, но хуже того,—он понял, что не может выполнить ее...

Его господствующее настроение—безнадежная тоска и мучительная жажда верить, когда вера ушла уже из сердца...

В. М. Гаршин (1855—1888)—тоже излюбленный человек, тоже с таким же основанием признанный своим, еще яснее, еще шире, и безнадежнее поэтому, взглянул на дело.

На могиле Гаршина г. Минский произнес одно из лучших своих ститворений:

Ты грустно прожил жизнь. Больная совесть века
Тебя отметила глашатаем своим.
В дни злобы ты любил людей и человека
И жаждал веровать, безверием томим.
Но слишком был глубок родник твоей печали:
Ты изнемог душой, правдивейший из нас,—
И струны порвались, рыданья отзвучали...
В безвременье ты жил, безвременно угас...
...И творчество твое, и красота лица
В одну гармонию слились с твоей судьбою,
И жребий твой похож, до страшного конца,
На грустный вымысел, рассказанный тобою...

Грустный вымысел — это, быть может, все, созданное Гаршиным, а может быть, только „Красный цветок“. Но, в сущности, это безразлично. Там и здесь—темы одинаково унылые, настроение одинаково печальное и безнадежное. Там и здесь — отказ от веры своего века, отказ мучительный, там и здесь — страстная жажда веры... хотя бы безумной, ведущей за собой смерть.

Гаршин был больной человек, но, кажется, не надо уже слишком подчеркивать это обстоятельство, потому что он знал и минуты полной ясности духа. Тогда он творил бережно и робко, недоверчиво относясь к каждому своему слову. Быть может, его пугала глубина неверия и отчаяния собственного духа, и он не

знал, может ли, должен ли он, имеет ли он, наконец, право передать их другим. На самом деле, что мог он сказать им, сам подавленный огромностью жизненного зла? Прекрасно отвечает на этот вопрос Успенский:

„Жизнь не только не сулила Гаршину хотя бы малейшего движения от глубоко сознанного зла к чему-нибудь... да хоть к чему-нибудь лучшему, но, напротив, как бы окаменела в неподвижности, ожесточилась на малейшие попытки не только хорошо думать, но и хорошо делать. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год и целые годы, и целые десятки лет, каждое мгновение остановившаяся в своем течении жизнь била по тем же самым ранам и язвам, какие давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Один и тот же ежедневный „слух“—и всегда мрачный и тревожный, один и тот же удар по одному и тому же больному месту, которому надобно зажить, поправиться, отдохнуть от страдания, удар по сердцу, которое просит доброго ощущения, удар по мысли, жаждущей права жить, удар по совести, которая хочет ощущать себя. Десятками лет идет какое-то беспрерывное, непрестанное, неумолимо-настойчивое отталкивание человека от малейшей попытки „поступить“—вот что дала Гаршину жизнь после того, как он уже жгуче перестрадал ее горе. Немудрено после этого понять, что загипнотизированный, окаменевший на десятки лет действительностью, подавленный неподвижностью грозных вопросов жизни, он мог, при обилии мыслей о своих обязанностях к этой действительности, потерять даже тень хотенья жить во имя желательного“.

Жизнь пугала Гаршина, все, что он хотел, воспитанный на лучших началах идеализма, представлялось ему недостижимым. Все герои его считают себя „пальцем от ноги“. И естественно, что каждый его рассказ пропитан ужасом перед бессмысленностью, стихийностью, огромностью и неотвратимостью зла. Каждый рассказ—сплошное черное или кровавое пятно. Опять обращаюсь к статье Успенского.

„Четыре дня“,—говорит он,—ужасная драма, непостижимая ни совестью, ни умом: убийство друг друга людьми, не имеющими к этому ни тени надобности,—факт огромной важности, тяготеющий над всем человечеством и обязывающий не выделять его из общего строя неправд. Думая о связи этого непонятного явле-

ния жизни, есть от чего притти в отчаяние и есть от чего помутиться умом. А вот вам просто кочегар, которого также общие явления жизни терзают и молотом, и огнем, и бедностью,— и опять весь строй жизни должен быть притянут к ответу за это терзание несправедливостью человеческого существа. Точно так уже весь строй жизни, овладевает мыслью Гаршина, когда он пишет о женщине легкого поведения, которая пришла к необходимости броситься в Неву, и тогда, когда он пишет о человеке, который всю ночь борется с необходимостью пустить себе пулю в лоб и желанием жить на свете. И так все в том же роде. Все это вокруг нас, все это обыкновенно, со всем этим мы, большинство, слились, а еще большее большинство даже и не думало, что можно обо всем этом беспокоиться. Но соберите все эти обыкновеннейшие сюжеты: война, самоубийство, каторжный труд неведомому богу, невольный разврат, невольное убийство ближнего,—и вы увидите, что вся совокупность этих обыденных явлений есть именно существеннейшие язвы современного строя жизни, что за ними не видно хорошего, что времени, возможности даже нет выделить это хорошее из неотразимо действующих фактов зла. Нельзя же не мучить себя сознанием, что все это страшный грех человека против человека, и что этот ужасный грех—наша жизнь, что мы привыкли жить среди него, что мы не можем не жить именно так, чтобы нашей, страдающей от собственных неправд, душой не приносились эти бесчисленные жертвы".

Совесть мучила Гаршина, но уже не за его общественное положение, а за огромность царящего в мире зла. Безбрежностью и могуществом этого зла он был подавлен. Он не отказывается от борьбы с ним, он требует этой борьбы во имя всего святого и чистого, что есть в душе человека, но знает в то же время, что эта борьба—безумие, что нет сил распутать жизненных противоречий, воистину стихийных и грозных и все растущих в своем всемогуществе. Гаршин—опять-таки признанный всеми главными представителями семидесятых годов не только за своего, но даже за лучшего из „своих"—прекрасно и глубоко понимал силу истории и бессилие человека и личности. Он даже доводил эту мысль до крайности. „Ты идешь,—говорит он в рассказе „Трус",—вместе с тысячами тебе подобных на край света, потому что истории понадобились твои физические силы. Об умственных забудь:

они никому не нужны. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что ты можешь сделать против такого желания, ты—палец от ноги?..“ То же самое говорит и герой „Четырех дней“, лежа на поле сражения возле убитого им турка: „За что я его убил? Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как и у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у крыльца своей мазанки да поглядывать на далекий север: не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец? А я? И я также... Я бы даже поменялся с ним: он не слышит ничего, не чувствует ни боли от раны, ни жажды. Штык вошел ему прямо в сердце... Вот на мундире большая черная дыра, вокруг нее кровь. Это сделал я,—я не хотел этого“...

Каждый рассказ, каждая сказка Гаршина — отрицание силы человека. Только безумцы вступают в борьбу, но они не побеждают. На эту тему написан „Красный цветок“ — самая сильная и глубокая вещь Гаршина и, вместе с тем, самая жестокая. Здесь—высокое желание принести счастье человечеству, но это стремление живет в безнадежно-больной голове и в форме больной идеи. Сумасшедший рвет цветы мака, он думает, что в красном цветке живет все зло мира, обагренного кровью, что этот цветок надо сорвать и уничтожить и при этом отравиться его ядовитым дыханием, чтобы погибнуть и умереть, „как честный боец“. Он сорвал цветок и умер. „Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок, но рука закоченела, он унес свой трофей в могилу“. Зло же мира осталось по-прежнему обагренное кровью, по-прежнему торжествующее.

„Пессимизм“, неверие в человеческие силы, оскорбленная совесть, подавленность духа, быть может, даже перелом воли, на что намекает в своей статье Успенский — все это, конечно, есть и у Гаршина. Но он не весь еще в этом, и это лишь путем какой-то иллюзии делало его близким человеком для людей его времени. На самом деле, что могли сказать ему эти люди? Они могли лишь прочесть ему холодное нравоучение в роде следующего: „Мы хотели бы только видеть его более добрым, хотели бы устранить преследующие его безнадежные перспективы. И наша

читательская любовь чего-нибудь да стоит в этом отношении. Мы ведь не безотчетно личною любовью любим: из любви Гаршин может почерпнуть веру и надежду“. Холодные и скучные слова, и Гаршин ответил на них своею смертью. Никакой веры и надежды он питать не мог.

В нем, прежде всего, с полной очевидностью выступает наружу болезненная глубина психической жизни. Вся его психика—сплошная рана, и довольно самого ничтожного удара, чтобы заболел, застрадал весь человек. Для него нет зла малого и зла большого, он знает лишь одно царящее зло, и этот пугающий призрак всегда перед его глазами. Это ночь, распростершая над ним свои черные крылья. „Никакой труд не может быть так тяжел, как труд писателя,—говорил он,—писатель страдает за всех, о ком пишет“—и за тысячи людей, распростертых на поле сражения, и за расстрелянных медведей, и даже за раздавленных ногою жуков и букашек, потому что для него все это тот же самый „Красный цветок“. Безграничная жалость ко всякому страданию вне его размеров, условий, обстановки так же характерна для Гаршина, как и признание своего бессилия. Слишком чуткое, больное сердце попало в суровую обстановку и на все уколы и удары могло отвечать только стоном. Он даже не искал утешения и в мужике. Он не хотел этого утешения,—он хотел лишь подвига, на который не мог отважиться, и смерти,—хотел того же, чего и больной „Красного цветка“. Такая безграничная жалость—смертельная болезнь духа, и Гаршин страдал ею.

Науки он не знал, а то, что он знал из нее, представлялось ему слишком холодным и бессердечным. С мужиком он встретился, как с солдатом, но эта встреча глубокого впечатления на него не произвела, хотя обе стороны поняли друг друга и полюбили. Он жил исключительно жизнью своего сердца, и все, чего он хотел бы действительно хотеть, но не умел, может быть выражено словом: диктатура сердца—диктатура полная, безусловная, безграничная. Не надо никаких формул, не надо никакой правды, ограниченной и урезанной статьями и параграфами, не надо никаких укладов и строя жизни, больше всего не надо уступок неизбежности и необходимости. Нужна лишь полная свобода сердцу, полный простор ему, чтобы оно своей безграничной любовью и безграничной жалостью излечило безграничность зла. Это уже не

мечта поэта, это мечта безумца... или мечта тех далеких от нас людей, которые будут в ужасе и смятении ожидать последнего дня земли, обреченной на гибель. Это человеческое сердце, преисполненное жалости и сострадания, проникнутое любовью и всепрощением, лишь робко и трусливо заявляет о себе, ежеминутно ощущая свою полную беспомощность. Оно живет лишь порывами, почти или совсем не переходя в действие. Оно встречается с преградами прямо непреодолимыми, оно мучится противоречием двух правд, напр., правды войны за свободу угнетенного народа или правды—„не убий“... и не знает выхода и чувствует, что не может найти его, что этого выхода нет, и уходит в себя, обиженное и трепещущее, готовое жалостью своей обнять весь мир, но бессильное облегчить страдание хотя бы маленькой букашки. И на помощь миру оно несет лишь свои стоны и слезы, свою безграничную жалость, несет стыдливо и совестливо,—так же стыдливо и робко, как несла свою лепту вдовица...

С. Я. Надсон (1862—1887) превосходно дополняет Гаршина и Новодворского. Но Надсон гораздо уже. Вместо безусловного и безнадежного отрицания—у него лишь сомнения, лишь робкое желание отрицать. Однако мотивы те же самые, мотивы рассматриваемой мною драмы.

Он любит народ, называет его „апостолом труда и терпенья“, но эта любовь не приносит ему покоя. В ней нет уверенности, и она слишком заслоняется глубоким сознанием личного своего бессилия. Это бессилие—источник его грусти. Он хотел бы подвига и знает, „глубоко“ знает, что не может совершить его. Этот подвиг—такая же недосягаемая мечта, как „смелый и гордый стих“. Вместо подвига лишь быстро исчезающий в тоске и неверии порыв, после которого:

Твоя любовь казалась мне слепой,
Моя любовь—преступной мне казалась...

Конечно, неизлечимая болезнь Надсона,—все равно, как такие же неизлечимые болезни Гаршина и Новодворского,—сыграла огромную роль в его жизни, но, повторяю, не все же об'ясняется одною болезнью. Драматический момент эпохи, познавшей тщету своих усилий, заменявшей веру лишь жаждой веры, сказался здесь

не менее сильно. Подвиг великого отрицания оказался не под силу.

Но все же подвиг манил своим величием и суровостью, своими требованиями самоотречения,—манил, как смерть на поле битвы, хотя бы и проигранной уже. Он приказывал человеку признать незаконность и преступность личного счастья.

Однако, манило и оно. Помните это превосходное стихотворение Надсона, где он выразил всю слабость своего духа, всю свою жажду личной жизни и ее полноты в ее борьбе с суровыми требованиями долга. Оно едва не заканчивается слезами:

Я вчера еще рад был отречься от счастья,
Я презреньем клеймил этих сытых людей,
Променявших туманы и холод ненастья
На отраду и ласку весенних лучей.
Я твердил, что покуда на свете есть слезы
И покуда царит непроглядная мгла,
Бесконечно-постыдны заботы и грезы
О тепле и довольстве родного угла.
А сегодня—сегодня весна золотая,
Вся в цветах, и в мое заглянула окно,
И забилось усталое сердце, страдая,
Что так бедно за этим окном и темно...
Милый взгляд, мимолетного полный участья,
Грусть в прекрасных чертах молодого лица—
И безумно, мучительно хочется счастья,
Женской ласки и слез, и любви без конца!..

И совсем понятно, что все равно, как Гаршин весь вылился в своем „Красном цветке", так по той же причине, по тем же мотивам, Надсон создал своего Герострата—не песнь торжествующей любви, а песнь прекрасного, даже в безумии своем, подвига...

Гораздо глубже, иногда в самую глубь дела, заглянул другой наш писатель, который лишь по какому-то случайному недоразумению держится точно в тени и не занимает по всем правам принадлежащего ему высокого места. Я говорю о Мамине-Сибиряке.

Д. Н. Мамин-Сибиряк (род. в 1852 году)—писатель с совершенно определенным философским взглядом на коловращение судеб человеческих, и надо согласиться, что в этом взгляде очень мало отрадного, вливающего веру и утешение в сердце человеческое, и еще меньше утопического. Мамин—поэт с большой изоб-

разительной силой, с таким художественным воображением, которое,—несколько ленивое и чисто русское, любвеобильно обломовское (потому что и Илья Ильич красиво даже мечтал о мире всего мира) и измученное в то же время всей этой ненужной, бессмысленной и непомерно жестокой суетой человеческого существования,—любит отдыхать на жизни глухих углов, затерявшихся среди гор и тайги, любит, по крайней мере, уходить туда, чтобы найти хоть что-нибудь истинно человеческое, а не только хищническое и страшное. Можно было бы ждать, повидимому, идиллии, но идиллии не для Мамина, как и он не для них. Чувству правды изменить он не может, проницательная наблюдательность не оставляет его ни на минуту, и вот, вместо того, чтобы найти успокоение и порадовать читателя, он, как всегда, начинает терзать и мучить его, потому что терзается сам. Глухие углы, обломки старой жизни с каждым днем все дальше и глубже отходят в область предания: нет их больше, и в них забрался хищник, развел свои костры, сжег на них все древнее благополучие, подкопался под устои, опрокинул и растоптал их, и водворил свою холодную, жадную, хищническую жизнь. И приходится Мамину каждой страницей своей отмечать все новые успехи хищника и очевидное разложение дорогой для него картины мирной и невидной, поэтическим вдохновением возводимой до святости, народной жизни.

Впечатлительности и чуткости у Мамина страшно много, много понимания правды жизни, которую он не может не видеть, хотя и хотел бы не видеть ее.

В нашей литературе интересное изложение миросозерцания Мамина сделал г. Альбов. Я приведу это изложение, дополнив его некоторыми своими данными.

„В жизни господствует не разум и не воля людей, а слепые стихийные силы. Из-за необозримых рядов отдельных личностей, которые кажутся какими-то живыми точками на жизненной сцене, перед глазами читателя вырисовывается невидимая сеть взаимно перекрещивающихся и причудливо перепутанных сил, гигантская система невидимых колес, шестерней, валов и приводов, которая связывает людей в односложное целое. В этой стихийной связи все обусловлено, все идет со страшной последовательностью и одно связано с другим, как кольца железной цепи. „В жизни,—

говорит Мамин,—все явления и все люди связаны между собою невидимыми для глаза нитями. Эта внутренняя глубокая связь раскрывается только при исключительных случаях, когда только обнаруживается внутренний остов этих отношений“. Добро и зло связаны друг с другом, как причина и следствие, и наоборот. Самые ценные завоевания ума, таланта, гения стоят дорогих, ни в чем неповинных жертв; одно зло рождает другое, это, в свою очередь, покрывается третьим, одно служит другому. „Вот в этой сочной траве, подернутой утренней росой, с виду так же тихо, как и в воздухе, но сколько в этот момент там и здесь погибает живых существований, погибает без крика и стона, в немых конвульсиях. Одна букашка душит другую, червяк точит червяка, весело чирикающая птичка одинаково весело ест и букашку, и червяка, делаясь, в свою очередь, добычей кошки или ястреба. В этом концерте пожирания друг друга творится тайна жизни“. „Вся история человечества создана на подобных жертвах, под каждым благодеянием цивилизации таятся тысячи и миллионы безвременно погибших в непосильной борьбе существований, каждый вершок земли, на котором мы живем, напоен кровью аборигенов и каждый глоток воздуха, каждая наша радость отравлена мириадами безвестных страданий, о которых позабыла история, которым мы не приберем названия и которые каждый новый день хоронит мать-земля в своих недрах“. Но и сильный, и слабый являются одинаково жертвами стихийной связи вещей, жертвами взаимных отношений.

Отдельный человек—ничтожная точка в этой стихийной связи вещей, жалкий материал в руках стихийных сил, слепое орудие в стихийном процессе развития. Прошлое имеет огромную власть над его судьбой. Жизнь течет по руслу, вырытому покойниками. „Какая это ужасная мысль, что мир управляется именно покойниками, которые заставляют нас жить определенным образом, оставляют нам свои правила морали, свои стремления, чувства, мысли и даже покрой платья. Мы бессильны стряхнуть с себя это иго мертвых“. Его настоящее—результат стихийных сил, сталкивающихся, ослабляющих и усиливающих одна другую. „Есть роковые силы, которые заставляют человека делаться тем или другим, и я уверен, что никакой преступник не думает о скамье подсудимых, а тюремщик, который своим ключом замыкает ему

весь вольный белый свет, никогда не думал быть тюремщиком". С этой точки зрения, „жизнь положительно страшная вещь". Нельзя сделать шагу, чтобы не натолкнуться на что-нибудь неизбежное и беспощадное, как сама судьба, что властно вторгается в человеческую жизнь, вопреки всяким расчетам и соображениям, логике и рассудку. Длинный ряд цепляющихся друг за друга фактов, начало которого скрывается в глубине истории, обложил человека железным кольцом, которого он даже не пытался разорвать, потому что в большинстве случаев не замечает и не видит его, и, благодаря которому, он зайдет в такую трясину, где нет просвета и из которой нет выхода. Какая-то беспощадная и безжалостная рука властно распоряжается человеческой судьбой и, вопреки всяким надеждам и планам, рисует на ней свои собственные узоры.. „Идешь туда, а глядишь, пришел совсем в другое место, хочешь принести человеку пользу, получается вред, любишь человека—платят ненавистью, хочешь исправиться—только глубже опускаешься". „Мы, как дети, утешаемся карточными домиками, а природа нас хлоп да хлоп по носу". Нет ничего странного в том, что этот слепой, стихийный характер развития жизни отражается в сознании людей, как действие рока.

Если в жизни господствуют слепые, стихийные силы, а человек—игрушка этих сил, то отсюда ясен вывод: жизнь—мрачная трагедия в самых основах своих, трагедия, в которой нет виноватых. Зло коренится в условиях жизни, „не имеет личной формы, а представляется чем-то стихийным, безразличным и неуловимым". Оно не концентрируется в какой-нибудь отдельной личности или классе общества, оно в самом строе вещей. За него никто исключительно не в ответе, в нем никто исключительно не виноват. Все одинаково виноваты и одинаково правы. Но есть же возмездие за существующее зло, есть карающая рука. „Каждый день,—говорит Мамин,—день итога, день посещения, день последнего ответа". Из круговой стихийной несправедливости ткется бесконечная паутина человеческой жизни. Но вот над этой паутиной пронеслось холодное дыхание смерти. Здание, воздвигавшееся неимоверными усилиями в продолжение многих столетий, готово рухнуть. Оно подгнивает в своих собственных основаниях. Являются зловещие признаки разложения. Немезида вступает в свои

права, и ее меч поражает без разбора первого встречного, часто совсем не причастного к данному проявлению зла; ведь все люди служат жалким материалом в руках слепых стихийных сил, строющих человеческое общество. В этих кризисах личной и общественной жизни выражается стихийное требование личной и общественной правды...

Основная, вдохновляющая идея Мамина, очевидно, выросла на почве перелома жизни под влиянием новых, мещански-капиталистических, культурных условий. Живут себе люди мирно и тихо среди известных сложившихся и даже окаменевших устоев, которым, казалось бы, и навеки такими предназначено оставаться, и вдруг налетают на них грозные силы, в виде чугунки, капитала, новых веяний, и в мгновение ока от прежнего благополучия не остается и следа. Наступает момент шалости, тихие начинают буянить; зверь просыпается в самых благонадежных, другие каменеют, а среди невообразимого хаоса и путаницы начинают дымить фабричные трубы, возникают винокуренные и иные заводы, пароходные пристани, железнодорожные станции. Жизнь переворачивается вверх дном, и чумазый орудует, не смехотворный какой-нибудь чумазый, а могущественный, грозный и властный. Ничего не понимают люди старого порядка и лишь в недоумении спрашивают себя: да как же это так? Что за пестрые, поражающие, исполненные всяких катастроф и неожиданностей, картины вырисовывает на этом хаосе, освещенном заревом далекого и страшного пожара, рубеж двух эпох, двух „жизней“. Совершая свои подвиги и безобразия по поверхности и все более убеждаясь в своем могуществе, капитал забирается и в души людей. С особым, полным меткой проницательности, искусством Мамин следит за „проникновением капитализма во все сферы человеческой жизни, в семью, в область правовых отношений, в нравы и понятия, в науку и литературу. Его герои не ярлыки тех или иных экономических категорий, а живые люди с разнообразной и сложной психической структурой. Захваченные стихийным процессом— одни из них легко и быстро приспособляются, другие переживают внутренний мучительный процесс разложения прежнего духовного человека и формирования нового. Лишь немногие остаются в стороне“.

Процесс „капитализации“ общественных отношений является для Мамина, прежде всего, процессом их разложения. Это совершенно понятно и естественно, если припомнить, что капитал, подвиги которого он изображает, прежде всего хищнический, без всякой миссии, кроме сто на сто или двести на сто. На глазах у читателя горит подожженный с заранее обдуманным намерением лес, на месте которого, может быть, и будет потом золотистая нива,—а пока кроме дыма и огня ничего не видно. И яркий, беспорядочный стиль Мамина, его воображение, очень горячее, стремительное, но и отрывочное, и в то же время его настроение всегда несколько сумбурное, благодаря многим нерешенным противоречиям, как нельзя лучше приспособлено к такого рода картинам. Мамин, как и главный герой его произведений—капитал-хищник, вообще не умеет владеть собой и своими огромными художественными силами. Он в подчинении у своего необузданного, лишенного всякой меры творчества, которому он дает полный простор. Картины столкновения, перипетии страстей, комбинации сложнейших психологических моментов возникают перед ним с такою быстротою и яркостью, что он и не думает дорисовывать их и часто бросает начатое на полдороге. Точно он описывает ураган, вырывающий с корнем вековые кедры, или землетрясение какое-нибудь. Слышен грозный шум, треск и грохот; багрово-красное, точно налитое кровью, солнце с пророческой угрозой смотрит на бедную землю, всю в пыли и обломках, дрожащую от ужаса, залитую подземным огнем и страшно рвущуюся к скорейшей гибели, которая прекратила бы наконец эту ее муку, эту ее невыносимую пытку. А человек? Самое печальное и даже пугающее—то, конечно, что он, как существо мыслящее и волящее, тут совершенно не причем, все происходит у него за спиной; он не видит ни завязки, ни развязки драмы, ему выносится лишь приговор, не подчиниться которому он не может, и сумеет ли он подчиниться ему так, чтобы спасти хоть шкуру свою—это уже его дело. И, в конце-концов, становится действительно страшно, потому что кроме пыли и обломков вы ничего не видите, и самый запах гари одуряет вас. Повсюду обломки, и из-под них слышатся стоны пришибленных и раздавленных людей или ликующие возгласы тех, кто успел уже нажиться и приспособиться. Хороший, доброй души человек—Мамин терзается осо-

бенно, когда приходится ему выводить на сцену ребятишек, со стихийной жестокостью брошенных в общую свалку, и страшно и больно за них, как вообще страшно и больно за человека. Ну, а к чему все это?.. А ни к чему,—отвечает Мамин своей саркастической и мрачной рождественской фантазией.

Тут больше, чем напуганность перед капиталом-хищником, тут чувствуется ужас, скорбь и безнадежность.

Реакционная литература 60-х и 70-х годов.

В центре ее надо поставить „Московские Ведомости“ Каткова, который однако не сразу расстался с своим либерализмом. Только с конца 60-х годов „Московские Ведомости“ приняли ту свою физиономию, которая является для них наиболее характерною и как бы присвоенною. Катков теперь ясно определил свою задачу, и этой задачей была борьба с революцией во всех ее проявлениях. Больше—Катков хотел предупредить возможность какого бы то ни было революционного движения, при чем слово революция понималось им в самом широком смысле. Под этим именем понимались: 1) стремление окраин к самостоятельности; 2) земские начинания и земская инициатива; 3) хождение в народ и народнические идеалы вообще; 4) общественная самостоятельность. В конце-концов, все не-катковское, все не прямо и не непосредственно исходившее с Страстного бульвара стало революцией и подвергалось преследованию „Московских Ведомостей“. Идеал Каткова, окончательно оформившийся, может быть выражен тремя словами—государственность, централизация и полицейская благонадежность. Во имя государственности Катков боролся с идеей 60-х годов, которая, как мы видели, сводилась к требованию общественной и личной самодеятельности. Ту и другую он отрицал в корне, и земские начинания казались ему такими же отвратительными и незаконными, как и женская эмансипация, например. „Польская интрига, — проповедывал он, — не замерла после 1863 года. Она только спряталась. Не выступая на сцену лично, она продолжает действовать через посредство русских революционеров. Ее рука видна в студенческих беспорядках прежде всего; она снабжает деньгами наших нигилистов;

она является постоянным ферментом недовольства. Русская революция—это что-то наносное, внушенное, это желание маленьких людей играть большую роль. Это результат невежества, безобразного состояния нашей школы, в которой нет серьезной науки и серьезного преподавания, где учителя либеральничают ради снискания популярности, а ученики бездельничают, занимаясь чем угодно, только не прямым своим делом". Серьезную науку и серьезное преподавание нашей школы Катков хотел дать путем введения классической реформы, за которую он усиленно боролся с либеральной прессой („Голос", „Вестник Европы", „Современные Известия" и т. д.), с обществом и даже администрацией целых 7 лет. Эта классическая реформа, эти учителя-чехи, этот полицейский режим школы должны были, по его мнению, подрезать революции крылья. К тому же должно было вести обрусение окраин, особенно северо-и юго-западных, какими бы суровыми мерами оно ни сопровождалось. В этом случае все отступившее от генерал-губернаторской программы Муравьева казалось ему послаблением и заискиванием перед инородческими элементами. Не Россия должна считаться с ними, а они должны считаться с Россией и итти ее путями. Но это возможно лишь в том случае, если Россия восстановит основу своей жизни—твердую центральную власть, в значительной степени расшатанную реформами 60-х годов. Эта твердая центральная власть должна безусловно избегать каких бы то ни было уступок тем общественным элементам, которые посягают на ее полноту. Истинная ее опора—коренное дворянство, так как бюрократия уже заражена либерализмом, особенно судебное ведомство. Конечно, не о восстановлении крепостного права мечтал Катков. Для этого он был слишком умен, но он признавал, что реформы 60-х годов зашли слишком далеко, что они разнуздали человека, открыли ему совершенно неосуществимые перспективы, а главное, вызвали к жизни элементы, которые по своей некультурности должны были бы оставаться под спудом. Это элементы разночинцев, нигилистов, инородцев, всякого рода эмансипаторов вообще. Их необходимо водворить на прежнее место жительства—внизу, и дворянство своей тяжестью может это сделать. Но пусть дворянство в том или другом виде будет облечено властью, основы которой должны быть такие же, как у власти помещиков.

Реакционная литература той или другой своей стороной примыкает к его программе.

„В романах реакционного лагеря,—говорит А. М. Скабичевский,— аристократические и дворянские классы рисуются в самых привлекательных чертах. В них одних полагается залог спасения расшатанного общества, поскольку они остаются верными исконным, старо-русским традициям. Представители же движения 60-х годов изображаются бесшабашными отрицателями-нигилистами, которые отвергают религию, семью, собственность, нагло смеются над всем святым и заветным и ради материальных выгод готовы на всякое преступление.

„На первом плане в каждом реакционном романе рисуется герой-охранитель,—красивый, статный, с изысканно-светскими манерами и непременно эстетик. Если он не князь и не граф, то, во всяком случае, принадлежит к очень древнему роду. Характера он должен быть гордого, непреклонно-твердого, храбро-отважного, немного, пожалуй, вспыльчивого. Он проникнут самыми благоразумными и спасительно-консервативными убеждениями. Все силы его души стремятся к борьбе с неправдою и злом, на охранение коренных основ религии, нравственности, семьи, собственности и в особенности окраин Российской Империи.

„Еще до служебного поприща он начинает спасать отечество в либеральной гостиной губернского города, разражаясь тирадами о падении современных нравов, о том, что лягушки (т. е. естествознание) никогда не могут заменить того божественного упоения, которое возбуждается сонатой Бетховена, сыгранной прекрасными пальчиками, и что наши предки тоже были скептиками, но скептицизм не мешал им ценить изящное и любить родину больше жизни.

„Подобная речь возбуждает смех в легкомысленных либералах, но чьи-нибудь, глубокие синие очи затуманиваются тихой задумчивостью под обаянием речи героя и загораются живым участием, когда герою, мимоходом, среди споров удается сбить с толку отрицателя гимназиста или до такой степени сконфузить пана Бзексержинского, что пан, схвативши конфедератку, быстро улепетывает, кипя злобой и обещаясь мстить герою до смерти.

„Затем герой определяется на государственную или земскую службу в качестве мирового посредника, судебного следователя или чиновника особых поручений при губернаторе, и здесь начинается уже серьезная борьба героя со злом, угрожающим основам и окраинам. Зло это представляется в двояком виде: 1) в виде коварной польской интриги, осуществленной в образе пана Бзексержинского, который под предлогом служения отчизне на самом деле только и помышляет, как бы ехидно отомстить герою романа за понесенную в присутствии синеокой девы обиду; 2) в виде многоглавой гидры нигилизма, которая изображается в романах не иначе, как панурговым стадом саврасов без узды, возмущающих крестьян, подсовывающих в карманы героя возмутительные прокламации, посягающих, наконец, на самую жизнь героя,—и все это под влиянием все той же польской интриги. В борьбе со всеми этими исчадиями ада герой бывает оклеветан и попадает под суд; его отравляют, несколько раз истекает он кровью от ран, но, в конце концов, выходит сухим из воды, победя и посрамя и поль-

скую интригу, и панургово стадо нигилизма. Вариациями служат современные события, которые стоят на первом плане. Если автор главное внимание обращает на польскую интригу, он посылает героя в западный край геройствовать на славу; если же романист напирает на панургово стадо, то герой едет в Петербург в разгар движения шестидесятых годов и вращается здесь в студенческих нигилистических или литературных кружках; или же отправляется за границу, сталкивается там с русскими эмигрантами и на возвратном пути спасает от гибели какого-нибудь юнца, выбросивши за борт парохода пук прокламаций, которые юный спутник вез неблагоразумно в отечество.

„В перемежку между общественными подвигами идут любовные приключения героя, обладающего, между прочим, и даром покорять женские сердца. Женщины взапуски влюбляются в него с первой встречи, и герой переживает три вида любви: одна имеет игривый и скабрезный характер, предметом ее является или роскошная губернаторша, опутывающая героя чарами кокетства, или супруга закадычного друга, с которой герой, не любящий осквернять чужих супружеских лож, вовсе не предполагает сходиться близко, но ему приходится ночевать с ней в двух смежных комнатах, и неожиданно он делается жертвою ее страстности. Другая любовь вспыхивает внезапно, как ураган, доводит героя до высшего экстаза страстности и повергает его в крайнее изнеможение и нравственное ослепление, это—любовь к юной польке, сестре пана Бзексержинского, или к россиянке, жаждущей широкого простора жизни, уносящейся в волны нигилизма и гибнущей кровавой смертью. Наконец, третья любовь, постепенно развивающаяся, неслышная, незаметная сначала, но впоследствии самая глубокая, истинная и бесконечная, это — любовь к той синеокой деве, которая, в pendant герою, представляет собою тип коренной русской женщины, стремящейся к семейному очагу, свято охраняющей основы и неспособной к мишурным увлечениям и легкомысленным отрицаниям. С этой во всех отношениях идеальной своей суженой герой почивает от всех треволнений и, уставши охранять отечество собственной грудью, посвящает остаток дней воспитанию в деревенской тиши новых будущих охранителей.

„К этому ко всему следует присоединить страсть изображать в обольстительном свете великосветские нравы, балы, рауты, придворные выходы и приемы парадные обеды, пирушки золотой молодежи и пр., и пр.,—страсть, побудившая Достоевского, со слов Ив. Панаева, обозвать писателей этого рода „коленкоровых манишек беспощадными Ювеналами“.

К нашей реакционной беллетристике часто причисляют „Взбаломученное море“ Писемского, „Преступление и наказание“ и „Бесов“ Достоевского, и даже „Обрыв“ Гончарова. Такое, несомненно, остроумное открытие история литературы должна однако счесть за простое недоразумение. Дело в том, что все *положительное*, что есть в указанных произведениях, не имеет ничего общего с положительной реакционным беллетристики собственно. Ея

положительное—это программа Каткова и *дворянская* идея, тогда как положительное, скажем, Достоевского там, где-то в облаках и во всяком случае не имеет ничего общего с интересами официальной, административной или дворянской России. Эффекты реакционной беллетристики нуждаются в бубнах и литаврах, встречающих появление на сцену аристократических патриотов,—в свистках и шиканьи, сопровождающих каждый шаг и поступок нигилиста; ни Писемский, ни Гончаров, ни тем более Достоевский,—ни в чем подобном надобности не ощущают эти трое, как ни различны они, сами по себе. Что такое нигилист для Достоевского? Это, прежде всего, человек, не верующий в Бога, желающий, стремящийся преступить против заповедей не только общественных, но и божеских. Это человек богом своим провозгласивший личный произвол и *своеволие* (Кириллов в „Бесах", Раскольников и т. д.). *Так* это глубоко и мистично у Достоевского. У Писемского и Гончарова проще и плоше. Но и они могли бы сказать против своеволия—и ни во что не верующий Писемский, и верующий в медленную, постепенную работу Гончаров. Особенно последний, который в лице Тушина как бы отдает будущее России в руки среднепоместных *работающих* дворян, дворян-земледельцев. Интересы же реакционной беллетристики, часто сословные, официальные, особенно у Маркевича, Орловского (Головина) или Всев. Крестовского: не по своему отрицательному отношению к нигилистам реакционна она, а по своей положительной, публицистической проповеди, по своей пропаганде еще более суженной Катковской программы.

В. П. Клюшников (1841—1892 г.). Это все же не Маркевич и не Крестовский. В известной степени идеалист и эстетик, выросший в традициях сороковых годов, он с ужасом и отвращением отвернулся от движения шестидесятых. Ничего здорового, буйно красивого он в нем не нашел; нашел одно отвратительное, отталкивающее впечатление, что и торопился закрепить в своем известном романе „Марево", известном, впрочем, не столько по художественным своим достоинствам, сколько по сокрушающей юношеской критике Писарева. Писарев, как дважды два, доказал, что все герои „Марево" люди очень ограниченные, даже более, чем ограниченные, и что причиной всех бед, постигающих их,

является их собственное ничтожество. Но зато у них много претензий, и больше всего претензий у героини Нины, которая, после долгих поисков „правды“ в движении 60-х годов, пришла к такому вот выводу:

„Год тому назад я сошлась с людьми, которые казались мне поборниками правды, добра, свободы, всего, не потерявшего для меня и до сих пор своего истинного смысла. Теперь я вижу насквозь эту горсть честолюбцев, жадно рвущих друг у друга власть, как стая коршунов тащит друг у друга из клюва требуху дохлой скотины. Я видела эту знаменитую борьбу, в которой свобода народов — звучный предлог для возвышения одних тиранов на счет других; я знаю все их средства к достижению цели самой низкой, прикрытой маской национальности. Я стояла лицом к лицу с тем самым народом, с которым они заигрывали до поры до времени. Это было последнею гирею на колеблющиеся весы... Нет слов выразить презрение, нет мерки для ненависти, которые почувствовала я к ним. Я с ужасом отвернулась назад... Там, за мною осталась Верочка, сперва творившая себе потеху из науки, а потом заигравшая в революцию; там был Ваня, сразу принявшийся за разрушение тронов, там, наконец, накопилась мелюзга, уже в сравнении с которой эти дети казались гигантами... Я осталась одна на своей призрачной высоте, изломанная, искалеченная, без всякой охоты к жизни, без всякой веры в будущность...“

Надо отдать Клюшникову полную справедливость: он пишет совершенно искренне, совершенно искренне не умеет он отделить пшеницы от плевел, совершенно искренне видит он только одно временное, случайное и часто действительно безобразное в эпохе нашего возрождения. Он не различил того глубокого и прекрасного, что таилось в ней: мелочи, в роде самодовольства, самообольщения умственной наглости „нигилистов“, заслонили от него горизонт и он, повторяю поторопился с своим приговором. К нему отнеслись жестоко, он стал притчей во языцех, стал посмешищем передового лагеря, тем более, что его положительные типы, на самом деле, производят довольно смехотворное впечатление: они низменны, несмотря на весь свой патриотизм.

Н. С. Лесков (1831—1895). Лесков натура страстная, экспансивная и озлобленная. „Нигилистов“ он преследовал с каким-то ожесточением в своих романах „Некуда“ и „На ножах“, отчасти в „Соборянах“. Это, разумеется, нисколько не мешает ему быть одним из крупных художественных дарований, ярко выдвинувших религиозную проблему русского духа. Но в то же время это

очень неуравновешенное дарование, часто падавшее до степени второ-и третьестепенного дарования и лишь изредка возвышавшееся до создания глубоких, верующих типов.

Лично мне Лесков представляется писателем с большим нетерпеливым самолюбием, зачастую очень неискренним и таким, который часто все свои усилия устремлял на то, чтобы выделиться чем-нибудь и прослыть оригинальным. Но у него не было идеи, не было определенного отношения к жизни, и он то и дело бежал за тем, что в данную минуту обещало ему успех, попадая при этом в большинстве случаев впросак, потому что говорил он не от себя, а от своего мстительного раздражения против либералов. Его литературная карьера началась очень скверно—статьями, в которых он ничуть не сочувствуя женскому эмансипационному движению,—что впоследствии и высказал совершенно откровенно,—заигрывал с ним однако, понимая все его могущество и даже властность его и другими подобными же статьями хоть и по иным вопросам. Но случился с ним в это же время (в начале 60-ых годов, именно в 62-ом году) и еще худший эпизод,—резкий и возмущающий. В Петербурге происходили пожары. Полиция сбилась с ног, так как бедствие принимало прямо-таки стихийные размеры. Обыватели окончательно растерялись. Лесков выступил тогда со своими „разоблачениями“ в „Северной Пчеле“ и среди общего тревожного настроения, которое искало себе не только выхода, но и жертв для отмщения, заговорил о поджогах и поджигателях, о прокламациях, о студентах и, наконец, прямо обвинил в пожарах „известную коалицию из немцев“, преследующую цели грабежа! Иные называют это бестактностью. Нет, тут что-то худшее, гораздо худшее, и надо припомнить, с каким возмущением восстала на Лескова вся печать, с каким негодованием приводились выдержки из его статей. И после этого эпизода Лесков разошелся с либеральной журналистикой, вернее,—со всеми порядочными людьми. Он озлобился после этих неудачных дебютов и, нисколько не думая взять хоть часть вины на себя, весь ушел в раздраженное самолюбие, в жажду мести. Он стал преследовать „нигилистов“, и это тогда, когда нигилисты свою роль уже сыграли и подверглись другим более серьезным преследованиям. В результате такого настроения явились знаменитые романы: „Некуда“ и „На ножах“. Посрамлению нигилистов, самому

пошлому и разнузданному посрамлению уже лежащих людей, отведена и большая часть романа „Соборян“—несомненно, лучшего из произведений Лескова. Реакционный и „консервативный“ лагерь,—что в те дни (начало 70-х годов) значило то же самое,—послужил ему литературным пристанищем. Но он понимал, что здесь рядом не только с Катковым и Леонтьевым, но даже Болеславом Маркевичем он не может играть никакой роли. А ему нужна была роль, прежде всего роль, потому что этот человек сам в своих собственных глазах наполнял собою все бытие, был выше всего окружающего, не признавал никого и ничего. Он завидовал всякому успеху и от своей злобной раздраженной зависит. Лесков не мог отделаться до конца дней своих. Ему страстно хотелось видеть крушение врагов своих,—людей передового лагеря,—но те стояли твердо, хотя бы только в общественном мнении. Пользуясь умственной сумятицей восьмидесятых годов, он изредка стал печататься в их органах. Но это было ему не на пользу. Духовное одиночество может воспитать и закалить только сильную душу. Душа слабая и себялюбивая, с узким горизонтом, становится еще меньше, еще мелочнее от нанесенной ей обиды, которая, как проказа, расползается по всему ее существу, не оставляя, в конце-концов, ни единого живого места, не отравленного заразою. Так случилось и с Лесковым. Его художественный талант стал проявляться очень и очень редко. Часто являлась подделка под художество. Он создал тот невозможный вычурный стиль, ту лубочную подделку под язык древних сказаний, который характеризует произведения последних лет его жизни,—эти плохо, но с претензией на остроумие рассказанные анекдоты, полные смакующего сладострастия, бессильной, но голодной чувственности. Этот стиль Лескова—прямо позор нашей литературы и нашего языка. Напр., обрушиваясь на „цыбастых“ женщин, он уверяет, что настоящая женщина должна быть „понедристее“, „потельнее и помясистее“. Настоящие женщины—это славянские красавицы, у которых „носина не горбылем, а все будто пипочкой; но этакая пипочка, она как вам угодно, в семейном быту гораздо поуветливее...“ Или на одной только странице одного из рассказов Лескова г. Волынский отметил такие вот слова: „вздрючка“, „взгефантулка“, „пришпандорка“, „изутие“, „изутие сапога“, „выгон на ять—голубей гонять“—

и такую вот образцовую фразу: это нигде не написано законом, но преданием блюдется до такой степени чинно и бесспорно, что когда, с упразднением выволочки и изутия, вошел в обычай более сообразный с мягкостью века—выгон на ять голубей гонять, то чины не обманулись, и это мероприятие ими прямо было отнесено к самой тяжелой категории, т. е. к взгефантулке...“ Это уже паясничество, это полная прострация не только языка, но и писательства, ибо тут все—непристойность.

Но все же художественные заслуги Лескова несомненны. К ним относятся некоторые главы из „Соборян“ и немногие рассказы. Талант Лескова, вообще говоря, чаще знал падение, чем под'ем.

Всев. Крестовский. (1840—1895). Его роман „Петербургские трущобы“ известен всей читающей России. В нем как бы закончено то, о чем мечтал и что начал Помяловский в своих набросках „Брата и сестры“—дана полная, сравнительно, и поражающая до ужаса картина жизни петербургской нищеты и петербургских вертепов. Здесь впервые явилась она перед читателем оголенной, ничем не прикрашенной, безнадежной и пугающей. Это настоящий дантовский ад, настоящее позорище, ибо большего падения человеческого невозможно себе и представить. В противоположность отверженным, Крестовский выводит кружок хищных аристократов, но эти последние обрисованы без всякого таланта, по шаблону французских бульварных романов, где злодей всем существом своим просится на гильотину. Зато, повторяю, описание вертепов, несмотря на очевидно сгущенные краски и в одном фокусе собранные эффекты, способно заставить наши волосы подняться дыбом и, что особенно страшно—это очевидная невозможность возрождения ни одной из жертв петербургских трущоб, до того насквозь пропиталась она их миазмами, их гнилью, алкоголизмом.

Остальные произведения Крестовского („Панургово стадо“, „Две силы“, „Тьма Египетская“) направлены к посрамлению „нигилистов“, в частности, движения 60-х годов вообще. Заглавие „Панургово стадо“ особенно характерно для автора. Мелочно и и злобно относится он к описываемой им жизни, он видит в ней

что-то стадное, нелепое, прыжки баранов в море за прыжком первого барана. Так что нет ничего удивительного, если несколько лет спустя Вс. Крестовский явился во главе „Варшавского дневника“, принявшего при нем официально-обрусительный характер.

Б. Маркевич (1822—1884 г.). В произведениях Маркевича и Орловского катковская программа и дворянская идея торжествуют, отличаясь то наивным, то грубым, то озлобленным характером. Из произведений Маркевича особенно читались: „Четверть века назад“, „Перелом“ и „Бездна“. Действие их происходит в великосветском кругу, который для Маркевича являлся воплощением всякого совершенства. Положительные герои—непременно титулованные—отличаются изяществом вкуса и манер, а также заботами о благе России. Жизнь в конце-концов увенчивает их служебными лаврами и награждает любовью красивых, милых женщин. Отрицательные герои из разночинцев полны зависти, злобы, тщеславия; они грубы, невежественны и оказываются посрамленными. Ничего искреннего вих душе, кроме привязанности к рублю и самой низкой трусости.

К школе Маркевича принадлежат В. Г. Авсеенко и Орловский (К. Головин). Но, во-первых, они оба гораздо талантливее, а во-вторых, искреннее. Маркевич знал только два цвета—белый и черный, при чем белым в его глазах являлось все титулованное, важно-чиновное, родовитое, а черным все разночинное. Авсеенко и Орловский разнообразнее. Они не щадят и высокопоставленных лиц, когда того требует художественная правда. Наибольшие свои надежды в деле исцеления русской жизни оба они возлагают, повидимому, на среднее дворянство, которое должно понять, в конце концов, что его спасение в земле, в работе над землею, в заботе о ней и о благосостоянии крестьян. Эти последние должны восстановить нравственный престиж дворянства в глазах народа.

Как видит читатель, наша консервативно-реакционная литература очень мила и слаба. Только одно действительно крупное и влиятельное имя может она выставить из своих рядов—это имя М. Н. Каткова. Но я уже говорил выше, что это крупное имя,

но не крупный человек, не крупный характер,—а лишь, если можно так выразиться, проницательный следователь по особо важным делам. Но все же его идеи по своей определенности и прямолинейности, по элементарности своего содержания могли служить и действительно служили пищей для многих, так или иначе рассорившихся с движением 60-ых годов. Но все же это характерно—один Катков, только Катков, как литературный представитель официальной народности, защитник ее основ—властный, требовательный и непреклонный. Катков и никого больше, или ряд второстепенных и третьестепенных беллетристов и публицистов, кормившихся крохами с его стола. Вот наш консерватизм без юродства, мистики, консерватизм, как политическая доктрина. Юродствующий консерватизм имел и имеет других представителей, напр., Аскоченского, князя Мещерского, Грингмута и т. д. Но с ним не считались никогда и теперь не считаются. Над ним подсмеиваются в собственном лагере. Это не Катков. Тот знал, чего хотел, изо дня в день в течение 25-ти лет он бил в ту же точку, стараясь ввести человека и общество в рамку полицейской благонадежности, злобно набрасываясь на всякое проявление общественной самостоятельности и самодеятельности Но он, повторяю, один, один как некий столп среди пустыни. Есть ли у наших консерваторов и реакционеров идеи? убеждения? талантливо ли они пишут? Знают ли чего хотят? Что защищают? Есть ли у них идеал? на все один ответ—да, Михаил Никифорович Катков.

Толстой и Достоевский.

Эти двое, самые, быть может, крупные и глубокие из всех русских писателей, конечно, ни в какое десятилетие не войдут. Своими вопросами об отношении человека к богу, о смысле жизни, о конечной цели наших стремлений они создали своеобразное течение русской мысли, которому было бы трудно подыскать другое название, кроме религиозного. Но пережитое нами в 60-ые и 70-ые годы все же особенно резко отразилось на их духовной физиономии. Реформы 60-х годов, упразднившие патриархально-государственный строй и патриархальные уклады жизни, выдвинули в первую голову вопрос о *личности*. Личный разум,

личная воля, личная вера и личное неверие стали фактом, с которым пришлось считаться. В произведениях Толстого и Достоевского личность, отделенное человеческое „я“, стремится вырешить все вопросы, связанные с ее бытием, как отдельной и самостоятельной, вне государства, церкви и преданий стоящей сущности. И как это характерно и естественно даже для нас, русских людей, с нашей глубоко практичной и этической наклонностью ума, личность Толстого и Достоевского все свои искания и вопросы сосредоточила на одном: „что и во имя чего надо делать?“

Л. Н. Толстой (род. 1828 г.). Большая часть художественных произведений Толстого—это гениальная летопись жизни нашего старого родовитого барства — его Илиада и Одиссея. Если Тургенев—поэт лишних людей, красивых и талантливых, но ненужных представителей дворянской среды, то Толстой—поэт людей сильных и крепких, которыми держалась дворянская жизнь. Он страстно любит эту жизнь, близкую к природе и народу—любит в ее хозяйственной работе и ее отдыхе, ее развлечениях и забавах, ее горестях, в ее щедрости и ее домостроительстве. В таких типах, как Николай Ростов или его сестра Наташа, он воплотил все устойчивое и положительное, что было создано тою обстановкой и чем она держалась „твердо и нерушимо“. Но уже в Андрее Болконском и Безухове он заметил необходимые элементы ее разложения.

Рядом с барской была жизнь народная. Сам вышедший из родовитой среды, Толстой почти всю жизнь промучился над противоречием между барином и мужиком, особенно после того, как ему пришлось побывать на севастопольских бастионах. Тут он научился уважать „простых“ людей, великих в своем смиренном и молчаливом героизме. Он понял, что чем-то он обязан перед ними, и вскоре, в начале 60-х годов, находясь еще весь во власти теории совершенствования, он принялся учить крестьянских детей в своей яснополянской школе. Но это учение быстро приелось ему, как барская затея, и он занялся своими хозяйственными и интеллигентными делами. Только все же ни литературой, ни домашним счастьем, ни великой славой, ни полным успехом во всех делах не мог он вытравить из души своей какого-то

стыда, какой-то совестливости за свое привилегированное положение. И вот настала минута, когда этот стыд и совестливость всецело овладели его душой, когда он стал мечтать о самоубийстве, о раздаче имения, когда он захотел стать мужиком, как все мужики вокруг него, когда он отрекся от своего художества и предал анафеме науку и искусство.

В этой личной драме Толстого—все мотивы, пережитые нашей интеллигенцией в отношении к народу. Сначала спокойное пользование дарами судьбы и чужим трудом крепостных, потом уважение к этой „округлой", гармонической жизни мужика и его смиренному героизму, какое-то смутное понимание, что тревоги интеллигентного сердца могут прекратиться, лишь когда оно проникнется стихийным миросозерцанием народа, потом желание 60-х годов „учить" мужика, до себя поднять его и, наконец, упреки совести за свое привилегированное положение и стремление учиться у народа правде его трудовой жизни.

Барин и мужик—вот основное противоречие. Как и в чем примирить его? Толстой всю жизнь искал этого примирения и не нашел, потому что примирить—значит в этом случае разрешить все сомнения нашей прошлой истории. Толстой был то барином-мужиком, то мужиком-барином и лишь в редкие минуты одним чем нибудь. Стихийно влекла его к себе барская жизнь, в обстановке которой целые века жили его предки, стихийно влекла его к себе и мужицкая жизнь, чья красота постоянно „металась" ему в глаза, чьей правды он не мог не признать. И он стал на распутьи, не разрешив ни одного из своих сомнений, но собрав в своей личной жизни все искания русского прошлого — искания осмысленного и правдивого „бытия". Он — великий мечтатель, каждый новый день увлекающийся новым идеалом во имя голоса своей непримиримой совести и неудовлетворенного представления о правде личной жизни и общественных отношений.

Проследить отношение Толстого к мужику значит проследить всю историю его духовного развития. Это потребовало бы целого трактата. Ограничусь лишь кое-чем, что мне представляется существенным. Несомненно, что мужицкая жизнь, ее потребности и устои были в течение очень и очень долгого времени тем крите-

риумом, с каким Толстой относился к нашей науке, нашему искусству, нашей культуре вообще, заставляя его метать на них громы и молнии. Несомненно, затем, что основные посылки нашего народничества и народолюбия Толстой со свойственной ему прямолинейностью довел до их последних, логических выводов. Он говорил: если интеллигентная жизнь лжива в самой сущности своей, если мужицкая жизнь имеет свое незапятнанное святая святых, если труд крестьянина, ограниченность его потребностей действительно обеспечивают не только спокойствие, но и чистоту, святость совести—то *надо* опроститься, надо стать мужиком. В этой формуле нашла истинное свое решение великая драма, великое столкновение между барином и мужиком, более полустолетия разыгрывавшаяся в нашей духовной жизни. Эта формула Толстого явилась в дни тяжелого, сумрачного разочарования в успешности наших интеллигентных усилий. Люди шли на сеть идеала опрощения; умственная работа была признана не только бесполезной, но и вредной. Работа головой представлялась в образе умственного человека, считающего лбом и затылком ступени при падении с лестницы. Все „плоды просвещения“ сводились к ученому педантизму, к полной нравственной распущенности, к увлечению всякой модной глупостью, каким-нибудь новым „измом“, хотя бы то был спиритизм.

Присмотримся поближе к тому, как Толстой критиковал культуру с мужицкой, или казавшейся ему мужицкой, точки зрения.

В знаменитой пьесе Толстого „Плоды просвещения“ горничная Таня, простая деревенская девушка, играет в отношении учености совершенно такую же роль, какую сыграл 100 лет тому назад Фигаро в отношении напыщенного и самодовольного дворянства. В ее лице здоровый смысл и неиспорченная примитивная натура побеждают „просвещение“, и то, бедное, посрамленное и оплеванное, уходит со сцены. В конце концов, Толстой предложил нам совершенно отказаться от культуры. Культура и разврат стали для него синонимами, все равно в чем бы ни выражалась эта культура — в спиритизме, нравственной распущенности или музыке Бетховена. Заставляя нас забывать о человеке, забывать о своих естественных потребностях— работы, здоровья, общения с людьми, нравственного совершенствования — она создает лишь потребности искусственные, потребности раздраженных и пресы-

щенных нервов, которые все равно, как нервы морфиномана или алкоголика, действительно насытиться и успокоиться не могут никогда.

Что дает нам наука? Отвечая на тысячи и тысячи мелких вопросов, удовлетворяя нашу пустую любознательность, она заставляет нас забывать о тех вечных вопросах, которые наиболее дороги для человека. Говоря о химическом составе звезд небесных, она не говорит ни слова о смысле жизни; возбуждая пустое любопытство людей и поддерживая интерес к себе своими будто бы важными и важнейшими открытиями, она закрывает на самом деле роковую и страшную, одинаково роковую и страшную для всех больших и малых, слабых и сильных, богатых и бедных загадку жизни и смерти. Но даже не в этом ее первое зло. Первое ее зло точно так же, как и первое зло искусства, заключается в том, что она служит лишь интересам богатых и сильных и, подчиняя себе природу, отдает ее во власть этим богатым и сильным людям, обеспечивая их праздность...

Впрочем, на взглядах Толстого, высказанных им в статье „Что такое искусство", надо остановиться подробнее. Превосходно излагает их, между прочим, г. Шестов:

„Толстой рассказывает о том, как ему однажды пришлось присутствовать на репетиции плохой оперы. По этому поводу он делает расчеты, сколько должна была стоить эта нелепая затея. Оказывается, что очень дорого. Затем он сообщает, что капельмейстер грубо бранил хористов и статистов, что хористки были неприлично обнажены, а танцовщицы делали сладострастные движения. Огромные расходы на постановку дурных произведений искусства и безобразное отношение старших к младшим, бесправным сотрудникам по общему делу возводятся гр. Толстым в правило и пред'являются к искусству вообще, как первый тяжелый и серьезный обвинительный пункт. Что могут ответить на это составители драм и симфоний? „Хорошо было бы, если бы художники все свое дело делали сами, а то им всем нужна помощь рабочих не только для производства искусства, но и для их большей частью роскошного существования, и так или иначе, они получают ее или в виде платы от богатых людей, или в виде субсидий от правительства, которые миллионами даются им на театры, консерватории, академии. Деньги же эти собираются с народа, который никогда не пользуется теми эстетическими наслаждениями, которые дает искусство". В этом исходная точка зрения Толстого; искусство стоит огромных денег, деньги собираются с народа, народ же благами, приносимыми искусством, не пользуется. Сверх того, под видом искусства, нам преподносят множество всяких глупостей и гадостей, подобных той опере, на репетиции которой присутствовал гр. Толстой, во имя искусства одни люди оскорбляют человеческое достоинство других. Воз-

никает вопрос: действительно ли искусство такое важное дело, чтобы из-за него приносить подобные жертвы? Не лучше ли совсем отказаться от искусства, а затрачиваемые на него силы и средства употребить на что-нибудь другое, хотя бы на народное образование, о котором так мало заботятся? Так поставлен вопрос гр. Толстым.

„Едва ли кто-нибудь из его читателей не угадал в самом начале книжки ответа. Народ так дорого расплачивается за искусство и не пользуется им Разве может быть сомнение в том, что такое положение вещей грубо, возмутительно, несправедливо? Богатые люди, у которых все есть, идут к бедным и отнимают у них необходимые не только на образование, но и на пропитание средства, чтобы устраивать театры, концерты, выставки. Разве во время голода в больших городах прекратились спектакли, разве богатые отказались от эстетических наслаждений, чтобы помочь несчастным ближним? В справедливости такого вопроса, повидимому, не может быть сомнения“. ..

И его нет,—говорит Толстой. — Истинная наука и истинное искусство,—учит он дальше,—должны преследовать только религиозные цели. Современная наука и современное искусство преследуют цели ничтожные и похотливые.

Толстой заканчивает превосходным афоризмом:

„Искусство—это то средство, которым люди передают чувства друг другу; искусство законно только при том условии, если оно передает чувства, полезные цели общества, какой является взаимная любовь людей, иначе говоря, если оно переводит религиозные понятия из области разума в область чувства при том предположении, что религиозные понятия означают человеческое братство“.

Вот истины, которым, между прочим, мужик научил Толстого:

1) *Основная идея жизни—идея религиозная.*

„Как ни храбрись, — говорит Толстой,—привилегированная наука с философией, уверяя, что она решительница и руководительница умов, она не руководительница, а слуга. Миросозерцание всегда дано ей религией готовое, и наука только работает на пути, указанном ей религией. Религия открывает смысл жизни людей, а наука прилагает этот смысл к различным сторонам жизни“.

Ту же самую мысль он повторяет постоянно. Напр.:

„Философия, наука, общественное мнение говорят: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь человека зависит не от одного света разума, которым он может осветить самую эту жизнь, а от общих законов, и потому не надо освещать эту жизнь разумом и жить согласно ему, а надо жить как живется твердо веруя, что по законам прогресса, исторического, социологического и других, после того, как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь сделается сама собой очень хорошей...“

Такие нападки на науку и презрительный тон по адресу законов „исторических“, „социологических“ и других не должны

удивлять нас. Наука никогда ничего не могла дать Толстому, потому что искал он в ней успокоения своей привилегированной совести.

1) *Религиозная идея практична*, т. е. ведет человека не к созерцанию, а к деятельности, поступкам. Она дает человеку правила жизни и прежде всего выводит его из заколдованного круга личного эгоизма.

Можно ли удовлетвориться личной своей жизнью? Граф Толстой решительно это отрицает.

„Все те бесчисленные дела, которые мы делаем для себя, в будущем не нужны; все это обман, которым мы сами обманываем себя. Притчей о виноградарях Христос раз'ясняет этот источник заблуждения людей... заставляющего их принимать призрак жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя в хозяйском обработанном саду, вообразили, что они собственники этого сада. И из этого ложного представления вытекает ряд безумных и жестоких поступков, кончающихся их изгнанием, исключением из жизни; точно так же мы вообразили себе, что жизнь каждого из нас есть наша личная собственность, что мы имеем право на нее и можем пользоваться ею как хотим, ни перед кем не имея никаких обязательств. По учению Христа люди должны „понимать и чувствовать", что со дня рождения и до смерти они всегда в неоплатном долгу перед кем-то, перед жившими до них и перед живущими и имеющими жить, и перед тем, что было и есть и будет началом всего".

Несколькими строками ниже Толстой говорит понятнее: „жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу жизни современной и благу жизни будущей".

Толстой вообще не устает называть личную жизнь призраком—призрачной, откуда совершенно естественно вытекает вывод, что истинная жизнь может быть основана лишь на отречении от себя для служения людям.

3) *Современное учение мира противоречит учению Христа.* Толстой постоянно возвращается к этой мысли и, надо согласиться, в этом сила его учения.

Он шел как-то по Москве и увидел сторожа, грубо отгонявшего нищего от ворот, где нищим стоять было воспрещено. „Евангелие читал?—спросил сторожа Толстой. „Читал".—А читал: „и кто накормит голодного?..." Я указал ему это место. Он знал его, выслушал. И я видел, что он смущен. Ему, видно, больно было чувствовать, что он, отлично исполняя свою обязанность, гоняя народ оттуда, откуда велено гонять, вдруг оказался неправ,

Он был смущен и, видимо, искал отговорки. Вдруг в умных черных глазах его блеснул свет; он повернулся ко мне боком, как бы уходя. „А наш устав читал?“ — спросил он. Я сказал, что не читал. „Так и не говори“,—сказал сторож, тряхнув победоносно головой, и, запахнув тулуп, молодецки пошел к своему месту. Это был единственный человек во всей моей жизни, строго логически разрешивший тот вечный вопрос, который при нашем общественном строе стоял передо мною и стоит перед каждым, называющим себя христианином.

Учение Христа построено на любви и братстве, наша жизнь на силе. Сильный преобладает над слабым, ученый над глупым, богатый над бедным, талантливый над бесталанным.

Что же делать? Прежде всего *одуматься* и спросить себя: приносит ли мне счастье та самая жизнь, на которую я трачу все свои силы? Двух ответов на этот вопрос, по словам Толстого, быть не может. Мы живем по учению мира, думаем о накоплении богатств, о превосходстве над другими, о галантном воспитании детей своих, хлопочем, беспокоимся, мучаемся и все это из-за чего? Из-за таких пустых вещей, как чтобы жить как люди или чтобы не жить хуже других людей. Толстой одумался и пришел к тому выводу, что: „в своей, исключительно в мирском смысле, счастливой жизни я наберу страданий, понесенных мною во имя учения мира, столько, что их стало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь,—все это есть мученичество во имя учения мира. Да, я говорю про свою, еще исключительно счастливую в мирском смысле, жизнь. Мы не видим всей трудности и опасности исполнения учения мира только потому, что мы считаем, что все, что мы переносим для него, необходимо“.

„Пройдите по большой толпе людей, особенно городских, и вглядитесь в эти истомленные тревожные лица, и потом вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вам удалось узнать; вспомните все те насильственные смерти, все те самоубийства, о которых вам довелось слышать, и спросите: во имя чего все эти страдания, отчаяние и горе, приводящие к самоубийствам?“

Ответ Толстого прост: мы—мученики учения мира. Оно, противоположное учению Христа, ведет нас к братоубийственной

борьбе, злобе, ненависти, ожесточенному одиночеству. Оно заставляет нас желать гибели ближнего и опускает руку, протянутую на помощь ему. Оно ставит для нашей деятельности ненужные и пустые цели, преследуе которыя, мы совершенно забываем об истинном смысле жизни. И это забвение не проходит даром: мы расплачиваемся за него преступлениями, самоубийствами, тяжелым и постоянным чувством недовольства и неудовлетворенности. Гоняясь за призраками мирских идеалов, мы ощущаем лишь пустоту и утомление. В нашей жизни нет *счастливых* людей. „Поищите,—говорит Толстой,—между этими людьми и найдите от бедняка до богача человека, которому бы хватало то, что он зарабатывает, на то, что он считает нужным, необходимым по учению мира, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется изо всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него, но что требуется от него учением мира и отсутствие чего он считает для себя несчастием. И как только он приобретет то, что требуется от него, потребуется еще другое и еще другое, и так без конца идет эта сизифова работа, губящая жизни людей“.

Итак, виновато „учение мира“, и виновато прежде всего потому, что никогда, ни при каких усилиях не обеспечивает человеку счастья. Преступления и самоубийства, разрывные бомбы и казни, чума и неурожаи, бунты и драки—вот, повидимому, тот материал, которым наполняется наше ежедневное существование. Изредка выступает на сцену какой-нибудь „отрадный факт“, такой микроскопический, что сравнительно с окружающим его злом он представляется камешком, катящимся по крутизне Казбека, и робким блеском фонаря перед темнотой пропасти, куда не достигают даже лучи солнца. Где же тут говорить о счастье?

4) В ответ на вопрос, что же делать? как остаться чистым среди жизненной грязи, как быть нравственным среди безнравственных, правдивым среди лжи, христианином среди торжествующего учения мира, как добиться гармонии между словом и делом, убеждениями и жизнью—Толстой выставляет перед нами идеал мужицкой трудовой жизни.

„На вопрос, что нужно делать? — пишет гр. Толстой, — явился самый несомненный ответ: прежде всего, что мне самому нужно — мой самовар, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я сам могу сделать... На вопрос, нужно ли орга-

низовать этот физический труд, устроить сообщество в деревне на земле,— оказалось, что все это не нужно, ибо человек, трудящийся сам собой, естественно, примыкает к существующему сообществу людей трудящихся. На вопрос о том, не поглотит ли этот труд всего моего времени и не лишит ли меня возможности той умственной деятельности, которую я люблю, к которой привык и которую в минуты самомнения считаю небесполезною другим, ответ получился самый неожиданный. Энергия умственной деятельности усилилась и равномерно усиливалась, освобождаясь от всего излишнего, по мере напряжения телесного. Оказалось, что, отдав на физический труд восемь часов,—ту половину дня, которую я прежде проводил в тяжелых усилиях борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часов".

Истинное, к чему нужно стремиться,—это солидарность со всеми, всем миром и человечеством в своей работе, это жизнь только на счет своего труда без малейшей тени эксплоатации других, это полное *неучастие* во всех тех отравлениях жизни, которые так или иначе связаны с насилием над ближним и эксплоатацией его. В том, что совесть Толстого ни с чем подобным не мирится, главный источник его идеализма. Он действительно идеалист, но идеалист земли, для которого вопрос о человеческом счастье—первый вопрос. Поэтому он так, повторяю, практичен.

Источников идеализма Толстого два:

1) религиозность,

2) неудовлетворенная совесть.

Из всего того, что написал Вогюэ о Толстом,—а он написал очень много умного, — мне больше всего нравится одно, блестяще развитое французским критиком: „За всем, что изображено Толстым,—говорит Вогюэ,—чувствуется присутствие чего-то огромного, страшного, таинственного"... Это присутствие чего-то огромного, страшного, таинственного поражает французского критика, но оно не должно поражать нас, русских читателей потому что Толстого мы узнали после Гоголя, Достоевского и—хотелось бы прибавить—Лермонтова. Это что-то огромное, страшное, таинственное есть загадка человеческой жизни, вопрос об ее смысле.

Позволю себе привести из „Войны и Мира" страницу, которую справедливо считают характернейшей для понимания Толстого. Вот эта страница:

„Только выпив бутылку или две вина, Пьер смутно сознавал, что тот запутанный, страшный узел жизни, который ужасал его

прежде, не так страшен, как ему казалось. С шумом в голове болтая, слушая разговоры или читая после обеда и ужина, он беспрестанно видел этот узел какою-нибудь стороной его. Но только под влиянием вина он говорил себе: „Это ничего. Это я распутаю—вот у меня и готово об'яснение. Но теперь некогда,—я после обдумаю все это". Но это после никогда не наступало.

„Натощак, поутру, все прежние вопросы представлялись столь же неразрешимыми и страшными, и Пьер торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто-нибудь приходил к нему.

„Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами, старательно изыскивают себе занятие, для того, чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: „кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. Нет ни ничтожного, ни важного—все равно: только бы спастись от нее, как умею,—думал Пьер.—Только бы не видеть ее, эту страшную ее".

„Только бы не видеть ее". Да разве драма жизни Толстого не в этом восклицании? Разве не приходилось ему десятки, сотни раз завидовать людям, у которых на все готовые формулы, на все готовые меню—на обед и ужин, на любовь и брак, на радость и горе, на ум и глупость?.. Всю долгую жизнь смотрела на Толстого смерть своими страшными глазами, всю долгую жизнь видел он перед собой таинственную пропасть вечности. Он сказал недавно об Амиэле вот что:

„В продолжение всех 30-ти лет своего дневника он чувствует то, что мы все так старательно забываем,—то, что мы все приговорены к смерти, и казнь наша только отсрочена. И от этого-то так искренна, серьезна и полезна эта книга".

Да, страх смерти, страх перед той страной, откуда никто не возвращался—такова красная нить жизни Толстого. Он искал забвения в карточной игре, в кутежах, в поцелуях любимой женщины, в низведении человеческой личности, а значит и себя самого, к дифференциалу, т.-е. бесконечно малой величине истории, в религиозном и нравственном резонерстве и... что же он нашел?.. Спокойствие духа... Из-за этого не стоило хлопотать

так долго, не стоило так много страдать... Противопоставьте все то, что говорил Толстой о знаменитых упряжках, общем благе, общем счастье и пр., раскрытой могиле, где скроются и упряжки, и физический труд, и семейное счастье, и общее счастье—и вы получите тот самый нуль, с которого начал гр. Толстой.

Но это искание и есть источник идеализма Толстого. Ему, как живому человеку, нужен бог, во имя которого можно даже уничтожить себя. Он искал бога всю жизнь и нашел его, наконец, на Голгофе. Этот бог—любовь, самоотречение.

Чтобы тебя не было—вот единственный путь человеческого счастья. Возьми семью и уйди в ее жизнь. Так сделал Левин. Возьми народ и уйди в его жизнь. Так сделал сам Толстой. Возьми любовь и претвори в ней свой эгоизм—так сделал опять-таки сам Толстой. Только чтобы тебя не было, не было бы твоей требовательной, себялюбивой личности, иначе—страх смерти, невозможность примириться со смертью...

Как и Достоевскому, религиозная проблема всегда представлялась Толстому наиважнейшей. Как он сам, так и все его герои заняты прежде всего исканием Бога. Андрей Болконский и Безухий в „Войне и Мире“, Левин в „Анне Карениной“,—десятки других лиц, несмотря на всю внешнюю счастливую обстановку, постоянно ощущают какую-то неудовлетворенность, отравляющую им лучшие минуты. Оттого-то Толстой, несмотря на свою огромную художественную память, никогда не мог унизиться до протокола... Наделяя главных своих действующих лиц муками неверующей души, ставя их то и дело с глазу на глаз с загадкой жизни, Толстой этим самым то и дело задает себе и решает нравственно-религиозные вопросы.

В ответах, которые он дает, можно заметить всегда одну характерную особенность. Толстой практичен. Его тянет к работе, к деятельности. Из религии он, прежде всего, извлекает ее действенный элемент. Вопрос о смысле жизни то и дело подменяется у него вопросом: „что же мне делать?..“

Вопрос о смысле жизни, как о своей нравственной удовлетворенности, всю жизнь тревожил Толстого. Ни этого смысла, ни этой удовлетворенности не мог он найти в фактах нашей мате-

риальной культуры, основанной на порабощении человека человеком.

Толстой—этот огромный, стихийный разум — лишь зло промолчит на изложение культурных начатков. Все то, что он знает о современной культурной жизни, все, что он *может* знать о ней, вызывает в нем одно могучее, дивное по своей непримиримости:

„—Это не то... Это вы оставьте...“

Толстой в ссоре с нашей культурой, потому что она всей своей тяжестью и своими приличиями, и своими жестокостями лежит на его *совести*. Об'ективной критики культуры он не давал никогда, даже разбирая вопрос о роли и значении денег. Он и не нуждается в этой критике; для него совершенно достаточно знать и чувствовать, что он сам недоволен, что он не знает покоя. Все его усилия как теперь, так и раньше были направлены к тому, чтобы достигнуть душевного равновесия, и во имя этого равновесия создавалась теория за теориею, одна грандиознее, одна смелее другой. Что эта работа великого духа еще не закончена—я полагаю, знает всякий; что, быть может, она и совсем не закончится—это тоже вероятно, потому что не в своем личном грехе ищет утешения и искупления Толстой, а в грехе всей прошлой культуры, всей прежней истории. Он—кающийся дворянин в самом чистом и высоком его выражении, и насколько вообще психология кающегося дворянина, сознавшего неправоту своего привилегированного положения, привлекает его внимание и какие мучительные задачи ставит она перед ним, вы видите столько же из „Исповеди“, сколько и из последнего романа „Воскресение“ — этой величавой эпопеи пробудившейся совести. Но „Воскресение“ — это конец. С самого начала своей деятельности Толстой поставил себе вопрос о причинах зла и страданий культурной жизни и так или иначе старался ответить на него. Ответы получались иногда неожиданно жестокие: они были как бы оправданием зла, как бы признанием его необходимости, и это мы видим, заглянув в „Войну и Мир“ или „Анну Каренину“.

Но вот во время московской переписи Толстой столкнулся с босяками и нищими ночлежных домов. Совесть заговорила громко и властно, и опять пришлось пересмотреть все свои взгляды на доброе и злое в жизни. Вот до чего доходило дело:

„И прежде,—пишет Толстой в „Мыслях“, вызванных переписью в Москве,—чуждая мне и странная городская жизнь, теперь опротивела мне так, что все радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. *И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний.* Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей ляпинского дома“.

Для меня, по крайней мере, несомненно, что, несмотря на свои 50 слишком лет и уже всемирную славу, автор „Войны и Мира“ и „Анны Карениной“ увидел для себя нечто новое. Мне кажется, что это-то и есть одна из особенностей барской психики, красной нитью проходящая, между прочим, в истории перерождения князя Нехлюдова (героя „Воскресения“)—что там, в этой чуждой для нас обстановке, мерка героизма и необычайного—какая-то совершенно другая. Надеть на себя полушубок и в нем пройтись по московским улицам—это героизм; не сделать визита и вообще не делать визитов — тоже героизм; заняться физическим трудом — подвиг, увидеть старуху, которая два дня ничего не ела потому, что „прежде была распутная, а теперь никто не берет, и взять неоткуда“ – значит увидеть нечто необычайное и т. д. Оттого-то, вероятно, психология кающегося дворянина всегда до такой степени экспансивная, потому что, на самом деле, стоит ему лишь немного уклониться от условностей и обычаев своего круга, вынуть хоть один камень из тщательно возведенного здания привычной жизни, как вся его жизнь превращается в ряд для него воистину героических деяний: сегодня он не принял душа, завтра поел в сухомятку, потом не спал всю ночь, потом переменил белье не три, а два раза в сутки, потом, как тот же князь Нехлюдов, выдержал борьбу с насекомыми,—и что удивительного, если в душу его, в конце-концов, западает мысль, что он герой, что его подвиги самопожертвования идут рука об руку с самолюбованием, от которого он не может отделаться, как бы ни хотел того?

В ляпинском доме Толстой увидел нечто для себя действительно новое и необычайное. Впечатление было огромное, потрясающее, потому что о существовании чего-нибудь подобного Толстой раньше и не подозревал. В Севастопольскую кампанию он видел,

конечно, страдания и лишения еще, пожалуй, большие, но там они являлись в ореоле героических поступков; видел он и хроническое недоедание в деревне, но в нашей деревне умеют голодать с достоинством, по крайней мере, с кротостью. Здесь же—в ляпинском доме, — медленное, тоскливое умирание, разврат и грязь, ожесточенные проклятия, люди, доведенные до образа и подобия зверей. Тем мучительнее встал перед Толстым вопрос о привилегиях его собственной жизни. „Я, сам не замечая того, — рассказывает он,—со слезами в голосе кричал и махал на своего приятеля. Я кричал: „*так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!*“ Но потом все ему стали говорить, что он волнуется так не потому, что виденное им зрелище—ужасно, а лишь потому, что „сам он очень добрый и хороший человек“. И эти разговоры убедили его: „Я охотно поверил этому. И не успел оглянуться, как вместо чувства упрека и раскаяния, которое я испытывал сначала, во мне было *чувство довольства своею добродетелью и желание высказать ее людям*“.

Сейчас же после переписки он занялся благотворительностью. Это успокаивало совесть, это подтверждало его мысль о себе, что он очень „хороший и добрый человек“, это доставляло ему много приятных минут. Когда он голодающей старухе, бывшей проститутке, дал рубль, то, говорит он: „Я помню, что очень был рад, что *другие видели это*“...

В Толстом есть откровенность и наивность гения, но гения, выросшего в экзотическом, барском кругу и в течение всей своей жизни часто мучительно, часто бесплодно, но всегда с порывом огромной искренности старающегося освободиться от внушенных обстановкой впечатлений детства, отрочества, юности и дальше того—зрелых лет. Это борьба титана с путами, борьба жестокая и упорная, но я и теперь еще не берусь сказать, кто победил—дух ли, рвущийся к полной свободе и независимости, или эти внушенные впечатления, эти пережитки вековых условностей, эта экзотическая психология, принимающая простую одежду и появление в гостях без галстуха за какой-то героизм, а голую, неприкрытую ничем, кроме босяцкого цинизма, нищету за что-то необычайное.

Но, как бы то ни было, Толстой старался утихомирить свою взволнованную совесть благотворительностью. Скоро, однако, он

убедился, что помочь бедным нельзя, и что даже *не надо* им помогать. Конец этой истории известен: Толстой бросил московских бедных, потому что, как он подробно об'ясняет, им нельзя было помочь. Он кой-кому из них давал деньги—и раз, и два, и три раза, и давал столько, сколько по их собственным расчетам нужно было, чтобы стать на ноги, — но все это ни к чему не повело. Ни одного из них Толстому не удалось спасти. Тогда он уехал в свою деревню, чтоб на досуге разобраться в своих впечатлениях и найти выход из тяжелого положения. А положение было действительно ужасное. Слова, которыми определял Толстой свое настроение: „так нельзя жить", показывают нам, — если его рассказы о московской бедноте и не произвели на нас должного впечатления, — как он сам отнесся к обнажившимся перед ним язвам столичной жизни. И точно, как может такой человек, как Толстой, жить, если на ряду с ним существуют обитатели ночлежных домов? Хорошо тем, которые никогда не открывали глаз на эти ужасы. Но как быть тому, кто их видел, кто их не может забыть, не хочет, не должен забыть? Можно ли их забыть?

Убедившись (слишком, впрочем, скоро) в бесполезности и ненужности филантропии, Толстой решил начать с самого себя и в своей жизни упразднить все потребности и ту обстановку, и те условия, которые, как нечто общественное и практикуемое тысячами привилегированных людей, создают босячество и пролетариат. Бедняки и пропойцы ночлежных домов внушили Толстому мысль, что для излечения зла жизни надо, прежде всего, излечить самого себя, что внешняя неправда неизбежна при существовании неправды внутренней, что, в конце концов, надо начинать с самих себя, без чего тщетны и ничтожны будут все попытки общественного переустройства и если поведут к чему, то разве к созданию нового рабства взамен нынешнего. Вполне естественно и даже неизбежно для Толстого, как кающегося дворянина, как человека с юности носившего в себе сознание трагического противоречия между барином и мужиком, привилегированным и непривилегированным, было обратиться к старику Акиму и в его жизни искать указаний.

Совесть великого писателя, возмущенная безобразиями и неправдой культуры нашла свое успокоение в подобии крестьянской жизни. С этой поры он не расстается с мыслью о долге перед

народом, о необходимости расплаты с ним и в каждом вопросе он старается встать на мужицкую, будто бы общинную, точку зрения. Критикуя современное искусство, Толстой говорит между прочим:

„Нынче ведь куда ни пойди—в книжный магазин, в посудный, ювелирный—везде искусство. И не какое-нибудь любительское искусство, а патентованное, с дипломами и золотыми медалями. Пойдите в театр—там опять искусство: какая-нибудь госпожа ноги выше головы задирает. И эта гадкая глупость не только не считается неприличным делом, а, напротив возводится в нечто первосортное и настолько важное для людей, что этому спорту отводится в газетах даже постоянное место, на ряду с величайшими мировыми событиями. Некоторые органы печати имеют еще для этого и постоянных ценителей, которые часто ночью, прямо из театра, едут в типографию и там немедленно, при грохоте машин, пишут свои впечатления, поспешая, дабы мир заутра мог уже знать, как именно вчера такая-то госпожа в таком-то театре ноги вверх задирала“.

Недовольство резкое, полное и есть верховный принцип этого недовольства:

„Да, мы едим, пьем, одеваемся и наслаждаемся. Мы рисуем, лепим, пишем, музицируем так, что „они“ нас не понимают. Для собственного развлечения мы пропагандируем какие-то „пакостные“ идеи и теории, мы даем простор своему извращенному и пресыщенному вкусу, восторгаемся „гнилым“ декадентством и „наглым“ ницшенианством, тогда как мужик хочет и требует, прежде всего, чтобы искусство возбуждало в нем *добрыя чувства*“. „С этой точки зрения,— замечает г. Шестов,—Толстой осуждает все современное искусство, начиная с собственных произведений и кончая Шекспиром, Данте, Гете, не говоря уже о менее видных и особенно более новых писателях, для осуждения которых он в своем кратком репертуаре добродетельнс-бранных слов не находит достаточно сильных выражений“.

Посещение ляпинского дома,—хотя, разумеется, этому посещению совсем нельзя приписывать роли последнего решающего момента,—показало Толстому весь ужас, весь цинизм жизни „без труда“. Страстно взялся он за труд, но не тот, который считался нужным и важным в его кружке и которым он занимался и раньше, а труд, наиболее соответствующий его ярко выраженному индивидуализму, целью которого было бы самоличное и полное удовлетворение всех своих потребностей. Он стал пахать и сеять, тачать сапоги и класть печи и, благодаря тому, что ему казалось, что он достиг идеала, т.-е. простоты мужицкого существования, и что самой жизнью своей он расплачивается за старый барский грех жуирования на чужой счет—на него нахлынула радостная волна

бодрого и смелого настроения. Мрачное и тоскливое „так жить нельзя!“ сменилось уверением, что через *15 лет* все зло и страдание жизни исчезнут.

Толстой увлекся сначала, так сказать, чисто внешним обиходом крестьянской жизни, но по мере того, как назначенный им для исцеления человечества пятнадцатилетний срок приходил к концу, а человечество продолжало пребывать в прежней грязи нищеты и унижения,—это увлечение крестьянской жизнью, стало принимать барски-мистический характер подвижничества во имя искупления грехов. К этому времени относятся его мечты о нищей жизни, о раздаче своего имущества ближним; здесь же зародилась его теория безбрачия и вегетарианства.

Мужик и мужицкая жизнь продолжали служить огненным столпом во время этого долгого и утомительного странствования по песчаной пустыне в поисках за живой водой веры и догмата, но это был уже мужик преобразованный—скорее раскольник, чем „мирный землепашец“, мужик, осмысливший свою жизнь, знающий, где и в чем ее правда и в то же время сохранивший во всей его целости крестьянский обиход, „Правда жизни в труде и братском единении“.

Толстой отказался от мысли, но не мог отказаться от проповеди, которая давала ему власть над людьми, потому что эта власть нужна ему, потому что самолюбие его безмерно. Даже почтительный Сергеенко делает положительно остроумное замечание, говоря: „Л. Н. Толстой в то же время обладает всеоб‘емлющей душой, жаждущей самосовершенствования. С одной стороны—*ненасытная жажда власти* над людьми, с другой — неодолимое рвение к внутренней чистоте и сладости смирения“ — что легко об‘ясняется встревоженным голосом „привилегированной совести“, неправдой привилегированной жизни вообще и неприятным сознанием своего бессилия отделаться от этих привилегий, так облегчающих и красящих человеческую жизнь...

К чему же привели искания Толстого правдивой и осмысленной жизни? Его ужас перед неправдами современной культуры, его отвращение к ее рабству, распущенности? К тому конечно, что совесть и рассудок являются и должны являться первыми и главными руководителями жизни, что совесть человека запрещает ему жить на счет труда ближнего, обращать этого ближнего в

раба,—а значит и участвовать в каком бы то ни было организованном или неорганизованном насилии над себе подобными. Совесть — верховный руководитель и если не в силах человека уничтожить зло, то в его силах удержаться от участия в практике зла или от содействия тем, кто это зло узаконяет и увековечивает.

Несмотря на приступы мрачного отчаяния, о которых сам Толстой подробно рассказал в „Исповеди“, такие приступы, когда он, счастливейший из смертных, прячет от себя шнурок, чтобы не повеситься, и не ходит на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни—в нем огромно и велико хотение жить, все равно, как огромен и велик страх перед смертью.

Вся его философия, все противоречия его философии, все измены вчерашнему во имя сегодняшнего нового и лучшего или такого, которое кажется лучшим, об'ясняются его жаждой духовного самосохранения. Человек могучей энергии, он не хочет и не может допустить отсутствия в себе цельного и гармонического миросозерцания, он хочет знать и понимать все. Его беспокоит печальная фигура Сони в „Войне и Мире“—и он жестоко, странным и наивным толкованием евангельского текста, оправдывает смерть ее духа и увядание ее жизни; он ведет на гибель Анну и Вронского потому, что в ту минути, когда он ведет их, ему для собственного спокойствия, блага и равновесия нужны обсолютные правила, торжество которых—самое важное и ценное, бесконечно более важное и ценное, чем личное счастье человека. Он напуган циничной гибелью обитателей ляпинского и рожновского домов, сначала „благотворит“ им, но потом, поняв, правильно или неправильно—безразлично, что эта циничная гибель явилась результатом пренебрежения к труду, страстно берется за этот самый труд, стараясь наполнить им весь свой день. Культура со всеми своими условностями, всей своей нищетой и развратом камнем ложится на его совесть, и он всеми силами старается отделаться от нее.

Это искание правды и смысла жизни, это страстное желание отделаться от привиллегий, чтобы стать просто человеком — действительно прекрасное и всемирно-историческое зрелище. Конечно, во всем этом много мечтательности, много чрезмерных забот о

собственной нравственной чистоте, даже чистоплотности, но когда говорят об этом, то забывают, что все указанные черты только частичка гиганта Толстого, а не весь он, что весь он и не понят еще нами, что мы поймем его не раньше, чем поймем всю нашу прошлую культуру, самым типичным, самым мощным, красивым и самонадеянным представителем которой он является.

На начатки Толстого важны и не его проповедь важна,—важна его суровая критика, полная искренности, важно то, что в Москве или Ясной Поляне живет человек, который, как все люди, может испытать обман и иллюзию, но не может примениться к ним, который все сам, то дерзко, то с несомненным страданием и мукой срывает мишуру нашего культурного бытия. Что бы там ни говорили, это во всяком случае „человек высокого роста, могучего сложения, по наружному виду дюжий и свыкшийся с деревенской жизнью. Не совсем правильные черты лица обличают ум необыкновенный“. Это, говоря высоким слогом, герой-богатырь и Микула Селянинович не только нашей литературы, но и нашей жизни, человек, не знающий, что такое *трусость мысли*...

„Воскресение“ Толстого лучше всего доказывает, как неутомимо работает его критическая мысль, как старается он вскрыть язвы нашей жизни, похоронить мертвецов и еще раз напомнить людям, что „суббота для человека, а не человек для субботы“, что „веселы растения, птицы и насекомые, и дети, но люди— большие, взрослые люди — не перестают обманывать и мучить друг друга“, что они считают, что „важно не это весеннее утро, не эта красота мира божия, данная для блага всех существ, красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что мы сами выдумали, чтобы властвовать над людьми...“

Толстой в своем романе перечисляет все те субботы, в жертву которым люди приносят живущее в их душе царство божие. Это субботы условностей, обычаев и приличий, жестокости и власти над другими, субботы формализма, рутины и правил, желания стать выше других и показать свое превосходство над ними. В этом смысл воистину гениального романа...

„Суббота для человека, а не человек для субботы“, — эта простая истина имеет универсальный, общеисторический смысл. Было всегда и есть теперь много ненужных суббот, которые стесняют и давят людей. Они, созданные когда-то жизнью, скоро перерастают ее и затем продолжают существовать независимо от

общественных нужд. Вместо того, чтобы служить человеку, человек начинает служить им. Это то, к чему мы привыкли, но что не нужно нам. Это то, что усложняет жизнь механически, лишая ее органической цельности. Это общественные предрассудки и установления в те исторические моменты, когда они отслужили свою службу обществу. Это мертвецы, которыми мы окружены и которые сами не живут и другим не дают жить. И именно против этих механических усложнений жизни протестовали лучшие люди в истории. То упрощение жизни, к которому они стремились, есть таким, образом не сокращение ее органического роста, а отрицание всевозможных условных, отживших институтов“.

Но Толстой не только протестует, он требует борьбы во имя жалости и сострадания, во имя человеческого достоинства и голоса правды, живущего в каждом из нас,—голоса, который не может заглушить ни грязь, ни унижения жизни. Он говорит нам: вот перед нами непохороненные мертвецы, вот призраки, пугающие вас, вот тени прошлого и его пережитки, ничего не дающие живой жизни и требующие лишь новых и новых жертв... Устыдитесь, воспряньте духом: борьба в сердце вашем возможна, необходима, легка и несет за собой радость.

Подведу итоги. Прежде всего для меня очевидно, что между Толстым-художником и Толстым-моралистом и проповедником существует непримиримое противоречие. Толстой-художник отрицает роль личности в истории, ее силу. Толстой-моралист строит свою проповедь на признании этой роли и силы. Для Толстого-художника человек, прежде всего, жертва, для Толстого-моралиста человек-герой.

Да, это так. И чтобы убедиться в этом, стоит только спросить себя: разве идея необходимости не составляла всегда той оси, вокруг которой творчество Толстого сделало свой полный оборот? Разве не это идея „Войны и Мира“, „Анны Карениной“ и даже „Крейцеровой сонаты“ или „Власти тьмы?“ Разве, читая эти дивные произведения, вы не убеждаетесь на каждой странице, что все случилось именно так, как должно было случиться, и что иначе оно и случиться не могло, что в жизни есть какая-то страшная, неотразимая логика, не видя, не понимая которой, люди живут иллюзиями страстей и своей, будто бы свободной, воли... Разве Соня могла добиться личного счастья, разве Анна могла не кончить самоубийством?

Прекрасно заметил один из наших критиков, имея в виду именно этот самонадеянный элемент проповеди Толстого:

„...Нужно удивляться, — говорил он, — как граф Толстой не понял этого в человеческой природе. И особенно странно это будет для всякого, кто, вчитываясь в художественные произведения его, наблюдал, как всюду, рисуя жизнь человеческую, он оттеняет *принудительность* всех движений человеческого сердца, его страстей и антипатий и, вытекающих отсюда, действий. Неопределенности, хаотичности, безбрежного произвола он мудро не нашел в жизни и не изобразил. Все движется у него свободно и однако *по определенным путям, от которых не уклонится.* Красота жизни, по этим путям движущейся и развивающейся, *только повидимому свободной*, но уже данной, заложенной в характерах всех действующих лиц,—это и составляет неисчерпаемый художественный и философский интерес его произведений.

„И вот, так мудро и так глубоко поняв жизнь, он непостижимым образом на самый источник ее—человека, в момент таких страшных для себя тревог и решений, вдруг посмотрел, как ребенок. Все непонятно в этом, и однако все это так. Сам изливший такое богатство идей, сам невольно и, быть может, иногда бессознательно бравший перо и писавший чудные страницы своих произведений, бог знает откуда и однако нетерпеливо выливавшиеся,—этот человек мог подумать и сказать, что другие люди, миллионы подобных ему существ, могут по произволу заставлять себя или тачать сапоги, или заниматься философией; что человек есть самодвижущаяся кукла, которая может определить себе: „пойду до этого“, или еще—„никогда не сверну направо“. Удивительное зрелище пророка, истинного пророка, который подумал бы, что вдохновенные речи говорит через него не бог, но обманщик-жрец, за ним сидящий.

„Как только произошла эта ошибка в главном,—еще в те старые тревожные дни, которые пережил в своей совести наш знаменитый писатель,—так тотчас все смешалось в хаос в его идеях и требованиях. Все стало ошибочно, и однако, уж непреодолимо, — раз отклонились в сторону при разрешении центрального вопроса его высокое сердце и благородный ум. Неизбежно стало отрицание всего, что, за отсутствием связи с какой-либо высшею целью, потеряло опору в себе. Все, что наросло на человеке в истории,—представилось ему,—наросло фатально и ненужно, без какого-либо определенного смысла и без прочного основания. Все это не выросло из человека, но придумано им, как забава для своего пустого ума или для заглохшего сердца. Только без цели все это давит людей, и они должны сбросить эту историческую тяжесть, чтобы стать перед природой так же легко, как стояли тысячелетия тому назад“. (*В. Рознаов*).

Это верно. „*Теперь* Толстой хочет *сразу* перешагнуть в царство любви и правды, он признал полную, абсолютную свободу человеческой воли, полную и безусловную возможность согласовать исторический ход развития с нашими желаниями и так же смело стал отрицать необходимость и закономерность нашей жизни“.

То же говорит и г. Шестов со своим обычным недоверием к Толстому:

„Несомненно, что не только Ницше, но и гр. Толстой с учениками разговаривает по школьному, делясь с ними только „выводами“ и утаивая от них ту неспокойную и тяжелую работу своей души, которая представляется ему исключительным уделом „учителя“. Оттого у него на первый план выдвигается чисто писаревская, т.-е. юношеская уверенность, что „стоит только захотеть людям“, и искусство для искусства будет заменено другим хорошим искусством. Гр. Толстой знает, что кроется под этим „стоит людям захотеть“. В этих словах говорит не писаревская молодая вера, а разочарование долго и упорно боровшегося старого человека, решившегося отказаться от неравной борьбы. Он эти слова не для себя придумал, а для учеников, для других, чтобы иметь возможность отвязаться от преследующих сомнений и перейти от ставшего невыносимо тяжелым дела—философии— к более легкому, простому и утешительному занятию—проповеди“.

Но имея в виду это противоречие можно согласиться, что как кажется в следующем:

1) Толстой, с моей точки зрения, является самым крупным и ярким выразителем всех лучших идеалистических сторон нашей прежней старо-барской культуры. В своих произведениях он подвел ей итоги, он дал ее отрицание, но не мог, конечно, освободиться от ее власти, потому что это власть веков и поколений. Он говорит не от себя, он говорит от всего прошлого, вернее сказать, его верхов—его высшего слоя, почему естественно, что

2) мотив совести является преобладающим в его книгах, его работах, всей его жизни. Его основная задача найти мир и спокойствие своей встревоженной совести. С самого начала эта задача встала перед ним во всей ее огромности. Он знал ее еще в дни юности, когда он увлекался Лермонтовым, когда вместе с ним, смотря на картины войны, он мог сказать:

Я думал: „жалкий человек!
Чего он хочет?.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он .. *Зачем?..*“

И это „зачем?“—вопрос неотвязный, вопрос на всю жизнь. Сначала на Кавказе или под Севастополем странно и дико было видеть среди этой грандиозной, могучей природы маленьких людей, мучающих себя, убивающих себя, интригующих, завидующих; и странной казалась смерть живого и страстно хотящего жить существа от крошечной пульки, у подножья сурового Казбека, под вековыми чинарами, шептавшими о чем-то вечном, таинственном; потом все более странной и дикой стала казаться вся человеческая жизнь с случайным и жестоко-несправедливым распределением счастья и страдания... Культура и культурное существование все более тяготили совесть;

3) у Толстого, как у кающегося дворянина, *между прочим*, как у человека, по праву своего рождения получившего огромные привилегии, совесть должна была говорить особенно властно и сильно. Я указывал выше, что мерка кающегося дворянина,—как слишком узкая, хотя и глубокая, исторически так превосходно покрывающая наших самобытных „радикалов“—далеко не покрывает собой сложной и огромной психологии Толстого, но и этого элемента не вычеркнешь из его души, и он сам дорожит им сам ценит его, что доказывается его любовным отношением хотя бы к пустопорожнему князю Нехлюдову. Толстой познал муки за свое привилегированное общественное положение: оно стесняло его, как сытость среди голодных, как слишком яркий и дорогой костюм среди оборванцев человечества, но совсем расстаться с ним он, конечно, не мог, хотя, как раньше, так и теперь, мысль о тех—

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Заниматься искусством, наукой,
Предаваться мечтам и страстям

—болезненно смущает его. Чтобы примирить свой внутренний мир, гармония которого постоянно нарушалась „жертвами культуры и цивилизации“, он стал

4) стремиться к простоте жизни. Конкретный образ этой простой, правдивой жизни был дан ему мужиком. Сначала он постарался приблизиться к нему с внешней стороны; стал пахать, косить и сеять, тачать сапоги, класть печи, но постепенно мужицкое миросозерцание все больше овладевало им. И он стал громить

культуру, науку и цивилизацию, стал ставить им строго утилитарные, практические цели, стал требовать от них немедленного исцеления язв человечества, проповеди добра и братского единения и, находя, что они в этом случае бессильны, отверг их. Главные пункты его обвинения сводятся к тому, что

5) культура, наука и искусство, служа интересу лишь сильных и богатых, только усложняют жизнь и находят это служение богатым и сильным настолько для себя приятным и выгодным, что еще больше угнетают и принижают массу, которая может подняться лишь с торжеством добра и братского единения. Между тем и добро, и братское единение совершенно забыты культурой, наукой и цивилизацией. Эти последние „три“ только *усложняют жизнь, господином которой каждый может быть лишь при ее безусловной простоте, при ее потребительно-хозяйственных и общинных укладах.* Каждый сам должен удовлетворять всем своим потребностям и иметь для этого достаточные средства. Идеалом является близость к природе и жизнь согласно ее указаниям, которые воистину прекрасны. В этом идеале наиболее ярко проявился титанической индивидуализм Толстого, как проявился он и

6) в его нравственной проповеди и, между прочем, в требовании непротивления злу, которое напрасно понимается, как голос смиренномудрия. Смиренномудрия у Толстого нет, есть

7) гордыня мысли, есть пугающая даже сила веры, в свою мысль и ее безусловную истинность. Эта сила веры, порожденная гением, бесконечными удачами, тем, что Толстой говорит не от себя, а от стихийной мудрости веков и поколений, от радостей и разочарований всей нашей старо-барской культуры,—вынесла испытания почти невероятные, но и теперь осталась такой же могучей, юной и смелой, какой была десятки лет тому назад. Сомнения безмерные, отчаяние глубокое, внушающее даже мысль о самоубийстве—все „образовалось“, и старый, великий человек не знает дряхлости мысли, как не знает он дряхлости тела. Он по-прежнему деятелен, по-прежнему ищет, по-прежнему учит, по-прежнему презрительно отвергает все ответы, идущие извне, и говорит: „это не то, это вы оставьте. Это лень вашей мысли и равнодушие вашего сердца, это робкая жажда покоя и примирения заставляет вас приветствовать пустые и

ничтожные поправки нашего знания и нашего общежития..." А сам он непримирим, потому что он верит в силу человеческого хотения, во всемогущество голоса внутренней правды, в возможность воскресения для каждого, как бы низко он нипал в возможность воскресения всей жизни и, как проповедник,

8) совершенно отрицает внушенную нам наукой, культурой и сложностью жизни вообще идею исторической необходимости. Он считает ее ненужной и ничтожной, быть может, главным врагом своей проповеди. Не видит и не хочет видеть, какую силу придает она людям, как, опираясь лишь на нее, могут они создавать свои воздушные замки на каменном фундаменте. Он говорит нам о фикции свободного человека, и в этом

9) дивная красота и привлекательность его проповеди...

10) Толстой понял, что наша культура—это прежде всего обязательство, это прежде всего уступка части или всего себя другим для „пользы целого", для построения какого-то, неведомого никому здания проблематического будущего. Как и Толстой каждый человек, в большей или меньшей степени чуткий, сознает, что культура требует от него очень многого, дает же ему взамен очень мало, если только он весь не ушел в свое собственное довольство—этот счастливый исход большинства.

Ф. М. Достоевский (1822—1881). Имя Достоевского упоминается, обыкновенно, на ряду с именами Толстого, Тургенева Гончарова, и никто, я думаю, не станет отрицать за ним права быть поставленным в первых рядах „стаи славной" беллетристов сороковых годов. Но если и возможно сближать Достоевского с его сверстниками с точки зрения места, времени, силы таланта и общности „литературного происхождения" от Гоголя, то подобное сближение очень трудно и потребует самых замысловатых натяжек, раз мы перейдем к духу, смыслу и форме произведений. Всем этим Достоевский уже обязан преимущественно себе и странным обстоятельствам своей личной жизни. Это—его неот'емлемая собственность, в которой ярко выразилась его резко очерченная индивидуальность, его болезненный психопатический гений, оригинальность его мышления и фантазии, не имеющая ничего подобного и равного в русской литературе. Положительно трудно не

согласиться с словами Н. Н. Страхова из его письма к Достоевскому; „очевидно, по содержанию, по обилию и разнообразию идей вы — у нас первый человек, и сам Толстой, сравнительно с вами, однообразен. Этому не противоречит то, что на всем вашем лежит особенный и резкий колорит“. В чем же эта, всеми замеченная, но никем вполне ясно не формулированная особенность всей жизни и всей деятельности Достоевского? Кой-какие параллели дадут нам ответ на этот вопрос.

В произведениях Гончарова и, в особенности, Тургенева вам прежде всего бросается в глаза удивительная отделка формы. Все вызолочено, вылощено, отлакировано, отполировано, каждое слово на своем месте, каждая фраза не только закруглена, но и отшлифована. Ни одной лишней, ненужной подробности, ни одной страницы, в которой было бы заметно утомление или неровность таланта. Каждое произведение так и просится в переплет с золотым обрезом. Каждая фигура, каждая, даже мимолетно проявляющаяся на сцену личность у Тургенева—точно из мрамора выточена; ни прибавить, ни убавить нельзя ничего, Видно, что это десятки раз обдумывалось и передумывалось, писалось и переписывалось и только потом уже давалось публике на прочтение, с полной уверенностью в успехе, без всякой торопливости, без всяких заискиваний. Хорошо так работать, и счастлив тот художник, который может так работать. Но для этого нужны, прежде всего, средства и выдержка, внутренняя дисциплина. Ни того, ни другого у Достоевского не было. Во всю свою жизнь только две вещи он написал не на спех и не к сроку. Это — „Бедные люди“—первый его роман и „Братья Карамазовы“— последний. Все остальное писалось столько же из потребности, сколько и из-за заработка, когда, бывало, и есть нечего, и сам Достоевский по уши в долгах сидит в Сибири или за границей. Оттого-то, за весьма малыми исключениями, у Достоевского нет ничего выдержанного, обработанного. Иногда целая сотня страниц производит впечатление какого то набора слов, и только вдруг, в конце, гений, преодолев усталость, проявляется во всю мощь, точно молния прорезывает тучи и освещает всю картину фантастическим дивным блеском. Обыкновенно же—это тысячи ненужных подробностей, десятки отдельных интриг, нагроможденных друг на друга, частые перемены тем, внезапные появления новых героев и

героинь. Все это на спех, на-скоро, с натугами и порывами, кризисами творчества, молниеносными проблесками гения и удручающим вымучиванием. Но иначе было нельзя: копить деньги Достоевский не умел и зачастую запродавал, вместо романа, белый лист бумаги, при чем „мошенники издатели“ огораживали свои интересы разными неустойками. Разверните переписку Достоевского, ведь это один и тот же мотив: „денег, денег, денег“, и мало-мальски чувствующий и мыслящий человек поймет, какая трагедия разыгрывалась в душе великого писателя, которому к такому-то сроку непременно надо приготовить такое-то количество листов. Раз попавши в лапы гг. Краевских, Стелловских, Достоевский только под конец жизни вырвался из них. Какой же силы должен быть талант, успевший проявить себя во всю мощь, несмотря на нищету, каторгу, падучую и резкие признаки если и не помрачения, то, во всяком случае, психопатизма, по-нашему—истеричности?...

Тургенев, Толстой, Гончаров писали и пишут, потому что у них была потребность писать, такая же неотразимая, „органическая“, как у других есть, пить, спать. Литература для них—главное дело жизни, но не будь у них таланта, они преспокойно прожили бы и без нее. Пишу потому, что пишется, потому, что хочется писать. Это завидная участь. Для Достоевского литературная деятельность была столько же потребностью, сколько и необходимостью. Он сам себя не раз называл литературным пролетарием, и называл совершенно основательно, хотя успех и удача приобретались им сравнительно легко. Как ни велик был его гений, спешка портила дело, коверкала его и терзала великую писательскую душу, заставляя то со злобой, то с отчаянием повторять: „эх, кабы хоть один роман написать так, как пишут Тургеневы да Толстые“... А сколько унижений, сколько невидных самолюбивых мук, сколько зависти и ревности к другим, более счастливым, которым от рождения дано то, чего ему, Достоевскому, удалось достичь лишь трудом целой жизни, т.-е. материального обеспечения. Приходилось выпрашивать и вымаливать авансы, сотни, десятки рублей, выслушивать упреки за несвоевременную доставку заказов, писать, несмотря на припадки, и пр. Жизнь Достоевского—это полная трагизма борьба гения с рынком...

Но, вместе с этим, Достоевский до страсти любил литературу и вне ее не искал ни заработков, ни занятий. Он с гордостью называл себя литератором, хотя и нищим литератором, и даже обижался, когда ему предлагали занять какую-нибудь казенную должность или что-нибудь в этом роде. Только по временам срывались у него невольные проклятия, когда нужда слишком уж начинала давить, но и тут он твердо оставался на посту. Вот любопытный отрывок из одного письма, достаточно характеризующий эту душевную трагедию литературного пролетария. Дело в том, что Кашпирев, редактор „Зари", не выслал ему к сроку 75 р. Достоевский разражается следующими строками: „Неужели он думает, что я писал ему о своей нужде только для красоты слога. Как могу я писать, когда я голоден, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложил. Да чорт со мной и с моим голодом. Но, ведь, моя жена кормит ребенка, что ж, если она последнюю свою шерстяную юбку идет сама закладывать. А, ведь, у нас второй день снег идет, не вру—справьтесь в газетах,— ведь она простудиться может. Неужели он не может понять, что мне стыдно об'яснять ему все это. Да неужели уже он не понимает, что он не только меня, но и жену мою оскорбил, обращаясь со мной так небрежно, после того, как я писал ему о нуждах жены. Оскорбил, оскорбил...—Он скажет, может быть: „а чорт с ним и с его нуждой. Он должен просить, а не требовать" и т. д. И такую вещь приходится писать автору „Бедных людей", „Записок из Мертвого дома", „Преступление и наказание"... Фразы же, в роде—„я до того заработался, что отупел, и голова как забитая"—повторяются постоянно.

И все же Достоевский не только не оставлял, но даже и не думал оставить своей литературной лямки.

Оставим, однако, борьбу с рынком и перейдем к другой стороне вопроса. „Ловкий француз или немец,—писал Н. Н. Страхов к Достоевскому,—имей он десятую долю вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы первостепенным светилом в историю всемирной литературы. И весь секрет, мне кажется, в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен". Этот совершенно верно указанный недостаток — так как сущность литературного таланта в том и

состоит, чтобы с наименьшими затратами выражения, в широком смысле слова, произвести наибольшее впечатление на читателей— происходит отчасти от спешки в работе, отчасти и от других причин. Дело в том, что талант Достоевского — талант совсем особенный, исключительный. Владеть им он так и не научился до конца жизни. Это талант неровный, вспыльчивый, раздражительный, до последней степени нервный и капризный. Чтобы написать простое письмо, Достоевскому нужно было вдохновение, иначе у него и двух строк не выходило. Свои темы он брал сразу, приступом, одним размахом рисовал самые сложные свои типы, напр., Ив. Карамазов, Раскольников, Свидригайлов, а не подбирался к ним исподтишка, понемногу. Великий мастер в психологическом анализе, Достоевский совсем не был мастером в детальной живописи. Он не мог так возиться, так разглядывать по частям своих героев, как Толстой, не умел так вырисовывать их, как Тургенев, но он, как никто, умел жить с ними, страдать с ними, мучиться и волноваться. Созерцательности в нем не было ни на иоту, оттого-то творчество так истощало его. В то время, как Гончаров смотрит на жизнь удивительно умным, понимающим и в то же время удивительно сытым взглядом, Достоевский—весь нервы, весь напряжение, весь мука и томление. Когда Толстой стоит перед вами, вперив свой испытующий гениальный взгляд в самую глубину души человеческой, творя суд над правым и неправым с медлительностью все испытавшего и все постигшего гения, Достоевский или проклинает, или благословляет, с любовью или с ненавистью, но всегда со страстью. Отсюда эта страстность, нервность таланта, это вечное клокотание в груди, мучительно любящей, мучительно ненавидящей.

Повидимому, виноват в этом личный, по наследству полученный Достоевским характер, его, как сейчас увидим, истеричность, а потом и еще одно обстоятельство. „В то время, как большинство беллетристов 40-х годов, будучи выходцами из деревень, принадлежат к рыхлому помещичьему типу, Достоевский является представителем разночинного, служилого класса общества, холерически нервным сыном города, а во-вторых, в то время, как большинство их были люди обеспеченные, Достоевский один среди них принадлежал к вновь возникшему классу интеллигентного пролетариата“. Этому сыну города, интеллигентному пролетарию,

всегда раздраженному, всегда расстроенному, ведшему такую упорную, отчаянную борьбу с жизнью и рынком, некогда было созерцать, смаковать и вырисовывать своих героев. Его беспокоит жизнь, ее материальная сторона, ее нравственные проблемы. Он как бы сторонится от красоты, изящества, наслаждения. Он терпеть не может никаких художественных аксессуаров. Жизнь — это ужасно серьезная, ужасно трудная, даже жестокая вещь. Где тут целоваться да миловаться или описывать поцелуи да милование. Жизнь—задача, долг, обязанность, борьба, наконец, после которой руки и ноги будут в крови. Поэтому в произведениях Достоевского вы не найдете ни очаровательных описаний природы, ни захватывающих сцен любви, свиданий, поцелуев, ни обворожительных женских типов. Все это Достоевский отрицает в принципе. В „Бесах", в лице писателя Кармазинова, он потешался над Тургеневым за его „страсть изображать, напр., поцелуи не так, как они происходят у всего человечества, а чтобы кругом рос дрок или какая-нибудь другая трава, о которой надо справляться в ботанике, при чем и на нем должен быть непременно какой-нибудь фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто не видал, а дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета". Этот пуризм, очевидно, происходил от слишком серьезного, слишком вдумчивого отношения к жизни, которая представлялась Достоевскому, как религиозная проблема прежде всего. Все равно, как каждого его героя жизнь прежде всего мучает, так она мучила и его самого. Где тут описывать поцелуи интересных пар... Это-то уж, несомненно, взгляд тяжкодума, городского пролетария на жизнь.

Сын города виден также и в выборе сюжетов. Баре: Тургенев, Толстой, Гончаров, бар прежде всего и рисовали и, как дополнение к ним, мужика. Третьего сословия, горожан, мещан, разночинцев, они почти не затрагивали, иногда разве, преимущественно для ради „опровержения". Изящного общества Достоевский не знал и не выводил на сцену в своих произведениях. Мир чиновничества, интеллигенции, городского пролетариата—вот его сфера. „Он любит вводить читателя в городские вертепы, трущобы, где царят нищета и разврат. Он даже, как Диккенс, проникнут их мрачной поэзией. Не вдаваясь в описание красот природы, он очень часто развертывает перед читателем иного рода ужасающие

картины, от которых мурашки ползут по спине. Это в особенности Петербургу свойственная картина городских улиц ночью, в осеннее ненастье или зимнюю вьюгу, когда все, у кого есть теплый кров, прислушиваются к завываниям бури в своих тепленьких уголках, и лишь бесприютные, обиженные, сбившиеся со всякого пути, полуодетые в жалкие рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемые мокрым снегом, пронизываемые ветром и погруженные в какие-нибудь полубезумные грезы".

К довершению всего, т.-е. своей особенности, Достоевский был несомненным психопатом, не помешанным, говорю я, а психопатом, что не то же самое. В детстве он страдал галлюцинациями, потом падучей. Но, и кроме этого, у него были ярко выраженные признаки мнительности и истеричности характера. Что такое мнительность, знает всякий,—это мучительное недоверие к себе, своим силам, жизни, это подозрительность в отношении ко всякому, опять-таки начиная с себя, это боязнь, испуганность перед жизнью вообще. Что же такое „истеричность", об этом лучше всего скажет нам сам Достоевский—величайший из психопатологов. Отсылая за подробностями к „Братьям Карамазовым", я беру характеристику истерической натуры в изложении д-ра Чижа: это „неустойчивое равновесие психических отправлений, чрезмерно легкая возбудимость, необыкновенно сильная реакция психического механизма и быстрая смена его возбуждений. В характере такого рода больных бросается в глаза пестрая смесь настроений и аффектов, симпатий и антипатий, представлений то веселых, то грозных, то серьезных, то низменных, то с философским пошибом, стремлений, полных энергии, но скоро и пропадающих... У этих же больных есть и другая замечательная черта—самолюбие. Они самые наивные эгоисты, говорят только о себе и постоянно, с самым живым интересом, стараются обратить на себя общее внимание, возбудить участие, заинтересовать всех своею личностью, своею болезнью, даже пороками". В этом портрете трудно не узнать Фед. Мих. Достоевского, его неуравновешенную, неровную натуру, полное отсутствие внутренней дисциплины, капризность, быструю, беспричинную смену восторгов и отчаяния, симпатий и антипатий, крайнего увлечения и холодного равнодушия. Страшно за человека, которому приходится жизнь прожить с таким характером, а к тому же если этот человек талантлив, беден, наивен, как ребенок...

Литературную деятельность Достоевского можно грубо разделить на два периода: до каторги и после каторги. Первый был главным образом посвящен униженным и оскорбленным, человеческому страданию вообще и протесту против него с точки зрения гуманных начал, выработанных движением 40-х годов. Во втором периоде Достоевский сосредоточил главное свое внимание на изучении русского „своеволия“, которому и посвящены лучшие его романы: „Преступление и наказание“, „Бесы“, „Братья Карамазовы“.

Определяя свое литературное происхождение, он говорит: „все мы вышли из Гоголевской „Шинели“. Не из „Шинели“ вышли, конечно, „Преступление и наказание“ или „Братья Карамазовы“, но „Шинель“ могла дать толчок к вдохновению для „Бедных людей“, „Двойника“, „Униженных и оскорбленных“ и т. д. Важнее „Шинели“ общее филантропическое настроение эпохи, которое заступилось за права угнетенных, на какой бы ступени общественной лестницы они ни находились. Сам больной, несчастный и всю жизнь нищий, Достоевский так глубоко, как никто, мог заглянуть в эти подполья и чердаки нашей общественной жизни и в психологию оскорбленного, в котором теплится еще искорка собственного достоинства. Оскорбленного за что? Вот вопрос, который мучает героев первой половины его литературной деятельности, и этот вопрос задают себе одинаково настойчиво и Девушкин, и Голядкин, и Иван Петрович, стоя перед глухой стальной сеткой общего равнодушия человека к человеку. „За что? Разве мне нет места на земле? Разве крупица счастья не должна бы выпасть и на мою долю?“—робко вообще и смело лишь в припадках сумасшествия, с тоской безнадежности и взрывами негодования, с жгучей ненавистью и с жгучей любовью к людям спрашивают себя эти замухрышки-чиновники и замухрышки-писатели, у которых лишь изредка достает силы, чтобы совсем уйти в подполье и оттуда „мстить“ людям, но мстить, терзая себя и полосуя свое сердце каждой местью. Тут у Достоевского глубочайшая психология современного человека — пролетария, рвущегося к жизни и безжалостно отталкиваемого от нее то дворянскими привилегиями, то наглостью сильных, то чем-то стихийным, вырастающим до размеров судеб. Но что же делать с этим выпавшим на долю унижением, как принять его? Какое фантастическое зда-

ние смирения, радостно воспринимающего удары, или же борьбы, свирепо растачающей эти удары, надо выстроить, чтобы жить? И каждый роман Достоевского—также новое здание в котором мог бы жить живой бог человека, давая ему ответы на все вопросы, разрешая все сомнения, обрекая на смиренную любовь или гордое восстание. И здание все равно какое: с богом или без него—должно быть воздвигнуто, так как *убить* человека нельзя, так как в каждом, самом большом и самом маленьком, богатом и бедном, вечном каторжнике и выпачканном чернилами чинушке—лежит одинаковое, священное право на счастье и смысл своей жизни.

Какой смысл человеческого страдания? Есть ли в нем смысл вообще? Как примирить страдание человека с сострадающим богом? — вот вопросы, к которым прилепился гений Достоевского. И первый факт, который он здесь увидел, это тот, что страдание приводит и к полному падению, прострации, и к высочайшей нравственой чистоте, к святости. Падение так же влекло его к себе, как и святость, быть может, даже больше. Человека в бездне его падения он больше всего понимал, больше всего любил.

„Как ни привлекателен мир красоты, — говорит один из его критиков,—есть нечто еще более привлекательное, нежели он: это падение человеческой души, странная дисгармония жизни, далеко заглушающая ее немногие стройные звуки. В формах этой дисгармонии проходят тысячелетние судьбы человечества и, если мы посмотрим на всемирную литературу, мы увидим, что ничей взор в ней не был устремлен с таким проникновением на причины этой дисгармонии, как взор писателя, которого мы разбираем (Достоевского). Оттого среди всего хаоса его произведений мы ни у кого не найдем такой цельности и полноты: есть что-то кощунственное в нем и вместе религиозное. Он не избирает ни одной картины в природе, чтобы любить ее воссоздавать; его интересуют только швы, которыми стянуты все эти картины, но он, холодный аналитик, всматривается в них и хочет у[illegible]ать: *почему весь образ божьего мира так искажен и неправилен?* И с этим анализом он непостижимым образом соединил в себе чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Как будто то искажение, которое проходит по лицу божьего мира, особенно глубоко прошло по нем самом, тронуло его внутренний мир, и, как никто другой, он

ярко почувствовал и все страдание, которое он несет в себе, и приблизился к пониманию его скрытой сущности. Отсюда вытекает глубокая суб'ективность его произведений и их страстность: он не извне зовет нас пойти и разделить с ним его интересы, которыми мы можем заняться наравне со всякими другими, его голос доходит до нас как будто издали, и когда мы приближаемся, мы видим одинокое и странное существо там, где никого другого нет, и он говорит нам о нестерпимых мучениях человеческой природы, о совершенной невозможности выносить их и о необходимости найти какие-нибудь пути, чтобы из них выйти. Отсюда болезненный тон всех его произведений, отсутствие в них внешней гармонии частей, и мир неутолимого страдания, который он открывает, переплетенный с мыслью о его непонятных причинах, о его непостижимых целях".

Чувство трагического было особенно сильно развито в Достоевском. Оттого-то, быть-может, центральной осью своих произведений он выбирал убийство. Здесь, в убийстве он видел самое страшное, извращенное проявление измученной человеческой души, крайний ее протест против личного невыносимого страдания и крайнее проявление ее своеволия. И он пристально всматривался в убийцу, находя в нем бесконечно униженного и бесконечно своевольного человека. Убийца это раб (напр., рабство идее у Раскольникова, рабство похоти у Свидригайлова, рабство опять-таки идее у Верховенского, рабство в своем социальном положении у Смердякова и т. д.), ставший анархистом и в анархизме своем „преступающий через святыню человеческой личности".

Жизнь — страдание. В ней есть злое начало, делающее это страдание необходимым, искажающее светлый и радостный лик божьего мира. Но что же делать в таком случае с стремлением человека к счастью. Что *вначале* Достевский сочувствовал ему, видел в нем что-то хорошее и милое—это несомненно, как и то, что он *до конца* жалел несчастных. Но все же он пришел к выводу, что страдание необходимо и что только оно, очищая огнем мук своих душу, доводит ее до святости.

Между тем он жил в такое время, когда счастье людей являлось как бы основой и стержнем стремлений всей русской интеллигенции. Почти каждый из героев его произведений создает свой собственный идеал общественного и государственного устройства

который бы обеспечивал человеческое счастье. Ведь это было время, когда каждый считал себя как бы призванным распоряжаться судьбами государства и народа. Это было время русской народнической революции. Возьмите Раскольникова. По его теории лишние люди должны быть убраны со сцены. Они, их жизнь и личность—простой материал для постройки здания. Бесконечно высоко над ними стоит Сверхчеловек, герой, которому все позволено, даже убийство. Он сам для себя бог; от себя получает он свои веления, он имеет право над жизнью и смертью других. Еще дальше идет полупомешанный Кириллов. Он долго искал и нашел наконец своего бога—*своеволие*. Этому богу он хочет научить людей. „Тогда новая жизнь,—говорит он Ставрогину,—тогда новый человек, тогда все новое. Тогда историю будут разделять на две части: от гориллы до уничтожения бога и от уничтожения бога до...“ — „До гориллы,—с холодной усмешкой подхватывает Ставрогин“.—„До перемены земли и человека физически—продолжает Кириллов с невозмутимостью. *Будет богом* человек и переменится физически. И мир переменится и дела переменятся, и мысли и чувства“. Даже педант и нелепейший из нелепых Шигалев весь в вопросе об устроении человеческого счастья. „Он предлагал в виде конечного разрешения вопроса—разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться в роде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, в роде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать“. У Шигалева все разработано и предусмотрено... „Он выдумал равенство — говорит про него Верховский.—У него хорошо в тетради,—у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем и все каждому. Все — рабы и в рабстве равны. В крайних случаях—клевета и убийство, а, главное, равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы. Рабы должны быть равны.

Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот Шигалевщина!“ Высказывается, наконец, и сам Верховенский: „Я за Шигалевщину... Слушайте, Ставрогин, горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Я за Шигалева! Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только не достает — послушания! Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь—вот уже жажда собственности. Мы уморим желание; мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат, мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство. Необходимо лишь необходимое, вот девиз земного шара отсель. Но нужна и судорога. Об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга до известной черты, единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в Шигалевщине не будет желаний“... И т. д.

Достоевского не раз упрекали в преувеличении и даже издевательстве. Некоторое преувеличение, вероятно, есть, хотя и трудно судить о неисследованной и неизученной странице истории „русской мысли“. Нам, людям в значительной степени не только наученным, но и проученным „опытом истории“, трудно, невозможно даже проникнуть в то настроение. Но ведь тут было вот что прежде всего: ненависть к барству, ожесточенная и непримиримая, ненависть, требовавшая мести, и рядом с этим жалость к массе которая во что бы то ни стало—хочет ли она этого или не хочет — должна быть возвращена к первобытной невинности, в роде как бы в первобытный рай.

Со всеми этими дикими проектами социального преобразования у Достоевского соединялся один величайший вопрос: *в чем назначение человека - в свободе или рабстве.* Этот вопрос — ось, вокруг которой вертятся все его рассуждения. Он боится свободы и ненавидит рабство. Из этого противоречия он не вышел и не мог выйти. Он понимал, что свободы человека не убьешь, что нет, в конце концов, ничего, перед чем бы она распростерлась. Во имя своей свободы личность способна не только итти против расчета,

выгоды, но и против самого бога. Декретировать свою свободу, своеволие свое, даже в самой дикой безрассудной форме — это потребность, глубочайшая потребность человека, хотя бы как у Раскольникова или Свидригайлова через убийство, даже через кощунство. Но тут, в своем гипостазировании, личность встречается с богом, с идеей божества. И тут-то Достоевский приходит в ужас от одиночества человека и снова готов отдать его под только что свергнутое иго совести, страдания, веры—словом, всего того, что свою действительную санкцию имеет в боге. Оттого-то стремящаяся к неограниченной свободе личность человека чувствует, что это главное ее препятствие, главный камень, о который спотыкаются ее вожделения. Оттого-то религиозные вопросы всегда на первом плане. Возле них *все* вертится и уж, конечно, для Достоевского они в центре бурного движения 60-х и 70-х годов.

Здесь не только о счастье людей идет речь, но даже о физическом их перерождении, и вот Кириллов, напр., прямо думает, что, научивши людей *своеволию*, он тем самым добьется и их физического перерождения. В центре всего движения бог, вопрос о боге, о смысле жизни, и эту самую дорогую, самую серьезную для Достоевского мысль чуть-чуть иронически высказывает Иван Карамазов (потому что Достоевский вообще имел привычку самые дорогие, самые серьезные для него мысли высказывать чуть-чуть иронически): „другим одно,—говорит Иван,—а нам, желторотым, другое, нам прежде всего надо предвечные вопросы решить. Вся *молодая Россия только лишь о вековечных вопросах и толкует.* Именно теперь, как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься... Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют, иные то-есть? Вот, напр., здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет не будут знать друг друга,—ну и что же, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то?.. О мировых вопросах, не иначе, есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, — так ведь это один же чорт выйдет: *все те же вопросы, только с другого конца*“. Алеша совсем согласен с братом; „да“,—отвечает он, – настоящим русским вопросы

о том: есть ли бог и есть ли бессмертие, или, как ты вот говоришь, вопросы с другого конца, конечно, первые вопросы и прежде всего, да *так и надо*".

Но, конечно, глубже всего эти вопросы сидели в самом Достоевском, и при рассмотрении их, он несмотря на всю истеричность и иррациональность своей натуры, проявляет даже удивительно строгую логику. Есть ли бог, спрашивает он себя. Толстой *знает*, что какой-то бог есть, только не знает *какой*. Достоевский не знает ничего. Он мучительно думает и ищет. Совместима ли, спрашивает он себя, идея бога сострадающего с человеческим страданием? и, очевидно, что лично он, в глубине души своей, этих идей совместить не может. Но хотел бы, страстно бы хотел совместить их. „Я клоп,—говорит Ив. Карамазов,—и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается,—но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь знаю же это; ведь жить по ней я не могу же согласиться. Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю — мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя"...

Ни перед кем—ни из русских, ни из европейских писателей вопрос о страдании человека не являлся таким огромным и пугающим, как перед Достоевским. Тем, что ему, его земной жалости, нужно было возмездие и не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле—он как будто оправдывает своеволие личности, оправдывает это восстание против богов, которое так характерно и необходимо для всех его героев, но утвердиться на этом он не может и не смеет. По истеричности своей натуры он преклоняется перед свободой человека и ненавидит ее. Все равно как к Богу он относится и кощунственно, и религиозно, ежеминутно призывая его к ответу и проклиная его и падая перед ним ниц—так и к свободе человеческой. Ничего более священного и более ужасного, более отвратительного. Потому что в Достоевском одинаково сидели и анархист и раб, способный даже познать все наслаждение рабства, самоунижения и самоуничтожения.

„Ужаса" свободы и веры он не вынес, хотя одинаково не мог до конца отделаться от их обаяния.

В своем взгляде на русский народ Достоевский близок к славянофилам. Полнее всего этот свой взгляд он изложил в знаменитой московской речи о Пушкине. Тут он дает полный простор фантастичности своего воображения. Резко и непримиримо высказывает он мысль, что наш народ богоносец.

Достоевский (в своей знаменитой пушкинской речи) прежде всего ссылается на реформу Петра. Допуская, что вначале она производилась лишь в смысле ближайше утилитарном, он думает однако, что „в дальнейшем развитии им своей идеи Петр, несомненно, повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно, огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм". Не указав этих целей, даже не намекнув ни на них, ни на пророческое содержание „некоторого затаенного чутья", Достоевский прямо переходит к утверждению, что „и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, — ощутив эту цель опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но однако же непосредственно и вполне жизненно". „Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовью приняли в душу нашу гениев чужой нации, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с первого шага различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что об'явившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) *стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите*".

Он говорит дальше о том, что в течение двух столетий Россия только и делала, что служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой. Служила из-за любви, из-за своего христианского смирения. И будет служить до конца, потому что духовно Европ

уже умерла, там остались лишь святые камни, святые покойники, задача же христианского возрождения человека вся в наших руках.

Гимнообразно заканчивает свою речь Достоевский: „Все это — говорит он,—покажется самонадеянным: это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово? Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что к всемирному, к всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю „в рабском виде исходил благословляя Христос". Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился?..

Превосходные слова, но превосходно и это пренебрежение к нашей нищете! Раз'ясняя эту свою мысль, Достоевский впоследствии написал строки, в которых, по моему мнению, и скрывается весь секрет его речи, вся истинная подоплека, вся причина ее головокружащей восторженности. Вот эти строки: „Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не может заключать в себе столь высокие стремления, пока не сделается экономически и гражданственно подобною Западу,—*есть уже просто нелепость. Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей, по крайней мере, не зависят от экономической силы.* Наша нищая неурядная земля, кроме высшего своего слоя, вся сплошь как один человек. Все 80 миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и *не может* быть, а стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядная, даже в строгом смысле нельзя сказать, что и нищая",

Еще: „Мы утверждаем, что вмещать и носить в себе силу любящего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей, *да и не при такой еще нищете, как теперь:* ее можно сохранять и вмещать в себе и при такой нищете, какая была после нашествия Батыева или после погрома Смутного времени, когда единственно всеединящим духом народным была спасена Россия".

Это уже национальный мистицизм. Это идеи Хомякова, Аксаковых, Н. Я. Данилевского, но возведенные в квадрат и куб и освещенные фантастическим светом восторженного, даже болезненно-восторженного воображения.

Что же дал нам Фед. Мих. Достоевский, как литератор, как общественный деятель? Постараемся ответить на этот вопрос беспристрастно. Но сначала заметим, что этот вопрос вводит нас в самую трудную область идей, а Достоевский все же, прежде всего, был художником. Но его постоянно тянуло к публицистике, к злобе дня. Даже многие его романы, напр., „Бесы", имеют очень заметную публицистическую тенденцию. Да и в остальных произведениях он формой рассказа часто прикрывает проповедь. Поэтому насчет идей Достоевского можно бы толковать с полной основательностью, не будь у него даже „Дневника Писателя". Он всегда откликался на самое насущное, что выдвигала жизнь. Иногда с большой легкостью провозглашал он, что Константинополь должен быть наш и что совсем уже пришла пора захватить его в свои руки, иногда утверждал, что завершение европейской культуры— наше русское дело. Конечно, такое мнение очень приятно. Но на нем, как и на всех взглядах Достоевского и взаимных отношениях России и Европы, теперь останавливаться не будем, потому что определенного тут все же ничего нет.

Обратимся к другой стороне взглядов его, когда он говорит о народе и интеллигенции, думает о них, страдает за них. Сочувствие к народу, стояние за него, даже подвижничество появилось у Достоевского еще в юные годы. Особенно резкую форму это „стояние" приняло во время участия в дуровском кружке. Тут Достоевский часто говорил об ужасах крепостного права, часто называл его самым мерзким и отвратительным явлением русской жизни. Образ крепостного мужика являлся в его глазах одним из воплощений безысходного горя, того громадного и мутного потока униженности и оскорбления, который так жестоко, так бурно разливается по всей жизни. Достоевский был впечатлителен, всякое чужое страдание болезненно раздражало и мучило его. Он не мог выносить никакого насилия, хотя и утверждал, что в каждом человеке есть наклонность к мучительству. Но сам он никого не мучил, в самом-то в нем никакой жестокости не было.

Наоборот даже. „Все мы вышли из гоголевской „Шинели“—говорил он, и с этого ясно выраженного сочувствия к униженному и оскорбленному и началась его литературная деятельность. Только потом, напуганный свободой, тем анархизмом, которому он придал слишком большое значение, он стал проповедывать страдание и каторгу, до конца однако мучительно содрогаясь при виде его. Действительно, он проповедывал смирение, он признавал, что страдание полезно... но только для кого?—для гордого неверующего интеллигента, прежде всего полагающего, что он имеет право распоряжаться по своему образцу с жизнью и перестраивать ее... Этому Достоевский говорил: „смирись, гордый человек“...

В общем же великом движении всей лучшей части русской литературы и русской интеллигенции—в стремлении сблизиться с народом, в проповеди той мысли, что, забывши о народе, вне народа, так сказать, нельзя сделать ничего—Достоевский, все равно как своей публицистикой, так и некоторыми своими произведениями, сыграл большую и руководящую роль. Правда, мы не разделяем некоторых мистических идей Достоевского и не настолько увлекаемся им, чтобы не видеть, как его нервный, истерический темперамент постоянно вводил его в противоречие с самим собою и заставлял высказывать совсем не остроумные парадоксы в роде того, напр., что народ ищет страдания, но нам думается, что миросозерцание Достоевского без его мистических и шовинистских угловатостей очень просто, ясно и не может остаться непонятым ни одним из русских интеллигентов. Краеугольный камень этого миросозерцания народ, грязный, приниженный, скверный, но сохраняющий в глубине души своей внутреннюю, высокую правду. Вне народа, забывши о народе,—нет правдивой жизни, нет настоящей деятельности. Уклоняясь во многом, Достоевский в этом пункте, по крайней мере, сходился со всеми лучшими умами русской интеллигенции. Его отношение к народу бережно-любовное. Напомним хотя бы общеизвестный рассказ о мужике Марее. Благодаря такому-то краеугольному камню любви к народу, русская литература и русская интеллигенция имеют перед собой несомненно великую будущность, в которой не забудется, конечно, и имя Достоевского. Он тоже интеллигент и даже один из вождей интеллигенции... А что такое русская интеллигенция? Позволю себе привести один отрывок, несколько резкий по форме, несколько

крайний по мысли, но недурно передающий самую суть дела. Вот он в виде речи, обращенной одним действующим лицом рассказа к другому: „Скажу я тебе, что всероссийская интеллигенция самая лучшая и привлекательная из всех существующих. Обойди ты весь свет и ничего подобного ей не найдешь. Это своего рода роскошь и великолепие, недостаточно еще оцененное, но поразительно прекрасное. И суть ее жизни именно в этой совестливости. Ступай куда угодно—в Америку, во Францию, в Англию или хоть в Патагонию, и начни ты проповедывать, что личное счастье—незаконно, что любовь, эгоизм и пр.—преступны. Да от тебя все отвернутся. Как это так, что личное счастье не законно? Да что же законно после этого? А русский интеллигент поймет это и прочувствует. С той самой минуты, как он проснулся, он почувствовал упреки и угрызения совести и стал он философствовать. Берет он, напр., в руки булку и сейчас же перед его совестливым воображением какая-нибудь плантаторская картина. „Хлеб, возделанный рабами“, — говорит он, и эта самая булка кажется ему горькою. Он любит, а перед его глазами униженный „меньшой брат“, продающий за пятак все свое человеческое достоинство, и любовь теряет в его глазах всю свою привлекательность. Он помешался на народе, он ищет пути, чтобы приблизиться к нему и слиться с этой молчаливой массой, тысячелетие выносившей на плечах всю русскую историю. Без этого народа, без любви к нему, любви детской, наивной, мистической—немыслим российский интеллигент. Посмотри-ка, что он теперь делает: сколько тоски, сколько совестливости в его постоянных исканиях правды, и именно мужицкой, народной правды. Он отрекается от всего, что составляет гордость и счастье обыкновенного смертного... Оттуда-то, из этих деревень, из этих болот и полей черноземных русская интеллигенция всегда получала и получает свое душевное содержание. Ей совестно, именно совестно жить, забыв мужичка, и от него же заимствовала она свою знаменитую формулу: „жизнь по правде“—а не по праву или доктрине. Если на западе господствует наука, сознание необходимости—юридической или исторической, все равно,—то у нас—любовь. Мы веруем в нее, как в какую-то таинственную силу, которая сразу разрушит все преграды и установит новую жизнь прямо в одно мгновение, без всяких этих „развитий экономических противоречий“. В голове и сердце

каждого русского интеллигента вечно сидит этот образ новой, любовной жизни, и если мы когда-нибудь, чем-нибудь искренно вдохновлялись, то именно этой правдивой жизью, основанной на любви к ближнему, не признающей никаких формул, кроме тех, которые диктуются сердцем"... Такова одна из форм русского народничества, к которой довольно резко примыкал Достоевский.

Народ и оторванный от народа интеллигент—это противоречие больше всего занимало и мучило Достоевского. К оторванному от народа интеллигенту он был положительно безжалостен. Не стесняясь, выставлял он его в самом ужасном виде, напр., в „Бесах", требовал от него не только пакояния, но и страдания. Сердце Раскольникова открылось только на каторге. Каторга была нужна ему, необходима даже. В чем же вина его? Прежде всего в гордости и—после всего в гордости. Это гордость личной мысли, это самомнение личного чувства, это властность личной воли. За это нужно наказывать, нужно страдать. Такой человек прежде всего смириться должен, чтобы понять, что не один он в жизни, что до личного его счастья никому и дела-то в сущности нет, что никакого права требовать его он не имеет. Жизнь всегда представлялась ему ужасно трудным, ужасно серьезным делом, своего рода подвигом, который каждому надлежит осуществить по мере сил и способностей. Осуществить же его можно при самоотречении, известном даже аскетизме. Себя забыть надо, а полюбить дело, себя победить надо прежде, чем взяться за него. Отрицая право на личное счастье, Достоевский тем энергичнее проповедывал личное самосовершенствование, борьбу с той самой карамазовщиной и анархизмом, которые сидят в каждом из нас. Все личное, индивидуальное, самовольное—греховно, и тип кающегося грешника—любимый тип Достоевского. Он даже роман хотел писать под заглавием „Великий грешник". Не то, чтобы он требовал отречения от себя, своих сил и способностей: он ненавидел, преследовал только личную волю, стремление к личному счастью. Его любимец—это старец Зосима в „Братьях Карамазовых". Грешил человек, много грешил, кутил, распутничал, на другого поднимал руку. И пострадал он именно за властность своей натуры, за то, что смел самого себя противопоставить обществу, принять себя, свое достоинство за нечто высшее, чем достоинство другого человека; он спасся смирением, он стал человеком, лишь

отрешившись от своего „я“, выбросив из головы даже мысль, что это „я“ есть нечто особенное, исключительно такое, что имеет право на „все“. После победы над собой можно и должно начинать деятельность. Где же, в чем найти ее?—В служении народу.

Эту мысль Достоевский десятки раз повторяет в своем „Дневнике“, призывая каждого принести „хоть лепту“. Не о великом деле надо заботиться, а чтобы было оно любовно, чтобы исходило оно от сердца и шло в народ. „Не раздача имений обязательна,—говорит он, напр.,—и не надевайте зипуна; все это лишь буква и формальность: обязательна и важна лишь решимость ваша делать все ради деятельной любви, все, что возможно вам, что сами искренне признаете для себя возможным. Все же старания опроститься—лишь одно только переряживание, невежливое даже по отношению к народу и вас самих унижающее. Вы слишком сложны, чтобы опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей осложненности. Будьте только искренни и простодушны. Это лучше всякого опрощения. Одна награда вам—любовь, если ее заслужите. Ведь глуп мужик, дик мужик, необразован он, как же говорить: что дела нет“?..

Как же смотрел Достоевский на народ, раз служение ему является первым, самым большим и важным делом в жизни интеллигента? „Обстоятельствами всей почти русской истории,—говорит он,—народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем, мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, не то что сохранив красоту его. Но он сохранил красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую пакостную грязь, в какую погружен народ наш,в этой грязи и сумеет найти бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он часто делает, а по тем великим и светлым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. Идеалы его чисты, сильны и святы“.

Это—христианские идеалы. Они проявляются в отречении самого себя, в стремлении послужить другому, в любви и страдании к несчастному. Или вот какие, между прочим, наблюдения над народом сделал Достоевский на каторге: в каждом мужике, даже

арестанте, он увидел не только чувство правды, душу, но и сознание собственного достоинства, требование справедливости.

„Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа,—это чувство справедливости и жажда ее". Или: Арестант сам знает, что он арестант отверженец, и знает свое место перед начальником: но никакими кандалами не заставишь забыть его, что он—человек. А так как он действительно человек, то следственно, и надо обращаться с ним по-человечески. Боже мой, да человеческое обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уже потускнел образ божий. С этими-то несчастстными и надо обращаться наиболее по-человечески". Какой вместе с тем глубокой гуманностью проникнуто его отношение к арестантам. Везде он не только жалеет их, он в них видит людей он за ними признает человеческое достоинство: „И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром. Ведь надо уже все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?.. То-то, кто виноват?"

В каждом человеке личность есть сознание собственного достоинства, стремление к счастью, требование справедливости. Подавите все это-оно непременно проявится, хоть судоргой, но проявится. Припомните рассуждение Достоевского о значении денег в остроге или вот этот глубоко замечательный отрывок:

„Удивляются иногда начальники, что вот—какой нибудь арестант жил себе несколько лет там смирно, примерно, даже десяточным его сделали за похвальное поведение, и вдруг решительно ни с того, ни с сего,—точно бес в него влез,—зашалил, закутил, набуянил, а иногда просто на уголовное преступление рискнул, или на явную непочтительность перед высшим начальством, или убил кого-нибудь, или изнасиловал и проч. Смотрят на него и удивляются. А между тем вся-то причина этого внезапного взрыва в том человеке, от которого всего менее можно было ожидать его,—это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, желание заявить себя, свою приниженую личность, вдруг появляющееся и доходящее до злобы до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до

судорог. Так, может быть, заживо схороненный в гробу и проснувшийся в нем колотит в свою крышку и силится сбросить ее, хотя, разумеется, рассудок мог бы убедить его, что все усилия останутся тщетными. Но в том-то и дело, что тут уже не до рассудка, тут судороги".

Правда, такие взгляды на народ оказались слишком „здравыми" для Достоевского. Зачастую принимали они другую, очень заметную окраску. Не чувство справедливости, не собственное достоинство выдвигалось ему на первый план,—а смирение, способность побеждать жизненное зло внутренней силой. Народ за этот последний период является для Достоевского великой, молчаливой массой в глубине которой таится вся жизненная правда, решение всех вопросов, помощью любви и, веры, нравственного первенствующего во всем начала. Это, так слазать, кладезь всей сердечной премудрости, основа всего будущего нашего и европейского, и менять его жизнь по собственной программе, по собственным интеллигентным идеалам не только нельзя, но и прямо грешно. Народ лучше знает, что ему надо, и прежде всего надо выслушать его.

С какой ненавистью даже Достоевский отгонял от своего излюбленного народа всех интеллегентных реформаторов. Что есть у тех? Наука, свои идеалы, свои страсти. У народа—больше, у него правда. „Послушаем серых зипунов,—писал Достоевский в последнем номере своего „Дневника", „что-то они скажут... А мы пока постоим в сторонке, чтобы научиться". Иногда же отрицание права интеллигенции вмешиваться в народную жизнь принимало гораздо более резкую и раздраженную форму. Парадоксальный, быстро раздражающийся, всегда решающийся на крайности ум не знал удержу и в этом вопросе. Но все же Достоевский—народник прежде всего,—народник потому, что из всех факторов русской жизни считал народ за самый важный, большой. Вне народа нет деятельности, нет жизни. Это—сила, которой предназначено претворить в себе все и разрешить все наши вопросы одним великим, выстраданным принципом—любовью.

Славянофилы.

В 79-х годах славянофилы обрели прежнюю энергию, но и она не привела ни к каким заметным результатам. Неуспех от начала до конца преследовал это направление, хотя ему и не приходилось жаловаться на отсутствие дарований. В описываемую эпоху, кроме Достоевского, во главе его стояли; известный Ив. С. Аксаков и Н. Я. Данилевский, попытавшийся в своей любопытной книге „Россия и Европа“ представить славянофильское учение в систематическом виде. Роль Ив. С. Аксакова, как публициста и оратора, была довольно странная; он постоянно не ладил с администрацией за свой либерализм, особенно за защиту свободного слова, и в то же время либерально настроенное общественное мнение относилось к нему равнодушно, порою даже пренебрежительно. Он сам тоскливо чувствовал, что любимые его панславистские идеи не пользуются ни любовью. ни весом. Рыцарски, хотя и безнадежно служил он им до конца, все больше сознавая свое одиночество и безнадежность своей проповеди. Он воспрянул было духом в подготовительный период русско-турецкой войны, его речи гремели на всю Россию. Но интеллигенция все же не хотела их знать: в миросозерцании Аксакова было слишком много патриархального, чтобы передовой лагерь признал его своим. Панславизм же в русском обществе почвы не имеет. Любопытно отметить, между прочим, то обстоятельство, что наибольшею популярностью Аксаков пользовался среди крупной московской буржуазии. Та прямо обожала его за его патриотизм и воинственность. К Ивану Аксакову особенно хорошо идет одна из последних характеристик славянофильства, данная в нашей литературе: „славянофильство—это националистический либерализм, одинаково благосклонный и к господствующему аграрному классу, и к промышленной буржуазии, и в то же время проникнутый романтическими симпатиями ко всем исторически сложившимся и упрочившимся силам, учреждениям и бытовым формам страны. Как либерализм, славянофильство было за свободу печати, за независимый суд, против крепостного права; как историческая романтика, оно отстаивало освобождение крестьян с землей и исторический „мир“, благосклонность его к дворянству выражалась в принципинальном признании исторического сословного

строя; отношение его к промышленной буржуазии характеризуется отстаиванием протекционизма и даже специфически предпринимательских интересов (напр., против фабричной инспекции). Кому, какому общественному слою больше всего пошло на пользу славянофильское мировоззрение, как действенная сила, и выразителем какого социального класса следует, потому, в конечном счете считать настоящее славянофильство,—это вопрос сложный и, я думаю, после любопытной попытки Шульце-Геверница — открытый" (П. Струве). Для меня, впрочем, во всяком случае патриархально-дворянские симпатии Аксакова, яснее его либерализма и сочувствия промышленному сословию, хотя он и состоял на службе у последнего, как председатель одного из московских банков.—*Н. Я. Данилевский*, как я сказал выше, задумал дать систематическое изложение славянофильства. Славянство он считает особым культурно-историческим типом, назначение которого завершить мировую культуру. „Мы можем надеяться,—говорит он,—что славянофильский тип будет первым полным четырехосновным (т. е. сочетающим к себе деятельность религиозную, культурную, политическую и общественно-экономическую) культурно-историческим типом. Особенно оригинальною чертою его должно быть имеющее в первый раз осуществиться удовлетворительное решение общественно-экономической задачи". Надо однако сказать, что прекрасные надежды Данилевского обоснованы далеко не убедительно и не выдержали даже довольно поверхностной критики Вл. С. Соловьева.

Общие замечания о литературе 70-х годов.

Главное ее русло—радикально-народническое, вызвавшее ярую оппозицию со стороны дворянско-государственной программы Каткова. В сущности, продолжалось дело до 60-х годов и „Современника", но уже с ярким характером романтизма.

Выше я ограничился лишь самой общей характеристикой этих слишком близких от нас, часто неясных и часто таинственных 70-х годов. Один только факт с полной очевидностью выступает наружу, что, разочаровавшись в правительственных реформах, бедная и малосильная русская интеллигенция решила все же

настаивать на них. Это была безумная мечта. Малость, обидная недостаточность сил, полное незнание действительности, фантастичность всех надежд на народ, который должен понять интеллигенцию, и рядом с этим безмерность стремлений,—вот что прежде всего бросается в глаза. Что хотя отчасти оправдывало эту безмерность—мы видели выше. Пока же литературная картина эпохи почти кажется, что умещается для меня в таком вот образе. Представьте себе, что люди достаточно смелые взбираются вверх по катящемуся вниз леднику. Им самим и тем, кто смотрит на них со стороны, что идут они чрезвычайно скоро. В действительности так оно и есть, но—увы—как ни старались наши путники, они, в конце концов, остались на прежнем месте, а может быть спустились даже ниже, потому что ниже и ниже катился сам могущественный ледник жизни. Дело шло не к упрочению связи и братства между людьми, а к их большей разрозненности, не к торжеству крестьянских общинных устоев, а к торжеству капитализма, не к развитию общественной самодеятельности, а к обращению ее в ничто. Но все же была минута, когда бедная и малосильная русская интеллигенция думала и верила, что она преодолеет все ей враждебное.

В 70-х годах выяснился факт решительной победы капитализма над устоями крестьянского хозяйства и могущество дворянской, государственной традиции. Это вызвало разочарование интеллигенции в своих силах и в общем отречение от прежних надежд (80-ые годы).

Но в литературном отношении это несомненно, одна из самых богатых и содержательных эпох. Нравственная идея, признающая святость, высокое достоинство и равноценность человеческих личностей, окончательно закрепилась за нашей литературой, ярко обозначив ее характер религиозно-общественного служения. В основе подвижничество во имя мировых, по существу чисто христианских целей.

80-ЫЕ и 90-ЫЕ ГОДЫ.

Общая характеристика 80-ых годов.

Эти годы не только развития и укрепления капитализма, но и значительного торжества его духа в обществе и литературе, годы хищнического разорения хозяйства и хищнического разорения человеческой души борьбой за существование. Это годы отказа от наследства отцов, торопливого искания новых слов и путей, годы тоски и приниженности и в то же время годы наглого глумления над святыней прежних идеалов.

Поколению 80-х годов была завещена мечтательная, но великолепная идея „облагодетельствовать народ" и устроить общее благополучие. Такая задача была неизмеримо трудной, пришлось отказаться от нее, или, по крайней мере, сузить и ограничить ее до неузнаваемости, свести к работам самосовершенствования и удаления от соблазнов жизни или к собиранию отбросов в пользу страждущих и угнетенных. Не все примирились с таким исходом, а у тех, чьи замыслы были шире, чьи чувства восторженнее, чья впечатлительность больше,— разочарование навсегда осталось в душе. Эта, вынужденная обстоятельствами, измена грезам юности и послужила исходным пунктом все разраставшегося мрачного и неудовлетворенного настроения. Если — рассуждали,— я ничего не могу сделать для народа, кроме как дать ему свою ненужную жалость,— то что могу я сделать вообще? Что я могу знать? Что я могу любить, во что я могу верить? Основные вопросы бытия выступали на сцену, но разум отвечал на них полным молчанием. Он не сказал, да и не мог сказать ни слова о загадке жизни и смерти, о таинственном прошлом и таинственном будущем нашего сознания. Чувство бессилия от постоянной встречи все с новыми неразрешимыми метафизическими и нравственными задачами увеличивалось и удесятирялось. Было ясно одно, что старые народнические формулы обветшали и больше не годились, что дававшее им плоть, кровь и силу настроение—исчезло, что веры в мужика больше нет... Куда же было приткнуться? Как бы отвечая на-

строению, г. Минский написал недурное стихотворение, довольно ярко передающее настроение растерянности:

..Впереди
С тайной надписью камень стоял одинокий.
И прочел я на нем приговор свой жестокий.
Я прочел: „Здесь лежат пред тобой три пути.
Здесь раскрыты три к жизни ведущие двери,
Выбирай, что твоим отвечает мечтам:
Пойдешь вправо: жди совести тяжкой потери,
Пойдешь прямо—с‘едят тебя лютые звери,
А налево пойдешь—станешь зверем ты сам“...
— И заснуть, о друзья, предпочел я в предверьи...

Г. Минский человек умный и талантливый и прекрасно понимает, что такое с ним случилось и какая струна оборвалась в его поэтической „лире“. Прежде муза звала его „туда, на тесный путь лишений и борьбы, где счастье—редкий гость, где горе—гость привычный“, и внушала ему такие прекрасные филантропические мысли, как: „ступай перед толпой со словом окрыленным, с ней вместе и живи, и вместе умирай“—теперь, подчиняясь общему духовному маразму, общей растерянности, он понял, что все это не для него,—для него что-нибудь другое...

Сказал: „прости“ он людям бессердечным
И в глушь пустынь бежал от них как зверь.—

Кого не смущало тогда это новое слово? Кто не тщился сказать его уже просто потому, что большой спрос не может не вызвать, в конце концов, и большого предложения? Ницше, символисты, декаденты, маги, импрессионисты, Гегель, Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр, Юркевич и уж я не знаю кто, был призван на помощь пошатнувшейся русской мысли и, чорт знает, что за сутолока была на сцене,—точно в третьем отделении психиатрической лечебницы... Теперь, повторяю, когда кризис миновал и мы опять выбрались на дорогу, когда нам предстоит такая работа, как пересмотр всех прежних верований, взглядов на задачи жизни и деятельности, на роль искусства и науки с новой точки зрения, когда все яснее вырисовывается мысль, что до сих пор мы в умственном и нравственном отношении все еще жили традициями крепостной культуры с примесью благороднейших утопий, когда мы действительно нашли орудия, при помощи которых можем исполнить, наконец, заветы хороших людей в роде Добролюбова,

Щедрина и т. д. и искоренить в себе и кругом все следы крепостничества, когда, наконец, в роли жизненного руководителя является не просто прекрасная во всех отношениях и гуманнейшая идея, а идея, продиктованная историей, — непонятно, как могли мы считать чем-то серьезным, напр., толстовщину, представляющую из себя от начала до конца сплошное недоразумение с философской точки зрения и,—решительно ни для кого не обязательное лирическое влияние старо-барского духа, со всякой другой. Прежняя утопическая закваска была еще слишком сильна, только поэтому толстовщина и имела некоторый успех: конечно, что может быть приятнее, как одной верой заставлять ходить горы, одной любовью кормить голодных мужиков и получать в Ясной Поляне отпущение грехов, ответы на все вопросы и сомнения взволнованной совести?

Но Л. Н. Толстой страшно крупный человек, поэтому и его ошибка была крупных размеров и, в конце концов, ничего, кроме пользы, не принесла. Толстой в сущности сделал очень простую вещь: он взял все посылки народничества, настоящего, коренного, и сделал из них крайние выводы. Вечное заигрывание с мужиком было ему противно, платонические восторги перед мужицкой добродетелью также. С гениальной прямолинейностью он сказал людям: „вы утверждаете, что крестьянская жизнь выше, разумнее вашей, в таком случае живите как крестьяне и в основу всего положите самоличное удовлетворение всех своих потребностей“. Он сказал дальше: „вы сами видите, что культура не удовлетворяет вас, строй же мужицкого бытия она, несомненно рушит: в таком случае откажитесь от культуры“. Больше Толстой ничего не говорил, но его слово было прямо и твердо, и мужиколюбие, не вынеся такого испытания водой, мечом и огнем, не могло не рухнуть.

Толстой мог действовать обаянием своего имени, своим огромным художественным талантом, тем, наконец, что он ни на шаг не уклонился от главного течения русской интеллигентной мысли XIX века, руководился в пустыне сомнения прежним огненным столпом и предоставлял полную возможность „расплаты“ и притом расплаты суровой „за роскошные забавы предков“, „их легкомысленный ребяческий разврат“—и это понятно. Меланхолическая славянская натура, только что начинающая вывариваться в котле

цивилизации, в конце концов, вялая и не энергичная, любящая грезы, нравственную схоластику и бродяжество по мати-пустыне, чуть-чуть хватившая науки, но далеко еще не уверовавшая в нее, как в непреложное условие земного человеческого бытия, или же готовая ежеминутно обратиться к ней с наивной детской просьбой: „мама, достань мне луну с неба и об'ясни мне тайну жизни и смерти“—не могла не откликнуться на призыв к мужицкой нирване, и был сделан десяток,-другой попыток в этом направлении, кончившихся или неудачей, или какой-нибудь пошлостью, в роде самолюбивой ссоры между участниками. Но толстовщина—это частица 80-х годов, у которых, как я выше заметил, дюжина дюжин еще других настроений, теперь уже окончательно похороненных и мало даже понятных. Возьмите хотя бы г. Волынского или наших новаторов символизма, декаданса, эстетики. Г-н Волынский тоже ведь шумел и изображал из себя фигуру. Почему же он изображал из себя фигуру? Потому, конечно, что он задумал переоценку литературных ценностей, но принялся за дело так бестактно, так плохо понимая, какие стремления связаны с некоторыми именами, что естественно, если скоро его перестали совершенно слушать. Он не понял Белинского, он не понял шестидесятых годов, доказывая, как Белинский, Чернышевский, Писарев, Добролюбов и др. были мало образованы и мало начитаны по части немецкой идеалистической философии. Смотреть так на дело—значит заниматься китайской живописью и не признавать никаких условий исторической перспективы. Допустим даже, что Белинский и не понимал Гегеля,—это в сущности несправедливо: можно ли на основании таких соображений ставить ему обвинительный приговор? Конечно, нет. Задача Белинского сводилась совсем не к тому, чтобы растолковать русской публике диалектический метод, а к чему-то совершенно другому—к тому, чтобы поднять в обывателе уважение к себе и к личности человеческой вообще, чтобы выяснить ему общественную роль и значение литературы в жизни, чтобы внушить понимание действительно прекрасного и ценного и отучить от восторгов перед громом и треском классической музы. Если бы даже он никогда не слыхал имени Гегеля и ни словом не обмолвился об „единой, вечно развивающейся идее“, дело обстояло бы так же, как оно обстоит и в настоящую минуту. Потому Белинский во всем, что не относилось прямо к вопросу

о красотe, был истым моралистом и, как человек не просто честный, а благородный в лучшем смысле этого слова, имел право им быть. Чтобы понять его, надо перенестись в ту обстановку, когда сцена была переполнена еще троглодитами классической эстетики, мастодонтами пиитики и предателями, предателями, предателями, — а сопоставлять такую-то страницу Белинского с такой-то страницей Гегеля—занятие столь же плодотворное, как с Гротом в руках выискивать орфографические ошибки в рукописях Гоголя. Историк литературы, занимающийся подобными делами, по всей истине и справедливости заслуживает забвения. Это значит, что он или педант, или пришлый человек, кичащийся своею начитанностью, в которой, взятой самой по себе, ровно столько же проку, сколько в картонных орденах. Достигает идеала непонимания г. Волынский в разборе знаменитого спора между Юркевичем и Чернышевским. Он серьезно думает, что Чернышевского бог весть как интересовал вопрос о философских преимуществах материализма над идеализмом и приходит в ужас от приемов его, но все-таки и не хочет, и не может понять того простого обстоятельства, что Чернышевского интересовала не философская, а чисто публицистическая сторона дела, что в материализме он видел прежде всего могущественное орудие для борьбы с пережитками старины, что он хлопотал о выводах, результатах, а не о стройной аргументации. Он видел себя в центре общества, очень взволнованного готовившимися и совершенными реформами, кипевшего надеждами, часто несбыточными, но несомненно гуманнейшими, почуявшего в себе гражданский дух в размерах, доселе неслыханных, видел ежеминутное нарождение все новых вопросов, настойчиво требовавших разрешения, он искал формул точных, самоочевидных, способных к немедленному осуществлению, и когда такие люди, как Юркевич, старались затянуть его в бесконечный спор на тему „так как человек с одной стороны дух, с другой стороны материя—то почену сие важно в пятых“,—он не мог отвечать иначе, как нанося презрительные полемические удары и произнося слова таким тоном, чтобы люди ясно увидели, как Юркевич и К° не ведают, что творят... Ведь тогда не было науки, не было философии, художественной литературы,—все было окрашено публицистикой и проповедью, проповедью и публицистикой, и, повторяю, невероятно просто, как г. Волынский мог находить слушателей... Но все же

это знамение времени. Конечно, г. Волынского очень наказали, но уже после того, как он стал декретировтть символизм и декадентство и кому же?—нам, еще не жившим совсем сознательной жизнью и ни на ноту не обеспеченным от всевозможных внезапных пощечин! Очевидно, что нет ничего легче, как вышутить восьмидесятые годы, с их китайским оркестром, их разнузданным самомнением, самодовольными физиономиями новаторов, дамами-меценатками, патриотическими балалаечниками, зудом тщеславия, философским кувырканьем, символическим чириканьем и декадентскими многоточиями, но, повторяю, не все кувыркались, многие искали, мучительно переходя от одного сомнения к другому, от одной наглухо запертой двери к другой, и тяжело было это искание. С истинной жаждой обновления шли в пустыню питаться акридами и диким медом, подвижнически отрешались от соблазнов жизни, истязали тело свое непосильным трудом, нарочно вязали дух свой, чтобы он в рабстве, тоске, унынии, отсутствии жизненных впечатлений воспринял крещение огненное, отказался от гордыни и достиг блаженства равновесия. Не все деланное в этом нытье, страхе перед смертью, меланхолическом сознании своего бессилия, своей бесцельности и ненужности. За крикливыми фразами слышался стон духа, затерявшегося в поисках безусловной правды. Разве мало мы видели молодых, здоровых и образованных людей, но недостаточно бодрых и культурно дисциплинированных, которые основывали колонии, чтобы стать ближе к правде—по коренному русскому предрассудку, скрытой в земле. Говорю, тяжелы муки родов. Когда какое-нибудь миросозерцание, долго и властно господствующее над землей,—настроение, захватывавшее сердце,—цель, казавшаяся такой самоочевидной и высокой,—изнашивается, наступает мучительный кризис. Никогда не твердое и даже сбивчивое в своих теоретических взглядах, народничество держалось лишь мистической верой в мужика, той невольной близостью народа и интеллигенции, которая обусловливалась сущностью крепостного строя. „Порвалась цепь великая“ и раз'единила оба элемента. Не стало детских воспоминаний, всегда могущественных—особенно же для художественных натур, не стало грез юности, поневоле сосредоточившихся возле освобождения закабаленной массы,—остались слова,—это жалкое рубище мысли и чувства, слова красивые, но—„слова, слова, слова“... Пришлось

убедиться в одной неприятной вещи, что силы и значение интеллигенции рассматривались до сих пор в увеличительное стекло и в такое же увеличительное стекло рассматривались и те устои крестьянской жизни, которые, казалось, должны были сделать наилегчайшим переход к новым общественно-экономическим отношениям, полнее других воплощающим христианский идеал общего мира и братства. Но крестьянский мир не есть мир среди людей, крестьянская община так же далека от братолюбия, как любая акционерная компания, а артели, по злому выражению одного из героев Гл. Ив. Успенского, созданы не сознанием, не чувством, а... „ну хоть вот этим самым сазаном, которого артель, ловит“. Что, казалось бы, проще и удобопонятнее мысли, что из „ничего не выйдет ничего“ et nihilo nihil fit, но воспринять и осмыслить ее дело совсем не легкое...

Это предвзятые идеи—главные цепи человеческой мысли, еще в XIX веке носящей на себе очевидные следы ледникового периода. Из ничего не выйдет ничего. Нельзя предполагать появления чего-нибудь прекрасного и разумного там, где полновластно царят нищета и невежество, где чтение по складам является редкостью, где человек имеет такое же смутное понятие о собственном достоинстве и удобствах жизни, как рабочая лошадь, где потребности сведены к тому minimum'у, когда люди не могут не обратиться в зверей. Жаль, страшно жаль этих несчастных—но, увы, жалость, только жалость—чувство совершенно бесполезное.

Когда исчезла вера в народ (очевидно, вследствие его полной неподвижности) и сознание неприкрашенной правды жизни, правды очень жестокой и резкой, почти достигло степени очевидности— вместо прежнего, все же до известной степени стройного и определенного миросозерцания оказалось пустое место. Крикливые идейки, наскоро выхваченные из западной литературы, идейки по грошу за фунт,—зародившиеся в парижских кабаках под звуки канкана,—идейки не пресытившейся цивилизации, а ее пресытившихся уродцев,—разумеется, не могли заполнить пустоты. С своей славянской меланхолией и не совсем еще исчезнувшей скромностью, мало видевшие и мало пережившие, очень мало сделавшие для науки и общества, мы чуть ли не возмнили себя экзотиками и, с комической серьезностью образованных шимпанзе, стали выискивать зеленые оттенки лунного света и коричневые оттенки

тумана при закате солнца. Оскары Уайльды — да и только. Вы скажете, быть может, что все это так себе. — пустяки. Но позвольте вам напомнить один любопытный факт. Когда в 1896 г. молодежь задумала свой студенческий сборник, она поручила главную его редакцию экзотическому дипломату из „Нового Времени“ г-ну Сигме и наполнила его такими пикантными, „возвышенно-парнографическими“ произведениями, что совестно было читать.

Нет, растерянность была полная, и кто пережил то время— тот согласится со мной. Я ничего не преувеличиваю, никого не оправдываю. Я просто констатирую факт и—чтобы перейти после этого затянувшегося предисловия к своей теме — ставлю вопрос: как должно было чувствовать себя среди общего сумбура мысли и настроений молодое, еще не окрепшее дарование? По-моему, в достаточной степени скверно. Не к чему было приткнуться, не с чего было начать. Если дарование было слабо и мало энергично, оно поневоле увлекалось первым, на лету подхваченным новым словом, казавшимся наиболее соблазнительным, и тем сразу же губило себя, потому что сразу же приучалось к неискренности, лжи, самовзвинчиванию. Ведь приходилось именно выдумывать такие глупости, какие раньше не грезились даже дикому, в роде гимна бледным ночам или романа восьмидесятилетней девственности или чего-нибудь такого дикого, чтобы у учителя глаза выскочили из орбит. Фраза являлась, в конце-концов, самодовлеющей и господствующей и тем большая слава устоявшим против ее соблазна, как против соблазна всех новых слов из душной и развратной атмосферы парижских cabarets.

Мещанство. А между тем в эту по виду такую серую эпоху в общественной жизни довершался процесс развития и укрепления *мещанства*. Давно уже выступившая на сцену эта новая общественная группа стала как бы даже задавать тон жизни, выставляя против всякого идеалистического порыва, после всего святого и ценного в жизни свои грубые материальные расчеты, свой низменный пошлый вкус, свою приниженную, погрязшую в тине мелких стычек борьбы за существование, натуру. Распространялся не только уже капитализм, а дух капиталистического общества—

безидейный, ограниченный и по существу жестокий. Из обозрения народнической литературы читатель уже знает, что наш капитализм имеет особенный и яркий характер кулачества и хищничества вообще. Идейной исторической миссии у него нет, — он не завоеватель, как капитализм Запада, а „чорт совсем другого сорта“—чином пониже.

Мне кажется, что если внимательно рассмотреть нашу литературу за последние 25 лет, то общий характер русского мещанства обрисуется в очень определенных чертах. Ничего грандиозного, увлекающего, возбуждающего вдохновение широкими замыслами, смелостью и дерзостью мысли, ничего такого, что мы видим на западе, у нас—по крайней мере в литературном отражении мещанства — нет и в помине. Все, напротив того, очень мелко, и крупны лишь бумажники. Кроме того, еще непочатый угол традиционного холопства и хамства, аршинничества и самоварничества настолько очевидного и так ярко мечущегося в глаза, что старо-барская литература, расцвет которой совпадает с 70-ми годами, имела значительное основание презрительно относиться к этим кулакам и мироедам, третировать их, говорить о их силе, но совсем не бояться их. Еще любопытнее, быть-может, что Достоевский совсем даже не затронул мещанства: очевидно, что оно совсем не интересовало его, хотя он был самым нервным, впечатлительным и гениальным сыном русского города—этой все еще полудеревни. Щедрин постоянно говорит о наших Колупаевых и Разуваевых, наших биржевиках и Губониных, но решительно отказывается видеть в них грядущую общественную силу. Для этого он слишком барин, и еще более барин, разумеется, Толстой, но Толстому уже пришлось кой-чем поступиться, хотя и с большой неохотой, пришлось—хотя только теоретически—признать власть денег в своей брошюрке „Что такое деньги“ и даже изобразить перевернутые вверх дном, под влиянием новых капиталистических отношений, деревенские нравы в своей „Власти тьмы“. Но Толстой стоит слишком высоко над жизнью, слишком верит и в мощь народа, и в мощь души человеческой, способной к возрождению,—какая бы жизненная грязь не насела на нее,—чтобы принимать в расчет силу мещанства. Собственно говоря, до нее ему ровно никакого дела нет. „Отечественные Записки“, как журнальная группа, считали возможным третировать мещан-

ство, что понятно, хотя и не доказывает их проницательности. Но один из самых крупных представителей этой журнальной группы—Г. Ив. Успенский, серьезнее других отнесся к тому, как орудует чумазый, и в сущности был очень близок к признанию за ним победы в недалеком будущем, но помешало этому странное обстоятельство—почти мистическая надежда на барина-интеллигента, который вот-вот придет в деревню и устроит там благорастворение воздухов. Мамин-Сибиряк пошел гораздо дальше и сохранил лишь свои народнические симпатии просто как дорогую красивую мечту, как чудный сон, виденный когда-то в детстве, который для действительности и для которого действительность не имеет никакого значения. Честь провозглашения мещанства, как новой общественной силы, несомненно принадлежит г. Боборыкину, но необходимо заметить, что совершил он это хотя и восторженно, но неубедительно. Он ограничился громкими словами, кое-какими эффектными проявлениями денежного могущества, а затем дал шаблон французских адюльтерно-психологических романов. Жизненного материала у него для общественной картины не хватило, потому что для этого недостаточно побывать на московских амбарах и еще менее достаточно прочесть, сидя на лихаче, полуграмотную вывеску на них. Но как бы то ни было, литература заинтересовалась мещанством особенно в 80-ые и 90-ые годы, когда жизнь выяснила, что такой интерес имеет глубочайшее основание в действительности—заинтересовалась и общественной противоположностью мещанства, т. е. рабочими и пролетариями, как продуктом новых экономическнх отношений. Всем было очевидно, что приходится уже иметь дело не с купцами Гоголя или Островского, а с новой породой людей, присвоившей себе, если не общественные привилегии дворянства, то во всяком случае его материальную силу и даже сознавшей ее. Знаменитая фраза какого-то московского миллионера: „мы все можем“—показалась, разумеется, смешной и была об‘яснена лишь многочисленностью тостов во славу и за процветание российской промышленности, но самая возможность такой фразы и крупицы истины, заключавшиеся в ней, были, во всяком случае, одним из знамений времени. Мещанство нашло своих певцов и толкователей, таких милых молодых людей, которые старались даже показать нам всю глубину и красоту его психики, напр., Вл. Ив. Неми-

ровича-Данченко, который с ловкостью совершенно военного человека расшаркивался перед своими дамами и кавалерами и в своей пьесе „Цель жизни", и в своих романах, названия которых, к сожалению, не помню. Кое-что, но к счастью, в другом тоне, можно найти у Вас. Ив. Данченко в его „Волчьей сыти" и других вещах („На пути к счастью" и пр.). Но все же больше всего в этом отношении сделали Мамин, Чехов и Горький. Горький в своем „Фоме Гордееве" нарисовал две действительно крупные фигуры мещанства—Щурова и Маякина, наметив очень интересный и новый тип в лице Тарасова и человека такой же складки, хотя и меньшего размаха—сына купца Петунникова (Бывшие люди). Щуров Горького—прежде всего хищник крупной породы, не останавливающийся даже перед уголовными преступлениями, в роде делания фальшивых денег и убийства. Маякин—тоже хищник, но не без идеи купеческого могущества. Щуров просто разбойник, Маякин уже постиг все великое значение формальной правды, законного основания, и проворовться для него немыслимо. Грех, за который надо отвечать лишь перед Богом и совестью, он возьмет на душу, но на явное преступление с его неприятными уголовными последствиями он не пойдет. Самое ценное в нем—это сознание собственной силы, признания которой он требует от жизни и с уверенностью ждет его. Однако, в основе своей натуры он все еще хищник, хотя и чествуемый, хотя и узаконенный, хотя и не нарушающий постановлений свода законов. Вся суть лишь в том, что его хищничество систематическое, а не внезапные нападения и грабежи среди белого дня и на большой дороге, как нападения Щурова. Но действительно великое по художественной полноте, по цельности производимого впечатления, по той красочности, которая напоминает лучшие создания великих мастеров искусства, выражение мещанского хищничества мы находим в произведении Чехова „В овраге". Я не могу здесь подробно поговорить об этом изумительном рассказе—или нет, не рассказе даже, а целой поэме,—так что ограничусь всего несколькими словами. Героиней „В овраге" является Аксинья—этот настоящий Бридо Бальзака в юбке, только без его размаха, без его слов. Аксинья все время молчит и говорит только во время убийства ребенка, но тем она страшнее. В этом ее молчании есть что-то действительно пугающее и более страшное, чем

в целом лексиконе самых пугающих и страшных слов. Это сдержанная злость, глубочайшее человеконенавистничество. И это чувствуется. „А теперь,—говорит наивная простенькая Липа,—Аксиньи боюсь. Она ничего, все усмехается, а только часом взглянет в окошко, а глаза у ней такие сердитые и горят, зеленые, точно в хлеву у овцы... Вчера за обедом Аксинья говорит старику: „Я, говорит, хочу в Бутском кирпичный завод ставить, буду сама купчиха“. Говорит и усмехается... А Григорий Петрович с лица потемнел: видно, не понравилось. „Пока, говорит, я жив, нельзя врозь, всем вместе“. А она глазами мотнула, зубами заскрипела. Подали оладьи—не ест!“—А-а-а!—удивился Костыль.—Не ест.“— „И скажи, сделай милость, когда она спит!—продолжала Липа.—С полчасика поспит, а там вскочит, ходит, все ходит; не сожгли бы чего мужики, не украли бы чего. Страшно с ней!“... И не даром боялась Липа: Аксинья на смерть обварила ее ребенка кипятком, потом забрала все хозяйство и имущество в руки, пустила всех по миру и ничего: ничто человеческое не проснулось в ней. Она восторжествовала, как темная стихийная сила и тоже без капли сознания.

Если мы примем за установленный литературой факт, что наш мещанин хищник, прежде всего, очень похожий на чеховскую Аксинью, то уже из одного этого, с виду столь незначительного обстоятельства, многое должно выясниться. Я, разумеется, далек от мысли унижать западного буржуа и уверять, что он не хищник. Он *тоже* хищник—это его неот'емлемое, но *не только* хищник. И потому с ним должна быть и другая политика, и другое обращение. Напомню по этому случай Щедрина, который в одном из своих очерков пытался было, по умному, разговаривать с Разуваевым, но кончил все же тем, что так-таки взял и плюнул ему в личность. И вообразите себе, оказалось, что как раз с этого-то и надо было начать, потому что Разуваев уразумел и проникся. Но, очевидно, что с Родсом или Чемберленом такой шутки вы не сделаете; да вам и в голову не придет подобный образ поведения, хотя разуваевская мошна одинаково, может быть, безграничных резмеров. Но у Разуваева хотя и бывает игра ума, но настоящей предприимчивости, духа промышленного мессианизма—нет и в помине. Он даже внутреннего обозрения не чи-

тает и нисколько им не интересуется. Тем не менее, его вторжение в область искусства и литературы интересны.

Влияние его духа—это понижение идейности, потому что мещанину, в конце концов, нечего проповедывать, не к чему стремиться кроме того же—накопления.

Хищничество вообще в земледелии, торговле, промышленности, администрации ведет к оскуднению и одичанию, хищнический индивидуализм также необходимо ведет к оскуднению и одичанию духа. Это почти трагизм и в то же время нечто неизбежное. Хищнический индивидуализм дичает и оскудевает, потому что ему некуда расширяться. Ну хорошо, человек скажет, так, „если хочешь—иди согреши“; или „я люблю безумную свободу“; или „мне все позволено“; или „я оплевал святыни человечества“—а дальше что? Раз согрешить, преступить, как говорил Достоевский, хорошо, быть может, но что за удовольствие стать греховодником сначала молодым, а потом старым греховодником? Одинаково печально положение того, кто, по рецепту Минского, освободится от философии, истины, добра. Просто даже в толк не могу взять, что станет делать такой несчастный человек? Он изойдет от скуки и, чтобы хоть чем-нибудь наполнить свою жизнь, начнет, как Альма, целоваться с прокаженными. Быть может, единственно ценным выходом для него оказался бы религиозный экстаз, но вопрос, насколько религиозный экстаз может быть глубок и длителен в наши дни после вековой скептической работы и после вековых разочарований.

Единственное исторически возможное и исторически мыслимое расширение индивидуализма может происходить лишь в сфере социальности. На самом деле: сделать общечеловеческое знание своим знанием, общечеловеческое искусство—близким и дорогим, т.-е. ценным для себя, общечеловеческие стремления своими стремлениями—не значит разве расширить свою личность? Но мне думается, что мещанский индивидуализм совершенно не в состоянии осуществить эту цель и задачи, потому что его метод и его нравственное содержание для этого недостаточны. В хищническом своем выражении, т.-е. в наиболее для него типичном, он начинает с того, что кастрирует личность, освобождая ее от общественного содержания. Нет общества или, лучше сказать, общество существует лишь, как арена борьбы между индивидами,

как ристалище конкуренции и карьеризма. Самый верховный принцип, который провозглашает мещанский индивидуализм— слишком узок и односторонен для полноты развития. Это принцип накопления. Здесь все величие и все ничножество мещанства. Величие потому, что принцип накопления, конкуренции, промышленной инициативы и предприимчивости дает, даже ригористически применяемый, огромный толчок развитию производительных сил, без которого, разумеется, человечеству не только нельзя сделать хотя бы шага вперед, но и жить. Ничтожество потому, что вызванное таким образом национальное богатство дает слишком мало для духовного развития людей и скорее даже ведет их к одичанию, что блистательно подтверждают трансваальские и китайские подвиги, совершенные культурной Европой за последнее время, или эта ничножная литература завитков и завитушек, на которые перешла американская и французская беллетристика и поэзия, на которые переходит и наша. Принцип накопления и роста рассматривает человека лишь, как орудие, как средство, и очевидно, что мысль о полноте его развития даже не может входить в его содержание. Все равно, как в области „добродетели" мещанство может возвышаться до высокой честности и никогда до справедливости, так в сфере жизни вообще оно может охранять все права собственника и никогда достоинство человека. Потому что идеи справедливости и человеческого достоинства относятся к принципу распределения, а не накопления. Задачи же распределения, мещанство на себя не берет, чувствуя, что здесь оно встретится с разными неожиданными препятствиями и сюрпризами. Оно естественно предоставило ее игре стихийных сил и случайностей, на бирже довело эту случайность до высоты вавилонской башни. Это все равно, как в игорном доме: расплата за проигрыш и выигрыш может быть скрупулезно честна, но при чем тут справедливость? И я люблю, когда мещане говорят о промышленной предприимчивости и росте национального богатства— это выходит у них хорошо, даже восторженно, и я ничего не имею, когда они говорят о добродетели и честности—это может быть по их части, но терпеть не могу, когда они рассуждают о справедливости. Что им справедливесть и что они ей... Ибо справедливость—из области распределения.

В изображении этой плоскости и безыдейности мещанства и борьбе с ним русская литература должна опять найти свою идею, свое возрождение.

А. П. Чехов (1860). Несомненно самое крупное художественное дарование, созданное печальной памяти десятилетием 80-х годов. „Большинство героев Чехова лишены того огонька, который светил бы им вдали, и к которому они могли бы стремиться. Изнывая в жизненной пошлости, они поражаются в человеческих делах полной бессмысленностью и случайностью всего совершающегося: бессмыслено деятельное стремление к добру, потому что через 200 лет люди нас не вспомнят, бессмысленно зло, потому что оно вредит одним, а другим не приносит никакой пользы, бессмысленно равнодушие, потому что его удел так же, как удел протестантов, сделаться жертвой зла... Апатия, болезненная раздражительность, неврастения—таковы неизбежные свойства героев Чехова, которые вместе с типичными особенностями своего класса и среды сохраняют общие черты уныния и болезненного сознания бессмысленности человеческого страдания... В длинной серии рассказов Чехова несчастны все: и жертвы, и обидчики, и восстающие против зла и безразлично относящиеся к нему“.

Из крупных вещей упомяну: „Степь“, „Дуэль“, „Палата № 6“, „Моя жизнь“, „Мужики“, „В овраге“; драмы: „Чайка“, „Иванов“, „Дядя Ваня“, „Три сестры“ и т. д.

Со своим огромным талантом, своим неверием в счастливое будущее людей, Чехов пришел уже на оголенное хищниками и кулаками место, и оно поразило его своим унылым однообразием, своею безжизненностью, следами разрушения, печатью отчаяния и ненужности. Точно на каком-то пожарище, маленькие, грязные, ошеломленные несчастием люди копошатся, разворачивая обуглившиеся обломки, и огонь хищничества действительно истребил и рыбу в воде, и птиц в воздухе, и народническое настроение в душе интеллигента. Мне думается даже, что речь Астрова в „Дяде Ване“ чисто символическая и понимать ее надо шире. „Картина уезда в настоящем:—говорит Асторов,—зеленая краска леса лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами: исчезали и лоси,

и лебеди, и глухари... От прежних выселков, хуторков, скитов, мельниц и следа нет. В общем—картина постепенного и несомненного вырождения, которому, повидимому, остается каких-нибудь 10—15 лет, чтобы стать полным. Вы скажете, что тут культурные влияния, что старая жизнь естественно должна была уступить место новой. Да, я понимаю, если бы на месте этих истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы, — народ стал бы здоровее, умнее, богаче, — но ведь тут ничего подобного. В уезде те же болота, комары, то же бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары... Тут мы имеем дело с вырождением, вследствие непосильной борьбы с природой, непосильной борьбы за существование. Это вырождение от косности, от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания, когда озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы спасти своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только может утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне... Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего...“

Дело тут, очевидно, не в лосях и лебедях, а в том, что озябший, голодный, больной человек должен всю жизнь вести непосильную борьбу с обнищавшей и расхищенной природой и разрушать все последнее, что попадается под руку, потому что ему, под угрозой голодной смерти детей, нельзя и думать о завтрашнем дне. Дело тут в опустошенной, расхищенной природе и в опустошенной, тоже „расхищенной“, душе человека, коснеющего в нищете и невежестве, ошалевшего и ополоумевшего от нищеты, невежества, угроз завтрашнего голодного дня. Все было, а теперь ничего нет, все водилось, а теперь все растащено и расхищено. Целые уезды точно повторяют собою картины прошлого после нашествия татар. И это-то „разорение“ и есть та социологическая почва, на которой Чехов рисует свои жизненные драмы.

Чехов, как никто другой, разработал психологию людей, которым пришлось работать на голом месте, разоренном хищниками. „Непосильная борьба с природой“, „непосильная борьба за существование“, „обнищание природы“ и „обнищание человека“— вот что определяет основные моменты: усталость, даже переуто-

мление и одиночество, доводящее до самоубийства, потому что ничего другого на пустом месте не может и возникнуть.

Семидесятники звали к борьбе. Они обращались к совести людей, их чувству стыда, любили говорить о расплате с народом за вынесенное им в прошлом, за выносимое в настоящем; угасавшее на их глазах народолюбие они старались подогреть картинами крепостного права и статистикой мужицкого обнищания. Они хотели разжалобить и вдохновить, и величие их проповеди заключалось в том, что они говорили о бескорыстии и справедливости, что они обращались всегда к лучшему, что есть в человеке, старались внушить ему веру в себя и свои силы, направленные на борьбу со злом. Но, когда оказались расхищенными и природа, и вера в народ,—на сцену выступили другие мотивы и, прежде всего, повторяю, мотив одиночества и непосильной борьбы. Их-то и взял себе Чехов.

Призыва к борьбе у него нет. Наоборот даже: вы найдете у него признание „рокового, неизбежного и стихийного хода событий". Есть даже растерянность, которая так естественна и понятна в человеке, неожиданно для себя очутившемся на пожарище. За что, на самом деле, взяться, когда „разрушено почти все, а взамен не создано еще ничего"? С чего начать, если голодные, больные люди расхищают последние остатки? Конечно, не все еще деятели сошли со сцены. Между ними есть сильные духом, нисколько не жалеющие себя, радостно берущиеся за все подвиги, нужность которых подсказывает им жизнь. Но проходит несколько лет „непрестанного горения" и—посмотрите, во что обращаются эти борцы? Вот доктор Астров, талант и умница, хлопающий рюмку за рюмкой, вот земец Иванов, совсем надорванный и переутомленный, у которого достает силы лишь на самоубийство, вот честный и добрый дядя Ваня, отдавший свою жизнь на бессмысленный подвиг, потому что на голом месте осмысленных подвигов нет и быть не может. Дух жив ушел из человека, ушла у него идея служения, единственная идея, во имя которой можно и стоит жить, и вся жизнь погрузилась в унылое, серое однообразие.

У Поэ есть картина, где все окрашено в один желтый цвет— и земля, и деревья, и небо, и люди. Как что-то необычайное— это наводит на вас ужас. Господствующий тон всех картин

Чехова—тусклый и серый, даже мутный и тяжелый осадок тоски: ощущение полной ненужности, бесцельности жизни остается после всякого его рассказа. О! Это великий мастер рисовать гнетущее и опустошающее впечатление однообразия житейской обстановки. До ужаса, до содрогания ясно вы видите, как тина нищей, безыдейной жизни затягивает человека, как все глубже и глубже погружается он в предательское болото житейских мелочей, дрязг, сплетен, пересудов. Сначала он барахтается, кричит о помощи. проклинает, но понемногу тупое равнодушие начинает овладевать им. И тут он погиб, и тут уже нет силы на земле, которая могла бы спасти его. Он—обреченный и все вокруг него—тоже обреченные в этой удивительно тихой, стихийно-вырождающейся жизни. Только порою на поверхность всплывает что-то безобразно-жестокое, и опять все мертво и тихо, тихо.

Люди растерялись, озлобились, сознательно или бессознательно подчинялись „роковым процессам“ разорения, коснеют в нищете, невежестве, эпидемических болезнях, и нет у них в душе ничего такого, что бы звало их к ближним, что бы вырвало их из тисков гнетущего одиночества. Подавленные непосильной работой, не видя от нее никакого прока, озлобленные на себя, на это нищее, голое окружающее их место, они ежеминутно готовы на ссору. Из-за чего они ссорятся? А так, в сущности, просто ни из-за чего. Просто душа изныла, просто на душе накопилось слишком много злобы и раздражения, просто они чувствуют себя во власти опутавших их мелочей жизни и не знают, как освободиться от нее, больше—знают, что им никак от нее не освободиться. И они уже враги один другого, прежде даже, чем увидели друг друга, прежде чем, встретились. Им не о чем говорить, когда они сойдутся, нечего делать сообща. Они воистину „одинокие люди“.

Чехов часто описывает ссоры, и всякий раз, как он описывает их, поражаешься случайностью поводов к ним и основательностью в глубине души лежащих причин. Как все у Чехова—эти ссоры стихийны и необходимы, потому что разлад между людьми есть только отражение разлада самой жизни, которая бьет, мучает, насилует человека, доводит его до одичания и непримиримого человеконенавистничества. Все высшее, идейное или замерло совсем, или проясняется в каких-то бессильных, полу-

задавленных стонах, жизнь—это или ярмо, или беспросветная муть сырого тумана, в которой все предметы теряют свои определенные очертания, становятся бесформенными, почти призраками, тяжелыми и угнетающими. Нет просвета и нет дороги, не за что ухватиться, не на что надеяться, не во что верить, так как вся жизнь отдана во власть хищника, его подвигов и его растлевающего человеконенавистничества.

И у Чехова всегда так: побеждает исключительно пошлость жизни и те люди, которые особенно втянулись в нее, и являются ее талантливейшими „представителями". Нравственное мужество, образование, благородство, прекрасные замыслы, даровитость— все это, в конце концов, гибнет, сдается в непосильной борьбе с нравственной тупостью, невежеством, низостью духа, бездарностью. На этой-то почве и происходят чеховские „трагедии обыденной жизни" и в этом, прежде всего, их историческое и общественное значение. В рассказе „Человек в футляре"—какой-то пошляк держит в постоянном страхе и трепете учеников целой гимназии, своих товарищей-учителей, весь педагогический совет и даже весь город, потому что сам соблюдает все правила, сам всего опасается и, по своей ограниченности, прямолинеен до последней степени. В „Дяде Ване"—победа остается на стороне деревянного профессора, который, благодаря своему тупому самодовольству, своему упрямому эгоизму, заставляет всех служить себе. А порывы мечтания, благородные замыслы—все это пропадает даром, все это ни к чему в мелкой и нищей жизни, которая не знает, что с ними делать и как ими воспользоваться. Чтобы героизм и высокие замыслы нашли себе место и применение, чтобы они не казались чем-то лишним и обременительным, жизнь должна быть духовно богата. В другую эпоху и при других обстоятельствах Лютер не стал бы реформатором, а писал бы себе тихо, мирно и благородно огромные, неуклюжие схоластические трактаты, в другую эпоху Гуттен оставил бы после себя не гениальные „разговоры", а лишь память о безобразных бреттерских поступках, и сам Эразм не пошел бы дальше изобретения нового вида силлогизма сверх 60-ти или 70-ти известных схоластической логики. И в другой обстановке не надорвался бы Иванов или дядя Ваня, не растерялся бы в тоске одиночества Треп-

лев, и не являлись бы в роли победителей Аксиньи и „человеки в футляре“.

Реальную обстановку этих жизненных драм, слишком даже обычных, чтобы не давать тона жизни, Чехов находит в провинциальной скуке, однообразии провинциального существования, его унынии и безыдейности. Провинцию он великолепно знает, и, кажется, у нас не было еще писателя, который захватил бы ее так глубоко и взглянул на нее так безнадежно, как он. У него нет жалоб и проклятий, как у Герцена и Щедрина, нет невольной органической любви к этой тихой и мирной жизни, невольного тяготения к ней, как у Островского. Все тускло, серо, а главное— безнадежно, везде следы хищничества и разорения, везде нищета духовная и материальная. Теперь вышло в свет полное собрание сочинений Чехова.

Надо перечесть их страницу за страницей, чтобы из этой мозаики случайных, повидимому, фактов, часто анекдотов, сложилась стройная и воистину грозная картина опустошения природы и человеческого духа, и то обстоятельство, что Чехов не жалуется, не протестует, совестливо воздерживается от каких бы то ни было „отрадных фактов“, даже самых крохотных, разумеется, только усиливает впечатление. Все, вплоть до надежд, мечтаний, порывов, до честных и размашистых стремлений юности, разграблено, и на этом голом месте человек одинок и тем более одинок, чем он умнее, талантливее, лучше.

Но Чехов слишком поэт, слишком художник, чтобы оставаться на реальной социологической почве. Разработав, как никто, психологию людей, живущих на голом месте и во имя своего озлобленного культа самосохранения губящих и душащих все талантливое и идейное,—он хочет символизировать, выйти из узких и тесных рамок данного исторического момента, данной провинциальной обстановки и свой безнадежный пессимизм, свою тоску неверия распространить на жизнь вообще, связать ее ничтожество не с временными обстоятельствами, которые могут измениться, а с органическими свойствами человеческой природы, и вместо образа обреченного поколения дать образ обреченного человечества. Здесь, стоя на этой высоте, он по необходимости становится сатириком, потому что постоянно указывает на противоречие между мечтами и прозой жизни, между созданной себе человеком

иллюзией собственного могущества и его действительным ничтожеством.

В глазах Чехова случай в человеческой жизни превращается в необходимость, и нет ровно ничего случайного, потому что все случайно. Возьмите такое происшествие, как разрушение Помпеи, за полчаса до которого целовались влюбленные, или лиссабонское землетрясение, остановившее какую-нибудь дьявольскую интригу, или что-нибудь в том же роде, так же мало зависящее от воли человека, как погода или солнечное затмение, распространите влияние такого рода событий, меньших по размеру и об'ему, но и бесчисленных зато, на всю жизнь, проследите их могущество, их трагические последствия—и вы получите миросозерцание Чехова. Наше земное существование для него калейдоскоп, вырисовывающий драму за драмой. Девочке хочется спать, а ребенок, которого она нянчит, мешает ей, и спросонок она его душит. Бродяга земли русской встречает на почтовой станции чудную девушку и чувствует—больше, чем чувствует—знает, что он бы мог полюбить ее всеми силами своего восторженного духа и быть счастливым и что она могла бы одинаково полюбить его и также быть счастливой, но вот 7 часов утра и надо раз'езжаться в разные стороны, и за этой случайной встречей вы видите две совсем разбитых жизни. Совсем уравновешенный человек, семьянин, начинающий уже седеть, давно уже вошедший в колею мещанского счастья, подсаживается из-за капризной прихоти к хорошенькой незнакомке, и нет больше ни его мещанского счастья, ни самодовольной уравновешенности, а капризная прихоть превращается в любовь и страсть.

Из-за чего же собственно люди борятся и страдают, что заставляет их радоваться? А между тем, постоянная бесплодная борьба утомляет, дух устает от порывов, которым нет исхода в жизни, стыд за свое бессилие овладевает человеком: он не может обдумать, рассчитать, устроить ничего. Он не может ничего и найти. И вообще, нужно ли искать что-нибудь? Не успокоиться ли на том, что жизнь пустая и глупая шутка, над которой не стоит даже и задумываться. Пусть идут день за днем, завтра и вчера, пусть люди встают и ложатся с тем же недоумением и тем же непониманием, теми же бестолковыми заботами, тем же томительным ожиданием случайных катастроф в те дни, когда война или

град на другом конце света делает богатыми одних и выбрасывает на мостовую тысячи тысяч голодных людей... Не все ли равно? Ведь самого дорогого—свободы, значения, счастия нам не дано. Великое и малое, глупое и разумное, честное и бесчестное свалится через столько-то дней, часов и минут в ту же могилу. От жизни, от всех ее впечатлений, от всей борьбы порывов, ненужных страданий не останется ничего.

Стоит ли в таком случае искать, томиться, не проще ли махнуть рукой?..

Пессимизм Чехова чисто умственный, корень которого в мышлении, а не в настроении, в своеобразном понимании хода человеческой жизни и тех, то насмешливых, то трагических каверз, которые устраивает с ней судьба. Но там же и источник его сатиры, сатиры не по адресу отдельного человека, а по адресу всей жизни вообще, в которой люди играют какую-то странную и обидную для их самомнения роль. Это, если хотите, точка зрения одного из величайших умов Европы—Свифта. Ведь, что в сущности говорил Свифт людям? Он твердил им, что они очень крикливы и беспокойны, думают, что совершают великие дела, а между тем, они лилипуты, весь флот которых Гулливер уводит в плен одним пальцем. Далее он твердил, что напрасно они считают себя прекрасными, что в сущности они безобразны и даже отвратительны, если посмотреть на них более проницательным взглядом, чем взгляд человека, и что, в конце концов, лошади куда лучше их. Такое понимание дела нисколько не исключает любви и гуманности и всех других хороших чувств, но странность остается странностью и вызывает какое-то обидное недоумение. Ну, как об'яснить, напр., что какой-нибудь осиновый кол в образе профессора умеет окружить себя хорошими людьми, заставить этих хороших людей самоотверженно служить себе всю жизнь, тратить на себя эту чужую жизнь, не давая ей не только распуститься, но и отдохнуть. А ведь тут скрывается драма, тут опустошается душа людей, и эту драму Чехов изображает в одном из лучших своих произведений — пьесе „Дядя Ваня“. И он не раз обращается к ней, и очевидно, как сильно привлекает его внимание это обидное торжество самодовольства и глупости над жизнью хороших людей, эта их обидная власть.

Он остается сатириком, но такие его сатиры кончаются трагедией, как у Вольтера, Свифта или нашего Щедрина.

Сатира Чехова не сатира насмешки, конечно, как у Горация, и не сатира негодования, как у Ювенала или Щедрина, со смехом вообще она имеет очень мало дела, хотя,—надо заметить,—юмор Чехова одна из самых красивых сторон его дарования—этот удивительно тонкий, сдержанный джентльменский в лучшем смысле этого слова юмор, эта как раз сатира, которую только и могла создать неверующая, скептическая и метафизически-настроенная эпоха 80-х годов. Ближе всего точка зрения Чехова подходит к гоголевской, но и Гоголь своими образами человеческого ничтожества и пошлости вел или думал вести к религии. Чехов не ведет никуда.

Его сатира вся построена на основных противоречиях: иллюзии и действительности, мечты и прозы жизни, крошечных сил человека и огромности сил стихийных, претензий человеческого разума и не только не считающегося с ними, но жестоко над ними надсмехающегося величия жизни. И потому-то, говорю я, обреченное поколение, стиснутое и сдавленное историческими условиями своего существования, обращается в его глазах в символ обреченного человечества. Где и в чем выход из этого странного сплетения ничтожных случайностей—Чехов прямо не говорит. На поставленный вопрос он отвечает лишь развязками своих драм, и эти развязки („Иванов“, „Чайка“, „Дядя Ваня“, „Три сестры“) не обходится без револьвера. Человеку душно, ему нечем жить больше, и он убивает себя или... или начинает жизнь, со стороны, горшую самой смерти,—жизнь, с ужасающей ясностью сознавшую, что в ней нет никакого смысла и нет никакого и никуда выхода („Дядя Ваня“, „Три сестры“).

„Признать, что нет выхода—есть уже своего рода выход“,—сказал как-то Герцен, но, конечно, только „своего рода“, и Герцен, очень чуткий к тайному смыслу своих слов, почти сейчас же прибавляет: „но чему-нибудь послужили и мы. Наше историческое деяние в том состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Наше человечество протрезвляется, мы его похмелье, мы его боли родов“.

В этих словах перед вами все еще идеалист, думающий о судьбах человечества в минуту полной разочарованности и устали и верующий в грядущие лучшие дни, смиренно принимая на себя в то же время роль „похмелья“ людей. Но любопытно, что о грядущих лучших днях у Чехова говорят самые глупые люди, в роде полковника Вершинина („Три сестры“).

Но все-таки... что же остается человеку?

Конечно, от художника никто не имеет права требовать такого точного и определенного ответа, как от критика и публициста, который не только должен ответить да или нет, но и раз’яснить, почему в одном случае он говорит „да“, а в другом „нет“. От такого обязательства художник в большей или меньшей степени свободен, как свободна от него самая жизнь, представляющая каждому право произвольного толкования.

Быть может, на поставленный вопрос Чехов всего яснее ответил развязками своих драм и своими женскими и женственными типами, как „Дядя Ваня“ или герой большого рассказа „Моя жизнь“. В развязках драм человек, раз он не кончил жизнь самоубийством, смиряется, ограничивает себя до конца, берет на плечи крест свой с тем, чтобы нести его без надежды на отдых разве после смерти, без мысли о том, что как-нибудь и когда-нибудь его ноша может быть сброшена. Одни подчиняются этому с глухим ропотом, с затаенным проклятием, насилуя все существо свое. Они как будто после долгого выхода из подземной пещеры, где им пришлось заблудиться, усталые и измученные до конца, бросают в пропасть последнюю коробку спичек, последнюю свечку, чтобы больше не искать и не томить себя надеждой. Еще на минуту перед этим они торопливо переходили из галлереи в галлерею, изранили себе ноги этой тяжелой ходьбой, надорвали грудь отчаянным громким криком о помощи — но теперь они поняли, что все кончено, и с тупым равнодушием забрались в угол и сели там среди непросветной мглы, без мысли, без надежды, без силы. Так кончает дядя Ваня.

Героини Чехова относятся к делу иначе. Вообще говоря, это удивительно красивые создания, повторяющие собой героинь Тургенева. Но в них еще больше страстной религиозной экзальтации, еще больше готовности к самоотверженному подвижничеству. В Соне, напр., вы совсем даже не чувствуете тела или чего-нибудь

земного. Это — сплошная любовь, сплошная жалость к людям, вера в красоту загробного мира и ожидание его. Героини Тургенева все же чувствуют и смутно сознают даже, что они стоят на пороге новой жизни и ее требовательных запросов. И они, как Елена из „Накануне", как Наташа в „Рудине", рвутся им навстречу. Что-то подсказывает, что новая жизнь принесет им много хорошего, расширит границы их маленького деревенского существования, и это дает им силу, бодрость, какую-то особенную красоту чувства собственного достоинства. Рядом с Еленой, Наташей, Марианной,—любимый образ Тургенева, это настоящая его мечта, как поэта,—образ Лизы из „Дворянского гнезда", ушедшей в монастырь, чтобы молиться о грехах мира, потому что никаких своих грехов у нее не было. Это бедное, маленькое, глубоко обиженное жизнью существо нашло в себе силы для подвига, в смысле которого не отдало даже себе отчета, все равно, как нашла в себе силы и совершенно для такого же подвига чеховская Соня. Когда личная жизнь Сони совершенно оборвалась и впереди не стало уже чего ждать, когда тьма безнадежности окутала ее со всех сторон, она, сдерживая слезы и занятая лишь одной мыслью, как бы утешить одинаково страдающего возле нее человека, говорит ему: „Что же делать? Надо жить... Мы, дядя Ваня, проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба, будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем и там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, мы плакали, что нам было горько, и мы с тобой, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастия оглянемся с умилением, с улыбкой—и отдохнем. Я верую, дядя, я верую горячо, страстно... Мы отдохнем"...

Занавес в „Дяде Ване" медленно опускается „над невыплаканными слезами, над загубленной жизнью"... Ведь эти слова Сони, это ее самоотречение, так же, как и самоотречение дяди Вани, теперь уже окончательно решившего отдать всю свою работу на служение профессору и его подагре,—тоже самоубийство. И чем другим может закончиться жизнь, обреченная на одиночество? И в этих-то развязках драм Чехова открывается таинственный и грозный смысл великих слов—не хорошо человеку быть одному.

А для Чехова человек один, всегда один: один в реальной обстановке жизни, разграбленной хищниками и превратившейся в голое место, один в своих высоких порывах и благородных стремлениях, один среди природы, вынуждающий его на непосильную борьбу с собой, один перед молчанием неба...

И это—воистину глубокая драма, вызвавшая на свет Божий мрачную Чеховскую сатиру.

Вообще я должен заметить что говорить о литературе 80-ых годов очень трудно: даже при некотором знакомстве с ней начинает прямо-таки рябить в глазах от пестроты мыслей и направлений. Был на сцене совершенно несыгравшийся оркестр, без всякого признака присутствия среди него капельмейстера. Но даже не одна пестрота мыслей так удручающе действует на душу, а больше всего их отрывочность, неполнота, неопределенность. Каждый старался говорить от себя, и ни у кого не достало сил и средств заставить себя слушать. Было ясно, что ищутся новые пути, что догматы 60-ых и 70-ых годов имеют уже мало преданных сторонников, что большинству очень дорого их „я“, но они не желают более отдавать этого „я“ на служение общественности, что самое для них важное, это обязанности по отношению к своему я и прежде всего, его даже не нравственному, а эстетическому развитию. Но даже такая простая мысль не нашла себе достаточно яркой формулировки. Увлекались затем пессимистической философией вообще и философией Шопенгауэра в частности. Но опять-таки ни одного талантливого пессимиста и скептика литература не дала. В душной атмосфере этого десятилетия угасли и захирели даже те немногие таланты, которые едва-едва успевали проявиться. Достаточно взглянуть на журналистику того времени, чтобы увидеть полное оскудение и запуганность духа. Наибольшею популярностью пользовались не толстые журналы, а газеты, что для нас ново и необычно. „Вестник Европы“ (1866) продолжал, по примеру прежних лет, аккуратно выходить каждое первое число, твердо держась той же программы, сущность которой сводилась к тому, чтобы утвердить за нашим самосознанием принципы законности, утвержденные в западных государствах; очень читалась „Русская мысль“ — журнал крайне отвлеченного

направления, стал издаваться „Северный Вестник“, главная роль в котором перешла скоро к г-ну Волынскому, пытавшемуся дать идеалистические основания бедной „русской мысли“,—но в этом не успел. „Неделя“ в лице Я. Абрамова звала к малым делам, проповедуя их с сытым самодовольством, там же г. Дедлов приглашал русскую молодежь давать клятву (!), что она обратится без исключения в доброкачественных чиновников; г. Михайловский брюзжал, негодовал, полемизировал с Толстым и, говорят, удачно. Большою популярностью, благодаря своей искренности, пользовался Н. В. Щелгунов, поражавший удачно г. Абрамова и „Неделю“ и призывавший молодежь к идеалам общественности. Однако, во всем, благодаря общей запуганности, беспросветному господству канцеляризма и формальности, лежал отпечаток серости, ненужности, разрозненности. Таланты, подававшие большие надежды, напр., К. М. Фофанов, Д. С. Мережковский, И. Н. Потапенко и т. д., не в достаточной степени оправдали их. Старые принципы, вдохновляющие „отцов“, выдохлись, новых не было. Капитализм медленно, но верно подрывал все старые устои и, в конце концов, мало чем можно вспомнить эти тусклые годы, разве произведениями исключительного дарования А. П. Чехова. Литература была серая, без идеи и темперамента и мещански приличная. Она редко спускается в подвалы, в деревни—редко поднимается наверх—в чердаки, предпочитая средину, и здесь она находит неисчерпаемое вдохновение. За последние годы она сделала очень много. Так она, т.-е. наша литература, подробно и всесторонне изучила психологию женщины бальзаковского возраста, и хотя беллетристы не вполне согласны друг с другом в подробностях, ею в общем указанная психология установлена на незыблемых основаниях. Эти основания—стрелка, Фелисьен, курорт и, разумеется, он, пробуждающий вторую молодость. Затем многие гг. беллетристы, с г. Боборыкиным во главе, предприняли несколько экскурсий в страну, населенную замоскворецкими купчихами, и произвели в высшей степени плодотворные исследования этого странного и таинственного племени. Из опубликованных ими для всеобщего сведения данных следует, что замоскворецкия купчихи не выпивают теперь по двадцати самоваров в день или не беседуют со странницами и не вяжут шерстяных чулок. Напротив того, большинство из них верх ума, красоты и образованности. Они,

кроме того, обладают приятной полнотой и, разумеется, миллионами. Не трудно оценить всю важность, которую имеет изучение нравов, быта и адюльтеров замоскорецких купчих хотя бы только для отечественной этнографии. Далее, сделана попытка, преимущественно дамами-писательницами, открыть читателю все сердечные тайны скучающей вдовы, одаренной красотой, жаждой любви и обеспеченным состоянием. Несомненная трудность и сложность затронутого предмета не позволили пока довести до конца блестяще начатое дело, но, судя по первым шагам, дальнейшая разработка предмета должна обогатить современную дамскую психологию другими крупными и важными открытиями. Именно, намечен уже тот цикл чувств, среди которого вращается душа скучающей вдовы, но осталось совершенно невыясненным, какое отношение имеет вдова и ее скука к русской литературе?

Декаденты. Литература 80-х годов выделила между прочим из себя группу молодых писателей, которые без достаточного основания получили название декадентов, или „упадочников". Но с западными декадентами собственно эти русские молодые люди имеют очень мало общего. Западное декадентство—явление серьезное, почему и создало уже серьезные литературные явления, напр., поэзию Бодлэра. Его почва — общественное вырождение. Несомненно, что наша цивилизация, вообще говоря, богата всякого рода нечистью, грязью, болезнями, нищетой, отчаянием, неверием и т. д. Эти мутные воды должны иметь своих певцов и героев, и таким певцом был Бодлэр. Он обладал особенной чувствительностью к грязи жизни. Порою он прямо смаковал ее. Он бестрепетно шел туда, куда, быть может, не пойдет никто из нас. Он не отступал ни перед какими ужасами извращенности и падения. Он понимал все это, как что-то свое, близкое, но, окунаясь головой в грязь, он все же оставался благородной, эстетической натурой. Разумеется, он не выставил бы наружу с такой поразительной художественной яркостью всей грязи современности, если бы она не жила в нем самом, хотя бы в подпольях его существа, и если бы какой-то щупальцей своего существа он не любил ее.

Но наши „декаденты" увлеклись не этим, а скорее одной лишь формой молодой французской поэзии и ее вычурность, ее стремле-

ние к оригинальности, хотя бы чисто внешней, так сказать звуковой, словесной, довели до крайности. В их среде есть несомненно талантливые люди, напр., К. Д. Бальмонт. Но в общем ничего талантливого они не создали и если приобрели некоторую известность, то благодаря прямо таки диким литературным выходкам, удивительно похожим на пародии настоящего искусства. Такие стихи, как напр.:

День прошел в свободном славословьи,
Окна улицы в снегах я вскрыл,
Много было доброго, восторга и здоровья,
И себя я искренне, хоть первый миг, любил.
Ах! о том больное беспокойство,
Все ли сделано руками и умом—и т. д.,

едва ли могут быть причислены к поэзии и даже названы стихами. Но встречаются и еще более бестолковые произведения, что и заставляет некоторых предполагать, что так называемые декаденты нарочно и предумышленно создают дикие и даже юродивые вещи, чтобы хотя таким вот путем обратить на себя внимание. Литература тут собственно ни при чем или значит столько же, сколько вообще другие „приемы".

Про одного из наиболее юродствующих декадентов рассказывают, напр., следующее:

„Помню Александра Д—а гимназистом с большими черными глазами на выкате, с тихим голосом, мальчишески дерзкими словами, с тетрадкой тогда модных, бессмысленных и очень скучных стихов. В те молодые неустойчивые дни увлечений европейской игрушкой, только что выдуманной, у Д—а были товарищи, но для которых игрушка и была игрушкой, свойственной легкому (?) детству. Увлекались и отпали, пошли пробовать общаться с людьми по своим путям, и наносного в его стихах, словах, даже презрительности к чужим мнениям—тоже было мало. Впрочем, эта презрительность всегда есть и всегда искренна у людей, которые особенно горячо хотят высказать себя, подойти к другим. Ее надо понять и поверить ей, такой естественной, такой трогательной.

„Встречался мне Д—ов редко, потому что в самом деле производил неприятное, жалкое, досадное впечатление, а мы от таких впечатлений себя заботливо охраняем.

„...Рассказывали, что Д—ов чудит все более и более, хотя при этом много читает и много работает. Чудачества его носили самый разнородный характер: то были детски-невинны и наивны, то опасны. Он оклеивал потолок своей комнаты черной бумагой и *убеждал молодых девушек убивать себя.* Письма он писал дикие, ни на что не похожие, без обращения, изломанным почерком и точно подделываясь под бред. Его стихи попрежнему были и не талантливы, и

тягостны. В последнее мое свидание с ним, ранним осенним вечером, в чужой комнате, он вел себя тоже странно, говорил как будто не то, что ему хотелось, и лицо у него было измученное и дикое — лицо человека в последнем отчаянии, Но и тогда он был неприятен, досаден,—хотелось уйти от него с брезгливостью. с сознанием своей правоты“...

Дальше опять любопытные строки:

„Года три тому назад он ушел из литературы, из университета, из Петербурга, от матери, одетый по-страннически, замолчавший и дикий. Говорят, что он долго жил в каком-то далеком монастыре, работал, как послушник, носил вериги, хотя и не постригся. Через год он пришел в Петербург пешком, был у товарища. Товарищ говорил, что вел себя Д—ов странно: сидел на полу, пел псалмы или молчал. На юродивого, впрочем, не походил, а так, молчал, не желая говорить. Денег у него не было, — он питался милостыней. Спустя несколько дней, он снова ушел и где теперь, и вернется ли—неизвестно“.

Трудно разобраться где тут искреннее и настоящее, где искусственное, неизвестно для чего на себя наваленное? Так и в произведениях наших декадентов. Но все же есть в них нечто от эпохи и ее настроение взятое. Есть, напр., отрицание общественных целей искусства, есть стремления возвести его в сущность самодовлеющую, есть желание отделаться от того шаблона, который все еще тяготеет над нашим творчеством. Но—увы—все это лишь намеки, все это лепет; пока ничего яркого и талантливого...

Новые веяния. 80-е годы прошли под высоким давлением интересов общественного спокойствия, которое понималось исключительно в том смысле, какой придавал ему Катков. Реакция восторжествовала по всем пунктам. На ряду с очевидным, хотя и временным, быть может, крушением всех надежд 60-х и 70-х годов высокое давление заставило личность уйти в себя, сосредоточиться на задачах собственного нравственного совершенствования или на вопросах религиозно-метафизических. Тоска искания— это истинное божество нашей литературы—пошла по руслу скептицизма, пессимизма, индивидиулизма и т. п.

Что вывело нас из этого тяжелого состояния, следы которого, конечно, все еще остаются в нашем духовном мире? Многое, конечно, и мне легко было бы перечислить это многое по пунктам, но я не могу затрагивать событий вчерашнего дня и ограничусь лишь указанием на то, что на сцену выступило новое обществен-

ное сословие. Во всяком случае явился некоторый просвет, некоторая надежда, навстречу которым пошла молодая и нарождающаяся литература. Но признаки наступающего возрождения заметны уже у Чехова.

Если он в равных своих произведениях, несомненно, склонялся в сторону подчинения действительности, в признании ее огромной непобедимой власти над отдельным человеком столько же, сколько над целыми поколениями, то теперь, не отказываясь от основной своей мысли („жизнь—сплетение мелочей, глупостей, случайностей“),—он дает все больший простор другому своему настроению, сущность которого порыв к свободе.

В одном из своих рассказов („Крыжовник“) 1900 г., Чехов высказывает такую вот мысль, которой, очевидно, он очень сочувствует и которую ценит. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а *весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа*“.

Я бы поставил эти слова эпиграфом ко всему написанному в последнее время Чеховым.—Это—лучшая критика той жизни, которую он изображает. Человеку нужны весь земной шар, вся природа, все откровения мысли и творчества, а ему, как трупу, отводится три аршина. На самом деле сколько аршин пространства отведено героям „Трех сестер“ или „В овраге“? Ровно столько, чтобы они каждую минуту натыкались на глухую стену, чувствовали при каждом движении что-то тяжелое, придавившее их, как земля покойников, и задыхались с убийственной медленностью. Какова же должна быть жизнь, которая их окружает?

Я бы так формулировал идею Чехова: „тусклая, бедная духом жизнь создает лишь тусклых, бедных духом людей. Если же случайно проявится среди этой скучной толпы человек, лучше одаренный и носящий в себе божью искру героического порыва, жажды подвига и совершенства, то болото, рано или поздно, все равно, затянет его,—это необозримое болото всякой пошлости, невежества, хамства и рабского духа. Человеку, чтобы он мог проявить все богатства и все разнообразие своего духа, нужна вся земля, вся природа, а не тот крошечный клочок знания,

мысли, свободы,—словом, не те три аршина земли, которыми его наделяют, как труп, в настоящее время".

Это не весело, но это гордо, требовательно и не безнадежно.

Выясняя социологическую почву, на которой Чехов рисует свои жизненные драмы, мы находим, что эта почва—бедность и „разорение". Подкладка этих драм, скажу еще раз, в том, что озябший, голодный, больной человек должен всю свою жизнь вести непосильную борьбу с обнищавшей и расхищенной природой и разрушать все последнее, что попадется ему под руку, потому, что ему, под угрозой голодной смерти детей, нельзя и думать о завтрашнем дне, об устроении и созидании жизни. Дело тут в опустошенной, расхищенной природе и в опустошенной, тоже „расхищенной", душе человека, коснеющего в нищете и невежестве, ошалевшего и ополоумевшего от нищеты, невежества, угроз завтрашнего и голодного дня. Все было в прекрасной и богатой природе, а теперь ничего нет; все водилось, а теперь все растащено и расхищено. Целые уезды точно повторяют собою картины прошлого после нашествия татар. У такой жизни может быть только один герой, которому и книги в руки, который все и всех побеждает,—это хищник.

С этой точки зрения Чехов гораздо больше поэт нашего разорения, чем, например, Гл. Успенский, потому что у Успенского была еще вера в целостность, красоту и силу народной жизни и кое-какие, хотя бы самые маленькие, факты для подтверждения этой веры. У Чехова же ничего подобного нет. Он уже с тоской видит перед собою одно пустое, голое место. Что хищник пришел,—это было ясно уже в 70-е годы, но тогда верили, что народническая идея может победить его. Что хищник пришел, расплодился и окреп,—это твердо знали 80-е годы, но не видели никакой идеи, которую бы можно было противопоставить ему. Их настроение было серым и смутным, и это-то настроение ярко выразилось и продолжает выражаться в произведениях Чехова, но уже с преобладающим оттенком порыва и свободолюбия.

Резюмируя все вышесказанное, я думаю, что Чехов был слишком даже сильно захвачен эпохой 80-ых годов, а эта эпоха могла внушить мыслящему человеку очень мало утешительного насчет близости той поры, когда человеку будет предоставлена возможность проявлять все богатство и разнообразие своего сво-

бодного духа. Он видел крушение всех народнических надежд, а вместе с тем и крушение того высокого духа, которым они сопровождались. Волны, начавшиеся еще с 60-ых годов, отхлынули и открылся голый песчаный берег. Мель с каждым днем становилась все больше, все заметнее, и общество довольно-таки спокойно усаживалось на нее. Вместо под'ема духа на сцене оказался карьеризм, шовинизм и прочие измы, которые, конечно, не могли радовать чуткую душу. Пошли и дальше в сторону старательного оплевания недавнего прошлого и той откровенной наглости, духовного цинизма и распущенности, которыми вообще отличалась та милая эпоха. Все заснуло, и как было не признать поколение „обреченным", —термин, который, кстати сказать, очень любит один из героев Чехова. В это время и хищник, не встречая уже никаких препон и препятствий своему поведению, заработал на славу, во-всю, не презираемый уже как накануне, а возвеличиваемый и одобряемый. Он творил свое дело, как бы даже священнодействуя, как бы сознавая, что он преследует некоторую важную общественную задачу—оздоровления корней, укрепления основ и пр. Он стал персоной и, снося леса, обмеляя реки, засыпая песком степи, чувствовал себя человеком момента, чуть ли даже не государственным мужем и был важен „в сорок пуд", без поклона принимая воскуряемые ему фимиамы. Литература, кроме цинизма, шовинизма, всякого рода предательства и хамства, выработала себе тот чахлый тщедушный индивидуализм, которым отличается русский индивидуализм вообще, так как до настоящего индивидуализма мы, строго говоря, еще очень и очень не доросли. Но время было такое, что и это принималось за „нечто" и мнило о себе со смешной напыщенностью, ребяческим самодовольством и надменностью. И никто, никто не бросил в то время в лицо всем этим господам „стих, облитый горечью и злостью". Все это закончилось мутной струей бездарного декадентства, по поводу которого будущему историку с удивлением придется отметить тот лишь факт, что и *на него* обращали внимание, и с ним считались!.. Все это, вместе взятое,—и оздоровление корней, и странный русский индивидуализм, и хищничество,—создало полную разрозненность людей, полное их духовное одиночество. Чуткому человеку трудно было не проникнуться этими ежедневными и уныло однообразными впечатлениями жизни, нельзя было

не признать и их стихийности, и могущества. Они на самом деле распоряжались жизнью людей по собственному усмотрению, неизвестно как вторгались в их судьбу, все сокрушая на своем пути. И Чехов проникся...

Но проникновение проникновению рознь. Одно проникновение отличается характером несколько легкомысленным, но все же жизнерадостным. Оно признает, что факт есть факт, обстоятельство есть обстоятельство, а обстоятельствами надо пользоваться. Другое проникновение есть одинаково признание факта, но с полным отрицанием его разумности, ценности его нравственного содержания. Какого рода проникновение Чехова,—мне нечего даже и говорить, ибо никогда, ни в начале, ни в конце он не был в стане ликующих, в стане праздно болтающих.

Когда вы берете его произведения в их целом, вы не можете не заметить из фразы, из стиля, из содержания той грусти и даже тоски, которая разлита по ним, той глубокой жалости к людям, которая заставила одного из его героев сказать: „Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные“; или: „Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живо мыслящий человек, стою над рвом и жду, когда он зарostет сам или затянет его илом в то время, как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки *во имя чего* ждать, ждать когда нет силы жить, а между тем *жить нужно и хочется жить*“.

„Жить нужно, хочется жить“,—но какая же жизнь возможна при трех аршинах, отведенных человеку, а вы поймите, что „человеку нужна вся земля, вся природа, чтобы он мог проявить все богатства и все разнообразие своего свободного духа“.

И выразителем этой, все расширяющейся и негодующей жажды жизни явился „новый человек“—Максим Горький.

М. Горький (Характеристика). Успех произведений Максима Горького достиг в настоящее время той степени, когда он обратился в любовь и даже по русской национальной привычке—в поклонение. Горького читают решительно все классы общества,

от высших до низших; издаваемые им повести и рассказы раскупаются нарасхват; многие смотрят на молодого писателя, как на учителя жизни, и ждут от него горячей положительной проповеди, которая рассеяла бы недоразумения прошлых двух десятилетий и вывела бы, наконец, вечно мятущуюся русскую интеллигенцию на прямую дорогу. Оттого-то с таким восторгом было встречено начало (единственного неудачного) произведения Горького „Мужик“, читатели, судя по первым главам, думали, что здесь они найдут, наконен, ответ на тревожный вопрос: „что делать“?.

Для очень и очень многих успех Максима Горького был полной неожиданностью. Этот успех создался внезапно (1898—99 г.), как-то сразу и вырос до больших размеров просто и легко. Этот успех—точно красивый цветок, распустившийся в одну ночь и поражающий всякого своим великолепием. И в то же время нельзя не чувствовать, что этот успех не имеет в себе ничего случайного и легковесного, что Горький заставляет звучать в душе читателя такие струны, которых давно уже не удавалось с одинаковой силой затронуть ни одному писателю: это чисто русские струны босячества, „отчаянности“, неукротимой удали и несомненного презрения к благам мира. Оттого-то знакомство с произведениями Горького особенно интересно. Значение их далеко не исчерпывается одною художественной стороной (которая, как бы высока она ни была, все же не могла бы обратить на себя такого внимания): оно шире и глубже. Горький, по моему мнению, бросил проницательный взгляд в глубочайшие тайники нашего невоспитанного, полуевропейского полуазиатского русского духа; он увидел, что, несмотря на двухвековую жестокую дрессировку государства, несмотря на европейское образование, несмотря на наседающий на нас капитализм и дисциплину его строя—бродяжнические и мистические мотивы старой русской истории и общеславянская наклонность к меланхолии, созерцанию, к безшабашному разгулу, сменяющемуся полной прострацией покаяния, еще не исчезли в нашей русской душе, живут в нас хотя бы подавленные и забитые, и их, вероятно, замирающий голос дает себя чувствовать особенно сильно теперь, когда усиливающийся капитализм дружно и жестоко принялся за окончательную муштровку русского духа и русской натуры, которым история не без основания, а также и не без иронии присвоила эпитет широких.

Но на первом плане, конечно,—эта жажда жизни и свободы, этот крик человека, чувствующего себя в оковах и путах, этот анархизм мысли и настроения, не признающий никаких властелинов, никакого стеснения, тут протест и проклятие, тут переоценка всех ценностей; тут вызов, брошенный человеком, сознавшим свою личность, силе всех сильных и самодовольству всех власть имеющих. Теперь „Горький для многих откровение, сила вдохновляющая, когда он показывает, что жить не страшно тому, кто не считает за жизнь обстановку, которой мы окружили себя, и кто помнит, что, прикрываясь ложью, мы часто придуманное нами выдаем за необходимое“. Жить надо начинать одним отрицанием,—говорит Горький,—потому что все, что мы признаем, в сущности, давно уже сгнило.

Горький, конечно, вышел из Толстого, нашего величайшего русского и притом типичного русского писателя. Толстой очень рано узнал и понял, что наша жизнь есть ложь и насилие. Он понял, и то, что мы живем и можем жить лишь на счет другого. Он понял сколько остроумия, жестокости и хитрости должны мы тратить на то, чтобы заставить другого работать на себя. Он постиг весь разврат и хищничество нашей культуры и проклял ее... Но не смотря на всю странность проклятия, культура всю жизнь преследовала и продолжает еще преследовать его. Он не знает, что с ней делать. Он так и чувствует ее огромную стихийную силу. Он склоняется даже к компромиссу. Он зовет к мужику, к опрощению. Но не значит ли это из одной стадии культуры и цивилизации перейти в другую? Многое мешает Толстому решительно покончить с этим вопросом, и только Горький не побоялся во всеуслышание сказать то слово, которое, быть может, всю жизнь вертелось на языке у Толстого. Горький разрубил тот Гордиев узел, который Толстой напрасно старался развязать. Если культура ложь и закабаление человека, то очевидно, что все ее соблазны и блага не стоят минуты воли. Надо уйти от нашей культуры не в другую культуру, разумеется,—а в степь, в босячество, в отказ от всех соблазнов и отречение от всех обязательств. Он показал природу и волю—эти два великих начала, по которым всегда томится дух человека, как бы глубоко ни ушел он в условность, ложь и форму. Он показал нам своего босяка, и мы задумались над этим смелым, удивительно художественно нарисованным обра-

зом, задумались потому, что спросили себя, на что же собственно променяли мы эти великие блага и радости жизни—свободу и волю? И вот—десятки и сотни тысяч обремененных и труждающихся с жадностью и очарованием вдыхают свежесть давно неслыханных слов и смеются над тем, что, изучив многое, не постигают простой истины, что счастье человека только в таком развитии своих духовных и физических сил, которое не давит других. На книги Горького набрасываются массы, потому что он дорог им, только что просыпающимся к жизни, он им раскрывает глаза на то, чего они в сущности хотят.

Личная жизнь Горького—очень интересная и романтическая даже в общих своих контурах—не могла не закрепить в его душе мотивов, которые он так художественно и с таким успехом разработал. Это жизнь босяка, бродяги, русского неудачника—пролетария, неожиданно для всех оказавшегося на вершине славы. Несколько отрывков из его коротенькой автобиографии значительно облегчат мою задачу характеристики его героев и его творчества, почему и привожу их. „Родился я,—пишет Горький,—14-го марта 1868 года в Нижнем-Новгороде, в семье красильщика Каширина от дочери его Варвары и мещанина Пешкова, по ремеслу обойщика. С тех пор с честью и незапятнанно ношу звание цехового малярного цеха... Отец умер в Астрахани, когда мне было 5 лет, мать в то же время умерла в Канавине. По смерти матери дедушка отдал меня в магазин обуви; в ту пору имел я 9 лет от роду и был дедом обучен по Псалтири и Часослову. Из „мальчиков“ сбежал и поступил в ученики к чертежнику,—сбежал и поступил в иконописную мастерскую, потом на пароход в поварята, потом в помощники садовника. В сих занятиях прожил до 15-ти лет, все время занимаясь усердно чтением лубочных произведений неизвестных авторов, как-то: „Гуак, или непреоборимая верность“, „Андрей бесстрашный“ и т. д. На пароходе, когда был поваренком, на образование мое сильно влиял повар Смурый, который заставлял меня читать жития святых, Эккартгаузена, Гоголя, Успенского, Дюма-отца и многие книги франк-масонов. До повара—терпеть не мог книг и всякой печатной бумаги до паспорта включительно... После 15 лет возымел

я свирепое желание учиться, с какою целью поехал в Казань, предполагая, что наука желающим даром преподается Оказалось, что это не принято, вследствие чего я поступил в крендельное заведение по 3 рубля в месяц. Эта самая скверная работа, из всех опробованных мною".

Но это уже последнее тяжелое испытание. Дальше призвание и случай сделали Горького писателем.

Перехожу теперь к героям его произведений. Собственно говоря это те же неудачники, те же лишние люди и талантливые натуры, не нашедшие применения своим талантам в жизни, к которым приучила нас прежняя русская литература. В сущности, это даже ее „излюбленные люди". Но у Горького они являются в несколько новом виде, а главное при совершенно новом освещении. Если условия нашей общественности создали особый интерес к бродячему и босому народу, то те же условия вызвали и особое отношение к нему, отношение глубокой жалости и сострадания, как к даром пропадающим силам, которым, разумеется, надо прежде всего школу и школу, чтобы они нашли истинное свое применение. Не спорю,—и жалость и сострадание — превосходные чувства, одинаково прекрасно стоят на страже интересов культуры и высоко держат ее знамя. Но оригинальность Горького прежде всего в том и заключается, что никакой в сущности жалости он к своим босякам не питает, никакого сострадания к ним не высказывает, никаких интересов культуры под свою защиту не берет, а, очень часто любуется ими, как цельными, искренними и „глубоко алчущими" натурами, нисколько не отрицая того, что они „очень злы", никаких общественных чувств не имеют и любви к ближнему не питают. Для нашей беллетристики это что то совсем новое, да—насколько я знаком с литературой вообще,—и не только для нашей. Это, если хотите, разнузданный, но удивительно привлекательный культ „свободы", это дерзкий вызов, брошенный в лицо культурному обществу, одинаково изолгавшемуся в своих добродетелях и пороках, это живой вопрос нам: „Почему вы так довольны собой и в то же время так боитесь всего, точно совершили какое-нибудь преступление"?—и в этом вопросе слышится упрек и негодование.

За такое свое отношение к босому народу Горький не раз подвергался упрекам со стороны критики, вообще говоря, очень

и очень к нему расположенной. Его винили в том, что он идеализирует и разукрашивает своего босяка, приписывает ему такие мысли и чувства, которых тот в действительности не имеет, хочет выставить его светочем и носителем правды. *Отчасти* все это, разумеется, есть, но только отчасти. Правда в том, что Горький совсем не в восторге от успехов культуры и цивилизации. К интеллигенции он относится с нескрываемым презрением и с особенным удовольствием выставляет на вид ее духовную дряблость, пошлое и низкое самодовольство, ее безнадежную трусость. Еще с большим презрением относится он к идеалу мещанской сытости, размеренного и уравновешенного существования, как ил затягивающего человека и оставляющего простор лишь его инстинктам стяжания. И эти мещане-интеллигенты, и эти просто мещане для Горького, прежде всего, представители того великого тормаза и тех великих пут, которые он называет страхом жизни, отнимающим от человеческого существования самое красивое и ценное, что в нем есть—героизм и свободу. Видя в босяке, прежде всего, человека, освободившегося от этого гнетущего, мучительного, позорного страха перед жизнью,—Горький решительно становится на его сторону и, обращаясь к мещанам, говорит: „трусы вы"...

Порою смотрит он на своих героев не только как на обездоленных и обиженных жизнию, но и как на людей с высшими запросами, не удовлетворенных действительностью. И они готовы жадно ухватиться за всякую мечту, за всякий призрак, за всякую иллюзию, способную дополнить их жизнь и дать выход их целомудренным (да, даже целомудренным) и религиозным требованиям. На эту тему Горький написал один из своих лучших и красивых рассказов „Двадцать шесть и одна". Запертые в темном и сыром погребе, отданные в кабалу очертевшей им работы, люди все же не забыли, что они люди, и они, из'еденные сифилисом, чесоткой и всякими другими грязными болезнями, нуждаются в луче света, который осветил бы их мрачную жизнь, и, найдя этот луч в лице бедной швейки, окружают его чисто религиозным поклонением, целомудренно оберегают его в самых мечтах своих от всякой грязи. Это настоящий культ Мадонны—Marienkultus. И когда Мадонна оказывается самой обыкновенной швейкой, когда пошлость жизни срывает с нее венок девственности—сколько тоски, страдания и злобы пробуждается в обиженных душах этих отверженных.

Ясно, значит, что перед вами люди с высшими запросами.

„Зачем“ и притом очень серьезное „зачем“ глубоко засело в их сердце. В сущности все сводится к этому вопросу и притом у таких разнообразных и даже противоположных натур, как Коновалов, Фома, Гришка Орлов, Мальва...

„Мальва посмотрела на него и опять спросила:

„— А тебе хочется книжки читать?

„— Мне? Нет. Чего там?

„— А я люблю... вот и теперь выпросила у приказчиковой жены книжку и читаю.

„— Про что?

„— Про Алексея, божия человека“.

„И задумчиво рассказав ему о том, как юноша, сын богатых и важных родителей, ушел от них и от своего счастья, а потом вернулся к ним нищий и оборванный, жил на дворе у них вместе с собаками, не говоря им до смерти своей, кто он, Мальва тихо спросила у Якова:

„— *Зачем* это он так“?

Возле этого вопроса вертится вся босяцкая философия. Каждого из них интересует, прежде всего, зачем и почему стал он босяком, что оторвало его от людей и мира, что заставило утерять свою „точку“, порвать все привязанности, голодать и холодать вместо того, чтобы жить сытым и в тепле. Ответа они не находят или находят ответы, не удовлетворяющие их самих: до того они неопределенны и даже несуразны. Но люди гордые, очень высоко ставящие свое личное „я“, они ничуть не расположены пренебрежительно относиться к тем мыслям, которые беспокоят их буйные головы. Они рассуждают и очень настойчиво рассуждают, возвращаясь все к тому же пункту: „почему и зачем“?

И несомненно, что утомленный унылым однообразием окружающей его обстановки, давая полный простор владеющему им героическому одушевлению,—потому что красоту жизни Горький видит лишь в героизме и героических порывах—Горький идеализирует своего босяка.

Но и для него босяк—не выход, не идеал и, в сущности говоря, ровно ничего привлекательного в нем нет. И если Горький

так приподнимает его, то лишь потому, что видит в нем мятежный и непримиримый дух человека. Его-то он в сущности описывает, его любит, им восторгается. И на это, конечно, он имеет полное право, потому что реальный босяк, строго говоря, пропойца, а мятежный дух, сидящий хотя бы в пропойце, не то, совсем не то...

И здесь, в этом „не то", в наше мещанское или „обмещанивающееся время все безумие и все очарование романтизма вступает в свои права. Смотря на этих людей, отрешившихся от страха жизни, развязавшихся с самым неотвязным—с привычкой, вы забываете об их жестокости, себялюбии, этой жажде жизни, не останавливающейся перед страданиями другого, об этом полном отсутствии общественности... — вы просто довольны тем, что на вас пахнуло струей свежего воздуха, и вы увидели призрак свободного собрата... Это ничего, что перед вами люди ободранные и в лохмотьях, это ничего, что у них ни кола, ни двора, что они знать не хотят ничего прошлого в жизни, не оберегают его, считают его даже какой-то помехой для себя. Они привлекательны прежде всего жизненной неустрашимостью и это в наши дни, когда на лбу у всех написано: „если хочешь жизнью жуировать — смотри в оба", когда страх, мучительный и принижающий, страх потери всего, рано или поздно неизбежной, преследует каждого из нас от колыбели до могилы. У этих отверженных нет места для страха иудейска в душе, нет унижающей заботы о будущем; они постигли великое искусство брать у настоящей минуты все хорошее, что в ней есть, не отравляя ее страхом пресыщения или потери. Среди общего хамства они высоки в своей дерзости.

И потом—эта властность их натуры, этот их аристократизм, это высокомерное презрение к благам мира. Ведь, как хотите, а в рассказах Горького, по крайней мере, они вырисовываются на какой-то горной, холодной, почти недосягаемой высоте. Они непобедимы: никакой жизненный соблазн не подкупит их, никакая сила не склонит их перед собою, не вырвет у них слова лжи, неправды и лицемерия; ничто их не пугает. Им нечего терять: у них все в себе, в этом цельном духе, постигшем все ничтожество жизни, все ничтожество и мучительность человеческих привязанностей. Они видят вокруг себя то трусливую, то ожесточенную

борьбу за радости бытия, видят торопливо бегущих и суетящихся людей с лицами, искаженными жадностью, злобой, завистью, и горделиво стоят в стороне, полные высокомерного презрения.

И они живы, между прочим, и этим своим превосходством над трусами и лицемерами. О чем они мечтают? Многие ни о чем, а просто едят, когда хочется есть и когда находится что под рукой, спят, когда спится, говорят с людьми, когда хочется говорить, и молчат, когда говорить не о чем. У других внутренний мир деятельнее. Коновалову хотелось бы забраться на необитаемый остров и жить так, как жил Робинзон Крузоэ; Мальве— улечься на дно лодки и плыть, плыть неизвестно куда и зачем, по воле ветра и волн; мрачное воображение Григория Орлова рисует ему картины общей свалки и суматохи, среди которых он почувствовал бы себя так привольно, как нигде. И, конечно, много бы босяков — этих злых, самолюбивых и мстительных людей, людей, во всяком случае отмеченных печатью если не дарования, то все же некоторой исключительности натуры — пошли бы за ним. Но большинство, повторяю, ни о чем не мечтает, потому что рядом с порывистым и мятежным духом у героев Горького слишком смутная, неокрыленная и ленивая мысль. То усталые, то добрые, то сытые или голодные, бредут они по дороге жизни, стараясь не заглядывать в будущее дальше ближайшего ночлега, не видя даже никакой надобности заглядывать в него. Все дело, совершонное ими,—в прошлом: в минуте отказа от упроченного существования. Быть может, вся эта минута вылилась в одном мгновенном порыве, в нежелании оттолкнуть от себя водку; но все равно: босяком может быть только тот, кто этот отказ принял для самого себя на всю жизнь и сжег все свои корабли, не чувствуя к ним даже сожаления.

Но положительного во всем этом ничего нет. Это лишь крик протеста гордого и свободолюбивого человека, каким и является Горький в своих произведениях—крик, полный скорби и ненависти.

Я спрашиваю себя, факт ли это и огромной ли это важности факт, что является писатель, одаренный большой чуткостью по части всех современных веяний и обладающий в то же время первоклассным художественным дарованием, и смело восстает против мещанской проказы. мещанской приниженности духа, ме-

щанского самодовольства и говорит: не в том счастье,—отвечаю: „да, этот факт заслуживает всестороннего и любовного рассмотрения“, потому что сущность лирических поэм и влияний Горького в том, по моему убеждению, и заключается, что в них гордый и мятежный дух человека не хочет примириться с потерей своего достоинства ради чечевичной похлебки и всех соблазнов мещанской культуры, и, как проклятый (le damne) Боделера, говорит свое „je ne veux pas“ перед дверьми мещанского рая, куда (о, ирония!) его всяческими способами стараются водворить, как в какую-нибудь черту оседлости. Напрасно говорят ему: „там тебе будет тепло, хорошо и уютно, там найдешь ты покой и довольство, сытный стол, пожалуй, даже вегетарианский, если у тебя расстроена печень или не совсем спокойна совесть, физическую работу за верстаком или сапожной табуреткой, чтобы укрепить твои дряблые мускулы и приблизить к первоисточнику жизни, т. е. труду народа, масс; там найдешь ты любящую супругу, всегда ласковую, всегда беременную и ухаживающую за тобой и детьми, как преданная нянька, моющую тебя, одевающую и причесывающую,—там найдешь ты почет и уважение ближних“,—проклятый отвечает своим—„не хочу“.

Это „не хочу“ у Горького воплотилось в конкретном, ярком, полном трепета крови и мощи образе босяка. И я думию, что этот босяк—греза, мечта, образ чисто лирический, созданный тоской и обидой, накапливающимися в душе под влиянием современности, созданный злобой на ложь, пошлость и лицемерием, серым, промозглым туманом, окутывающим наши думы и все наше бытие. В полную, этнографическую реальность этого босяка я не верю, как не верю в реальность романтическнх типов вообще и „человека, который смеется“, и „Жана Вальжана“, и Квазимодо. Но дело тут не в реализме, а в богатом идейном содержании образа, его манометрическом указании той огромной силы давления, которая выносит дух современного человека от тяжестей мещанской культуры. И этн давление делает человека приниженным и трусливым или просто гаденьким или же узколобым прямолинейным хищником.

Марксизм. Утерянную нами в 80-ые годы догму нам опять-таки дал Запад в виде марксизма. Марксизм—это не просто учение Маркса и миросозерцание, построенное на нем, так как Маркса знали у нас раньше, штудировали его в высшей степени старательно и поклонялись ему. Книга его „Капитал“ была одним из камней краеугольных человеческого мышления в глазах народнической интеллигенции 70-х годов. Но тогда в Марксе видели, прежде всего, идеолога западно-европейского строя, великого ученого, раз'яснившего и истолковавшего путь западно-европейского экономического развития и его необходимое будущее. Россию отделяли; ей предназначалась другая дорога, по которой она придет туда же, куда придут и народы Запада, но проще, легче, быть может, даже скорее, так как, опираясь на устои народной жизни, т. е. на общину, кустарную промышленность, артель и т. д.—она в состоянии избегнуть стадии промышленного капитализма. Теперь же не открыли Маркса, а постарались применить полностью его учение и к России. Стали утверждать и доказывать, что капитализм неизбежен и для нас, что волей неволей мы должны будем побывать в его науке. Особенно ярко эта мысль была проведена в двух книгах: „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“ Н. Бельтова и „Критических заметках“ П. Струве.

В известном смысле марксизм можно назвать еще шагом вперед по пути развития западнической идеи. Здесь уже полное и всестороннее отрицание нашей самобытности, здесь полная покорность перед игрой стихийных сил, предопределивших Западной Европе „свариться в котле капитализма“, пережить господство третьего сословия. И для нас то же самое. Вот что утверждали вначале русские марксисты.

Первая стадия нашего марксизма была резко полемической. Шла жестокая борьба с уцелевшими остатками народнического миросозерцания и его живыми представителями. Полемика эта выяснила, что народничество своей позиции сохранить не может, что сила вещей и ход истории, т. е. факты жизни, ее цифры против его надежд, упований, против его утопизма, что его герои—мечтатели, возлагавшие на русскую интеллигенцию, как передовой отряд русского народа, непосильные и неисторические задачи.

Капитализм растет. Экономическая жизнь народа слишком слаба, слишком низенькая, чтобы она могла противопоставить этому росту какие-нибудь серьезные препятствия. Самая эта жизнь идет не тем путем, как мечтали народники, а диаметрально-противоположным—не в сторону развития общинных начал, а в сторону индивидуализации, которая восстает уже и против порядков, и против власти „мира", и против круговой поруки и т. д. На ряду с этим все большее и количественное, и качественное значение получает новый слой общества—фабрично-заводское население, четвертое сословие, как его называют на Западе.

Вне своих естественных и неизбежных увлечений, марксизм несомненно, был или, по крайней мере, старался быть возможно *реалистичным*, т. е. опираться на факт жизни и цифровые данные „силы вещей". В этом его значительнейшая поправка к народническому миросозерцанию. Не то чтобы народничество игнорировало факты—нет. Но при своей вере в силу критической личности оно за самыми малыми исключениями (особенно труды Н.—она) или не представляло себе их действительной силы и значения, или опиралось лишь на те, которые говорили в его пользу (особенно г. В. Воронцов), или представляло их в такой общей форме, что их *идея* оставалась совершенно скрытой для читателя. Напр., вместо формулы: „капитализм развивается" народники любили говорить: „чумазый идет", при чем словом чумазый ясно выражали некоторое свое пренебрежение.

Но реализм, факты и цифры в деле истолкования народной экономической жизни, необходимо выдвинул на первый план огромный и трудный вопрос о роли критической личности в истории. Этот вопрос и в наши дни стоит еще на очереди, так что укажу лишь его исходные пункты.

60-ые и 70-ые годы прошли под *знаком* теоретического господства идеи о могуществе, а иногда о решающем значении роли критической личности в ходе исторического развития. Разумные оговорки и как бы предупреждения, сделанные в этой области основателем доктрины в „Исторических письмах"—были забыты. Несомненно, что г. Михайловский своею борьбой за индивидуальность, своей абсолютной нравственностью особенно способствовал этому. При проповеди героизма, вообще говоря, неудобно настаивать на ограничениях влияния личности. Низведя социологию к

искусству, путем критической работы мысли, обеспечить счастье всех людей здесь на земле, г. Михайловский тем самым упразднил социологию как науку, а вместе с ней и научное об'ективное отношение к жизни (суб'ективный метод социологии).

Появление и успех марксизма доказали, что сила вещей, ход истории, как нечто независимое от личной воли человека, дали себя знать. Увлекаясь именно этой стороной общественных явлений, марксисты (на первых порах) совершенно отрицали какую бы то ни было роль личности в истории. Личность—это *quantité négligeable* (социологическая величина, которой можно пренебречь) и „величайшая ошибка полагать, что думает человек“—вот формулы, наиболее отвечавшие их настроению. Реализм мышления, усталь общественного духа, среди которого они выросли, воистину печальное крушение народничества и его идеалов,—все это заставило духовно прилепиться к вышеприведенным формулам.

Кто же действует в истории, если не личность? Классы общества, т. е. экономически и социально однородные группы людей,—отвечал марксизм. Кто же думает, если не личность? Опять-таки думает, прежде всего, класс, сословие, при чем его мысль—простое, теоретическое выражение его интересов. Эти интересы (борьба за право, за преобладание, за удержание господства и т. д.) создают или определяет его религию, его философию, его нравственность, его политическую программу.

Словом, решив вопрос о ходе экономического развития, марксисты перешли к другому, труднейшему—к вопросу о свободе и необходимости, который и стоит теперь на очереди. Смерть журналов „Новое слово“, „Начало“ и „Жизнь“ остановила теоретическую разработку марксизма едва ли не на самом интересном месте, как раз в том, где он разделился на несколько течений. Это разделение, а также и смерть журналов дали повод многим неосторожным публицистам заявить с очевидным торжеством и злорадством, что марксизм умер. В эту смерть мне не верится, так как под влиянием Бернштейна от марксизма отделились самые ненадежные элементы, те самые, о которых давно сказано, что сверху на душе лежит у них всегда сказанное последней книгой. Но марксизму собственно нет решительно никакой причины умирать.

Текущая литература.

Здесь я опять пользуюсь случаем, чтобы повторить сказанное мною выше; отдельные лица, строго говоря, для меня не существуют,—для меня существуют лишь общественные настроения,—настроения общественной мысли, точнее говоря,—насколько они отразились в литературе. Отдельное лицо в литературе, тем более в литературе художественной—предмет в высокой степени важный. Для истинного критика его творческие приемы представляют из себя вещь ценную в себе. Он изучает их как нечто самодовлеющее. В глазах историка литературы индивидуальности сглаживаются. Он видит перед собой направления, группы однородных талантов, видит власть традиции, психологию классов, видит постепенное нарастание идеи путем чуть ли не бесконечно малых приращений—изменений. Талант для него лишь яркий выразитель известного момента в развитии идеи и только. Для него, однако, не всегда интереснее тот, кто талантливее, а часто тот, кто характернее,—иногда просто раньше высказавший известную мысль и раньше пустивший ее в обращение. Если читатель согласен со мною в этом, то он поймет, почему, напр., я не говорю о таких крупных художниках слова, как Мих. Н. Альбов или В. Г. Короленко, о таких симпатичных дарованиях, как К. Баранцевич или Е. Чириков, о многих прекрасных трудах наших женщин писательниц, среди которых г-жи Шабельская, Леткова, Вербицкая, Микулич, В. Крестовская и мн. др. давно приобрели себе почетную известность. Повторяю, в этом труде я совсем не претендую на роль критика. Правильно или неправильно, успешно или нет, но я преследую лишь цели историка литературы, которые по-моему имеют очень мало общего с целями критика. Я бы склонен был совсем разграничить оба эти „ремесла“—одно преследующее задачи преимущественно психологические, другое—социологические, но знаю, что практически это почти неосуществимо.

Возвращаясь, однако, к теме, обозначенной в заголовке этой статьи, повторяю, что если я не говорю о многих крупных представителях текущей литературы, то никак не из пренебрежения к ним, а потому лишь, что они своим намерением или направлением подходят—в большей или меньшей степени, разумеется—под данные мною выше групповые характеристики.

Я, впрочем, давно уже говорю о текущей литературе, так что формально имел бы полное основание и не выделять этой особенной главы. Живы и работают еще многие деятели 60-х годов (гг. М. Антонович, К. М. Станюкович, Бажин, Засодимский и т. д.) еще больше, разумеется, живых и работающих из писателей семидесятников; литература 70-х годов почти вся на-лицо и в большинстве случаев все еще подает надежды. Не мало новых деятелей, выступавших на сцену в последнее десятилетие, а один из них—Максим Горький, по своему влиянию сравнялся уже с первоклассными дарованиями прежних эпох. Но все же отдельные имена из области текущей литературы мало что могут сказать читателю, потому, во-первых, что она безбрежна, потому, во-вторых, что очень разбросана. Разбросана, так как, повторяю, ни своего центра, ни своей идеи она еще не нашла. Я лично нисколько не сомневаюсь, что этой идеей может быть лишь та же миссионерская и освободительная цель и задача, которая создала литературные эпохи 40-ых, 60-ых и 70-ых годов. Благодаря разбросанности, впечатление получается пестрое, до такой степени пестрое, что от него рябит в глазах. Ничего равного по значению деятелям прежних эпох современная литература представить не может. Но из этого совсем не следует, что ее надо игнорировать. Напротив: свое небольшое дело она делает, хотя и мало в ней, вообще говоря, темперамента, мало веры, мало убежденности, не может она ответить на самые насущные вопросы современного человека. Эту небольшую главу мне хочется посвятить тому ее течению, несомненно, преобладающему и даже в подавляющей степени, во главе которой стоит П. Д. Боборыкин.

П. Д. Боборыкин (род. 1836 г.). Он—отдельное настроение, вернее—отсутствие его. Он занимается—и при том с большим талантом, знанием, искусством—делом большинства современных литераторов,—делом, которое может быть названо беллетристической регистрацией жизни. Здесь задача художника не в том, чтобы возводить действительность и идеалы в перл создания, и не в том, чтобы давать художественные образы, а в том, чтобы следить за жизнью, не упускать из вида ее движения и держать читателя au courant всего совершающегося в ней. Такая задача

могла стать задачей литературы лишь под влиянием газет и французской натуралистической школы, об'явившей своей целью—протоколировать действительность. И к этой задаче г. Боборыкин приспособлен лучше всякого другого.

Злые слова Тургенева о Боборыкине общеизвестны. Вот что писал Тургенев Салтыкову еще в 1882 году: „То, что вы пишете мне о Боборыкине, меня не удивляет. Я легко могу себе представить его на развалинах мира, строчащего роман, в котором будут воспроизведены самые последние веяния погибающей земли. Такой торопливой плодовитости нет другого примера в истории всех литератур. Посмотрите, он кончит тем, что будет воссоздавать жизненные факты за пять минут до их нарождения“.

Это очень зло, и в сущности все, кто писал о Боборыкине, только повторяли слова Тургенева, забывая при этом спросить себя, действительно ли это так дурно, как кажется с первого взгляда? Дурно? хорошо?—„Ça dépend“... как говорят французы, потому что есть литература и литература.

Возьмите, напр., лист газеты или книгу журнала, положите рядом с ними сочинения Гоголя или Толстого и спросите себя, есть ли что-нибудь общее между этими двумя литературами? Общее, разумеется, есть (писано пером на бумаге, отпечатано, издано на потребу современников и т. д.)—но только с внешней стороны. Суть же, нутро, душа там и здесь разные. Здесь старинные, суровые правила: „напиши, положи на стол и продержи несколько лет, потом перепиши и еще раз перепиши, и так до семи и восьми раз, пока сам не будешь доволен, пока тебе самому не будет очевидно, что ни прибавить, ни убавить ты уже не можешь ничего“. Здесь мысль о возрождении людей, о влиянии на всю жизнь, здесь проповедь и подвижничество, молитва художника о спасении мира—там срочная телеграмма нашего собственного корреспондента, на лету схватившего, быть может, правду, быть может, ложь, и телеграмма, тоже нужная нашей жизни, тоже волнующая людей, тоже расширяющая пределы их бытия. Лично я не согласен остаться только с Толстым и Гоголем без газеты или журнала, но одинаково не согласен остаться с газетой без Толстого и Гоголя.

Представьте себе умного, европейски образованного и несомненно проницательного человека, который взял на себя задачу

писать на самом деле интересные, а порою и художественные корреспонденции о русской жизни в ее общих и важных проявлениях, и вы получите Боборыкина. И ясно, что вопрос не в том, насколько он ниже Толстого и Гоголя, а в том, как исполняет он эту свою задачу? А на этот вопрос двух ответов быть не может, потому что, как часто хорошо, часто недостаточно осведомленный, но всегда внимательный наш собственный корреспондент, Боборыкин великолепен. Равного ему в этой области у нас нет. Упрекать же его или недостаточно серьезно к нему относиться только потому, что рядом с ним есть Толстой, так же неосновательно, как пренебрегать пернатыми вообще, потому лишь, что существует птица орел, хотя и те и другой исполняют свое предназначение; один мощными когтями схватывает душу человеков, возносит ее к небесам и низвергает в пропасть, другие же ни высей, ни глубин жизни не знают.

Я вот шучу, а мне, право, не до шуток. Я еще понимаю, когда Тургенев, этот настоящий, огромной глубины аристократ литературы, как будто свысока говорит о Боборыкине, но когда как будто свысока говорит о нем мразь какая-нибудь, не только не воссоздающая жизненные факты за пять минут до их нарождения, но перевирающая их сто лет спустя после их совершения—становится больно и обидно. Ну, да не в том дело.

Надо, по завету Белинского, определить „паѳос", т.-е. господствующую страсть писателя, чтобы истинно уразуметь его. Паѳос Боборыкина—любознательность, даже любопытство, и это как нельзя более приличествует художнику-корреспонденту. „У П. Д. Боборыкина,—пишет г. Спасович в „Вестнике Европы",—ум, что называется, непоседок, всегда подвижной, воображение живое, наблюдательность большая и острая. Едва заметные новые настроения, новые состояния сознания, едва выклевывающиеся новые человеческие типы хватаемы были Боборыкиным, так сказать, на лету. Он, точно энтомолог по отношению к насекомым, накалывал их тотчас на шпильки".

Несколько беспорядочная любознательность, граничащая с любопытством, быть может, порок, во всяком случае недостаток для смертного вообще, но для корреспондента и хроникера это воистину незаменимое и драгоценное качество. Это то, чем он жив.

Хватать на лету, сейчас же обобщать, пришпиливать—все это прямая его обязанность, так как жизнь творит все новые формы.

Любознательность Боборыкина воистину поразительна. Чему только и где только он ни учился: в Казани он слушал лекции по камеральному отделению юридического факультета, как-то заинтересовался химией, перешел в Дерпт на физико-математическое отделение, заинтересовался медициной, прослушал все теоретические и практические предметы, нужные врачу.

„В петербургском университете,—продолжает он свою автобиографию,—я значился вольнослушателем, экзамен держал из всех предметов административного разряда. По закрытии университета слушал я в залах думы публичные лекции многих профессоров. Всего чаще бывал на лекциях Лохвицкого и Костомарова... В конце 70-х и в начале 80-х годов, кроме разных публичных лекций в Москве и Петербурге, слушал в московском университете римское право, историю, философию и политическую экономию, а в петербургском—государственное право. В Париже, в течение нескольких зим, слушал я лекции в College de France, Сорбонне, медицинской школе, в музее и школе изящных искусств, по философии, истории, старому французскому языку, истории всеобщей и французской литературы, политическим наукам, истории искусства, естественным наукам, по некоторым частям медицины. В парижской консерватории я в конце 60-х годов посещал лекции театрального искусства. В течение двух сезонов брал я уроки декламации. В венской консерватории присутствовал на уроках декламации. В Вене же для подготовки себя к преподаванию дикции и декламации брал уроки сольфеджио. В Париже прослушал курс гармонии“... Все? Нет. „Новым языкам учился всю жизнь... Из семи новых, мне известных языков, я могу свободно говорить и писать на пяти, читать и понимать, говорить и писать менее,—на двух. Мое знание этих языков стоит в таком порядке: русский, французский, немецкий, итальянский, английский, польский, испанский. Учился по-чешски... В зиму 75—76 гг. брал заново уроки латинского языка; в 1892 г. начал учиться по-гречески“.

Это просто изумительный послужной список. Тут жажда познания неугомонная, непоседливая и ненасытимая, перепрыгивающая с предмета на предмет, за все хватающаяся и все пытаю-

щаяся охватить,—даже дикцию, декламацию и сольфеджио. Будь у этой жажды познания руководящая идея, Боборыкин стал бы русским Фаустом или Сен-Симоном, но так как такой руководящей идеи у Боборыкина не было, то ни Фаустом ни Сен-Симоном он не сделался, а остался просто Боборыкиным. Потому что только идея, которая коренится в глубине натуры человека и в окружающей его исторической обстановке, дает смысл и цель его жажде познания и одухотворяет ее. Без идеи она обращается в любопытство.

Любопытные люди, вообще говоря, неприятный народ или, лучше, не столько приятный, сколько их жаль. Жаль не потому, конечно, что они, как Бобчинский, могут получить нашлепку на непоказанное место, а потому, что силы-то свои, и часто недюжинные силы тратят они чорт знает на что. До всего им есть дело, все они как нельзя ближе принимают к сердцу, волнуются, кипятятся, вечно впопыхах, спешат и бегут, потому что на каждый час у них самое неотложное дело. И какие неотложные дела—просто диву даешься, просто руками разводишь, как, напр., по поводу просто-таки нечеловеческих хлопот Боборыкина увидеть римского папу. Ну, скажите на милость, зачем Боборыкину понадобился римский папа? А он все же своего добился, повидался и сочинил об этом чуть ли не целую книгу. Фурье, вся задача которого сводилась к тому, чтобы каждой человеческой силе и способности найти наилучшее, т.-е. наивыгоднейшее для самого человека и общества, применение, кратко сказал про любопытных: они могут наполнять своими писаниями газеты.

Просматривая список предметов, прослушанных и проштудированных Боборыкиным, вы не можете отделаться от мысли, что, собственно говоря, ему было решительно все равно, что ни изучать, лишь бы изучать. Но таким как раз он остается и в большинстве своих произведений, лишь бы описывать. Кажется, нет темы, которая бы его не интересовала, нет такой мелочи жизни, мелочи обстановки, которой бы он не уделил своего внимания. И всегда это внимание одинаковое, не глубокое, не вдумчивое, не то, которое стремится установить связь личной человеческой жизни с жизнью мира, т.-е. ответить на вопрос о смысле нашего существования, а то, которое разрешает шараду или рассматривает необычное, в роде ихтиозауроса, или плезиозауроса, или созер-

цает ошибку природы. Занятно и только, и вот человек весь ушел во всестороннее рассмотрение занятного и описание его. Прогрессивный паралич и постепенно надвигающаяся на человека слепота, картины ножовой линии и охотного ряда, состязания в клубе атлетов и туалеты от Ворта, жизнь бомонда и „жужжание“ городового на посту—все это как-то странно в равной степени интересует Боборыкина. Не видно, чтобы одно захватывало его больше, другое меньше, он à fond изучает бульварный жаргон, ход болезни, обстановку редакции, человека, танцующего кадриль fin de siècle, или чуть-чуть не умирающего от безработицы. Это все равно как хроникер: в мирное время он описывает балы, рауты, five o'clock fhea, наряды дам, а в военное—ужасы, присвоенные военному времени.

Выручает Боборыкина ум и европейское образование, которое одно время позволило ему даже играть видную роль во французской журналистике. По любопытству натуры своей он заглядывает всюду и все готов занести в свою хронику, но необ'емлемого—не об'емлешь, и он делает выбор. Он группирует явления, подразделяет их, старается всегда дать связную картику жизни, хотя и не всегда ему это удается. Только благодаря своему уму, он не совсем растерялся, хотя чувствуется, что часто он близок к этому, так как накопленные острой наблюдательностью факты за отсутствием руководящей идеи представляют из себя иррегулярное войско, или толпу, или сброд, сумбурно, в беспорядке двигающийся, поражающий многочисленностью, нестройностью и часто ненужностью... И несомненно, тот же ум, та же западноевропейская дисциплина дала Боборыкину и точку зрения, благодаря чему он, несмотря на восторженность своей натуры, не поклонился дельцам и написал, вероятно, лучшую свою вещь „Поумнел“. Вот эта точка зрения, как сам Боборыкин излагает ее в автобиографии:

„То, что принесло с собою последнее десятилетие,—говорит П. Д., и на западе, и у себя дома, дало не одному мне чувство законной неудовлетворенности. Мы не ожидали, чтобы конец века принес с собою столько нравственных дефицитов, и чтобы мы очутились в таком ничтожном меньшинстве, принужденные против воли стоять в стороне, видя все яснее, что мы не „ко двору“ и что успех и фактическое преобладание у тех, кто еще двадцать

лет назад сохранял хоть некоторое чувство стыдливости, а теперь чувствует лишь страх перед завоеваниями разума, правды и человечности.

Но я должен признать, что последнее десятилетие, всеми своими тяжелыми для нас проявлениями, ставило передо мною более строгие задачи, углубляло преданность дорогим идеям, освобождало от предвзятости, от всего суетного и дилетантского, усиливало потребность: воспользоваться остатком жизни для более крупных замыслов, искреннее и теплее сливаться душою с своей родиной, успеть во многом пополнить свои знания, отбросить все несущественное и сосредоточить себя на том, что стоит высшего напряжения, что следует воспроизводить, не смущаясь ни какими малодушными соображениями. Личные обстоятельства сделали более возможным выполнение такой программы писателя и гражданина".

Резюмирую.

Несмотря на слишком 40 лет работы, Боборыкин пользуется только положением в литературе, но не влиянием в ней. Его точка зрения на жизнь, такая же, как у образованного западно-европейского человека средней руки, мало может заинтересовать когонибудь. Это не для нас.

Вокруг г-на Боборыкина группируется целая толпа беллетристов, отчасти художников, но больше хроникеров. Но я не могу остановиться на их произведениях за недостатком места.

В своей плоскости Боборыкин не только заметная, но прямо крупная величина, и в его художественных корреспонденциях о последних сорока годах русской жизни много умного и ценного, верного и неверного, наскоро записанного и проницательно угаданного, много... вообще всего. И это много, много всего, как бы символ текущей русской литературы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Я проследил историю русского литературного развития за сто лет слишком. При этом я нисколько не заботился о полноте картины, а лишь о том, чтобы не упустить из виду ничего характерного—такого, что явилось литературным отражением перелома общественной мысли и настроения. Я дал сначала общую характеристику барской литературы, затем ее противоположности —литературы разночинной и, наконец, литературы, созданной кающимся дворянином. Эти три фигуры—барина-идеалиста 40-ых годов, разночинца 60-ых и кающегося дворянина 60-ых, 70-ых годов я считаю основными в истории нашего литературного развития. Вражда принципов—вот схема, по которой я расположил свою книгу.

Схема только остов. Она в такой же степени вытекает из существа дела, сколько создается, сочиняется в интересах в порядка и стройности изложения. Ни одна схема не может охватить всего разнообразия жизненных явлений. Каждое явление жизни, взятое в его сложности, может потребовать для себя отдельной графы в классификации. С этой точки зрения схема незаконна. Но она неизбежна в то время, так как без нее мы способны лишь растеряться в пестроте и разнообразии жизни.

Барин-идеалист 40-ых годов представляет из себя в нашей литературе начало прежде всего *созерцательное*. Его историческая миссия привить нашей литературе общие идеи добра, истины и справедливости. Это теоретик и созерцатель; это художественная натура, поклонник красоты и дилетант раз дело касается действительности и деятельности. Венера луврская для него несомненнее всех принципов 89-го года и всех тех принципов, за которые вообще билось человечество. В нем много искусственного и тепличного, такого, что боится работы на свежем воздухе. Как эстетику ему нужна красивая обстановка в такой же степени, в какой и благородная сущность. Природа богато одарила его, но

как бы в отметку за свою щедрость дала ему и слабость воли и склонность к пессимизу. Роль его велика и плодотворна. Для закрепления общих принципов во всей их широте, или выяснения нашему обществу высшего культурного типа общественной жизни —он был самым подходящим человеком. Быть может, и лучше было не знать мелочей, не пачкаться в грязи жизни и не отвлекаться в сторону практическими соображениями, чтобы исполнить такую задачу. Быть может, самым настоящим делом было брать у Запада идеи свободы, красоты и гуманности, не сколько не заботясь о том, что из этого выйдет в сфере практической действительности. Но все же и самая жизнь, и созданные ею идеи были половинчатые. Оне не могли не привести к меланхолическому вопросу: „что такое свобода—без участия в благах жизни? Что такое развитие—без ясно намеченной конечной цели? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви?“ Такая меланхолия так же характерна, как художественность барской натуры. Она наказание за отвлеченность, бездеятельность жизни, за ее раздвоение на область созерцания и действительности.

Наиболее чистыми представителями эстетически созерцаемого идеализма 40-х годов я считаю первых наших славянофилов, особенно Хомякова, К. Аксакова, братьев Киреевских. Обломовская основа, обломовская сущность их натуры и ее благородство были как нельзя лучше приспособлены к общим гуманным идеям, которые в сущности ни к чему не обязывали.

Но идея обязывает и чем гуманнее идея, тем более она обязывает к служению массе и ее интересам. Такова формула, в которой воплотилось разночинное *волевое* начало нашей литературы. Конечно, я опять говорю схематически, но мне думается, что противоречие двух верований—одного, что идея прекрасна и другого, что идея требует своего воплощения в жизнь, что нет справедливости без огня самоотверженности и любви—и создало не только противоречие, но и вражду двух эпох. Славянофильство было окончательно загнано в угол, оплевано и осмеяно. Кумиры прежней литературы отчасти были поколеблены, отчасти сами отстранились от дела. „Эстетическое созерцание“ возбуждало прямо-таки ненависть и вопияние против себя. И понятно почему: оно наиболее подходило к прошлой барской жизни и было единственным, что придавало ей хоть какую-нибудь ценность. Раз

ночинец принял большую часть идей, которыми жили 40-ые годы, но придал им утилитарный, практический характер. Главной его задачей была перестройка действительности. Время созерцания и мечтаний при луне прошло. И я настаиваю на том, что такой взрыв воли, такая напряженность ее обусловливается не только величием задачи—осчастливить массу, но и значительной примесью злобы и чувства мести. Наша воля, как известно, нуждается столько же в положительных, сколько и отрицательных, стимулах. Ей нужны близкие и ненавистные преграды, чтобы проявить свою мощь. Ей нужное гордое сознание своего я, своих неот'емлемых прав личности, которые она при известных обстоятельствах распространяет на всех людей. Она должна бороться и сознавать себя в состоянии борьбы. Так было и у нас в ту эпоху, когда выступил на сцену разночинец. Разночинец вскормлен ненавистью к гнету жизни и уважением к человеку. Тем гнетом, который воспитывает *волю* человека.

Он отбросил идею красоты, потому что с ней в его представлении соединялось слишком много неприятных ассоциаций. Он еще помнил об армидиных садах и об эстетике разврата. Он прекрасно понимал, что служение красоте отвлекает человека от ближайших практических задач и целей, открещивался от него и самого слова „красота" боялся, как раскольник дыму. Он отбросил не только идею красоты, но и идею барской гуманности, такую распространенную, такую излюбленную идею 40-ых годов. Но тут надо сделать оговорку. Барская гуманность — это не совсем то, что гуманность вообще. Она никак не может отрешиться от некоторого аристократизма, от некоторого „свысока" в отношении униженного и обиженного. На первый план она выдвигает жалость, сострадание—приятные для одних, неприятные для других. В ней есть нечто филантропическое, нечто в роде подачки от избытка сердечного благородства. Это очень оскорбляло разночинца, который, особенно в ту эпоху, в филантропии не нуждался. Повидимому, он склонен был рассуждать так: любить или не любить человека—дело твое, жалеть или не жалеть человека—тоже твое дело, но не признавать человека в человеке и пользоваться трудом ближнего для изобретения летательных машин, или написания „Семирамиды", или для филологических турниров во вкусе К. Аксакова — этого *нельзя*. И это нельзя

должно быть закреплено за жизнью, как нечто незыблемое и неприкосновенное. Сущность тут в различии настроения. Одно настроение выработалось в среде, где личные обиды, личное унижение от жизни чувствовалось мало и с избытком окупалось всякого рода благами жизни; другое там, где личные обиды и унижения отзывались одинаково и на собственной шкуре, и на шкуре ближних. Одни *давали* от щедрот и избытка, другие *требовали* во имя достоинства и прав человека.

„Разночинная" литература 60-х годов—второй член диалектической триады, имела вполне определенную и ясную цель—борьбу с эстетическим созерцанием жизни, выработанным высшим культурным слоем русского общества—барством еще в эпоху дореформенной России. Это богатая литературная эпоха, полная жизни, вдохновения и темперамента; это эпоха, когда заговорили страстная воля и вера. С первого же взгляда особенно резко бросается в глаза ее „*человеческий, слишком человеческий характер*" (menschliches allzu menschliches), как бы предопределивший главную ее цель—*освобождение личности не только из-под власти официальной государственности, но и стихии народности с ее патриархальными укладами.* Отсюда краеугольными камнями литературного мышления являются — наука, рационализм и самая рационалистическая, прямо укладывавшаяся в математические, даже арифметические формулы, из рационалистических идей — идея пользы. Все это указывает на напряжение волевого и гражданского элемента общественной мысли, стремившейся к „эмансипации" во всех ее проявлениях: эмансипации крепостного мужика, детей и женщины, общества и мышления. Все это во имя земного, осязаемого человеческого счастья, чаще всего рисовавшегося, как жизнь в фаланстерах Фурье, как осуществление коммунистических утопий, причем переходом к этому будущему являлась та же крестьянская деревенская община с ее потребительным хозяйством (Добролюбов и Чернышевский).

Литература 60-ых годов в идейном отношении опиралась целиком на литературу барина-идеалиста, т.-е. литературу 40-ых годов, имела с ней связующее звено—деятельность Белинского, действительно понятого и оцененного лишь в 60-ые годы—и в то же время постоянно враждовала с ней и отрицала ее. Почему? Прежде всего потому, что литература 40-ых годов носила ясно

выраженный эстетический и созерцательный характер. Ее центральная, господствующая идея—это *идея красоты.*

Литературу, созданную нашим барином-идеалистом, Щедрин называет спящей царевной, которая во сне всякие хорошие сны видела. Эти мечты, эти грезы, немного маниловские, немного обломовские, были преисполнены благожелательнейшего отношения к крепостному мужику, и ко всем униженным и оскорбленным вообще. Широкое сердце было у нашего барина-идеалиста, вмещавшее в себе многообразные благородные помыслы и те порывы, о которых сказано давно: суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано. Возьмем самое главное—отношение к народу, к закабаленному мужику. Здесь, в этом отношении, все гуманные идеи Запада нашли свое применение. Здесь же, в литературе, созданной барином-идеалистом, закабаленный мужик впервые воззвал к разуму и совести. Барин увидел в нем человека, барин признал борьбу со всеми идеями, на которых зиждился крепостной строй. Эти идеи в свою очередь формулировались все яснее и определеннее и вылились, наконец, в систему официальной народности. Эта система утверждала крепостное состояние навсегда. Она находила в нем ясные признаки высшего небесного происхождения. Проникнутая самодовольством, она об‘явила, что всякие перемены для нас вредны. Она распространялась не только на отношения помещиков к крестьянам, но и на всю сферу семейных и общественных отношений без исключения. Властная и гордая, она требовала от личности только подчинения. Этой системе официальной народности литература противопоставила идею гуманности и личной эмансипации. Она возвела мужика в человека. Сначала она говорила, что мужик страдает, что он также чувствует все доброе и злое, как и мы; потом она сказала, что он лучше нас и, наконец, преклонилась перед ним. Как бы то ни было, если в жизни, в практической действительности мужик изменился очень мало, то в идее, благодаря литературной пропаганде, он вырос неизмеримо. И это можно сказать не только о мужике, но и о человеке вообще.

Если вспомнить, какую борьбу пришлось выдержать нашей литературе, при каких условиях происходила эта борьба,—то нельзя не почувствовать к ней значительного уважения. Что руководило ею? В сущности, одна мысль, что никто не может

быть спокойным и довольным, раз рядом существуют несчастные и униженные. Как ни различны формы воплощения этой мысли, она всегда здесь, она всегда мысль вдохновительница.

Сознание необходимости бороться с рабством человека, в каких бы видах оно ни проявлялось—бороться во имя голоса своей совести, интересов человеческого развития, чувства чести и достоинства—живет в нашей литературе. Борьба за мужика собственно закончилась.

Теперь мужик может получить лишь то, что получит человек вообще. Но борьба за человека вообще, за пролетария только началась.

Грустно, что приходится констатировать успехи промышленной литературы и ее распространение. Г. Рынок дает себя знать. Можно, разумеется, утешаться мыслью, что число читателей растет, что печатная бумага проникает всюду. Но нельзя представить себе ничего более печального, если промышленная литература заглушит истинную литературу.

Но я не верю, что так может случиться.

В том, что русская молодая литература (в лице, напр., Горького и Чехова) об'явила непримиримую войну мещанству и духу его, все более распространяющемуся в нашем обществе—я вижу залог ее грядущих успехов, ее близкого возрождения. Опираясь на идеалистические традиции прошлого, она не отдаст себя в полную кабалу господина Рынка и, быть может, недалеко то время, когда она свергнет иго его так же легко и не колеблясь, как когда-то свергла иго меценатства. Давай ей этого бог, потому что это она полностью заслужила в своей суровой борьбе со всем, что порабощает личность и общество, что порабощает человека.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Вместо предисловия . . . . 5—41

Литература крепостной России . . . . 43—262

Тезис русской литературы 45

Радищев и скептическое движение в России 48

Радищев — 48. Скептическое движение в русской литературе — 50.

Литература первой четверти века 64

А. С. Пушкин 70

Белинский о Пушкине — 70. Пушкин в истории—74. Характеристика Пушкина—77. Поэты Пушкинской эпохи. Рылеев—89.

Эпоха Николая I-го. Система 90

Журналистика эпохи Николая I-го 100

Грибоедов, Гоголь, Лермонтов 119

А. С. Грибоедов — 121. Н. В. Гоголь — 124. М. Ю. Лермонтов—130.

Славянофилы и западники 134

Славянофилы—138. Западники—167. П. Я. Чаадаев—171 В. Г. Белинский—174. Мужик в русской литературе—187. Д. В. Григорович—195. И. С. Тургенев—198. А. И. Герцен—209. Н. П. Огарев—237. И. А. Гончаров—239. Общие замечания о литературе 40-х годов—248.

Шестидесятые годы . . . . 263—406

Общая характеристика 265

Литература записок и писем, как предисловие к литературе 60-х гг. собственно . . . 280

Журналистика 60-х годов 286

„Современник“—288. Н. Г. Чернышевский—290. Н. А. Добролюбов — 300. „Русское Слово“ — 310. Д. И. Писарев—312. Н. В. Шелгунов—330. М. Н. Катков и „Русский Вестник“ — 331. „Искра“—339. [...]авянофильские органы — 341. Ап. А. Гри[...] —345. Н. Н. Страхов—349. Полемика—353.

Ст

Беллетристика 60-х годов 3

Беллетристика Чернышевского — 357. Н. Г. Помяловский — 368. А. И. Левитов — 376. А. К. Шеллер—377.

Беллетристы-народники 3

Н. В. Успенский—380. Ф. М. Решетников—382.

Поэты 60-х годов. Н. А. Некрасов 3

Общия заключительные замечания 3

Семидесятые годы . . . . 407—5

Общая характеристика 4

Философия критической личности 4

Народничество 4

И. Юзов (О. И. Каблиц) — 431. В. В. (Воронцов) — 432. Народники-государственники—434.

Критическое народничество . . . .

„Отечественные Записки“ — 436. Г. З. Елисеев—438. М. Е. Салтыков-Щедрин — 439. Н. К. Михайловский — 460. Н. И. Успенский — 484. Н. Н. Златовратский—508.

Неверующие народники . . . .

А. М. Новодворский-Осипович—520. В. М. Гаршин—527. С. Я. Надсон—532. Д. Н. Мамин-Сибиряк—53[illegible].

Реакционная литература 60-х и 70-х гг. . . . .

В. П. Клюшников - 543. Н. С. Лесков—544. Всев. Крестовский—547. Б. Маркевич—548.

Толстой и Достоевский . . . .

Л. Н. Толстой—550. Ф. М. Достоевский—574.

Славянофилы . . . .

Общие замечания о литературе 70-х гг. . . . .

80-ые и 90-ые годы . . . . 601—

Общая характеристика 80-х годов . . . .

Мещанство—610. А. П. Чехов—617. Декаденты—630. Новые веяния — 632. М. Горький — 636. Марксизм—646.

Текущая литература . . . .

П. Д. Боборыкин—650.

Заключение . . . . 657—

НОВАЯ МОСКВА

00022051379
UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL